

**Нагибин**

ЮРИЙ

**Нагибин**

ЮРИЙ

**ТЕРПЕНИЕ**

00:00

Юрий  
Нагибин

**ТЕРПЕНИЕ**

Издательский Дом «Подкова»  
Москва  
1998

ББК 84.37  
Н 16

**Нагибин Ю.М.**

**Н 15** Терпение. — М.: Издательский Дом  
«Подкова», 1998. — 584 с.

ISBN 5-89517-018-8

*Тексты публикуются в авторской редакции*

© А.Нагибина, 1998

© Е.Селиванова. Оформление. 1998

ISBN 5-89517-018-8

# ВСТАНЬ И ИДИ

## 1. НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПУТЕШЕСТВИЕ

Не знаю, любил ли я отца в эти ранние годы. Едва ли. Я любил Дарью, Дашуру, служительницу и стража нашего дома. Но отец возбуждал мое любопытство, будил фантазию. Каждое утро он куда-то исчезал и появлялся под вечер, когда единственное окно длинного коридора нашей квартиры, обращенное на закат, обливалось оранжевым и на полу под ним ложились светлые, сияющие полосы. То, куда отец исчезал, называлось обычно службой, реже — биржей. Я не знал значения ни первого, ни второго слова. Но второе слово меня чаровало. И до восьми лет, когда я пошел в школу и научился хитрить, на привычный вопрос взрослых: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» — я с гордостью отвечал: «Биржевиком».

Я знал, что с таинственным словом «биржа»\* связаны и те красивые денежные знаки, которыми мне давали играть. Дети любят играть в куплю-продажу, инстинкт торговли, мены, наверное, один из древнейших человеческих инстинктов. Летом, на даче, в погожие дни, мы — ребята — играли в «зеленщика» — листья подорожника были салатом, его зеленые, пупырчатые стрелы — огурцами, другие травы означали морковь, капусту, петрушку, репу, свеклу; в ненастье мы играли в «кондитерскую» — лепили булочки из грязи, в особых формочках «пекли» всевозможные

---

\* В то время биржа существовала официально.



пирожные и кексы из мокрого песка; зимой мы играли в скобяные, москательные лавки.

На этих игрушечных торжищах мы расплачивались не бумажками и щепочками, а красными, синими, узорчато-белыми тугими, пахучими, хрустящими деньгами всех пяти континентов. Деньги раньше марок одарили меня волнующим ощущением широты, безграничности мира. Биржа казалась мне и портом, и кораблем одновременно, а вернее — воротами в огромный, захватывающий дух простор жизни. Отец был путешественником, единственным путешественником в нашей семье. Остальные были так же пригвождены к квартире, как и я сам. Дашура ходила за съестным до того, как я просыпался; мамины вечерние выходы происходили поздно, когда я уже спал. Один отец на моих глазах с каждодневым, неиссякаемым бесстрашием исчезал в неведомом. И меня тянуло за ним, тянуло в мир, где хрустят, переходя из рук в руки, все эти красные, голубые, зеленые, синие деньги.

У нас в коридоре, наискось от окна, находился чулан. Две стены у него были настоящие, капитальные, а две — дощатые, оклеенные обоями, в три моих роста и много не доходящие до потолка. Когда мысль о путешествии овладела мною, благородная крутизна этих двух стен увиделась мне бортами корабля. Небо за окном обернулось морем. Нелепый, увенчанный башенкой купол армянской церкви, стоявшей напротив нашего дома, стал чем угодно: маяком, островом, городом, пиратским судном, а сам я — капитаном, готовым вести свой корабль, окрещенный «Биржа», в таинственную страну биржевиков на розыски моего отца. Было все: корабль, маршрут, море, решимость, цель. Не было главного: навыка к отвлеченности, к мечте.

Я читал лишь одну, самую не романтическую книгу о путешествиях — «Робинзон Крузо». Книгу, наполненную мелочной заботой об одежде, жратве, хозяйственной утвари. Возможно, другой человек выносит из этой книги простор, полет, ветер. Но я, что соответствовало, видно, моей

комнатной природе и убогому реализму воображения, помнил лишь ее «хозяйственную» сторону: бесконечный преискурант всевозможных вещей и продуктов, частью созданных, главным же образом выловленных Робинзоном в море, найденных им на затонувших и потерпевших крушение кораблях. Мне и сейчас эта книга представляется гимном торжествующему быту.

Я не догадывался о том, что чувствует человек в море, между звездами и грозными ночными волнами, но я, постоянно тершийся на кухне, хорошо знал, какая полезная штука — примус. Без примуса я не мог выйти в плавание. И я полдня мастерил примус из старой консервной банки, проволоки и пуговицы. Мне надо было, чтобы этот примус накачивался, иначе его не разжечь. Справившись с этой задачей, я приступил к дальнейшим сборам. С тщанием, какому позавидовал бы сам Робинзон, я запасал питьевую воду, солонину, галеты, масло, соленую рыбу, спички, порох, свечи, одежду, спальные мешки, бумагу, карандаши, почтовые марки. Я не забыл даже учебника немецкого языка — в ту пору ко мне уже ходила немка. Эту кропотливую работу я прерывал лишь для воображаемого завтрака, ведь и для Робинзона трапеза была священным обрядом его островной жизни. Этот условный завтрак — рагу из чурочек, салат из обрезков маминой зеленой шелковой юбки — по сложности приготовления и поглощения занимал куда больше времени, чем обыкновенный, настоящий завтрак. Когда я разделался с ним, окно, глядевшее на закат, облилось розовым, затем желтым, в окнах башенки, венчавшей купол церкви, зажглись красные огоньки, и она, как никогда, стала похожа на маяк. Можно отплывать. Я уже собирался отдать команду, но в кухне тренькнул звонок, хлопнула дверь, и мимо борта моего корабля, размахивая толстым, таинственно и туго набитым портфелем, быстро прошел отец: легкий, бодрый, со смугловатым, будто обдутым южным ветром лицом. Он вернулся, вернулся сам, не дождавшись меня, из далекой страны биржевиков.

— Обедать!.. — послышался голос мамы, и, грустно окинув взглядом свой прекрасно оснащенный, с поднятыми парусами, с набитыми трюмами, готовый к покорению пространства корабль, я сошел на сушу.

Путешествие так и не состоялось. Но зато сколько их было потом, сколько верст проделал я по следам отца: далекий Иркутск, душный, пропыленный Саратов, первое чудо Ленинграда, забытый Богом Егорьевск, Кандалакша среди поросших карликовыми соснами сопок и похожих на осколки зеркала озер, край, разлинованный, как ученическая тетрадь, рядами колючей проволоки, страшная Рохма...

И был день, когда отец снова не дождался меня. Я был нужен ему, он звал меня, звал последним зовом, а я не поднял обвисших парусов. И тогда, так и не дождавшись, он ушел в то последнее далеко, откуда уже нет возврата.

## 2. КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Семи-восьмилетним я уже знал и любил отца, хотя и третьей любовью. Больше всех я любил Дашуру, потом — маму, но их я любил безотчетно, не создавая себе образа своей любви. Отца же я любил за то, каким он мне виделся и представлялся.

Отец был самым сильным. Однажды, в воскресный день, на даче в Акуловке, куда понаехало множество гостей, чуть подвыпившие мужчины устроили спортивные состязания. Отец лег на лопатки в траву и предложил семнадцатилетнему Кольке Шугаеву лечь на него и крепко держать. Когда тот сделал, как ему сказано, отец ловко перевернулся со спины на грудь, и Колька оказался под ним.

Отец был самым быстрым. На тех же состязаниях он опередил в беге всех, кроме длинноногого учителя математики Михаила Александровича.

Отец был самым находчивым. Купив на станции в Пушкино огромный арбуз, он все три километра до нашей дачи катил его перед собой по дороге. Правда, когда арбуз взре-

зали, его хрустко разломившийся шар оказался наполненным лишь розовой водой, но это не имело значения.

Некоторая противоречивость моих наблюдений меня не смущала. Меня несколько не удивило, что мой силач отец не мог донести со станции арбуз и вынужден был катить его по земле; что за второе место в беге он заплатил маленьким сердечным приступом. Я не играл с собой, я действительно не видел ни его малого роста, ни почти женской слабости, ни робких неумелых рук.

То, что я видел, поддерживалось легендой об отце. Отец был самым храбрым: он заслужил два Георгиевских креста в первую мировую войну. Он ходил в штыковую атаку, он заменил в бою убитого командира. Он был самым остроумным: про одного знакомого, женившегося в ложном расчете на приданое, он сказал: «Женился по расчету, а вышло по любви». Он был дерзок. Один из маминых поклонников, бывавший у нас в доме, но отваживавшийся сидеть лишь на кончике стула, принес как-то раз бутылку шампанского. Расхрабрившись, поклонник развязно уселся на стул всем задом. Отец тут же побежал в магазин и вернулся, весь увешанный бутылками, одну бутылку он нес в зубах. Выставив бутылки на стол, отец уселся сразу на два стула, а на третий положил ноги. Наконец он был победителем. Известная в Москве красивая женщина и писательница написала целую книгу о том, как она любила отца и как ревновала его к своей сестре, еще более красивой и известной женщине.

Вот каким был мой отец: силач, бегун, храбрец, герой, остряк, бретёр, победитель — словом, обыкновенный отец, какой есть у каждого мальчишки и которого нельзя не любить, которым нельзя не восхищаться.

И все же его первый арест я воспринял довольно спокойно. Это случилось восьмого февраля 1928 года, через два дня после маминых именин, когда у нас были блины и множество гостей. Такого числа гостей у нас еще никогда не было, и вся огромная квартира, словно парильня, была

заполнена клубами белого, густого, горячего блинного чада. Наутро по квартире гуляли сквозняки, мама обдувала все углы из пульверизатора. Прошел еще день, и уж ничто не напоминало о торжестве, началась обычная жизнь.

Я проснулся ночью, чего со мной никогда не бывало, от странного, незнакомого, чуждого легкому, свежему духу нашей квартиры, крепкого, душного запаха солдатских сапог. Я открыл глаза и сквозь сетку моей детской кровати, как сквозь решетку, увидел серую шинельную спину бойца, идущего к двери.

— Мама, кто это? — пробормотал я сонным голосом.

— Спи. Это Лёлин брат. Спи, — проговорила над моим ухом Дашура.

Лёля — старинная мамина приятельница, ее брат отбывал действительную военную службу, «воинскую повинность», как еще говорили в нашей семье. Я успокоился и сразу заснул.

Наутро я узнал, что папу арестовали. Этот серый боец вместе с какими-то другими, неизвестными мне людьми пришел ночью и арестовал моего папу.

Мне не очень-то было понятно, что значит слово «арестовать». Я понимал лишь, что папы не будет с нами какое-то время, что его отвезли в тюрьму, что ничего хорошего в этом нет. Но понимал я это разумом, в душе же гордился случившимся — не у каждого мальчишки арестовывают отца.

Гуляя днем во дворе, я говорил всем и каждому, сплевывая от избытка молодечества на раскисшие, серые февральские сугробы: «А у меня отца арестовали».

Я был чужаком среди дворовых ребят и остро это переживал. Я был единственным представителем интеллигенции среди них, и они презирали меня. Тщетно силился я завоевать их дружбу, раздаривая им свои игрушки, цветные карандаши, краски, изящные серебряные фруктовые ножи. Они охотно принимали дары, но не платили за то близостью. Тщетно дулся я с ними в расшибалку и в фан-

тики, «тырил» бутылки и ящики на винном складе, стрелял из рогатки по окнам и задастым битюгам, привозившим на склад огромные гулкие бочки. Тщетно матерился, как заправский ломовик. Они относились к моим потугам со снисходительной, а чаще с злобно-насмешливой иронией. И теперь мне казалось, что несчастье уничтожит невидимую преграду между нами, что они отнесутся ко мне как к равному. Я добился лишь легкого, короткого любопытства, опять же окрашенного иронией, моя беда им ничего не говорила — их отцов никто не арестовывал.

Я очень скоро ощутил на себе последствия папиного ареста. Мой путь в ванну шел через дедушкину комнату. Каждое утро я подходил к постели деда, желал ему «доброе утра», целовал в колючую от седой щетины щеку и получал двадцать копеек. По воскресеньям я получал новенький хрустящий оранжевый рубль. Монетки я складывал в копилку, рубли отдавал на хранение маме. И вот в первое же воскресенье после папиного ареста, клюнув деда в жесткую щеку, я с обмершим сердцем увидел на мраморной крышке ночного столика вместо радужной бумажки тусклую, будничную двадцатикопеечную монетку.

— Папы нет... нам будет трудно жить, — тихо сказал дед.

Теперь я понял: это навсегда. Навсегда отнята у меня первая радость воскресенья. Значит, не шутка, когда у человека арестовывают папу...

Знал ли я тогда, за что арестовали отца? И да, и нет. Во всяком случае, не меньше, чем теперь, по прошествии стольких лет. «Арестовывают всех биржевиков», — не раз слышал я в те смутные дни эту фразу. Людям нельзя было иметь те красивые, разноцветные бумажки, которыми я играл. Но ведь можно было просто отобрать их и закрыть таинственное место, именуемое «биржей», тогда эти бумажки стали бы людям ни к чему. И как могли люди знать, что дозволенное сегодня окажется завтра преступлением? Наконец, уж если арестовывать, то никак не моего отца.



Другим эти бумажки действительно давали богатство или хороший заработок, отцу они не приносили ничего или почти ничего. Он играл в эти бумажки так же невинно, как играл я, хотя куда с меньшим удовольствием. Нет и не было на свете человека, столь лишенного делового уменья, как отец. Для этого он был слишком беспечен, доверчив, мягкосердечен, незащищен, слишком радовался жизни. Он только числился при деле, только таскал свой тяжелый, Бог весть чем набитый портфель, — жили мы целиком за счет деда, известного врача. И то, что после ареста отца меня лишили воскресного рубля, было скорее ритуальным жестом, вроде посыпания пеплом главы, нежели необходимостью.

Я недолго ломал голову над причиной ареста отца. И не очень страдал. Образовавшаяся пустота заполнилась усиленным вниманием близких: деда, Дашуры, мамы. Осталась комната с трапезной, игрушками и пухлыми томами «Трех мушкетеров»; остался двор с его волнующей и в чем-то главным недоступной мне жизнью; впереди была чудесная акуловская дача с извилистой Учей, дремучим еловым бором, непролазными ольшаниками и великовозрастным Колькой Шугаевым, посвящавшим меня в тайное тайных.

Я едва не забыл отца, но тут мы свиделись: прощальное свидание перед его отправкой в ссылку. Отца осудили на три года «вольного» поселения в Сибири, в те идиллические времена это казалось огромным сроком. Свидание происходило в Бутырской тюрьме. Мы — мама, дед и я — довольно долго томились перед высокими стенами тюрьмы, затем нас впустили во внутренний двор, битком набитый такими же, как и мы, прощающимися. А потом был дан знак, и вся толпа устремилась в узкий и, как мне сейчас кажется, подземный тоннель. Мы быстро шли, почти бежали, влекомые толпой, по этому плохо освещенному, с тусклыми, осклизлыми стенами тоннелю. И вдруг бежавшие впереди круто осадили, подались назад, прозвенел чей-то высокий вскрик, затем еще крики и еще — мужские,

страшные, хриплые крики, — толпа рвалась вперед, заголосила какая-то женщина, мы оказались перед решетчатой дверью, ведущей во внутренний тюремный коридор, и увидели их.

Уже в эту самую минуту возник у меня точный образ увиденного. За несколько дней перед тем к нам на квартиру явился крысолов и установил в чулане, некогда служившем мне кораблем, огромную клетку. На другой день на глазах всех квартирантов он извлек клетку, до отказа набитую крысами. Словно бы сам сказочный, многоголовый крысиный король попался в западню. Трудно было понять, как могло набиться в ловушку столько крыс, — сплошной шевелящийся, визжащий, серо-рыжий комок, дикое сплетение хвостов, лап, худых омерзительных тел, треугольных морд... Вот такая же страшная, душная теснота налезавших друг на друга тел, сплетающихся в борьбе рук, бодающихся голов открылась нам за толстыми прутьями решетки. Это месиво визжало, дралось, орало, взывая к своим по ту сторону решетки, борясь за то, чтобы пролезть вперед, выиграть хоть лишний взгляд, лишнее слово. И вдруг среди этих темных, одержимых фигур, страшных, неистовых, бледных лиц я увидел смуглое, чуть монгольское, радостное и страдающее, но ни в чем себе не изменившее лицо отца. Он был у самой решетки, произошло это случайно, как нередко бывает в мятущейся толпе: непричастные к общему смятению оказываются в выигрыше.

— Сережа!.. — крикнул он, увидев меня, и голос его сломался.

Наводя порядок, в арестантское месиво погрузился приклад часового. Лицо отца снова мелькнуло и скрылось, и мы побежали куда-то вперед.

А затем было свидание через две решетки, по узкому коридору между ними ходил часовой. И все же мама сумела передать отцу деньги, — единственное, что я помню, потому что об этом, как о подвиге, много говорили потом, все остальное утратилось в оглушенном сознании.

Отныне я запомнил отца навсегда. Он поселился в моей душе, и никакое рассеяние не могло его потеснить. Опять он вернулся ко мне: силач, храбрец, герой, остряк, бретёр, победитель. Но теперь появилось нечто еще, что делало мое чувство много богаче, чем чувства других мальчишек к их не менее замечательным отцам, — он был несчастным. Сознание этого навсегда окрасило мое отношение к отцу какой-то тонкой, чуть болезненной нежностью.

### 3. ИРКУТСК

В пору нашей краткой совместной жизни отец не делал мне подарков. Правда, в день моего рождения или на Рождество считалось, что такие-то подарки идут от мамы, такие-то от папы. Но я понимал, что это условность, все подарки были выбраны и куплены мамой. А так вот, отдельно, по собственному почину, отец мне никогда не дарил. Дарили дед, мама, Дашура, отцу было не до того, он жил жадно, заинтересованно собственной, еще довольно молодой жизнью; к тому же, как большинство молодых отцов, он не очень-то представлял себе, что следует мне дарить: до чего я дорос, а что и перерос.

Семейная легенда утверждала, что в пору, когда я делал первые свои шаги — время тогда было тяжелое, скудное, — мне справили пальтецо из зеленого, в изумруд, обивочного материала. Увидев меня в обновке, отец чуть не заплакал, — я был похож на какой-то ядовитый стручок, — и тут же отдал мне на пальто свой единственный выходной пиджак.

Но память моя пробудилась, когда нарядное пальтишко уже было сношено, а других подарков от папы я не видел. А тут, ссыльный, неимущий, он подарил мне целый город, и какой — с дорогой через всю Россию! Многое, случившееся куда позже, давно позабыто, но Иркутск светится в памяти каким-то особым светом. Иркутскую жизнь я помню всю изо дня в день, там не было ничего второсте-

пенного, его и вообще не бывает на переломе жизни, пусть даже детской. А в Иркутске переломилось не только мое комнатное существование, — домашний зверек увидел, как огромен, многообразен, сложен мир, свершился переход от младенческой всеядности к отбору, то есть к характеру.

Привычное, незыблемое рушилось уже в пути. Из московского июньского лета въехали мы в уральский снегопад. Притихший, смотрел я в темное окошко вагона, за которым стремительно и густо неслись снежинки, а затем были утренние поляны в сверкающем ровном снеге, а затем, без перехода, без весны, свежая, молодая листва деревьев; в огромных провалах между горами, глубоко внизу под поездом, волнующая голубовато-зеленая листва перелесков казалась рекой. Были и настоящие, великие, страшноватые в широте своей и затаенном спокойствии сибирские реки: Обь, Енисей, Иртыш. Проходя над ними, поезд затихал, реже и глуше колесный перестук, тишина в вагонах...

Иркутск был чудом, вернее, целым скопищем чудес. Ледяная Ангара, просматривающаяся на огромной глубине до последнего камушка на дне, до тонюсенькой водоросли, неутомимо пускающей вверх жемчужные шарики пузырьков. Мы брали двухпарную лодку и плыли к островам, что слева от пристани. Когда мы входили в узкую горловину между двумя ближайшими островками, простор поворачивался вокруг своей оси, островки, будто играя в чехарду, перепрыгивали друг через дружку, весла выпадали из рук. Головокружение длилось с минуту, а когда оно проходило, мы обнаруживали, что челнок наш отброшен назад на добрый десяток метров. Между островками был водоворот с мощным выбрасывателем, он вращал лодку, насыщая ее центробежной силой, а затем швырял назад к пристани. Мы еще и еще повторяли нашу попытку, а затем в блаженном, дурманном изнеможении смотрели, как рыбаки, ловко и уверенно действуя шестом, спокойно проводили над водоворотом свои длинные, плоскодонные пирогги.

Была еще Ушаковка, впадающая в Ангару. Она так стремительно текла с гор, что рыбы, плывущие против течения, порой провисали недвижно, — бери руками или накалывай вилкой. Я купался в ее быстрой и довольно теплой воде, я плавал в ней, и это было прекрасно, как полет во сне. Я размахивал руками, едва касаясь мгновенно ускользавшей воды, и меня несло с обрывающей дыхание скоростью в широкое устье, где воды Ушаковки и Ангары, смешиваясь, создавали плавно тормозящую среду.

И были цветы, полевые цветы, растущие по склонам невысоких гор за южной окраиной города, цветы, в которые трудно поверить, так они роскошны, так превосходят скромные луговые цветы Подмосковья. Цветы, похожие на мясистые петушинные гребни, цветы, напоминающие наш садовый львиный зев, но не желтые, с красноватыми подвалинами, а многокрасочные: с пунцовым, словно окровавленным верхним небом и синеватым — нижним, фиолетовым храпом, палевыми надбровьями, янтарной головой и желтыми заушинами. Были цветы, похожие на садовые бессмертники, но не сухие, а трепетно-мягкие, полные в каждом лепестке нежной, непрочной жизни, с желтым венчиком и синей коронкой; были, как садовые лилии, целые лужайки палевых, навощенных лилий на длинных, стройных стеблях с саблеобразными листьями; были, как махровая гвоздика, но пышнее и всех расцветок — от фиолетового до бордового; были и такие, что не сравнишь и не опишешь, словно фантастические гибриды василька с георгином, ромашки с настурцией, причудливые, сказочные цветы с длинными пестиками, торчащими, будто щупальца, из глубокой, слоистой чашки.

Отец не знал цветов, про каждый сорванный цветок он задумчиво говорил: «Кажется, это маргаритка».

Порой на каменистых срезках гор обнажались вкрапления серебристо-сверкающей породы. Не стоило большого труда отбить кусочек такой породы, от него отслаивались тонкие, блестящие чешуйки, похожие на рыбы. «Это слю-

да, — говорил отец, — слюдяные горы». Меня охватывал трепет, впервые приближался я к первооснове вещей...

Еще раньше, в Акуловке, мама сумела показать мне дерево. В моей жизни это было одним из самых важных событий, куда важнее первой близости с женщиной, первого выстрела, направленного в меня, важнее всех книжных открытий. Дерево было плакучей березой, старой, кряжистой, с разлапистыми ветвями, увешанными кулями вороньих гнезд. «Посмотри, какое чудесное дерево», — сказала мама. Я посмотрел на березу, которую видел не раз, что-то сжалось во мне, распахнулось, и я вдруг всем существом своим понял, как прекрасно дерево, прекрасней всего, что есть на земле, целый мир, чистый, радостный, свободный, светлый мир, который никогда не изменит, не обманет, выручит, поднимет, спасет. Это очень важно — увидеть в детстве родное, русское дерево.

В Иркутске, в небывалой близости к рекам, горам, недрам, деревьям, цветам, насыщался я, словно под мощным давлением, чувством родины...

С крыши узкого, длинного сарая, примыкавшего к дому, в котором мы жили, открывался постоянный двор. Там грудились подводы с задранными оглоблями; привязанные к задку телег низкорослые лошади с худыми шеями и раздутыми животами, в толстых, как канаты, венах, непрерывно и неустанно жевали солому, пуская длинную слюну с угла черных губ. Между подводами слонялись страшные люди с плоскими, будто раздавленными, смуглыми лицами, твердыми и круглыми, как кулаки, скулами, узкими, припухлыми щелями глаз и широкими, сплюснутыми носами; у многих и вовсе не было носов; у кого на месте носа зияла черная, гноящаяся щель, у кого белела полоска бинта, завязанного узелком на затылке, более счастливые сохранили ноздри с продолговатыми, вертикальными дырками. То были буряты, во множестве наезжавшие в город. В посконных рубахах, в шапках с меховой опушкой, иногда в сопровождении безносых, украшенных серьгами жен и невероятно



грязных детей, они день-деньской гомозились на постоялом дворе, вповалку спали на телегах, пили водку, ругались. Я смотрел на них с любопытством, но без враждебности. Станным, жутковатым родством веяло на меня от них. В их ужасных лицах было какое-то родовое сходство и с лицом отца, и с тонким лицом матери, и с моим собственным детским лицом. Мы были одного корня. В мое новое понятие родины с ее просторами, цветами, реками, горами вошли и эти безносые братья.

По главной улице города, куда выходила наша Малая Блиновская, гуляли среди городской толпы высокие, стройные, светловолосые мужчины и, под стать им, высокие, гибкие женщины — все в легкой серой или кремовой фланели, в красивых, мягких туфлях на толстой каучуковой подошве. Днем их не было видно, они появлялись после четырех, когда смягчался горячий свет дня и тень деревьев, густо посаженных вдоль тротуара, становилась четкой и прохладной. Сдержанные, свободные жесты, сдержанно-громкие, уверенные голоса, открытый смех резко отделяли их от других прохожих. Казалось, каждый из них заключен в прозрачную, до незримости, оболочку, пронизаемую лишь для им подобных. Я встречал их и на стадионе. В белых костюмах и белых шапочках с зелеными целлулоидными козырьками, они играли в теннис, громко и отрывисто выкрикивая: «Плэй... Рэди!» И здесь незримый стеклянный купол отделял их от зрителей, от всего, что не было их миром. Они несли с собой свою особую вселенную, чистую, звучную и свободную. Эти светловолосые, длинноногие боги были служащими датского телеграфа. Какое глубокое и волнующее чувство вызвала во мне их непричастность к привычной мне действительности, их дивно сложенные, узкие тела, четкая, выразительная лепка лиц.

В первой половине дня боги вели скрытое от посторонних глаз существование, или просто я забывал о них. Жизнь все-таки полна интереса, вот хотя бы чудо иркутского рынка!..

Среди бесчисленных палаток, лотков, деревянных рядов переливалась пестрая, шумная, разноязыкая толпа: русские, татары, буряты, якуты, китайцы. Висели на крюках цельные бычьи туши, и отдельно лежали под ними волосатые, рогатые и глазастые бычьи головы; висели изящные бараньи и телячьи тушки, на цинковых лотках горами высились лилово-коричневые ошмотья печени, тугие, мускулистые сердца, селитряно воняла шершавая, зеленоватая, пупырчатая требуха. А рядом покрывалась пылью на деревянных лотках халва из кедровых орехов, желтели глыбы сливочного масла, густо пахивало в кадушках золотистое, крупитчатое, похожее на чуть засахарившийся мед русское масло; кусками горной породы лежала ароматная смолка, которую так вкусно жевать; груды всевозможных, домашнего изготовления сластей перемежались с лепешками козьего сыра, кусками красивого, без жилки и мосолка, пунцового медвежьего мяса, бутылками коричневатых сливок, бидонами жирного, густого молока.

В крытых рядах было царство зелени. Павлинными шлейфами свешивалась с прилавков ботва крупной, с голову ребенка, свеклы, и под стать ей брюквы и репы, прямо на земле валялись расколотые чаши тыкв; гирлянды луковиц в мертвой, сухой одежде соотносились с живой плотью моркови, петрушки, огурцов, помидоров, редиса, как сухие бессмертники с нежной жизнью других цветов. В огромных кадках, в темной жиже, проросшей, казалось, плавающим поверху желтоватым укропом, пряно благоухали всевозможные соленья; связки сухих грибов висели вперемежку со связками сушеных яблок, груш, слив, и как же все это пахло под жарким иркутским солнцем!

Дальше шли рыбные ряды, источавшие столь мощную вонь, что без дела туда не зайдешь. Там сверкала серебром свежая рыба и смуглым золотом — копчености; там царил — гордость Иркутска — истекающий медленным, янтарным жиром омуль...

Запахи снеди смешивались с крепким запахом лошадиной мочи и гнилого сена, колесного, поплывшего на жаре дегтя, — густое, жаркое, пахучее облако плыло над рынком, сладостно щекоча ноздри.

Будто заколдованные бродили мы среди роскошной, баснословно доступной снеди; кошелки давно уже набиты всем нужным и ненужным, а мы все ходим и ходим среди палаток, рядов, лотков, не в силах вырваться из сладкого дурмана. Рынок крутил нас, как водоворот, возбуждал, напрягал и обострял чувства.

— Смотрите, вон женщина с золотыми глазами, — слышится испуганно-восторженный голос мамы, и мы мчимся куда-то, разбивая толпу, задевая, чуть не опрокидывая лотки, и вдруг все трое, разом остолбеневав, замираем в перехвате двух огромных, истинно золотых, небывалых глаз.

И еще вспоминается мне, что над всей рыночной толчеей и суетою покачивались на тонких шеях надменно-брюзгливые, покорно-отчужденные, сказочные морды верблюдов. Я знаю, что это не так, верблюды были позже, в Саратове, но мне хочется подарить верблюдов Иркутску. Им место здесь, в сказке иркутского рынка, а не на голой, пыльной, печально обобранной уже совершившимся переворотом — сплошной коллективизацией, — лишь жаркой пылью пахнувшей базарной площади Саратова.

По иркутскому рынку бродили слепцы и цыгане, шарманщики и медвежатники; пелись песни о мачехе, сжегшей в печи неродных детушек, о бродяге в омулевой бочке. Сколько минуло лет, а мне до сих пор снится его пестрота и шум, его снесь и сытые запахи, теплая, вязкая смолка, кедровая халва и золотые глаза женщины.

Моя песнь рынку будет недопета, если я не расскажу о первой, мучительной влюбленности в человека, постигшей меня там же, на рынке.

Один край рынка занимали частные лавочки: зеленные, мясные, рыбные, кондитерские. Как-то раз, придя довольно поздно и не найдя нужной нам «вырезки», мы зашли в

мясную лавку. За цинковым прилавком в кровавых потеках и загустях орудовал молодой человек с залысевшим лбом и тонкими, пышно отдутыми назад волосами на висках и темени. Он звучно шлепал перед покупателем на прилавок мясную часть, затем швырял ее на иссеченную, похожую на плаху толстую колоду, хрюскал топором по хрящам и косточкам, с небрежным видом бросал отрубков на весы и, не давая успокоиться медным чашкам, так был он уверен в своем глазе, быстро заворачивал покупку в газету. Моего отца он приветствовал как доброго знакомого, но я настолько уже привык к тому, что отца знают все в этом сказочном городе, что перестал испытывать гордость от подобных знаков внимания.

— Познакомься, — сказал отец, чуть подтолкнув меня вперед, — это наш знаменитый чемпион по велогонкам, товарищ Тенненбаум.

Товарищ Тенненбаум проговорил что-то в ответ на эти лестные слова, улыбнулся, показал зачем-то свои окровавленные ладони, но я ничего не слышал, не сознавал. Как оглушенный смотрел я на великого человека, и грозная торжественная музыка творилась во мне.

Уже в ту пору был я болен мечтой о велосипеде. Дома у нас хранилась старая, выцветшая, дневной печати карточка: отец, пятнадцатилетний, в рубашке и брюках с зажимами, стоит под деревом, сжимая в руках велосипедный руль, а носком левой ноги упираясь в педаль. Так и чувствуется: сейчас фотограф скажет «готово», и отец, разом оседлав худого рогатого металлического бога, помчится мимо деревьев в недоступные жалкому пешеходу дали. Я часами мог смотреть на эту карточку. Мне сообщалась готовная напряженность отца тела, я чувствовал щекочущий упор верткой педали под ступней, зуд вспотевших на горячих резиновых рукоятках руля ладонях, миг — и деревья послушно замелькают мимо меня, и заскользят под колесом их тени, и во все стороны полетят золотые стрелы спиц. Металлического бога, подвластного отцу, звали звуч-

ным, похожим на выстрел, кратким словом: «Дукс». Я знал, что есть и другие боги: «Энфильд-Риш», «Энфильд-Рояль», «Энфильд-Урал», «Латвелла», «Опель», «ВСА», я произносил «Бейса». Я мог несколько кварталов гнаться за велосипедистом лишь для того, чтобы спросить прерывающимся голосом: «Дяденька, а какая у вас фирма?» Всякий, сидящий на тугом, пружинном, похожем на сердце седле велосипеда, казался мне существом иного, высшего порядка. Что же должен был я испытать, узрев короля этих избранных!

Тенненбаум был не только чемпионом Иркутска, но и победителем всесибирских велогонок, словом, звезда первой величины в тогдашнем спорте. И все же именно с этим победителем вошла в мою жизнь мучительная тема *второго* человека. Казалось, я с детства предчувствовал ту неглавную, не первую роль, которую придется мне играть в жизни. Но еще задолго до того, как я осознал свою обреченность быть всегда на втором плане, я уже не мог любить первого. Мое сердце, моя боль неизменно принадлежали второму: не Пушкину, а Лермонтову, не Толстому, а Достоевскому, не Алехину, а Капабланке, не Качалову, а Леонидову, не Козловскому, а Лемешеву. Но почему же началось это с Тенненбаума, который на моих глазах доказал полное свое превосходство над соперниками, вторично выиграв иркутское первенство? Очень сильная, очень настоящая любовь делает провидцем всякого человека, даже такого маленького, каким был я тогда. Вопреки очевидности, я где-то на дне души не верил в прочность победы Тенненбаума. Словно Кассандра, сквозь густой дым его торжества проглядывал я близкое поражение, безнадежную «вторость», в которой он пребудет до конца своей спортивной карьеры. Так оно и случилось. Победенный им на моих глазах молодой, смуглоногий, красивый Батаен, чья звезда тогда только всходила, уже через год отбросил Тенненбаума на второе место.

Обреченность моего избранника лишь усиливала мою любовь к нему. С восторженным, печальным и сладостным

азартом глядел я ежевечерне с трибун иркутского стадиона на упрямую, бешеную работу его худых, кривоватых ног...

Это была трудная любовь, но была и другая — нежная, легкая, радостная. Каждое утро мчался я на угол Малой Блиновской и главной улицы, где помещалась частная фотомастерская. В витрине маленького ателье был выставлен стенд с образцами карточек. Я подолгу смотрел на молодое, круглое, кроткое женское лицо с гладко причесанными волосами, разрезанными белой стрелкой пробора. Чуть приоткрытые в полуулыбке губы нежно вматы в добрые, полные щеки, большие серые глаза будто присматриваются к чему-то хорошему, радостному. Низкий воротничок платья открывает высокую, округлую, нежную шею, на груди маленькая, усыпанная камешками, брошка. Чистотой, доверчивостью, добротой и женственностью веет от этого облика. Около витрины останавливаются прохожие, и мне кажется, все они смотрят на Аню. Им, наверное, любопытно, кто эта молодая, красивая, полная светлой благожелательности женщина. Жаль, что никому из них не приходит мысль спросить меня...

Я сказал бы им, что это папина знакомая и моя знакомая тоже; что у нее негромкий голос и тихий, долгий смех; что у нее теплые длинные пальцы, и когда она осторожно запускает их в волосы человеку, то человеку хочется и плакать и смеяться одновременно. Впрочем, этого я, пожалуй, не сказал бы. Но я сказал бы еще, что она довольно высокого роста, куда выше моего отца, и все же, когда они идут рядом по улице, понимаешь, что им надо быть вместе, такое сродство связывает тонкую, хоть и не худую, высокую женщину с маленьким, широкоплечим, коренастым и легким мужчиной. А еще я сказал бы, что у нее есть старый отец, в прошлом учитель, ныне рыбак, множество братьев и сестер, что квартира у них набита сетями, удочками, сачками, аквариумами с золотыми и серебряными рыбками, гербариями, чучелами птиц и зверей и что мне хотелось бы всю жизнь прожить возле нее, в этой чудесной тесноте



ее квартиры, самым младшим ее братом. Я умолчал бы о том, что порой, особенно по ночам, я ощущаю, что между моим отцом и нею есть нечто тайное, но я не завидую отцу, не ревную ее к нему, счастливый той ролью, какая отведена мне в этой любви втроем.

Впрочем, я любил не одну только Аню. Я любил и рослую, рыжеволосую, крикливую Зинаиду Львовну, но любил по-другому, небрежно, чуть свысока. И никогда не виденную мною девушку, которая в пору нашей иркутской жизни переплыла ледяную Ангару; она рисовалась мне лишь взмахом загорелой руки, как взмахом крыла, в пенистых брызгах зеленой от стужи воды. И ту, однажды мелькнувшую на рынке, женщину с золотыми глазами. Я щедро наделял отца ответною любовью всех этих женщин, самому мне нечего было делать с их взаимностью. Хозяин иркутских чудес, отец и сам был сказочен для меня в ту далекую пору. Кстати, много позже одним печальным вечером в безвестном городке Рохме, где вспоминали мы прошлое, выяснилось, что он и в самом деле пользовался любовью всех этих женщин: и Ани, и Зинаиды Львовны, и смелой пловчихи, и даже золотоглазой женщины, лишь для нас с мамой была она мимолетным видением...

Мне никогда не перечислить всех иркутских чудес, но еще об одном, пусть не главном, я должен все же сказать: я как бы взял реванш у московского, упорно не принимавшего меня двора. Наши дворовые ребята никогда не становились столь чуждыми, враждебными мне, как в те загадочные часы, когда гоняли голубей. Я не мог постигнуть смысла этого занятия. Зачем свистят они в три пальца, когда голубиная стая козыряет с карниза на карниз? Зачем простаивают часами на крыше дровяного сарая с сосредоточенными до злобности лицами, высматривая невесть что в небе, и вдруг начинают орать и размахивать руками? Что это, вообще, такое — гонять голубей? Неужто все дело в том, чтобы гонять стаю с места на место? Я чувал, что за всем этим бессмысленным действием кроется какой-то потайной смысл, но проникнуть

в него не умел. Ребята не терпели соглядатаев в эти священные минуты, а спросить их я не решался.

В Иркутске тайна открылась мне. Тут я не был изгоем. Кешки и Леньки — всех иркутских ребят зовут Кешками и Леньками — не только приняли меня в компанию, но и ввели в самое свое сокровенное: в голубиную охоту. Да, это было: огромное голубое небо и разноцветные голуби в нем. Белые, сизые, белые с коричневым, по-кукушечьи пестрые турманы, чистые, палевые монахи, сизари, голуби ничейные, и наши голуби, и голуби ребят с соседних дворов. Стая мечется в голубой выси, тщетно отыскивая место, куда бы сесть, — отовсюду ее гонит пронзительный свист и вопли наших голубятников. Я не принимаю участия в гоне. Скорчившись за деревом, я сжимаю в потной руке конец бечевы, тянущейся к откидной дверце клетки-домика. Близ клетки расхаживает с перевальцем сизая голубка. Порой она взлетает невысоко и трудно на подрезанных крыльях, роняет два-три изящно изогнутых перышка и снова садится у отверстий дверцы. И голуби, мечущиеся в выси, вдруг опускаются ниже, трепещут над домиком и разом, с пристуком, садятся рядом с голубкой. Жеманно знакомятся клювами и следом за хозяйкой заходят внутрь домика, словно для осмотра квартиры, сдаваемой внаем. Нервный вздрог моей руки опережает рассчитанное движение, дверца захлопывается. Голуби наши!..

Все эти многочисленные чудеса, это перенапряженное существование, полное каждодневных открытий, должны были породить какое-то главное, ответное чудо во мне самом. Так оно и случилось, незадолго до нашего отъезда, на речке Ушаковке, куда меня отпускали купаться одного...

На Ушаковке было весело, просторно и как-то необыкновенно светло. Иркутское солнце, отраженное в зеркалах двух рек, заливало простор ослепительным светом. В этом свете таяли вершины слюдяных гор, а сияющий белизной город казался искупавшимся в молоке. И так много было блещущего, сияющего, светящегося, отражающего веществ-

ва, словно здесь, на ушаковской стрелке, выковывались для утренних зорь новые ослепительные тарелки солнца.

Однажды я, против обыкновения, долго задержался на реке. Я не замечал часов, мне казалось, что сумерки наступили внезапно, словно их принесла большая туча, вставшая над Ангарой. Простор сузился и замкнулся. С востока над ним нависли горы, тускло-сизые и холодные, с запада поднялся город черными куполами церквей, утрюмая туча и недобрая тьма подступившего вплотную городского парка завершили круговую огорожу. Вода отсвечивала тусклой фольгой, и свет этот бессильно стелился на берегу, словно тень настоящего света.

Я почувствовал себя погруженным на дно гигантской чаши. Где-то, за краями чаши, остались отец и мать, осталась счастливая радость моих летних иркутских дней. А края чаши вздымались все выше, сдвигались, жадно поглощая простор, неизвестный страх вошел в мое сердце. Словно узник, пытающийся вырваться из темницы, я стал разыскивать самое слабое звено в огороже. Горы, туча, парк не давали мне никаких надежд. Я взглянул на город: самый высокий купол собора приютил немного золотого света. Я сжал три пальца в щепоть и, с силой ударяя себя по лбу, груди и плечам, стал горячо молить:

— Миленький Боженька, я тебя очень люблю, сделай так, чтобы со мной ничего не случилось, миленький Боженька, сделай, чтоб со мной ничего не случилось, сделай, чтобы я опять был с мамой и папой, миленький Боженька, я тебя так прошу, так прошу!..

Отныне облезлые купола и покосившиеся черные кресты стали для меня средоточием тайны и избавления. Умиленно, жарко и надрывно нес я им свой впервые пробудившийся страх перед жизнью. Это было не только рождением страха, но и рождением души. Девяти лет от роду согнулся я впервые под тяжестью души...

Ощувив так проникновенно силу Божью, я навсегда поразился слабости человеческой. Я понял, что мои ангелы-

хранители — мои близкие — способны защитить меня лишь от грубых житейских тяжестей, но бессильны в мире тайны и страха. Я увидел, как слабы они и ненадежны, как сами они нуждаются в защите, и решил стать их ангелом-хранителем. Я не пропускал отныне ни одного купола, ни одного креста, ни одной двери, отверстой в дышащее старым сундуком и медом нутро церкви, чтобы не вымолить им большого или малого счастья:

— Миленький Боженька, сделай!..

На десятилетия обременил меня Иркутск этой нележкой и утомительной заботой...

Все имеет конец — кончилось и долгое иркутское лето. Мы с мамой снова в вагоне, уже пробил второй звонок. На перроне в опавших желтых листьях вовсе не сказочный, а простой, родной и потерянный, с мокрыми глазами и жалкой узенькой улыбочкой на монгольском своем лице крепится и неслышно за толстыми стеклами шутит бедный такой сейчас отец. Я надсадно вымаливаю ему счастья, скорого возвращения, всего, всего. Слепой от слез, уверенный, что и меня не видно, я молюсь все откровенней, беззастенчивей и отчаянней, и поезд трогается...

#### 4. САРАТОВ

Когда мы ездили в Иркутск, шел второй год ссылки отца, до того он находился в глухой деревушке на Лене, под Киренском, и мы за дальностью не могли увидеться с ним. Из Иркутска отца перевели в Новосибирск. Это постепенное передвижение его из мест весьма отдаленных в места менее отдаленные было результатом настойчивых хлопот мамы. Благополучное завершение очередных хлопот ознаменовывалось появлением в нашей квартире двух жизнерадостных молодцов, пахнувших новой кожей сапог и ремней. Один был черный, с небольшой острой бородкой, другой — огненно-рыжий, с бледно-голубыми, бешеными и ласковыми глазами. Квартира наполнялась про-

бочной стрельбой, громкими голосами, шарком и смехом, без устали играл патефон, один из первых патефонов в Москве, напевая: «Вас махст ду мит дем фус, либер Ханс...»

Когда же истек трехлетний срок ссылки, отец получил так называемый «минус» не помню уже сколько городов. Во всяком случае, он немного выиграл от своего мнимого освобождения. Правда, он мог теперь жить ближе к Москве, но все мало-мальски стоящие города оставались для него под запретом, кроме городов все той же Сибири. Почему человек, отбывший определенное судом наказание, не может вернуться домой, а должен еще годы находиться в изгнании, было неведомо. Мы были огорчены, возмущены, мы плакали, но мы не мучили себя этим вопросом: почему? Мы были бы куда сильнее поражены, если б отец вернулся. Так или иначе мама начала действовать. И вот снова наша квартира наполнилась радостным гоготом и вкусным запахом сапог рыжего весельчака и его бородатого приятеля, снова ударили пробки в потолок и охрипший, сносившийся голос стал спрашивать Ганса о его ноге, — отец получил разрешение поселиться в Саратове. Летом мы поехали к нему.

Пусть других мальчиков их благополучные, не разлученные с ними отцы воспитывали каждодневно: кто словом, кто делом, «от руки», по выражению Диккенса, а кто и словом и делом. Мой отец по-своему тоже воспитывал меня, но без мелочной опеки. Он воспитывал меня городами, дорогами, сменой болей и острейших, рвущих душевную ткань впечатлений.

Если Иркутск был многолик, разнообразен, то вся саратовская моя жизнь прошла в одном ключе, в одной неистовой страсти, затмившей все и вся: Волгу, которую я в тот приезд так и не «открыл» для себя, и самый город, оставшийся в памяти лишь облаком пыли, и его обитателей, с которыми я не вступил ни в какие отношения. Этой страстью были бабочки. Она настигла меня в самый день приезда, когда сын папиных хозяев показал мне свою коллек-

цию, хранимую в двух больших плоских картонных коробках из-под детской настольной игры с загадочным названием «Риче-Раче». Наколотые иголками на картон, с распластанными крылышками, похожие то на лепестки цветка, то на тончайший шелк, то на бархотку, то на яркий, пестрый ситец — бабочки были поразительно красивы. Я никогда не думал, что их так много и они такие разные. Я смотрел на бабочек и понимал, что отныне нет мне никакой жизни, если я не соберу такой же коллекции. Что привлекло меня: красота ли этих бабочек, предощущение ли азарта ловли или зараза чужого вдохновения? Скорей всего и то, и другое, и третье, а главное — коренящееся в каждом человеке стремление к совершенству и завершенности; бессильное пересоздать внутреннее существо человека, оно ищет свою форму в чем-либо внешнем. Коллекционирование — это фокус, в котором собирает себя распыленная личность.

Хозяин бабочек, почуяв мою «затронутость», стал увлеченно рассказывать о своих сокровищах. Это вот уральских махаон — у бабочки были ярко-желтые, изящно и остро удлиненные книзу крылышки с темным, колечками, бордюром. А это белый махаон, он еще крупнее, чем уральский, но ценится меньше. Вот траурница — название говорило само за себя, — темно-коричневые бархатные крылья бабочки были обведены двойной каймой — белым с черным. Эти вот пестренькие — сестры: одну именуют аванесе-це, другую аванесе-таланте. Вот мраморница, ее крылышки покрыты мрамористым разводом. Эти, в мелких точечках, большая пестрая и малая пестрая, они бывают и оранжевыми и фиолетовыми. Желтенькая — лимонница, беленькая с черным — капустница. Вот эта, будто углем натертая, большая черная, а эта малая черная. Я слушал, и каждое название намертво запечатлялось в мозгу.

Покончив с дневными бабочками, хозяйский сын перешел к ночным, занимавшим вторую коробку.



— Видишь, надкрылья у них серые, окрашены только нижние крылышки. Когда они садятся на ствол дерева, то складываются конвертиком, так что их ничем не отличишь от коры. Вот розовый бражник, вот — голубой, а вот — молочайный, вон какой здоровый! А вот самая главная... — Он достал из стола папиросную коробку, медленно открыл. — Мертвая голова, — произнес он таинственно и значительно. — Видишь череп и кости?

Я смотрел на огромного ночного летуна, с черным распахом верхних крыльев и нежной желтизной округлых нижних крылышек, с вошпанным, толстеньким телом, и готов был увидеть не только череп и кости, но и целое кладбище...

На следующее утро я с помощью мамы наладил сачок, — покупные сачки, по презрительному замечанию хозяйского сына, годились только гусениц ловить, — и началась та изнурительная, слепая, запаренная, неистовая жизнь, в которой я сжег, сам едва не сторев, саратовское лето. Если даже слить воедино, в одну привязанность, все мои иркутские кумиры: цветы, Тенненбаума, Аню, Зинаиду Львовну, датчан, церковные купола, то бабочки и тогда перевесят их.

Я смутно помню Волгу и песчаные острова, куда мы ездили купаться, помню лишь низенькие кусты шиповника, где трепыхались желтые платица лимонниц да пестрый наряд больших и малых оранжевых. Я почти забыл улицу, на которой мы жили, она представляется мне в мелькании сачка, которым я пытаюсь накрыть капустницу. Но я отлично помню все девять остановок, так называли в Саратове девять дачных поселков, связанных с городом и друг с другом однопутной линией пригородного трамвая: там приобрел я лучшие свои экземпляры дневных и ночных бабочек. В городе и на реке водились лишь самые простенькие представительницы этого летучего племени.

Вначале мы отваживались ездить лишь до пятой остановки. Трамваи ходили редко и нерегулярно: чем дальше

остановка, тем хуже было сообщение. Порой что-то портилось, и трамваи на долгие часы замирали на путях. Каждая поездка грозила опасностью не вернуться в тот же день в город. И все же мы подавались все дальше — слишком уж скудной добычей дарили меня первые перенаселенные остановки, слишком заманчивым казалось то, что ждало впереди.

Наша отвага была вознаграждена. На восьмой остановке, близ крошечного бочажка, глядевшего из травы темным птичьим глазом, бочажка, из которого бил чистый, хрустальный ключик, я накрыл сеткой медлительного, низко и плавно парящего белого махаона, а несколько позже и его более быстрого уральского собрата. Правда, за этим ловким и стремительным, не боящимся выси летуном мне пришлось немало побегать. Трижды или четырежды теряя его из виду и раз было, совсем отчаявшись, хотел прекратить погоню. Но дразнящим золотым листиком он снова зареял в луче солнца, и снова я кинулся за ним. Наконец, запыхавшийся, потный, растрепанный и счастливый, я предстал перед родителями, отдохавшими в тени бочажка, с добычей в руке.

— Это аванесе-таланте? — с улыбкой спросил отец. Он разбирался в бабочках не лучше, чем в цветах, но мне стоило бы задуматься над тем, как подчеркнуто произнес он это название.

Несмотря на все мои усилия, коллекция росла медленно. Много бабочек пропадало от моей ручной неумелости. Чтобы бабочка годилась в коллекцию, надо предварительно распялить ее на листе картона. Делается это с помощью узеньких полосок бумаги и булавок. То я слишком грубо распяливал бабочкам крылья, и они обрывались, то бумажные полоски стирали нежную пыльцу, и бабочки выходили из распялки полуголыми, то я слишком рано снимал закрепки, и крылышки складывались, а при повторной моей попытке разлепить их — осыпались. Так погибли и первые мои махаоны, и бесчисленное множест-

во крошечных, особенно нежных мотыльков, и великолепная траурница. Отчаяние мое было так велико, что мама решила взять меня на последнюю, девятую остановку, откуда, по уверению отца, не вернулся еще ни один трамвай. Там приобрел я новую траурницу и новых махаонов и даже молочайного бражника.

Последняя поездка заслуживает особого рассказа.

Отец плохо переносил саратовскую жару, он и вообще плохо чувствовал себя на природе. В городе он был подвижен, оживлен, за городом разом старел, тускнел, начинал задыхаться. Во время наших походов он спал обычно где-нибудь в тени, нехорошо оскалив рот и трудно, с присвистом дыша. Когда девятая остановка вытеснила все остальные маршруты, ему стало не под силу нас сопровождать. Теперь мы ездили вдвоем с мамой, нередко исчезая на целый день. Это было жестоко по отношению к отцу, но что было делать — только на девятой водились бражники.

Однажды мы с мамой забрались очень далеко от остановки. Проплутав в орешнике, мы вышли на широкую проселочную дорогу, и эта дорога привела нас в сосновый лес. Высокие, на подбор, мачтовые сосны стояли одна к одной, голубоватые, прямые, клубящиеся пылинками лучи солнца, как прожекторы, просвечивали их плотный строй. Быть может, оттого, что это были первые сосны, увиденные мною в Саратове, я сразу поверил в удачу.

Я отыскал крепкую палку и, колотя ею по стволам сосен, двинулся вдоль опушки. Сосны коротким, звонким эхом отвечали на удары, с ветвей осыпалось что-то, вспархивало, вызывая во мне сладкую дрожь и озноб, и, наконец, вспорхнуло со ствола — словно крупная шелушина коры ожила, отделилась от дерева и, протрепыхав в воздухе, перелетела на другой ствол и слилась с ним. Лишь на краткий миг в сером трепыхании шелушины мелькнули голубоватые пятнышки, и я уже не сомневался, что это молочайный бражник. Я бросился к сосне, на которую он сел, но бражник так замаскировался, что его невозможно было обнаружить.

Я ударил по сосне палкой, — бражник перетерпел, не выдал себя, но на меня кинулся целый рой диких ос, гнездовавшихся на сосне. Казалось, мне сделали все прививки — от оспы до противостолбнячной. С диким воплем, обронив тапочку и выпустив палку, я бросился к дороге, к маме, но громадные, вислозадые, как кобылицы, осы яростно гудели надо мной, атакуя голову, шею, плечи.

Прохожий человек, тронутый нашей бедой, взялся вызволить мою тапочку. После многих попыток, искусанный с головы до пят, он отбил у свирепых ос их трофей. Затем мама одолжила у него папиросу, и человек двинулся своей дорогой, потирая искусанную щеку.

— Знаешь, — сказала мама, нервно затягиваясь папиросой, — а ведь бражник так и сидит себе на сосне.

Я преданно взглянул на мою безумную мать и двинулся к сосне.

Вернулись мы поздно, к ночи, с каким-то случайным, заблудшим трамваем. Отец ждал нас на улице, у него было черное лицо.

— Папа! — крикнул я возбужденно. — Смотри, чего у меня есть! — и показал ему бражника.

— О! Это аванесе-таланте? — пошутил он с вымученной улыбкой.

Но я не жалел отца. Я думал о том, что моей коллекции не хватает главного — ночной королевы, таинственной и жуткой мертвой головы. Хозяйский сын объяснил мне, что мертвую голову можно поймать только ночью, на свет фонаря. И начались ночные бдения. Лишь только смеркалось, я выходил с большим жестяным фонарем в чахлый палисадник при нашем доме и просиживал здесь долгие часы, сам, как и фонарь, облепленный слетающей со всего города мошкаррой и мотыльками. Порой на освещенной земле мелькала тень мотылька покрупнее, я вздрагивал и после долго слышал, как стучит во мне сердце.

К полуночи меня все же загоняли в постель, тут даже мама, понимавшая мою муку, становилась беспощадной.

Неизжитое возбуждение отыгрывалось чем-то похожим на лунатические припадки. Во сне я вставал и начинал бродить с закрытыми глазами, как сомнамбула. Несколько раз я просыпался на постели хозяйского сына. Наверное, его комната, где в ящике письменного стола хранилась папиросная коробка с мертвой головой, и была целью этих ночных странствий. Ограбить, что ли, я его хотел? Но, видно, во мне бодрствовали не только двигательные, но и моральные импульсы, в последний миг отводили они меня от преступления и укладывали в кровать рядом с тем, кто должен был явиться моей жертвой.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы я внезапно и навсегда не охладел к бабочкам. Однажды я показывал коллекцию папиному знакомому, тоже ссыльному, биологу по образованию. Он внимательно осмотрел бабочек, затем, оседлав нос очками, стал читать названия, которыми я, как истинный коллекционер, снабдил каждый экземпляр. На лице его мелькнуло изумление, затем он громко расхохотался и снял враз запотевшие очки.

— Что это?.. Откуда?.. — говорил он, промокая щеки носовым платком. — Может быть, я безнадежно отстал от науки, но почему капустная совка переименована в боярышницу и что такое аванесе-таланте? — Он еще раз со вкусом повторил это слово, напомнив мне интонации отца. — Нет, скажи, где ты раздобыл эту классификацию?

— Мне так сказали, — пробормотал я.

— Тебя обманули. Таких бабочек не существует. Есть родваннеса, А-ва-нес же просто армянское имя. А эта вот, запомни, пяденица, а не прядалица, дай я тебе запишу...

Я машинально подал ему карандаш. Исчезли привычные, сросшиеся с моим сердцем названия, которые были для меня как боевой охотничий клич, названия, что стучали в моем мозгу, пружинили мышцы, напрягали нервы, когда, усталый, потный, я продирался сквозь колючий репей, секущую до крови крапиву в погоне за быстрой, верт-

кой беглянкой. Оказывается, не ловил я никакой траурницы, а ловил монашку, может быть, так даже лучше, но открытие наполнило меня чувством невозвратной утраты, так же как и всевозможные совки, шелкопряды, златогузки, огневки, заместившие моих выстрадавших бражников, мраморниц, больших и малых оранжевых. Отчужденно смотрел я на свою коллекцию, глупым, жалким, обманутым казался я самому себе.

Слишком поздно пришло избавление. Когда меня спрашивают, почему я так рано постарел, почему у меня седые волосы, одряхлевшее лицо, морщины, одышка, почему я и сам и в том, что пишу, производжу впечатление крайней усталости, почти изношенности, я могу ответить: все началось с бабочек. Тогда открылось мне, что я могу жить только на пределе, на последней грани; пусть вначале понимание это было бессознательным, лишь позднее облеклось оно в мысль, я тогда уже перестал противиться силе этих разрушительных велений. В разные поры жизни бабочки оборачивались то марками, то «Тремя мушкетерами» — годы вел я двойное существование: одно — как мальчик Сережа, другое — как д'Артаньян, то бильярдом, то литературой, то женщиной, но каждое обличье этого первого фанатического увлечения ставило меня на край гибели.

Отец угадал разрушительное начало моего характера. Мое неистовство было в корне чуждо его легкой и гармонической натуре. Вначале он пытался негрубо выщучивать увлечение бабочками, потом сделал робкую попытку переключить мой интерес на менее опасные предметы — стадион, цирк, но, потерпев поражение, смирился. С тех пор и до конца дней появилась в нем крошечная отчужденность ко мне и что-то сострадательное. Отчужденность шла от угадки во мне не его светлого, а темного, материнского начала; сострадание — оттого, что он любил меня и мучительно жалкой была для него открывшаяся во мне непрочность, гибельность.

Уже когда я крепко стоял на ногах, когда я был его единственной и надежной опорой, когда он, казалось, должен был восхищаться сыном, так цепко оседлавшим не задавшуюся ему жизнь, я не раз подмечал на его лице все то же с детства знакомое сострадательное выражение.

Он восхищался, гордился мной, но не верил в меня. Не верил, читая мои книжки рассказов и даже редкие хвалебные отзывы о них; не верил, когда я, прекрасно одетый, за рулем собственной «Победы» возил его по Москве. Неверие усугублялось тем, что мои рассказы, появившиеся в печати, и в самом деле казались отцу слабоватыми, а не принятые в печать ему, воспитанному на классике, были глубоко чужды и огорчительны. От них веяло на него тем же чуждым, враждебным, разрушительным духом, противным всякому внутреннему порядку.

Все в человеке происходит сложно и непрямо. Порой, прослушав по радио мою передачу о запечатленных в сталинской конституции высоких правах советского человека или прочтя в «Труде» мою статью о задачах планирования, отец несколько успокаивался и готов был отнестись ко мне с большей верой, но тут я подсовывал ему какой-нибудь очередной сокровенный рассказ, и все шло прахом. Испугал его, огорчил и усугубил неверие в меня мой развод и то, что у меня нет детей, во всем видел он действие все той же губительной силы.

Бедный отец не понимал, что разрушительные силы приведут меня не к катастрофе, а к самому обычному концу: по изжитии своего века к добропорядочному инфаркту или раку.

И сколько я ни пыжился, ни задавался для его же пользы, сколько бы ни старался казаться уверенным и крепким борцом, человеком с точным расчетом времени, целей и средств, он по-прежнему проглядывал сквозь мои меняющиеся блистательные личины одержимого, потного, несчастного мальчишку, измученного погоней за недостижимым.

## 5. ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ

Перед окончанием саратовской ссылки отца нашу квартиру в последний раз огласили хриплые звуки «Милого Ганса»: это значило, что мать избавила отца от следующего круга Дантова ада, именуемого «минус три». Этот «минус» исключал для отбывшего двойной срок наказания возможность поселиться в Москве, Ленинграде и Киеве.

Я хорошо помню торжественный день встречи отца. Я задолго готовился к ней. В ту пору моей жизни и бабочек, и уже отжившее мушкетерство заменила география. На все деньги, перепадавшие мне от мамы, я скупал географические карты. В день рождения и в другие праздники я не принимал иных даров, кроме карт, атласов, глобусов. Карты и атласы были той данью, какой облагался друг моей матери, ставший впоследствии моим отчимом. Вся моя большая, с высоченными стенами комната была увешана картами. Там были огромные, в несколько квадратных метров, карты земного шара и всех пяти материков, карты всех стран мира, вплоть до карликового государства Андорры, красивая, многоцветная карта земной флоры и фауны с тигром, пробирающимся сквозь лианы, с обезьянами, скачущими с ветки на ветку, со слонами, бегемотами, носорогами, львами, птицей-лирой, утконосом, кенгуру, ленивцем; с пальмами и сухим ягелем, с тропическими лесами и нашим березняком и ольшаником. В глобусах, от крошечного, настольного, с апельсин, до голубого, блестящего, как зеркало, гиганта, стоящего прямо на полу на длинной черной ноге, отражались выпукло-изогнутые окна. Верно, отца вполне и до конца дней удовлетворил бы этот простор вселенной, заключенный в коробочку комнаты, но жизнь распорядилась иначе: его ждало еще много страшных российских просторов, и мне предстояло следовать за ним.

У меня был закадычный друг Вадик. Чуть странный, чуть сумасшедший и бесконечно мне преданный. Его я



тоже готовил к встрече с моим отцом, этим дивным человеком, сказочной физической силы, разительного остроумия, героя прошлой войны, и прочая, и прочая.

Настал наконец день, когда мама, Дашура и я отправились на Павелецкий вокзал. Я так раззудил себя, что, кажется, и впрямь ждал: из вагона появится богатырь, грудь в крестах, — и, верно, испытал бы разочарование, увидев живую, плотную, маленькую фигурку отца. Но то, что перед нами предстало, потрясло меня до отчаяния. Усохший вдвое, с седыми, запавшими, будто всосанными щеками и непривычно вытаращенными стеклянными глазами, бедно, почти нищенски одетый, странно-равнодушный и чужой — таким вышел из вагона мой отец, волоча в бессильно опущенной руке какой-то грязноватый мешок. Мы не знали из сдержанных писем отца, как тяжело дались ему последние два года. Ему давно стало известно, что с Саратовом его ссылка не кончается, он не верил, что мама и на этот раз сумеет чего-либо добиться. Разлука без конца и края сломала его физически и душевно, он опустился, у него открылась циклотимия.

Тогда я ничего этого не знал, если б и знал, горе мое оттого не стало бы меньше. Отца подменили, я был страшно и жестоко обманут. Я кинулся вон с вокзала и у контроля столкнулся с Вадиком: мой друг приехал на встречу, но из деликатности держался в стороне.

— Едем, — только и сказал я ему и побежал к трамвайной остановке.

С присущей ему редкой душевной тонкостью, Вадик ни о чем не спросил меня...

Дома, когда побрившийся, искупавшийся в ванне, переодевшийся отец принял чуточку прежний свой вид, я не мог все же заставить себя к нему подойти. Я отводил взгляд, односложно отвечал на его вопросы и все норовил ускользнуть из комнаты.

— Смотри, Сережа отвык от тебя, — мимоходом бросила мама.

Нет, я не отвык, я стыдился этого самозванца, присвоившего имя и права моего замечательного отца.

Лишь поздно вечером, когда перед сном он подошел ко мне и поцеловал в голову и я ощутил знакомое прикосновение и увидел его маленькую смуглую руку, так похожую на мою руку, на меня пахло чем-то таким родным, таким единственным, таким близким, что на неслышном, подавленном всхлипе я раз и навсегда принял этот новый, изменившийся, дорогой образ отца.

Отец прожил с нами недолго. Сразу по возвращении его направили в санаторий для нервно- и психически больных с гордым названием «Мцыри». Там он пробыл два месяца. Мы с мамой в это время уехали на лето в деревню. А затем осенью, едва семья съехалась, началась «паспортизация», и отцу, как бывшему ссыльному, в московском паспорте было отказано.

Отец выбрал для жительства поселок Бакшеево — центр обслуживающих Шатурскую электростанцию торфяных разработок. В ту пору это была страшная глухомань. Пассажирский поезд ходил только до Шатуры, оттуда надо было добираться рабочей узкоколейкой, затем на вагонетках торфяной кукушки. Казалось бы, отцу следовало выбрать Калугу, Тамбов или какой-нибудь иной город, связанный с Москвой напрямую. Но он именно потому и выбрал Бакшеево, что эта торфяная дыра не была городом. И Шатура не была городом; не были городами и ближние населенные пункты — Рошаль, Черусти. Городом для этого торфяного края была Москва, тем более что Шатурский район входил в Московскую область. Живущий там человек с известным правом мог считать себя москвичом. А отец не признавал никаких городов, кроме Москвы. У него к Москве была такая же страсть, как у славянофилов. Но если для девственного Константина Аксакова Москва была чем-то вроде вечной невесты, то для грешного отца — многоликой женой, с Москвой связывалась для него самая романтическая, победная, бурная пора его жизни.

Много позже, уже взрослым, я познакомился с отцовской географией Москвы, по-новому украсившей для меня улицы, бульвары, парки и переулки этого города. Когда отец говорил «Сокольники» — он видел не запыленный парк с пивными киосками, хулиганами и потрепанными велосипедистами, а нечто вроде Булонского леса, где под сенью деревьев он любил Эльзу К. Чистые пруды — кошмар моего детства, там меня постоянно и жестоко избивала чистопрудная шпана — были оваяны для него памятью о его первой большой любви к Лиле К. — сестре Эльзы. А так как отец любил много и щедро, то не было почти такого уголка в городе, который не вызывал бы в нем поэтического отзвука.

Чтобы не утратить Сокольники и Чистые пруды, сестер К. и счастливую свою юность, отец выбрал Бакшеево.

В Бакшееве он быстро пошел в гору. Приехав на должность рядового экономиста, он уже через год был начальником планово-экономического отдела торфоуправления. Он обладал громадной, не тронутой до сих пор трудоспособностью, ясным и быстрым умом, скромным честолюбием, и работа его захватила.

В Бакшееве произошло с отцом еще одно неожиданное превращение: он стал «энтузиастом» в том высоком смысле, каким исполнено было это определение в пору подъема и чаяний второй пятилетки. К своей вере он пришел не умозрительно, как иные, он «вработался» в нее, впервые оказался причастен к настоящему, горячему делу. Этому способствовали беззлобие, интеллигентская жертвенность и презрение к капитализму — плод юношеского увлечения марксистской философией.

За пять лет, проведенных отцом в Бакшееве, мы виделись не часто, но регулярно. Он работал без выходных, а потом брал сразу три-четыре дня «отгула» и приезжал в Москву. Эти дни были для меня светлым праздником. Разрушительное, бродяжке начало отчима выдувало всякий быт из нашей жизни, всякий намек на уют и душевный покой. А я был тогда очень бытовым человеком, и меня радовало, что с при-

ездом отца каждодневность приобретала тот оттенок торжественности, которая украшает жизнь настоящих семей, что завтрак, обед и ужин становились ритуалом, что в простейшие вещи — будь то послеобеденный отдых, прогулка, посещение кафе, отход ко сну — вкладывался вкус.

Отец приезжал утром, и тут же, словно по мановению, возникала большая, горячая, пышная лепешка (почему-то с тех пор эти лепешки навсегда исчезли из моей жизни), громадный, нежный омлет с розовыми крапинками мелко наструганной ветчины, кофе со сливками. Мы садились к столу, и мама объявляла, что сегодня я не пойду в школу.

В этом была вторая огромная радость отцовских приездов. Глубокая, страстная, мрачная ненависть к школе была едва ли не самым мощным из всех изведанных мною чувств. Как бы тоже увлечением, но наизнанку. Я бесконечно изощрялся, чтобы пропускать школьные занятия, и буквально изнемогал в этой вечной борьбе со школой. Приезд отца освобождал меня на какое-то время от этой борьбы, я получал задаром то, что стоило мне обычно многих мук и претивших мне хитростей.

Вместо школы я отправлялся с отцом в Музей изящных искусств. В первый раз мы попали туда случайно, но затем эти посещения стали для меня необходимостью. Музей со всем, что его наполняло, переносил меня в мир, бесконечно далекий от грубого мира школы. Форнарина с ее дивными бараньими глазами не могла существовать в одном пространственном измерении с ненавистной Калерией Викторовной, нашей классной руководительницей; пейзажи Коро и Рейсдаля — с пейзажем Чистых прудов, где находилась моя школа. Священная тишина залов словно навсегда исключала безобразный хаос школьных перемен, а печальный покой Ватто — ту оскорбительную тревогу, всегдашнюю готовность к оскорблениям и унижениям, в какой держала меня школа. Тогда я не понимал этого так, как понимаю сейчас. Я думал, что обожаю живопись, на деле же ненавидел школу.

Едва ли отец получал большое удовольствие от этих походов. Он был равнодушен к живописи, к тому же быстро уставал. Тем не менее он всегда предлагал мне проделать обратный путь пешком, если не до самого дома, то хотя бы до Театральной площади. Мы шагали по московским улицам, у отца делалось счастливое лицо. Зимой, летом, в осеннюю слякоть или в весеннюю хлябь он всегда радовался Москве, всегда находил для нее нежное слово. То и дело отвечал он на приветствия и сам приветствовал знакомых, от «некогда очень красивой женщины» и до старого парикмахера, державшего для отца в прошлом отдельный прибор...

Меж тем приближался незабываемый тысяча девятьсот тридцать седьмой год.

У многих народов существует сказание о маленьком острове, населенном небольшим добрым народом, над которым тяготеет страшное проклятье: что ни год, жители острова должны отдавать стоглавому чудищу красивейшую из своих девушек. Сходное проклятье тяготело над маленькой нашей семьей. Каждая очередная «кампания» требовала от нас кого-либо в жертву. Еще не занялась заря тридцать седьмого года, а уже посадили отчима: он стал чем-то вроде Иоанна Предтечи ежовщины.

И вновь будто посланцы далекого детства зазвучали в нашем доме слова: «Лубянка», «передача», «свидание», — последнее с добавлением «не дают».

Отец удвоил свою заботу о нас, присылал нам почти всю свою заработную плату, премиальные, отпускные, и непонятно, на что жил сам. Он стал чаще приезжать к нам, но весной, когда начался квартальный отчет, не смог приехать даже ко дню моего рождения. Он только прислал письмо и денежный подарок. Тем нетерпеливее ждали мы его к майским праздникам. Тридцатое апреля пришлось на воскресенье, Дашура спозаранку изжарила лепешку и приготовила яйца для омлета, но отец не приехал.

Поезд из Шатуры приходит в восемь тридцать утра, от Казанского вокзала до дома не более получаса езды. Наутро Первого мая мама, папин брат Боря и я с девяти часов стояли на балконе, поджидая отца, который должен был вот-вот появиться из-за угла Телеграфного переулка. Но вот уже десять часов, а его все нет. Мы не на шутку встревожились. Наконец я увидел вдалеке знакомое коричневое кожаное пальто и серую кепку.

— Вон он! — вскрикнул я.

— Не говори глупостей! — резко одернул меня дядя Боря.

Зрение у меня было куда острее, чем у дяди, почему же от его резкого окрика я сразу поверил в свою ошибку? Кожаное пальто и серая кепка приблизились и обернулись незнакомым, но удивительно похожим на отца человеком. Тот же рост, та же походка, те же широкие плечи, спина, ну совсем бы чуть-чуть, и это был бы отец. Сколько лет прошло, а до сих пор владеет мною странное и, при всей его нелепости, неистребимое чувство вины за то, что человек этот не оказался отцом. Немного больше веры, готовности к чуду, какое-то внутреннее усилие, и это был бы отец. Но я дал сбить себя с толку, проявил малодушие, слабость, не дотянул на волос и выпустил из рук судьбу дорогого человека.

Долго еще стояли мы на балконе. Мы ждали его до позднего вечера, твердо зная, что ему не на чем уже приехать в Москву. Вздрагивали при каждом звонке, при всяком шуме в передней. Ждали и на другой день, и в следующие, когда кончились праздники. Обманывая самих себя, мы негодовали, почему отец не предупредил нас телеграммой, что не сможет приехать. Или с озабоченным видом говорили: быть может, он заболел? А может, его задержал проклятый квартальный отчет?..

Мы продолжали играть в эту жалкую игру вконец растерявшихся людей, хотя давно уже знали *все*. Мы не знали только — когда?..

После поездки мамы и дяди Бори в Бакшеево выяснилось и это. Отца арестовали двадцать седьмого апреля, в дни предпраздничной чистки, ставшей с тех пор на многие годы традицией.

## 6. СТРАХ

Мы остались вдвоем с мамой. По утрам мама носила отчиму на Лубянку передачу, деньги, тщетно добивалась свидания, в остальное время худыми пальцами выколачивала из дряхлого ундервуда прокорм для нашей маленькой семьи. Непривычная бороться с жизнью в одиночку, она нашла вскоре тот единственный выход, какой ей оставался. Врачи говорили: «Малярия», но лишь потому, что надо же как-нибудь обозначить болезнь, от которой человек таял, как сахар в кипятке.

Ртуть в термометре не опускалась ниже 40<sup>0</sup>, и я впервые подумал о том, что могу остаться один на свете. И вместе с невероятной жалостью к матери я почувствовал в себе новую, странную силу, — силу отказаться от жизни, если умрет мать. Я представил себе это так отчетливо и просто, что, зная, сколько таится во мне слабости и нерешительности, был удивлен бесконечной сложности и неисчерпаемости своего существования, способного и на такие решения.

И тогда мне захотелось разобраться в неведомом мире собственной личности. Мое первое литературное произведение называлось последней буквой алфавита — «Я». Мне нравилось писать о своих слабостях, недостатках, пороках, о самых жалких проявлениях своего характера, ведь все освещалось и оправдывалось последним решением.

...Было около часа ночи. Мертвенная тишина царила в большой и беспокойной общей квартире, когда колокольчик у входной двери тренькнул один раз. «К нам», — механически отметил мозг. В следующий миг я отложил карандаш и отодвинул густо исписанные листы. В такую позднюю пору никто не мог к нам прийти.

Что же не открывают? Колокольчик тренькнул еще раз, решительно, но без раздражения. «За нами», — подумал я и улыбнулся дикости происходящего.

Мать лежала в забытии, откинув руку на лоб. Согнутая в локте рука, такая белая, такая желтая, походила на крыло вареной курицы, под чуть пупырчатой кожей обрисовывались неправдоподобно тонкие косточки. Эту руку особенно трудно было примирить с тем, что должно было случиться сейчас.

Я вышел в коридор. Какая тишина за дверьми соседей. Оказывается, люди могут обходиться даже без дыхания. Кухня, освещенная тусклой лампочкой, выглядела огромной со своими незримыми в сумраке углами. Черный, прокопченный потолок казался дырой в ночь. Но белый кафельный сундук плиты был милым и уютным. В трещинах кафеля друг на дружке спали тараканы. И почему-то вид этой плиты отнял у меня всякое мужество.

Я закрестился и зашептал, как в детстве: «Миленький Боженька, сделай, чтоб только не это. Миленький Боженька, ты же видишь, что с мамой, ну ради мамы, все, что хочешь, только не это...»

И я неотрывно смотрел на черный, тоже прокопченный колокольчик, висящий так спокойно и тихо, словно и не звонил только что.

«Миленький Боженька...» Я не закончил, тронутый внезапной надеждой, но тут же увидел, как ножка колокольчика чуть приподнялась, замерла на какой-то краткий миг, затем снова припала к стене, и язычок коротко звякнул о металл.

«Миленький Боженька, дорогой, самый любимый», — забормотал я, громко выкрикивая отдельные слова, в то время как мои сложенные в щепоть пальцы больно колодили по лбу, груди и плечам. «Милый Боженька, если уж это так нужно, если иначе никак нельзя, сделай, чтоб не меня, пусть одну только маму, любимый Боженька, ну, сделай так, чтоб только не меня!..»



Словно в ответ, колокольчик ударил еще раз, и я, чтобы ускорить развязку, откинул крючок и с силой распахнул дверь.

Площадка, едва высвеченная лунным светом, была совершенно пуста, если не считать кошки, стремительно пронесшей над лестничным пролетом два изумрудных глаза.

Ветер медленно и беззвучно поводил оконной рамой с разбитыми стеклами, и, зацепившись за шпингалет, веревка дергала колокольчик.

Черный колодезь двора, лишь поверху тронутый слабым, ущербным месяцем, был тихо-пустынен, а на дне колодца гигантским плевком серебрился круг самодельного катка.

Все спало за темными окнами, мир по-прежнему был безопасен, и все же он стал иным, чем несколько минут назад.

В оконном стекле я видел свое лицо. Оно выступало из темной глубины, розовея, до слез близкое, родное и вместе чужое лицо. Я улыбнулся ему странной, кривой, не своей улыбкой.

Томительное, острое чувство утраты и непонятого освобождения владело мною. Лишь однажды в жизни довелось мне еще раз испытать сходное чувство, но в ослабленном, словно полинялом виде — при первой близости с женщиной. В переживании первой любви не было той остроты и силы перерождения, как в первом предательстве.

Страх у кухонной двери, этот первый серьезный, взрослый страх открыл мне действительную сложность моей природы. Это очень важный шаг на пути к зрелости — первое, пусть воображаемое предательство.

## 7. ЕГОРЬЕВСК

Мы узнали, что отец находится в егорьевской тюрьме, и в июне 1937 года, после долгих бесплодных хлопот, мать получила наконец разрешение послать ему передачу.

Закупив все необходимое, мы выехали в Егорьевск маленьким, душно вонявшим дезинфекцией пригородным

поездом. Около пяти часов тащились мы по грустному, голому, но все же милому свежестью молодой зелени простору, освещенному тихим солнцем, мимо заболоченных вырубков и ржавцов, мимо скудных березовых рощиц и крошечных станций. На душе у нас было печально и светло. Мы чувствовали лиризм своего одиночества, своего горя и своей верности нашим узникам. Похудевшее после болезни мамино лицо было прозрачным, тонким, непрочным. Иногда мы улыбались друг другу, словно опробывая связующую нас нить.

От станции к городу вели длинные, километра в полтора, шаткие деревянные мостки, провисшие над ярко-зеленым болотом. Тюрьму мы отыскивали сразу, она помещалась в старом монастыре, стоящем на поросшем молодой травой бугре. Вокруг тюрьмы, молчаливо признав ее своим центром, рассыпал город скучные деревянные домишки и приземистые бараки.

Зеленый вал от подножия до стен монастыря был усеян нашими товарищами по несчастью. Были среди них и печальные дамы в старомодных соломенных шляпках с линиями цветочками, и старые московские интеллигенты в брюках-дипломат и коротких коверкотовых пальто, и колхозники в лаптях, похожие на коровинских богомольцев. Всю эту разношерстную толпу объединяла молчаливая, покорная растерянность. Будут ли или не будут принимать передачи, никто не знал. Затем как-то вяло протек слух, что в пять часов начальство объявит свою волю.

Мы пошли бродить по городу. Мне довелось видеть много невеселых среднерусских городов, но ни один не производил такого безрадостного впечатления, как Егорьевск. Город старинный, но нет в нем ни уюта, ни приветливости старины, ни трогательности, ни мечтательности. Какой-то он весь голый, необжитой. Голы дома, даже не обнесенные палисадниками, голы лишенные деревьев пыльные улицы, гол, как лысина, скверик у кино с вытоптаным газоном и усохшими, потерявшими листву метелка-

ми кустиков. Мы долго мыкались по широким пустынным улицам, пока набрали наконец на маленький зеленый оазис, где билась свежая жизнь. То был двухэтажный особнячок в тени старых пахучих лип. Здесь былолюдно, шумно и весело. На двери особняка висела металлическая дощечка с надписью: «Народный суд».

Мы вошли. Большой нарядный зал с позолоченной люстрой был полон народа. Слушалось дело об алиментах.

Ответчик, молодой еще парень, с глупым, рябоватым, лошадиным лицом, в новом пиджаке и при галстуке — узел галстука чуть не подпирал ему подбородок, — держался с независимой мужской грацией.

— Ничего не знаю, — твердил он, шаря глазами по стенам и потолку. — Мы с ей чисто по-товарищески вращались.

Истица, худенькая, с испуганным, желтым личиком, вела себя так неуверенно и робко, словно и сама не верила, что этот роскошный холуй в самом деле одарил ее своей близостью. Она не плакала, как-то тихо сочилась слезами. На вопрос судьихи, при каких обстоятельствах сделал ей ответчик ребенка, она чуть слышно проговорила:

— На мосту, где же еще, — подняла голову и впервые улыбнулась.

Но самым любопытным на суде была не эта пара, а маленькая черноглазая, худо одетая девчонка, по виду разнорабочая, принимавшая во всем происходящем необычайно живое участие. Она то и дело подавала реплики, подсказывала истице, перебивала ответчика и в конце концов вступила в спор с судьей. Спор завершился тем, что ее оштрафовали на двадцать пять рублей. Но девчонка не утомилась и после этого: не успел суд удалиться на совещание, как она громко крикнула жене ответчика, под стать ему рябоватой, крупной и тяжелой в кости молодойке:

— Ну, Маня, теперя тебе Колька не нужный. Четверь снимут — не гуляй зазря! — А затем, повернувшись к сидящей рядом со мной женщине: — До чего ж

я эти суды люблю!.. Поглядишь на чужую жизнь, вроде бы и сама пожила!..

Мы снова вышли на улицу. Больше в городе смотреть было нечего — тюрьма и суд, вот два места, где сосредоточивалась его жизнь. Мы поплелись назад к тюрьме. Зеленый обод вокруг высоких каменных стен был по-прежнему усеян людьми, большинство спало, кто лежа, кто сидя, но каждый и во сне придерживал рукой свою посылочку.

Я глядел на них и думал: что за странная условность согнала сюда со всех концов Московской области этих разных людей! Кто-то и зачем-то, словно ножом, рассек народное тело, объявив одну его часть виновной перед другой. Но и сидящие там, за каменной стеной, и томящиеся тут, под стенами, равно знают, что никакой вины нет. Знают это и те, что охраняют заключенных, и те, что арестовывали их, и те, что обвиняли их в несовершенных преступлениях; знают это и те, что будут судить их и засудят, и те, что погонят их по этапу, и те, что с винтовкой в руках обхаживают колючую ограду лагерей. Знают все, от мала до велика, от ребенка до старца, но, словно сговорившись, продолжают играть в эту зловещую игру.

Около шести вечера ворота тюрьмы приоткрылись, и грубый голос коменданта гаркнул:

— А ну, давай, что ли!..

Нас давили, толкали и мяли, и мы тоже давили, толкали и мяли, и все это почти в полном остервенелом молчании. Как и все, мы сдали свою передачу, затем, опустошенные, будто обманутые в чем-то, поплелись назад к станции.

Там, где мостки делают крутой поворот, перед нами, в широком распахе, открылся монастырь-тюрьма, облитый розовым закатом. И почему-то лишь сейчас, после целого дня, проведенного возле тюрьмы, я почувствовал вдруг, что там, за стенами, так близко и так недосыгаемо находится мой живой отец с его смугловатым монгольским лицом, с его улыбкой, его словечками, его неумелыми маленькими

руками, родной, бедный человек, которому я ничем, ничем, ничем не могу помочь.

Верно, и мама испытала сходное чувство, она старательно отворачивала лицо, но я видел, как морщилась ее щека. А затем было долгое ожидание поезда, и три огня, налетевшие из сгустившейся тьмы, и грубая толкотня посадки, и тьма, и духота вагона, и отчаянная усталость на выходе, когда, казалось, не станет сил добраться до дома. А потом было счастье, неслыханное, небывалое, ошеломляющее. Дверь нам открыла Дашура, непривычно чистая, прибранная, с выбритой верхней губой, в новом фартуке, она молча распахнула дверь в мамину комнату, и нас ослепил стол, застланный белейшей, туго накрахмаленной скатертью, на столе среди всевозможной снеди, от зернистой икры до шоколадных конфет, искрились бутылки дорогих вин. И раньше, чем мы успели осознать случившееся, из темной глубины комнаты в свет, в жизнь, в наши души ступил освобожденный из тюрьмы отчим. И впервые поверив в Того, кому я так часто молился, я шагнул в отгороженный шкафом угол комнаты, где на стене висел фарфоровый умывальник, проговорил: «Миленький Боженька!..» — но, растеряв все слова, припал лбом к холодной глади умывальника и зарыдал.

..Через три месяца отца судили. Суд, пусть при закрытых дверях, был редкостью в то время. Подобные дела обычно решались в застенках Лубянки. Отец удостоился чести быть судимым, потому что его виновность не вызывала сомнений.

В канун майских праздников отец трудился над составлением квартального отчета. Его сотрудники были заняты обычным предпраздничным бездельем: развешиванием гирлянд, лампочек, портретов. Когда в его кабинет внесли третий по счету портрет, отец, выведенный из терпения, сказал, что портретами квартальному отчету не поможешь. И все.

Следствие затянулось — попутно отца обвинили в поджоге торфяных разработок. Хотя во время торфяного пожара отец находился в Москве, следовательно упорно отка-

звался считать это доказательством его невинности. У отца открылось тяжелое психическое заболевание, его поместили в Институт судебной психиатрии. Там его подвергли строжайшему исследованию, даже прокололи его бедное тело, чтобы взять спинномозговую жидкость, после чего признали психически здоровым. По счастью, следовательно успел за это время подыскать другого «поджигателя», не сумевшего бежать в болезнь, и отец стал для него неинтересен. Дело передали в суд.

Мама, отчим и дядя Боря, продежуриив целый день у подъезда суда, видели, как выводили отца по окончании слушания дела.

— Семь и четыре! — счастливым голосом крикнул отец.

Это означало: семь лет лагеря и четыре года поражения в правах. Перед тем как захлопнулась дверца «черного ворона», отец с тем же радостным видом помахал им барашковой шапкой. Он был уверен, что его приговорят к расстрелу.

## 8. ЛЕНИНГРАД

Зимой сорокового года я получил разрешение свидеться с отцом. Он находился в ту пору в лагере под Кандалакшей, в местечке Пинозеро. С двумя большими чемоданами, набитыми вкусной едой и теплой одеждой, я отправился в Ленинград, чтобы пересечь там на «Полярную стрелу».

Я ехал в эту дальнюю поездку, дальнюю не столько расстоянием, сколько необычностью конечного пункта, расположенного за Полярным кругом, в это первое в моей жизни самостоятельное путешествие, без живого, осязаемого представления о встрече с отцом. За три года я отвык от него, к тому же из мальчика я стал мужчиной, из школьника — студентом, из неуверенного, мятущегося бумагомарателя — профессиональным литератором и предполагал найти в нем что-то новое, незнакомое мне. Предстоящая встреча была уравнением с одним неизвестным, и я никак не мог решить

его. Порой, лежа на верхней полке мчащегося сквозь зимнюю, метельную ночь поезда, я представлял себе вдруг, что встречу своего, прежнего, московского, иркутского, саратовского папу, и меня обдавало теплом и нежностью, но мое изменившееся «я» тут же вносило в это представление какую-то поправку, знакомый образ расплывался, исчезал, оставляя после себя неприятную пустоту и холод, и в конце концов я совсем перестал думать о цели своей поездки. Я просто ехал, куда, зачем — неизвестно. Поезд раскачивался, дрожал, лязгал буферами, то убыстрял, то замедлял ход, за окнами пробежали огоньки, и в этом движении, в этой тряске, в этих набегающих и исчезающих огнях был весь смысл моей поездки. Иного я не знал.

Заснул я под утро и не успел вработаться в сон, как захлопали двери, вагон словно продуло сквозняком и в знобящей свежести вошло в меня: «Приехали — Ленинград».

Сдав чемоданы в камеру хранения, я вышел на привокзальную площадь. Меня поразило, что Московский вокзал — точная копия нашего Ленинградского. Города открываются человеку по-разному, иногда с первого взгляда, иногда для этого нужна долгая жизнь. Я очень много ждал от Ленинграда, подобное чувство всегда соседствует с противоположным, и потому я был настроен на неприятие города. Я бессознательно сопротивлялся тому новому, волнующему, сильному, что мог внести Ленинград в мою жизнь.

Вокзал оказался своего рода амортизатором, он как-то сразу поставил город в разряд привычных вещей. «Ничего страшного» — так можно определить ощущение, с каким двинулся я вверх по Невскому проспекту. Любопытно, что Невский я отыскал безотчетно, не спутав его ни со столь же широкой Лиговкой, ни с другими улицами, выходящими на вокзальную площадь, так же безотчетно угадал я и верное направление: к Адмиралтейству.

День был серый, пасмурный, похожий на наши московские сумерки. Я шел по Невскому, радуясь, что я один в чужом городе, сам себе голова, что город спокойно и

просто принял меня в себя, что, на худой конец, позади знакомое здание вокзала, от которого прямая, длиною в ночь, дорога ведет к другому такому же зданию, но уже в моем, привычном мире.

Уравновешенный, самостоятельный путешественник заходит в кафе, заказывает омлет с ветчиной и сосиски, стакан какао и стакан кофе со сливками, съедает и выпивает все это, расплачивается и идет дальше, еще более уверенный в себе, ничего не страшась.

Он спокойно радуется коням Клодта, снисходительно узнает Казанский собор, но блеск Адмиралтейской иглы, зажегшийся вдруг в январской хмари, слишком остро колет его в сердце. Он не замечает, что шаг его делается быстрым, дыхание прерывистым, что он почти бежит, натываясь на прохожих и забывая извиниться, что он уже схвачен, заколдован этим городом, — схвачен и заколдован навсегда, на всю жизнь.

Когда я ехал в Ленинград, то думал, что увижу красивые здания: дворцы, соборы, колонны, памятники побед. Но мне открылось нечто неизмеримо высшее: город как художественно организованное пространство. Меня восхитило и Адмиралтейство, и Зимний дворец, и здание Биржи, и арка Главного штаба, но куда больше волновало меня то, что открывалось между зданиями, в просторе арки, те перспективные прогляды — не знаю, как сказать иначе, — которыми на каждом шагу дарит Ленинград. Вторые и третьи планы — вот наиболее великолепное в этом городе, вот что делает Ленинград неисчерпаемым. Он построен не из камня, вернее, не только из камня: из неба, воды и воздуха, а это вечно обновляющийся материал...

## 9. ДОРОГА НА СЕВЕР

Утро застало меня на второй полке жесткого некупированного вагона «Полярной стрелы». Я открыл глаза и снова закрыл их, почти ослепленный нестерпимо ярким



светом, пронизывающим вагон из окна в окно. Вокруг нас пламенели в оголенном блеске солнца не белые, а огнистые, мерцающие, швыряющие пучки золотых стрел, неправдоподобные снега. Порой, забывая даже их неистовый сверк, вспыхивали серебристые зеркала скованных льдом озер. Я вспомнил о цели своего путешествия, и совсем невероятным представилось мне, чтобы из этой сверкающей пустоты, снегов и льда мог возникнуть отец. Напрасно пытался я думать о Ленинграде — пронизанная светом пустота вокруг меня не желала поступиться и частицей своей власти. Она владела своей жертвой безраздельно, вытесняя из нее даже память. Так лежал я без мысли и чувства, сам пустой, как этот простор, и незаметно для себя задремал.

Мой сон длился не более часа, но когда я вновь открыл глаза, все вокруг неузнаваемо изменилось. За окнами лежали сероватые, погасшие снега, над ними, словно их продолжение, выгибалось мутно-белесое небо, чернели редкие низкорослые сосенки и, будто кружочки свинцовой чайной обертки, тускнели пятаки озер. Сумеречно было в вагоне; на нижней полке, наискось от меня, летчик в меховых унтах лапал худенькую молодую женщину в черной шелковой юбке, под которой обрисовывались острые колени, в коротком жакетике и съехавшем на плечи шерстяном платке. Накануне, разыскивая свою полку, я обменялся с этой женщиной несколькими словами. Она ехала из-под Саратова на свидание с мужем, отбывавшим заключение в Сорокском лагере, и в Ленинграде сделала четвертую пересадку. У нее не было денег на постель, она провела ночь, свернувшись клубочком на голой скамье, подложив под голову плетеную корзинку. Эту корзинку с гостинцами для мужа она придерживала еще и руками, ломко вывернув их в запястье.

Летчик, хмельной, краснолицый, с тяжелым, свистящим дыханием, упорно и планомерно вел атаку. Очевидно, он знал, что ей сходить в Сороке и времени у него в обрез. Вначале, по наивности, мне казалось, что эта маленькая,

решительная женщина успешно пресекает все его поползновения. Она била его по рукам, отталкивала, резко высвобождала плечи, порой вскакивала и с сердитым видом уходила к окну в коридоре. Но потом я заметил, что после этих схваток, кончавшихся, как мне казалось, ее победой, летчик неизменно завоевывал клочок жизненного пространства. Еще три-четыре ее победы, и одна рука летчика проникла к ней за пазуху и заворочалась там, ловя маленькие груди, а другая сквозь ткань юбки нащупала лоно. Я ждал, что она закричит, призовет на помощь, и уже прикидывал мысленно свое участие в предстоящей свалке, но она сидела тихо, оборотив лицо к окну с видом полного непричастия, затем вдруг вырвалась и пошла по коридору в тамбур. Летчик шумно вздохнул и последовал за ней.

Когда они вернулись, было ясно, что она одержала последнюю и решительную победу над летчиком. Его красное лицо побледнело, глаза задернулись сонной влагой, он зевал и отдувался. Казалось, они раззнакомились. Он сразу завалился спать, сыто захрапев, а она с озабоченным видом принялась перебирать свою корзинку. Только раз отвлеклась она от своего занятия, чтобы поправить на летчике сползшую шинель. А потом была большая станция Сорока, гурьба пахнувших морозом мужчин, отчаянно и радостно хлынувших в вагон, и срывающийся, взхлеб, крик маленькой женщины, крик любви, жалости и счастья:

— Вася!..

И долгое, долгое объятие.

Подхватив на плечо плетеную корзинку, небольшой, коренастый, усыпанный веселыми веснушками Вася гордо и счастливо повлек к выходу свою «верную» подругу.

Теперь за окном бежали сопки, поросшие карликовыми соснами, промелькнула станция «Полярный круг», скоро и мне сходить, а я все не могу поверить, что эти дали, снега, вся эта чужеродность обернутся отцом.

С таким ощущением, будто играю в какую-то странную игру, выволок я чемоданы в тамбур и, когда поезд

причалил к маленькой, занесенной снегом платформе, спрыгнул вниз. Я не успел оглядеться, как вокруг зазвучал звонкий женский смех, замелькали молодые, милые женские лица, меховые шубки, шапочки, шелковые чулки, ботики. Это было похоже на сказку. Чуждый, враждебный мир неожиданно окунул меня в тонкую, благоуханную атмосферу женственности. Откуда, кто они, так легко и празднично одетые, что делать им в этом суровом, невеселом месте?

— А ну, посторонись! — слышался крик, и мимо моего лица мелькнул приклад винтовки. Я шарахнулся в сторону. Между мной и стайкой женщин оказалась полоска пространства, и теперь со стороны я увидел, что такая же полоска отчуждения отделяет их ото всех и вся на платформе. И тут нет никакой отвлеченности: нарядная, смешливая, щебечущая стайка женщин окольцована конвойными с примкнутыми штыками.

— Сергей Дмитриевич! — услышал я вкрадчивый голос. — А меня ваш батюшка прислал.

Передо мной стоял небольшой мужичонка в тулупе, справных валенках и шапке с лисьей опушкой. Широкоскулый, хитроватенький, с редкой бороденкой, он напоминал коненковского полевичка. Не удивившись ни его появлению, ни тому, что он знает меня по имени, я спросил, кто эти женщины.

— А, указницы, — сказал полевичок. — Это которые на работу опаздывали... Давайте-ка ваши чемоданчики.

Я отдал ему чемоданы. Не так давно был опубликован указ о том, что вторично опоздавшие на работу свыше двадцати минут будут караться заключением в исправительных лагерях сроком на один год. Я и в мыслях не допускал, что указ будет применяться на практике. И вот я увидел его в действии. Похоже, и женщины не очень-то верили, будто все это всерьез. Иначе разве пустились бы они в путь в шелковых чулочках, коротких шубках, модных маленьких шапочках и негреющих перчатках? Или их брали прямо со службы? Что же, и такое возможно.

— Смеются, — проговорил полевичок, кивнув на женщин, и сам как-то неприятно рассмеялся.

Мы двинулись широкой санной дорогой к темнеющим невдалеке постройкам. Крутом была пустота, немного солнца и низенькие, разбросанные там и сям строения. Ничего грозного, зловещего или хотя бы странного. А потом я приметил словно бы нитку, по которой бегал солнечный луч. Нитка была натянута между нами и ближайшими строениями; приглядевшись, я увидел над этой ниткой другую, затем еще и еще. И вдруг весь простор засверкал тоненькими нитяными бликами. Эти блики забегали, заиграли и впереди, и справа, и слева, и дальше, вон у тех сопок, и за той карликовой рощицей сосен-лилипотов. С нашим приближением нити очернились, и их оказалось более десятка, туго и тесно натянутых одна над другой, и уже видно, что это вовсе не нити, а проволока с шипами колючек, и колючая эта огорожа со всех сторон охватывает строения, на которые мы держим путь. И тут наконец я понял, что весь простор, как шахматная доска, разграфлен на квадраты колючей проволокой, что передо мной во все концы простерлась гигантская клетка...

## 10. ВСТРЕЧА

Проверка документов и оформление пропуска на территорию лагеря заняли много времени. В Заполярье темнеет рано, уже зажглись многочисленные лампочки на столбах вокруг комендатуры, круглые рыбы глаза прожекторов, венчавших сторожевые башенки, протянули в синеватый, призрачный сумрак свои длинные лучи, когда человек, в овчинном полушубке, с наганом на боку, приказал терпеливо дожидавшемуся меня полевичку:

— Ступай за ихним отцом.

Полевичок быстро скатился с лестницы, а человек с наганом сказал мне:

— Можете идти на улицу. Его сейчас приведут.

Я вышел на «улицу» — неширокий коридор между двумя рядами колючей проволоки, поставил на снег чемоданы и снова приготовился ждать. Но тут все произошло до странности быстро. Из проходной напротив комендатуры легко выбежал маленький человек в шубе с барашковым воротником и барашковой шапке, нахлобученной на затылок, за ним вразвалку вышел часовой с винтовкой, последним выюркнул знакомый мне полевичок.

— Сережа! — крикнул человек в барашковой шапке и легко, по-молодому, подбежал ко мне.

Мы поцеловались. Я, конечно, сразу узнал отца, он мало изменился, хотя несколько постарел, поседел, но я не был готов к встрече. Я не нашел образа нашей встречи в дороге, не смог представить его себе и здесь, во время долгого ожидания в комендатуре, к тому же меня связывало присутствие часового и юркого полевичка. Я как-то одеревенел. Я деревянно улыбался, я поворачивался деревянно, я почти сердился на отца за его легкость, бодрость, громкую веселость.

— Познакомься, — говорил отец, — это товарищ Лазуткин.

Полевичок протянул мне из глубины рукава красноватую обмороженную клешню.

— Хороший у меня сын? — весело и любовно спросил отец.

— Очень хороши-с, — подтвердил Лазуткин и зачем-то подмигнул мне.

— Сын приехал! — крикнул отец какому-то прохожему человеку, тот кивнул и улыбнулся.

— Пошли, что ли... — проговорил часовой.

— Сейчас пойдем! — резко отмахнулся от него отец. — И вообще надоело! Неужели вы не можете оставить меня в покое?..

Что-то рабье пробудилось во мне.

— Пойдем, — сказал я недовольно, — чего нам тут стоять.

Отцу хотелось еще побыть здесь, на перепутье лагерных дорог, чтобы возможно больше людей увидели его замечательного сына, но он не умел противоречить тем, кого любил.

Мы пошли: впереди Лазуткин, нагруженный чемоданами, за ним мы с отцом, позади часовой.

— Кто этот Лазуткин? — тихо спросил я. — Твой денщик?

— Вроде. Я его подкармливаю, а он оказывает мне всякие услуги.

— Противный человек!

— Страшная сволочь! — Отец сказал это совершенно беззлобно. Он отнюдь не был лишен ни проницательности, ни понимания людей, но, угадывая низость окружающих, не руководился этим в своем к ним отношении. Тут не было слабости, скорее широта и рыцарственность характера.

— Ты нипочем не угадаешь, за что он сидит, — сказал отец.

— За убийство?

— Нет. За неуплату алиментов. Он троереженец. Притом из раскольников. Любопытный тип.

— Надо что-нибудь дать ему?

— Ни в коем случае. Он только вчера обворовал меня на месяц вперед.

Мы подошли к маленькой фанерной избушке, стоявшей в стороне от длинных, низких бараков лагеря. Часовой отпер висячий замок.

— Тут и устраивайтесь, — сказал он и сразу пошел прочь, неся за плечом острый, узкий блик штыка.

Лазуткин втащил чемоданы. Я щелкнул выключателем. Слабенькая лампочка под потолком тускло осветила деревянные нарты, фанерный, на одной ноге, столик, железную печурку с трубой, похожей на самоварную, поленницу березовых дров, заледеневшее окошко и обросшие бахромчатым инеем стены.

Лазуткин топтался в снях, громко сморкаясь.

— Может быть, поднесем ему рюмочку? — предложил я.

— Ты привез спиртное? — испуганным голосом спросил отец. — Это стро-жай-ше запрещено!

— Ну и черт с ним, что запрещено! Не выбрасывать же марочный коньяк и коллекционный портвейн!

— Выбрасывать, конечно, жаль. Надо спрятать.

Мы поспорили. Я несправедливо обвинил отца в трусости. В живом, непосредственном общении с людьми он ни в чем не изменял себе, своей внутренней свободе, а это и есть смелость, но он сызмальства привык уважать законы. Так был он воспитан. Я же был воспитан иначе. Стоило отцу заспорить с часовым, как во мне тут же заговорила рабская покорность, но к отвлеченной форме насилия — закону я не питал ни малейшего почтения. Кончился наш спор тем, что бутылку вина мы решили не прятать и завтра распить с приятелями отца, а коньяк и большой флакон тройного одеколона зарыть в снег.

Сунув одеколон в карман, а коньяк за пазуху, я вместе с Лазуткиным отправился «на дело». Мы держали путь на барак, вдруг искристую белизну снега лизнул сиреневый язык прожектора, и Лазуткин сдавленно крикнул:

— Нашупали!.. Ложись!..

Мы вжались в снег, затем поползли куда-то в сторону, провалились в яму, выбрались, сделали короткую перебежку, снова распластались на снегу и снова ползли, снова падали, снова бежали, пока Лазуткин не сказал:

— Будя! Можно закапывать. Тут место приметное.

Приметным это место было только для Лазуткина. Вернувшись в фанерный домик, я не мог объяснить отцу, где мы схоронили коньяк и одеколон.

— Ничего, Лазуткин помнит, — сказал я наивно. Позднее выяснилось, что Лазуткин место «запомнил». Всю игру с перебежками он затеял лишь для того, чтобы запутать меня. Несомненно, отец это сразу понял, но не подал виду.

— Вот и отлично! — сказал он нарочито довольным голосом. — Ну, здравствуй еще раз. — И поцеловал меня холодным, твердым ртом.

Не знаю почему, я как-то странно засуетился. Открыл зачем-то оба чемодана и стал вытаскивать еду, теплые фуфайки и кальсоны, все это грудой сваливая на столик.

— Ты ешь... — лихорадочно говорил я. — Вот ветчина, вот сыр, хочешь, откроем икру?..

Отец мягко отказывался: он только что пообедал. Кормят здесь неважно, но начальник планового отдела берет для него еду в столовой для вольнонаемных. Там нету, конечно, таких прекрасных вещей, какие привез я, но, в общем, еда сытная и доброкачественная...

— Это тебе надо поесть, ты, наверное, проголодался в дороге.

— Нет, я не хочу, а ты ешь, — упрасивал я. — Смотри, какая телятина, это Дашура жарила... А вот носки, их Липочка вязала, специально для тебя... — Я совал ему телятину и носки, мне хотелось, чтобы он сразу съел всю еду и сразу надел на себя все привезенные мною теплые вещи. Мне не терпелось воочию убедиться в нужности моей поездки. Я не понимал, что самый приезд мой куда важнее для него, чем все эти вкусные вещи, носки и фуфайки. А затем мне попался под руку «Молодежный альманах» с первыми моими произведениями, я сунул его отцу и потребовал, чтобы он прочел рассказ «Бич». Сейчас же, немедленно.

— Я читал. Прекрасный рассказ. Мне прислал этот «Альманах» дядя Боря. Но, — поспешно добавил отец, — очень хорошо, что ты привез второй экземпляр, мой совсем истрепался. Ты ведь самый популярный писатель в Пинозере... Знаешь, — сказал он вдруг, — давай затопим печку, а потом начнем пировать.

И когда он сказал это, я вдруг каждой жилкой почувствовал, как холодно здесь. Мое лихорадочное состояние, помимо других причин, было вызвано подспудным, недопус-



каемым до сознания страхом, что нам не выдержать долго в этой ледяной фанерной могилке.

И мы занялись печью. Если верно, что на все дела человеческие взирает сверху недреманное око, то оно должно было увлажниться слезами при виде немощных наших потуг. Нет и не было на свете людей, которым материальный мир был бы столь недружествен, как нам с отцом. Наши схожие руки, не произведшие никогда даже простейшего жизненного добра, бессильно хватались то за обледенелые чурки, то за спички, то за обрывки бумаги, набросанной на полу. Сначала мы до отказа набили узкий зев печки цельными полешками и попытались их зажечь. Но спички гасли, едва приблизившись к ледяным чехольчикам поленьев. Тогда мы напихали в печку бумагу и подожгли. Бумага вспыхнула и, зашипев, погасла, пустив струю едкого, вонючего дыма.

— Знаешь, — сказал отец, маскируя свою тревогу деловой озабоченностью... — Надо расколоть поленья на мелкие лучинки, тогда получится.

Возле печки валялся ржавый, без ручки, тупой косарь. Отец взял полено, неловко пристроил его стоймя и ткнул косарем. Полено упало, и косарь, вывернувшись из оконечных пальцев, отлетел в сторону.

— Дай, я попробую.

С большим трудом мне удалось отколоть тоненькую лучинку.

— Отлично! — сказал отец, подобрав лучинку. — А ты мастак!

Еще несколько ударов — и в руках отца оказалось три-четыре лучинки.

— Отдохни, — сказал отец, — я сам займусь печкой.

Освободив топку от поленьев, он сложил там лучинки крест-накрест, подсунул клочок бумаги и чиркнул спичкой. Бумага занялась, лучинки зашипели, по ним с веселым треском забегал огонек.

— Ну вот! — сказал отец, потирая руки. — Сейчас мы хорошенько протопим наше бунгало и сядем ужинать.

Я отщепил еще две-три лучинки, а затем то ли косарь наткнулся на сук, то ли не знаю уж отчего, но полено перестало колотиться. Я отшвырнул его прочь, выбрал другое, но тут наши щепочки, не прогорев, погасли.

— Надо побольше бумаги, — сказал отец, — дрова слишком промерзли.

Все привезенные мною продукты были плотно завернуты в бумагу, и этого добра оказалось сколько угодно. Вскоре у печки выросла целая бумажная гора.

— Знаешь, — сказал отец, — по-моему, мы великолепно можем отапливаться одной бумагой.

Быстро заполнив печку этим легким, надежным топливом, мы развели славный огонь. Как радостно было смотреть на яркое, шумное пламя, длинными языками рвущееся из топки. Но не прошло и минуты, как вся бумага выгорела, не родив никакого прибýtка тепла. Я бросил взгляд на отца и тут же отвернулся, у него было такое лицо, будто он сейчас заплачет.

И тут к нам явилось спасение. Тощая фанерная дверь студено взвизгнула, и в щели возник клочок густой, смутно шевелящейся тьмы. Но такой был холод в нашем фанерном домике, что мы не почувствовали дыхания окованной морозом ночи. Вслед за тем дверная щель заполнилась чьей-то рослой фигурой, и в комнату ступил человек в полушубке, бурках и теплой ушанке.

— Здравствуйте, — сказал человек. — Ну и холодище у вас, хуже, чем на улице. Ты что же, решил поморозить сына? — обратился он к отцу.

— Печка не топится, — смущенно пробормотал отец. — А вы что — дежурите?

— Дежурю... Случайно услышал, что к тебе сын приехал, вот и зашел проведать, как вы тут... А ну, собирайтесь, я вас в баню провожу, сегодня для указниц топили.

— А можно? — неуверенно проговорил отец.

— Дмитрий! — сурово оборвал его вошедший. — Я сказал — все!

Дежурный явно рисовался, и рисовка его адресовалась ко мне, человеку с воли. При всей своей неопытности, я сразу это почувствовал, но был так ему благодарен, что даже простил его фамильярное обращение с отцом. Я быстро покидал в чемоданы продукты и вещи, и мы вышли на серебристый, звонко скрипящий снег. Какие-то светящиеся, зыбкие тени бродили по черному, в редких звездах небу. Я спросил, что это?

— Северное сияние, — глухо проговорил за моей спиной отец.

Мороз склеивал губы, пресекал дыхание, жестко растягивал кожу по скулам, сжимал виски, мозжил пальцы, и, когда мы подошли к бане, я не чувствовал ни лица, ни рук, ни ног.

Наш проводник распахнул одну дверь, затем другую, в глаза ударило, ослепив, густым банным паром.

— Вот лявы! — выругался проводник. — До сих пор возятся. Сейчас я их турну!

Пар расцедился, и я понял, к кому относились его слова. Мы стояли в предбаннике, набитом полураздетыми и вовсе раздетыми женщинами. Иные отжимали влагу с мокрых волос, иные вытирались тощими полотенчиками, иные застегивали лифчики, тесно сводя лопатки, другие надевали через голову юбки, натягивали чулки, штаны, а те, что уже оделись и обулись, увязывали грязное белье. Но все они, и полуодетые и раздетые, не обратили ни малейшего внимания на приход троих мужчин. Ни одна не отвернулась, не изменила позы, не прервала начатого движения. И когда наш спаситель, подойдя к ним, велел поторапливаться, они оставались все так же слепы, глухи и немые, и в этой их безучастности к окружающему было что-то зловещее.

— Несчастные женщины, — вполголоса сказал отец. — Это опоздавшие на работу, или, как их тут называют, указницы.

— Мы приехали одним поездом!

Невольно я еще раз взглянул на женщин, но эти молчаливые, бесстыдные, с грубыми, обветренными и распаренными лицами купальщицы как-то уж очень не походили на виденную мной днем веселую, пеструю стайку. К тому же одежда на тех, кто успел ее натянуть, была скверная, грубая, рваная: бумазейное белье, бумажные чулки, ватники, сапоги, валенки.

— Нет, — сказал отец, — сегодняшняя партия уже прошла санобработку. Это — старички.

— Что значит «старички»?

— Ну, давно прибывшие.

— То-то я вижу... Те, что сегодня приехали — совсем иные, — сказал я. — Настоящий цветник.

— Эти выглядели не хуже, — грустно сказал отец. — Их помещают с уголовниками, через месяц ни одну не узнать. Раздетые, разутые, замученные, опустившиеся... Уголовники насилуют их, проигрывают друг другу в карты. Потом тяжелейшие земляные работы... Сохраняются более или менее лишь те, с кем живет лагерное начальство.

Пока мы разговаривали, наш избавитель притащил откуда-то деревянный лежак, похожий на пляжный топчан, только вдвое шире, затем набитый соломой матрац, фанерный столик, такой же, как в нашем первом пристанище, две табуретки.

— Подозрительная любезность, - - заметил отец.

— А кто он такой?

— Тоже большая сволочь, — задумчиво сказал отец, — но в другом роде, чем Лазуткин. Сидит за вооруженный грабеж. У него скоро кончается срок, и сейчас он за примерное поведение назначен младшим надзирателем. Это часто практикуется, но лишь в отношении уголовников.

Надзиратель-уголовник притащил большую лампу-молнию, поставил ее на стол и радушно пригласил нас присаживаться.

Тем временем последняя указница, обмотав голову платком, покинула предбанник. Я полагал, что теперь мы оста-

немся одни. Но не тут-то было. Наш благодетель, сняв шапку с темных кудрей, мятежно рассыпавшихся вокруг его смуглого, резко очерченного лица, расстегнул полушубок и подсел к столу.

— Как поживает наша белокаменная? — спросил он меня светским тоном.

Дальше произошло то, о чем я до сих пор стыжусь вспоминать. То рабье, что пробудилось во мне, когда отец обрезал часового, завладело мной безраздельно. Дело тут было не в благодарности. Этот человек, соединявший в себе престиж начальства с обаянием бандитизма, покорила, подавил, смял меня. Отца больше не существовало. Бессильный держаться на вершинах нашей светской беседы, он словно провалился в далекое, захоластное прошлое. Этот бандит-надзиратель оказывал свои любезности не из грубой корысти. Он знал, что я писатель, и потому, считая меня человеком своего круга, хотел отдохнуть в разговоре о разных тонкостях, которых давно был лишен.

— Что новенького у Лени? — спрашивал он. — Как Одесса-мама?

Я никогда не бывал на концертах Леонида Утесова, но память у меня, как липкая бумага.

— Он выступает сейчас в ЦДК, в новом здании. Зал огромный, а голос у старика, сами знаете. Только микрофон и выручает, — говорил я тоном знатока. — Сейчас сделал новую программу, о москвичах.

— Есть что-нибудь хорошенькое? — щурясь, спрашивал мой собеседник.

— Блюз «Дорогие москвичи» — еще куда ни шло, а так слабовато.

— Я знаю, Москва по Рознеру обмирает, — сказал он с улыбкой.

Я и в глаза не видел Рознера, но липкая бумага выручила и тут.

— Ну, Рознер! Европейская школа! Третья труба в мире!

— В мое время, — робко вставил отец, — пользовалась популярностью певица Степовая. Она больше не выступает?

— Что-то не слышал такой, — отмахнулся я. — Сейчас Рачевский в ход пошел.

— На Капе, на жене своей, выезжает, — усмехнулся мой собеседник. — Понятно! А как старик Варламов? «И в беде, и в бою об одном всегда пою...»

— «Никогда и нигде не унывай», — фальшивым голосом подхватил я. — Старик дышит, но уж не тот.

— Простите, — снова вмешался отец. — Но ведь Варламов давно умер?

— Это не тот Варламов! — И, чтобы скрыть неловкость, вызванную бестактным замечанием отца, я ринулся к чемодану.

— Угощайтесь, тут все московское! — И я щедро вывалил на стол мандарины, апельсины, сыр, ветчину, хлеб, масло, икру. — Папа, угощай товарища!..

Отец отнесся к моему призыву без всякого воодушевления, он пробормотал что-то невнятное и даже сделал попытку убрать часть продуктов в чемодан. Я сгорал от стыда. Но гость словно не заметил отцовской холодности, он взял мандарин, очистил его и отправил в рот.

— Вы не представляете, насколько мы тут оторваны от настоящей культуры, — сказал он. — Как только вернусь в Москву, в первый же день в «Эрмитаж»! — Большими, сильными пальцами он взял еще один мандарин и разом освободил от золотистой одежды его нежную плоть.

Отец напряженно следил за ним. Я не знал, куда деваться. По счастью, в предбанник вошли две женщины: пожилая и молодая, в темном, монашеском одеянии и темных платках. Ни слова не говоря, они опустились на лавку и принялись разматывать платки.

— Эй, бабоньки! — окликнул их наш гость. — По какому вы делу?

Женщины не ответили, продолжая разоблачаться, тогда он выпростал из-за стола свое крупное тело и пошел к ним.

— Неужели тебе жалко, если он съест мандарин? — укоризненно спросил я отца.

— Конечно, жалко, — ответил он просто, — мама трагилась, старалась не для того, чтобы кормить этого холоуя.

Изгнав женщин, надзиратель вернулся к столу.

— Монашки, — бросил он вскользь, — попариться захотели. ...Ну, отдыхайте, я пошел на обход. А чтоб вам не мешали, я дверь запру. Спокойной ночи. — И небрежно прихватив мандарин, он вышел из предбанника.

И вот погашена лампа-молния, только с потолка тускло-тускло светит из-под сгустившегося там пара слабенькая электрическая лампочка. Из бани наддает мокрым деревом, мыльной склизью, но и запахи какие-то теплые, и тепло под шубами, рядом с худым, деликатно съезжившимся на самом краю лежачка телом отца. Все дурное, глупое, грубое, мелкое уходит из меня, во мне остается лишь нежность, бесконечная, до слез нежность к родному телу, приютившемуся близ меня. Это чистое, безобманное, детское чувство. И как в детстве, когда отец брал меня к себе в кровать, я осторожно и преданно обнял его за плечи.

— Сыночка моя, — со страшной нежностью говорит отец, и мы засыпаем, наконец-то встретившись...

## 11. ДЕНЬ, ПРОЖИТЫЙ ВМЕСТЕ

Это был один из самых счастливых дней, прожитых мною вместе с отцом. Он и начался с удачи: мне удалось благополучно пронести бутылку вина через сторожевой пост. Отец очень беспокоился, что меня накроют, большая литровая бутылка заметно выпирала в пазухе шубы, но охранник, даже не глянув на меня, надорвал пропуск и махнул рукой: проходи!

В этой части лагеря находились разные учреждения, в том числе и плановый отдел, где отец работал экономис-

том. У него был отдельный письменный столик, и отец запер бутылку в тумбочку стола.

Постепенно стали собираться сотрудники, и тут отец полностью взял реванш за вчерашнее. Радостно и торжественно знакомил он меня с сослуживцами. Вначале меня смущала эта церемония, но каждый из моих новых знакомых проявлял такую искреннюю, неподдельную сердечность и заинтересованность, что вскоре я почувствовал себя легко и непринужденно. Я нес с собой запах воли, я принадлежал запретному миру свободы, и доброта, приветливость этих людей относились не лично ко мне, а ко всему, что осталось за колючей проволокой.

Они не завидовали отцу, скорее испытывали благодарность за то, что по его милости явился посланец *оттуда*. Впрочем, для одного человека я представлял и личный интерес. Это был младший экономист Гурьев: низенький, квадратный, с круглым, лысым черепом и сказочной черной бородой, веером лежащей на груди. Он поманил меня пальцем к своему столу, воровато огляделся, достал из ящика толстую тетрадь в клеенчатой обложке, развернул и протянул мне.

«Но я не взял бич, — читал я каллиграфические строки. — Мне не хотелось властвовать над этим миром, таким непрочным и хрупким, таким близким страданию и смерти, и где никакой силой не вернешь жизни, отнятой одним ударом бича».

Это была концовка из моего рассказа «Бич». Я почувствовал волнение.

— Вы писали для нас, — шепнул мне Гурьев. — Ваш отец называет мою тетрадь — «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Здесь запечатлено все самое дорогое.

Я все еще держал тетрадь в руках. На другой странице тем же мелким и четким почерком были «запечатлены» стихи:

На виноградниках Шабли  
Пажи маркизу развлекали.



Сперва стихи ей прочитали,  
Потом маркизу... -

но без многоточия.

Кроме бородатого карлы, в одном помещении с отцом работали: плановик Харитонов, рослый, неуклюжий человек в коротенькой бумазейной толстовке, которую он по-минутно одергивал на зад, и секретарша-машинистка, глупорожая, с носом пуговкой и необыкновенно красивой фигурой. Вызывало даже раздражение, что к такому редко и радостно красивому телу приставлена бессмысленная тыква. Она была вольнонаемной и жила в поселке. Когда нас познакомили, она задержала мою руку в своей и сказала с глуповатой улыбкой: «А у нас сегодня танцы в клубе».

— Может быть, ты пойдешь? — самоотверженно предложил отец.

Стараясь не опускать взгляд ниже безвольного, расплывшегося подбородка секретарши, я стойко отверг приглашение.

Познакомился я и с начальником отдела, также вольнонаемным — пожилым, глуховатым и очень симпатичным. Не зная, чем выразить мне свое расположение, он потащил меня в буфет, где я накупил груду пирожков с повидлом.

Да, это был счастливый день, он светился в памяти каким-то особым светом, но сказать, что же было в нем такого замечательного, я, право, затрудняюсь.

Отец работал, а я тихо сидел возле него. Маленькие, смуглые руки отца то крутили ручку арифмометра, то быстро орудовали счетной линейкой, то щелкали костяшками счетов. Полученные цифры он заносил в разграфленный лист бумаги. Наверное, то была самая обычная каждодневная его работа, но мне казалось, что он делает очень важное, ответственное, не посильное никому другому на Пинозере. Меня восхищало, как он работает: быстро, четко, уверенно. Порой отец отрывался от своих расчетов и спрашивал меня о ком-нибудь из домашних или о Москве.

Я коротко отвечал. Может показаться странным, но мы не испытывали тяги к большому, серьезному разговору, нам вовсе не нужно было много говорить, чтобы все понимать, все знать друг о друге. Достаточно было и того, что мы рядом, что никто не может нас сейчас разлучить. Было удивительно тепло на душе. Все вокруг казалось радостным, добрым, ладным. Радостно светило в окошко солнце с ярко-голубого чистого неба, радостно стучал старенький ундервуд, весело и радостно разыгрывали друг друга Гурьев и Харитонов. Мой приезд совсем выбил их из колеи. Два немолодых, знающих себе цену, тяжеловатых человека резвились, как котята: поминутно выскакивали из комнаты, приставали друг к другу и к секретарше, наперебой рассказывали старинные соленые анекдоты и громко смеялись.

Только раз этот счастливый, ясный день был омрачен вторжением чего-то темного, тягостного. В обеденный перерыв сотрудники отправились в столовую, а мы с отцом налегли на московские бутерброды и местные пирожки с повидлом.

— Я давно хотел спросить тебя, — сказал отец, осторожно подгребая пальцами крошки. — Тебя с мамой приводили во внутреннюю тюрьму?

— Куда?... — не понял я.

— Ну, на Лубянку.

— Нет! С чего ты взял? Нас вообще никуда не вызывали.

— Мне показывали вас, — тихо сказал отец. — Издали. Мама сидела на каменной тумбе, помнишь, у нас перед домом в Армянском такие тумбы, а ты стоял сзади...

Я взглянул на отца, у него было далекое лицо. Только что он был рядом, родной и близкий в каждой черточке, каждом движении, в добром взмахе ресниц, а сейчас, со своими странно вытаращенными глазами, полуоткрытым, сухо обтянутым ртом, он был бесконечно далек от меня, и я не мог последовать за ним в это далеко. Мне стало страш-

но, и, чтобы не поддаться этому чувству, я сказал как можно небрежнее:

— Что за бред! Нас никуда не вызывали!

— Я видел вас, — повторил отец потерянными голосом. — Я только не знаю: на самом ли деле вас мне показывали или то была инсценировка...

— Это галлюцинация, ведь ты же болел.

— Заболел я позже, а вас видел во время следствия, когда мне предъявили обвинение в поджоге. Они хотели мне внушить, что вас тоже расстреляют, если я не сознаюсь.

— Никуда нас не вызывали, — угрюмо повторил я.

— Ну, не будем об этом, — сказал отец мягко.

Я чувствовал, что он мне не верит. И все же был рад, что разговор прекратился. Меня страшило то, что могло открыться в этом разговоре, я не решался принять на свои плечи непосильный, быть может, груз. И до сих пор я не знаю, только ли болезнью объясняется странное видение отца...

Начальник отдела отхлопотал отцу разрешение вернуться в барак к двенадцати часам ночи. И вечером, когда закончился рабочий день со всеми его сверхурочными, мы устроили пирушку. Кроме нас с отцом в пирушке приняли участие верный Лазуткин и дежуривший по отделу Харитонов. Лазуткин сбегал в барак за бутербродами, затем жарко растопил печь и завесил окно своим полушубком.

Бутылку мы поставили под стол в кабинете начальника, а закуску — хлеб с ветчиной и сыром — каждый держал в кармане. Тут выяснилось, что у нас нет стаканов. Хотели было снова послать Лазуткина, но побоялись: народ в лагере больно смекалист. Решили пить из горлышка. Долго спорили, кому идти первым в кабинет начальника. Мы все настаивали, чтобы шел отец, но он упорно отказывался. Наконец Харитонов с решительным видом одернул толстовку и шагнул к двери. Отсутствовал он долго, и отец даже высказал предположение, что на этом наше пирше-

ство кончится. Но вот Харитонов вышел с подобревшим и чуть смущенным лицом. Оказывается, мы впопыхах не позаботились о штопоре, и он выковыривал пробку карманными ножницами.

— Славный какой портвейнчик! — растроганно сказал Харитонов. — Ну, иди ты, Митюша!

Отец проскользнул в дверь и очень скоро вернулся, утирая рот платком.

— Прекрасное вино! — сказал он с видом тонкого ценителя. — Напоминает «Лакрима-Кристи».

Теперь пришла моя очередь. Почувствовав странное волнение, точно я действительно совершаю невесть какой подвиг, я вошел в кабинет, достал из-под стола бутылку и приложился губами к горлышку. Я боялся выпить и слишком много, и слишком мало. Ну, еще глоток, еще полглоточка... Нежный жар прилил к сердцу. «Миленький Боженька, сделай, чтобы отец был счастлив в жизни, сделай, миленький Боженька!» Я еще пригубил, провел рукой по глазам и спрятал вино под стол...

Верный Лазуткин заставил себя долго упрашивать, прежде чем согласился последовать нашему примеру.

— Мы к вину не приучены, — твердил он, скромно прикрывая рот рукой. Несмотря на этот предохранительный жест, от него сильно тянуло смесью сивухи с одеколоном. В своей растроганности я не сообразил, что Лазуткин успел ликвидировать наш тайник. Наконец он дал себя уговорить и вышел из кабинета пунцовый, потный и какой-то ошалелый. Наверное, портвейн плохо ложился на коньяк и одеколон.

Снова пошел Харитонов, затем отец, и вот сильно полечавшая бутылка вторично оказалась в моих руках. Я пью маленькими глотками, и с каждым глотком растет во мне что-то доброе и героическое. Мне видится, как, наделенный необычайной властью, — откуда эта власть, неведомо, что-то тут от литературы, что-то от каких-то иных заслуг, — приезжаю я в лагерь за своим отцом. Все начальство высы-

пают мне навстречу, все заключенные глядят на меня с восторгом и надеждой. Я щедро, во всю полноту дарованной мне власти, награждаю тех, кто был хорош с отцом, караю тех, кто был недобр к нему.

— Самолет подан! — докладывает главный начальник, и мы с отцом направляемся к серебряной птице. Ревут пропеллеры, чекисты делают под козырек, мы летим к свободе, счастью...

Слезы застыт мне глаза, вино допито.

Когда я вернулся в общую комнату, Харитонов, жуя бутерброд, рассказывал какую-то любовную историю.

— Ты чувствуешь?.. — поминутно спрашивал он отца.

Мой добрый, деликатный отец, конечно, все чувствовал. Когда же захмелевший Харитонов добрался до победного финала, отец сказал:

— Мне это напоминает одну встречу в двадцать третьем году...

Я весь напрягся. Я понимал, что отец расскажет что-то совсем непохожее на грубые откровенности Харитонova и что звучать это будет провинциально и отстало, подобно его вчерашним расспросам о певице Степовой. Но не смущение владело мною сейчас, а яростная готовность дать отпор каждому, кто посмеет отнестись к отцу свысока. Я переводил вызывающий взгляд с Харитонova на Лазуткина. Мой отец имеет право быть таким, какой он есть, ему ни к чему приспособливаться к окружающей низости. Но ни Харитонов, ни Лазуткин не дали мне повода вступить за отца, благополучно закончившего свою историю. И тут мне впервые пришла мысль, что отец куда более сильный, защищенный человек, чем мне кажется. Он сохраняет свою старомодность, как протест, он не желает подлаживаться к среде и всюду и всегда остается самим собой.

Около полуночи кто-то приоткрыл дверь. В прорези мелькнул край серой шинели и ставший привычным торчок штыка.

— Баиньки вам пора, — деликатно заметил Лазуткин.

— Идем! — весело откликнулся отец, поцеловал меня и тихо сказал: — У меня очень хороший сын.

В дверях он обернулся и с лихим видом щелкнул пальцами. Этим несвойственным ему жестом он хотел показать, что все прекрасно: он славно выпил, нисколько не раскис и в самом добром настроении идет ко сну. У меня сжалось сердце. Я понял, как тяжело ему расставаться со мной сейчас, на одну ночь, а ведь завтра нас ждет настоящая, большая разлука.

Едва Харитонов сдвинул столы, на которых нам предстояло спать, как в комнату вошла полумойка, молодая черноволосая женщина, похожая на цыганку.

— Ишь, паньчи! — сказала она. — Нет уж, погодьте, пока я дело сробляю.

Женщина была немного костлява, но очень милостива лицом: огромные темно-карие глаза под густыми ресницами, соболиные, взлет брови, сочный, яркий рот. На голове у нее была марлевая повязка, захватывающая правое ухо.

— Это где же тебя угораздило? — спросил Харитонов, ткнув пальцем повязку.

— С мужиком в снегу валялась, ухо отморозила, — с вызовом ответила женщина.

Плеснув из ведра на пол, она нагнулась и стала гонять тряпкой воду. Ситцевая юбчонка тетизой натянулась между широко расставленными ногами в коротких сапогах, тесно охватывающих полные икры. Харитонов подкрался и ущипнул ее под юбкой. Не оборачиваясь, женщина хлестнула его мокрой тряпкой. Затем распрямилась, локтевым сгибом откинув прядь волос с пунцового от прилива крови лица, и лениво сказала:

— Отчепись! Все равно с тобой не пойду. — Повела темным глазом в мою сторону и добавила: — Вот с молоденьким пошла бы.

— Очень ты ему нужна, — без всякой обиды сказал Харитонов. — Он с воли.

— С во-оли? — протянула женщина, и на ее красивом, лениво-нахальном лице мелькнула детская заинтересованность. — Какая же она есть — воля-то?

— Нешто забыла? — спросил Харитонов. — Ты ж недавно сидишь.

— Давно ли, недавно ль, а не помню, — усмехнулась женщина. — Как пришли ваши, как начали орать, так и отшибло память. Ничего я теперь не помню, мужиков, с кем валяюсь, и тех не помню.

— А вы откуда? — спросил я.

— С Западной Украины, — ответил за женщину Харитонов.

— Я думал, вы цыганка.

— Это многие думают, — дернула плечами женщина. — Худа стала, как кляча, вот и цыганка.

— Да нет, ты еще в теле, — заметил Харитонов. — Хочешь сырку?

— Отчепись! — снова презрительно сказала женщина. — Сыром не купишь. Меня ничем не купишь!..

Харитонов достал из кармана недоеденный бутерброд, затем, вывернув карман, собрал в ладонь хлебные и сырные крошки и присыпал бутерброд сверху, как солью.

— Держи.

Женщина осторожно взяла бутерброд и вонзила в него белые ровные зубы.

Я улегся на стол, шапка под голову, шуба на покрывку. Все куда-то отодвинулось, остался лишь последний, прощальный жест отца и ниточкой боли потянулся за мной в сон. Спать на столе было жестко, и, ворочаясь с боку на бок, я на какой-то миг выскользнул из сна.

— Ну как я пойду, дурья голова? — услышал я будничным голосом женщины. — У меня ж еще коридор не вымыт.

— А ты после коридора... Вымой коридор и приходи, — канючил счастье Харитонов.

— Ну, ладно...

## 12. ОТЪЕЗД

В полдень следующего дня я сидел на пустом чемодане при дороге, ведущей из лагеря на станцию, и грыз кусок твердого, залежавшегося в кармане сыра. Час назад истек положенный срок свидания, и мне пришлось покинуть территорию лагеря. Но я еще не расстался с отцом. Нам было разрешено проститься в караулке, в половине первого, когда начинался обеденный перерыв.

Те утренние часы, что мы были вместе, промелькнули с неестественной быстротой. Вначале нам казалось, что у нас времени вдосталь, и мы спокойно разговаривали о всяких далеких вещах: о моей первой учительнице немецкого языка Анне Федоровне, о наших бывших соседях по квартире в Армянском переулке, об улице Фурманова, куда мы с мамой переехали уже в отсутствие отца, о Гурьеве и Харитонове, словом, мы беседовали как люди, в чьем распоряжении вечность. А может, мы просто жалели и щадили друг друга? Слишком страшно было бы коснуться того, что нам предстояло. Неожиданно в дверь просунулась голова Лазуткина.

— Принес я чемоданчик... — проговорил он словно бы в пустоту. Один из двух привезенных мною чемоданов я должен был взять с собой.

— Как, уже? — произнес отец, достал из кармашка часы и стал зачем-то крутить завод.

Взаимопомощь выручила нас и сейчас. Главное было — не видеть друг друга. Это совсем не просто: быть рядом, разговаривать, даже спорить, — отец настаивал, чтобы я взял с собой еду, я же решительно отказывался, — глядеть друг на друга и не видеть. Не видеть гримасы боли и слабости на лице родного человека, не отвечать на нее, чтобы не увеличить его муки. Мы с честью выдержали испытание.

Я попрощался с начальником отца, с бородатым Гурьевым, с Харитоновым, с Лазуткиным, с секретаршей, выполнил нужные формальности в караулке, а затем долго брел



с противно пустым чемоданом в руках, пока меня не остановил ударивший с полей в грудь и лицо ветер. Тогда я сел на чемодан и, отворотившись от ветра, стал глядеть на колючую проволоку и сторожевые башни, похожие на грибы.

А потом я почувствовал вдруг сильный голод. Я обманул отца, сказав, что позавтракал в буфете, в этот день буфет почему-то был закрыт, но я не хотел, чтобы отец расточал на меня московские продукты. Теперь мне тоже было мучительно жаль и мандаринов, скормленных дежурному, и бутербродов, которыми я так щедро наделил Харитонову и Лазуткина. Тут я вспомнил о сыре, сохранившемся у меня от собственных дорожных запасов, достал его и, обдув соринки, начал грызть. Сыр показался мне очень вкусным, но так усок, что даже мои крепкие зубы едва с ним справлялись. Я грыз его до самого прощального часа, о котором возвестил тонкий, похожий на свист в два пальца гудок.

Расставанье началось как новое свидание. Встретившись в караулке, мы поцеловались, и отец сказал, точно увидев меня впервые:

— А ты выглядишь настоящим молодым мужчиной. Это самая прекрасная пора — молодость, куда лучше отрочества и юности.

Отец спросил меня, что я буду делать по возвращении в Москву. Я нарисовал ему великолепную картину моих каникулярных праздников. Я поеду в дом отдыха «Сатеевка», где меня уже ждет моя девушка Лиза. У меня будет отдельная комната, я же еду туда как полноправный писатель. Любовь, лыжи, бильярд и немного творчества — вот моя жизнь в «Сатеевке». Отец должен знать, что мне будет хорошо, очень хорошо, только это могло скрасить ему разлуку. Не остался и он в долгу передо мной. Он разберет привезенные мною книги и составит себе программу чтения, кроме того, он намерен освежить в памяти английский язык... Жаль, что я не успел побывать у него в бараке, я бы убедился, что там отличная обстановка для занятий.

Словом, каждого из нас ожидало столько неотложных интересных дел, что мы почти мешали друг другу.

— Ну, распрощались? — произнес стоящий рядом охранник и уронил ружье.

Приклад глухо стукнул в шаткий деревянный пол, и звук этот упал мне в самое сердце. Что-то оборвалось во мне, и сразу из глаз покатились слезы. Обычно плачу предшествует какое-то внутреннее борение, человек всегда — сознательно или безотчетно — сопротивляется слезам, а сейчас это случилось так, будто кто-то другой заплакал во мне.

И по щекам отца потекли слезы вдоль носа, к страдальчески скривившемуся рту. Мы обнялись, поцеловались, затем еще поцеловали друг друга в мокрые лица и кинулись к противоположным выходам из караулки. Обогнув караулку, я увидел по другую сторону проволочной ограды отца. За ним, бессмысленный и ненужный, с глупо выставленным вперед штыком, едва поспевал часовой.

— До свиданья! — крикнул отец, приблизившись вплотную к проволоке.

— До свиданья! — крикнул я, тоже подбежав к проволоке.

С вышки что-то заорали, на меня ли, на отца или на нас обоих. Мы двинулись вдоль огорожи, каждый по своей стороне, разделенные полутора-двумя метрами пространства, простеганного колючей проволокой.

Потом сутробы заставили меня забрать чуть в сторону, а какое-то невидимое мне препятствие принудило и отца отдалиться от проволоки, но мы все шли, шаг в шаг, и махали друг другу руками. Дорога увела меня еще дальше от проволоки, теперь я мог видеть отца лишь полуобернувшись; так я и шел, повернув назад голову, и видел, что отец следует за мной, то подымаясь на носки, то быстро пробегая вперед к просвету, а за ним тяжело шагает часовой с винтовкой под мышкой. Так шли мы, словно связанные невидимой цепью, шли, томясь и мучая друг друга, и не в

силах прекратить эту муку, пока отец не достиг конца клетки. Перед ним выросли ряды колючей проволоки, и он приник к ней, лоя меня последним взглядом. Я еще видел его лицо, хоть и смутно, затем лишь общий абрис фигуры, словно повисшей на проволоке, затем темное пятнышко меж сверкающих нитей, и это пятнышко задержалось надолго. Я подходил к станции, а оно все не исчезало, затем стало чуть приметной точкой, скорее угадываемой, нежели видимой, и вдруг эта точка пропала в легком сиянии, творившемся вокруг льдисто обмерзших шипов проволоки.

Я повернулся лицом к дороге и ветру. Ветер замораживал слезы на моих щеках, вскоре покрывшихся тонкой ледяной пленкой. А когда я вошел в помещение вокзала, чтобы купить билет, лицо враз оттаяло и стало мокрым, как после бани.

Но отец еще раз напомнил о себе, прежде чем я покинул Пинозеро. Я уже сидел в поезде, когда передо мной, словно из сказки, возникла квадратная, приземистая фигура бородатого гнома Гурьева.

— Папаша передает вам привет, — сказал он, посмеиваясь и оглаживая бороду.

— Почему вы здесь?

— В Кандалакшу командирован, — радостно сказал карлик.

— Как отец, как он себя чувствует?

— Скрывает... — загадочно ответил Гурьев. — Хотел вам фунтик леденцов передать, да я не взял. — Он снова негромко засмеялся.

Я представил себе, как отец сует Гурьеву фунтик леденцов, неумело свернутый фунтик, как хотелось ему проявить эту последнюю, жалкую заботу о сыне.

— Пусть сам скушает, верно? — сказал Гурьев, видимо, он гордился своим поступком.

Мне нечего было возразить ему, он поступил так из доброго чувства к отцу. Но этот фунтик меня доконал. Всю дорогу до Москвы пролежал я на верхней полке, уткнув-

шись мокрым лицом в пыльную вагонную подушку. Ну зачем этот фунтик? Ну хоть бы фунтика не было... Неужели есть кто-то, кому всегда не хватает человеческой боли?..

### 13. ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Расставаясь с отцом в декабре 1940 года, я был уверен, что самое позднее через год снова увижусь с ним. А в памятное июньское утро, когда прозвучало грозное слово «война», я мысленно простился с отцом навсегда. Среди потерь войны — а я уже в самом ее начале потерял двух лучших и, пожалуй, единственных друзей — первой моей потерей был отец. Можно ли было надеяться, что уцелеют в лагере политические заключенные, когда в столице, в Москве, с первых же дней войны начались продовольственные затруднения. К тому же сорокские лагеря находились близ границы и сразу оказались в зоне военных действий.

— Мы уже никогда не увидим Митю, — сказала мать и со странной полуулыбкой покачала головой.

Больше мы об этом не говорили. Война не шутила, она требовала крови и крови, миллионы литров крови, молодой и старой, свежей и гнилой, она не была разборчива, она торопилась и не давала времени ни для грусти, ни для размышлений. Но кровь сына политзаключенного ей поначалу не понадобилась. В Ростокинском военкомате объявили набор в школу лейтенантов. Я поспешил туда. Но, выяснив, что отец мой в лагере, мне деликатно посоветовали учиться дальше. А ведь я, идиот несчастный, думал об искуплении своей кровью несуществующей вины отца. Мне бы следовало помнить, что я едва не вылетел из института, когда кто-то донес, что мой отец сидит. При поступлении для тогдашних неподробных анкет в качестве родителя годился отчим. Он же и отстоял меня.

На войну я все же попал через обычный военкомат, скрыв позорные обстоятельства своей жизни, впрочем, в качестве пушечного мяса низшего сорта сошел бы и сын

репрессированного. Через год, после тяжелой контузии, я был демобилизован, а в дальнейшем до конца войны работал военным корреспондентом наимирнейшей газеты, имевшей право держать беспогонных военкоров. Наученный горьким опытом, я не усложнял свою анкету, и страх разоблачения поселился во мне.

Это случилось в самом начале июня 1944 года. Я в очередной раз съездил на фронт, увидел, что на войне по-прежнему много убивают, как-то странно затосковал и решил жениться. Чуть не год я был близок с милой молодой женщиной, мы стали мужем и женой. Я вошел в ее дом и обнаружил, что дом этот весьма фундаментален и по тощему военному времени до стыда зажиточен. Но все было по закону — тесть занимал высокий пост в промышленности. Семья истово отмечала изобильным застольем каждый наш военный успех. Не помню уже, освобождение какого города мы праздновали, когда раздался телефонный звонок и очень серьезный голос мамы сказал: «Приходи».

Больше ничего не было сказано, но я понял, что короткая передышка кончилась и жизнь снова берет нас за бока.

— Ты опять пил? — привычно спросила мать, едва я переступил порог.

— Не преувеличивай.

Мать протянула мне телеграмму. Назавтра в шесть десять утра нас вызывали на Центральный телеграф для переговоров с Рохмой.

— Где это — Рохма? — произнес я удивленно.

— До чего ты похож на Митю! — сказала мать, кусая губы. — Стоило рассказать ему, что кто-то попал под трамвай, он тут же спрашивал: на какой улице?

Хмель выскочил у меня из головы.

— Так это — папа! Боже мой!

— Неужели ты сразу не понял? — с досадой произнесла мать.

— Чего ты злишься?

— Я не злюсь, я думаю, как тебе быть, несчастный ты человек.

Но я и так все понял. Игра давно уже шла не на орешки. И как отнесется моя новая семья к неожиданному родству с врагом народа? Здание безупречной судьбы рушилось, словно картонный домик.

— А провались все к черту! — сказал я с тоской и злостью. — Не предам же я отца ради этих икродов!

— Не говори пошлостей, — сказала мать, которой ненавистна была любая, даже тщательно завуалированная поза. — Для Мити мы сделаем все, — но его нет. Понятно? И никаких сантиментов. С Ниной или с другой бабой, стрезва или спьяну — об этом ни звука. Понятно, Сергей? А сейчас ложись спать. От тебя несет, как из бочки.

Я лег, оскорбленный той плоской и холодной утилитарностью, с какой мать отнеслась к чуду отца воскресения, ее нерастроганностью и жесткостью. И только в самом дальнем тайничке сознания, куда человек почти никогда не заглядывает, теплилось иное, верное представление о случившемся: мать взяла на себя труд жестокого, но необходимого решения. Она сняла с моей души излишнюю тяжесть, оборонила от всего того мучительного, стыдного, грязного, с чем мне пришлось бы иметь дело в себе, если бы она не поставила меня перед готовым решением. Она потому и была так упрощенно серьезна, так коротка в слове и чувстве, что защищала меня и от жизни, и от себя самого. Она знала, что я буду злиться на нее, и давала мне сыграть эту жалкую игру, потому что была сильнее и выносливее меня.

В половине шестого утра мы отправились пешком на Центральный телеграф. Было раннее теплое июньское утро, с синим, чистым небом и чистыми, белыми облаками, с пустотой и тишью еще не проснувшихся улиц, такое же утро, той же поры года, когда мы с мамой семь лет назад ехали в Егорьевск к вновь обретенному, как и сейчас, отцу. И подстриженная травка на бульварах так же зеленела,

как зеленели тогда поляны Подмосковья, и липы Гоголевского и Суворовского бульваров источали тот же аромат, что залетал в открытое окно вагона, и мы опять вдвоем с мамой против целого света.

Сколько страшного и непоправимого свершилось за эти семь лет, сколько пролито слез, сколько претерпено страха, но были и большие избавления, и маленькие, жалкие радости, и великая усталость, почти неосязаемая в кутеже каждодневности, и непосильные остановки жизни. И мама уже не та. Как ни «удачливо» я воевал, для нее и этого оказалось достаточно. По-старушечьи округлилась спина, опали плечи, лицо сохранило лишь профиль — точный и нежный абрис, фас разрушен мешочками, складками, морщинами, темными пятнышками.

— Мама, помнишь?.. — спросил я, совсем не подумав о том, что она не могла следить за ходом моих мыслей.

— Что?.. Ах, нашу поездку в Егорьевск!.. — сказала мама со слабой улыбкой.

И то, что она сразу угадала, о чем я спрашиваю, открыло мне ее тщательно хранимую взволнованность.

— Какая все-таки поразительная живучесть у Мити! — сказала мама теплым голосом, она, верно, подумала о том, что мне передастся по наследству отцовская живучесть.

Нас вызвали в десять минут седьмого.

— Рохма на проводе!.. — проговорил откуда-то сверху, с потолка, глухой, как из бочки, женский бас. — Кабина третья... Говорите!

Мы кинулись в кабину. Не было ни обычного шороха, ворчания простора, ни переспросов телефонистки. Была пустота, а затем из этой пустоты, из-за края света, из давно пережитого прошлого далекий, но бесконечно знакомый, совсем не изменившийся голос бросил мне в сердце:

— Сережа!..

Через день, нагруженный двумя чемоданами, как в дни довоенного моего путешествия на Пинозеро, выехал я в Рохму, маленький городок под Ивановом, который был

определен на жительство отцу, досрочно «активированному» по инвалидности.

## 14. НОВАЯ ВСТРЕЧА

Я уже не был тем мальчиком, который четыре года назад ехал к отцу в Заполярье. Я душевно изощрился на войне; я знал, как защищаться от направленного на тебя огня, знал, как можно собственной рукой направить его в собственную грудь, — и такое было во время болезни. Главное же, я познал страх во всех его видах и оттенках и воспитал в себе такое чутье к опасности, что в известных пределах сохранял полную внутреннюю свободу, почти равную бесстрашию. Словом, в смысле утраты душевной наивности я был в эту пору вполне взрослым человеком. Но при этом во мне сохранялось еще немало детского, мальчишеского.

Я поехал в Рохму, в эту забытую богом глушь, к больному, измученному отцу разодетый как павлин. Матери я туманно объяснил это неуместное франтовство желанием произвести впечатление на рохомчан и тем повисить престиж отца. Думаю, она не поверила мне. На деле, к щегольству меня принудил тот театрально-романтический образ встречи, который я создал себе. К сожалению, я не мог, подобно капитану Грею, распустить алых парусов, не мог явиться ни в сверкающих латах Лознгина, ни даже в белом трико и атласном камзоле балетного принца-освободителя. Я поехал в костюме от лучшего московского портного, от Смирнова, в широком габардиновом плаще, модной круглой кепке и туфлях на толстом каучуке. Роскошный, красивый, богатый, ветеран войны, зять советского вельможи, к тому же писатель, уже пригретый славой, — таким должен был я предстать перед старым отцом, засыпать его всеми жизненными благами, заключенными в двух чемоданах, вдохнуть в него силу жить и веру, что с такой опорой он не пропадет.



Наряду с этой душевной дрянью было во мне и настоящее тепло, и радость свидания, и нежность, и жалость, но эти чувства были несколько отвлеченными: как некогда, я не мог вообразить себе отца вживе, он представлялся мне таким, каким я видел его в последний раз: хотя и опечаленным расставанием, но бодрым, легким, крепким человеком, с седой головой и по-молодому привлекательным, смугловатым лицом. Но я понимал, что таким он не мог сохраниться, лагерь отпускает людей раньше срока, лишь выжав их до конца, до полной негодности. Однако мне никак не удавалось внести эту поправку в облик отца. Он просил привезти ему «какие-нибудь брюки и, если можно, что-нибудь из обуви»; просил захватить «хлеба и немножко жиров», не масла, а именно жиров. Все это говорило о том, что он обносился и изголодался вконец. Но от этого образ не становился отчетливей, напротив, еще сильнее туманился, растворялся.

Куда легче, доступнее и приятнее было воображать возвышенную и трогательную встречу, где отец предстал в благообразном облике убеленного сединами страдальца.

Я так был упоен предстоящей мне ролью, что в Иванове при пересадке с поезда на поезд самолично перенес два тяжелейших чемодана с такой легкостью, словно они были набиты пухом. Когда же через час с небольшим я вылез на маленькой Рохомской платформе и узнал, что до города четыре километра, то ничуть не смутился. Взвалив на каждое плечо по чемодану, я бодро зашагал по булыжному шоссе. Я успел отмахать с километр, когда меня нагнала пустая телега и возница предложил подвезти. Сказочный принц, въезжающий на телеге, — это было слишком не в образе, и я ограничился тем, что сгрузил на телегу чемоданы. Только теперь почувствовал я, что тащил на себе непомерную тяжесть. Мне и сейчас кажется чудом, что я мог целый километр нести на плечах кладь, весившую добрых четыре пуда.

Легким шагом шел я возле грядки телеги, вначале еловым, густо пахнувшим лесом, затем полем и небом, и вско-

ре впереди показался городок с высокой каланчой и красными трубами фабрик.

Как смог я заметить вдали крошечную черную точку обочь дороги? Почему стал все пристальнее и пристальнее всматриваться в нее? Почему, когда точка обрела смутные, едва уловимые очертания человеческой фигурки, я побледнел и пошел быстрее, в обгон телеги? Ведь мне попадалось навстречу немало прохожих: мужчины, женщины, дети. Быть может, заговорила во мне безотчетная память о последнем расставании с отцом, когда он так долго виделся мне то пятнышком, то черной точкой меж тяжелой колючей проволоки? Сейчас происходило нечто похожее, но в обратном порядке: точка, фигурка, — но узнал я отца при самом первом его появлении.

Возница хлестнул лошадь, телега поравнялась со мной. Я еще убыстрил шаг, стремясь отделиться от телеги, чтобы и отец мог узнать меня. И тут я увидел, что бредущий по дороге человек вытягивает шею, силится разглядеть меня на этом большом расстоянии. И вот он узнал, вернее, угадал меня — старым глазам не под силу пронизать такую даль. Он заковылял быстрее, прижимая сердце рукой, я видел и этот жест его, и странную, заплетающуюся, бессильную поступь, он не шагал, а как-то влачился, не отымая ног от земли.

— Папа! — закричал я и кинулся к нему навстречу.

А он вдруг остановился, словно перестав верить себе, и в быстроте случившегося я успел заметить на крошечном, усохшем, обглоданном лице, с припухлостями по худым челюстям, выражение непонятной, диковатой отчужденности и опаски.

— Папа! — крикнул я еще раз.

— Сережа? — проговорил отец с какой-то вопросительной интонацией.

Мы обнялись. Мне не удалось толком поцеловать его — на его лице не было места для поцелуя. Узенький рот провалился в завалы щек и верхней губы. Плоть опала с этого лица,

на котором оставались лишь обтянутые желтой кожей кости: лоб, скулы, челюсти, нос и какие-то костяные бугры около ушей, которые бывают лишь у умерших с голода.

— Я вышел тебя встречать, — робко проговорил отец, — но не успел..

Он нагнулся и стал поправлять что-то в своем ботинке. Что это были за ботинки! Скроенные из кусков автомобильной покрышки, сшитые какой-то жилой и подвязанные веревками. На отце были штаны из мешковины, с двумя синими, ровными заплатами на коленях, и не то рубашка, не то балахон, опоясанный веревкой, некогда черный, но застиранный до белесости; на голове старая, рваная лепешечка кепки.

Подгромыхала телега и остановилась возле нас. Я подметил удивленный взгляд возницы.

— Садись, — сказал я отцу, — он подвезет нас.

— Садитесь, садитесь, — добрым голосом отозвался возница, видимо, что-то поняв.

Отец подошел к телеге, взялся за грядок и отпустил его.

— Тут недалеко, лучше пешком..

Ему не под силу было забраться в телегу.

— Да нет, подведем, я тебя посажу.

Я пригнулся, поднял отца и усадил его на телегу. Из всего страшного, что мне пришлось пережить в этот день, самым страшным, до отвращения страшным было ощущение, какое я испытал в короткий миг, когда отец оказался у меня на руках. Я пережил однажды нечто подобное. У знакомых был японский кот, гигантский зверь с вершковой шерстью, он занимал целиком широкое кожаное кресло. Но когда я взял его в руки, он оказался почти невесомым, и несоответствие размера с весом вызвало неприятное, гадливое чувство. Видно, в самом слове «отец» заложена какая-то тяжесть, весомость, но то, что я подсаживал на телегу, не имело веса: было прикосновение к чему-то, но не было даже малой тяжести ребенка, куклы, под штанами и застиранным балахоном не было человеческой плоти.

Но в этом бесплотном, молчаливом существе теплились какие-то желания. Я почувствовал за спиной тихое шевеление, обернулся и увидел на коленях, обтянутых мешковиной, маленький грязный мешочек, набитый чем-то вроде опилок, и стопку ровно нарезанной газетной бумаги. Я вынул пачку «Казбека».

— Брось эту труху, вот папиросы.

Щелкнула зажигалка, на шумном выдохе прочь от телеги полетело голубое, ароматное облачко. Что-то изменилось в неподвижно-костяной маске, ее прорезали тонкие черточки около глаз и рта, узкий шов рта чуть разошелся, и мелькнул одинокий желтый резец, и я не сразу понял, что эта слабая, натужливая гримаса означает улыбку удовольствия. А затем я ощутил прикосновение, вернее, тень прикосновения на своем колене. Опустил глаза и увидел что-то желтое, пятнистое, медленно, с робкой лаской ползущее по моей ноге. Какие-то косточки, стянутые темной черно-желтой перепонкой, лягушачья лапка, и эта лягушачья лапка была рукой, Боже мой, рукой моего отца!

## 15. ПЕЛЛАГРА

Отец жил в домике на центральной площади городка, носящей странное название «имени Заменгофа». Я думал, что Заменгоф — местный герой, поднявший знамя революции над Рохмой, но оказалось, это один из творцов мертвого языка эсперанто. Какое отношение имел к Рохме творец эсперанто и почему город счел нужным назвать его именем площадь, украшенную пожарной каланчой, так и осталось мне неизвестным. То была одна из кривизн кривого и уродливого провинциального городка, в котором отцу предстояло окончить жизнь.

Пристанище отца, узенькая летняя горенка, мне напоминала чем-то лагерную фанерную сторожку, едва не ставшую нашей ледяной могилой, и первые мои движения, когда мы оказались в горенке, словно были заимствованы

из той же далекой поры. Я сразу раскрыл чемоданы и стал вываливать на стол консервные банки с тушенкой, колбасой, рыбой, сгущенным молоком, калабашки хлеба, масло, сахар, сыр, ветчину, а также одежду — костюм, рубашки, носки, галстуки, обувь. Отец молчаливо и сосредоточенно следил за моими движениями. Он ни о чем не спрашивал, равнодушный ко всему, кроме питательных веществ, исчезнувших из его тела. Он взял довесок к желтому килограммовому бруску сливочного масла и стал есть его без хлеба.

— Ты бы переоделся, — сказал я. — А потом будем завтракать.

— Да, да... — откликнулся он, как эхо.

Не выпуская куска масла из рук, он сгреб со стола одежду и пошел в угол переодеваться. Тем временем я сходил на половину хозяйки и попросил ее поставить самовар. Она сидела на постели, пожилая, неприбранная, с одутловатым лицом и мокрой, отвисшей нижней губой, и чесала синюю мертвую ногу. На мои слова она никак не отозвалась, пальцы продолжали корябать неживую плоть, оставляя на коже белые, быстро краснеющие полосы.

— Вы заварите и на свою долю, — догадался я сказать, протягивая ей пачку чая и рафинад в синей обертке.

Она сразу перестала чесаться и тяжело поднялась с постели.

Когда я вернулся в горенку, отец успел переодеться. Но и в хорошем синем костюме, в рубашке с галстуком и желтых полуботинках он выглядел не лучше. Пожалуй, эти вещи еще более подчеркивали страшную его худобу. Он ссыпал в горстку сахарный песок и отправлял в рот. При этом он как-то искоса, дурным глазом поглядывал на банку со сгущенным молоком. Я достал консервный нож и открыл банку. Несколько жирных сладких капель упало на стол. Отец подцепил их пальцем, слизнул, и снова на лице его появилась та же незнакомая, состоящая из нескольких черточек в углах глаз и рта улыбка.

— Какая вкусная вещь, — проговорил он.

Я дал ему чайную ложку. С серьезным, сосредоточенным видом он подсел к столу и стал ложкой есть сгущенное молоко.

— Это пеллагра, — сказал он вдруг после четвертой или пятой ложки, осторожно отодвигая банку. Встал из-за стола и побрел к окну.

Мне показалось, что отец сейчас заговорит со мной, спросит о чем-то, но он вдруг повернулся, с серьезным, даже угрюмым выражением подошел к банке и съел еще ложку молока. И еще одну, задумчиво, медленно, дегустируя забытый продукт всеми своими чувствами, всем существом, осваивая мозгом благостное, животворящее чудо, заключенное в густой, сахаристой молочной гуще.

Хозяйка внесла самовар и чашки, потопталась у стола и, получив от меня белую булку и кусок колбасы, убралась восвояси. Отец не стал пить чай, видимо, он не нуждался в жидкости. Зато с новой силой набросился на масло, сыр, колбасу. Но сгущенное молоко не давало ему покоя, он то и дело опускал туда ложку и отправлял в рот очередную порцию. Он даже несколько кокетничал с банкой. То с хозяйской уверенностью брал ее в руки и не спеша обскребывал ложкой стенки, то подбирался к ней с воровской опаской и быстро похищал всего одну драгоценную капельку, то, не глядя, с рассеянным видом погружал ложку в желтоватую густоту и зачерпывал через край.

— Тебе будет плохо, — сказал я.

— Да, да... — отозвался отец и отложил ложку.

Но через секунду я увидел вдруг, как он утайкой сунул в банку палец и облизал его.

Грустно и тяжело было мне видеть моего деликатного, лишненного всякой жадности отца в такой физиологической униженности. Конечно, вскоре ему стало нехорошо, обычный желудок не удерживал пищи. Он успел выйти во двор, и там его стошнило. Он вернулся, съел какой-то кусочек, и его опять стошнило. Затем началось расстройство

желудка. Бедный отец, шатаясь, бродил от горницы к дощатой скворечне, стоявшей посреди рослых лопухов, в глубине двора, и обратно, все более слабая от раза к разу. При этом он не мог удержаться от того, чтобы не съесть кусочек чего-нибудь и не перехватить ложечку сгущенного молока. У меня шевельнулось ужасное чувство, что своей помощью я гублю его, но я ничего не мог поделать. У меня не хватало духа отнять у него всю эту снедь.

Вот отец снова вошел в горенку, издавая не губами, а западинами щек какой-то странный звук: пуф, пуф, словно лопались пузырьки воздуха. Быть может, у него началась изжога?

— Хочешь выпить соды? — предложил я.

— Нет, — сказал он со слабой своей и сейчас чуть хитровой улыбкой. — Я лучше съем ложечку сгущенного молока.

Он шагнул к столу, и у него упали брюки, видимо, не было сил как следует их застегнуть. Я увидел его ноги: тоненькие палочки, с неправдоподобно большими и круглыми ядрами колен.

Мы с ним — едина плоть, на какой-то миг я перестал все это видеть со стороны; его немощь, его страдание, его боль вошли в меня, я ощутил шаткость оскобленных голеней, тяжесть ядерных костяных колен, сосущую пустоту неутраченного голода во всем теле, меня замутило и как-то нехорошо повело.

Я не мог больше оставаться в этой комнате, мне необходимо было найти какой-то упор, вернуться к трезвой и прочной обыденности. Все, что было во мне здорового, жадного к жизни, взбунтовалось против гипнотического, заражающего мозг и душу больного дурмана происходящего. По счастью, отец пришел мне на помощь.

— Я немного сосну, — сказал он и бессильно повалился на кровать.

— Ну, а я пойду по делам, — отозвался я. — Ведь я приехал сюда в командировку, иначе не достать билет на

поезд. Зайду в райком, оттуда на фабрику, познакомиться с рационализаторами...

Я говорил в пустоту — отец спал, нехорошо, мертво открыв рот.

Ни одно свое корреспондентское задание не выполнял я с таким вкусом и рвением, как это, которым вполне мог пренебречь, — в редакции понимали, что я взял командировку по личным мотивам. Никогда еще не входил я с таким удовольствием в кабинет секретаря райкома: меня радовал даже неизбежный стол заседаний, крытый кумачом, в перламутровых чернильных пятнах, пыльные гардины на окнах, портреты на стене и самый облик секретаря, неизменный под всеми нашими широтами и долготами: коверкотовый френч, застегнутый на все пуговицы, и такие же брюки, заправленные в сапоги.

Райкомом спасал я себя от того, что случилось с отцом, я спасал себя льнокомбинатом, куда мы направились вместе с секретарем райкома, спасал болтовней о рационализаторах производства, передовыми яслями, Доской почета, стахановцами, новатором-директором, наконец, столовой, где меня, московского гостя, наперебой потчевали секретарь и директор.

Когда, несколько окрепший, я вернулся в домик на площади Заменгофа, отец доедал остатки сгущенного молока, выскребывая ложкой жестяную банку.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Лучше... — Он словно прислушался к тому, что творилось внутри него, и повторил: — Лучше.

Ободренный этим, я принялся рассказывать о своем походе: о том, как меня приняли в райкоме и на льнокомбинате, о собранном материале, об отличном обеде, каким меня накормили в директорской столовой. В этом рассказе был свой тайный подтекст. Отец всегда относился с уважением к власти, я хотел показать ему свою близость с рохомским начальством, чтобы вселить в него чувство жизненной уверенности. Но он остался глух к моему рассказу.



Все, что ему от меня было нужно, лежало перед ним: масло, баночки со сгущенным молоком и консервы, консервы, консервы. Только раз на лице его отразилось внимание: когда я рассказывал о столовой.

— Значит, ты уже пообедал, — сказал он задумчиво. — А я просил хозяйку отварить картошечки.

Еще не стемнело, когда мы легли спать. Я курил одну за другой папиросы и никак не мог заснуть. Едва я задремал, в окошко сильно и зелено ударил молодой, в полкруга, месяц и прогнал сон. Месяц зазеленил белые стены горенки, через весь пол уложил угольный крест оконного переплета; загадочной черной грудой высились на столе неубранные харчи. И вот отец, спавший тихо, как мышь, с коротким стоном перекатил голову по подушке, поднялся и, вытянув вперед руки, зеленоликий, как русал, прошел к столу, нащупал какой-то кусок и стал жевать. Затем медленно прошлепал к кровати, долго-долго, по-детски вздохнул и лег. И еще не раз в продолжение этой бессонной ночи я видел, как спазмы неодолимого голода, прерывая тяжкий сон отца, заставляли его путешествовать от постели к столу.

## 16. ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО

Проснувшись утром, я сразу почувствовал: что-то произошло. Отец сидел на своей койке и курил. Лицо его было видно вполоборота, и вот с этой обращенной ко мне половинки ласково и заинтересованно глядел на меня живой, прозрачный, темно-карий глаз. Вчерашнее наваждение кончилось: больной, измученный, высосанный голодом, отец снова вернулся ко мне.

Он был страшно слаб, вид еды все так же томил его и притягивал, порой с ним происходило нечто вроде голодного обморока, и все же я понял, что пережитое не только не сломило отца, но даже не затронуло его внутренней сущности. Никакой озлобленности, никакой приниженности, мудрая покорность, но не рабье смирение, прежний добрый

интерес к жизни и к людям, прежняя готовность к шутке: он назвал Рохму «последней хохмой» своих дней. Обо всем, что случилось с ним, он говорил спокойно, просто, очень скупое, не жалуясь, не возмущаясь, не размазывая своих страданий. Впоследствии я убедился, что только слабые люди охотно говорят о тех надругательствах, каким их подвергали в лагере. Люди, обладающие какой-то гордостью, никогда не признаются, что их мучили, били, пытали. Они предпочитали обелить своих мучителей, чем выставить на всеобщее обозрение свое поправное человеческое достоинство. Отец, хлебнувший полную меру лагерной судьбы, переживший в лагере жестокость военной паники, конечно же, испытал немало унижительного и страшного. Но лишь раз, с крайней неохотой, признался он, что на этапе конвойный ударил его прикладом. Впрочем, мне кажется, матери он говорил больше. Меня же он щадил, считая, что я молод, мне жить и жить и ни к чему знать, как из человека вышибают душу.

Сам он был, как алмаз, который можно надрезать только алмазом, но перед которым бессильны все самые мощные и грубые орудия из железа и стали. А я не был алмазом, я принадлежал к несчастному и нечистому поколению, родившемуся после революции: порядочный в меру сил, стойкий в меру сил, добрый в меру сил, иными словами, на самом краю способный к выбору между гибелью и предательством. Для отца такого выбора не существовало, он знал только гибель. Вот почему был он так целен и душевно необорим. Он был Лоэнгрином по духу, чистоте, стойкости, этот маленький, обессиленный человек в спадавших штанах, а под латами, перьями и бархатом его избавителя скрывался Тельрамунд. И я-то приехал вселять в него силу жизни, стойкость и твердость! Все утро до самого моего отъезда изливалась из него на меня эта животворная, добрая сила, это величайшее, быть может, — благо — умение жить, не ожесточаясь сердцем, уважать радость своего существования, идти вперед, не оставляя на шипах жизни ключев души, как шелудивый пес оставляет на репейнике клочья шерсти.

Конечно же, не в поучениях сообщал он мне все это: отец никогда не говорил со мной менторским тоном, он держался скорее как младший со старшим, но так оно само собой получалось, о чем бы ни шел разговор между нами. И в какой-то момент, со своей необыкновенной чуткостью к тем, кого любил, он почувствовал, что я не высок, не так высок, как мне бы самому того хотелось. Он угадал во мне несостоявшегося принца и захотел поднять меня до него.

— Знаешь, у тебя здесь вот, — он показал на мой правый висок, — есть что-то героическое.

Я поразился его пронизательности. У каждого молодого человека есть во внешности что-то, что придает ему уверенности. Чаще всего какая-нибудь очевидность: у одного усики, у другого — бачки, у третьего — прическа, у четвертого — манера держать голову. В этом моем виске, с просто и гладко зачесанными назад волосами и намечающейся легкой залысиной, не было ничего примечательного, но когда я разглядывал себя в зеркале, то видел прежде всего этот висок. И тогда лицо мое казалось мне летящим, оно освобождалось от обычной грубой тяжести. Но понять это можно, лишь став на мгновение мною. Отец мог быть мною так же, как и я мог быть им...

Уезжал я днем, отец пошел меня проводить. Мы медленно двинулись через площадь к булыжному шоссе, соединяющему городок со станцией. После двух-трех шагов отец останавливался и, прижимая сердце рукой, переводил дыхание. Нам понадобилось более получаса, чтобы пересечь площадь Заменгофа, и за это время я так пригляделся к ее слепым, недружелюбным домишкам, розовой бессмысленной каланче, деревянным воротам и фанерным кассам городского сада, к нищим торговым рядам, к важным и злым гусям, оспаривающим большую, как сама площадь, лужу у по-собачьи худых свиней, — что возненавидел эту площадь на всю жизнь.

Наконец каланча отвалилась вправо, перед нами возникло многоцветное после недавнего дождика шоссе, це-

почка убегающих вдаль телеграфных столбов, свежая зелень полей и целый город туч, громоздивших свои купола, башни, шпили на краю синего легкого неба. И свежо, тревожно, щемяще пахнуло землей и молодой умытой травой. То ли прибыток свежести перебил дыхание отца, то ли близкая разлука сдавила сердце, он остановился и долго стоял, опустив голову и тяжело, с носовым присвистом, дыша.

— Не надо меня провожать, — сказал я, — ступай домой, а то я буду беспокоиться.

— Нет, нет, — ответил отец решительно и серьезно. — Идем!

Мы двинулись дальше и шли так медленно, что обгонявшие нас прохожие долго, с удивлением оглядывались. Через несколько шагов отца снова схватило. Побледневший, с вытаращенными глазами, он стоял, вцепившись пальцами в грудь, будто хотел поймать ускользающее сердце.

— Нет, нет, — сказал он, опережая мой робкий протест. — Мы должны идти. Мы должны дойти вон до того столба. — И такая несвойственная ему решительность была в его голосе, что я замолчал.

Отец не отличался ни упрямством, ни суеверностью, нервная игра в загадывание была ему чужда, но сейчас ему почему-то необходимо было дойти вон до того столба, дойти, не сдаться, хотя бы оборвалось сердце на этом мучительном, коротком пути. Быть может, он делал какую-то важную внутреннюю проверку, быть может, хотел вскрыть в себе тот потайной запас сил, без которых ему не дожить до новой встречи. Он ломал свою немощь, подымался над бессилием и шел, шел вперед.

Один столб, второй, я боюсь смотреть на отца и невольно прибавляю шаг, словно дело во мне: дойду я или не дойду. Но мне кажется, что этим я помогаю отцу, словно тяну его на незримом буксире. Он отказывается от моей помощи — сильно наклонившись вперед, почти падая с каждым шагом, он обгоняет меня и приникает к столбу, коснувшись его сперва вытянутой вперед рукой, а затем и

всем телом. И я кладу свою ладонь рядом с его рукой на влажную, теплую, неслышно вибрирующую и оттого кажущуюся живой округлость столба. Мы смотрим друг на друга: свершилось что-то важное, одержана победа, не знаю только над кем и над чем.

— Ну вот, новелла завершена, — сказал отец. — Для этого я уцелел. — Он посмотрел на меня со странной улыбкой и добавил: — Ты понимаешь, я сам выбрал это место, сам. Мне никто не приказывал.

Некоторое время мы стоим молча. Впереди, над лесом, в той его стороне, куда ведет дорога, высится мощная, густая крона какого-то дерева. Дуб ли это, или вяз, или старая плакучая береза — отсюда не разобрать. Над ярко-зеленой, зубчатой стеной елового леса его щедро облиственная крона выглядит голубой, ее перерезает стежок тумана, испарение недавнего дождя, и кажется, будто крона свободно висит в воздухе.

— Я приеду через месяц, — говорю я отцу, — и мы дойдем с тобой вон до того дерева...

Я быстро шел к станции по твердо утоптанной тропке, тянувшейся вдоль шоссе. Голубое дерево висело над лесом, и впервые мне казалось, что оно совсем недалеко, у самой опушки, затем оно отодвинулось дальше, в глубь леса, а когда я ступил в терпкое благоухание влажного, прогретого солнцем ельника, оно сделало скачок и оказалось за полотном железной дороги. Но вот я подошел к полотну, и голубое дерево скрылось за редким осинником — над тонкими, трепещущими верхушками осин высился его мощный и легкий купол, и я понял, что оно недосыгаемо для нас с отцом: голубое дерево счастья.

## 17. ПОД НЕБОМ РОХМЫ

Да, счастья не было, какое уж там счастье! Но жизнь шла, и были в ней свои просветы, хотя гораздо больше темного, печального и трудного. Правда, следующий мой

приезд, — а приехал я ровно через месяц, — принес мне радостное и гордое чувство. На площади имени Заменгофа встретил меня маленький, худой джентльмен, очень прилично одетый, для Рохмы даже слишком щеголеват, с живой улыбкой, бодрыми жестами, но с очень медленной поступью. Отец отъелся, вставил зубы, отчего исчезли ужасные провалы под скулами, нарастил плоть на кости, он не мог только вернуть сорванного сердца. Но и в том, каким он себя воссоздал, сказала та изумительная живучесть, что так восхищала маму.

Он жил теперь у другой хозяйки, неподалеку от Большой Рохомской мануфактуры, куда устроился работать плановиком. Прежняя его хозяйка не удовлетворилась ранее назначенной, довольно высокой платой за комнату, и отцу пришлось переехать. В дальнейшем он еще не раз вынужден был менять адрес. Как только хозяйки убеждались в платежеспособности отца, у них тотчас же разгорался аппетит. Им легче было потерять выгодного и кроткого жильца, чем жить с мыслью, что они, упаси бог, чего-то недополучили.

Маленькая Рохма с ее двумя текстильными комбинатами могла бы считаться рабочим городом, но рабочих в настоящем смысле там почти не было. Были крошечные землевладельцы, отбывавшие рабочую повинность, — это давало им возможность и право иметь огород, корову, свиней, птицу, пользоваться выпасами вокруг городка и спекулировать помаленьку в близлежащем Иванове. Таковы были коренные рохомчане. Кроме них, на Большой мануфактуре и на льнокомбинате работали пришлые люди, кем-то и где-то мобилизованные женщины, нетрезвые, разнузданные и несчастные; были также инвалиды войны, считавшиеся годными для службы в тылу. Этот народ ютился в бараках и к настоящим горожанам не принадлежал. Лицо города создавали квартирные хозяйки отца: настолько жадные, что корысть обращалась им же во вред.

Отца не любили там, в Рохме. Ни его безобидность, ни его слабость, ни его ровный, кроткий и веселый характер

не могли защитить его от ненависти рохомчан. Они ненавидели отца и за то, что он сидел в лагере, и за то, что он вышел оттуда, и за то, что он не умирает с голода, не ходит босым и голым, за то, что сын у него писатель, и сын этот не бросил его в беде. Впрочем, стоило мне раз замедлить присылку денег, как я получил анонимное письмо с угрозой сообщить в Союз писателей, что я не помогаю старику отцу. Неведомый автор письма менее всего руководствовался желанием сделать отцу добро, он хотел лишь поквитаться со мной за то добро, которое я делал отцу.

Помню, в пору второго моего приезда в Рохму мне довелось побывать у отца на фабрике. Готовился очередной отчет, и отца заставили проработать половину его отгулочного дня. Как некогда в лагере, прошел я следом за отцом к его рабочему столу, знакомясь по дороге с сотрудниками отдела, пожимая чьи-то руки, выслушивая чьи-то имена и называя свое; а затем я следил за работой отца, слушал забытый потреск арифмометра и звонкий щелк счетных костяшек. Все было как в то далекое время, и все было по-иному. Я не поймал ни одной улыбки, ни одного доброго и заинтересованного взгляда, ни разу не уловил в ладони при рукопожатии ответного тепла. Люди глядели хмуро и настороженно, вяло совали потные руки и тут же отдергивали, и единственный вопрос, заданный мне сотрудницей, касался рыночных цен в Москве. И отец работал уж не с прежним блеском. По несколько раз проверял он свои расчеты, сердился на арифмометр, порой досадливо морщил лоб, видимо, теряя какую-то цифру, что-то перечеркивал и начинал сначала. Сузившиеся сосуды плохо орошали мозг горячей, живой кровью.

Впрочем, работал он в одиночестве. Его начальник Шаров дважды надолго оставлял помещение отдела, чтобы разгрузить хлопок. Грузчиков не хватало, и к этому делу привлекали сотрудников управления. Но работа была настолько тяжелой и грязной и оплачивалась так мизерно — полкило черного хлеба и несколько ничего не стоящих

рублей, — что никто, кроме Шарова, за нее не брался. Шаров — местный старожил и самый зажиточный в городе человек, у него было большое молочное хозяйство с маслобойкой и сыроварней, фруктовый сад и теплицы. Но он не брезговал даже таким грошовым приработком, настолько полно воплощался в нем рохомский тип.

Другая сотрудница отдела все время бегала кормить грудного ребенка, третья, едва показавшись, отпросилась за какой-то надобностью в Иваново, четвертый был не трезв — он либо дремал, либо шумно, с отчаянным лицом пил воду из графина; наконец, пятый, моложавый и серьезный сперва долго читал газеты, затем вышел покурить, вернулся, что-то прибрал на своем столе и снова удалился в курилку.

Но все эти равнодушные к делу, полусонные люди проявили внезапный интерес, как только по вине отца случился в отделе острый разговор. Мой выпитый лагерем отец не только сохранил большую добросовестность в работе, чем все окружающие, но и куда большее легкомыслие, идущее от нежелания расстаться с собственной личностью. Было так: кормящая мать, полная, тяжелогрудая, плоскозаядая, с чисто рохомским лицом — упрямокосяным, закрытым на все замки, затаенно подозрительным, — пожаловалась, что в доме у нее развелось множество крыс.

— А вот у нас в лагере крыс употребляли в пищу, — заметил отец, отрываясь от арифмометра.

Воцарилась нехорошая тишина — тишина не сна, а пробуждения. Слова отца расколдовали это сонное царство, как поцелуй принца — двор спящей красавицы, но только здесь родилось не движение, а напряженный покой охотничьей стойки.

Моложавый сотрудник перестал скручивать очередную сигарку, пьяница отнял горлышко графина от губ, закрытое лицо кормящей матери замкнулось еще на один замок.

Но вот эти добрые люди испугались собственной тишины. Моложавый сотрудник двинул стулом, что можно



было расценить и как протест, и как готовность принять меры; пьяница крикнул; а кормящая мать, отвечающая не за одну себя, но и за рожденное ею беспомощное существо, произнесла деревянным, страшноватым голосом:

— Зачем же это вы так делали?

— Ну, конечно, затем, — с легкостью ответил отец, — чтобы уничтожить грызунов.

Нетрудно догадаться, к чему бы привел этот разговор, если бы на выручку отцу не подоспел вдруг вернувшийся с разгрузки хлопка Шаров.

— Зачем задавать бессмысленные вопросы? — резко сказал он кормящей матери. — Вы что, маленькая, сами не понимаете?

Этого было вполне достаточно, чтобы все сразу же утратили интерес к разговору. Кормящая мать держалась в отделе только милостью Шарова, как, впрочем, и двое других сотрудников; все они, в сущности, ничего не умели и по одному слову Шарова могли лишиться работы.

Шаров защитил отца отчасти потому, что ценил его как работника, отчасти потому, что, при всей своей жадности, был порядочным человеком. К тому же в глубине души он был убежден, что отец сидел за дело, и по-кулацки не мог ему не сочувствовать. Он простер свое расположение до того, что пригласил нас в гости. Вечером мы побывали у него, полюбовались его образцовым хозяйством, прекрасными яблонями и вишенником, смородиной и крыжовником в щедрой завязи, поглядели, как ловко старшая дочь Шарова доит великолепную костромскую рыжуху, как бойко сбивает масло средняя дочь, как трудолюбиво кормит меньшая свиней, поросят, кур, уток, гусей.

Шаров о чем-то пошептался со своей старухой, и мы видели, как она потащила в сени большой серебристый самовар, а старшая дочь принесла из сеней крынку коричневых сливок и вазочку с медом, в котором плавали прозрачные пчелиные крылышки. Но угощения мы так и не дождались: видимо, в последний момент у Шарова не хва-

тило духу расщедриться. Попрощавшись с «гостеприимными» хозяевами, мы двинулись восвояси ночной Рохмой, столь же нелепой, некрасивой и непоэтичной, как Рохма дневная.

## 18. БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

В последующие годы я еще не раз приезжал в Рохму, и каждая новая поездка давалась мне все труднее. Я не только не привык к своему раздвоенному существованию, напротив, ощущал его все мучительнее, стыднее и горше. В поезде я еще был облечен в московскую броню, когда же впереди возникали знакомая колокольня и красные трубы Большой Рохомской мануфактуры, с меня сползала не только броня, но и кожа. Я чувствовал себя голым и незащищенным: любой встречный человек мог причинить мне зло. Этот переход «из князи в грязи» бесконечно унижал и оскорблял меня.

Зыбкость, раздвоенность тогдашнего моего существования навсегда заронили в меня предощущение какого-то окончательного несчастья, позорного разоблачения. Порой возникал соблазн покончить со всем этим, открыть свою рохомскую тайну и зажить в новом, пусть униженном, но цельном образе. Я не имел права так поступить: ведь это означало катастрофу и для отца тоже — я был источником его существования.

Слишком слабый для того, чтобы быть последовательным, я лишь наполовину осуществил мамино решение. В Москве для всех даже самых близких мне людей отец-узник оставался неизвестным, но сказать об этом отцу я не нашел в себе силы. Он напропалую, без всякой осмотрительности, выхвалял меня в Рохме, и я все время со страхом ждал, что какой-нибудь рохомский странник постучится в дверь моего сановного тестя с просьбой о пристанище или трудовом устройстве. Я был как вор, ожидающий, что его вот-вот схватят за шиворот.

Несказанно угнетала меня и бесперспективность судьбы отца. То была драма без катарсиса, без спасительного очищения. Я уже не мог, как некогда, мечтать о торжественном и трогательном освобождении отца из оков, о его возвращении в Москву, в дом, в свет и счастье до конца дней. Никогда не смогу я взять его за руку и смело, открыто и гордо вывести пред лицо людей. Между мной и этой мечтой воздвиглась неодолимая стена лжи: вся моя новая биография, такие легкие и тяжкие, как сама судьба, листки анкет. Вычеркивая отца из своей биографии, я вычеркнул его из главной моей мечты, той мечты, что с юношеских, даже детских лет казалась мне последним и высшим смыслом моей жизни. Ничто не окупится в будущем: ни претерпленные им бессмысленные и жестокие страдания, ни слезы его и мои; напрасен был подвиг его жизнестойкости, мужества и его терпения. Голубое дерево счастья — только мираж.

В ту пору, о которой я сейчас пишу, отец еще многого не знал, хотя, быть может, кое о чем догадывался. Но он не прошел наших испытаний страхом — он провел все эти годы над страхом — и потому не достиг такой утраты личности, такой предательской и спасительной изоциренности, что позволяет жить между подвигом и подлостью. Он был очень наивен и жестоко платился за эту наивность...

Вот как бывало в первые годы после войны, когда между Москвой и Рохмой восстановилась телефонная связь...

Отец входит в небольшое, теплое помещение телефонной станции. За барьерчиком девушка с мутными от бессонницы глазами раздраженно тычет медные наконечники проводов в номерные щитки. Она вкладывает в свои движения столько ожесточенной силы, словно хочет пронзить щиток насквозь.

Отцу казалось, что сегодня обязательно выйдет, но сейчас надежда оставила его. Он стоит у барьерчика, не решаясь заговорить. В четвертый раз приходит он сюда. Немало

потребовалось времени, чтобы он отважился позвонить. Разговор стоит двадцать пять рублей. Это кружка молока, это кило картофеля, это полкило хлеба. Наконец ему стало невыносимо, желание услышать родной голос пересилило вновь пробудившиеся муки голода. Три раза приходил он сюда безуспешно и вот явился в четвертый. Для этого пришлось встать в пять утра. Пробуждение было убийственным: ведь сон — единственная благодать, избавляющая от тоски и от требовательной муки вновь оздоровевшего и ожадневшего тела.

Как всегда, при пробуждении он увидел, что комната заставлена с детства знакомыми вещами, застывшими в темноте плотными сгустками тьмы. Буфет, огромный, как замок — в детстве он и был замком, который не раз штурмовал он с покойным братом; за ним платяной шкафчик, кованный железом сундучок няни, рогатые велосипеды, прислоненные к стене, два письменных столика, побольше — брата, поменьше — его. Все это виделось, неоспоримо виделось, протяни руку — и ты коснешься вещей своего детства. Но он никогда не делал этого после первого же разочарования. Он ждал, когда вещи исчезнут сами, растаяв с первым светом, проникающим сквозь неплотный ставень. И верно: вот исчез платяной шкаф, затем столики, велосипеды. Дольше всех держался буфет. Уже растворился его низ, а резной верх средней башенки еще висит под потолком, затем и он исчезает. Остались голые стены пустой комнаты, где только и было, что его лежаночка да фанерка на четырех поленьях — стол.

Уже сколько лет просыпается он в помещениях без вещей: нары и деревянные стены барака, ветки шалаша да клочок неба с близкой и большой, как молочная капля, Полярной звездой; наконец, рохомские комнаты, тоже пустынные, потому что хозяйки при сдаче внаем выносят из них вещи. Хитрое подсознание придумало ему в утешение этот трюк: заполнять комнату вещами его детства. В первый раз он поверил миру, встал, пошел к вещам, протя-

нул руку — и тронул шершавую голую стену. Больше он не делал этого, довольствуясь маленьким, коротким благом видеть их в течение нескольких минут полудремы-полуяви...

Он вышел на улицу. Свет уже родился где-то на краю неба, четко обозначились верхушки старых деревьев, но на земле все оставалось черным, лишённые очертаний предметы словно бы слипались. Он знал, что, когда дойдет до телефонной станции, будет совсем светло. Три тысячи шагов, отделяющие его от нас, он рассчитывает пройти за полтора часа, к тому времени все изменится в природе: краски, звуки, температура...

Он расчленил свой путь: первый привал — на лавочке возле фабричной проходной; второй — у перил мостика через речку; последний — на скамье возле городского сада. Самым тяжелым был первый этап: от дома до проходной. Здесь дорожка чуть приметно шла в гору, и сердце болезненно отзывалось на каждое усилие тела. Он знал наперед, что сердце будет поминутно замирать, затем бешено колотиться, чтобы протолкнуть медленную кровь по тонким нитям сосудов. Это нужно суметь пережить — не торопиться, не вышагивать по-солдатски, а ступать так, как ходят маленькие дети по лестнице, — становясь обеими ногами на каждую ступеньку, — расчетливо, спокойно, и тогда дойдешь, обязательно дойдешь.

Когда он взошел на мост, сумрак разределся, на лиловатой от фабричных отходов воде лежали красные отсветы восхода, кирпичный фасад прядильной фабрики горел, словно объятый пламенем. Едва он достиг городского сада, тьма стянулась к подножию деревьев, домов, заборов, воздух опрозрачнел.

Теперь сердце опять застучало больно, но уже не от трудностей пути, — от надежды. Прижми к груди ладонь и ни о чем не думай, старайся глядеть по сторонам: вон тащится на рынок телега с серебряными бидонами, вон баба несет в корзине гуся, наружу торчит длинная шея и

маленькая глупая голова с огромным красным клювом. И вот уже перед тобой будочка телефонной станции — ты дошел, и это еще не последний твой путь!

Девушка не замечает его, она вырывает наконечники из круглых дырок и вонзает их в другие. Не туда! Тряса кистью, она извлекает наконечники и всаживает в соседнюю дырку. Он чувствует зависть к ее грубым, своевольным движениям, к тому, что она может не скрывать своего раздражения, не замечать пришельца.

— Позвольте вас побеспокоить, — говорит он наконец. — Вы обещали мне сегодня...

Звонят медные наконечники, ударяясь об алюминиевый щиток. Девушка соединяет чьи-то голоса. Одно движение ее руки — и незримая ниточка разговора протягивается в утреннем просторе. Легкость, с какой она это делает для других, подавляет его. Он не в силах повторить вопроса. Девушка говорит сама:

— Подождите. Большая мануфактура на проводе.

Он ждет. Ждет долго. Он представляет себе чужой разговор:

— Как по суровью?

— Подбиваем по суровью...

— Значит, вытягиваете?

— Вытягиваем...

— По миткалю?

— Подбиваем по миткалю...

— А по чесуче?

— Подбиваем по чесуче...

...Телефонный звонок, дребезжащий и долгий, вонзился в утренний сон семьи, как сигнал бедствия. Он разбудил всех, но никто не поднялся.

— Что это? — испуганно спрашивает моя жена.

— Одна наша старая родственница. Наверное, опять денег просит.

— Хоть бы она подохла скорей, — вздыхает жена и натягивает одеяло на голову.

— ...Не отвечает ваша Москва, — сказала со злобой телефонистка.

— Они спят... они проснутся... Очень вас прошу, попробуйте еще раз...

Телефонистка покрутила ручку аппарата еще и еще. В трубке слышались разряды, шелест, словно ветер проплутал осенней лесной дорожкой; тонкий гудок, тихий и частый постук, будто дождик барабанит по листьям: вдруг какая-то музыка возникла далеко, резко нарастая в силе, приблизилась и снова отхлынула, исчезла вдали. Голос пространства тревожен и печален, от него щемило сердце. И вдруг далеко-далеко, с другого конца света, но совсем отчетливо услышал он голос своей бывшей жены:

— Да?

Тоненькая ниточка наконец-то протянулась к нему, и, как ни тонка она была, он почувствовал себя сильней близостью ныне чужой, пусть закрытой для него навсегда семьи. Он закричал:

— Здравствуй, Катенька... Как вы живете все?..

— Ничего. — Голос сух и отстраняющ. Но может быть, это расстояние делает его таким?

Крепко зажав в руке трубку, словно боясь, что ее отнимут, он кричит:

— Как Сережа?..

— Ничего...

— Что он подделывает?..

— Ничего...

В голосе раздражение. Интонация, знакомая ему с давней поры их близости, — но менее всего ожидал он встретить ее сейчас. У него заболело сердце глухой, тревожной болью. Он не может спросить, как не мог спросить все эти годы: за что с ним так? Ему вспомнилась длинная, трудная дорога, которой он шел сюда и которой ему предстоит идти назад...

...Стоя босыми ногами на полу, бывшая жена отчетливо слышала все большую робость, потерянность его голоса.

Но что могла она поделать? Если б хоть не так рано было, она бы нашлась, но не варит тяжелая со сна голова. Сказать хоть бы что-нибудь.

— Как твое здоровье?

— У меня две болезни: сердце и очень хороший аппетит, — шутит он с другого конца света.

Она чувствует слабую надежду в его голосе.

— Ничего не поделаешь, всем худо, — говорит она, совсем-совсем не то, чего он ждет, говорит и сама чувствует это.

Ей хочется сказать, что она не виновата, но не находит слов, и тоненькая ниточка обрывается.

А что было ей делать? Она не могла даже назвать его по имени — у сына ночевала жена, а жена ничего не должна знать. Боже упаси, чтобы она догадалась...

## 19. «КАМОРКИ»

Ненасытная жадность рохомских хозяек привела отца в «каморки» — нечто вроде рабочего общежития при Большой Рохомской мануфактуре. Громадное четырехэтажное кирпичное здание «каморок» было построено еще Кущинским, прежним владельцем фабрики, в этом угадывалась какая-то либеральная затея.

Комнаты общежития с высокими потолками и большими окнами выходили в широкие, просторные коридоры, тянущиеся во всю длину здания. В конце каждого коридора располагались обширные общественные кухни и места общего пользования. В нижнем этаже находились душевые и прачечные. «Каморки», как окрестили в Рохме коммуны Кущинского, не имели успеха. Рабочие стремились к земле. Одинокие достигали этого женитьбой на коренных рохомчанках, семейные предпочитали ютиться в убогих лачужках, но при своем наделе. В результате «каморки» стали обиталищем рабочих подонков: безмужних баб, гулящих девок, пьянчужек, словом, всякого декласси-



рованного сброда. В пору революции и разрухи состав обитателей «каморки» стал еще более пестрым: какие-то странники и странницы, безногие и безрукие солдаты, ничьи «женки» с многочисленными детьми; густое человеческое месиво набило их от душевых и прачечных до мест общего пользования. Пустовали лишь кухни: огромные, никогда не озарявшиеся веселым треском огня плиты, они не оставляли «жизненного пространства».

В иных комнатах ютились по две-три семьи, в иных располагался на просторе один-единственный владелец или владелица. Все комнаты слали в коридор густые, несвежие запахи еды и, словно гигантские шмели, неутомно жужжали примусами. Кухнями Кущинского от века никто не пользовался, они были построены в расчете хоть на какое-то общественное начало в быту обитателей каморок, и это сразу определило их нежизнеспособность. Даже совместная закупка дров оказалась недоступным делом для этих разобщенных, подозрительных, тайно и явно ненавидящих друг друга людей.

Коренные рохомчане от души презирали обитателей «каморок». Жить здесь — значило морально опуститься, безнадежно пасть в общественном мнении. Отца это мало тревожило, его огорчало другое — он не имел тут отдельной, пусть бы и плохонькой комнаты, а снимал угол у хозяйки, богомольной, суздальской «женки», немолодых лет, работавшей в какой-то артели.

Когда я посетил отца в этом новом его обиталище, то понял, что его не будут тут доносить ни непрерывно растущей квартирной платой, ни платой за услуги: остывший самовар утром, горшок холодной каши вечером. Опасность подстерегала его с другой стороны.

Хозяйка, с постным, будто обмазанным лампадным маслом лицом и с блестящими, слишком жадными глазами, поглядывала на отца, как мышь на крупу. Бесшумно и быстро переносила по комнате свое легкое тело, округло выступающее из широкого платья, она все время рылась то в

постели, то в комод, то в шкафу, словно никак не могла отыскать нужную ей вещь. Она придумала себе это занятие, чтобы не оставлять нас вдвоем. То ли она опасалась, что я настрою отца против нее, то ли ее возбуждало присутствие двух мужчин. Я чувствовал, что дело может плохо кончиться для моего слабого, неспособного на сопротивление отца.

Наконец хозяйка вызвалась купить водки. До этого я ни разу в Рохме не пил. Мы дали ей денег, и, обвязавшись глухим шерстяным платком, она выметнула в коридор свое беспокойное тело.

— А хозяйка явно имеет на тебя виды, — сказал я отцу.

— Боюсь, что да, — согласился он. — Она расхаживает по ночам в белой рубашке, похожей на саван, и мне кажется, что это смерть... У меня есть тут подруга, — продолжал отец, — Фиса, очень милая женщина. Мы после зайдем к ней, я давно хочу вас познакомить.

— Кто она такая?

— Ткачиха. Муж погиб на фронте, остались двое детей, мальчик и девочка. Мальчик необыкновенно туп, в каждом классе сидит по три года. Ему скоро призываться, а он едва перешел в пятый класс. Девочка — живая и довольно способная, но льстивая и хитрая. Она пробовала называть меня «папой», но я решительно это пресек.

— Значит, у меня появились сестрица и братец?

— Нет, нет! — с наивной серьезностью успокоил меня отец. — Этого никогда не будет. Фиса — бескорыстный человек, она ничего не требует от меня. Ее очень осуждают за то, что она связалась со стариком и «не пользуется», как выражаются местные «женки». Она действительно очень привязалась ко мне.

— А почему бы тебе не жить у нее? Все лучше, чем в этих «каморках»!

— Видишь ли, тут произошла трагическая история. Фиса жила в доме у одной старухи, ухаживала за ней, кормила, поила, и за это старуха должна была после смерти отказать

ей дом. Старуха оказалась на редкость живуча и прожорлива, Фиса совсем с ней замучилась. Наконец старуха умерла, тут было такое счастье! Я купил бутылочку портвейна, Фиса испекла пирог. Как-то недели через три я ночевал у Фисы. Вдруг среди ночи — стук. Вваливаются двое нищих-слепцов, муж и жена, дальние родственники покойной и законные ее наследники. Кто-то из рохомчан позавидовал Фисиному счастью, с немалым трудом разыскал этих слепцов и сообщил им о наследстве. У меня чуть сердце не разорвалось от жалости...

— Ну и что было дальше?

— Слепцы переночевали на полу, а утром, когда проснулся, я услышал какой-то щелк: они ловили друг на друге вшей. Это было отвратительно, — хладнокровно заметил отец. — А потом они устроили ревизию имуществу, обнаружили, что прохудилась самоварная труба, и уехали за новой трубой в Пензу.

— В Пензу за трубой?

— Так ведь слепые ездят без билетов, а в поездах подают лучше, чем на улице. Мне кажется, — задумчиво добавил отец, — они не останутся тут надолго, в Рохме ненавидят нищих. Старик целый день простоял у проходной нашей фабрики и не собрал даже на стопку водки.

— Но они могут продать дом!

— Кто его купит? Полуразвалившаяся, гнилая хибара. На худой конец, дело идет о сотне рублей, я помогу Фисе. — Отец улыбнулся: — Приятно на склоне лет стать домовладельцем.

Вернулась хозяйка с четвертинкой водки, бутылкой пива и какой-то закуской. Закрасив водку малиновым сиропцем, она быстро и ловко собрала на стол, а сама стала в углу под образами в почерневших серебряных ризах и, подперев голову кулачком, умильно поглядывала на пирующих «мужичков».

Мне понадобилось выйти. Отец сказал, что уборная находится в конце коридора, налево. Пройдя высокий гулкий

коридор, я обнаружил ряд низеньких дверец, до половины застекленных непрозрачным пупырчатым стеклом. Толкнув одну дверцу, я очутился в жилом помещении, теснота стен и вещей, оглушающий шум примуса, крикливая возня детей. Вторая попытка дала тот же результат. Больше я уже не пытался открывать дверцы, достаточно было приблизить ухо к мутному стеклу, чтобы за каждой дверцей обнаружить шум жизни. Я двинулся дальше и оказался в гигантском зале, заставленном огромными, никогда не виданными мною плитами. Настоящая адава кухня! Невозможно было представить, чтобы здесь готовили простые человеческие кушанья. Нет, сам сатана творит тут свое горячее дело, поджаривает грешников на сковородах величиной с рыцарский щит. Но сейчас бездействовали могучие корабельные топки, и плиты стояли холодные, как склепы.

Чувствуя неприятный нервный озноб во всем теле, я быстро пересек кухню, наугад толкнул какую-то дверь и вновь очутился в громадном зале, лишь немного уступающем первому. Пол, стены и потолок, слепленные из серого, холодного вещества, похожего на бетон, непрерывно сочились омерзительной зеленоватой влагой. Единственно сухой в этом гнилостно потеющем зале была паутина, сверху донизу заткавшая высокое готическое окно. Посреди зала торчал диковинный цветок: два чугунных бутона-унитаза на общем трубчатом стебле. Другой обстановки не было. На одной из стен чья-то рука начертала дерьмом: «Гитлер — пидорас». Надпись находилась под самым потолком, видимо, писавший стоял на плечах товарища. Крупные корявые буквы рельефно выделялись на серо-зеленоватой слизи стены.

Этот зал с могильной сыростью и холодом, затканным паутиной окном, с чугунным цветком посреди и красноречивой надписью под потолком словно привиделся мне в дурном, болезненном сне. До сегодняшнего дня меня порой охватывает сомнение: да было ли это на самом деле?

Когда я вернулся в комнату, отец, стоя у окна, что-то внимательно высматривал на улице. Из-за его плеча я увидел похоронную процессию. Четверка заморенных кляч, таких худых, что, казалось, они должны колотиться о собственное тело, в грязновато-белых траурных попонах и черных очках, тащила катафалк с гробом. И гроб и катафалк были перетянуты кумачом, на котором бледно просвечивали буквы каких-то лозунгов. За гробом шли музыканты, тщедушная банда из пяти-шести человек. Издавая короткие, ухающие звуки, тускло сверкал змий геликона, помятый, как после схватки с архангелом Михаилом; четыре трубы поменьше вплетали свою жалобу в его дремучий голос. Порой в сумятице звуков проскальзывали три-четыре такта похоронного марша Шопена. Вслед за музыкантами двое мужчин в темных драповых пальто неуклюже тащили большой жестяной венок, за ними на полкилометра растянулись провожающие. Чем дальше от катафалка, тем нестройнее ряды, безучастнее лица, последними, взявшись под руки, как на демонстрации, шли мордастые девахи.

— Когда я умру, — сказал отец, — пусть меня хоронят без музыки. Это моя единственная, но серьезная просьба. Музыкантов нанимают из оркестра горсада, они то и дело сбиваются на фокстрот. Я не получу никакого удовольствия от своей смерти, если не буду уверен, что их не допустят к моему гробу.

...Бедный отец! Стоило ему подумать о чем-либо плохом, как это плохое непременно сбывалось. Его хоронили с музыкой. Музыкантская команда горсада, сбиваясь с шопеновского марша на фокстрот, проводила его в последний путь. Такова была непреклонная воля Фисаньки. Только раз посветила ей в жизни радость недолгой близости с отцом, и она не могла отказать ему в этой чести, да и люди бы ей не простили...

Что-то сломалось во мне в этот приезд. Наша комната была жалкой ячейкой в каменных сотах чудовищного общежития, до отказа набитого нищетой, злобой, грязью,

жестокостью. Лишь тонкие, непрочные перегородки отделяли нас от страшных людей, мнущих чугунные унитазаы и пишуших дерьмом на стенах. И таким простым казался переход из этой незащищенности на помост катафалка, влекомого полуслепыми клячами. Никогда еще не попадал отец в худшую беду.

Я послал хозяйку купить еще водки. Я вливал в себя водку стакан за стаканом, почти не хмелея, а хозяйка бежала вновь и вновь, счастливая возможностью услужить «мужичку». Откуда-то появилась девчонка с нежным тонким лицом и грязными наманикюренными ногтями. Девчонка тоже пила водку, брала мою руку и водила по своему лицу. Но так тяжело было на сердце, что я отпустил девчонку ни с чем. А потом, уже в сумерках, я стал плакать. Я плакал долго, не в силах остановиться, до боли в груди и горле. Я плакал из жалости к отцу и к себе, плакал от бессилия и безнадежности, плакал, впервые поняв, что у меня не станет сил до конца идти путем отца, рано или поздно, я сверну с дороги и брошу его. Я словно прощался с ним сейчас, прощался надолго, до настоящей разлуки. И отец как будто понимал это: он не пытался меня успокоить, он сидел молча, задумчиво и лишь порой тихо гладил меня по голове.

А на другой день мы пошли к Фисаньке. Я выплакал в себе столько боли, что мне казалось — теперь все будет лучше, светлее, легче. Я заранее готов был принять подругу отца, милую, бескорыстную женщину, да еще «маминоного типа».

На краю Рохмы, в рослых лопухах, торчала на покосившейся обомшелой тесовой крыше кирпичная, готовая вот-вот рухнуть труба. Крошечный домишко с кривыми оконницами врос в землю. Со своей непомерно длинной и узкой трубой он напоминал чем-то старый помятый самовар. Вокруг домика развешано мокрое белье, такое запользованное и ветхое, что стирка не могла вернуть ему белизны. Ветер дул в дырявые паруса простыней, они надува-

лись и тут же обмякали с коротким влажным хлопком. Мы вошли в дом, вернее, спустились в него, как в неглубокую яму. В полутемных сенях стояла невыносимая вонь помойного ведра и чего-то скисшего, созревшего. По контрасту воздух в тесной комнате показался чистым. «Так вот где происходит любовь отца», — думал я, обводя взглядом худую металлическую кровать с горкой серых подушек, стол, крытый темной засаленной клеенкой, поломанные стулья и какое-то пузатое бесформенное сооружение, бывшее когда-то не то комодом, не то буфетом.

Из-за ситцевой занавески, отгораживающей угол комнаты, появилась подруга отца, сравнительно молодая женщина со светлыми волосами и большим неподвижным лицом. На подбородке у нее был довольно приметный нарост. Кажется, глаза у нее были хороши, но их синий сверк мелькнул на краткий миг и спрятался под большую, упрямую лобную кость. До конца нашего визита я так больше и не увидел Фисанькиных глаз. Впрочем, и лица ее я тоже толком не разглядел. Она прятала все, что только можно спрятать, — глаза, лицо, руки, грудь, ноги, — на обозрение оставались лишь широкие плечи да сутулая натруженная спина. Тщетно силился я отыскать в ней «мамин тип», угаданный отцом. Но все же было, наверное, в ней что-то, отчего она приглянулась отцу, отчего он выбрал ее среди всех, столь схожих с нею подруг. Тут не могло быть ошибки. Верно, таким и становится «мамин тип» под гнетом рохомской жизни, под чудовишным давлением нищеты, полуголода и непосильного труда.

Рохма верна себе во всех звеньях, напрасно тешился я радужными надеждами в это утро. Фисанька не дозволила себе ни одного сколько-нибудь симпатичного движения, ни одного доброго слова. Ее редкие, под нос, отрывистые речи в ответ на все любезности отца, желавшего нас подружить, были выдержаны в известном ключе: не замай. Что-то грубо-отстраняющее, угрюмое, тупое и затаенное. «Она стесняется», — шепнул мне отец. Я никогда не видел

столь неизящной и непривлекательной дикарки. Наконец, после многочисленных робких, хотя и тщетных, намеков отца на «самоварчик», мы распрощались с Фисанькой.

— Она ревнует, — сказал отец по дороге домой. — Она боится, что старая семья отнимет меня у нее.

Я честно признался, что Фисанька мне не понравилась.

— Неужели ты не заметил, что она с мамой одного типа? — удивился отец, нисколько не обиженный. — Это тип Лили и Эльзы, мне всегда нравились женщины этого типа. — И он принялся вспоминать прошлое.

А вечером, роясь в книгах, наваленных грудой на столе отца, я обнаружил толстую тетрадь в белой обертке. На обертке было написано: «Текстилиада». Тетрадь содержала формулы экономических расчетов, эскизы текстильных машин, диаграммы, цифровые выкладки: отец осваивал новую для него область работы. Я уже хотел отложить тетрадь, как вдруг наткнулся на куда более близкий мне текст. Это было начало литературной статьи, речь шла о познании мира средствами искусства. Я стал читать статью, силясь вспомнить, кому она принадлежит. Формулировки были сжатые, ясные и отточенные. Для «демократической» критики слишком дельно и беспарфосно, для Константина Леонтьева слишком современно.

— Знакомишься с моими опытами? — проговорил отец. Уютно устроившись на кровати, он курил, сбрасывая пепел мимо вазочки, заменявшей ему пепельницу. — Я хотел развить тут одну мысль Толстого, по-моему, недостаточно оцененную...

Ужас «каморок», Фисанька, слепцы с самоварной трубой, вся жалкость рохомской жизни не коснулись отца, словно он был заключен в незримую и непроницаемую оболочку. Он жил широко и вольно, не теряя связи ни с чем в большой жизни: лишенный всего, что составляет обиход человека, он ничего не лишился в себе, но не делал из этого позы, и оттого мне, молодому, суетному и слабодушному, так трудно было увидеть настоящую его высоту.



Я долго думал об этом, лежа на жесткой постели с потухшей папиросой в руке. Отец давно уснул, как умер, столь тихим, неслышным было его дыхание, но еще долго огромной летучей мышью металась по комнате хозяйка в сером балахоне, томимая своими беспокойными и тщетными желаниями.

## 22. В МОСКВЕ

Прошли годы, странная формула «семь и четыре» наконец-то исчерпала себя. Отцу вернули все права свободного гражданина. Теперь он мог расстаться с Рохмой и переехать в Тейково, или Нерль, или даже Шую, более крупные города не рекомендовались. Теперь он не должен был каждый месяц являться к районному уполномоченному МГБ, достаточно было приходить раз в три месяца. Теперь он мог проводить свой отпуск, где ему заблагорассудится, конечно, с разрешения того же уполномоченного. Словом, он был свободен как ветер. И опьяненный своей новой свободой, отец собрался в Москву. Ему пришлось трижды переключать отпуск: районный уполномоченный, не решаясь взять на себя ответственность, запрашивал область, а та, в свою очередь, сносила с Москвой. Наконец весной 1948 года разрешение было получено, и в один из солнечных майских дней отец постучался в дверь нашей квартиры.

Мы его ждали. Мама сменила неизменный халат на юбку и кофту, причесалась и даже подтянула чулки, Дашура побрилась и надела чистый фартук. Лицо у нее было заплаканным, но не от растроганности. Я попросил испечь лепешку, как в доброе старое время, а Дашура по дряхлости забыла рецепт, за что ей жестоко досталось от мамы.

Дашура открыла дверь, поздоровалась с отцом и вышмыгнула на лестницу, чтобы забрать его чемодан.

— Ну, здравствуй, — сказала мама, подходя к отцу.

— Здравствуй, Катенька.

Они поцеловались, грустно и спокойно, старые люди, у которых все осталось позади, в такой дальней дали, что и вспоминать о прошлом ни к чему, да и не хочется. И оба замолчали.

Людам, встречающимся каждый день, всегда есть о чем говорить, для них важны и увлекательны все мелочи, вся суета повседневности; людам, не видевшимся десятилетие, говорить не о чем. Маленькое ушло, а главное ясно и без слов: оно запечатлено в морщинах, в седине волос, в собачьей кротости глаз. Встреча после очень долгой разлуки — все равно что новое знакомство, а они были не в том возрасте и слишком устали, чтобы заводить новых знакомых.

Им не надо было ни притворяться друг перед другом, ни просить прощения за взаимную душевную бедность — то, что их связывало, было прочно и нерасторжимо, все остальное ничего не значило.

— Ты мало изменилась, — проговорил отец, потрясенный переменой в мамином облике.

Мама лишь устало отмахнулась.

— Да... вот цветочки. — Отец протянул букетик тускло-красных и желтых бессмертников.

— Разве можно приносить в дом бессмертники? — укорила мама. — Это плохая примета.

Отец никогда не разбирался в цветах, наверное, он думал, что это маргаритки.

— Других не было... — пробормотал он смущенно.

Мама взяла бессмертники и поставила в вазочку на комод, там они стоят и по сию пору.

— Хочешь принять ванну? — спросила она. — А Дарья приготовит завтрак.

— С удовольствием! — сразу оживился отец: запахло уютом.

Отец не умел зажигать газ, он никогда не видел газа в квартирах. Его по-детски обрадовало, когда при повороте рычажка вспыхнули фиолетовые побеги пламени и тонкая струйка воды, вмиг нагревшись, запарила.

Едва мы сели к столу и Дашура с сумрачным лицом подала яичницу-глазунью и обгорелый кругляш, напоминающий любимую нашу лепешку, как в дверь постучали. Отец испуганно и вопросительно взглянул на маму. Этот взгляд открыл мне, что он кое-что понял из моих подлых недомолвок и околичностей.

— Ступай в ванну! — сказала мама отрывисто.

Отец юркнул в ванную комнату, мама вышла в коридор, притворив за собой дверь. Пришла ее приятельница и соседка, дама в круглых очках, вьедливая, любопытная и проницательная. Не знаю, о чем они там говорили, но в комнату мама ее не пустила. Видно, та заподозрила что-то, вся мамина нелюбезность разбивалась о настырное желание приятельницы проникнуть в нашу тайну. Наконец хлопнула входная дверь, и я выпустил отца из заточения. Что-то еще порвалось в душе, уж слишком грубо все это выглядело.

— Кто это был? — спросил отец с любопытством.

— Знакомая, над нами живет.

— А она... — Отец не договорил, поскольку и без того было ясно, что он имеет в виду.

Мать пожала плечами. Отец все-таки не до конца понимал наши и свои обстоятельства. Он думал, что надо опасаться лишь некоторых зловредных людей, а мы вынуждены были скрывать его ото всех.

— Мы должны думать о Сереже, — с присущей ей жесткой прямоотой сказала мать. — Сейчас опять сажают почем зря. Если надо будет, Сережа отречется от тебя, от меня, от черта и дьявола.

— А Сережина жена знает, что я приехал?.. — неуверенно проговорил отец.

Мать сделала большие глаза.

— Ты с ума сошел!..

Отец замолчал, ушел в себя, наконец-то он понял. Видимо, в эту минуту в нем рушились какие-то последние иллюзии. И вместе с тем он знал теперь, как непросто и

нелегко мы живем, суровая мамаина прямога сняла тот налет оскорбительности, который проглядывал для него в моей полуправде. Он понял нашу загнанность и нашу борьбу, понял настолько, что, когда прозвенел телефонный звонок, сам кинулся в ванную.

Мама остановила его чуть раздраженным жестом: она высказала то, что должна была сказать, но все же ей было тяжело.

— Никого нет дома! — крикнула она Дашуре. — И двери тоже не открывайте!

— Ну как же я не открою?.. — завела Дашура.

— Так вот — не откроете! Нечего всякой сволочи сюда шляться!..

Но не так уж в жизни все плохо. Добрый и отходчивый характер отца превозмог и это новое угнетение — как-никак он был в Москве, с единственно близкими ему людьми, и этого уж нельзя было отнять у него. Он шел сюда путем невероятных мук, терпения и стойкости, он был почти мертв, но он выжил и дошел, и как ни печальна его победа, все же это победа. И вкусная домашняя глазунья, домашняя, пусть чуть подгорелая лепешка, и кофе со сливками — совсем немалая награда победителю. Он снова стал оживлен, остроумен и так уютен, как только он один умел быть за столом. Он выпил чашку кофе и еще чашку, затем еще одну, последнюю, после чего со смешливо-испуганным выражением попросил еще одну, самую последнюю.

Я посмотрел на маму, она улыбнулась мне. То была очень редкая у мамы, незащищенно-добрая, растроганная улыбка. И почему-то я сразу уверился, что не унижительное и гадкое останется после этой поездки в душе отца, не бегство в ванную и вздрог от каждого телефонного звонка, а наша, пусть испуганная, пусть жалкая преданность ему.

Конечно, отцу во многом по-иному рисовалось возвращение в Москву. Он думал, что его окружают друзья былой, лучшей поры, что в долгих дружеских разговорах увяжут они прошлое с настоящим, отчего все пережитое обретет

новую ценность. Но поколение его сильно поредело: кто умер, кто пропал в ссылке, кто погиб на войне. Уцелело всего лишь несколько могикан. То были люди настолько старомодно-порядочные, что отцу не возбранялось видеться с ними. Но первые же попытки отбили у отца охоту к возобновлению былых связей. Его встречали безнадежно постаревшие, ни в чем не преуспевшие люди, задавленные страхом почти до полного равнодушия. Даже самый благополучный из них, профессор, с которым у отца было в молодости и соперничество, и какие-то сложные счеты, произвел столь жалкое впечатление, что отец вернулся от него с чувством полного удовлетворения.

Это и огорчало, и как-то успокаивало отца. Что ни говори, а собственная судьба уже не кажется такой бедной, когда видишь, что другие, прожившие куда в лучших условиях, не очень-то ушли вперед. Лишь перемена в женщинах глубоко трогала и печалила отца, тут он был до конца бескорыстен. Он обладал необыкновенной способностью встречать на улице знакомых, в первый же свой выход он столкнулся с одной большой любовью и двумя мимолетными близостями.

— Что случилось с Анной Семеновной! — говорил он, делая страдальческое лицо.

— То же, что и со всеми нами, — годы, — отвечала мать.

— Неужели и Лиля так же изменилась? — испуганно спрашивал отец.

— Так же? Я уж на что стара и безобразна, а по сравнению с ней — молодка. Лиля — настоящее чудовище, — с благородной простотой говорила мать.

Был конец мая, и цвели тополя. Мы решили с отцом пойти на Гоголевский бульвар. Сперва вышел из дому он один, через несколько минут я присоединился к нему на углу бульвара и Сивцева Вражка. Деревья пахли так крепко и густо, что совсем не слышны были обычные городские запахи бензиновой гари, пыли, асфальта. По воздуху летал

белый пух. Приземляясь, пушинки становились похожими на мохнатых гусениц.

— Что может быть лучше этого запаха, — говорил отец. — Так пахнет только в Москве. — И всей слабой грудью он вбирал в себя крепкий и сладкий воздух, воздух своего детства.

Мы шли к Арбатской площади, шли так медленно, что нас обгоняли даже крошечные дети, едва научившиеся ходить. И все же это был не такой уж плохой шаг, если он привел отца из Заполярья, через Воркуту и Рохму, к тополлям Гоголевского бульвара.

## 21. ПЕРЕД КОНЦОМ

Теперь отец приезжал в Москву каждый год. Он привозил рохомский гостинец: мешочек лесных орехов, которые собирала для меня льстивая дочка Фисы. Ему по-прежнему приходилось скрываться в ванной комнате при чьем-либо неожиданном появлении, но постепенно и это как-то «образовалось». Необходимость делает людей беспощадными: на время его приезда мы стали решительно порывать с нашими друзьями и знакомыми, не подыскивая никаких мотивов и не утруждая себя объяснениями. Когда раздавался внезапный стук, мать через цепочку отваживала незваного гостя. Друзья огорчались, но больше злились. Они подозревали, что за приступами нашего внезапного охлаждения скрывается тщательно хранимая семейная тайна, и страдали от невозможности проникнуть в нее. Впрочем, мы не потеряли ни одного из них: обидеть закаленного советского человека — дело почти невыполнимое.

Но среди всех наших новых, настырных ненадежных друзей нашлась женщина такой высокой душевной пробы, что мы рискнули познакомить ее с отцом. Моя новая жена — с Ниной мы расстались друзьями — тоже оказалась человеком, которому можно доверить судьбу, и это особенно радовало отца с его старомодными представле-

ниями о семье и браке. Теперь он чувствовал себя по-настоящему введенным в домашний наш круг.

Отец испытал последний короткий подъем всех жизненных сил. С увлечением и юмором рассказывал он нам о своей победе над сердцем директрисы прядильной фабрики, женщины «абсолютно мамино типа». Рохма никогда не видела столь блистательного романа: он возил свою даму в лучший ивановский ресторан, где она заказывала вареную курицу с рисом.

Этот роман стоил ему угла в «каморках». Суздальская «женка», кое-как мирившаяся с существованием Фисаньки, которую надеялась рано или поздно одолеть, решительно возмутилась при появлении новой грозной соперницы. Она стала водить к себе «мужичков», и один из них так прижился, что отец вынужден был искать себе другое пристанище. Он снял маленькую комнатку в дальнем конце Рохмы, у старухи по прозвищу Душегубка. Кличка была несправедливой, старуха не погубила ни одной человеческой души, этим промышлял ее давно умерший муж. О его разбойных делах старуха рассказывала со странным простодушием и откровенностью. Он грабил и нередко отправлял на тот свет прохожих людей при большой дороге, ведущей из Рохмы в Шую. «Уж совсем дряхлый был, — говорила старуха, вытирая глаза кончиком черного монашеского платка, — почти слепенький, без палочки шагу не мог ступить, а работы не бросал. Наденет очки, палочку в руки и трюх-трюх...» И она показывала, как трюхал ее муж на ночную работу.

Эту историю нам рассказывал в Москве отец, а затем я услышал ее из уст самой вдовы старого трудяги. То был мой последний приезд в Рохму.

С тех пор как отец стал проводить свой ежегодный отпуск в Москве, я редко бывал в Рохме, а последние полтора года так и вовсе не бывал. Но тут мне пришлось поехать: отец как-то странно, потерянно говорил со мной по телефону. Мне не понравился его голос, не то чтобы потухший, а какой-то опавший, без прежнего веселого металла.

Отец встретил меня на площади имени Заменгофа, конечной остановке автобуса, связавшего после войны Рохму с Ивановом. При первом же взгляде на него я понял, что дело неладно.

В прошлый его приезд я подарил ему модный белый пыльник из прорезиненной ткани. Пыльник очень шел отцу, и, проходя мимо витрин и зеркал, он всякий раз косил глазом на свое отражение. Сейчас я с трудом узнал мой подарок в грязной, засаленной, местами порванной тряпке, облегавшей фигуру отца. День был летний, жаркий, отец мог свободно обойтись без этого пыльника, видимо, он надевал его машинально, не замечая ни грязных пятен, ни сального ворота, ни дырок на месте вырванных с мясом пуговиц. Меня поразила не столько неопрятность обычно аккуратного отца, сколько ощущение чего-то раз бывшего: тяжелого и болезненного. Вот таким же размундиренным явился он из Саратова, а ведь и тогда его опустившийся вид не был вызван нуждой.

— Зачем ты носишь эту грязь? — спросил я отца.

— Да... — согласился он рассеянно. — Надо бы отдать постирать...

Воспоминание о Саратове помогло мне понять, что произошло с отцом. Ему снова не под силу нести свое бремя, свое одиночество, постоянную тоску о Москве, по-прежнему остававшейся для него недостижимой. Его редкие, кратковременные приезды домой лишь разжигали эту тоску, усиливали чувство безнадежности. Героический период его жизни кончился, наступила повседневность без остроты страдания, но с постоянной тяготой неудовлетворенности и одиночества. В нем иссякла вера, что когда-нибудь он навсегда порвет с Рохмой и вернется в Москву, а с верой пропала и сопротивляемость.

Невеселым было наше последнее рохомское свидание. Внешне все оставалось по-прежнему. Он так же расспрашивал о Москве, о доме, о нашей новой и единственной общей знакомой, даже шутил; так же, когда я еще спал,



ходил по утрам на базар, чтобы купить чего-нибудь вкусного, так же интересовался новыми моими рассказами, но была во всем этом печаль странной отчужденности. Не то чтобы он стал ко мне равнодушен. Скорее наоборот: никогда еще не ощущал я, что мой приезд так ему нужен, так дорог. Но он мог бы и вовсе ни о чем не спрашивать, а я мог бы не отвечать, мы могли бы просто молча курить: ему достаточно было одного моего присутствия. Его отчужденность распространялась на мой душевный мир, но не на физическое мое пребывание рядом с ним. И мне было холодно и словно бы страшно от этой моей внедушевной ценности для него.

Когда он провожал меня на автобусную остановку, я обнаружил вдруг, что на нем опять надет тот самый грязнейший пыльник. Я невольно подумал: уж не игра ли это? Но достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы сразу отвергнуть эту мысль. Нет, он сделал это непроизвольно, снова перестав замечать что-либо вокруг себя. Всеми помыслами, всеми последними силами тянулся он к Москве. Я был для него сейчас не просто сыном, я был образом мира, без которого он не мог больше жить, он терял этот образ и оттого не видел ни себя, ни вещей, его окружающих.

И, глядя из окна автобуса на маленькую, потерянную фигурку в грязно-белом балахоне, я думал: неужели — конец?

Нет, то был еще не конец, хотя конец был близок.

## 22. КОНЕЦ

Он еще раз приехал в Москву — в хорошем пальто, хорошем костюме, фетровой шляпе, нервно-легкий и словно помолодевший.

Мне кажется, он знал, что умирает. Он попросил свезти его в Химки. Он хотел набраться каких-то чистых и свежих впечатлений о городе, в котором родился, любил, был счастлив. Город стал другим, другие дома, другие ули-

цы, даже названия улиц, другие люди. С этим городом у него не было интимной связи, и он обратился к тому, что меняется меньше всего и вернее всего хранит силу воспоминаний: к воде и деревьям.

Ему захотелось увидеть воду московской реки, деревья Москвы, такие же золотые, как в осени его детства. Мы поехали в Химки. Он не узнавал ни улицы Горького, ни Ленинградского шоссе, ни Петровского парка; в Химках вокзал, пристань, гранитная набережная вызвали в нем восхищенное уважение, которое он всегда испытывал к человеческому труду. У него стал легкий, летящий, как в молодости, шаг, я едва поспевал за ним, когда мы обходили набережную. С деревьев облетали листья и, опускаясь на воду, плыли, задрав хвостики черенков.

Затем он сказал с каким-то непонятным удовлетворением: «Ну, хорошо!» — и пошел к машине. Тут я что-то понял: это сведение счетов. И на обратном пути я заговорил с ним о себе, не так, как делал это до сих пор. Обычно, чтобы не ослабевала в нем уверенность в жизни, я изображал из себя крепкого, напористого, неунывающего борца. Но сейчас ему нужно было знать, что же оставляет он после себя на земле. И еще: ему нужно было знать, что же оставляет он после себя на земле. И еще: ему нужно было передать кому-то неизрасходованную силу жизни. Последнее, что может сделать настоящий человек на земле, — это утешить тех, кому еще предстоит жить, вдохнуть в них надежду и веру, что жизнь не так уж плоха. Но разве нужно все это тому ловкому, пробойному молодцу, каким я неизменно являлся перед ним? И на обратном пути из Химок я открылся ему тем человеком, на которого он мог потратить последнее усилие любви.

Во все дни своего пребывания в Москве отец производил впечатление человека, начинающего новую жизнь, на самом же деле он сводил счеты со старой. Вся его нестойкая бодрость сломилась на перроне Ярославского вокзала, куда мы — отчим, жена и я — пришли его провожать.

Каким-то странным, падающим шагом засеменял он в обгон нас к вагону, будто хотел поскорее прервать мучительный обряд расставанья. А может, ему стало нехорошо с сердцем, и он заторопился из боязни, что не дойдет. Лицо его туго обтянулось желто-бледной кожей, глаза стали выпуклыми, испуганно-удивленными.

Он стоял на площадке, когда в вагон шумной, разнuzданной, полупьяной оравой ввалились волейболисты «Локомобиля», ехавшие в Иваново на соревнования. Все молодцы как на подбор, рослые, стройные, переполненные вульгарной жизненной силой, они не затолкали, не задавили отца лишь потому, что в их натренированных, гибких и мощных телах была безотчетная, изящная ловкость. Рядом с этими горластыми, пышущими здоровьем молодцами отец, с его прерывистым дыханием, обглоданным лицом, всей смертной слабостью крошечного тела, показался таким обреченно-непрочным, таким безнадежно изжившимся, что всех нас пронизало общее чувство: больше мы его не увидим. Верно, и он почувствовал это, у него не стало сил даже для прощальной улыбки...

Кажется, никого из нас не удивило, когда через два с половиной месяца от отца пришло письмо, что он болен и лежит в больнице. Все же поначалу его болезнь не казалась такой опасной. Вскоре он вышел из больницы и вернулся к работе. Но затем снова заболел: у него отнялась правая рука.

«Врачи находят тромбоз», — сказал он мне по телефону и просил приехать. Я обещал приехать на машине и забрать его в Москву. Уже на другой день я бегал по разным автодорожным учреждениям, чтобы разузнать дорогу на Иваново, купил столитровую бочку с бензином и запасные камеры. Тем временем отец хлопотал о разрешении на выезд в Москву. В разрешении ему отказали, а тут зарядили тяжелые осенние дожди, потекли проселочные дороги, поездка на машине сорвалась.

Началась та ужасная игра, о которой мне и сейчас, по прошествии стольких лет, тяжело писать. Под всеми пред-

логами оттягивал я свою поездку. Я убедил отца устроиться в санатории. Он последовал моему совету, а по выходе из санатория вновь звонил и спрашивал, когда я приеду. В ответ он слышал рассуждения о том, что ему следует непременно уйти с работы и всерьез заняться своим здоровьем, что я буду высылать ему столько денег, сколько он получал на фабрике, и материально жизнь его нисколько не ухудшится. И он послушно оформлял свой уход с фабрики, консультировался в Иванове у профессора и снова звонил и спрашивал, когда же я приеду.

Я все не ехал. Задерживало меня то одно, то другое: собственное скверное нервное состояние, необходимость отдыха, затем литературные дела — после долгих лет застоя я неожиданно одержал крупную победу, которую следовало укрепить и развить. Словом, причины находились — хорошие, веские, ничего не стоящие причины.

Отец в избытке получал письма, деньги на жизнь, на лечение, на консультации у лучших ивановских специалистов, умные, дельные советы, но ничего этого ему не было нужно. Ему нужно было одно: чтобы я приехал.

А я боялся ехать. Все мои маленькие страхи перед Рохмой слились в один великий и подлый страх. Случилось то, что должно было случиться: я предал отца, у меня не хватило сил идти до конца его крестным путем. Еще бы шаг, еще бы одно последнее усилие, и пусть бы не удалось мне его спасти — я дал бы ему нечто равное спасению: близость родной жизни, обман надежды, на которых охотно пошло бы его верящее сердце. Я не сделал этого шага, не сделал этого усилия, я дезертировал перед лицом грозившей ему смерти.

Я хочу кончить свой рассказ об отце записью из дневника, сделанной 4 апреля 1952 года, в день, когда мы получили весть о его смерти. Решив писать всю правду, я все же как-то себя оправдывал. Но пережитое в тот день живое, беспримесное, непосредственное чувство не находило мне оправдания.

4 апреля

«Вот и кончилось все, что началось дорогой в Канда-лакшу, когда я вновь обрел то странное, острое, непонятно властное, что называется редко звучащим на моих губах словом «отец». Обычно с отцом связывает сильное начало в душе человека. Для меня же это было иным: мягким, страдающим, спасающим от последней грубости. Я должен быть ему благодарен больше, чем любой другой сын благодарен отцу, кормившему, поившему, одевавшему, воспитывавшему его. Я кормил, поил, одевал отца. И тут мое чувство совершенно свободно. Но благодаря отцу я узнал столько всяческой боли, сколько не причинила мне вся моя остальная жизнь. Это единственная основа моего душевного опыта, остальное во мне дрянь и грубость. Маленькая фигурка за колючей проволокой лагеря, маленькая фигурка на рохомском шоссе, проводы «вон до того телеграфного столба» и взгляд мне вослед, взгляд, который я физически чувствовал, даже скрывшись из виду, — это неизмеримо больше того, что способен дать сыну самый лучший отец.

Да и можно ли говорить «отец», когда дело идет об этом крошечном, мне по плечо, слабом, незащищенном человеке? Он дал мне жизнь, и за это я с ним расквитался. Когда, больной, раздетый, умирающий от голода, почти бесплотный, он прибыл умирать в Рохму, я его накормил, обул, одел, дал ему жизнь. Тогда меняхватило на это. И если он снова стал человеком, если он снова смог работать, читать книги, радоваться, любить баб, — это было создано мною. Я как бы родил его наново сознательным усилием любви, жалости и злобы. Он был моим сыном; и потому нет мне сейчас прощения. Сын предает отца — это закономерно, дети всегда, рано или поздно, так или иначе, предают родителей. Но когда отец предает сына — нет ему прощения. Я это сделал. Я предал своего старого, больного, одинокого, умирающего сына».

# ТЕРПЕНИЕ

Скворцовы давно собирались на остров Богояр; пути туда из Ленинграда комфортабельным трехпалубным туристским теплоходом вечер и ночь. На осмотр острова со всеми его пейзажными красотами и скромными достопримечательностями уходит от силы полдня, потом отдых, всевозможные развлечения, глубокий сон, как в детской колыбели, под легкую качку озерной волны, и ты — дома. Даже странно, что, живя всю жизнь в Ленинграде, они не удосужились раньше предпринять столь приятное маленькое путешествие. Это много ближе, чем маящие Кижы, куда они собирались каждый год, так и не выбравшись, но значительно дальше Орешка-Шлиссельбурга, где они тоже не бывали, в чем признавались с наигранным стыдом.

В семье никто не отличался охотой к перемене мест, влечением к старине, отечественной истории и церковному зодчеству. Жизнь семьи была «вся в настоящем разлита». Дети учились в инязе на английском отделении, мать занималась наукой — микробиологией, отец весьма убедительно изображал директора Института по мирному использованию атомной энергии.

Брат с сестрой, внешне несхожие, он — высокий, тонкий, пепельноволосый, она — маленькая, крепко сбитая брюнетка, полностью совпадали и в своих счастливых свойствах, и в молодых пороках. Оба числились отличными студентами, английский давался им без труда, что обеспечивалось редкой механической памятью и необремененностью сознания — они стряхивали с себя обузу практически ненужных знаний, как собаки — воду после купания; душевная и умственная лень подкреплялись в них страстью к

развлечением и холодной иронией ко всем проявлениям человеческого энтузиазма, пафоса и просто серьезности.

Брат с сестрой все делали с улыбкой, родители улыбались редко: с серьезным видом уходили на работу, с серьезным видом возвращались, серьезно, хотя и не часто, встречались с друзьями, серьезно отдыхали всегда в одной и той же Пицунде — дальние заплывы, подводная охота, теннис, шашлыки на костре, кино, долгий, за полночь преферанс. Считалось, что все это они любят, так же как и своих детей, и друг друга (у дочери, правда, было особое мнение на этот счет). Брат с сестрой не любили никого, кроме самих себя, но настолько чувствовали и понимали друг друга через собственный эгоизм, приверженность к удовольствиям и потребительское презрение к окружающим, что это создавало между ними доверительную близость. К родителям они относились настороженно, поскольку нуждались в них, но корыстное чувство к отцу смягчалось снисходительностью, мать они почти уважали за стойкую отчужденность, объяснить которую не умели да и не пытались — мать им не мешала.

Скворцова трогало и умиляло, что в лицах и молодых упругих телах детей соединялись, хотя и по-разному, материнское и отцовское начала. Удлиненное, сухое, сильное тело, которое он передал сыну, обрело у того мягкую материнскую пластику, а на тонких отцовских губах вдруг всплыла невесть к чему относящаяся далекая потерянная материнская улыбка; дочь, будь она повыше и поплотней, являла бы точную копию матери в ее восемнадцать, но острый, пылливый взгляд из-под очень длинных тонких ресниц был отцов, и это единственное сходство оказалось доминантой ее внешности. Скворцов видел: дети — хищники, что обеспечивало им жизнестойкость, и это его радовало не меньше, чем «документально» утвержденная в них несомненность четвертьвекового союза — время не остудило страстной любви Скворцова к жене.

Скворцову стоило немалого труда устроить эту семейную поездку, о которой он давно мечтал, — ему не хватало

слишком рано эмансипировавшихся детей. И брату и сестре было безразлично, куда ехать: на север, юг, восток или запад, не волновало их и конечное место назначения: море, горы, озеро, остров, город, дачный поселок, но требовалась подходящая, настроенная на их волну компания, хорошие диски или записи, много вина, понимание с первого взгляда и возможность это понимание реализовать. Они ни за что не согласились бы на семейный компот, если б им не было обещано по отдельной каюте, если б теплоходный бар с джазом уже не получил одобрения знатоков, если б родители не предоставили им полную свободу, в том числе от экскурсии по острову, где смотреть, как и повсюду, совершенно нечего. Взрослые люди просто отстаивают свой обветшалый мир — обычная борьба за существование — перед теми, кто сгонит их с арены, и потому усиленно притворяются, будто до сих пор ценят скудные радости своей аскетической молодости.

Паша и Таня Скворцовы справедливо считали, что им повезло с предками — могло быть куда хуже; каждое покушение на их время щедро оплачивалось деньгами и подарками, незамедлительным исполнением самых сложных просьб. Паша являлся собственником однокомнатной квартиры с лоджией и «Жигулей», Таня знала, что в недалеком будущем ее ждут те же блага, но, полагаясь на собственные силы, рассчитывала достичь большего посредством раннего, тщательно продуманного брака. Она нравилась и сверстникам, и зрелым мужчинам, и старикам, что озадачивало ее брата, вовсе не ощущавшего ее притягательности, — обычная смазливая девчонка, каких тринадцать на дюжину. «Неужели ты сам не понимаешь, почему ко мне все липнут?» — однажды спросила Таня, раздраженная слепотой самого близкого человека. «Честно говоря, нет!» — «А во мне есть ма-ми-но», — произнесла она, таинственно понизив голос. «Ну и что с того?» — искренне удивился брат. В тугом, энергичном, очень современном лице сестры промелькивало сходство с уже поплывшими чертами ма-



тери, но сходство это было зыбким, непрочным, к тому же он не чувствовал очарования матери, синего чулка, зануды, безразличной к блеску сына, а этого Паша не выносил. «В матери есть нечто, — важно, свысока сказала Таня. — Поэтому отец так помешан на ней. И во мне есть нечто, и не видит это только последний дурак». Паша возмутился и дал сестре подзатыльник. Они подрались — с большим ожесточением, причем обе стороны понесли чувствительные потери. Паша не отличался великодушием и расквасил сестре нос. Помирились они перед самой поездкой на Богояр.

Уже на пароходе Паша вспомнил о недавнем разговоре, оказывается, кое-что его заинтересовало. Не слишком... Слишком не надо ничем интересоваться, а то набьешь мозоли на мозги. Но теплоход плыл мимо низких и скучных невских берегов, бар был еще закрыт, а сестра все равно торчала у него в каюте, и Паша вернулся к прерванному побоищем разговору:

— Ты считаешь мать красивой?

— Если хочешь знать, в молодости она была даже красивей меня, — заявила Таня, и у брата опять зачесались руки. — Она зачем-то уничтожила все свои довоенные карточки, но у отца в бумажнике есть крошечное фото, вырезанное из группового снимка. Какое у нее лицо!.. Нет, я, конечно, пас перед матерью, — охваченная внезапным смирением, сказала Таня. — Зато у меня есть характер!.. Смирение отступило перед новым напором самодовольства. — А маман этим не блещет.

— Во зазналась! — восхитился брат. — Ты начинаешь мне нравиться.

— А ты мне — нет. Терпеть не могу желторотых.

Паша заводился с пол-оборота, но в поклонении сестры был уверен. К тому же сейчас его занимало другое.

— По-твоему, мать бесхарактерная?

— Конечно! Она не любит отца, а живет с ним и даже не изменяет.

— А ты почему знаешь?

— Мы как-никак соседки...

— Ну, ты сильна!.. А ее заграничные поездки? Думаешь, за красивые глаза?

— Болван!.. Мать крупный ученый. Другие нахватили должностей и премий, но если требуется наука, посылают мать. А когда придуманные командировочки, за костюмчиками для внуков... — Она не договорила. — Не знаю... Возможно, у матери есть характер... или был когда-то, но она от него отказалась. Ей так проще. Во всяком случае, дома. А на работе... — Таня пожала плечами. — Она заставила себя уважать.

— А я не верю, что мать настоящий ученый. Погасшие люди бесплодны.

— Видать, ты сильно мучаешься, что мать на тебя плевать хотела!

— Касса-то ведь у отца, — рассудительно заметил Паша, — остальное меня мало волнует. Тем более что отец насюсюкался надо мной за двоих. Но ты тоже зря разыгрываешь из себя маменькину дочку.

— А я и не разыгрываю... Но тебя мать просто не видит, а меня... — Она заколебалась и вдруг сказала искренне — То ли жалеет, то ли хочет полюбить...

— Да не может! Все это маразм. Эскимосы оставляют престарелых родителей в чумах без харчей и огня — вот правильная постановка вопроса.

— Чего ты злишься?.. Наши никому не мешают. У тебя какой-то эдипов комплекс навыворот.

— Ладно!.. — Теперь он всерьез завелся. — Ты мне надоела. И пора одеваться! — Резким движением он спустил тренировочные брюки.

— А то я тебя не видела!.. — презрительно уронила сестра, но все же вышла из каюты.

Они помирились в баре, возле стойки, где, по обыкновению, изобразили нежную парочку, чтобы спокойно, без помех отыскать себе что-нибудь подходящее.

Слухи о теплоходе в целом и о баре в частности не были преувеличены. Первоклассная посуда, оборудованная по последнему слову техники, со вкусом отделанная деревом; скрытый свет, мягко разливающийся по стенам и потолкам, превосходная мебель, особенно хороши глубокие кресла и диваны, обитые красной кожей; полуовальная стойка бара обставлена высокими тяжелыми устойчивыми табуретами, сиденья тоже обиты красной кожей; пышногрудая, чернокудрая, испанского вида барменша со смуглыми полными руками ловко сбивала коктейли; хорошо одетая публика; правда, джаз с электрогитарами и прочей электромзыкальной техникой был шумноват, но это неизбежно, таково повсеместное требование отечественного вкуса — игра под сурдинку считается халтурой, — словом, все соответствовало высшим современным требованиям.

— Только не нажирайся сразу, — попросила сестра. — Мне здесь нравится и охота продержаться до конца.

— Кого-нибудь подцепишь и продержишься. А меня оставь в покое! — резко сказал Паша, наметанным глазом обводя быстро заполнявшееся помещение...

...Меж тем их родители, поужинав в ресторане, вернулись в каюту-люкс и сейчас пытались решить, что делать дальше. По местному радио была объявлена обширная программа развлечений: в кинозале — новый фильм, в концертном — литературная викторина, в нижнем салоне — телепередача из Останкина, в верхнем — шахматный турнир. Все, кроме шахмат, представлялось соблазнительным, и Алексей Петрович Скворцов прикидывал вслух сравнительные достоинства каждого мероприятия, ероша свои мягкие, но упругие волосы, которые, растрепанные и перепутанные его худыми пальцами, как-то сами разбирались между собой и аккуратно ложились седыми волнами по сторонам прямого пробора на маленькой аристократической голове, когда заметил, что Анна выпала из общения, забыла о его существовании, вступив в тайный и бессмысленный створ с ночью и темной маслянистой водой за

оконцем, с которого сдвинула занавеску. Над Невой повис плотный туман, растворявший в себе редкие береговые огни и свет, источаемый теплоходом, да она и не пыталась что-либо увидеть в желтовато-неопрятной мути. Это лишь казалось, будто взгляд ее устремлен на что-то внешнее, нет, она всматривалась в себя, в свое прошлое, несбывшееся, обладавшее над ней магической властью. Если б Скворцов знал, что это останется у нее навсегда, он бы... все равно женился на ней, сознательно приняв ту муку, которую нес вот уже четверть века. Страшнее и безысходнее корежило его в юности, когда она любила его друга, единственного друга, почти брата, друга, не вернувшегося с войны и тем открывшего ему путь если не к сердцу, то к плоти любимой женщины. Нет, не просто открывшего, а сделавшего куда больше: он получил Анну, потому что от него пахло Пашкой; они и на войне были неразлучны до той последней минуты, когда приходится делать выбор, поставив жизнь на карту, ему повезло, а Пашка погиб. Была в Пашке при всех его достоинствах какая-то слабина, обреченность. Скворцов рано угадал это в Пашке, казавшемся всем другим победителем, прирожденным лидером, юным вождем Оцеолой. Наверное, потому Скворцов не отступился от Анны при всей очевидности своего поражения, ибо чувствовал Пашкину незащищенность. Пашка был уверен, что друг зачехлил оружие, как поступил бы он сам в подобных обстоятельствах, ибо это диктовалось его оскорбительной для живых, нормальных, грешных и притом неплохих людей старомодной этикой. Свою неоправданную, сумасшедшую, фанатическую надежду, что верх останется все-таки за ним, Скворцов даже в наихудшие минуты не думал подкрепить хоть малым предательством друга; нечистота (в свете допотопной Пашкиной морали) была в том, что он ожидал его отступа, сбая, чем непременно воспользовался бы. А Пашка должен был рано или поздно споткнуться: ветряные мельницы нередко представлялись ему великанами, а носители действенной, хотя и тайной силы — кар-

ликами. Скворцов ждал и надеялся. Даже когда началась война и между Пашкой и Анной произошло все, — потом оказалось, что ничего не произошло, хотя она с бессмысленным упорством убеждала мужа в злые минуты, что во все не он, а Пашка сделал ее женщиной, — когда они уходили добровольцами на эту войну и Анна не могла найти для него даже порошинки участия, все, все отдав Пашке, Скворцов не отказался от надежды. Они могли оба погибнуть, это было более чем вероятно, но если одному суждено вернуться, то им окажется Скворцов, такие, как Пашка, с войны не приходят. А Скворцов пришел-таки, вернее, притащился, хотя был в полном здравии, но плен, проверочный лагерь и прочие мытарства надолго отсрочили его возвращение — весьма непарадное — в Ленинград. К этому времени Анна уже поняла, что Пашки нет в живых, хотя похоронки не приходило и он числился пропавшим без вести. Анна искала его на фронтах — пошла сандружинницей, позже — по госпиталям, инвалидным домам, давала объявления в газетах и по радио — тщетно. Пашкины родители и сестры погибли в блокаду, другой родни не было, немногие уцелевшие приятели безнадежно разводили руками. Да Анна и сама все знала... Когда же нежданно-негаданно вернулся Скворцов, Анна так ему обрадовалась, что он, истосковавшись, измучившись, изболел сердцем, принял эту тоску по всему, чем была для нее юность, освещенная синью Пашкиных глаз, чуть ли не за любовь. Он признавал условность, искусственность этого чувства — и все-таки обманывал себя. Анна с напором, какого он в ней не подозревал, стала втягивать его в жизнь. Сама она уже многое успела: защитила кандидатскую диссертацию, которую издала книгой, готовила докторскую. Скворцов долго находился в положении догоняющего, что никак не ущемляло его самолюбия — он слишком любил Анну, чтобы вести с ней какие-то счеты. Анна сразу согласилась стать его женой, и, пока он не кончил институт, они жили на ее зарплату. Вскоре родился сын, названный в честь погибше-

го друга Павлом, Пашкой. Когда же Скворцов сравнялся с женой в научных степенях, а по заработку обошел, то ощутил вместо законного удовлетворения легкую утрату: для него было что-то щемяще-трогательное и волнующее в ее домашнем приоритете.

Скворцов считал себя счастливейшим человеком на свете: его пыл к жене с годами не остывал, он любил своих детей, неуклонно шел вверх по служебной лестнице. Сколько выпало ему на долю горького, мучительного, страшного, унижительного, а верх остался за ним. В юности, когда в человеке все так нежно и ранимо, он находился в Пашкиной тени, хотя не уступал тому ни умом, ни характером, ни внутренней наполненностью, ни даже физической силой. Когда они шутили и ожесточенно боролись, Пашка дожимал сухощавого, юркого противника только за счет большего веса. Скворцов был остроумней, находчивей Пашки, но где бы они ни появлялись, рассчитываться на первый-второй было лишним, люди сразу узнавали ведущего. Хорош был Пашка до омерзения, особенно на коктебельском пляже: бронзовый, синеглазый, темноволосый, с мускулатурой микеланджеловского Давида и спокойно-легким дыханием доброго и бесстрашного человека. Пашка царил в любой компании, что не мешало многим считать его недалеким. А был Пашка умен и проницателен, но последним качеством редко пользовался, щадя, жалея несовершенство окружающих. Скворцов понимал это с легкой завистью, ибо такого не мог себе позволить; Анна же понимала с ликующим восторгом. Она была не просто влюблена в Пашку, он был ее богом. И она не могла забыть его, помнила беспощадно цепким женским чувством, хотя они не знали физической близости.

А что такое эта пресловутая близость? Они прощались в Коктебеле, где их застало известие о войне. В тот вечер Пашка и Анна ушли вдвоем в Сердоликовую бухту, откуда вернулись под утро. Скворцов знал, как беззаветно любила Анна его друга, и не сомневался в том, какой дар получил

Пашка перед расставанием. Но, к великому его изумлению и торжеству, в первую брачную ночь он обнаружил, что Анна девственна. Неужели красавец, силач, супермен, как сказали бы сейчас, оказался пустоцветом? А ведь так бывает. Спортивные, сплошь мускулы и сухожилия, молодцы — порой никудышные любовники. Доверительных мужских разговоров они с другом никогда не вели, но в «доаннинский» период Скворцов слышал совсем другое о любовных подвигах Пашки. И он ревновал погибшего друга к своей жене, от которой имел двух детей, но которую так и не сумел разбудить. Однажды, в злой час, она сказала, что Пашка, а не он сделал ее женщиной. Он услышал в ее словах лишь наивную попытку унижить его, причинить боль. И когда эта бессмыслица вновь всплывала, он не придавал ей никакого значения, замороженный бедной реальностью физиологии. И лишь недавно ему стукнуло, что Анна не изошрялась в злых выдумках, а говорила о чем-то действительно постигшем ее в ночной Сердоликовой бухте. Пашка проник ей в кровь, отравив ее собой, сделав нечувствительной к другим мужчинам. Скворцов знал, как поэтично и отвлеченно помнят люди о своей первой чистой любви. Анна помнила иначе — омертвлением женского естества, совершенно здорового, щедро способного к деторождению: помимо двух детей, было еще несколько аборт, сделанных ею вопреки его чуть не слезным уговорам, — ему до безумия хотелось, чтобы она рожала от него. Лишь раз, очень давно, осмелился он заговорить о ее холодности. «Много ты понимаешь!» — обрезала она. Это прозвучало презрительно и с такой грубой злостью, какой он в ней не подозревал.

И тогда Скворцов понял, что не успокоится, пока не причинит ей ответной боли. Он был терпелив и долго ждал своего часа, но в конце концов подвел ее к тому вопросу, которого она почему-то ни разу не задавала: как погиб Павел? Скворцов отвечал осторожно, взвешивая каждое слово. Их оставили вдвоем в покинутом немецком дзоте на

развилке дорог. Приказ был: продержаться до подхода наших. Они и держались, хорошо держались... А потом настала тишина, о них словно забыли: и свои и чужие... Деятельная натура Пашки не выдержала. Он пошел искать наших, Скворцов остался. Видимо, Пашка нарвался на тех немцев, которые после забросали дзот гранатами и взяли в плен контуженного Скворцова. «Зря не остался», — только и сказала Анна. «Он хотел как лучше, — мягко произнес Скворцов. — А может, просто не хватило терпения». — «Странно! Мне казалось, это его главное качество». — «Ты не была с ним на войне». — «Но я была с ним в Сердоликовой бухте». Таинственная бухта, где Пашкино терпение сделало из нее женщину. Чушь какая-то!.. Она продолжала с сухим смешком: «Конечно, куда ему до тебя! Ты, мой терпеливый герой, пересидел Пашку во всех смыслах». Скворцов пожалел, что затеял этот разговор, силы были неравны, любовь бессильна перед равнодушием. Он спасся в обиду. Старый, безошибочный ход, Анна умела причинять боль близким, но тут же начинала жалеть обиженного, каяться, и в эти минуты из нее можно было веревки вить. Пашкина черта — тот сгоряча мог ляпнуть черт-те что, а потом ластился котенком. Горячие люди отходчивы. Скворцов не горячился. У него была железная выдержка, умение дожидаться своего часа, и тогда он шел до конца. И еще — он безошибочно отличал необходимость от мнимых возможностей, которыми так часто обольщаются слишком самолюбивые и обидчивые люди. Конечно, у него в жилах текла кровь, не водица, и он совершал промашки, но не упорствовал в них. В свое время он сделал несколько добросовестных и несуетливых попыток проверить, насколько может освободиться от Анны, хотя бы ослабить путы, но оказалось, что с другими женщинами он испытывает вначале скуку, потом отвращение, и смирился со своим пленом. Но коли так, надо получать от нее максимум радости, не претендуя на то, чтобы ей так же радостно было с ним. В конце концов, это ее личное дело. Скворцов при-



способился и к этому ее состоянию. Не терпел он лишь тех ее угрюмых выпадов из действительности, которые в последнее время случались все чаще: похоже, что этим отмечено и начало их путешествия, обещавшего быть столь приятным. Надо принимать срочные меры, иначе все пойдет прахом. Лучший способ: озадачить ее, заставить изворачиваться, лгать или оправдываться.

— Ты думаешь о Пашке? — спросил он с нарочитой прямоотой.

— Я думала о том, — сказала она, ничуть не удивленная диковатым вопросом, — что, явись сейчас Пашка, нам не о чем было бы говорить. Ты замужем за Алешкой?.. Дети есть?.. Кем ты работаешь?.. А Скворцов?.. Ну, еще что-нибудь о квартире, зарплате. Те же вопросы задала бы ему я. А дальше что?..

Скворцов промолчал. Он не ждал такого ответа, полагая, что она сама не может определить образ смутного томления, насылаемого придвинувшейся старостью. Грубая конкретность ее мыслей сбивала его с толку. Они впервые отправились в маленькое путешествие всей семьей, у них прекрасная каюта-люкс, издали доносится музыка, их не настигнет здесь ни телефонный звонок, ни внезапный наскок доброго знакомого, наконец-то можно расслабиться, перевести дух после трудной недели, сплотиться против холодного и всегда опасного мира, а у нее в мозгу — этот давно истлевший мертвец.

— Любопытно, — продолжала Анна с той же неумной доверительностью, — когда расстаются, даже на короткий срок, люди, все время общающиеся друг с другом, они переполнены новостями и соображениями. Когда проходят годы и подавно десятилетия, даже самым близким нечего сказать друг другу. Мы сцеплены чепухой, повседневностью, бытовыми мелочишками, сдуло эту пену, и все — пустыня..

— Наверное, ты права... — протянул Скворцов и вдруг переиграл всю игру. — Но я имел в виду другого Пашку — нашего сына.

— А-а!.. — Не было и тени замешательства, хотя она принадлежала к людям, остро ощущающим собственные промахи, и Скворцова кольнуло: уж не разгадала ли она его уловку? — А чего о нем думать? С ним все в порядке.

— Ты так считаешь?

— Дитя своего времени. Перебесится, будет, как ты.

— Что общего? Разве я бесился?

— Нет?.. А при чем тут ты? — В голосе прозвучало раздражение.

— Мы так совсем запутаемся. Речь шла о нашем сыне. Ты его не любишь.

— Я смертельно боялась за него, пока он был маленький. Потом все меньше и меньше. А сейчас успокоилась. Он меня не интересуется.

— Это жестоко!

— Твое любимое выражение. Неужели ты так нежен и уязвим? Мне кажется, что и ты, и твой безумствующий сынок сделаны из весьма прочного материала.

— Я никогда не выдавал себя за рохлю. Но жизнь обошлась со мной не лучшим образом. Тебе это отлично известно. И мне хочется защитить нашего мальчика..

— Пойди и забери его из бара. Чего ты от меня хочешь? Мне не справиться со здоровенным оболтусом. И вообще, он творение твоих рук.

— А дочь?

— Что дочь? — Анна хотела вывести его из себя, но он не поддавался.

— Чьих рук творение?

— Ты думаешь, моих?.. Я ее совсем не знаю, эту девочку.

— Полезно менять обстановку, — заметил Скворцов. — Выясняется много нового.

— А что мы выяснили? — произнесла она устало. — Что я плохая мать нашим детям? Для этого вовсе не нужно было ехать на Богояр. Они мне чужие. Это твои дети, а не мои. Вообще, у нас все — твое. Твои дети, твоя семья, твоя квартира, твои гости, а я — твоя жена.

— А я не твой муж?

Она промолчала. Скворцов не повторил вопроса. Что-то у него сегодня не срабатывало. Было несколько тем, действовавших на Анну укрощающе: его военные злоключения, его здоровье, вообще-то крепкое, но он был мнительным человеком, а муки мнительного человека не уступают мукам больного, и Анна это знала, наконец, дети. Скворцов презирал обман, если в нем не было хоть крупинцы правды: самочувствие у него сегодня было отменное, к тому же жалобы на здоровье могли сорвать завтрашнюю экскурсию, военная тема уже затрагивалась, но не пошла ему на пользу, оставались дети, которые его и впрямь тревожили. Он знал, что они сидят в баре, пьют, заводят сомнительные знакомства, особенно волновался он за дочь и даже ревновал ее к паршивым испорченным мальчишкам, а еще больше — к тем немолодым потаскунам, которые не стесняются замешиваться в юные компании с целями отнюдь не культуртрегерскими.

— Наверное, река на меня так действует, — тихо сказала Анна, и Скворцов понял, что это начало капитуляции — самые сладостные минуты в его отношениях с женой. Их семейной жизни не хватало тепла, доверия, при том что Анна действительно отдаст за детей и мужа всю кровь до капли. Но она скупится на простой жест доброты, участия, бездумной нежности, да просто улыбку. Она выполняет долг — безукоризненно, не придерешься (а жаль, тогда стало бы чуть легче!), но не живет общей жизнью с семьей, а служит ей. И дети рано начали понимать это и потянулись к отцу, который не отличался столь безукоризненным вниманием к их нуждам и запросам, а просто любил их, баловал (позже выяснилось, что и ключ от кассы у него). Такой была Анна с друзьями, нет, с гостями, ибо ни одного из посещавших их людей — сослуживцев и покровителей Скворцова — она не возвела в чин дружбы. Возможно, она дружила с кем-то из своих коллег, но в дом не приглашала, и Скворцов их не знал. Сын, которому нельзя

было отказать в остром уме, первым разгадал домашнее самочувствие матери: «Бедная мама — тяжело ей на двух работах».

Очевидно, река действовала как-то странно и на Скворцова — впервые он не поспешил навстречу жене. Его обступило прошлое, будто вклубившееся в герметически закрытую каюту из законной желтовато-нездоровой мути. И в этом прошлом стареющая, спокойно-грустная, а порой угрюмая, запертая на все замки женщина бесилась от счастья. О, это ошалелое от любви и счастья лицо!.. Конечно же, они с Пашей были обречены. Слишком большая радость смертных раздражает богов. Ничего не дается даром, за все надо платить, и к счастью продираются, оставляя на колючках не клочья шерсти, а шмотья кровавого мяса. Вот так продирался он, Скворцов... Пашка был не из реальной жизни — витязь, былинный богатырь, дон Сезар де Базан, ему предназначалось жить в сказке, легенде или хотя бы в чьей-либо памяти. Последнюю форму жизни он и обрел. А в повседневности при его открытости, вере в людей и всех устарелых добродетелях ему нечего было делать. Если бы не гибель на войне (а он должен был погибнуть), его докнали бы менее романтическим способом.

Когда Скворцов вернулся, большинство людей, знавших о довоенной дружбе и соперничестве Скворцова с Пашкой, считало, что ему лучше не показываться Анне на глаза. Ей будет неприятен самый его вид — притащился из плена и унижения, нелюбимый и ненужный, тусклая тень, дрянная копия того, кто не вернулся. Скворцова не смутила слепая дурь окружающих: Анна была его спасением, но и он был спасением Анны, потому что лишь на нем одном лежал Пашкин отблеск. Но как бы ни был он вынослив и терпелив, порой казалось, что ему не выдержать. Анне необходимо было без конца ворошить прошлое, и он, зажав сердце в кулаке, помогал ей в этом. Даже в пору самого острого соперничества он по-своему любил Пашку. Анна же заставила его возненавидеть мертвеца. Он поражался

человеческому эгоизму: молодая, добрая, тонкая женщина, к тому же прошедшая войну со всеми ее страданиями, знающая по себе, что такое боль, и тоска, и невозможность соединиться с любимым, раздирала его душу: Пашка... Пашка... Пашка... Она могла без устали и передыху жгутом крутить выжатую до капли тряпку юношеских воспоминаний о Коктебеле с его каменными вершинами, скудной растительностью, сухими запахами, разноцветными камешками на заплеске, бухтами, поэтическими традициями, смешными и грустными песнями, походами в Отузы, Козы и Старый Крым, с дальними заплывами и оголтелыми теннисными баталиями, где Пашка всегда побеждал, как и во всех спортивных играх, с шашлыками на Кара-Даге и теплым плодоягодным вином, и нескончаемый ностальгический бред золотил ей синие радужки больших несчастных глаз. Скворцов вытерпел это, как и все остальное, что извело лучшие годы его жизни: несчастную любовь, войну, плен, немецкий лагерь, проверку, ссылку, унижительное возвращение домой. Он получил Анну. Но разве кончились его муки? Пашка по-прежнему торчал между ними, порой едва зримо, а порой так, что застил божий свет. Он невыносимо и грозно вырос, когда родился их первенец и Анна сухими, искусанными губами — рожала она долго и трудно — просипела, что имя сыну будет Павел. Кажется, тогда Скворцов до конца понял, что ненавидит Пашку. Проклятое имя долго мешало ему полюбить сына, о котором он так мечтал. Но еще в ранние годы мальчик без малейших усилий отменил предубеждение отца. Кроме имени, у него ничего не было от Пашки, несмотря на все скрытые и явные потуги матери вырастить его похожим на своего идола. Он был умен, хитер, уклончив, скрытен и полон странного в молодом существе презрения к людям. В нем было обаяние, гниловатое обаяние ранней испорченности, но что тут общего с размашистой и доверчивой манерой доброго богатыря, готового всех принять в свои непомерные объятия? Сын был шакалом, и это нравилось Скворцову. Он

рассчитывал, что быстро созревающий и жадно напитывающийся отрицательным опытом паренек возместит хотя бы частично тот долг, который числил за обществом его отец. В свою очередь и сын ощущал в нем родственную душу, он рано уловил охлаждение матери и укрылся под отцову руку. Теперь имя Павел стало звучать иронически, поскольку им называли циничного, пьющего, курящего, очень себе на уме, скороспелого молодчика. У Скворцова было и другое опасение. Пашка и Анна принадлежали к одному физическому типу рослых, статных, смуглокожих, синеглазых брнетов. Сын унаследовал узкое тело отца, его бледную кожу, светлые тонкие волосы, а мягкость движений и редкая, будто заблудившаяся улыбка — это то, что различало Анну с Пашкой. И тут Скворцову повезло. Так какого черта портит он себе путешествие, вновь буксуя мыслью в вязкой психологической грязи? Ведь нет проблем?.. Есть...

Ему надоело постоянное незримое присутствие Пашки. Убитому на войне молодому человеку, который — дико подумать — был в возрасте его молокососа-сына, нечего делать в серьезной жизни стареющих, отягощенных опытом людей. Но он упорно лезет к ним: щенок, пляжный кумир, студент-недоучка, донкихотишко, солдатик, на котором не успело обмяться обмундирование. Сиди в своем солдатском раю, коли такой существует, и не суйся к взрослым, усталым людям, прошедшим огонь, воду и медные трубы. Скворцову не раз казалось, что между ними происходит любовь втроем, что Пашка получает часть положенного ему наслаждения... Бред, пакость!.. Беда в том, что, старея, он теряет упругость характера, каждая дурная мелочь, неудача, перепад Анниного настроения, ничтожная обида уже не отскакивают от него, а налипают мокрыми осенними листьями. Это недостойно его. Разве жизнь кончилась? Нет, она лишь склоняется к закату, и надо не жадно, не торопливо, а с мудрой сосредоточенностью опытного дегустатора втягивать каждую каплю бытия, но его подталкивают под руку, и вино проливается мимо рта.

Что же случилось, почему с годами, сглаживающими шероховатости, обтачивающими острые углы, ему стало не легче, а труднее с Анной, почему сильнее, болезненней задевает то, мимо чего он спокойно проходил прежде? Всю жизнь он бессознательно ждал от нее маленького, совсем маленького предательства прошлого, предательства Пашки. Хоть бы на мгновение свела бы она его с пьедестала или разрешила бы это сделать другому. Четверть века у подножия Пашкиного памятника — да этого не выдержат и стальные нервы, а он человек сильно битый. Неужели не могла она хоть из сострадания, из брезгливой жалости — он и на такое согласен — кинуть ему ничтожную подачку? И ведь она догадывалась, что ему это нужно, а не поддавалась, ну, хоть бы от усталости — нельзя же всю жизнь держать оборону против человека, с которым вместе засыпаешь и просыпаешься. Какой твердый,душный и неженственный характер!.. А в Пашкиных руках она плавилась воском, но тот был слишком зелен, чтобы придать форму податливому материалу. Впрочем, она сама формировала себя для него...

Было томительно от старых мыслей и материальной близости душевно отсутствующего человека. Наверное, это усугублялось малым, замкнутым пространством корабельной каюты.

Что такое пространство и время не в философском, а в бытовом значении? Расстояния, версты, мили, пролегающие между людьми, зачастую сближают их силой тоски и страсти к соединению; время почти никогда не работает на людей. Он врал, уверяя себя только что в обратном. Сближение, взаимопроникновение угадавших друг друга людей происходит всегда вначале, затем рано или поздно начинается неуклонное разъединение, отстранение необратимое — отчуждение. Подавляющее большинство людей отвергнет эту мысль как не просто ложную, но даже кощунственную. Но вдовцы быстро женятся под предлогом, что им некому будет воды подать, а вдовы, не износив баш-

маков, в которых шли за гробом, или выскакивают замуж, или обзаводятся сожителем, обычно моложе себя. Освобождение от близкого человека, с которым ты прожил долгие годы, при всей несомненности горестных переживаний поначалу — немалое благо. Человеку нужна свобода, а он всегда утрачивает ее целиком или частично в многолетнем сосуществовании с другим человеком. Бывают, конечно, исключения... Впрочем, у Ани, если я окочурюсь первым, жизненной активности не прибавится, она будет делать все то же и так же, как делала раньше, с великой добросовестностью, не растрачивая на это ни крупницы личности; постель ее не интересует, она не заметила, как перешагнула физиологический барьер, положенный каждой женщине. Обо мне она грустить не станет и уже без всяких помех окунется в тину своих золотых воспоминаний. Когда-то я помог ей в этом и был нужен, но потом она заметила, что тихо, но упорно противлюсь окончательному превращению в рака, способного лишь к попятному движению. Ее это явно не устраивает, чему прямое свидетельство наше так весело начавшееся путешествие. И недовольство мной будет все возрастать и одновременно прятаться как можно глубже. Это изнурительно... А если она умрет раньше меня? Он не услышал в себе ответа. Подождал, но все в нем обезмолвилось. Он решил подойти к вопросу исподволь. Предположим, она меня бросит (что исключено), я сойду с ума, повешусь, ну, если не повешусь — ради детей, то совершу самые губительные поступки. Какие? Запылю и закурю. Мой организм не принимает ни алкоголя, ни никотина. Брошусь в объятия продажных женщин. А где они, собственно, продаются? У нас нет профессиональной любви. Но кто-то этим все же занимается. Те же сотрудницы, что окружают меня в институте, так сказать, по совместительству. Скуchnоватый омут греха. Забвение едва ли обретишь, разве что измажешься в иле. Ну, а если Аня умрет?.. Много тяжкого отвалится от души. Так много, что с оставшимся не прожить. Ему стало страшно,



невообразимо и отчаянно страшно, что Аня возьмет да и умрет раньше него, и он громко застонал.

— Что с тобой? — испуганно спросила она, мгновенно почувствовав неподдельность переживания, родившего стон, и вырвалась из своей темной глубины не только сознанием, но подавшись к нему телом.

— Черт его знает... — пробормотал Скворцов, сразу поняв, что бой выигран, но почему-то не испытывая победного ликования. — Кольнуло что-то... Как спицей, — добавил он, морщась и потирая ладонью бок.

— Это не сердце? — Она уже рылась в сумочке, доставая оттуда нарядные заграничные лекарства, которыми сама не пользовалась, равно как и отечественными, но в чью чудодейственную силу для близких людей свято верила. Она никогда не предлагала болящему одну пилюлю, один порошок, всегда приготавливала целый набор взаимонейтрализующих и потому безвредных снадобий. Мнительный Скворцов это понимал и преспокойно отправлял в рот жменю веселых разноцветных лепешечек и шариков, запивая водой. Сейчас привычный ритуал доставил ему особенное удовольствие, ибо, пользуясь озабоченностью Анны, он извлекал из своего положения выгоду благодарных прикосновений, умиленно-робких поцелуев в шею, мочку, плечо, висок. Требовалась двойная осторожность: не перебарщивать в энергии нежности, чтобы она не заподозрила обмана, и не распускать слюни старческой благодарности, что неаппетитно. Он хотел до конца воспользоваться плодами своей победы, это так восхитительно под озерную качку. Только следи, друг Скворцов, чтобы она не слишком боялась за твое здоровье, иначе все рухнет. Обмануть ее бесхитрость ничего не стоило, но обостренное чувство долга делало ее бдительной. Скворцов благополучно лавировал между Сциллой и Харибдой. С каждой минутой она становилась все более ручной. Теперь нужно немного безумия, чтобы вынудить ее к другим уступкам, не столь губительным для его изношенного сердца, как намерение спуститься

в бар и отобрать по коктейлю у их детей-пьяниц. Ничто не казалось Анне столь опасным для сердечника (у Скворцова было сердце водолаза), чем алкоголь. Она молила мужа пощадить себя. Что угодно, только не этот страшный яд. «Вот так-то, моя строптивница!» — нежно думал Скворцов, водя губами по душистым, густым, черным, в синеву, волосам.

У него была счастливая ночь, впрочем, как и всегда...

...Детишкам повезло куда меньше. Сын Паша пить не умел. На мужественном сленге современной молодежи это называлось так: «Принимает по делу, но не держит выпивку». Он отдавал себе отчет в своей позорной слабости, но всякий раз надеялся, что пронесет. И на этот раз, в пароходном баре, Паше казалось, что все будет о'кей. Из предосторожности он решил не мешать, держаться одного, самого слабенького пойла. К тому же девочка ему попалась высшего класса, и не было никакой нужды надираться, чтобы глупая, хотя и с претензиями, парикмахерша показала Афиной Палладой.

Несмотря на весь свой жизненный опыт, Паша Скворцов никак не мог определить ее социальное и жизненное положение. Он подумал было, что она тоже путешествует с родителями, — студенточка, избалованное дитя, добившееся, вроде него с Танькой, полной самостоятельности. Новая знакомая решительно отвела этот вариант: вся прелесть подобных поездок побыть одной среди чужих, совершенно незнакомых людей, освежить душу, иначе незачем ехать. Внезапно Паша обнаружил, что она куда старше, нежели ему показалось вначале. От напитков, жары, духоты, папиросного дыма будто осыпалась пыльца юности, лишив ее лицо расплывчатой прелести, черты определились и чуть поглубели. Кто же она? Некоторая загадочность наводила на мысль об «Интуристе». Танцевала она лучше и современной всех, пила с отменной легкостью, пепел стряхивала куда угодно, кроме пепельницы, за словом в карман не лезла; его волновал чуть хриловатый,

словно ворчащий голос, каким она парировала, легко и остроумно, его выпады, нравился медленный, толчками, из глубины смешок, но больше всего нравилась та простота, с какой она пошла в его каюту, когда джазисты принялись гасить свет, чтобы повытрясти монету из оголтелых танцоров.

В каюте Пашу тут же стошнило. Новая знакомая вела себя спокойно и дружелюбно: давала воды, поддерживала ему голову прохладной ладонью за лоб, вытирала лицо мокрым полотенцем, чувствовалось, что все это ей не в новинку. Морали не читала, но все-таки уколола: «Эх, ты!.. А держался как настоящий!» Ему было стыдно, до слез стыдно и досадно, он люто ненавидел себя, но все же сделал попытку вывернуться.

— Сроду такого не бывало. Пойло на меня не действует. Отравился сардельками за ужином. Ты помнишь эту гадость? — Его передернуло от омерзения.

— Брось трепаться, сардельки были свежие... Ну ладно, ты меня пригласил сюда как сестру милосердия, неотложную помощь?

— А куда торопиться? — Он хотел потянуть время, чтобы прийти в себя. — Вся ночь впереди. Останешься у меня...

— Еще чего! Чтобы засыпаться? Давай не дури, или...

— Или что? — перебил он злобно, поняв, на кого нарвался.

— Или плати за испорченное платье.

— Пятерку на химчистку, так и быть... Покажи только, где испачкано.

— Дешевка! — сказала она. — Сопля на заборе. Клади пятьдесят, не то тебя так оформят, что папочке с мамочкой нечего будет на кладбище везти.

Паша был начитанный молодой человек, ему сразу вспомнился сэлинджеровский «Ловец во ржи» и щелчок официанта, превративший юного героя в кучку дерьма. Ему этого вовсе не хотелось. Ну, влип!.. Потом будет интересно

вспомнить, ребята ахнут... Но сейчас надо выходить из положения.

— Ладно, — сказал он покладисто. — Люблю таких баб. Не в деньгах счастье. Но сперва покажи работу. Я ведь тоже не фрайер.

Что-то похожее на уважение мелькнуло в ее холодных глазах...

Тане повезло еще меньше. Молоденьким девушкам часто нравятся мужчины много старше их, но у Тани тяга к «старью», как называл Паша избранных сестры, имела особый смысл. Она слышала смутно о любовной истории, пережитой матерью в ранней молодости. Человек тот погиб на войне; в памяти отложились мазки: высокий, смуглый, синеглазый... Остальное дорисовала фантазия с помощью киноэкрана. И юный весельчак Пашка оказался пожилым романтическим героем, молчаливым и загадочным, с роковой печатью на челе. Таня бессознательно поправила портрет бывшего маминого возлюбленного под нынешний образ матери. Прекрасная меланхолическая пара владела ее воображением. В баре оказался человек того типа: высокий, загорелый, голубоглазый, с проседью, с твердым мрачным ртом — он с усилием разжал сухие губы, чтобы пригласить ее танцевать. Площадка была пуста, это смутило Таню, и все-таки она пошла. И не пожалела об этом, он танцевал, как Фред Астор, которого часто показывают по телевизору в отрывках из старых американских фильмов. Исходящая от него сила подавляла, и отнюдь не робкая Таня была благодарна ему за молчание, боясь показаться глупой. А он был умен каждым жестом, каждым взглядом и тем, как курил, как вел ее в танце, как молчал, особенно впечатляющим было его насыщенное молчание. И не нужны были никакие слова, чтобы он очутился у нее в каюте, где они сразу упали друг другу в объятия. А затем, как всегда, Таня захотела оборвать все на полдороге, ну, немного дальше, чем на полдороге, другие, поборовшись, смирились с этим, но не так повел себя ее загадочный

избранник. Выражение значительного и неподвижного лица не изменилось, но он отверз молчащие уста, и стало страшно.

— Ты брось динаму крутить, — сказал Фред Астор. — Со мной такие номера не проходят. Напилась, нажралась — и деру!..

Это было так неожиданно, так не похоже на все его прежнее поведение и все, что Таня слышала и видела в своей жизни, что она растерялась до потери памяти. Разве они были в ресторане?.. Разве они ужинали?.. А в баре вообще не подавали еды... Она тянула весь вечер один-единственный коктейль, второго он ей даже не предложил. Зачем он лжет?..

— Чего вы хотите? — спросила она шатким не от страха, от омерзения голосом.

— Возмещения расходов, — произнес он и, немного подумав, ударил ее по щеке.

Было не больно, а невыносимо обидно и стыдно. Глотая слезы, она открыла сумочку и протянула ему смятую четвертную.

— Это все? — спросил он угрожающе.

Она быстро закивала. Он взял у нее из рук сумочку, порывшись там, нашел брошку с камешком и сломанным замком, опустил в карман. Бросив сумочку на столик, погрозил Тане кулаком и спокойно, чуть сутулясь, вышел.

Он пришел в свою каюту, разделся, принял душ и, волосатый, смуглый, мускулистый, прилег в плавках и майке на кровать. Вскоре вернулась его спутница — вероломная подруга Пашки.

— Порядок? — спросил он.

— Нормально. А у тебя?

— Фальшак. Соплячка без денег. Взял вот это. Стоит чего-нибудь? — Он кинул ей брошку. — Я в цацках не разбираюсь.

— Камешек настоящий. Ты дуся!

Кабюта погрузилась в темноту, а оконце высветилось бледным светом редеющей ночи...

Ранним утром, туманным, прохладным, но обещающим хорошо и быстро разгуляться — солнце поблескивало на волочь, теплоход причалил к богоярской пристани. Большой, белый, чистый и нарядный, он замер у подножия холмистого, каменистого, поросшего лесом острова, с полуразрушенным монастырем по другую сторону, старинными церковками и часовенками по опушкам и в чаще, деревянными мостиками через ручьи и овраги, с туристскими тропами и звериными тропками, с широким большаком, ведущим к маленькому поселку возле монастыря, замер, погасив могучие моторы, на грани двух прохлад — резкой озерной и мягкой лесной, — со всей начинкой: хорошими и плохими людьми, перепившими юнцами и грешными девчонками, жадными до впечатлений экскурсантами, расстроганными любителями природы, уставшими от города тружениками, с подонками и мошенниками, с дисциплинированной ловкой командой и хапугами джазистами, с весельем и печалью, поэзией, грязью, робкими признаниями, развратом, любовью, ошибками, воспоминаниями, надеждами, со всем, что составляет человеческую жизнь, современный Ноев ковчег, собравший на борту, как и в правек, каждой твари по паре — чистых и нечистых, — но и в скверне людской невоздержанности оставшийся безвинным. Уйдут на прогулку пассажиры, и вышколенная команда все приберет, выметет, отпылесосит, зачистит, надраит, освежит, и он станет равно безупречен и внутри и снаружи, чтобы в следующую ночь опять превратиться в рай и ад, оставаясь при этом равным своей главной сути прекрасного судна, мощно и ровно рассекающего воды озер и рек.

Теплоход пришел точно по расписанию, причалил минута в минуту, и все, кто должен его был встретить, находились на своих местах: пристанские служащие, грузчики, почтари, медицинские работники, милиционеры, киоскеры, торгующие открытками, сувенирами и какими-то неправдоподобными изданиями по редким и специальным разделам знаний, попавшими невзвездь зачем на пустынный

остров; за пристанскими строениями, клумбой с розами и гвоздиками, подстриженным кустарником и громадным валуном ледникового периода уже дежурили над корявыми корешками, разложенными на газетных листах, самые несчастные минувшей войны, притаившиеся из монастыря, некогда крупнейшего инвалидного убежища. Сейчас монастырь почти опустел, и последние доживающие там его обитатели подлежали переводу на новое и лучшее место. Корешки, гордо именуемые богоярским женьшенем, не обладали никакими целительными и омолаживающими свойствами, но, подобно дальневосточному чуду природы, напоминали по форме уродливых таинственных человечков и пользовались спросом у туристов.

Давно уже объявил побудку бодрый и требовательный голос судового диктора, и сейчас из репродукторов, которые нельзя выключить, лилась бодрая духовая музыка, но пассажиры раскачивались медленно. Почти никто не закрыл окошек на ночь, доверяя июльской ночи, и каюты настали к утру, не хотелось выползть из-под шерстяных одеял. Но пришлось, поскольку старинные вальсы все чаще прерывались строгим голосом диктора, предупреждавшего, что экскурсоводы ждать не будут. Горячий душ возвращал телу жар и бодрость, музыка уже не раздражала, а звала вперед, хорошо думалось о завтраке и ароматном, спелом воздухе соснового Богояра.

Быстро разделавшись с завтраком, Анна сказала мужу, что подождет его на берегу, где экскурсантов должны разделить на группы — походы были разной трудности и продолжительности.

Она прошла мимо кают своих детей, даже не подумав постучаться и не замедлив шага, выбралась на палубу и по крутым сходням сошла на пристань, а оттуда — на прочную, недвижимую, надежную землю. В почти неощутимой зыбкости судового пространства и даже в строениях, омываемых водой, она чувствовала странное и неприятное напряжение, а сейчас ее отпустило.

На берегу было довольно пустынно: первая смена еще не кончила завтракать, а вторая поджидала своей очереди. Какие-то пассажиры, не желавшие связывать себя официальной экскурсией, выпрашивали у местных жителей, как пройти к монастырю и далеко ли до него.

— Дорога тут одна, — сказал мужичонка с корзиной, наполненной сосновыми шишками, и кивнул на большак. — А идти недалече — километров десять.

— Ошалел? — возмутилась худенькая женщина в брезентовых рукавицах, толкавшая тачку с кирпичами. — И восьми нету.

— Может, и нету, — покладисто согласился он.

— Да не слушайте вы их! — вмешался подрезавший кусты бортовой стати садовник. — Тут ровно семь километров.

— Шесть тысяч восемьсот сорок метров, — с утрюмой усмешкой отчеканил показавшийся знакомым Анне голос.

Пассажиры подались к валуну. Анна машинально последовала за ними и увидела калек, торговавших корявыми грязными корешками. Тут только вспомнила она о грустной участи Бояра — служить последним приютом тех искалеченных войной, кто не захотел вернуться домой или кого отказались принять.

— Точно высчитал!.. — заметил один из туристов.

— Не высчитал, а выходил, — подхватил другой. — Сколько раз промахал своими утюжками это расстояние? — спросил он безногого в серой, с распахнутым воротом рубахе, очень прямо торчащего над газетой с корешками.

О калеке нельзя было сказать, что он «стоял» или «сидел», он именно торчал пеньком, а по бокам его обрубленного широкого тела, подшитого по низу толстой темной кожей, стояли самодельные деревянные толкачи, похожие на старые угольные утюги. Его сосед, такой же обрубок, но постарше и не столь крепко скроенный, пристроился на тележке с колесиками. Ему не по силам было отмахивать бросками тело почти семь километров от монастыря до пристани и столько же обратно.



За нарочитостью «своего» тона туриста скрывалось желание благородной прямоотой, подразумевающей уважение к ратному подвигу и жестокой потере, установить добрую мужскую короткость с половинкой человека. Ничего не дрогнуло на загорелом со сцепленными челюстями лице калеки, давшего справку. Он будто и не слышал обращенных к нему слов. Жесткий взгляд серых холодных глаз был устремлен вдаль сквозь пустые, прозрачные тела окружающих. Туристы почувствовали опасную неуютность этого человека и неловко, толкаясь, двинулись своим путем.

Анна пожалела, что не услышала больше его голоса, резкого, надменного, неприятного, но обладавшего таинственным сходством с добрым, теплым голосом Паши. Она подошла ближе к нему, но, чтобы тот не догадался о ее любопытстве, занялась приведением в порядок своей внешности: закрепила заколками разлетевшиеся от ветра волосы, укоротила тонкий ремешок наплечной сумочки, озабоченно осмотрела расшатавшийся каблук, затем, как путник, желающий сориентироваться в пространстве, обозрела местность: опушку сосново-елового бора с убегающими в манящую чащу тропинками, лужайку перед лесом, усеянную валунами, поросшую можжевельником и низенькими серыми березами-кривулинами; в лужайку мысом вдавался ярко-зеленый выпот, над которым кружил, будто спотыкаясь о воздух, черно-белый чибис; за большаком, ведшим, как она теперь знала, к монастырю — инвалидному убежищу, земля холмилась, на срезах взгорков обнажалась каменная порода, а по другую сторону синело озеро, волны облизывали плоский берег, оставляя на песке и камнях клочья пены. Затем Анна будто вобрала взгляд в себя, отсекала все лишнее, ненужное и сбоку, чуть сзади сфокусировала его на инвалиде в серой грубой рубахе.

Она не сознавала, что нежно и благодарно улыбается ему за напоминание о Паше. Она думала: если похожи голоса, то должно быть сходное устройство гортани, связок, ротовой полости, грудной клетки, всего аппарата, со-

здающего звучащую речь. Мысль отделилась от действительности, стала грезой, в дурманной полуяви калека почти соединился с Пашей. Если б Паша жил и наращивал возраст, у него так же окрепли бы и огрубели кости лица: скулы, челюсти, выпуклый лоб, полускрытый блинообразной кепочкой; так же отвердел бы красивый большой рот, так же налился бы широкогрудой мощью по-юношески изящный торс. Когда-то она любовалась фидиевыми уломками в Британском музее, похищенными англичанами с фронтона Парфенона, и ее обожгла мысль: как ужасны оказались бы мраморные обрубки, стань они человеческой плотью. Этот калека был похищен Богояром из Британского музея, но обрубленное тело было прекрасно, и Анне — пусть это звучит кощунством — не мешало, что его лишь половина. Легко было представить, что и другая половина была столь же совершенна.

Чем дальше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Пашей. Конечно, они были разные: юноша и почти старик, нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его литому, смуглому, гладкому, жестко-красивому лицу, к стальным, не моргающим глазам. Ему не дашь и пятидесяти. Но тогда он не участник Отечественной войны. Возможно, здесь находятся и люди, пострадавшие и в мирной жизни? Нет, он фронтовик. У него военная выправка, пуговицы на его рубашке спороты с гимнастерки, в морщинах возле глаз и на шее, куда не проник загар, кожа уже не кажется молодой, конечно, ему за пятьдесят. И вдруг его сходство с Пашей будто истаяло. Если б Паша остался в живых, он старел бы иначе. Его открытое мужественное лицо наверняка смягчилось бы с годами, ведь по-настоящему добрые люди с возрастом становятся все добрее, их юная неосознанная снисходительность к окружающим превращается в сознательное всеохватное чувство приятия жизни. И никакое несчастье, даже злейшая беда, постигшая этого солдата, не могли бы так ожесточить Пашины светлую душу и омертвить его взгляд.

Ее неумное воображение, смещение теней да почудившаяся знакомой интонация наделили обманным сходством жутковатый памятник войны с юношей, состоявшим из сплошного сердца. И тут калека медленно повернул голову, звериным инстинктом почуяв слежку, солнечный свет ударил ему в глаза и вынес со дна свинцовых колодцев яркую, пронзительную синь.

— Паша!.. — закричала Анна, кинулась к нему и рухнула на землю. — Паша!.. Паша!.. Паша!..

Она поползла, обдирая колени о влажно-крупитчатый песок, продолжая выкрикивать его имя, чего сама не слышала. Она не могла стать на ноги, не пыталась этого сделать и не удивлялась, не пугалась того, что обезножила. Если Паша лишился ног, то и у нее их не должно быть. Вся сила ушла из рук и плеч, она едва продвигалась вперед, голова тряслась, сбрасывая со щек слезы.

Калека не шелохнулся, он глядел холодно, спокойно и отстраненно, словно все это ничуть его не касалось.

Она обхватила руками крепкое, жесткое и вроде бы незнакомое тело, уткнулась лицом в незнакомый запах стираной-перестираной рубашки, но сквозь все это чужое, враждебное, нанесенное временем, дорогами, посторонними людьми, посторонним миром, на нее хлынула неповторимая, неизъяснимая родность, которая не могла обмануть..

Она знала, что он уйдет на фронт сразу, как только они вернутся из Коктебеля, где их застала война, но до этого они должны стать мужем и женой — не по штампею в паспорте, а плотью единой. Это она повела его вечером в Сердоликовую бухту. Но Пашка оказался фанатиком порядочности, ханжа проклятый!.. «Ты маленькая, я не имею права...» — «Я твоя жена!» — твердила она и царапала его от злости. Они были одни в ночной пустынности бухты, отрезанной от населенной земли каменистым мысом, который надо оплывать, чтобы попасть на сердоликовый берег. Анна сорвала с себя одежду, связала Пашку своим телом и повалила на сырой песок. Они целовались так, что у

нее надолго омертвели губы, она не чувствовала ни горячего, ни холодного, ни произносимых слов. Она испытала острое, невыносимое наслаждение, заставившее ее кричать и плакать, и при этом она знала, что Паша не взял ее. И ей казалось, что Паша испытал тот же ожог, хотя он, конечно, не плакал и не кричал. «Почему ты не научил меня этому раньше?» — приставала она. «Я думал, у нас впереди вечность». Она видела в темноте его большую улыбку. У них не было ничего впереди, и рай, открывшийся ей в Сердоликовой бухте, сразу стал потерянным раем. Она слышала, конечно, что существуют физиологически обобранные женщины, которые живут при этом нормальной женской жизнью, рожают детей, любят своих и чужих мужей и вовсе не томятся чувством неполноценности. Но она была не из их числа. Девушкой, не приняв в свое лоно любимого, лишь соприкоснувшись с ним, она испытала опалившее все нутро наслаждение. Она и за Скворцова пошла в надежде, что с ним, на ком Пашкин свет, ей удастся обмануть свою плоть и вызвать хоть слабое подобие чуда Сердоликовой бухты, но чуда не произошло.

Она узнала, что потеря ее невозполнима. Если не вышло с Алексеем, так не выйдет ни с кем другим. Ее костер мог зажечь только Пашка. А он предал, изменил ей со смертью, и все женское умерло в ней. Но оказалось, что его измена в тысячу раз подлее и злее, не смерть его забрала, а самолюбивая дурь, нищий мужской гонор и, что еще глупей и ничтожней, неверие в ее любовь. Какой идиот, непроходимый, тупой, злой идиот!.. Загубил две судьбы. Человек — частица общей жизни мира, он не смеет бездумно распоряжаться даже самим собой, тем паче решать за двоих. Он обобрал ее до нитки, оставил без мужа, уложив ей в постель бледнокожую ящерицу, убил настоящих детей, подсунув вместо них каких-то ублюдков. За что он так ее обнесчастил? Неужели мстил за свои потерянные ноги? Господи, он так ничего и не понял в ней... Она старая баба, забывшая о своей сути, но вот она вдыхает его запах,

трогает грубую ткань изношенной рубахи, и в ней ожило все то, давнее, ночное, сердоликовое, и она так же безумно любит этого бесстыжего вора, укравшего у нее столько ночей и дней, укравшего всю жизнь, а за что он так?.. Душа ее скрючивается от боли, становясь под стать темным корешкам на газете, идиотскому символу его смирения. Она кричит, захлебываясь слезами:

— Какая же ты сволочь!.. Вор!.. Подлец!..

— Тише, — говорит он удивленно и беззлобно. — Что с тобой?

— Еще спрашиваешь?.. Где моя жизнь?

Она бьет его кулаком по любимому и ненавистному лицу, по твердой и гулкой, как панцирь, груди. Он обхватывает ее узкие запястья своей большой рукой, лапищей, рукой-ногой, ведь он ходит тоже ею, и зажимает, как тисками. Конечно, ей не вырваться, и тогда она плюет ему в лицо.

Он почувствовал теплую влагу ее гнева на своей щеке, подбородке, правом веке, и ему стало до отвращения нежно, так бы и не стирал ее слюну, пусть впитывается в кожу, плоть и будет ее частицей.

— Павел Сергеевич, разреши, я вмажу дамочке, — предложил другой безногий коммерсант.

— Не волнуйся, Данилыч, — сказал Паша. — Все в порядке!.. — и вдруг заорал так, что жилы натянулись канатами: — Назад, Корсар!.. На место!.. Лежать!..

Анна услышала клацающий звук, ее толкнуло воздухом в спину, затем, источая горьковато-душный, не собачий, а дикий, лесной запах, мимо нее, рыча и поскуливая, прополз громадный овчар, нет, не овчар, а полуволок, с булыжной мордой и грязной изжелта-серой шерстью.

— Лежать! — повторил Пашка. — Спокойно.

Корсар зевнул с подвывом, похожим на стон. Он проглядел нападение на своего хозяина, его бесшумный стремительный прыжок запоздал, стал ненужен, и стыдом сочилось лютное сердце.

— Ты хорошо защитился, подонок!

Корсар поднял морду и зарычал, обнажая желтые клыки.

Пашка ударил рукой по земле, и пес завыл, будто удар пришелся по нему.

— Ты не очень-то, — сказал Пашка. — Он полуволк. Я могу не успеть.

— Плевать я хотела, — сказала Анна. — Пусть разорвет.

У нее заломило голову в висках. Раз или два в жизни испытывала она эту страшную, будто последнюю боль; перед глазами все плыло: пространство, валун, инвалиды, чудовищный пес, корешки; из текучего, потерявшего глубину и контуры мира недвижно-четко и объемно выступало лишь смуглое юношеское лицо. Она сообразила, что Пашка снял свою ужасную кепку-блин, и по-прежнему темные, без седины, густые волосы удлиннили лицо, приблизив Пашку к прежнему образу, и еще она заметила, что мир стал очень населенным: в нем появилось множество глаз и все сориентированы на них. Очевидно, с ними что-то не в порядке или не в порядке с этими очеловеченными рыбами-телескопами, плавающими в текучем мироздании, как в аквариуме без стенок. Плевать ей на них. А вот руки у нее получили свободу и можно опять ударить Пашку, но пропало желание.

Окружающее перестало струиться, все вокруг обрело твердый абрис, освободил голову железный обруч, — как ясен мир в зрачках! И этим вновь ясным, чистым зрением она обнаружила в глубине пейзажа, на заднем плане валящей из теплохода толпы белое, будто судорогой сведенное лицо Скворцова, ее мужа, отца ее детей, отсыпавшихся в каютах на белом теплоходе, доставившем ее через вечность и тысячи верст к Пашке, у которого не оказалось ног, но есть огромная свирепая собака и темные корявые корешки.

Скворцов опрометью кинулся назад к сходням и пропал. Чего он так испугался? Да какая разница?

— Перенеси меня вон к тому лесу, — попросила она Пашу. — Как раньше, помнишь?

Он недобро усмехнулся:

— А ты — ножками. Мне — нечем.

— Ну почему же? — сказала она разумно и тупо. — Я хочу к тебе на руки.

Он поднял с земли два деревянных утюжка и показал, как передвигается, отталкиваясь ими от земли.

— Поняла?.. Знал бы, что пожалуешь, запряг бы Корсара в тележку.

— А ты разве не ждал меня? — спросила она удивленно.

Он метнул на нее тревожный взгляд.

— Шесть тысяч восемьсот сорок метров, — сказала она. — Вон как ты точно высчитал!.. Значит, ходил к каждому пароходу. Не корешками же торговать?

— А чем — жемчугом?

— Не ври. Ты никогда не был вруном. Ты единственный правдивый до конца человек, какого я знала. Ты ведь не стал пьяницей? — спросила она с испугом.

— И это было, — ответил он равнодушно. — Но завязал. Уже давно.

— Вот видишь... Ты меня ждал, потому и ходил сюда.

Он никогда не задумывался, для чего ковыляет на пристань. Так уж повелось: встречать туристские теплоходы. И все, кто был способен хоть к какому-то передвижению, принимали в этом участие. Тащились на костылях, на протезах, на тележках, с помощью «утюжков», ползком, а одного «самовара» — Лешу старуха-мать на спине таскала, привязывала к себе веревками, обхватить ее сыну было нечем. Иные торговали корешками, изредка грибами, но, положив руку на сердце, неужели ради этого одолевали они семь километров лишь в один конец? На Богояр большинство попало по собственному выбору, а не по безвыходности; сами не захотели возвращаться в семьи, к женам и детям, — из гордости, боязни быть в тягость, из неверия в

душевную выносливость близких, притворились покойниками и похоронили себя здесь. А все равно тянуло к живым из большого мира, и, наверное, кое в ком теплилась сумасшедшая надежда, что среди сошедших на берег с белого теплохода окажется родная душа, и кончится искус, и уедет он отсюда в ту жизнь, от которой добровольно отказался. Но даже те, кого не приняли дома, тянулись сюда за чудом, которого не ждали, за чудом раскаяния. Это все правда, но не главная правда, которая проще. Хотелось увидеть людей оттуда, из той божественной жизни, которая заказана им, обитателям Богда. Но ведь ОНА есть, есть, и ею живут иные из тех, что были рядом на фронте и тоже пролили кровь, но им больше повезло, им не нужно было уползать в чашу. Не так уж важно, почему человек оказался здесь: по свободному выбору или по необходимости, тем более что это не всегда установишь — иной вроде бы сам все решил, да что-то толкнуло его к такому решению, какое-то подсознательное знание. Но тянуло к белому теплоходу то немудреное, всем понятное чувство, что заставляет арстанта приникать к зарешеченному окошку: хочется глотнуть воздуха с воли, воздуха, каким были овены веселые люди, шумно сходявшие на горькую землю Богда...

Павел попал на остров не сразу, не из госпиталя, а пройдя долгий и страшный путь калеки-отщепенца. И, спасаясь от полной деградации, утраты личности, приполз сюда. Он ни на что не надеялся и не хотел никакого чуда, но одно затаенное желание у него все же было: ленинградцы рано или поздно совершают паломничество на Богда, это так же неизбежно, как посещение Шлиссельбурга или Кижей, и ему хотелось увидеть, какой стала Аня. Он был уверен, что она не узнает его, просто не заметит, а он, из укромья своей неузнанности, спокойно разглядит ее. «Спокойно», — он именно так говорил себе, кретин несчастный! А сейчас какой-то дым застил ему зрение, он не видел ее толком, лишь в первые минуты, когда она появилась и еще не узнала его, поразился ее сходством с той, что осталась в его



памяти. Потом он понял мучающимся чувством, что она не совсем такая, вовсе не такая, эта большая, грузная, стареющая, хотя все еще привлекательная женщина. Но схожесть была, она сохранилась в чем-то второстепенном: взмахе ресниц, блеске темных волос, родинке над левой бровью, и эти мелочи перетягивали то, куда более очевидное, чем отяготили ее годы, и все-таки он не мог сфокусировать зрения, четко охватить ее облик.

— Идем, — сказала Анна, — идем туда.

И поползла в сторону леса.

— Перестань дурачиться! — крикнул он, и, почувствовав злость в его голосе, Корсар оцетинил загривок, глухо зарычал.

Павел замахнулся на него колодкой, пес заскулил, припал к земле.

— Встань, Аня! Иди нормально.

— А что?.. — Похоже, она не поняла, чего он от нее хочет.

— Ты здорова?

— Да... конечно! — Наконец-то она осознала странность своего поведения. — Ты не бойся, Паша!.. Я совсем нормальная и даже очень ученая женщина, доктор наук.

— Смотри ж ты! — усмехнулся безногий. — Какое у меня знакомство!.. А ну, доктор наук, вставай, хватит дураков тешить.

Анна послушалась, хотя далось ей это нелегко. Она словно отвыкла стоять на двух ногах, и как далеко земля от глаз!.. Паша взмахнул своими «утюгами»...

Они пересекли большак и по травяному полю, усеянному валунами, двинулись к опушке бора. Корсар плелся за ними, свесив на сторону длинный розовый грязный язык.

Опушка пустила вперед кустарниковую поросль: можжевельник, бузину, волчью ягоду.

«Зачем нас понесло сюда, — думал Павел. — Зачем мы вообще длим эту бессмысленную встречу? Ну, увиделись... Это моя вина, не надо было караулить ее на пристани.

Конечно, она права, я таскался сюда, чтобы увидеть ее, но зачем было соваться на глаза?.. Да я и не совался, она сама узнала меня. Что за нищенские мысли?.. Как будто я выпросил или выманил обманом эту встречу... Я не попрошайничал ни у людей, ни у судьбы... Это моя единственная награда, и сколько лет полз я к ней на подбитой коже задней! Пусть все это бессмысленно, а что не бессмысленно в моей сволочной жизни?.. Как поманила в молодости и с чем оставила?..»

Они не ушли далеко, но пристань со всем населением скрылась за пологим, неприметным взгорком, а им достался уединенный мир, вмещавший лишь природу и две их жизни. Анна подошла к нему — вплотную, надвинулась каланчой, он привык, что люди смотрят на него сверху вниз, а его взгляд упирался им в пуп, но сейчас это злило, тем более что она стала гладить его голову, шею, плечи, ласкать, будто милого мальчугана.

— Прекрати! — прикрикнул он. — Я щекóтлив.

— Не ври, Паша. Ты не боялся щекотки. Я противна тебе? Неужели ты меня совсем разлюбил?

— О чем ты говоришь?.. Ты же взрослая женщина!.. Старая женщина, — добавил безжалостно.

— Я старая, но не очень взрослая, Паша, — сказала она добрым голосом. — Я только раз и была женщиной, с тобой, в Сердоликовой бухте, когда началась война.

— У нас же ничего не было.

— У нас было все. А больше у меня ничего не было.

— Ты что же — осталась старой девой?

— Нет, конечно. У меня муж, дети. Сын кончает институт... Боже мой! — воскликнула она, словно вспомнив о чем-то забавном. — Ты не представляешь, кто мой муж. Алешка Скворцов! Он стал такой важный, директор института...

— погоди! — перебил Пашка. — Твой муж — Скворцов. Разве он жив?

— Жив, жив!.. Ах, Паша, он мне все рассказал. Что бы тебе остаться с ним... Ну зачем ты ушел?..

Они поменялись ролями: теперь калека долго и тупо смотрел на женщину, переставшую нести свой расслабленный бред, вернувшуюся к разумности, рассудительности, но почему-то утратившую всякую наблюдательность: ей невдомек было, какое впечатление произвели ее слова. Вся их встреча была цепью несовпадений. Когда Анна, как ей представлялось, сумела шагнуть в тот прохладный мир реальности, куда приглашал ее всей своей твердой повадкой Паша, тому почудилось, что его засасывает в трясины ее бреда.

— Послушай, — сказал он осторожно. — О чем ты сейчас?.. Я не поспеваю за твоими мыслями, все-таки не доктор наук. Снизойди к жалкому недоучке. О чем ты говоришь? Кто ушел, кто остался, где и когда все это было?

— Стоит ли, Паша?.. Я говорю о фронте... о вашем последнем дне с Алешкой. Ты не думай, он тебя не осуждает. Ты хотел, как лучше... Алешке, конечно, досталось: плен и... сам знаешь...

— погоди! — опять перебил Павел. — Что там все-таки произошло?

Ну, чего он привязался? Какое это имеет значение? На что тратят они время!.. Черт дернул ее заговорить... Она ведь не знает ничего толком. Ей почудилось что-то обидное для Пашки в недомолвках Скворцова, и она прекратила разговор. Ушел, не ушел... Вообще-то остаться полагалось бы Пашке, это было более по-солдатски. Для Скворцова приказ — не фетиш. Но остался он. Значит, что-то другое сработало в Пашке — мысль о ней. Ему захотелось выжить, выжить во что бы то ни стало. Отсюда его нетерпение. Скворцова никто не ждал. Теперь по-новому осветилось многое. Пашка считал себя виноватым в гибели друга, оставшегося на посту, вот почему он приговорил себя к Богиру...

— Слушай, а ты правда жена Алешки Скворцова, или это розыгрыш?

Она чуть не заплакала.

— Паша, милый, очнись!..

— Ты жена Скворцова!.. Это грандиозно!.. Жена терпеливого русского солдата, который остался на посту и получил христов гостинец. По-нынешнему — гран-при!.. Нет, это грандиозно!..

Его лицо разжалось, как разжимается сведенный для удара кулак, и он стал удивительно похож на прежнего Пашку, когда тот в избытке хорошего настроения, ослепительной теннисной победы начинал дурачиться на коктейльском пляже. Она едва не обрадовалась перемене, но инстинктивно почувала, что сейчас он менее всего похож на себя прежнего. Даже когда он стоял у валуна, над грязными корешками, вперив неподвижный взгляд в пустоту, он не был так далек от милого ей образа, как сейчас, когда обнажался в смехе его белоснежный оскал, лучились морщинки у синих глаз, взлетали, трепещуа, большие кисти рук и весь он словно пробудился от медвежьего, на всю зиму, сна. Но пробудился он не в себя прежнего, не в доброго витязя, готового заключить в объятия весь мир, а в большой надрыв, издевательскую — над кем и над чем? — ярость.

Она не понимала его внезапного срыва. Что это — лермонтовское: «Ты мертвецу святыней слова обручена»? Да ведь это нежизненно, так не бывает и не должно быть, живой думает по-живому. Она не собиралась оправдываться перед Пашей. Она пошла на фронт сандружинницей вовсе не в надежде его найти, такое бывает лишь в плохих фильмах, а потому, что хотела быть, где убивают. Ее не убили, даже не ранили, она вернулась в свой город, чтобы жить и ждать. Она и ждала, пока не пришел Скворцов и не отнял последнюю надежду. Была работа, был любящий пострадавший человек, Пашин друг, свидетель их короткого счастья, она не могла его полюбить, но уважала его чувство, его стойкость, и еще ей казалось: у нее может быть сын, похожий на Пашу. У многих людей для того, чтобы жить, еще меньше оснований. Но что случилось с Пашей?

Отчего он взорвался, когда она сказала, что Скворцов ее муж? Странно.. Скворцов был его другом с раннего детства, они десять лет просидели за одной партой, поступили в один институт, полюбили одну девушку. Скворцов любил раньше, но ему на роду было написано во всем уступать Пашке. Со стороны это казалось естественным: Скворцов был интересным молодым человеком, а Пашка — явлением, праздником, божьим подарком. Так его все и воспринимали. Поначалу ее отпугнула победительность курортного баловня. Бывают такие люди — для летнего отдыха. Во все играют, плавают «за горизонт», всегда в отличном настроении и загорают быстро, дочерна, без волдырей, и все дается их рукам: костер, шампуры с жирными кусками баранины, трухлявые пробки бутылок, гитарные струны. А в городе эти люди большей частью линяют, гаснут: пляжный Аполлон оказывается непреуспевающим служащим, студентом-тупицей, просто лоботрясом. Вместо прекрасного наряда смуглой наготы — жалкий ленторговский костюмишко, и куда девалась вся отвага, ловкость, покоряющая свобода слов и жестов? И все же она влюбилась в Пашку уже там, на берегу моря, когда он и внимания на нее не обращал, упоенный своими первыми взрослыми романами. А в Ленинграде она была согласна и на тупицу, и лоботряса, на последнюю шпану — любила без памяти. Но Пашка и в городе остался богом. Она вполне допускала, что Скворцов не слишком страдал, может, и вообще не страдал, находясь в тени, далеко не все люди стремятся в лидеры. И Пашка не стремился, но становился им неизбежно в любой компании, в любом обществе, в институте, на стадионе и смирился со своим избранничеством, с тем, что ему всегда оказывают предпочтение. Быть может, он заплатил за это известной эмоциональной слепотой. Так он был ошарашен, узнав от Ани, что оказался счастливым соперником своего друга. Скрытность Скворцова привела его в ярость. «Домолчался, идиот несчастный!» — «А если бы ты знал?» — «Обходил бы тебя, как Кара-Даг», — честно

сказал Паша. «За чем же дело стало?» — хотела она обидеться. «Поздно. Люблю». Проиграв, Скворцов остался на высоте. О Паше этого не скажешь. Что-то есть роковое в его характере: срываться в последнюю минуту. Так случилось на фронте, так случилось сейчас, перечеркнув его образ взрывом низкой, истерической злобы. Она и представить себе не могла, что такое скрывается в Паше. Ну и пусть, что Господь не делает, все к лучшему. Кончилось наваждение, она обрела свободу от этого человека, хоть к старости, хоть на исходе плохо и горестно прожитой жизни. Свободна... Пуста, легка и свободна. Черта с два! Плевать ей на его «низкую злобу», на зависть и ревность к Скворцову, на то, что он откуда-то там ушел, да пропади все пропадом, ей никого и ничего не надо, кроме него самого. Любимого. Единственного. Но, может, ему надо — от чего-то освободиться, выплюнуть из души какую-то дрянь?

— Паша, — сказала она тихо, — что там было?

Он мгновенно понял, о чем она спрашивает. Его будто ледяной водой окатило — перестал дергаться, размахивать руками и твердить свое: «Грандиозно!.. Грандиозно!» Только дышал тяжело, и ей нравилось, как мощно ходит его грудь под серой застиранной рубахой. И опять она подумала: какое ей до всего этого дело?..

— Ты же сама знаешь, — как будто из страшной дали донесся до нее голос. — Все знаешь от Скворцова. Мне нечего добавить.

Ну и ладно... Надо сесть на землю, чтобы видеть его лицо. Когда солнце бьет ему в глаза, радужки становятся такими же синими, как раньше, от нагретой кожи тянет тем же «смуглым» запахом, той же здоровой, чистой жизнью. Она так быстро и бесшумно опустилась на траву возле него, что он не заметил ее движения и не смог ему помешать.

— Паша, — позвала она, дыша им, его кожей, потом, рубахой.

Он потупил голову, изгнав синеву из глаз, лицо стало окаменелым, холодным, всему посторонним, как тогда у валуна. Но ее нельзя было сбить с толку, в лесу полно набродов: пересекающихся, сплетающихся, уводящих в сторону, но хороший охотничий пес держит след.

— Паша... О чем мы говорим?.. Кому это нужно?.. После столько лет... После твоего воскрешения...

— А я и не умирал, — прервал он с подавленной злостью, он овладел собой, но внутри все клокотало. — Я умер лишь для тебя... и Скворцова.

— Бог с ним, со Скворцовым, — устало сказала Анна. — Но что я могла сделать?.. Ты же исчез. Я посылала запросы всюду. Ответ один: пропал без вести.

— Пропал — не убит.

— Но все знали, что за таким ответом. Могло мне в голову прийти, что ты скрываешься? Это чудовищно, Паша, какое право ты имел так мне не верить? Господи, я бы примчалась за тобой на край света.

— На тот край света ты бы не примчалась, — сказал он почти спокойно.

— Почему?

— Потому что это действительно край света. Не географически, конечно. Я попытался жить среди нормальных людей. После госпиталя. Когда меня наконец дорезали. В Ленинград я не поехал. Все равно ни родителей, ни сестры уже не было... Конечно, я думал о тебе, — произнес он с усилием, — зачем врать?.. Но и разжевывать нечего, так все понятно. Я решил начать сначала, доказать свое право быть среди двуногих. На равных, хоть я им по пояс. Не вышло... Помнишь, как было после войны? На всех углах поддавшие калеки торговали рассыпными папиросами. Коммерция нищих. Я этим не промышлял, учился на гранильщика. Но стоило зазеваться на улице, мне тут же кидали мелочь или рублевки. Никто не хотел обидеть, напротив, жалели, от собственной худобы отрывали. Особенно бабы, я ведь красивый был, помнишь? Но это меня

доконало. Казалось, мне указывают настоящее место. Глупо?

Она никак не отозвалась. Анна слышала каждое слово, но не пыталась вникнуть в суть, ей важно было лишь то, что скрывалось за словами. Похоже, он давно заготовил эту исповедь, проговаривал про себя, может, обращаясь к ней, но какое отношение имели эти старые обиды к чуду их встречи? Он хотел что-то объяснить, в чем-то оправдаться — все это лишнее. Пропавших лет не вернуть. Так зачем теперь и настоящее?.. А может, он подводит какое-то обвинение против нее? И это лишнее. Все лишнее. Но ему зачем-то нужно выговориться прямо сейчас, словно для этого не будет другого времени. Паша, хотелось ей сказать, опомнись. Это же я, Аня, девочка с коктебельского пляжа, женщина — пусть ненастоящая — из Сердоликовой бухты. Но Паша не слышал ее молчаливой мольбы — с задавленной яростью продолжал бубнить о своем падении.

Он тоже торговал вроссыпь отсыревшими «Казбеком» и «Беломором», а выручку пропивал с алкашами в пивных, забегаловках, на каких-то темных квартирах-хазах, с дрянными, а бывало, и просто несчастными, обездоленными бабами, с ворами, которые приспособливали инвалидов к своему ремеслу, «выяснял отношения», скандалил, дрался, научился пускать в дело нож. И преуспел в поножовщине так, что его стали бояться. Убогих он не трогал, здоровых пластал без пощады. Ему доставляло наслаждение всаживать нож или заточенный напильник в распаленного противника и чувствовать, что он, огрызок, полчеловека, сильнее любой все сохранившей сволочи. Он думал, что в конце концов его зарежут соединенными силами, и не возражал против такого финала. Но обошлось без крови — жалким, гадким, смехотворным позором. Раз к концу дня, по обыкновению на большом взводе, он сцепился с девкой из магазина, поставившей им краденые папиросы. Девка его надула, чего-то недодала, но не денег было жалко, взбесила ее наглость. Он преследовал ее на своей тележке по Гоголев-



скому бульвару от метро до схода к Сивцеву Вражку. Девка была здоровенная, все время вырывалась, да еще со смехом. А ударить бабу по-настоящему он даже тогда не мог. Так дотащились они до спуска на улицу, здесь он опять ухватил ее за карман пыльника. Она дернулась, карман остался у него в руке, а он сорвался с тележки и кубарем полетел по ступенькам. При всем честном народе. На тележке же штаны не обязательны, их все равно не видно за широким твердым кожаным ободом. И тогда он сказал себе: все, это край. И подался на Богояр.

— Хорошая история? — спросил он злорадно.

Она не ответила. Обняла его, навлекла на себя, поймала сомкнутые губы и откинулась назад.

В слившихся воедино людях звучала разная музыка. Ее восторг был любовью, его — любовью и ненавистью, сплетенными, как хороший кнут. Под искалеченным и мощным мужским телом билась не только любимая плоть, но вся загубленная жизнь.

Она была почти без сознания, когда он ее отпустил. Но, отпустив, он вдруг увидел ее смятое, милое, навек родное лицо, услышал слабый шорох ночных волн, набегающих на плоский берег бухты, чтобы оставить на нем розоватые прозрачные камешки, — все мстительное, темное, злое оставило его, любовь и желание затопили душу. Он сказал ее измученным глазам:

— Лежи спокойно. Усни. Я сам.

...Обхватив голову руками и чувствуя под ладонями вздувшиеся рогатые вены на висках, Скворцов силился понять, что теперь будет и как ему выйти из новой и самой страшной ловушки, которую когда-либо расставляла перед ним жизнь. А ведь их и так было немало, иные захлопывались, но он, как лиса, отгрызал прищемленную лапу и уходил. А лапа потом отрастала. Но сейчас ловушка захлопнулась наглухо, тут не отделаешься частицей тела, не уползешь в берлогу, кропя землю густой горячей черной кровью. Но безвыходные положения бывают лишь с согласия человека,

а он этого согласия не давал. Если он смог уйти от самого грозного и безжалостного, что есть на свете, — от государства, то справится с любым противником. Иначе грош ему цена. Пашке его не опрокинуть — где доказательства?.. Оговорить можно кого хочешь. На его, Скворцова, стороне десятилетия устоявшейся совместной жизни, дети, дом, прочный быт с кругом обязанностей, привычек, отношений. Она повязана, опутана, привязана бесчисленными нитями, которые удержат стареющую женщину от юных авантюр. Не уйдет же она к безногому обитателю инвалидного дома. Но этот безногий был Пашкой, и Скворцов допускал рассудку вопреки, что тут возможно все. Даже самое дикое, нежизненное и непостижимое трезвым дневным сознанием. Она бросит все, наплюет на дом, детей и работу, не говоря уже о нем. За ее утомленностью — громадная энергия... разрушения. Она способна на любой поступок. Скворцов ощущал это тем тонким и чутким местом под ложечкой, где помещается инстинкт защиты; отсюда шли панические сигналы, и лучше довериться им, чем логическим построениям, бессильным перед стихией.

Надо же случиться такому на последней прямой, когда, казалось, все страшное уже миновало и неоткуда ждать удара. Сам виноват — позволил расслабиться чувству самосохранения. Ведь он прекрасно знал, что на Богояре спокон веку находится инвалидное убежище. Правда, говорили, что его куда-то перевели. Следовало проверить это, прежде чем отправляться в сентиментальное путешествие. И почему он был так уверен в Пашкиной гибели? Он исходил из характера Пашки: такие не приходят с войны. Вот он и не пришел — в главном ошибки не было. Следовало учесть, что не прийти назад может и живой. Знать бы, где будешь падать, соломки бы подложил... А так и надо жить, только так: заранее подкладывать соломку. Этим и отличается умный от дурака, ответственный человек от жалкого разгильдяя. На кой черт понадобилась ему эта бессмысленная поездка? В дружную семью поиграть захотелось? Не-

ужели на свете мало вполне безопасных мест. Можно было махнуть машиной в Таллинн. Заказать номера в «Виру», там прекрасный ресторан, гриль-бар, даже ночная программа. И никаких искалеченных войной. А если они и есть, то тихо сидят дома, а не путаются под ногами у приезжих. Ладно, мечтатель!.. Думай лучше о том, какую избрать линию поведения. Все зависит от того, что ей там Пашка на врет. Ну, это заранее известно. Доказать ничего нельзя. Все дело в том, кому захочет она поверить. Конечно, она поверит Пашке, если... если захочет поверить. Лучше не тешиться пустой надеждой, а смотреть правде в глаза... Скворцов вдруг заметил, что грызет ногти. Отвратительная привычка с детства, от которой он поздно и с трудом отучился, вернулась к нему. Он обкусывал ногти, отдира л зубами заусеницы до крови, выгрызал мягкую кожу под ногтями и с упоением поедал обкуски собственной плоти, будто и впрямь примерялся к лисьему способу освобождения из капкана...

...Младший Скворцов наконец очнулся от долгого, по-юношески глубокого и полного сна, не омраченного ни выпитым накануне, ни унижительным приключением, о котором вспомнил сразу, едва продрал глаза. Но странно, сейчас о вчерашней истории думалось не только без огорчения и злобы, а с некоторым удовольствием. Он заставил эту дрянь повертеться. Он так и скажет ребятам, когда вернется в Ленинград. А что если перехватить у Давшего ему жизнь денег и продолжить игру? Нет, хорошенького понемножку. Сегодня он удовлетворится чем-нибудь попроще. Даже такому рисковому мужику, как он, требуется передышка. Он прошел в ванную комнату, раскрутил кран с горячей водой, пустил белесый от пара душ и с наслаждением ошпарился кипятком — у него была «обалденно» нечувствительная кожа, чем он очень гордился. Затем пустил ледяную воду, прямо под душем почистил зубы и вышел из ванны бодрый, свежий, в отличном настроении, готовый для новых подвигов...

Его сестра не так легко расправилась с вчерашними впечатлениями. Она даже поплакала, вспоминая об украденной, да нет, нагло взятой у нее на глазах, словно конфискованной, брошке. Это была дорогая вещь — подарок отца на совершеннолетие, — хотя она не удосужилась спросить, сколько стоит. Отцу хотелось, чтобы она спросила о цене, но зачем потакать слабостям взрослых. Она же не собиралась продавать эту брошку. Видимо, уже тогда подсознательно решила подарить ее пароходному гангстеру. Обидно, противно, унижительно. Таня улыбнулась. Может, когда она станет такой же старой и потухшей, как мама, она вспомнит о вчерашнем как о смешной, простительной, даже милой ошибке бесшабашной молодости. Надо скопить побольше впечатлений на черные дни старости. Интересно, осмелится ли этот страшный человек прийти вечером в бар? Осмелится!.. Просто и спокойно придет, как на службы, чтобы объегорить очередную дуру. А может, надо заявить о нем капитану? Хорошо она будет выглядеть! Надо будет обеспечить себя на вечер кавалером понадежнее, чтобы этот прохвост опять не пристал. Да нет, он же видел, с нее нечего больше взять. Кроме молодости и красоты, усмехнулась Таня, но это его меньше всего интересует..

...Экскурсанты, разбитые на группы и ведомые ошалевшими от скуки гидами, ныряли в глубокие балки, карабкались навздым, делая вид друг перед другом и перед самими собой, что очарованы однообразной флорой острова и останками деревянных церквушек и часовен, поставленных отшельниками, божьими, но крайне неуживчивыми людьми, которым оказалось тесно в пустынности российских пространств. Туристы то и дело поглядывали на часы, словно могли ускорить движение почти остановившегося времени и вернуться на теплоход, где уютные каюты, музыка, телевизоры и водка..

...Двое на опушке вернулись из поднебесья, впрочем, женщина, похоже, этого не сознавала, она даже не потрудилась одернуть платье, это сделал мужчина. Анну удивил

его жест. Пусть увидят ее нагой. Она безмерно гордилась своим телом, всю жизнь таким ненужным, тяжелым, обременительным, но сохранившим способность к чуду и сейчас принесшим ей столько счастья. Она повернулась на бок, в его сторону.

— Надо сделать так, чтоб мы уехали вместе, — сказала Анна.

— Не понимаю.

— На нашем теплоходе.

— Куда?

— Ко мне, разумеется.

— Что за дичь?

— А ты как думал? Я тебя не отпущу. Ты пропадаешь слишком надолго. Еще тридцать лет мне не выдержать. — В шутливости ее тона дрожала тревога.

Опустошенность, неизбежная после взрыва страсти, начала заполняться в нем чем-то горьким и недобрим. А ведь только что казалось, что внутри рассосалась старая, с колючими углами затверделость. Нет, она осталась, лишь повернулась, сдвинулась с места и легла хуже, неудобнее, больнее. Раньше он мог лишь догадываться, чего лишился, теперь — знал.

— А как же твоя семья? — спросил с усмешкой.

— Ты моя семья.

— Вон что!.. А жить мы будем со Скворцовым?

— Нам есть где жить, Паша. Ни о чем не беспокойся.

Это моя забота.

— Видишь ли, — произнес он тягуче, — заботы не только у тебя. Тут есть парнишка, правда, парнишке этому уже за пятьдесят, но он так и не стал взрослым человеком. Почему — я тебе расскажу... оставь мою руку в покое!.. Его взяли в армию перед самым концом войны, прямо из школы, одолжили на месячишко и отпустили без рук, без ног. Он был из таежной деревни с подходящим названием Медвежье. Домой не поехал, сразу — на Богояр. В деревне у него осталась старуха мать. Отец и два брата давно умерли от

туберкулеза. А он, хоть и поскребыш, вырос на редкость здоровым, крепким, гладким, кровь с молоком и не хотел, чтобы мать увидела его обрубком. Но старая полуграмотная крестьянка не поверила в гибель сына и отправилась разыскивать его по всей России. Как она жила, где, чем питалась, непонятно, но через три с лишним года появилась здесь. И осталась, ехать им было некуда.

— Ты хочешь сказать, что мне...

— Нет! — отрубил он. — Лучше послушай. Она устроилась тут сторожихой. Каждое воскресенье привязывала сына к спине и несла на пристань. Сажала на скамейку, вставляла ему в зубы зажженную сигарету, он дымил, смотрел на людей и улыбался. Близость матери помогла ему остаться пацаном с детской улыбкой, детским взглядом, детской чистотой и незлобивостью. Когда мать умерла, я стал таскать его на пристань. Сейчас он угасает, без болезни, без видимой причины. Я не могу его бросить.

— Все поняла. Я останусь тут.

— Ты?.. Здесь не нужны ученые дамы.

— Я была санитаркой на фронте. Пусть он живет как можно дольше — твой дружок. А когда его не станет, мы уедем в Ленинград.

— Как все просто!.. По первому знаку бросить землю, на которой прожил четверть века... Не перебивай! Я отдаю должное твоему великодушию. Ты готова составить мне компанию... Помолчи, говорю!.. Видишь ли, здесь тоже идет жизнь, какая ни есть, но человеческая жизнь со своими заботами, обязательствами, отношениями. Тебе даже в голову не пришло, что у меня может быть женщина.

— Еще бы!.. Я не сомневалась... Смотри, как ты богат, Паша, по сравнению со мной. Я могу бросить все, меня ничего не держит. А у тебя и друзья, и обязанности, и любимая женщина.

— Я не называл ее любимой — ни тебе, ни ей. Но она терпела меня почти десять лет. И сама понимаешь, не за богатство и положение.

— А я терпела без тебя — тридцать. И нечего ею восторгаться. Любая баба предпочтет тебя кому угодно.

— Да, лакомый кусок! — сказал он, не поддаваясь ее интонации. — Первый парень на Богояре. Так что видишь, нас голой рукой не возьмешь. Мы тут гордые. А ты, Аня, возвращайся домой, в свою жизнь.

— Ты больше не любишь меня? — Она зашлась громким плачем, и на мгновение почудилось, что она актерствует, притворяется.

Он тут же устыдился своей низкой подозрительности. Будь добрым, в этом больше достоинств и силы.

— Я люблю тебя и всегда любил, ты сама знаешь. Нам крепко не повезло. Что поделаешь, Леше из Медвежьего не повезло еще больше, но даже и он не самый несчастный. Все-таки мы увиделись. Я дождался тебя. Круг завершен. Так не бывает. А тут случилось и останется в нас...

— Скоро кончится эта проповедь? — Она только сейчас поняла, что за его словами не жестокий каприз калеки, а принятое решение. — Зачем ты прячешься за словами? Ты просто боишься оторваться от этого берега, боишься перемен, большой жизни, от которой отвык.

— «Боишься» — это чтоб оскорбить? Ни черта я не боюсь. Скажи: «Не хочешь», и ты права. Не хочу я вашей жизни, вы к ней привыкли, вработались, а я нет. Думаешь, там, на пристани, я ничего не слышал, не видел?.. Зажравшиеся и вечно ноющие мещане — вот вы кто!.. Где морда, где задница — не поймешь, а все ноете, что с продуктами плохо. И запчастей не достать. И гаражи далеко от дома. С души воротит. Нет, не хочу я твоей «большой» жизни, мне в ней тесно будет.

— Жизнь разная, Паша.

— Под этим подписываюсь. Мы свое сделали, другие продолжают работу. Но за ними мне не угнаться, а с другими — не хочу. Твое окружение наверняка из тоскующих по запчастям, шиферу, загранкам и прочей тухлой муре. Да ну вас всех к дьяволу! Мы вас не трогаем, оставьте нас в

покое. — Плотины прорвало, и, махнув рукой на все благие намерения, он заорал: — Не хотим!.. К чертовой матери!.. Зачем ты сюда притащилась, кто тебя звал?

— Ты, Паша, — сказала она беззлобно. — Ты, родной.

— Ну ладно... — Он перевел дыхание. — Меня занесло. И все-таки это не такая чушь, как тебе кажется. Когда-нибудь поймешь.

— А я уже поняла. Ты не хочешь в Ленинград. Хочешь здесь остаться. И я с тобой.

— Да, много ты поняла!.. — Он смотрел на ее любящее, покорное лицо, на загорелые, округлые, но уже немолодые руки, на поцарапанные травой ноги, смятую юбку, и его раздражало решительно все в ней: и моложавость, и пятна возраста, и доверчивая неприбранность, и золотая цепочка на шее, и покорность глаз, готовность повиноваться каждому его слову, только чтоб он не требовал разрыва. Он раздавил, как окурок в пепельнице, вновь нахлынувшее раздражение, голос его прозвучал сердечно:

— Прощай, Аня. Спасибо тебе за подарок. Я этого никогда не забуду. — И, отвернувшись, взмахнул «утюгами» и послал вперед свое тело.

Анна не пошевелилась. Она не верила, что он может уйти. И Корсар не верил, он тоже остался на месте, лишь приподнял голову и наострил одно ухо, другое, перебитое или перекушенное, висело бессильно. А Паша все кидал и кидал свои «утюги», мощно бросая себя вверх и вперед — каждый бросок был куда больше человеческого шага. Анне представилось, что он вознесся над землей, к которой его так низко прибило, и летит по воздуху прочь от нее, ее рук и губ, ее любви и преданности, удирает, не поняв осенившего их чуда. Неужели так непроглядна тьма в его душе?.. Корсар первый прозрел правду, он шумно выдохнул воздух и помчался за хозяином.

Анна тоже вскочила и побежала. Но ее завернуло сперва на болото, а когда выбралась из кисло-смордной топи — на вырубку. И тут она сломала каблук о толстый корень.



Она сбросила туфли, побежала босиком, но укололась, оступилась, зашибла пальцы, захромала и поняла, что ей не угнаться за Пашей, который далеко-далеко впереди летел над белесой дорогой темным, все уменьшающимся шариком.

И Павлу казалось, что он летит. Толкнись чуть сильнее, собери потуже тело, и ты вознесешься под облака, увидишь весь остров с пристанью и белым теплоходом, который в последний раз приплыл сюда для тебя.

Он был доволен собой. Получилась великолепная мужская игра: он взял женщину, которую когда-то любил, получил от Скворцова по старому долгу. И не дал себя захомутать. Он пожалел ее детей, пусть живут, не зная, что их отец трус и подлец. Он снова остался на посту, как много лет назад, верный долгу и приказу, отданному на этот раз не белобрысым мальчишкой-лейтенантом, игравшим со смертью в орлянку на чужие жизни, а своей собственной совестью.

А ребята, конечно, заметили, как он удалился в лесок с приездом, думал Паша, летя над Богояром. Небось ждуть не дождутся молодецкого рассказа. Здесь не знали зависти, любая удача одного становилась удачей всех, подтверждая общую жизнеспособность. Но когда он пришел в палату и на него накинулись с жадно-насмешливыми вопросами, он сказал серьезно и укоризненно:

— Бросьте, ребята!.. Это сеструха.

Все сразу замолчали. Не потому, что поверили, но Паша был командиром, атаманом, паханом, и его слово — закон...

...Анна с силой распахнула незапертую дверь каюты. Скворцову показалось, что она пьяна: почему-то босиком, кофточка выскочила из жеваной юбки, подол замаран землей, волосы растрепаны, лицо бледное, мятое и сырое, как после слез.

— Что с тобой?.. В каком ты виде?..

— Я была с Пашей, — объяснила она свой вид.

Скворцов принял откровенность за цинизм, это придало ему смелости.

— Я видел его и не хотел мешать. Я не допускал, что моя жена может настолько потерять себя.

— А пошел ты!.. — устало произнесла Анна и тяжело опустилась на койку.

— Что он тебе сказал? — Скворцов понял, что случилось самое худшее, и голос его сорвался в петушинный крик.

— Какое твое собачье дело? И не ори сиплой фистулой. Не ори на мать своих детей, так, кажется, я называюсь в патетические минуты?

— Что он тебе сказал обо мне? Какую грязную ложь?

Она поглядела на него искоса, в мглистом взгляде он прочел свой приговор.

— Я знаю.. Клевета ходит торными дорожками. Он врал тебе, подонок, что это я ушел, а он остался? В точку?

Она повернулась к нему, лицо ее стало здешним, присутствующим.

— Он мне ни слова не сказал..

— Как не сказал? — Во рту пересохло. Скворцов облизал нёбо, десны, губы.

— А почему, собственно?.. Господи, теперь я понимаю!.. И как могла я, дура окаянная, поверить, что Паша!.. Конечно, это ты ушел, трус, предатель. Бросил товарища, чтобы спасти свою шкуру. И Пашка стал калекой, а я несчастной на всю жизнь.

— Ты бредишь? — пробормотал Скворцов.

— Ловко придумал!.. Ничего не утверждал, а тень навел. И все ускользал от прямых слов... щадил память товарища. Я попалась и замолчала. И почему-то поверила в Пашкину смерть.. Ох, ты знаешь людей, по-подлому, но знаешь. А вот столкнулся с благородством — и сам себя в дерьмо усадил. Как же я тебя ненавижу!..

Скворцов молчал. Возражать бессмысленно. Он попался, как последний идиот. Нет хуже иметь дело с такими, как Пашка, никогда не знаешь, что они выкинут. Могло

прийти в голову, что калека будет молчать? Ведь это его единственный реванш. Преподнести женщине, что она живет с предателем, шкурой, трусом. А он вовсе не был ни трусом, ни предателем. Просто не захотел обреченно, как бык на бойне, ждать смерти. Пашка из породы рабов. Ему приказали, и все — собственная воля и мозг отключены. А в нем нет этого рабьего, он понял, что о них или забыли, или белобрысый лейтенант сыграл в ящик. Сколько могли держаться два человека? У них оставалось по одному диску, на что тут рассчитывать?.. В нем была воля к жизни, а в Пашке не было. Ему не повезло, он наткнулся на немцев, не успел содрать автомат с шеи, но ведь он мог выйти к своим и спасти Пашку. Глядишь, стал бы шафером с бантом на Пашкиной свадьбе. Чудесная картина! Всю жизнь мечтал стать благодетелем. А по ночам кусал бы пальцы. Спасибо!.. «Кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет... Доля павших — хуже доли не сыскать». Это знали даже в самую героическую эпоху липовой истории человечества. Но Пашка не пал — вот в чем загвоздка. Явился с того света, чтобы изгадить ему жизнь. Нечего на Пашку валить. Тот промолчал, скрыл правду, непонятно почему, но скрыл. Сам проболтался, истерик. Не выдержали нервишки. Как дальше будут развиваться события?.. Она на борту — это главное. Теплоход уже отчаливает. Запомнится тебе Богояр, на всю жизнь запомнится, хотя ты даже на берег не сошел. Не познакомился ни с растительным, ни с животным миром острова, ни с его историческими достопримечательностями — невосполнимая потеря... Ты немного приободрился, дружок? Имей в виду, в ближайшее время от тебя потребуются много выдержки и много изобретательства, иначе развалится здание, которое ты с таким трудом возвел.

Анна, слепо глядевшая за окно, обнаружила какое-то движение. Они покидали Богояр. Но остров не отдалялся, они шли вдоль берега. Над верхушками сосен возник деревянный, цветом в белую ночь купол с крестом — какая-то

церковь. Очевидно, они оплывают остров, чтобы дать туристам более полное представление о Богояре. Она поднялась и вышла из каюты. Скворцов удержался от совета накинуть плащ.

Анну сейчас лучше не трогать. Но как ему распорядиться собой? Торчать в каюте скучно, тягостно и вредно — даром изведешь себя кружащимися вокруг одной точки мыслями. Надо скинуть наваждение. В трудную, быть может, в самую трудную минуту жизни он должен быть со своими детьми. Никто не знает, что выкинет эта женщина, она может внести страшный хаос в их жизнь, изобразить разрыв, уход, навести великий срам на семью, они должны сплотиться — не против нее, боже упаси, а против тех разрушительных сил, что в ней пробудились. Конечно, он ничего не скажет детям, просто надо быть вместе. Самое страшное все-таки не случилось — она уехала с ними. Победило элементарное благоразумие. Это давало надежду, и весьма серьезную. Обвинения, оскорбления, унижения, угрозы — сорный смерч, взвешанный с обиженной и слабой души, — не пугали. Скворцов знал: люди охотно считают тебя тем, за кого ты себя выдаешь, при одном условии — чтобы ты сам в это верил. Даже испытывая серьезные подозрения в надувательстве, они с умиленной покорностью продолжают играть в тебя такого, каким ты себя подаешь. И это распространяется даже на самых близких. Видимо, человек бессознательно экономит душевную энергию, которой у него не так уж много, — идти наперекор в чем бы то ни было изнурительно, сложно, такой расход сил оправдан лишь важной целью. Скворцов уже ощущал себя благородным страдальцем, чья единственная вина — беззаветная любовь (тут была крупица истины); он не оставил бы Пашку, если б не Анна. Там, на последнем краю, ему мелькнуло, что он должен разыграть собственную карту. Инстинкт самосохранения тут ни при чем. Он шел к Анне!.. Женщина простит любое преступление, если оно совершается во имя нее. А тут и преступления нету.

Он мог погибнуть, а Пашка уцелеть. Они уцелели оба, каждый со своими потерями. Но он притащился к Анне, а Пашка не поверил ей. Конечно, надо все додумать, чтобы сходились концы с концами, но важнейшее найдено: он знает, какого себя должен навязать Анне. Сам он уже вошел в образ и чувствовал себя достаточно уверенно. А сейчас белая рубашка, галстук, твидовый пиджак и — к детям...

Моторы работали бесшумно, ход большого белого теплохода был так тих и плавен, что казалось — он стоит на месте, а медленно поворачивается остров, давая обозреть себя со всех сторон. Была в этой малой земле посреди огромной бледной воды печальная тайна, которую она привыкла укрывать от чужих глаз. Когда-то тут были скиты отшельников, пробирававшихся сюда с великими тяготами из необжитой России в поисках последнего могильного одиночества; они зарывались в чащу и тишину, стараясь не знать о существовании друг друга, но недолг был их покой — едва начавшему осознавать себя молодому государству понадобился этот остров как оплот против северных ворогов (почему-то народы не могут быть просто соседями), и оно прислало сюда крепких мужиков: монахов и трудников, поставивших монастырь-крепость. Минули века, опустел монастырь и, как всякое оставленное вниманием человека становище, стал быстро разрушаться: заросли жесткими перепутавшимися травами двор и подъезды, треснули стены, ослепли окна; березы, таволга и крапива пробилась сквозь кирпичное тело, и тут его призывали для новой службы: стать убежищем отшельников середины нынешнего века, отдавших последней опустошительной войне больше, чем жизнь.

Анна думала о монастыре, но почему-то не ждала, что увидит его, да еще так близко. Ей казалось, что монастырь находится в глубине острова, в лесном окружении, а он стоял на самом берегу, на другой от пристани стороне. Его кремль спускался к воде, лижущей подножие крепостной

стены, а собор, службы и жилые постройки расположились на взлобке. Анна видела колокольню с темными немymi дырами там, где прежде благовестили колокола, храм с порушенным возглавием, длинное здание под новой железной крышей и живыми окнами, еще какие-то постройки, то ли восстановленные, то ли заново возведенные; потом открылся край двора с развешанным для просушки бельем, почему-то не снятым на ночь, с гаражом и сараями, перевернутой вверх колесами тачкой, ржавым воротом и поверженным опорным столбом. Она жадно вбирала в себя скудные, томящие знаки непрочитаваемой жизни и вдруг всей заолодевшей кожей ощутила, что это Пашин мир, что Паша, живой, горячий, с бьющимся сердцем, синими глазами, сухой смуглой кожей, — рядом, совсем рядом. Их разделяла лента бледной воды шириной не более двухсот метров, совсем узенькая полоска суши, ворота, которые откроются на стук, двор. Она прекрасно плавает. Паша сам ее научил. Он затаскивал ее на глубину и там бросал, преграждая путь к берегу. Приходилось шлепать по воде руками и ногами — плыть. Она оказалась способной ученицей. Какие заплывы они совершали! Чуть не до турецких берегов. Боже мой, как легко все может решиться: он не выгонит ее, если она, мокрая, замерзшая, постучится в его дверь. А все остальное как-то образуется. И Пашкиной женщине придется смириться, Анна была первой, та поймет это, наверное, она хорошая женщина.

Анна сбежала на нижнюю палубу. Только бы ей не помешали. Но кругом — ни души. Пейзаж всем осточертел, а теплоход был набит удовольствиями, как мешок Деда Мороза — подарками, и хотелось до конца использовать часы безмятежного досуга. Она тяжело перелезла через барьер и, сильно оттолкнувшись, прыгнула в воду. Ее оглушило, ожгло холодом, но она вынырнула, глотнула воздуха и, налегая плечом на воду, поплыла к берегу, к Паше. Теплоход отдалялся медленно, он был грозно огромен, на берег же, как учил Паша, смотреть не надо — он не прибли-

жается. Руки и ноги были как чужие, плохо слушались, озеро совсем не прогревалось солнцем. Да ведь тут близко!.. Холод проник внутрь, стиснул сердце. Она хлебнула воды и хотела позвать на помощь, но остатками сознания поняла, что этого делать нельзя, потому что тогда ее не пустят к Паше. Она не знала, что на теплоходе прозвучал сигнал «Человек за бортом» и уже спускали шлюпку, куда прыгнули вслед за матросами капитан и судовой врач. Она не почувствует, как ее выхватят из воды, как хлынет изо рта вода, когда сильные руки врача начнут делать искусственное дыхание...

...В баре, где Скворцов сидел со своими детьми, ничего не знали о тревоге. Видимо, ребята «сильно поиздержались в дороге», поскольку вторжение отца в их тщательно оберегаемый мир было принято весьма милостиво. Скворцов терпеть не мог все это: приторные и довольно крепкие напитки, оглушительную жесткую музыку, корчащихся в пляске святого Витта потных, с глупыми, остервенелыми лицами молодых людей,— но источал благосклонность. А потом он обнаружил на танцевальном круге гибкую брюнетку, за которой приятно было следить. Его сын, танцевавший с худощавой девицей в белых обтяжных джинсах и полосатой маечке — Париж, Рим, Копенгаген! — с усмешкой подмигнул брюнетке. Та не отозвалась, вскинула голову, но Скворцов мог бы поклясться, что Паша знает ее, и даже весьма близко. Он позавидовал простоте отношений нынешних... Удивлял избранник дочери: громадный простоватый детина с модно длинными волосами и лапщами молотобойца. К Скворцову он испытывал большое почтение и, прежде чем опрокинуть в себя очередную бурду, непременно с ним чокался. Скворцов объявил, что сегодня угощает он, это задело самолюбие молотобойца, но спорить с пожилым человеком он не посмел, а, отлучившись к стойке, принес четыре плитки шоколада «Золотой ярлык» и куль с апельсинами. Сам он шоколада не употреблял — чесался от него до крови, — а от «цитрусовых»,

как он называл апельсины, покрывался сыпью. «У вас аллергия,— утешил его Скворцов.— Сейчас это модно...»

...Судовой врач прижал пальцами веки Анны и держал некоторое время, чтобы глаза закрылись. Она не захлебнулась — остановилось изношенное сердце. Конечно, это не было самоубийством, женщина видела спасательную лодку, но упрямо плыла прочь от них, к берегу. Зачем?..

Капитан думал: почему именно в его рейс должно было произойти ЧП. Ведь за все годы, что существует маршрут Ленинград — Бояр, лишь однажды пьяный свалился за борт, но был благополучно вытасчен. А это случай с летальным, как выражаются медики, исходом. И что ее дернуло?.. Приличная женщина, доктор наук, солидный муж, дети... За нее крепко спросится. Конечно, он тут ни при чем. Но ведь кто-то должен отвечать. И главное, в пароходстве начнут гадычить: «Почему именно с тобой это случилось?» А правда, почему именно с ним?.. Не потому ведь, что в молодости он дважды из лихости, из подражания легендарному черноморцу Маку, в которого были влюблены все молодые капитаны, дважды «поцеловал» причал?.. Конечно, его накажут. Но этим не ограничится. Запретят продажу спиртного в буфете, хотя погибшая туда не заглядывала, а из тех, кто заглядывал, никто не прыгнул за борт; на час раньше будут закрывать бар и почему-то запретят танцевать шейк; пришлют в читальню еще несколько связок брошюр, которых и так никто не раскрывает, — и все это под знаком «усиления культурно-воспитательной работы среди пассажиров». Потом все войдет в привычную колею, жизнь куда сильнее маленьких очковтирателей, делающих вид друг перед другом, а главное, перед более крупными очковтирателями, будто можно помешать естественному ходу вещей, напору инстинктов, воли к наслаждению и забвению. Водку будут приносить с собой и пить из-под столиков, шейк — все так же отплясывать, оркестранты за тройки и пятерки — наяривать сколько влезет, а в читальне — по-прежнему брать «Огонек», «Смену» и «Работни-



цу», если уцелели выкройки. Все вернется на круги своя, и он снова будет в порядке, не вернется лишь эта женщина, которой врач наконец-то сумел закрыть синие удивленные глаза.

...Павел проснулся, как всегда, первым. Привычно спертый воздух — инвалиды ненавидели открытые окна, берегли тепло. Тяжелое дыхание, храп, стоны, вскрики смертной боли. Этим озвучен сон искалеченных, самый крепкий и сладкий утренний сон. Они в бесчисленный раз переживали в сновидениях, в точных или затуманенных, искаженных образах миг, на котором обломилась жизнь. В черепных коробках рвались бомбы, снаряды, мины, скрежетали стальные гусеницы, обдавала жаром раскаленная броня, оплавлялась в огне человечья плоть. Им снились госпитали, послеоперационное опаматование в кошмар: тебя прежнего нет, от тебя осталось... Днем они вели себя как все люди: улыбались, шутили, вспоминали, радовались, тосковали, ругались, спорили, курили, ели, пили, отдавали переработанную пищу — кто сам, кто с чужой помощью — к последнему невозможно было привыкнуть, — читали, слушали радио, смотрели телевизор и болели за футболистов и хоккеистов, писали жалобы в разные инстанции, собирали корешки, грибы, кто старался по хозяйству, другие работали в небольшой артели — ночью их души погружались в ад.

Павел привычным, отработанным движением скинул тело с койки и угодил прямо на свою кожаную подушку. Он заспался, шел уже седьмой час, надо быстро помыться, побриться, натянуть штаны, подвернуть брючины, хорошенько привязаться к подбою из толстой кожи — и в путь. Поест он на пристани, у него от вчерашнего дня остались два куска хлеба с баклажанной икрой.

Сквозь вонючую духоту до него долетел тонкий аромат, напомнивший о ночных фиалках, которые здесь не росли. Откуда такое? Запах усилился, окутал Павла со всех сторон, заключил в себя, как в кокон. Его собственная кожа

источала этот запах — память о вчерашних событиях. Значит, Анна уже была!.. И ожил весь вчерашний день. Он ее прогнал. Теперь все. Незачем тащиться на пристань. Он свободен от многолетней вахты. Это почему же? А если она вернется? Она пришла через тридцать с лишним лет, вовсе не зная, что он находится на Богояре, так разве может не прийти теперь, когда знает его убежище? Рано или поздно, но она обязательно придет. Он должен быть на своем посту, чтобы не пропустить ее. Только сегодня это ни к чему. Сегодня она уж никак не вернется. Ее теплоход только подходит к Ленинграду, а другой теплоход отплыл на Богояр вчера вечером. Но кто знает, кто знает!.. Раз поленишься — и все потеряешь. Ходить надо так же, как ходил все эти годы, к каждому теплоходу, пока длится навигация.

Через четверть часа он уже мерил своими утюжками дорогу, а сзади бежал Корсар. В положенный час он был на пристани, на обычном месте, у валуна. Прямой, застывший, с неподвижным лицом и серо-стальными глазами, устремленными в далекую пустоту. Он ждал. Ждет до сих пор.

# БУНТАШНЫЙ ОСТРОВ

## ПОВЕСТЬ

Далеко ли от острова Богояра, что посреди Ладожского озера, до Монпарнаса, что посреди Парижа? По карте вроде порядочно, но при нынешней системе связи — рукой подать. Во всяком случае, мысль, родившаяся в Париже, на бульваре Монпарнас между «Селектом» и «Куполем», в голове одного прохожего и в тот же день ставшая словом, широко разнесенным эфиром, с труднодостижимой быстротой взорвала тихую жизнь немногочисленных обитателей Богояра.

Этот прохожий, любивший называть себя и устно и письменно Слонялой, городским бродягой, был по национальности русским, по случайности своего рождения парижанином, по социальной сущности — совком, ибо лишь первые шесть лет жизни резвился на парижской мостовой, а затем всю долгую жизнь — вплоть до изгнания — провел на своей исторической родине, ставшей за годы его безмятежного детства советской.

Оказавшись невольным виновником тех скорбных событий, о которых речь пойдет ниже, этот человек во всем остальном не имеет отношения к нашему рассказу, но о нем стоит поговорить, ибо поучительно знать, к чему может привести оплошность хорошей, нацеленной только на доброе души (я в этом не сомневаюсь), когда от заласканности и всеобщей нежности утрачивается самоконтроль. В наше взрывоопасное время людям, обладающим моральным авторитетом, даже просто известным и потому слышимым, нельзя распускаться. Это плохо не столько для них — прочная репутация, бывшие — несомненные — за-

слуги все спишут, — сколько для окружающих, ничем не защищенных. И Слоняле все списалось, да что там списалось, никто и внимания не обратил — все разом оглохли, ослепли и онемели — на его страшный грех перед беспомощнейшими мира, которых он онесчастливил своей безответственной болтовней.

Но я не был ни слеп, ни глух — да и не мог быть, слишком близко меня это касалось, и не обязан налагать на себя обязательство немоты, пусть дело и касается всеобщего любимца. Тем более что причинить вред я ему не могу, он давно ушел в мир иной и сейчас, несомненно, сидит на облаке, свесив ноги, и перебирает струны лютна. Жестокая, но случайная оплошность этого профессионально хорошего человека, конечно, и здесь списалась, к таким людям равно благосклонны и земля и небо.

Почему он накинулся на рассказ о самых несчастных, последней войны, людях, отдавших войне больше, чем жизнь, обитателях скорбного острова Богояра? И не просто напал, а посвятил ему целую передачу по «Голосу», где имел постоянный приработок к нещедрому редакторскому жалованью в одном из русских журналов. И ведь не то чтобы рассказ возмутил его своей бездарностью, антихудожественностью, дурным языком, скудоумием, всем тем, чем так раздражала оставленная дома литература. Он сам признался, что рассказ произвел на него сильнейшее впечатление, сперва огорошил, потом озадачил, смутил и, наконец, страшно разозлил. Говоря о нем по радио, он так и начал со всемерного расхваления рассказа, вернее, с добрых слов в адрес автора, назвав его другом (настоящей дружбы между ними не было, они и виделись всего три или четыре раза, правда, с интересом и симпатией друг к другу), а затем стал расхваливать «прекрасную литературу». Он старательно (это был ловко найденный прием) перечислил все мыслимые достоинства произведения: и такое оно, мол, и сякое, и распрекрасное, и расчудесное, а под конец, сделав многозначительную паузу, сказал устало рухнувшим голосом:

— Как видите, в рассказе есть все, что только можно пожелать для настоящей прозы, в нем нет лишь одного, главного... правды...

И после новой долгой мхатовской паузы (Слоняла в молодости был актером и штудировал систему Станиславского) он повторил:

— Да, правды... А без этого в искусстве все ничего не стоит.

И он объяснил, почему нет правды: в Советском Союзе убежища для калек засекречены тщательней, чем сталинские лагеря уничтожения. И никакие белые пароходы не отплывают из Ленинградского порта с веселыми туристами на ладожский остров, где у причала торчат пеньками «самовары» и снуют безногие на своих тележках или перебрасывая торс, подбитый кожей, с помощью деревянных «утюжков». Все это чепуха, ложь. Они схоронены в лесах, чащах, в тайных закутах, вроде старообрядческих скитов (о них ведают лишь секретные органы), и там они медленно вымирают, лишенные всякой связи с миром.

Эту страшную весть прослушало множество людей в советской стране, ибо в умении ловить запрещенные, глушимые передачи находчивые и сметливые граждане едва ли не превзошли собственное виртуозное умение гнать самогон из чего попало. Слышали и тысячи ленинградцев и жителей других городов, совершивших поездку на остров увечных, слышал и один калека-островитянин, бывший стрелок-радист, оставивший обе ноги в горящем самолете. Но руки у него были золотые, и он так наладил трофейный радиоприемник с бомбардировщика «юнкерс» (американский военный металлический ящик был возведен в ранг трофейного романтическим воображением бывшего стрелка-радиста), что свободно ловил любые волны. Прослушав долгую, окрашенную сильным чувством передачу Слонялы, он сказал старосте калечной артели, безногому Павлу:

— О нас «голоса» заговорили.

— С чего бы это?

Бывший стрелок-радист объяснил.

— Худо, — решил староста, чуть наморщив кожу гладкого и почему-то всегда загорелого лба. Он умудрялся набирать загар даже в самое дождливое лето.

— А чего худого? — удивился стрелок-радист.

— Он подал мысль, — сказал Павел. — Турнут нас отсюда.

— Ты что — офонарел?.. Как могут нас турнуть? Мы здесь всю жизнь прожили.

— Жизнь!.. — повторил Павел с таким выражением, что у стрелка-радиста что-то хрустнуло в груди, а горло запер комок.

— Да, жизнь! — Слова, продираясь сквозь этот комок, причиняли боль. — Херовая, сраная, вонючая, каинова, но жизнь! Моя жизнь, твоя и всех нас. Другой не было и не будет. Вся как есть тут. Под этим проклятым небом, у этой проклятой воды. А все равно жизнь. Я тут каждый куст знаю, каждую колдобоину. Все отняли, а это не отнимут, не дам, суки, падлы!..

— Хватит блатной истерики, — спокойно сказал Павел. — Разрочился, как Матросов.

Стрелок-радист посмотрел обалдело и вдруг хохотнул:

— Как Матросов?.. Ну, ты даешь!..

Павел «давал» по делу: уже через неделю после передачи, пойманной безногим радистом, им запретили ходить на пристань. А после того как Павел и еще двое безногих нарушили предписание и приволоклись туда в ближайшую субботу (пароходы приходили по субботам и воскресеньям), ворота монастыря, где находилось убежище, оказались на запоре.

Этому предшествовал один разговор в Сером доме на Старой площади, который известен в мире ничуть не меньше, чем Белый дом, поэтому адрес можно не уточнять.

В служебном буфете завтракали два одинаковых человека. Какую-то весьма незначительную разницу между ними можно было усмотреть: один чуть выше ростом и чуть уже

в плечах, но это не бросалось в глаза, где прочно отпечатывалось их тождество: русые, будто выгоревшие волосы, маленькие голубые глаза, культияпые носы, серые костюмы, белые рубашки, темные галстуки; оба безулыбчивые, сосредоточенные, смотрят будто не на собеседника, а в себя. Если же подвергнуть их вскрытию, сходство еще усилится: слегка расширенная печень, крепкие желудки и кишечника, прокуренные легкие, вялое сердце. Злоупотребление алкоголем и куревом, сидячая жизнь, частые стрессы в общении с начальством и хорошая, доброкачественная еда сформировали их внутренние органы. А содержимым черепных коробок они могли бы безболезненно обменяться, если б лапутяне завершили разработку своего смелого метода пересадки мозгов. Случись это, никто бы не заметил перемены в их мышлении и способа выражать свои мысли. Эти люди отштампованы эпохой и теми жизненными обстоятельствами, в которые их поставили, тут невозможны отклонения даже в цвете галстука. Лишь очень немногим, особо избранным, прощался высокий рост — все остальные умещались между 167-172 см, — а также худоба (сытость — непрременный признак победившего социализма); положенный стандарт предписывал вышесреднюю упитанность, отчетливое брюшко, исключались спортивность, мускулы, загар. Тело должно быть квелым, брюзловатым, кожа бледной, о цвете волос уже говорилось, можно по пальцам пересчитать случаи, когда брюнеты или рыжие проходили строжайший отбор, ибо первый закон Серого дома: не бросаться в глаза, не выделяться, индивидуальность неблагонадежна.

И ели эти люди одинаково: выражая полнейшее безразличие к процессу поглощения пищи; они заправлялись ею, как машина горючим, без всяких эмоций и удовольствия. А между тем вкушали они пищу райскую, которую соотечественники старшего возраста помнили лишь по названиям, но не признали бы в вещественном образе. У каждого на подносе располагались миноги в горчичном

соусе, кусок истекающего янтарным жиром угря, бутерброды с зернистой икрой, розово-опаловая лососина, а на очереди была яичница с ветчиной, горячие расстегаи и кофе со сливками.

Негласные, но очень строгие правила регулировали эти трапезы. Дом на Старой площади не был монастырем, обитатели которого не ведают, что творится за глухими стенами. Переходя из кабинета в машину, а оттуда в опрятные подъезды своих домов, они, конечно, мало соприкасались с окружающей средой (отпуска проводили в восстановительных учреждениях закрытого типа), но от своих домочадцев получали довольно ориентирующих сведений. Так, они знали, что их завтрак, стоивший пятнадцать копеек, для других граждан, появившись такие продукты в открытой продаже — мысль абсурдная! — стоил бы четверть зарплаты. Но полагалось делать вид, будто это обычный, ничем не примечательный завтрак рядового советского служащего по общепитовским ценам, и не корчить из себя гурмана. Есть надо как бы между делом, на бегу, не замечая, что ты жуешь в своей озабоченности идеологической, государственной, хозяйственной пользой страны, за которую ты в ответе. Хотя единственно реальным делом, каким занимались люди в огромном и все растущем Доме, было переваривание проглоченной в буфете пищи с последующим выведением отходов. При этом категорически возбранялось брать мало еды, чтобы не подчеркивать жадности, чревоугодия других. В старину считалось: если работник спор и опрятен за столом, таким же будет в поле, за прилавком, в мастерской. Так и тут. Если тебе еда не идет, то лечись или меняй место работы, нечего смущать, сбивать с толку здоровых людей, которым надо хорошо питать энергичную плоть и разогретый созидательной мыслью мозг.

Все посетители буфета в совершенстве освоили правила поведения. Но они оставались живыми людьми, хотя бы физиологически, и желудок их отзывался на вкуснейшую жратву довольным урчанием, унять которое не могла даже



тренированная воля аппаратчиков. Странен был этот угробный концерт — сродни лягушачьему, осуществляемый персенфансом из очень серьезных, отвлеченных от материальной скверны идеологических монахов; порой он становился так звучен, что кареглазая буфетчица включала глушащую музыку. Она насмешливо думала, что желудочно-кишечные музыканты могли бы питаться еще лучше, если б их не обкрадывали, как самых рядовых граждан в какой-нибудь смрадной пельменной или переполненной столовке самообслуживания. В яичницу, пирожки и расстегаи регулярно не докладывалось масло, каждый бутерброд облагался данью в десять граммов — икры, балыка, ветчины, колбасы, ростбифа; омары, лангусты, эскарго и авока поступают лишь в кабинеты начальства да в авоськи служащих буфета, равно как и настоящий «мокко» и какао «Ван Гуттен». Им невдомек, что в обители, где все должно быть чисто, свято, существует отлаженная система воровства, и, хотя отсюда нельзя якобы вынести булавку, буфетные кормильцы ежевечерне выносят на глазах подкупленной охраны тяжеленные кошелки с отборной провизией. Но они ничего такого не знали, и сладкий хлеб их не был отравлен мыслью, что им недодают, а обслуживающий персонал, эта персть земная, питается лучше их, небожителей, и к тому же не нуждается в искупающем и маскирующем незаконные привилегии притворствеа

— Ты слушал вчера? — спросил тот, кто ел бутерброд с зернистой икрой, того, кто дожевывал сочного копченого угря.

— Предположим, — осторожно ответил угреед. — Что ты имеешь в виду?

— Слонялу. Он разорвался за Богояр.

Угреед ублажил горло последним кусочком угриной плоти и запил глотком кофе. Он выигрывал время, потому что не догадывался, куда клонит икроед. Передачу он, конечно, слушал, Слоняла долбал какой-то рассказ про безногих, говорил, что это вранье. Наверное, вранье, как и все остальное, что публикует «Новый свет», так и не наладив-

шийся после солженицынских клевет. Но почему коллега заговорил об этом? Пустобрешество «голосов» сейчас мало кого волнует. Глушилки работают исправно, и, кроме аппаратчиков, сотрудников госбезопасности и прочей элитарной публики, которую не собьешь с толку, никто вражеской болтовни не слушает.

— Слоняла — мудак. Он думает, что эти убежища засекречены и автор там не мог быть. Мог сколько угодно. Кто хочешь может. Из Ленинграда туда каждую неделю толпами валит народ. Уже и другарей-братушек стали пускать. Я поинтересовался: чехи были, венгры, болгары. Глядишь, настоящих иностранцев повезут.

Любитель угря сделал отвлеченное лицо и потянулся за куском золотистой миноги, но отдернул руку. В него вошел страх: он не знал, как надо реагировать на услышанное. Он не бывал на Богояре, даже толком не слышал о нем и не читал рассказа, из-за которого разгорелся сыр-бор. Ясно было пока одно: Слоняла опростоволосился, вон сколько тому свидетелей — и наших, и народных демократов. Но интонация собеседника не была радостной, торжествующей: попался, мол, который кусался! — а озабоченной, недовольной. Не секу, не секу! — тревожно застучало в мозгу. Обскакал меня коллега, недаром же говорят, будто он идет на повышение. Надо держать ухо востро, не дай бог опростоволоситься. Дурное предчувствие стремительно обрело образ вполне конкретного пожара. Он решил быстрее очистить тарелку и взять добавок, неизвестно, сколько ему еще пользоваться этой благодатью.

Он тугодум, а позволительна лишь сознательная, на пользу дела, тупость. Жена никогда не верила, что он долго задержится здесь. Ведь только кажется, будто это легко: ничего не делать, кроме вида, что ты что-то делаешь. Мало ловить начальственные слово и взгляд, кивать и хмурить лоб, умно помалкивать, зримо напрягаясь в боевой готовности. Настает миг, когда ты должен высказаться, а где гарантия, что ты не попадешь впросак?

— Задумался? — по-своему истолковал его молчание идущий на повышение. У него был другой мешающий карьере недостаток. Будучи человеком смекалистым, он переоценивал умственные возможности окружающих. — Вот и я задумался. Безногая и безрукая брашкá мотается по пристани; торгует какими-то корешками, поганками и ягодой, клянчит на водку. Безобразное зрелище. Удивляюсь, как это до сих пор с рук сходило. Ведь тут бесценный материал для клеветы! Ты представляешь, какой можно поднять шум?

Наконец-то и его тяжелодумный собеседник понял, чем опасно выступление Слонялы. Он привлек внимание к Богояру. Не хватает, чтобы туда проникли шустрые ребята из разных «таймсов» и «постов». Хорошую картинку они там увидят!

— Страшное дело! — сказал он, вздохнул, покачал головой и будто невзначай отправил в рот пряную миножку и заел расстегаем.

— Очень даже страшное! Можно сказать, золотая россыпь для очернительства. Заслать туда фотокорреспондента, он такую «галерею» выдаст — не отмоешься. О чем мы все думали?... Спасибо Слоняле — открыл, можно сказать, глаза.

Результатом этого разговора явилась докладная записка, а следствием ее — то, о чем речь пойдет дальше...

Конечно, Слоняла не чаял, не гадал, что его выступление, исполненное самых благородных чувств, ибо что может быть благороднее отстаивания истины, правды, разоблачения искусно притворившейся лжи, будет иметь роковые последствия для несчастных насельников Богояра. Беда этого хорошего человека, а не вина в том, что благородство из естественного свойства души стало для него чем-то вроде профессии, утратив безошибочность инстинкта. Он был единственным, на ком сходились люди разных воззрений, настроений, страстей и темпераментов. Даже те, кто вынудили его к отъезду, в глубине души относились к нему с

симпатией. Бессребреник, добрый пьяница, чистая, бесхитростная душа, к тому же талантливый и умный прямым, не обидным для окружающих умом, он становился моральным авторитетом в любой среде, куда бы ни забрасывала его жизнь. И в наше злое время, когда кумиров оплевывают с еще большим удовольствием, чем негодяев, только на Слонялу ни у кого не поднималась рука. В конце концов он уверился в своей нравственной непогрешимости, точности оценок людей, событий, книг и вытекающем отсюда праве на суд. Он не злоупотреблял этим правом, понимая, жалея людей и снисходительно прощая им разные житейские слабости. Но в том, что не охватывалось широким кругом его снисходительности, он становился непреклонен. На это наткнулся сосланный в Париж Голямин, случайно подвернувшийся ему возле «Селекта». Если быть точным, Голямина сослали не в Париж, а в Израиль. Ему было предложено на выбор: или сесть, или разделить судьбу еврейской эмиграции. И русский с головы до пят, кроткий антисемит, происходивший из старого провинциального дворянского рода, убыл в маленький городок под Хайфой, откуда при первой возможности перебрался в эмигрантскую Мекку — Париж. Вся вина Голямина перед советской властью в том, что он хотел писать, как Кафка. Вернее сказать, он мог писать, только как Кафка, причем еще в ту пору, когда он Кафку не читал. Хотя нельзя сказать с уверенностью, что он вообще читал Кафку, поскольку он вообще ничего не читал, кроме самого себя. Но ведь он был вылитый Кафка, стало быть, читая самого себя, он как бы читал автора «Процесса». И делал это с упоением. Когда ему говорили, что он пишет под Кафку, Голямин хладнокровно поправлял: «Не под, а как. Это большая разница». Кафку никто не знал при жизни, и, если бы не счастливый случай, он так бы и остался в неизвестности, и тогда бы Кафкой стал Голямин. Но опередил хитрый чешский еврей русского Ивана и уж совсем в насмешку запищал его в какое-то жалкое местечко под Хайфой. Наши

власти, чтобы не выглядеть дикарями в глазах всего света, скрепя сердце разрешили издать один сборник Кафки, но тем строже повели себя в отношении русского дублера великого сюрреалиста. Голямина вызвали на площадь Дзержинского и предложили ему на выбор: или писать, как Толстой, Тургенев, Чехов, Бондарев и Проханов, или покинуть страну. Честный писатель, Голямин, выбрал изгнание...

Сейчас оба изгнанника столкнулись у кафе «Селект», и оба пришли сюда из кафе «Куполь». Слоняла выпил там две кружки пива — свою утреннюю порцию — и хотел идти домой, как вдруг у дверей «Селекта» сильным вздрогом плоти обнаружил, что не добрал одной кружки.

Слоняла искренне считал, что он завязал. Он действительно, обретая некоторое равновесие в своем изгнании, покончил с водкой, коньяком, креплеными винами, вообще со всем спиртным. Он позволял себе изредка стакан столового вина за ужином и несколько кружек пива в течение дня. И оказалось, к его удивлению, что пивом можно достичь того же эффекта, что и водкой, разница лишь в количестве жидкости, потребной для того, чтобы забалдеть. Новый способ обладал одним преимуществом: Слоняла был не из тех, кто умеет растягивать удовольствие, — начиная пить, он делал это не отрываясь, в течение трех-четырех часов, после чего валялся на кровать. Но с пивом испытанный метод не годился. Его плоский живот не вмещал того количества пива зараз, чтобы обеспечить быстрое выпадение из сознания, поэтому приходилось брести к этому медленно, через весь долгий день.

Голямин заглянул в «Селект» в надежде обнаружить кого-то из своих и расколоть на рюмку-другую, но никого не оказалось. Слоняла буквально за минуту до этого поднялся из-за крайнего столика на открытой веранде. Совершив бесполезный обход, Голямин выкатился на улицу, растерянно шаря по карманам, где, по обыкновению, было пусто. Кафкианская литература не пользовалась спросом на вольном Западе, как и в отечественном загоне, единст-

венно что за нее не высылали. Если и удавалось иной раз тиснуть рассказик, то в русском издании, а за это не платили гонорара. Он жил общественным и частным доброхотством, одно время бацал чечетку в русской блинной «Чернец», присматривал за младенцами, выводил гулять собачек, но все-таки жил, не умирал.

Впрочем, сейчас он умирал от желания опохмелиться. Столкнувшись с ним, Слоняла сразу угадал знакомое состояние и, хотя между ними не было дружеских отношений, скорее взаимное глухое неприятие, по доброте душевной пригласил страдальца на кружку пива. Они вернулись в кафе, заняли место за столиком, вспомнили, как полагается, что здесь сиживал папа Хем, стесняясь тривиальности этих неперенных воспоминаний, а затем омочили усы в белой пышной пене.

Они поговорили о том о сем. Вернее, говорил Слоняла, а Голямин лишь вскрикивал потрясенно, с каким-то влажным всхлебом, и стучал кулаком по столешнице. Ему было все в диковинку, он ни о чем ничего не знал. Не знал ни о глобальных, ни о местных событиях, не знал эмигрантских сплетен и скандалов, не знал, что идет в кино и в театре, не знал, что умер Нильс Бор (двадцать лет назад), что покончила с собой Мэрилин Монро (в том же году), не знал, кто президент Франции и премьер-министр Англии, не слышал о последнем романе Клода Симона, о только что открывшейся выставке Мура и о том, что в Венсенском лесу демонстрирует свои телеса самая толстая женщина столетия. Но, не зная столь многого и важного, он не стремился расширить свой кругозор и ни о чем не спрашивал сам, лишь захлебывая с восторгом информацию, которую выдавал Слоняла. А тот не умел пить молча, тогда лучше возглавить общество трезвости. Но он чувствовал, что Голямин — вопреки бурной, хотя и несколько автоматической, реакции — отнюдь не восхищен тем культурным бисером, который Слоняла так щедро мечет перед ним. Что восторженные всхлебы — это благодарность за холодное пиво, а

не за духовные и умственные дары. Голямин-писатель жил в мире упырей, покойников, параноиков, наркоманов, половых извращенцев, насильников, алкашей, виев и басаврюков, считая их всех простыми советскими людьми или простыми французскими людьми — в зависимости от того, на каком материале работал. И еще Слоняла знал, что Голямин его не читал — ни строчки. Бог с ним, он мог не читать его изящные эссе, путевые дневники, исполненные тонкой наблюдательности и покоряющей любви к людям, мог не читать маленькую повесть, которую сам автор полшутливо-полусерьезно называл шуткой гения, но главное его произведение — великий роман — он обязан был прочесть. Этот первый и на десятилетия единственно правдивый роман о войне вошел в плоть и кровь поколений, объединенных величайшей народной трагедией. Долгие годы роман оставался нравственным критерием, маяком истины посреди разливанного моря лжи и полуправды. Каждый человек, в первую очередь мужчина, должен был «пройти» этот роман, как армейскую службу. Но сидящий перед ним с пивной кружкой квелый, бескостный человек, который не ходил, а словно переливался в своих неглаженных штанах и мятом пиджаке, таким вялым, жидким было его крупное тело, сумел обойтись и без его романа, и без действительной военной службы. Однажды Слоняла пытался подковырнуть Голямина Хемингуэем, сказав о своем романе, что он так же обязателен для мужской души, как в пору довоенной юности — «Фиеста» и «Прощай, оружие!». Но выяснилось, что Голямин не читал этих шедевров молодого Хемингуэя и вовсе не чувствовал себя обделенным.

Беседа о том о сем, Слоняла незаметно наводил Голямина на тему своеобразия иных литературных судеб, когда человеку достаточно одного произведения, чтобы полностью выразить себя и свое отношение к жизни. Литература — все-таки тайна, которую никто не может разгадать.

— Ага, — согласился Голямин. — «Горе от ума».

— Ну, есть и другие примеры, — как-то тягуче произнес Слоняла.

— Ты имеешь в виду «Капитальный ремонт»? — удивился Голямин.

Слоняла этого не думал. Официант поставил на столик свежее пиво, и одутловатое лицо Голямина закисло выражением слезной собачьей преданности.

— Ты хоть полистал мое занудство? — небрежно спросил Слоняла. Он недавно подарил Голямину последнее издание романа с преувеличенно лестным автографом.

Голямин так радостно дернулся и клекнул по-орлиному, что отрицательный ответ своей неожиданностью пришиб Слонялу. Некоторое время он собирался с духом, потом вернулся к общим темам творчества.

— Скажи, ты постоянно чувствуешь потребность мараить бумагу или это находит внезапно, без видимой причины?

Голямин приник к кружке, показывая левой рукой, что сейчас освободится и скажет. Он выхлебал ее до дна, поставил со стуком на столик, утерся бумажной салфеткой и сказал будто на публику, а не собеседнику:

— Марашь, марашь, а что толку?.. Ни хрена не платят. Так с голоду помереть можно.

— На чистую литературу, известно, не проживешь, — согласился Слоняла. — Но, мальчик, нельзя быть таким чистоплюем в наше суровое время. Почему ты обходишь «Голос»?

— Я его обхожу? Да кто меня туда пустит? Там все забито, как в метро в час пик. Да и не умею я...

— Реникса! Что там уметь? Возьми любую книгу и раздолбай. Я тебе это устрою.

Тут ему душевно отрыгнулось: подкупаю я его, что ли? На кой мне нужно его признание? Он мне не нравится ни как писатель, ни как личность, ни как собутыльник. Но про себя Слоняла знал, что уже не сможет остановиться, пока не очарует этого никчемного человека. Обаивать, лю-



дей — как-то незаметно стало его специальностью. Он места себе не находил, ощущая чужое равнодушие, и не мытьем, так катаньем должен был привлечь к себе запертую душу.

— Придерживайся одного правила: бери лишь то, что тебя по-настоящему раздражает, злит, бесит. Сойдет любая мура, только не равнодушие, жвачка. Этого «Голос» не терпит. Вот сегодня я раздолбаю одну богоярскую липу.

— Круто! — вдруг сказал Голямин и залился дробным смехом. — Ох, круто заверчено!

— Да ты что? — растерялся Слоняла, удивленный, что этот пребывающий в нетях человек мгновенно догадался, о чем идет речь. Что это наехало на упыриного певца, он же читает лишь собственные письма?

— Чего ты там крутого нашел? — спросил он раздраженно. — Очередная советская брехня.

— Не-ет!.. — мотал кудлатой головой, чему-то радуясь, Голямин. — Круто!..

— Заладил! — все больше злился Слоняла. — Можешь ты по-человечески сказать, что ты там нашел?

— Ах как этот безногий бабу разложил!.. Нет, круто!.. — ликовал Голямин, будто обрел некое преимущество перед своим маститым собеседником, и, реализуя это странное преимущество, он уверенно призвал: — Поставь-ка, Люцианыч, еще по банке!

— Конечно поставлю, о чем речь! — торопливо сказал Слоняла. — Но ты дал себя купить на слова, на мнимость горькой правды. А это советская пропаганда — тонкая, хитрая, великолепно замаскированная и оттого особенно противная. Я тоже чуть не поддался. Караул, думаю, если они так теперь пишут, надо по шпалам назад, примите с повинной головой. А потом понял: ничего похожего нет и быть не может. Заховали этих бедолаг в такие чащи и болота, что туда и птица не залетит, не то что белые пароходы плавают со светскими ленинградскими красавицами. А скорей всего, они давно изведены втихую, эти калеки. Нет ничего ядовитее лжи со всеми атрибутами правды. Для

чего это понадобилось автору? Я знал его как порядочного малого. Мы с ним гудели в «Европейской», на лыжах ходили в Малеевке. Ты его знаешь?

Голямин отрицательно мотнул головой. Ему хотелось еще пива, да и надоел разговор о рассказе, который он случайно прочел и который ему пришелся. И то и другое случалось крайне редко, особенно второе. В ядреном калекке — герое рассказа — был дьявол, и это довлекло мистической душе Голямина.

Выслушав горячую речь Слонялы, он с ухмылкой сказал:

— Нет, круто!

Слоняла чуть не ударил его кружкой.

Он ударил его, вернее, сильно толкнул несколько позже, когда они по надоевшей, пошлой традиции загулявших на Монпарнасе русских писателей притащились к памятнику маршалу Нею. Сколько раз клялся себе Слоняла покончить с этой хемингуевинной, но, видать, слишком глубоко проникла в него отравка папой Хемом, и всякий раз, отгуляв в «Куполе», «Ротонде», «Селекте», «Клозери де Лиля», он свой путь домой, на далекую Амстердамскую улицу, где в один день закрыли сто шесть бардаков, начал от бронзового Нея в треуголке на лихом коне, столь трогавшем суровое сердце его кумира. Здесь, опять же в духе папы Хема, он сказал с мужской простотой Голямину:

— Надоел ты мне, старик. Отвяжись! — и слегка толкнул плечом.

Голямин от слабого, но неожиданного толчка скovyрнулся со своих ватных ног и упал к подножию памятника. Он неуклюже — с четверенек, — но довольно быстро поднялся и с бабьим воем кинулся на обидчика, скрючив пальцы рук — старый прием деревенских драк, которым разрывают у противника рот. Тут сработала какая-то автоматическая память, Голямин родился в семье московских потомственных интеллигентов, чьи предки сводили счета, лишь подставляя грудь под пулю обидчика. На счастье Слонялы,

эта память подсказала Голямину лишь прием, но не способ исполнения. Слоняла легко отклонился и разбил Голямину нос. Последующий короткий бой прошел при полном его преимуществе. Потом он отвез на такси обмякшего и безутешно плачущего желтыми пивными слезами сюрреалиста к какому-то его приятелю в Бобиньи, а сам отправился на студию.

Драка скинула с него весь хмель и очень подняла в собственных глазах. Как-никак он был на двадцать лет старше Голямина, а уложил его в духе Филиппа из «Пятой колонны» или Роберта Джордана — «По ком звонит колокол». Чуть смущал, но больше удивлял небольшой фингал под левым глазом, ведь Голямин так и не дотянулся до него. Не беда, он выступает по радио, а не по телевидению. Слоняла был собран, сосредоточен, как-то пронзительно зол — до ярости, и раздела под орех изошренную советскую фигию. «Сегодня ты был хорош!» — восхитился редактор, считавший, что Слоняла выдохся.

Вот почему эта передача произвела такое сильное впечатление на сотрудников Серого дома. Если б это касалось вымышленного острова Богояр!.. Но прообразом его был остров Валаам, который населяли живые души, заключенные в обрубленные, искалеченные, беспомощные тела... Впрочем, как оказалось, не столь уж беспомощные...

...Когда мне передали эту тетрадку: грязную, замызганную, с порванными страницами, исписанную какой-то клинописью, я думал, что из нее ничего не извлечешь. Мне не удалось разобрать даже одного абзаца целиком, да и в прочитанных словах я не был уверен. Но потом мне порекомендовали одного пенсионного старичка, проживающего в Бескудникове, он, мол, разберется. Нет для меня в Москве тревожнее и неприятнее места, чем Бескудниково, а почему, не знаю. Быть может, моя тайная душа ведает причину странной неприязни с оттенком страха, которую вызывает у меня это место, ничем не отличающееся от других московских окраин. Иногда мне кажется, что в Бескудникове

затаилась главная и последняя беда моей жизни. А что за беда? Смерть? Нет, я исповедую веру Гете, что смерть — красивейший символ Творца. Ладно, чему быть, тому не миновать. По странному психологическому выверту грозное бескудниковское клеймо на старичке-специалисте мгновенно уверило меня, что осечки не будет.

Жил этот старичок в собственном крошечном домике под сиренями, чудом сохранившемся у подножия громадного новостроечного массива. Он оказался таким же невсамделишным, как и его игрушечное жилье. Скрюченный костной болезнью, с головкой набок и косым взглядом снизу вверх, он щеголял в оранжевой байковой рубашке и коричневых вельветовых брюках, державшихся на широких помочах жар-птичьей яркости. Он смотрел снизу, этот щеголь, но взгляд его был свысока, долгая жизнь приучила его к сознанию своего превосходства над окружающими. Едва глянув на рукопись, он ехидненько, с ужимочками, принялся объяснять мне, что я пришел не по адресу: он графолог, его интересует почерк — ключ к человеческому характеру, а мне нужен текст. Со всевозможным смирением я заверил его, что мне все известно о его великом искусстве, но я знаю также, что лишь он один способен прочесть любой невнятный почерк. А уж хуже почерка и представить себе нельзя.

— Это писал безрукий, — сказал старичок.

— ?!

— Он привязывал карандаш к культе или, скорее, вставлял его в клешню.

— ?!

— В расщеп лучевой кости. После войны таких калек было навалом. У рынков, церквей, на людных перекрестках. Неужели вы не видели?

— Видел. Наверное, вы правы. Тетрадка — из инвалидного убежища.

— Полагаю, это весьма любопытное сочинение! — захихикал старичок, являя завидную независимость душев-

ного состояния от скорбных обстоятельств внешнего бытия...

Работу он выполнил точно в срок. Машинкой старичок не пользовался, да в том и не было нужды, рукопись калекки была переписана каллиграфическим, на редкость красивым почерком.

— Графологу тут нечего делать, — заметил он небрежно. — Характер автора записок ясен без расшифровки. К сожалению, тут много пропусков, текст местами начисто размыт или стерт. Все, что можно восстановить, я восстановил.

Я поблагодарил, расплатился и с легкой душой покинул Бескудниково, отложившее на будущее расправу со мной...

Вот эта рукопись с некоторыми сокращениями. Почему я не дал ее целиком? Автор порой превращается из летописца в беллетриста и злоупотребляет пейзажной живописью, тяготившей у классиков и вовсе невыносимой у дилетантов. Он интересен всюду, где говорит по делу. Жалко, что многое не сохранилось. Писавший — человек интеллигентный, хотя и не чужд того неперменного фольклора, которым отличается каждое мужское сообщество, будь то армия, закрытые учебные заведения, тюрьма, лагерь или инвалидные дома. Впрочем, ныне это стало хорошим тоном у отечественной интеллигенции. В нем причудливо сочетается взрослая пронизательность, порой тонкость с детскостью, каким-то наивным захлебом. А ведь писал это пожилой человек, участник Отечественной войны. Когда я был на острове калек, меня поразили их моложавый вид, а один «самовар» выглядел почти юношей, хотя ему было далеко за пятьдесят. Кстати, он отличался и некоторым психическим инфантилизмом. Быть может, тут играют роль изолированность, выключенность из социальной жизни, однообразие, необновляемость существования, некая психическая остановка, постигшая обитателей убежища. Впрочем, стоит ли вторгаться в эту серьезную больную сферу беллетристическим пустомыслием?.. Вот эти записки.

...Прошел месяц с тех пор, как нас перестали пускать на пристань. Пашика оказался пророком. Когда этот парижский мудозвон объявил по «Голосам», что нашего убежища не существует, Пашика сразу сказал: теперь начальство спохватится и нас отсюда попрут. Пока еще не поперли, но первый шаг сделали — заперли нас в монастыре. В дни, когда приходят пароходы: по субботам и воскресеньям, ворота на запоре. А со вчерашнего дня и среда стала запретной: какой-то пароход заходит с Онеги. До чего же это подло! Неужто мы так страшны и отвратительны, что нормальным людям на нас и глядеть тошно? Ведь мы такие же, как они, только искалеченные. У нас почти все инвалиды войны, изуродованных на производстве раз-два, и обчелся. В газетах орут: герои, защитники Родины! А героев держат как арестантов, за ворота выйти нельзя. А ведь за все годы о нас не вспомнили ни разу. Хоть бы в День Победы помянули. Нет, с глаз долой — из сердца вон. Да, по правде говоря, нам это и не нужно. Никакой болтовней рук и ног нам не вернешь. И жизни, ахнувшей в никуда, не вернешь. И близких, и друзей, которых мы потеряли, тоже не вернешь. Почти все пришли сюда добровольно, мало от кого семьи отказались, да ведь добровольчество это вынужденное — неохота обременять, неохота быть укором тем, кто все сохранил. Правильно о нас сказано: мы отдали войне больше чем жизнь. Если же в литературе вспоминали о таких, как мы, то лучше б этого не делали. Мутит от сладких соплей. Читал я в «Известиях» об одном безруком, как он ухожен и обихожен, как из рук жены ест и съит, каким уважением у окружающих пользуется. До чего же хорошо у нас безрукому, куда лучше, чем с руками. А еще лучше, если еще и без ног, тогда полный кайф. А я что-то особого счастья не замечаю, хотя и других богаче: у меня от всех конечностей клешня осталась, как у рака. И я ею много могу.

Хуже потери рук ничего нет. Без ног человек — человек, без рук — чурка. Даже если он на ногах. Я свою клеш-

ню за две ноги не отдам. Я сам и поссать, и посрать могу, и даже подтереться. Мне Пашка сделал такой крюк, чтоб подцепить газету, и я им как миленький обхожусь. Нормальные не знают, что из всех потерь безрукого человека самая отвратительная — невозможность самому справиться нужду. Тут всякий раз в тебе что-то умирает. Пусть наши санитарки старухи и страхолюдки, а все равно женщины. И что же чувствует живой мужик, а мы все нормальные мужики, когда баба лезет тебе в штаны и ты из ее рук поливаешь, как младенца!.. А уж задницу тебе никто не подотрет, так и ходишь обосранный, вонючий до самого душа — раз в неделю. А бывает месяцами душа нет: то трубы засорились, то горячая не идет. От грязи опускается человек. Если б не Пашка, мы давно погибли от грязи. Эти стервы его боятся. Он никогда не орет, вообще редко повышает голос, но они знают, что он может врезаться. К тому же Пашка не расстаётся с ножом. У Пашки боевое прошлое не только по фронту. Уже в мирные дни он оказался в очень серьезной компании. Подробности я не знаю, но перо там считалось самым веским аргументом.

Любопытный человек этот Пашка. Он наш коновод. Он, можно сказать, официально признан старостой колонии, хотя такого звания нет. Персонал потому и считается с Пашкой, что он — гарантия их покоя. Наша увечная команда при всей беспомощности опасновата. Если попадет вожжа под хвост, мы черепушками своими будем громить стены. У нас и рукастых мужиков достаточно. Нервишки у большинства ни к черту, и страшно представить, что будет, если такая брашка сорвется с цепи. А Пашка всегда на стрёме. Он не начальству служит, а нас оберегает. Он запретил нам называть друг друга по именам, тем более в пренебрежительной форме, а сам остался для всех Пашкой, именно Пашкой, а не Пашей. И в этом уважение, больше — обожание, каждый как бы утверждает свою близость с ним и вроде подчеркивает его ответственность перед обществом. ....

.....  
Общество!.. Надо видеть это общество по утрам, когда одурелые от тяжелой, беспокойной ночи (мы все плохо спим, нам снится один и тот же сон, как нас разрывает на куски) возвращаются в явь, в свое несчастье.....  
.....

...Пашка сделал мне кучу полезных вещей, ложку с длинным черенком, я ею и суп хлебаю, и кашу наворачиваю, крючок — задирает и опускает рубашку, портлок на мне нет — я прямо с постели сигаю в кожаный футляр; сделал он мне кружечку удобную алюминиевую, я насаживаю ручку на один «палец» и пью чай не обливаясь. Сделал множество мелочей, чтобы я мог сам причесываться, бриться, чесаться и мух отгонять. А главное, он соорудил мне тележку на подшипниках и костыль — от земли отпихиваться. До пристани я, правда, сам не доползал, только с чьей-нибудь помощью, но по двору таскаюсь и до леса добираюсь и к озеру. Ну, это близко, прямо за стенами монастыря.....  
.....

...Вчера разыгрался страшный скандал. Была суббота, и ворота закрыли на замок. Пашка замок сбил, с ним ушли трое, у этих были коммерческие соображения: бывший стрелок-радист Михаил Михайлович вытаскивает трубки и мундштуки, минер Алексей Иванович мастерит елочные игрушки из сосновых шишек, а танкист Леонид Борисович выносит на продажу дары леса: грибы, ягоды; лекарственные травы. На вырученные деньги покупают водку. Пашка раньше тоже подторговывал корешками, похожими на людей и животных, но потом бросил. Его тянет к пароходам другое. Это романтическая история. Он встретил на пристани любовь своих юношеских лет. О них рассказ был напечатан. Я его не читал, но знаю от ребят. В рассказе этом женщина гибнет, она кинулась с парохода в озеро, чтобы доплыть до Пашки. Ребята говорят, что Пашка этому не верит. Там вообще много наврано и про смерть — тоже. Во всяком



случае, Пашка ждет, что она придет опять, и ходит встречать ее к каждому пароходу. Болтают, что у Пашки с ней любовь произошла прямо на берегу, в леске, возле пристани. Но когда Пашку стали пытаться на этот счет, он заткнул любопытным хлебало.

Ясное дело, что для Пашки запрещение ходить на пристань — нож в сердце. Вот он и ушел, а ребята за ним. Конечно, администрация подняла шум. Пашка сказал, что как он ходил, так и будет ходить, и пусть они заткнутся.

В воскресенье к запертым воротам приставили старика с берданкой. Пашка ружье у него отобрал и ушел. За ним никто не увязался, чтобы не накалять атмосферу. Вечером Пашку вызвали к начальнику колонии, который считается главврачом, хотя никого не лечит. Разговора у них, видимо, не получилось. Берданку Пашка не вернул и еще показал врачу хорошо заточенный нож.

Вечером, когда ложились спать, ребята спросили Пашку: неужели ты старика резать будешь? «Какого старика, — сказал Пашка. — Там будут мужички посерьезней...»

...Пашка не ошибся: прислали трех амбалов, похоже, из лагерной вохры, на возрасте, но здоровенных. И уже не с ружьями, а с «макаркой» в кобуре.

В субботу Пашка, как всегда, побрился, погладил гимнастерку, сменил подворотничок, засупонился, сунул под ремень нож и поковылял на своих «утюжках» к воротам. А за ним Василий Васильевич — на тележке. Одной рукой отталкивается, а другой берданку сжимает. Он снайпером был: всего двух фрицев ему до Героя не хватило. Василий Васильевич, подвыпив, шутит, что отдал бы своих фрицев в ГДР в придачу за одну ногу. Вся наша колония высыпала во двор, и «самоваров» вынесли.

Пашка добрался до ворот и велел охраннику отпереть. Тот даже не ответил. Пашка сказал Василию Васильевичу:

— Я его сейчас сниму. Если что пойдет не так, разнеси ему бабку.

— Есть разнести башку! — весело отозвался снайпер и приложил берданку к плечу.

— Ты его приплюсуешь к счету, — сказал Пашка. — Он хоть из наших, но мордаа у него фашистская.

Пашка оперся об «утюжки» и подбросил себя вплотную к охраннику. Тот вынул пистолет. Пашка кинулся вперед, головой ударил охранника в живот и повалил. Пистолет выпал из руки. Пашка подобрал «макарку» и кинул Василию Васильевичу. Снайпер ткнул охраннику пистолет под мышку.

— Не бойся, — говорит, — убить не убью, только покалечу.

Вохровец налился кровью, но заводиться не стал и швырнул Пашке ключи от ворот. Он не струсил, просто признал свое поражение.

— Ну вас на хрен. Я с увечными не дерусь. Верните пистолет и валитесь хоть всей шарагой к ядерной фене.

— Отпусти его, — сказал Пашка. — Пистолет не отдавай. Если что — стреляй в ноги.

И заковылял на пристань...

(Тут в записях пропуск, но связь в изложении не теряется.)

...жуткий кавардак. В отсутствие Пашки приходил главврач и вся наша ведущая медицина. Интересно, что равенства нигде нет. Даже у нас существует расслоение, которое искусственно поддерживается начальством. Они хоть и врачи, а все равно начальство со своей административной жестокостью и глупостью. Аристократия у нас — это безногие, но с руками, с ними считаются, советуются, им дана наибольшая свобода. Средний слой — у кого сохранилась одна рука, а в самом низу — «самовары». Они совсем беспомощны, только и умеют — плакать и плевать. У меня положение крайне двусмысленное. Им очень хотелось бы числить меня в «самоварах». Но позвольте, господа, своим расщепом я владею виртуозно, да, виртуозно! Я сам ем, немного передвигаюсь, делаю вот

эти записи, хожу в сортир без провожатого. Есть ли хоть малейшее основание зачислять меня в «самовары»? Я ничего против них не имею, боже избави, это самые, самые несчастные на земле люди, именно люди, а не «самовары», как их заглазно называют. Они должны иметь право голоса во всех делах. Но стоит ли говорить об этом, если даже меня стараются оттереть от общественной жизни. Я, конечно, умею качать права, и Пашка не дает меня в обиду, а его слово — закон. Но сейчас Пашки не было, и меня не позвали на собеседование. Ладно начальство, на то оно и начальство, чтобы хамить, но наши-то хороши!.. Черт с ними со всеми, важно остаться самим собой. Я веду дневник, а рукастые наши молодцы, поди, и писать разучились. У нас никто не пишет и не получает писем. Пусть мы добровольно ушли сюда, порвали с близкими, но ведь они где-то остались. Не пишут. Адреса не знают. Да если захочешь, неужели не узнаешь адрес? У нас был «самовар» Леша, так к нему мать-старуха из Сибири добралась, из самой глухомани. Неграмотная, темная крестьянка вышла искать сына и через двадцать лет нашла его на этом острове. И осталась здесь до самой своей смерти. Таскала его на спине к пароходам, ставила на скамейку, вставляла сигарету в зубы, он дымил, улыбался, ловил кайф. После ее смерти Пашка стал таскать его на пристань. Леша тоже помер с месяц назад; и когда лежал в гробу, то выглядел подростком. Наверное, есть медицинская причина этой странной молоджавости обрубков, будто какая-то физиологическая остановка у них произошла. Вот это еще одно доказательство, что я не «самовар». Мне только очень скупой не даст моих пятидесяти восьми. Но если люди не хотят, им ничего не докажешь.

Я не стал навязываться и пошел на свое любимое место за сараями. Сейчас впервые обратил внимание на это «пошел». Да, так каждый из нас, кто может передвигаться, говорит и думает о себе: «я пошел», «надо сходить». Видел бы кто это «пошел», когда, отталкиваясь дрыном,

отчего колеса моей тележки заносит то вправо, то влево, как нос у лодки, если гребешь одним веслом, я тащусь по неровностям почвы, через колдобины, ямы, заросли лопухов, репьев, крапивы, какого-то низкорослого цепкого кустарника к своему заветному месту. А сколько у нас таких, для кого и это недоступное счастье!

Добрался я туда и так обрадовался, как никогда в жизни. Монастырская стена дала тут здоровую трещину, и видно озеро далеко-далеко, и островки, и чаек, и рыбацкие лодки, а бывает, и парусники, и буксиры с баржами, а по выходным дням можно увидеть пароход, возвращающийся в Ленинград, и людей на палубе.

Есть такое заболевание: боязнь запертых помещений, всякой тесноты и темноты, и вообще безвыходности. Оказывается, все монастырское подворье, если не можешь за него выйти, становится мало, тесно до задыха. А всего острова достаточно? Может, и недостаточно, потому и тащимся мы на пристань, где пароходы, а с ними весь огромный мир. Приятно на людей с воли глядеть и почему-то ничуть не завидно. А ведь должно быть завидно, до слез завидно. Но чего нет, того нет. Хорошо на них смотреть, и грустно, и весело — хорошо. Нет, нельзя было этого у нас отнимать, не по-людски с нами обоились. И не верю я, что мы так непереносимо ужасны приедем, иначе б они сюда не ездили, а ведь валом валят.

За щелью в стене — простор. Сколько воды, сколько неба, воздуха!.. Жаль, вылезти наружу нельзя, тут отвесный обрыв прямо в воду. Прежде чем утонешь, насмерть разобьешься. Что ж, тоже выход. Но такая мысль сроду не приходила в голову. За все время у нас никто не покончил самоубийством. Здоровые, полноценные люди вешаются, стреляются, травятся, бросаются из окон, а наш брат так вцепился в эту пародию на жизнь, не оторвать. А как покончить с собой «самовару»? Я вот могу броситься в озеро, а что делать им, бедным? Только с чужой помощью, да ведь никто не станет помогать. Но они и

не просят. Сроду не слышал, чтобы «самовар» о смерти заговорил. Может, в них пламя жизни пригашено? Живут в полусне, полусознании, как под наркозом.

Что-то не удалось мне настроиться на обычный лад. Я когда прихожу сюда, редко о чем думаю, только смотрю на воду, на облака, на чаек, и что-то во мне происходит, чего словами не выразишь. Какие-то мечты о прошлом. И Таня является, и мама, и отец, и сестра, все то коротенькое, что было моей жизнью. Только все горячее, пронзительнее, чем на самом деле.

Таня пришла к нам в третий класс, и я сразу начал за ней «гоняться», так называлось у школьников ухаживание: задевал, бил по спине, дергал за косички. Как положено, это заметили и стали нас дразнить: «Таня + Коля = любовь» — обычные школьные глупости. Таня всегда соответствовала своему возрасту, как будто не жила по настоящему, а играла — в десятилетнюю, в шестнадцатилетнюю, в восемнадцатилетнюю. И мне всегда отпущалось по возрасту: сперва тащиться за ней из школы до дома по другой стороне улицы, потом приглашать на каток, потом весьма целомудренно обжиматься в подъезде, потом поцелуи — только не в губы; когда же я уходил в армию, она подарила мне свои груди. Это так и осталось пиком моей мужской жизни. У меня еще было несколько месяцев, чтобы стать мужчиной, но мне и в голову не пришло, я думал только о Тане, отложив все на после войны. Потом было минное поле и госпиталя два с лишним года, где меня все подкорачивали и подкорачивали. Оклемався я в ту жизнь, где ни Таня, ни другие женщины стали мне не нужны. Конечно, я думал о Тане, особенно вернувшись домой. И мысли о ней меня трогали, волновали, но не возбуждали. Может, это самозащита организма? Не хватало еще, ко всем прочим удовольствиям, мучиться из-за баб. Пока были живы родители и я оставался дома, Таня не только не пыталась увидеть меня, но хотя бы весточку послать, слово доброе передать. Или это

действительно свыше человеческих сил — иметь хоть какой-то контакт с обрубком? Но ведь изнутри, для себя, я вовсе не обрубок, я такой же, как был. Душу-то мне не обрубали, я цельный, или это мне только кажется?

А кем я был для своих родителей? Мать меня чуть ли не облизывала, но, по-моему, у нее слегка пошла крыша. Я стал для нее бебешкой, младенцем, несмышленышем. Она все время умилялась: жрать захочу — умиляется, в уборную — умиляется, какую глупость ни ляпну — восторг со слезами. Уставал я от нее. Поведение отца мне больше нравилось. Он производил впечатление человека глубоко обиженного. Словно его обвели вокруг пальца, как последнего дурня. Еще бы: взяли сына, молодого, здорового, ладного, многообещающего, а вернули черт знает что, какую-то запятую. Он обиделся не на судьбу, государство, армию или Гитлера, а на меня. Зачем я позволил так себя изувечить. Это казалось ему легкомыслием, безответственностью, распущенностью. Он был строгих правил, страшно уважал себя, свою работу, высокое звание кандидата географических наук, трехкомнатную квартиру, которую ему каким-то чудом удалось получить, орден Знак Почета, свою жену — мою мать — за дородность и умение вкусно готовить, уважал нас с сестрой — круглые отличники, уважал даже белого голубоглазого и, как положено, глухого кота; о глухоте он не догадывался, иначе отказал бы ему в уважении. Он почти не обращался ко мне, даже не смотрел в мою сторону. Иногда отрывисто напоминал, что мне следует похлопотать о какой-то награде. Ему серьезно казалось, что бляха на груди частично компенсирует причиненный ущерб. А может, это говорило в нем законопослушание: раз тебе полагается, должен получить. Однажды я не выдержал и сказал: «Оставь меня в покое. Зачем мне это дерьмо?» Он весь затрясся: «Ты совершил подвиг, ты заслужил!» — «Какой, говорю, подвиг? Кретин-лейтенант завел нас на минное поле». Он сжал губы и вышел из комнаты. Кажется, за-

плакал. Похоже, у него тоже поехала крыша. А мать квохтала от восторга, как наседка, что я его срезал. Но вот уж у кого точно поехала крыша, так это у сестры. Она меня боялась. Особенно когда я обзавелся клеиной. Ради сестры я отказался от совместных обедов и ужинов, сказав, что мне это трудно. И мне стали носить в комнату. Сестра даже подруг никогда не приглашала, боялась, что на меня наткнутся. Правда, она приносила мне книги из библиотеки. Я прочел всего Диккенса, Бальзака, Стендаля, Гюго, Дюма, всю русскую классику, времени у меня хватало. Когда родители умерли один за другим от каких-то нестрашных болезней, я сразу наладился в убежище. Бедная сестра даже из приличия не предложила мне остаться. Боялась, вдруг я приму это всерьез. Да если б она на коленях молила меня остаться, я все равно бы ушел. У меня от них всех тоже крыша поехала. Из всей семьи единственно нормальным остался кот Генрих, хотя и глухой, и со странностями. Он весь день дрых, в восемь начинал душераздирающе орать и уходил на крышу. Возвращался ровно через двенадцать часов, минута в минуту, с теми же воплями. Что-то жрал и заваливался спать.

О Генрихе я жалею — теплая, пушистая, естественная скотина, о всех остальных нет. Они не выдержали экзамена, каждый на свой лад. А матери вообще не должны отпускать сыновей на войну. Родила — так и отвечай за свою плоть и кровь. Ложись на рельсы, кидайся сиськами против танков, сжигай себя на площади. Если б все матери сговорились, а не разводили сырость, не стало бы войны. Пусть вожди, как в старину, решают свои распри в единоборстве. Гитлер в весе петуха против Сталина в весе крысы. Сразу бы поубавилось пыла. Чужой кровью, чужим мясом и костями легко геройствовать, а собственную залупу ой-ей-ей как жалко!

До чего же паршиво мне было дома, если, приехав сюда и привыкнув довольно быстро к грязи, вони, плохой пище, хамству персонала, грубости отношений, не исключаяю-

*щей душевности, даже тонкости, я очухался от своей омороченности и почувствовал движение жизни. Кстати, если кому-нибудь слишком воняет, могу дать совет: добавьте к общему букету свою струю, разом привыкнете...*

*Я стоял у разлома стены, смотрел на озеро и чувствовал, что не просто привязался к этому месту, а полюбил его. Эту воду, то белесую, то свинцовую, то изжелта-серую и редко голубую, это низкое тяжелое небо, крики крупных клювастых чаек, запах сосен, сырые темные кирпичи монастырской ограды.*

*Справа, на крутом откосе берега росли голубые, желтые, розовые цветы, я не знал их названий, кроме колокольчиков. Меня это удивило: прожить тут четверть века и не знать имен тех, кто тебя окружает. Они всегда одни и те же, из года в год, только порой бывает больше колокольчиков, порой — розовых на длинной клейкой ножке; иногда все глушит желтое, иногда его забивает синь и фиолетовое. Я дал себе слово узнать их всех поименно. Откуда возникла такая срочная необходимость? Я не допускал, вопреки Пашкиным словам, что нас отсюда прогонят. Только подумал — и сразу вернулось то, от чего я, казалось, давно избавился: бабьи слезы, рыдания и — башкой о стену...*

*Пока я отсутствовал, произошли важные дела. Главврач сообщил, что заперли нас не по его инициативе, а по указанию сверху. Медицина установила, что каждый наш поход на пристань приводит к стрессу, разрушающему нервную систему. Вот как, а мы-то, дураки, не поняли, что все делается для нашей же пользы. Впрочем, чему тут удивляться: руководство всегда заботится о благе народа, а мы — самая драгоценная его частица, нас надо оберегать, холить и лелеять. Тут Василий Васильевич, бывший снайпер, сказал: «Коль мы и впрямь такая ценность, то нельзя ли сортиры почистить, иначе к стульчаку не пробраться». Главврач заверил, что будет сделано, и спросил, есть ли еще какие требования. К его глубо-*



кому удивлению, требования оказались. А он-то думал, что создал здесь земной рай. Дальше пошло, как на сходке, все орали, ругались, никто никого не слушал, и главврач тщетно призывал высокое собрание к порядку и гражданской сознательности. Спустили пары, подуспокоились, и главврач сказал, что ворота откроют, мы сможем, как прежде, ходить куда пожелаем, кроме субботы и воскресенья, ибо последнее нам вредно. Но кончится туристский сезон, и все ограничения сразу отменяют. Под наше честное воинское слово он готов снять охрану, если, конечно, мы можем поручиться за тех товарищей, которые не обладают достаточной выдержкой. Тут все поняли, что он метит в Пашку, и Михаил Михайлович, стрелок-радист, заявил, что Пашка должен ходить на пристань по выходным дням. Главврач и вся его команда — на дыбы, с какой стати делать для него исключение? И тут же предложили взять на себя сбыт нашей ремесленной продукции, продажу грибов и ягод, а также доставку спиртного. «Хватит жлобства, — сказал Василий Васильевич. — Вы прекрасно знаете, зачем Пашка к парходам ходит». Тут переговоры сильно заклинило, наши стали насмерть. В конце концов персонал уступил: мы возвращаем пистолет и берданку, а Пашка будет ходить на пристань. Наши расценили это как великую победу, но потом вернулся Пашка и всех раздолбал.

Зря мы из-за него слабину дали и разоружились зря. Это первый шаг к превращению инвалидного дома в тюрьму. Нам отвели Богояр как пристанище и убежище. Тут было пусто — чаща, гниль и развалины. Мы обжили эту землю, все уголки нами разведаны, все тропинки нашими задницами промяты, сам воздух нашим дыханием согрет. Тут все, чем мы владеем, это наши сосны, березы, лозняк, наши моховики и брусника. У нас нет ни дома, ни семьи, ни имущества, ни города, ни страны, ничего у нас нет, кроме этого клочка земли посреди пустынного озера. Но задумали и этого нас лишить. Если мы так страшны и

ужасны для чужого глаза, какого хрена возить сюда туристов, есть много других прекрасных и доступных мест, не населенных такими вот изгоями, а нас оставьте в покое. Хоть это мы заслужили за свое увечье, за свою загубленную жизнь. Но зря они мутят воду: никто из приезжих от нас не шарахался, напротив, каждый старался высказать свое уважение и понимание. Это «Голоса» недоумили боданую власть, что мы страшнее чумы и надо нас изолировать. Небось иностранцев ждут, мать их в печень, а мы погано выгладим на взыскательный заграничный взгляд. У них инвалиды в креслах-колясках разбезджают, фланелевые костюмы носят и разноцветные карточки для пуцего веселья. А мы без порток, гимнастерки старые испревише донашиваем и елозим на задницах. Гнать таких к ядреной фене, чтоб не портили пейзаж!..

И когда Пашка это брякнул, тут такое началось!.. На него чуть с кулаками не полезли, словно он задумал выселение. Пашка дал всем отораться, потом снова заговорил:

— Вы горлопаните: не посмеют, не посмеют! Откуда такая уверенность? Вас что, никогда не обманывали? Святые люди, недаром в монастыре живете. Еще как посмеют-то, глазом не моргнут. Они на цельных людей плевать хотели, а тут какие-то обрубки, кочерыжки. Богояр для чистой публики, а не для таких, как мы.

— А что же делать-то? Что мы можем против них?

Это сказал жалким, беспомощным голосом Михаил Михайлович — один из наших заводил, сильный и громкий мужик.

— Ничего не можем, — подхватил Пашка, — и все можем. Будем молчать и ждать, нам кранты. Главврач — пешка, всполошились верхние начальники. О нас услышали за бугром, и сразу у них в портках намокло. Ничего на свете не боятся, мудрят, изголяются над людьми как хоятят, а душонки-то заячьи. Стало быть, есть мир вокруг и есть, мать его, человечество. И приходится с этим счи-

*таться, хотя, как положено у них, по-уродливому. Надо обратить на пользу, что нам на пагубу задумано. Пусть знают, что мы не бессловесная скотина, что у нас есть глотка. Мы можем гаркнуть на весь свет. Это единственное, чего они боятся. Но начинать надо, конечно, со своих.*

*Решили написать письмо нашей администрации, а копию послать в Москву на самый верх. Пашка не должен отказываться от своей привилегии ходить на пристань по выходным, это облегчит связь с Большой землей. Лучшее посылать письма с оказией, чем через нашу ненадежную почту.*

*И, не откладывая дела в долгий ящик, мы сели писать «письмо турецкому султану», как выразился Василий Васильевич.*

*Тут обнаружилась одна неожиданная странность: Пашка, умница, говорун, прирожденный вожак, оказался беспомощен в письменной речи. Он смущенно оправдывался: «Я, братицы, технарь до мозга костей. На литературу сроду не косил да и писем не писал, тем паче по начальству». И другие наши лидеры застеснялись. Тут настал мой час. «Повезло вам, говорю, ребята, есть среди вас словесник. Подкидывайте мысли, я все сформулирую». Все обрадовались, лишь Алексей Иванович, минер, ляпнул бестактность: «Диктуй, я буду записывать. Много ты своей куриной лапой наковыряешь, а у меня почерк писарский, я в минеры по ошибке попал». Конечно, я внимания не обратил на его хамство, подвинул лист бумаги и зацемил шариковую ручку в пальцах. Пришлось Алексею Ивановичу поджидать, пока я «куриной лапой наковыряю» что нужно.*

*О своей обиде я вскоре забыл, до того у нас здорово пошло. И впрямь, как у Репина: и хохот, и крепкое словцо, и остроты, будь здоров! Василий Васильевич снял гимнастерку и стал вовсе как тот полуголый казак, что слева на картине, ему другой казак кулак меж лопаток влетил от восторга. Мы долго резвились и хулиганили, пока Паш-*

ка не призвал нас к порядку. Казалось бы, чего тут радоваться? Нас заперли, как зверей в зоопарке, впереди тоже не светит, а мы ржем, орем, выпендриваемся друг перед другом. Наверное, это потому, что мы занялись общим делом, начали что-то вместе отстаивать. Такого сроду не бывало. Каждый мучился сам по себе, каждый спасался сам по себе. Странно, у нас немало выпивающих, но никогда не бывало общего застолья, даже в День Победы. Этот день и вообще у нас тускло проходит. Не сияет нам золото победы, хотя в ней и наша доля. Но для нас у нее ничего нет. За праздничным столом нам не нашлось места. Ну и упивайтесь своей победой, разыскивайте старых фронтовых друзей, вешайте на веточках имена с номерами частей, наш день — двадцать второе июня, когда нам вынесли приговор. Мы всегда плохо спим, но что мы вытворяем в последнюю ночь перед войной, передать невозможно. Мы не кричим, а воем, не плачем, а истерически рыдаем, взываем к Богу, кроем в Бога, в душу, в мать, по-детски лепечем, умоляем, лаем, мычим, блеем, не палата, а скотный двор. Просыпаемся от своего и чужого крика, но никогда об этом не говорим. Наоборот, напускаем на себя постылый вид и степенно, фальшиво-истово вспоминаем минувшие битвы. Ох уж эти битвы!.. Как красиво на них ранят и калечат!.. Я как-то раз сказал, что подорваться по-дурацки на своем же минном поле, так на меня наорали: заткнись! Нечего шути из себя корчить!..

Любопытно: никто не получил награды за свой последний бой. Тут дело двоякого рода: далеко не все превратились в калек так героично, как вспоминается сейчас, и другое — начальству не хотелось возиться с обрубками, тратить на них благородный металл наград. Сколько в этом цинизма и холода!.. Но вот еще о чем надо сказать: кроме больного дня начала войны, никто у нас не болтает о подвигах, тем паче о наградах. Разве что над Василием Васильевичем иной раз подсмеиваются: не добрал двух фрицев для круглого геройского счета.

Ладно, что-то далеко занесло меня от «письма турецкому султану». Мы потратили на него куда больше времени, чем надобно, наслаждаясь своим единодушием, гражданской доблестью, остроумием и виртуозным матом. Это была жизнь, а не бесцельное прозябание, и мы как-то забыли о цели наших усилий. Вернул нас на землю, как уже сказано, Пашка. Он стал выкладывать тезисы письма, и до того четко, что я усомнился, действительно ли он не мог написать это письмо без нашей — в частности моей — помощи. Наверное, Пашке хотелось всех нас втянуть в дело. Так или иначе, мне лишь раз-другой удалось расцветить его железные формулировки хорошим эпитетом или деепричастным оборотом. Пашка высоко оценил мои скромные труды, ребята одобрили текст, после чего мы пошли к «самоварам». Разбудили их, поставили на койках стоймя, Пашка объяснил ситуацию и зачитал письмо. «Самовары» единодушно приняли текст, а старший среди них — артиллерия — Егор Матвеевич предложил создать стачечный комитет и подписать письмо его именем. Предложение было принято. В комитет вошли: Пашка, Василий Васильевич, Михаил Михайлович, Николай Сергеевич, то есть я, Егор Матвеевич и Аркадий Петрович — тоже «самовар» — пехотинец.

У Пашки был многолетний роман с одной чистой женщиной из обслуживающего персонала, прачкой Дарьей Лукиничной, через нее письмо передали главврачу, а в Москву его отправит в следующую субботу Пашка...

...У нас происходят непонятные дела. От всех переживаний я плохо спал ночью: часто просыпался, потом задремывал вполглаза, потом впал в какое-то странное полубессознательное состояние: не то сон смотришь, не то явь прикидывается сном. В этом полубреду мне мерещилась бурная ночная деятельность. Пашка, Василий Васильевич, Михаил Михайлович, Алексей Иванович и еще трое-четверо «мобильных» шушукались, колобродили, уходили, приходили, потом вовсе исчезли. Когда я снова проснулся,

они были в палате, но не ложились, опять шебуришали сердитыми голосами. Я решил присоединиться к ним, как-никак я член стачечного комитета, но тут меня будто молотком по затылку ударили, и я враз отключился.

Утром я потребовал у Пашки отчета. Он все мне рассказал, но просил до времени об этом не распространяться и даже не записывать — он знает, что я веду хронику нашей жизни, надо быть крайне осторожными...

.....

Ответа на письмо мы не получили. Главврач даже отказался разговаривать с нами. Пашку, как и обещано было, выпустили за ворота, и он доверил наше послание одному из пассажиров, ленинградскому инженеру, показавшемуся ему человеком надежным. Сам он вернулся нагруженный, как поездной носильщик. В основном бутылками с водкой и консервами. А еще принес конфеты-лигушки, печенье, сахар, много махорки. У нас же с понедельника, когда открыли ворота, началась заготовительная кампания: собираем и сушим грибы, консервируем ягоды. Каждую ночь совершаем набег на огороды обслуживающего персонала, а женщины наших орлов доставляют нам тайком хлеб, крупы, картошку. Мы готовимся к осаде, похоже, что она не заставит себя ждать. Вохровицы, с которыми у нас была стычка, отмылили, зато прибыли какие-то очень внушительные пареньки, все на одно лицо: белоглазые, с квадратными челюстями и крепкими шеями. Они к нам не приближаются, но мы постоянно чувствуем их наблюдающей глаз. В остальном наша жизнь не изменилась, все остается по-прежнему: и кормят, и поят, и уколы делают, и лекарства дают, и в палатах убирают, и горшки подставляют. Врачи, правда, реже заглядывают и держатся строго официально. И остальной персонал замкнулся, даже санитары и уборщицы, с которыми у нас всегда были грубо-доверительные отношения. Или им строго-настрого запретили вступать в разговор, или они сами не хотят волновать нас непроверенными слухами. Но поведение их подозрительно...

...Теперь мне самому понятно, зачем мы играли с собой в неизвестность. Ведь Пашка с самого начала сказал, что нас ждет. То ли это было слишком унижительно как полное и окончательное бесправие, то ли слишком страшно, так что душа не принимала, но когда это случилось, будто столбняк на всех нашел. А ведь готовились к обороне!..

Собрали нас во дворе, и главврач сделал объявление: государство проявило о нас заботу. Чтобы улучшить наше содержание, убежище переводится в другое место, а Богоярский монастырь возвращают церкви, законной владелице святой обители. Вот так — ясно и просто. Все молчали. Никто даже не спросил, куда нас переводят. Потому что не было для нас иного места, где бы мы могли кончать нашу проклятую, жалкую, убогую, единственную и последнюю жизнь, кроме Богояра.

И вот мы стоим посреди двора и молчим. Вокруг знакомые кирпичные серые стены. Поверху ограды, на почве, нанесенной ветром и птицами, растут чахлые березки. Свечами торчат из-за ограды сосны с высоко обнаженными прямыми стволами. Вчера я на них внимания не обращал, а сейчас знаю: жить без них не могу. И без этих стен, и без этих березок, и без гудящего шмеля, нигде не будет он так гудеть, как здесь. О нас думают: обобранные, да мы и сами так о себе думаем, а мы, оказывается, богачи, вон сколько у нас всего — глазом не охватишь. Но завтра мы станем нищее нищих, пусть нам царские покои подарят, мы их не возьмем. Тут наш Храм-на-крови, и нет для нас другого.

Я как-то со стороны увидел наше сборище: какие же мы маленькие и какие они большие. В прямом смысле слова. Самый рослый из нас, Пашка, на метр от земли возвышается, остальные вовсе воробьи. И сверху вниз взирают на карликов великаны. И карлики молчат в тряпочку, подавленные своей ничтожностью и бессилием.

Не поймешь, откуда прозвучал хриплый, будто зажатый в груди голос, похоже, Василия Васильевича:

— А мы не просили...

— Не слышу, — сказал главврач. Он действительно не расслышал и потому приветливо улыбался.

— Мы не просили нас переводить! — пискнул главный «самовар» Егор Матвеевич.

Главврач сказал ласково, как ребенку:

— Вы не просили, а государство о вас подумало.

И тут наконец раздался голос, которого мы все ждали, звучный, жесткий, резкий, как выскерк ножа:

— Пошли вы на х... с вашим государством! Мы никуда не поедem.

Пашкин голос нас сразу расколдовал. И перестали мы быть карликами, заговорил в нас человеческий дух. Даже слишком заговорил. Теперь орал все, вразной, не слушая друг друга. Главврач выделил из буйного хора одно: кто-то крикнул, что мы будем жаловаться на самый верх.

— А вы думаете, там об этом не знают? Я, что ли, решил вас переселить? За кого вы меня держите? Дети малые! Там, — он поднял глаза к серому небу, — это решили. И хотите вы или нет, придется подчиниться.

— С какой стати? — снова послышался Пашкин голос, прорезав общий шум. — Мы не каторжники, не заключенные, мы свободные люди, и нам решать, где жить.

И тут заговорил один из челюстных молодцов, уставившись на Пашку белыми, как утренняя ладожская вода, глазами:

— Вы напрасно подзуживаете товарищей. Решение принято, и никто его не отменит. Все делается для вашей же пользы. Нечего затевать волюнку, себе же сделаете хуже.

— А ты не грози! — высунулся Михаил Михайлович. — Что ты нам грозишь, курья вошь? Это тебе есть что терять, а нам терять нечего. Все уже потеряно. Сказали не поедem, и точка. Нам переезда не выдержать и не прижиться на новом месте. Так какого хрена будем мучиться, лучше здесь подохнем.



Пашка сказал уверенно и спокойно:

— Скажите все это тем, кто вас послал. И мы, в свою очередь, скажем кому нужно.

Белоглазый коротко усмехнулся:

— Ваше дело. А поехать придется.

— У нас, что же, никаких прав нету? — спросил Алексей Иванович.

— У вас есть право на отдых, лечение, заботу государства. И все это вам обеспечивается.

Он вовсе не издевался, но и не пытался быть убедительным, просто талдычил по своей инструкции, поскольку твердо знал, что решать будут не слова, а поступки.

— Значит, примените силу? — спросил Пашка. — А скандала не боитесь? Мы окажем сопротивление. Не усмехайтесь. Думаете, мы такие слабые? Да мы на весь мир о себе крикнем. На калек руку поднять — такое не простят. По горло в дерьме закопаетесь, вовек не отмыться.

— Демагогия... — пробормотал белоглазый, но, похоже, его озадачили Пашкины слова...

...Мне думалось, мы взяли верх, но в жизни все не так просто. И по нашим рядам прошла трещина. Вот уж не думал, что дырку даст Михаил Михайлович, один из самых отчаянных.

— Гиблое наше дело! — сказал он, когда укладывались спать. — Бодался теленок с дубом. Кто мы, а кто они?

— Мы — люди, а они — сволочи, — сказал Алексей Иванович.

— Это я и без тебя знаю. Только что мы можем против них?

— А то, что Пашка сказал, — вмешался Василий Васильевич. — Ты нешто не видел, как он скис, когда Пашка на мировой скандал намекнул? Сразу хвост поджал.

— Да кому до нас дело?..

— Это ты зря, — сказал Пашка. — Дело есть. У нас калеки хуже дерьма, а у них — забота всей нации. Я видел

журналы. Первые люди. Общество не знает, как свою вину искупить. У нас нет общества, есть быдло, молчаливое и покорное, и номенклатурные вертухаи. Но вокруг нашего свиного загона — пестрый, горячий, живой мир, и в нем наша поддержка.

— А как ты к тому миру прорвешься? — спросил Михаил Михайлович. — Кто тебя услышит?

— Мы хоть и на острове, но от мира не отрезаны. И паромы ходят, и почта работает. Докричаться до людей можно. Нас хотят убраться тишком. И вот этого нужно не допустить. Если мы проявим стойкость, мы отобьемся. Они боятся скандала, в этом наш главный шанс. Только действовать надо всем как один, иначе ничего не выйдет. Если кто не согласен, пусть сразу уходит. Так что определись, Михал Михалыч.

— Да я что?.. Я — как все... просто спросил...

...Теперь, когда мы оказались на осадном положении, многое стало ясно. Оказывается, Пашка, Василий Васильевич, Алексей Иванович и некоторые другие, предвидя, как сложится дело, приняли некоторые меры. В ту ночь, когда мне не спалось, они совершили весьма отважную операцию: утащили бочку бензина со склада и бочонок с керосином. Как они справились, не знаю, возможно, им помогли их женщины. Набегу, как оказалось, подверглось не только хранилище горючего, но и аптечный склад. Вот тогда уже началась подготовка к блокаде. О других заготовительных работах я писал, хотя, честно признаюсь, относился к этому как к детским играм взрослых людей. Думаю, что многие разделяли мое отношение. Но Пашка-то действовал всерьез, и мы оказались неплохо обеспечены не только едой, куревом, горючим, но и медикаментами. Конечно, надолго этого не хватит, но мы рассчитываем, что рано или поздно отзовется Большая земля. Мы написали много писем в самые разные организации и отправили их еще до того, как нам пришлось запереться в нашей крепости. Но и сейчас, когда мосты разведены, мы не на-

ходимся в полной изоляции. Пашкина Дарья находит возможность держать нас в курсе вражеских намерений, если б не это, они взяли бы нас голыми руками.

Да, в какой-то момент — от растерянности, что ли, или от привычки к насилию — они решили осуществить принудительную эвакуацию. Но мы были предупреждены и заперлись в нашем бастионе, бывшей монастырской трапезной. Двери тут будь здоров, обиты жостью, с железными засовами. Окна на первом этаже с дубовыми ставнями, запирающимися изнутри, к тому же на всех окнах железные решетки. Конечно, нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики, а именно к этой категории принадлежали белоглазые челюстные оперативники, но без большого шума тут было не обойтись. Тем паче что у нас опять оказалась берданка с набором патронов на волка и откуда-то — старьей, несамовзводный, но вполне надежный наган. Нескольких предупредительных выстрелов оказалось достаточно, противник отступил на заранее подготовленные позиции. Штурмовать наш бастион они не решились. Все-таки Богояр обитаемый остров, и такую операцию не утаишь, даже если наши письма не достигнут адресатов. Пашка снова оказался прав: им надо действовать втихаря, в чем и состоит их слабость.

Снайперу Василию Васильевичу ужасно хотелось округлить счет, но Пашка не позволил. Тогда он прострелил из нагана рупор у самых губ главного обормота, призывавшего нас к добровольной сдаче в плен.

Пашка считает, что верховное командование осаждающих (мы перешли на военную терминологию, вначале в шутку, а сейчас всерьез) не ожидало серьезного сопротивления и потому не дало соответствующих инструкций исполнителям, что привело тех в растерянность. Возможно, это сделано сознательно: неохота брать на себя ответственность. С калекami славы не наживешь. Белоглазые тоже боятся попасть впросак, отлично понимая, что в случае огласки начальство подставит их. Выходит,

с нами надо считаться, вот какая мы сила. Ребята это чувствуют и, конечно, гордятся. Совсем иным духом повеяло. Руки-ноги не отросли, а вот крылышки — точно. Взять хотя бы такой случай.

Перед тем как мы заперлись в крепости, Пашка дал мне поручение: объяснить «самоварам» обстановку и предложить им эвакуироваться. Мне это поручение не понравилось.

— Почему именно я?

— Не заводись. Сам подумай почему.

Я это знал, потому и злился.

— Ты мужик умный, обходительный. Они тебя скорее послушают, чем любого из нас... Они не выносят никакого давления, принуждения. С ними надо только на равных.

Вот он и проговорился: на равных! Своего, мол, они послушают... Это он говорит летописцу Богояра (сам же так меня называет), человеку, который самостоятельно передвигается, сам себя обслуживает. Но я не стал заводиться. Черт с ними, раз надо, так надо. Конечно, меня там и слушать не стали, едва поняли, куда я клоню. Заорали, заплевались, обложили матом, а пехотинец Аркадий Петрович вдруг затянул своим высоким дребезжащим тенорком:

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой темною,  
С проклятою ордой.

И все подхватили:

Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна.  
Идет война народная,  
Священная война.

Пусть это смешно звучит, но мы ощущаем наш бедный бунт как продолжение войны, которая кончилась для нас до срока, без победы и возвращения, хотя мы остались живы. Вернее сказать, наоборот: война для нас так и

не кончилась, она всегда продолжалась в наших изуродованных, не перестающих страдать телах, в обрубленных членах и помутненных рассудках. Война отвратительная вдвойне — окопная, безнадежная, когда фронт молчит, когда ни назад, ни вперед и время остановилось. А сейчас заработали орудия, мы вырвались из окопов и перешли в наступление. Мы ожили, забыли о боли, мы можем выбирать, решать, отстаивать свое, и другие люди — здоровые, сильные, цельные, экипированные и вооруженные — вынуждены считаться с нами...

...Они переменяли тактику: от уговоров перешли к давлению. Нас почти перестали кормить: только в обед подвозят котелок баланды, не дают ни курева, ни лекарств. Хорошо, что мы всем запаслись. Конечно, установили жесткое нормирование. Лекарства и курево в первую очередь «самоварам». Пока мы ни в чем особом не испытываем нужды. Уборщиц и санитаров к нам не пускают, но фронтовые подруги прорываются, устраивают постирушку, чего-то подбрасывают: сухарей, соли, спички, снотворное, медицинский спирт. Разведанных — никаких, противник затаился и планов своих не выдает.

Пашка считает, что план у них самый примитивный — взять на измор. Очевидно, начальство их умыло руки, а они не решаются на крайние меры. С другой стороны, это не может длиться вечно: пойдут слухи о ленинградской блокаде для калек — кому-то не поздоровится. Значит, надо держаться. Удивительно, почему молчат «Голоса». Михаил Михайлович каждый вечер крутит свою игрушку — ни черта. Без конца болтают о русской церкви, передают службы, как будто это кого-то интересует. Трещат о страстях Сахарова в Горьком и муках Солженицына в штате Вермонт. Конечно, на фоне таких высоких страданий наши богоярские боести ни хрена не стоят...

...Поскольку мы заперты в четырех стенах и занять себя нечем, стали много разговаривать. И естественно, все больше о войне, а что еще у нас в жизни было? Школа,

пионерлагеря, а потом война, госпиталь и убежище. Есть исключения, не без того: Аркадий Петрович часовщиком работал, в самодеятельности пел, Алексей Иванович ходил рабочим в геологических экспедициях, Егор Матвеевич — таежный человек, охотился на пушного зверя, у Пашки была любовь и бурная жизнь между госпиталем и убежищем. Но для подавляющего большинства война все перекрыла.

Раньше фронтовые воспоминания случались у нас редко, главным образом в подпитии двадцать второго июня. И всегда тут присутствовал тот последний, решительный, героический бой, когда от тебя осталась половина или того меньше. Рассказам этим никто не верил, в том числе и сам рассказчик, тем более что содержание их варьировалось от случая к случаю, обростало красочными деталями. Каждый творил свой фольклор, и это считалось в порядке вещей, ведь и в самом деле могло быть и так, и этак, а результат один — он не придуман. Так стоит ли цепляться к подробностям, чего они стоят перед последней истиной? Нынешние рассказы ничего общего не имеют с прежними. В их откровенной, часто большой непривлекательности — голая правда. Ведь не только газеты и литература врут о войне, врут — от чистого сердца — сами участники, но это не охотничье вранье, хотя и такое бывает, все же оно не главное. Можно быть участником трагедии, апокалипсического ужаса, но не кровавого фарса. А именно фарс полз из всех щелей в нынешних воспоминаниях. Я записал несколько историй по свежему впечатлению.

Из рассказа Василия Васильевича:

«...Не переживайте особо за меня, что я не округлил счета. Это все лаферма. Если снайпер взял больше десяти человек — брехня. Или ему искусственные условия создавали, как стахановцам, или он просто бздит. Когда ты на одном участке охотишься, фрицы тебя непременно выследят и уложат, они тоже не пальцем сделаны. Они все

твои хитрости, приемы, манеру насквозь изучат и рано или поздно подловят. Вообще-то снайпер ходит на охоту со свидетелем. В следующий раз снайпером идет свидетель. И оба, конечно, химичат. Я на Карельском фронте был. Уже к сорок третьему году по сводкам получалось, финнов не осталось ни одного человека. Это обнаружила Ставка и выдала «разгонный» приказ. Стали ходить с двумя свидетелями и химичили по-прежнему...»

Из рассказа Егора Матвеевича:

«...Окоп был глубоким, бруствер высоким. Два разведчика в полный рост сопровождали ползущего на четвереньках смершевца. Он был в новеньком полушубке и в новых бурках. Командир роты, стоя в рост, представился смершевцу. Тот приказал освободить «для работы с людьми» землянку. Единственную землянку освободили. Только в ней он встал в полный рост. Началась «его работа». Когда уполз на четвереньках обратно, мы догадались, что на троих стукачей в роте стало больше. Стукачей отгадывали по провокационным вопросам, которые они задавали командиру взвода и командиру роты. На солдат не стучали, а непременно на своих командиров. Свои «ксивы» обычно передавали почтальонам. Бывало, и замполитам».

Из рассказа Ивана Ивановича. У него поехала крыша, поэтому называю его не своим именем. Мне кажется, что эту историю он или выдумал, или слышал от кого-то. Но ребята уверены, что он говорит правду:

«...Я воевал уже три года, и мне надоело. Хотел руку себе прострелить, но не решился. И тут в госпиталь попал с дизентерией. А там ребята попались — исключительные специалисты, все про симуляцию знают. Они меня научили сунуть крупницу медного купороса в канал члена. Меня с подозрением на гонорею в специальный госпиталь направили. Там проверили — гонококков нет, назад отвезли. А я опять купоросинку сунул. И тут меня один раненый заложил. Судили показательным трибуналом в

госпитале и дали высшую меру. Из госпиталя увезли с конвоем расстреливать в другое место. Расстреляли и бросили, даже не зарыли. Так, снегом закидали. Я очнулся. Но пока меня нашли, отморозил ноги. Мне их ампутировали. Потом госпиталь разбомбили. Когда меня опять подобрали, никто моим прошлым не интересовался...»

Из рассказа Константина Юрьевича, прожекториста, потом пехотинца на Ленинградском фронте:

«...История была типично 'градоглуповская', если бы при этом не было столько жертв. Нами, прожектористами, усилили две пехотные роты. Ночью эти роты повели куда-то по шоссе друг за другом на расстоянии примерно полкилометра. Довели до моста через Вуоксу и скомандовали: одной роте окопаться по левую сторону дороги, другой — по правую. Обеим ротам сказали, что противник должен объявиться с противоположной стороны. Под утро, но пока еще не рассвело, рота на роту пошла в атаку. Поводом к атаке послужил клич Кольки: 'Смахни пыль с ушей' (единственный, кстати, член ВКП(б)), 'Белофинны! Вперед! За Сталина!' Через какое-то время рукопашной кто-то сообразил, что атакующие друг друга густо матерят. Раздались крики: 'Своих бьем!' Стало рассветать, и драка прекратилась. Убитых обнаружили позже. Занялись ранеными и поиском командиров взводов и обеих ротных. Все они исчезли. И было решено, что они 'перодетые' финны или фрицы. Похоронили трех убитых, поколотили 'большевика' Кольку. В знак особого к нему презрения несколько человек на него помочилось, а когда двинулись в тыл, Кольку прогнали. Он шел сзади. Кто-то выстрелил в его сторону, и Колька исчез... По дороге умер еще один. Когда его хоронили, были окружены истребительным батальоном (предшественники заградотрядов), который отконвоировал всех в свой палаточный городок. Там сначала разоружили, потом долго разбирались. Позже отдали оружие и отконвоировали в район сосредоточения какого-то «коммунистического» батальона, состоявшего



из ополченцев. Скоро дали команду 'Углом вперед!', и все пошли в наступление лесом. Шли неорганизованно, и через какое-то время прожектористы соединились в одну группу, плетущуюся в арьергарде. Некоторое время по лесной дороге, тарахтя, ехали три танкетки. Позже они остановились как будто на починку, большие их не видели. Шли долго. Так же периодически орали 'ура'. Громче всех — прожектористы для смеха и от скуки. Пришли на заброшенный хутор. Появился какой-то тип (батальонный комиссар) и сказал, что 'высоту Фасоль' мы взяли и можно делать привал. Кто снял сапоги и стал сушить портянки, кто стал собирать и есть бруснику. Дом хуторской никто осмотреть не удосужился. Вдруг с чердака нас стали поливать из нескольких пулеметов, одновременно из-за леса, за пашней начался мощный артиллерийский и минометный обстрел. Я стал окапываться, когда же кое-как зарылся в землю, ко мне подполз незнакомый старшина. Он стал бодать меня каской в бок, приговаривая: 'Пусти голову под живот!' Разрыв меня оглушил. Когда очухался, от старшины половина осталась. Я вскочил и не пригибаясь бросился в лес, который был в тылу. Проскочил зону отсечного огня... Бежал долго по лесу, пока не свалился от изнеможения. Лежа, удивился наступившей тишине и тут же услышал далекое недружное и фальшивое пение 'Интернационала'. 'Сдаются в плен', — подумал. Встал и побежал дальше. И тут мне показалось, что на одном дереве 'кукушка'. Я упал, спрятавшись за ствол дерева. Лежал долго, затем переполз в ложбинку. Фигура не шевелилась. Через некоторое время заметил, что к 'кукушке' ползут двое. Они подползли совсем близко и вдруг вскочили. Это были мои однополчане: Гошка и Жорка. Я свистнул и пополз к ним. Но тут понял, что кукушка мертва, встал и подбежал к парням.

'Кукушка' оказалась повешенным Колькой, который спровоцировал ночную атаку роты на роту. Колька был, видимо, сначала повешен, а затем снят и посажен так,

что издали можно было принять его за 'кукушку'. В глаза были вбиты гильзы, торчал черный язык, вид жуткий... Сговорились пробираться в Питер, теша себя мыслью, что нас примут назад в прожекторный полк. Скатились с дороги вниз, в образ. Подъехал отряд мотоциклистов, остановился. Слышна была немецкая речь, финская тоже. Через какое-то время мотоциклы уехали. Решили дальше не идти, пока окончательно не развиднеется. Вскоре, прижавшись друг к дружке, заснули. Проснулись, когда совсем рассвело. Перебрались с дороги на просеку. По ней вышли на большак и встретили на нем эвакуиров. Обозники пустили нас на телеги. Возница разрешил мне зарыться в сено. Я сразу заснул. Проснулся от боли. Меня укололи итьюком. Это были опять 'истребители'. Укололи они меня очень неудачно, задев позвоночный столб. У меня отгнили ноги...»

Из рассказа Сергея Никитовича («самовара»), бывшего командира роты на Волховском фронте:

«...Мне дали роту почти сплошь из уголовников. Никто из них не умел ходить на лыжах (это в лыжном-то батальоне!), но беды большой в том не было, поскольку они все сбегали, до того как мы заняли позицию. Из семидесяти восьми бойцов у меня осталось девятнадцать. Укрытия на позициях были из замороженных трупов не выше метра. Передвигались на четвереньках, а из укрытия в укрытие я ползал по-пластунски. И вдруг однажды, пренебрегая опасностью, непонятно почему, иду в полный рост, необычайно гордый собой. На меня подчиненные смотрят, как на спятившего, а я этому рад. 'Вот какой я! А вы червяки!' К удивлению всех, немцы не стреляют... Тишина... И мне радостно оттого, что я вот так разогнулся, что я перестал быть рабом обстоятельств. Метра за два-три до укрытия какая-то неведомая сила поворачивает меня в пируэте. Смеюсь, не понимая: 'Кто это меня повернул?' Затем удар по спине, оглядываюсь — никого. В штанах делается тепло. Мне кажется, что я обмочился, и я лезу к себе в ватные

итаны. Вынимаю руку — кровь. Тепло становится в спине. Радость поглощает все. 'Ранен!.. Легко ранен!' Госпиталь, постель, чистое белье... Вот счастье-то!.. Я кому-то передаю команду, становлюсь на лыжи и айда в лес, на поиски БМП. Нахожу медпункт быстро. Начальник — мой сослуживец по прежнему полку Савченко — исследует и говорит: 'Два пулевых сквозных ранения мягких тканей'. Одно в районе тазобедренного сустава, другое в мышцу спины под лопаткой. Перевязывает, дает чистую рубаху, кальсоны. Чистую, значит, без треклятых гнид и вшей. В радость закрадывается сомнение: возьмут ли с такими ранениями в госпиталь? Савченко говорит: 'Неприменно! Сейчас выпей, закуси и отоспись'. Я выпиваю полстакана водки, заедаю шматком сала и проваливаюсь более чем в двадцатичасовой сон. Будит меня комбат лыжного отдельного батальона. Спрашивает о самочувствии. Говорю: 'Хорошо!' — 'Ну, тогда одевайся, и за дело!' — 'Какое еще дело? Савченко должен меня госпитализировать'. — 'Ничего, — говорит майор, — госпитализацию временно отложим'. Я к Савченко... Он смущен. 'Протрепался о моем легком ранении', — думаю я и в душе клянчу этого предателя...

Я рассчитывал на недельку в госпитале, а провел в нем, съеденный гангреной, изрезанный вдоль и поперек, полтора года. Вышел вот таким — ничего лишнего. Привет славному представителю советской военной медицины товарищу Савченко!..»

Это маленькая часть того, что было наговорено за последние недели. Я как-то спросил у Пашки, отчего такая дегероизация войны, раньше или хвастались, или молчали... «Жить было нечем, — ответил Пашка. — У кого нервы послабее, вздрочивали себя бахвальством, у кого покрепче, искали чего-то в собственных потемках. А сейчас есть жизнь. Так на хренá липа? Это замечательно, может, главное, чего мы добились. Отметь в своей летописи...»

...Вчера произошло страшное. Наш штаб передал противнику — иначе мы их теперь не называем — протест

по поводу противозаконных действий. Государство отпускает на каждого инвалида чуть ли не двадцать шесть копеек в день, которые за месяц складываются в рубли. На эти скромные средства нам полагаются питание и обслуживание, а также лекарства и медицинская помощь. А нам выдают одну баланду, теперь даже без хлеба. Выходит, отпускаемые деньги кто-то присваивает, а это воровство, уголовно наказуемое преступление. Если нам не будут отпускать положенное, мы обратимся в прокуратуру.

Ответ не заставил себя ждать. Нам предложили выйти из укрытия и объясниться с глазу на глаз. При этом дали честное слово, что никаких насильственных мер приниматься не будет. Мы посоветовались и приняли предложение. В назначенный час высыпали на паперть трапезной церкви, куда заранее перенесли наших «самоваров». Явился противник: из знакомых — главврач и Ведущий белоглазый, остальные новые. Главврача узнать нельзя, из цветущего мужчины он превратился в старенькую обезьянку: запал в самого себя и все время скребется, нервное, что ли? Говорил Ведущий белоглазый — деревянный болван, играющий в железного человека, — медленно, вроде бы спокойно, но за этим спокойствием — задавленная ярость, и без обиняков. Вот смысл сказанного: убежище закрыто, его не существует. Инвалидов снабжают по новому адресу: и едой, и медикаментами, и всем положенным для жизни. Это не каприз, не злая воля, а правительственное решение, принятое для нашей же пользы. Большая часть врачей и персонала уже переехала туда, сейчас отправляется последняя партия. Здесь не останется ни одного человека. Вскоре прибудут монахи и займут возвращенный им монастырь. На острове разрешено находиться лишь служащим пароходства. «Вы напрасно шлете жалобы в Москву. Они возвращаются сюда». Он открыл планшет и показал наши письма — плод гражданского возмущения, человеческой обиды, боли и сарказма.

— Если вы не образумитесь, пеняйте на себя. На этой неделе мы закончим эвакуацию персонала, вывоз имущества и оборудования, после чего окончательно снимем вас со снабжения, отключим свет, воду и отопление.

Василий Васильевич крикнул:

— Гитлеровцы не добились, свои фашисты добьются!

Все заорали, загалдели. Дальше я чего-то не углядел, но вдруг среди нас оказались белоглазые и стали крутить руки Пашке, Василию Васильевичу, Михаилу Михайловичу и Алексею Ивановичу. Те — отбиваться, Пашка выхватил нож. Его отпустили, остальных куда-то поволокли. И тут коновод «самоваров», бывший охотник, Егор Матвеевич закричал пронзительным голосом:

— Стойте, сволочи! Сейчас я самосожгусь!

И сразу резко завоняло бензином. Это Иван Иванович (с поехавшей крышей) выплеснул на него ведро бензина.

Все оторопели, а «самовар» Егор Матвеевич завизжал:

— Поджигай, зараза!..

— Стойте! — крикнул Ведущий белоглазый. — Мы уходим, уже ушли!..

Его подручные сразу отпустили свою добычу. Не надо было поджигать, но Иван Иванович, если на что нацелится, непременно сделает, он не в силах остановиться, передумать. Егор Матвеевич предугадал, что случится, и крепко втемяшил ему в башку: облить и поджечь — тот и чиркнул спичкой.

Вспыхнул воздух вокруг Егора Матвеевича, пропитанный бензиновыми парами, потом загорелись волосы. Все шарахнулись прочь, попадали. Пашка сорвал одеяло, в которое был закутан простуженный тенор-часовщик Аркадий Петрович, накинул на горящего, сам рухнул на него и затушил пламя.

У Егора Матвеевича спалило остатки волос на висках и темени, брови, ресницы, а так он почти не обгорел, разве самую малость. Но разозлился на Пашку ужасно.

— Кто тебя просил, сволочь такую? Отнял ты у меня мой подвиг.

Пашка и так и сяк его улецивал, извинялся, «героем» называл.

— Был бы я героем, если б не ты, сволочь вездесущая! — ругался Егор Матвеевич, и слезы капали с обгорелых век.

— Егор Матвеевич, плюнь мне в рожу, облегчись, — попросил Пашка.

И тот плюнул вязкой, тягучей слюной больше себе на подбородок, чем на обидчика. Пашка утерся подолом рубашки, потом утер Егора Матвеевича.

Василий Васильевич сказал душевно:

— Спасибо тебе, Егорушка. Кабы не ты, нам — хана.

— О чем ты, Васильич? — отозвался тот. — Мы же кореши. — И, сильно наклонив голову, спрятал лицо...

..Дни, даже недели, последовавшие за самосожжением Егора Матвеевича, были самыми подъемными с начала нашего бунта. Ведь мы вышли победителями в прямой стычке с противником. И попытка захвата заложников была, и, как говорится, блеснула благородная сталь — не остановился бы Пашка перед поножовщиной, если б не героический поступок Егора Матвеевича. Вот вам и «самовары-самопалы»! Я горжусь, что в известной степени принадлежу к ним. Господи боже мой! Вот существовал тут сколько лет никому не ведомый обрубок, а настала минута, и он ради «друга своя» живым факелом возгорелся. Ведь это случайность, чудо, что Пашка сумел его загасить. И стал он опять привычным Егором Матвеевичем с чинариком, прилипшим к нижней губе, и тускло-голубыми, теперь странно голыми глазами. А он по-настоящему героическая личность!

Если б разобратся в нас, если б в каждого заглянуть, сколько может оказаться ценного, высокого, не востребованного миром, сколько сильной, неизрасходованной души. Но разве кто пытался это сделать, разве кто посмотрел хоть раз задумчиво в нашу сторону? Ползунки, «самовары»,

недочеловеки — вот кто мы такие не только для белоглазых утырей и тех, кто их послал, но и для всего народа, в упор нас не видящего. Если честно говорить, какое же дерьмо наш великий народ — покорный, равнодушный, с ленивой рабьей кровью. Если мы убогие, безрукие, безногие на целую шайку страх навели, так что могла бы сделать вся человечья громада, проснись она наконец, распрямись. А ведь и делать-то ничего особого не надо: сказать «нет» и убрать руки с рычагов. Все встанет, а там и завалится. Что могут белоглазые без работяг? Да ни хрена, со всеми своими бомбами и самолетами, танками и пушками, генералами и маршалами. Но разбит у народа позвоночник, ни на что он не годен...

...Вчера собирался стачком. Вот уже неделя, как белоглазые выполнили свою угрозу: полностью отключили нас от цивилизации, даже баланды лишили и, похоже, закончили эвакуацию персонала.

Случайно я оказался свидетелем свидания (вернее, расставания) Пашки с Дарьей. Разговор у них происходил через зарешеченное окошко полуподвала, где мы храним горючее. Я там расположился со своей тетрадкой, а Пашка меня не заметил. Слов я не слышал, но видел, что она плакала и о чем-то просила Пашку, а он отрицательно мотал головой. Это длилось довольно долго, потом женщина ушла. Пашка повернулся и заметил меня. Он подошел, лицо у него было задумчивое, но спокойное.

— Жалко бабу. Но что поделать: она не может остаться, а я уехать.

— А почему она не может остаться?

— Где она будет жить? Что делать? У нее дочка большая, ей надо судьбу определять.

— От кого у нее дочка?

— От мужа. Он их бросил, когда она со мной сошлась. Уехал отсюда и затерялся.

— Ты ее любишь?

Он пожал плечами.

— Привык. Зачем ты меня спросил? Ты же знаешь, кого я люблю...

На стачкоме разговор зашел о том, что не сработали все наши рычаги.

— Нас предали, — сказал Пашка. — И свои, и чужие. Что свои — это в порядке вещей, а почему закордонные правдолюбцы не шелохнулись, для меня загадка.

— Ничего загадочного, — сказал Михаил Михайлович. — Политика. Не хотят ссориться с нашей великой державой. Почему, не знаю. Может, какое-то соглашение готовится или поездка. Значит, сейчас надо закрывать глаза на мелкие грешки социализма. Что стоит горстка калек перед высокой политикой?

— Но «Голоса»-то вроде независимые? — заметил Василий Васильевич.

— Дитя малое! Они на чьи деньги существуют?.. А кто дает деньги, заказывает музыку.

— Может, просто не дошли наши письма? — высказал предположение Алексей Иванович.

— Я два письма через «другарей» послал, — сказал Пашка. — Чех и поляк — ребята надежные. Я с ними провел разъяснительную работу. А одно письмо наш мужик взялся сам доставить, он инженер-электронщик, на работу в Багдад едет.

— Когда любимая не приходит на свидание, — сказал Михаил Михайлович, — думаешь, что она заболела, сломала ногу, попала под трамвай, а она просто трахается с другим. Не стоит мозги трудить. Любимая не придет.

— И какой вывод? — спросил Алексей Иванович.

— Все тот же, — сказал Пашка. — Держаться.

— Ленинградский вариант? — мрачно сказал Михаил Михайлович. — Подохнуть с голода?

— До голода еще далеко, — возразил Пашка. — Главное, не скисать.

— Давайте придумаем какое-нибудь развлечение, — светским голосом предложил Василий Васильевич.



Все засмеялись, кроме Михаила Михайловича, он и вообще в последнее время стал мрачен и раздражителен.

— Предлагаю бальные танцы, — сказал он и запел противным голосом: — «Ночью, ночью в знойной Аргентине...»

— Не дури, — сказал Пашка. — Устроим вечер. Один споет, другой прочтет стихотворение, третий чего-нибудь расскажет. Я фокусы умею показывать — с веревочкой и шариками.

— Знаешь, что это напоминает, — злым тоном сказал Михаил Михайлович. — Олимпийские игры в доме для престарелых. Соревновались по одному виду: кто дальше насыт. Победил старик, обоссавший себе ботинки.

— Остальные в штаны? — сообразил Алексей Иванович и захохотал.

— Очень остроумно, — сказал Пашка. — Похоже, ты сам из этих, которые в штаны.

Я думал, они сцепятся, но Михаил Михайлович повернулся и укатил на своей тележке.

Пашка поглядел ему вслед.

— Осажденной крепости страшен не штурм, а предательство.

— Брось! Мишка не предатель, — заступился Василий Васильевич.

— Он люто о своей Насте тоскует, — сказал Алексей Иванович.

Настя — уборщица, пожилая женщина, лет за пятьдесят, довольно страхолюдная и угрюмая. Но когда у нее началось с Михаилом Михайловичем, ей было чуть за двадцать...

...Давно ничего не записывал. Было много всяких хлопот и чувствую себя неважно. Какая-то сонливость напала. Все время ищущу, где бы прикорнуть. Не понимаю, что со мной. Вроде бы здоров, ничего не болит, а силенок нет.

Задуманный вечер прошел здорово. Настолько здорово, что последующие дни все ходили как под банкой. Оказалось,

почти каждый что-то умеет. «Самовар» Аркадий Петрович пел до войны в самодеятельности, был ротным запевалой и до сих пор сохранил сильный лирический тенор. Он поет репертуар Лемешева и даже с его интонацией. Алексей Иванович, сроду не думал, помешан на Есенине, он нам всю «Анну Снегину» наизусть прочел. Константин Юрьевич — непревзойденный рассказчик. Один его рассказ я запомнил. Разговаривают пехотинец с танкистом:

*Пехотинец.* Ждешь, ждешь танков, вот появились наконец, и первое, что они делают, — дают залп шрапнелью. Так всегда! В чем тут дело? Ведь по своим же бьют!

*Танкист.* Все нормально. Так и надо!

*Пехотинец.* Бить по своим?

*Танкист.* Да не по своим, дурья голова. Нам ни черта не видно. Где свои? Где фрицы? Вдарим разок навесным. И смотрим: бегут на нас — свои, бегут от нас — фрицы. Словом, выясняем и уточняем боевую обстановку. Понял, балда?»

Василий Васильевич спел два романса: «Не пробуждай» и «Мой костер». Он не поет, а почти говорит, но так, что за душу хватает. Представляю, как бы это звучало под гитару. Отличился Иван Иванович. Он очень старательно готовился к своему номеру: разрисовал цветочками фанерный лист и сделал в нем круглое отверстие. Хор «самоваров» спел куплет:

Приходи, мой милый,  
В вечерний час.  
Приходи, любимый,  
Прямо хоть сейчас.

— Я здесь! — вскричал Иван Иванович и высунул в круглое окошко голую жопу, на которой были нарисованы углем усы. Его заставили бисировать.

Я прочел отрывки из своих записей, слушали с большим вниманием. Пашика показывал фокусы, а потом мы хором пели «Не вечернюю», «Когда б имел золотые горы» и «Гори, гори, моя звезда»...

...У нас введен особый режим. На общем собрании Пашика обрисовал положение и призвал потуже затянуть ремни. Экономить придется даже воду, поскольку водопровод перекрыт, а от колодца мы отрезаны. Выручает «не осенний мелкий дождик», но все-таки бочки наполняются медленно. Лекарства мы тоже поставили под строгий контроль: снотворное выдается лишь тем, у кого хроническая бессонница, а валидол и нитроглицерин — если сильно схватит. Всех «самоваров» распределили по «рукастым», они должны их мыть, причесывать, одевать, кормить, водить в сортир, стирать на них, менять белье. Словом, обеспечивать такое обслуживание, какого они не имели при разленившемся персонале. Пашика вообще строго следит за тем, чтоб никто не опустился, не махнул на себя рукой. А такое почти неизбежно, когда люди заперты в четырех стенах и никого не видят, кроме одних и тех же надоевших рож. Раньше у нас была какая-то внешняя жизнь, общение с другими людьми, прогулки, сейчас мы варимся в собственном соку, а это чревато... Нас выручает то, что за все предыдущие годы мы как-то мало узнали друг друга, и сейчас происходит взаимное открытие. И это оказалось интересным, каждый увидел в другом не просто соседа по палате, сомученика, а человека...

Наведя экономию, мы обнаружили, как мало надо нам для существования. Я не говорю о таких едоках, как Пашика или Василий Васильевич, эти рубают по делу, но все «самовары» питаются как птички. Оказывается, не нужно даже нашего скудного рациона, чтобы прокормить туловище, почти не расходующее себя на внешнюю жизнь. Куда же девалась раньше еда? Оставалась на тарелках, скармливалась скоту, собакам, кошкам. Выходит, наших запасов нам хватит надолго...

Мы ничего не знаем о том, что происходит в мире. Электричество отключено, батарейки сели, и приемник Михаила Михайловича замолчал. На бензине и керосине он, к сожалению, не работает. Теперь мы поняли, что

дьяшали все-таки воздухом всего человечества, а не только хвоей Богояра. Сейчас нас исключили из мирового пространства...

Нервы у людей сильно напряжены. Начались ссоры. И как ни странно, среди «самоваров», которым и делить-то нечего. Причину ссоры даже сами разругавшиеся порой не знают. Вот вчера это было. Запел Аркадий Петрович. Обычно его упрашивают петь, а он огрызается: «Что я вам — патефон?», но в конце концов делает милость. Надо же покапризничать артисту. А тут сам запел «Среди долины ровныя» — чудную песню, одну из лучших в его репертуаре. И вдруг Сергей Никитович, культурный человек, бывший командир роты, как заорет: «Заткнись! Надоел!» Егор Матвеевич заступился: «Не любо, не слушай, а врать не мешай». — «Он меня с мыслью сбивает». — «Надо же, какой мыслитель! Карл Маркс! Альберт Эйнштейн! Суслов!» Самое тяжкое, что в их ссорах нет выхода. Нельзя дать по роже, выйти, хлопнуть дверью, вообще как-то спустить пары. Остается только плевать. Что Сергей Никитович и сделал. Но попасть в противника практически невозможно, они плюются в никуда, чаще всего себе же на грудь. Это раздражает еще больше. Кончается слезами, истерикой. Так случилось и на этот раз. Сперва разревелся Сергей Никитович, а потом и сам певец. Пришлось Пашке их утешать, мирить. У него это выходит, хотя и с натугой. Раньше они крайне редко заводились. То ли их пичкали какими-то лекарствами, ослабляющими жизненный тонус, то ли они раз и навсегда оморочены страшной травмой, мне трудно судить, но такой агрессивности не было. Бунташные дела очень их возбудили, но наряду с хорошим пробудилось и плохое: агрессивность, нетерпечность — при полном бессилии — ужасны.

Пашка просил нас больше времени проводить с этими несчастными и чем-то их занимать. Пашку слушаются, хотя, похоже, не так охотно, как прежде.

...Все-таки харчишек стало не хватать. Вернее сказать, они пустые: ни жиров, ни масла. Ввалились щеки, удлинились носы. И «самовары» приметно угомонились, стали меньше кидаться друг на друга. Темнеет рано. Как ни жги бензин-керосин в самодельных светильниках, осеннюю ночь не переборешь. Да и надо экономить горючее, бочки не бездонные. А ночи все чернее и длиннее...

Сегодня я упросил Пашку выпустить меня хоть на полчаса наружу. Вообще это запрещено, поскольку белоглазые держат нас под наблюдением и от них всего можно ждать. Но, видно, на меня нашла болезнь, когда не можешь сидеть взаперти, и я сказал Пашке: если меня не выпустят, у меня поедет крыша. Он подумал-подумал, наклонив свою крупную, лобастую голову, и разрешил: «Ладно. Только втихаря. Не то все разбегутся».

Когда он меня вывел, я вначале ничего не ощущал, кроме счастья дышать чистым воздухом. Я почувствовал свои легкие и то, что я делаю для них что-то очень хорошее, а они возвращают мне это с процентами. Минут пять, наверное, я просто дышал, закрыв глаза и тем бессознательно отгораживаясь от других, отвлекающих впечатлений. Сперва я ощущал только свежую благодать, воистину пьянящую, потом стал различать запахи — осенние, горьковатые: палого березового листа, умирающих трав, влажной коры, и от воды тянуло резко намывом гниющих водорослей.

Я открыл глаза и увидел осень. Березы были совсем голые, осины еще сохранили немного красноватого убора, лесная поросль сквозила во все концы. Чайки над озером не кричали, а как-то ржаво скрипели. Синицы вернулись из леса в надежде на корм возле человеческого жилья, да возле нас не прокормишься.

И постепенно мне стало печально и тревожно в этой изнемогающей природе. И я был рад, когда появился Пашка.

— Надыхался?

— Надыхался.

- Налюбовался?
- Налюбовался.
- Устал? Отнести тебя?
- Еще чего? Я сам...

Когда мы вернулись домой, я вынул эту тетрадку, чтобы записать, как обычно, прожитый день, и вдруг по тетрадочному листу забегал крошечный, с порошинку, клопик. Нет, это, конечно, не клопик, а какой-то жучишко: оранжевый, со множеством ножек, невероятно шустрый. Он носился с такой быстротой, что за ним было не уследить. Каким же мощным двигательным аппаратом надо обладать, чтобы перемещать свое тельце с такой невероятной быстротой. Он метался по листу, потом я почувствовал его на своей руке; оглянуться не успел, как он прощекотал мне щеку и опять оказался на бумаге. Я решил его прогнать, чтобы он не забрался мне за пазуху. Щекотно и противно. Я ничего не имею против насекомых, но не люблю, когда они ползают или просто сидят на мне. Такой у меня неуживчивый характер. Но я боялся тронуть его моим толстым и грубым пальцем, даже кончиком шариковой ручки, из которого выдавливается паста, уж больно он хрупкий. Я решил его сдуть. Но крошка припала к листу, уперлась или приклеилась к нему всеми своими ножками и удержалась. Я подул сильнее — никакого впечатления. Экая жизненная сила и сопротивляемость у такой малости! Я подул еще сильнее, и вдруг эта порошинка, эта оранжевая точка размазалась по бумаге, я расплющил ее своим выдохом. Не знаю почему, но это произвело на меня удручающее впечатление. Ей-богу, я чуть не заплакал. Глаза стали влажными. Неужели мне так жалко Богову нелетицу? Жалко, конечно, но тут еще что-то. Я такой же, как он, все мы, богоярские герои, бунтари, пугачевцы, соловецкие ратоборствующие иноки, такие же слабые, жалкие и непрочные, как оранжевый жучок. Просто еще не догадались дунуть посильнее. А догадаются — и все: размажут нас красноватой кашницей, как этого бедолагу...

Пашка как-то сказал: осажденным крепостям страшен не штурм, а предательство. Я вспомнил эти слова сегодня ночью, подслушав случайно — бессонница мучила — его разговор с Михаилом Михайловичем.

— Не могу больше. Я уйду. — Это сказал стрелок-радист.

— Я это давно знал.

— Откуда ты мог знать, когда я сам... сегодня еще...

— Со стороны виднее.

Пашка бывал порой резок, с начальством груб, мог покрыть матом, правда, очень редко, но в тоне его всегда оставалось какое-то человеческое тепло. А сейчас его голос был холоден, презрителен и высокомерен. Я не знал такого Пашки.

— Я скучаю за Настей, — сказал Михаил Михайлович с какой-то нищенской интонацией. — Я не знал, что буду так за ней скучать.

— Прими мои соболезнования.

— Надо ли так, Паша? — мягко сказал Михаил Михайлович. — Столько лет вместе бедовали.

— Чего ты от меня хочешь? Одобрения?

— Понимания.

— А что я должен понять? Что ты без бабы не можешь? Какой донжуан! Я младше тебя, но ничего — обхожусь.

— Это я настоял, чтобы тебя на пристань пускали.

— Я не просил. И не стал, если помнишь.

— Наверное, ты сильнее меня.

Пашка промолчал.

— Все равно там будем, — вздохнул Михаил Михайлович.

— На том свете? — поспешно подхватил Пашка. — Несомненно. Только в разных отделениях.

— Я — о новом убежище, — устало сказал Михаил Михайлович.

— Не расписывайся за всех.

— Придется отсюда уйти. Будут голод, болезни, мор. Ты что решил — всех тут положить?

— Я никого не держу. Тебя тоже. Но зачем торопиться? Уйди со всеми, раз ты уверен, что придется уйти.

— Уйти надо всем! — другим, каким-то освобожденным голосом сказал Михаил Михайлович. — Я поговорю с людьми.

— Попробуй только. Я тебя прикончу.

— Что с тобой, Пашка? Я тебя таким не знаю. Ты же добрый, хороший человек. Или ты маску носишь? Кто ты на самом деле?

— Я Пашка-безногий. Так меня звали после войны в одной теплой компании. Не напоминай мне об этом времени. Я думал, что забыл его.

— Ладно. Я тебя не боюсь.

— Напрасно.

Михаил Михайлович пропустил это замечание мимо ушей.

— Но мутить людей, пожалуй, не стоит. Для себя я решил, а насчет других... Ты же не станешь их насильно держать? Этих... беспомощных, которые сами ничего не могут?

— Не твоя забота. Ты все сказал? — И Пашка накрылся одеялом.

Михаил Михайлович ушел на рассвете, когда все еще спали. И Пашка спал. Лицо у него было жесткое, как из дерева. Он спит с открытыми глазами, я замечал это у собак. Глаза свинцовые, слепые, страшные. А вообще глаза у него серые, матовые, а случается, ударит солнечный свет, и они делаются бездонно-синими. Какой же Пашка на самом деле: синий, серый, свинцовый?..

Я видел из окна, как Михаил Михайлович уходил. Его выпустил Василий Васильевич, помог поудобнее устроиться на тележке, уместил радиоприемник, пожал ему руку и сразу вернулся в дом. Михаил Михайлович покатил по утреннику, устлавшему землю и траву. Он несколько раз



останавливался и оглядывался, словно ждал, что его окликнут. Я бы сделал это, да ведь не такого зова он ждал. Какой же он крошечный сверху!.. Вот он в последний раз оглянулся уже от крыльца административного корпуса, вытер лицо кепкой и скрылся.

В то же утро Пашка собрал нас и сообщил об уходе Михаила Михайловича. Без всяких комментариев. Его выслушали молча, угрюмо и разошлись...

Опять давно не записывал. После ухода Михаила Михайловича наступила тревожная, смутная пора. Все словно чего-то ждали. Нет, не каких-то вражеских действий, а чего-то непонятного, что возникнет среди нас и непременно обернется бедой. На улице — слякоть, зима борется с осенью, а воздух тяжел, как в августовское предгрозье — давит. И совершилась беда — умер Егор Матвеевич.

Он давно уже был плох, только мы этого не понимали, чуть не с того дня, когда пытался сжечь себя. Правда, первое время он еще куражился, крыл на чем свет стоит Пашку и всех нас, что помешали его подвигу, но длилось это недолго, вдруг скис, замолк, ушел в себя. Ни с кем не общался, почти не ел, только бросал отрывисто: холодно, холодно, — и надо было кутать его в одеяло. Пашка пытался разговорить Егора Матвеевича, узнать, что с ним происходит, но тот отмалчивался, правда, уже без злобы и раздражения, видать, простил Пашке. Наверное, он перенес слишком сильное потрясение, ведь он не думал, что уцелеет, он принял смерть, и она вошла в него, хотя он остался жив и даже не очень пострадал. Он истратил себя полностью на свой поступок и уже не мог и не хотел жить. Конечно, это мои домыслы, а что у него было на душе, разве узнаешь?

Посоветовавшись, мы решили не ставить в известность белоглазых о кончине Егора Матвеевича. Им нет дела до нашей жизни, пусть не будет дела до нашей смерти.

Досок было полным-полно. Пашка и Василий Васильевич — умелые плотники — сколотили гроб, довольно боль-

шой, куда больше, чем требовалось обкарнанному телу покойного. Они этим оказывали ему уважение, давая уют не тому, что от него оставалось, а тому, что было, когда молодой удачливый таежный охотник сменил тройник на винтовку и помог нашему бездарному командованию решить единственную на всю войну стратегическую задачу: забить русским мясом стволы немецких орудий.

Мы похоронили его под стеной трапезной, на скрытой от врагов стороне. Могилу выкопали ночью. С утра шел снег с дождем, потом перестал, проглянуло солнце, и земля, хвоя запарили. На сосновом суку над могилой сидела белка и внимательно следила за церемонией. Рыжими у нее оставались лишь уши и лапы, остальной мех был зимним, серым и казался окутанным каким-то влажным дымом. Ее все заметили и удивлялись, чего она стынет в изморози, вместо того чтобы спрятаться в дупло. Аркадий Петрович высказал соображение, что в эту белку переселилась душа Егора Матвеевича, которой интересно было знать, что скажут над могилой. Она услышала много хорошего, теплого, трогательного.

Потом Пашка выдал нам граммов по тридцать медицинского спирта, чтобы помянуть Егора Матвеевича и согреться, ведь все стояли под холодной сочью с непокрытыми головами. Все же несколько человек захлюпало носом...

У нас новое увлечение: изобретать светильники. Уж очень сумрачно стало в убежище, это плохо влияет на психику. Мрачнеет наш гарнизон, теперь редко услышишь шутку, смех, веселый голос. Люди молчаливы, раздражительны.

Осветили мы наш каземат неплохо, но радости не прибавилось. Какой-то дурной от них свет — беспокойный. Стоят они или на полу, или на низеньких подставках, и каждая крыса, увеличенная тенью, кажется с медведя.

Я слышал, как Пашка пробормотал, уладив очередную ссору: «Герои устали». Наверное, так оно и есть. Нездоровье, усталость, плохое питание, холод, безделье делают

свое дело. Тяжело повлияла и смерть Егора Матвеевича. А тут поехала крыша у нашего певца, тихого и нежного человека, Аркадия Петровича. Он неумолчно брусит что-то церковное, будто самого себя отпевает. И вдруг дико вскрикивает и опять брусит. Его перевели в нашу палату, но он плохо действует на Ивана Ивановича, который давно уже не в себе, но прежде не докучал. Сейчас он стал невероятно приставауч. Кто бы чего ни делал, он должен подкатить на своей коляске и спросить: «Ну, чё?» — «Чего чё?» — «Чё делаешь?» — «А ты сам не видишь?» — «Не, а чё?» И не важно, как ему ответить: или по-серьезному: «Посуду мою», «Постель стелю», или в насмешку: «Вальс танцую», «Жениться собираюсь», он тут же: «И я хочу! Ты чё — забурел? Я с тобой! А чё?» — и доводит до трясушки.

Когда Михаил Михайлович ушел, я занял его койку рядом с Пашкой. Он не возражал. Раз ночью я заметил, что он не спит, и спросил его шепотом:

— Паш, а Паш, что будет?

— О чем ты?

— О нас. О чем же еще?

Он проговорил с неохотой:

— Кто его знает.

— Ты, Паша, ты знаешь.

— Не забегай вперед, — сказал он угрюмо. — Все само решится.

— Как решится?

— Не пытай меня, Николай Сергееч, иди в болото.

— Таким я Пашку не видел. Он всегда был прямым и откровенным человеком. Он, конечно, знал, что будет, но не хотел этого знать и уж вовсе не хотел об этом говорить. У Пашки был огромный моральный авторитет, но он не чувствовал себя в праве давить на людей и все пустил на самотек.

Крепости сдают не только из-за предательства. Когда Михаил Михайлович ушел, крепость устояла, хотя тре-

щина пошла по ее телу. Но было ясно, что нам не выдержать зимней осады. Уверен: многие согласились бы и на безнадежный риск, но мы отвечали за беспомощных, а они уже начали нести потери: умер Егор Матвеевич, тронулся Аркадий Петрович. А тут еще омерзительное происшествие: ночью крысы объели ухо Сергею Никитовичу. Он, бедняга, оглушенный снотворным, ничего не почувствовал, а утром проснулся — пол-уха нет.

Крысы тут всегда водились, но не в таком количестве. Днем они не появляются в палатах, хотя вовсю шуруют на кухне, в сенях и коридорах, а вечером выходят из подпола, не дожидаясь, когда погаснет свет, и носятся между койками.

Кто-то подал мысль: эвакуировать «самоваров», но они подняли страшный крик. Боже мой, что там творилось!.. Ярость, гнев, отчаяние, слезы людей, которые неспособны к действенному протесту, бессильны против любого принуждения, невозможно описать. Сергей Никитович с забинтованной головой пригрозил: «Расколоть башку о стену мы всегда сумеем, и вы будете убийцами». Их категорическое требование: или все остаются, или все вместе уходят. Вот и решилось само собой, как говорил Пашка. Разве можно было предать своих товарищей, с которыми прошла жизнь?..

И начались сборы. В последнюю минуту Пашка объявил, что останется. На него накинулись: «Да кто тебе позволит?», «Очумел?», «Ты же загнешься тут!» Пашка выслушал холодно. «Не бойтесь, не загнусь и весной пойду на пристань». Его оставили в покое.

Я решил остаться с Пашкой и, пока шло это объяснение, спрятался в захламленном чуланчике, который еще раньше присмотрел для своих записей. Я был уверен: когда меня хватятся, этот тайник не найдут. Странно, но создалось впечатление, будто никто не хватился. Конечно, в суматохе могли и не заметить, хотя я не совсем рядовая фигура в нашем, увы, капитулировавшем гарнизоне.

не. Впрочем, кто знает, может, меня искали, да уже поздно было. Белоглазые небось помешались от счастья, что могут отмылить. Наверное, и Пашка на это рассчитывал: не станут они снова накалять атмосферу и требовать его отъезда.

Я вылез из своего укрытия, когда наши все до одного покинули убежище. Шествие уже проделало полпути до административного корпуса. Зрелище, надо сказать, было не для слабонервных. «Самоваров» привязали за спиной, а поскольку все ослабели от недоедания и неподвижной жизни, то едва двигались на своих тележках. Но когда белоглазые хотели помочь, заорали, обложили их матом и погнались прочь.

Пошел мокрый снег большими слипшимися, быстро стаивающими хлопьями. Ветер наклонил снег, понес его параллельно земле прямо в лицо ползущим по закипшей дороге. Наклонив головы, плечами и грудью налегая на ветер, наши тащились сквозь снегопад. Я заметил, что плачу, потому что размылось в глазах. Я вытер глаза и приказал себе не реветь. То, что я видел из маленького грязного оконца, не было ни жалким, ни ущербным. И это не было поражением. Мы держались столько месяцев не против белоглазых оглобедов, а против всего тупого и непреклонного государства. Чем мы хуже соловецких иноков? У нашей рати ни одной пары ног и, дай Бог, по руке на воина. Гарнизон ушел, но крепость не сдалась. Враг не вошел сюда. Наш командир остался. И при нем гарнизон из одного человека. Я его гарнизон, мы продолжаем сопротивление.

Шествие, отдалившись, стало за пеленой снега темной извивающейся гусеницей. Вот она достигла крыльца административного корпуса, и он вобрал ее в себя. Отъезда мы не увидим, корпус имеет выход за монастырскую стену. Остался лишь косо валяющий снег, в него провалилось тридцать лет жизни.

Я вернулся в дом. Пашка не удивился моему появлению. И не обрадовался. Голос его прозвучал весьма сухо:

- Зря ты остался. Погано будет.
- Как будет, так и будет.
- Какой у тебя тут интерес?
- Привычка. Мне к новому месту не привыкнуть.
- Возись с тобой!..

— Я сам себя обслужу, — сказал я храбро. — Одна просьба: зови меня по имени, хватит этих церемоний. Я же на пять лет тебя моложе.

Он усмехнулся.

— Ладно, Коля... Жизнь продолжается. Будем жить...

Неделю не притрагивался к дневнику. Дел было выше головы. Ребята такой срач оставили, что разгребай да разгребай. И главное, чтоб никаких пищевых отходов: крок, крошек — крыс развелось видимо-невидимо. Мы занялись уборкой всерьез. Это была работка! Сколько «добра» вынесли, сожгли, зарыли! Даже представить себе трудно, как можно скопять такое количество всевозможного мусора; бумага — откуда только она взялась? — какие-то коробочки, флакончики, корешки, сушеные цветы и травы, огрызки зверьевых шкурок, птичьи лапы и крылья, сосновые и еловые шишки, гвозди, гайки, разноцветные стекляшки, бусины, гребешки без зубьев, ржавые лезвия безопасной бритвы, пипетки, железяки неизвестного назначения, камешки, кусочки материи, ленточки — все годилось в большом хозяйстве наших собирателей. В сущности говоря, в этом нет ничего смешного и странного: да, это был их вещный мир, ничуть не менее ценный, чем домашняя антикварная лавка какого-нибудь видного коллекционера. И наверное, им было грустно, что они не могут забрать с собой свои сокровища.

Пашка вымыл полы. Закутавшись в одеяла, мы хорошо проветрили затхлое помещение, но запаха курной избы так просто не выведешь. Мы накопили глины, замешали ее битым стеклом и замазали дыры в полу. Потом согрели воду, вымылись и переоделись в чистое. После чего сели обедать...

Казалось бы, надо чувствовать наставшую пустоту и тишину. Сколько тут было народа, сколько шума, суеты, всяких происшествий, споров, обсуждений. Разговаривали, пели, шутили, ссорились, плакали, орали, тосковали, любили, ненавидели, сходили с ума, — когда я вспоминаю недавнее прошлое, то не перестаю удивляться, какими мы были шумными, активными, несмотря на увечья, душевно заряженными людьми. А теперь лишь слабый шорох наших с Пашкой движений наполняет дом в утренние и дневные часы (вечер озвучивается крысиным топотом — наша замазка не сработала), а дом не кажется мне пустым, он заполнен Пашкой.

Среди нас были значительные личности, сильные люди с интересной, хотя и рано оборванной биографией, но Пашка выделялся из всех. Я думаю, он в любой компании, в любом обществе был бы замечен, в нем все крупно, ярко, мускульно, если так можно выразиться, недаром его любила прекрасная женщина и даже погибла из-за него. Впрочем, я уже писал, что Пашка в ее гибель не верит. Наши ее видели, говорят, королева. Я очень жалею, что не был тогда на пристани, мне и вообще-то лишь два раза удалось туда добраться. Но Пашка говорит, что отвезет меня к первому же пароходу, который приходит на майские праздники.

Я знаю другую женщину — прачку Даику, она тоже на Пашке чокнутая. Если б не дочь, она никогда бы отсюда не уехала, но как бы женщина ни любила, материнское всегда возьмет верх. Я так об этом пишу, будто чего понимаю, а ведь у меня не было любви, не было женщины. Мне с отрочества втемяшили, что пора мужской зрелости — двадцать один год, а до этого — полное воздержание. Мои родители были хорошие люди: честные, щепетильные, предельно деликатные, напичканные старинными добродетелями, типичные дореволюционные интеллигенты. Всей душой преданные четвертому сословию, с мечтой о светлом будущем, свято верящие в социализм и потому оправдывающие

все действия властей — находка для диктатуры. Они не взяли от времени лишь то небольшое, что следовало взять, ну, хотя бы чуть большую моральную свободу, чем во времена их стерильной молодости, отсюда и предписанное мне целомудрие, будь оно проклято! Ни один из моих друзей не пошел на фронт, не попробовав бабу, кто-то по любви, большинство — с кем попало. Я один, законченный идиот, подарил свою девственность дорогой родине вместе с конечностями. Очень долго меня это не мучило, я не испытывал и тени влечения к женщине. Но к старости во мне что-то проснулось. Меня стали волновать даже старухи, которые приходили убирать за «самоварами». Я не люблю похабных разговоров — опять же утонченное воспитание! — но как-то слышал: некоторые «самовары» устраивались с этими старухами, кто за подарки, которые нам иногда присылали, а кто вполне бескорыстно — по взаимному согласию, ведь эти женщины военной молодости, такие же обойденные, как и мы...

Каждый день мы ходим с Пашкой на прогулку. Он приделал веревочку к моей тачке и, когда я устаю, тянет меня на буксире. Мы обошли участок, спустились с пологой стороны к озеру, которое стало тяжелым, темным, мрачным (а все равно хорошо!), даже административный корпус обследовали, но ничего интересного не обнаружили. Белоглазые перед уходом все за собой прибрали, оставив голые стены.

Мы почти никогда не говорим о прошлом. Хотя иной раз наткнешься на след недавней жизни и — как ножом по сердцу. Мне стало казаться, что Пашка сознательно избегает этих разговоров, что они ему неприятны. Но почему? Быть может, мы по-разному понимаем и оцениваем пережитое? Мне ужасно не хотелось быть назойливым, неделикатным, но все же я не выдержал и спросил его напрямую:

— Пашка, теперь, когда все кончилось, скажи, кто мы? Победители или побежденные? Я что-то запутался.



Он ответил не сразу.

— Мы жили... Сколько лет мы томились, маялись, чуть тлели, а тут вспыхнули. Мы вернули, пусть ненадолго, отнятую у нас жизнь и поддержали ее в руках, дуреху... А победить мы не могли. У нас всегда побеждает власть. Сам знаешь: нет таких крепостей...

— А вот и есть! — вскричал я. — Заврался ты, Паши-ка. Вот она, эта крепость, и флаг на ней не спущен.

Пашика посмотрел на меня и захохотал.

— Ну, ты силен, Никола!..

После этого разговора я почувствовал себя свободнее с ним. Оказывается, и у Пашики не на каждый вопрос готов ответ. Вчера я его спросил, скучает ли он по ребятам.

— Вспоминать вспоминаю, а скучать?.. — Он отрицательно мотнул головой.

— И по Дарье не скучаешь?

— Я, Коля, свое отскучал. По другому человеку. На остальных у меня не осталось сил.

— А сейчас по этому человеку ты скучаешь?

— Нет. Я жду. И радуюсь тому, что было. И жду.

— А вот мне не приходилось ждать. Никого. Никогда. Я не знаю, что это за чувство. Я вообще ничего не знаю. Что такое любовь? Что такое близость?

— Ну, если не знал, то уж лучше и не знать, — сказал он с отчуждающей жесткостью.

Я не понял, что он имел в виду, а главное, то чувство, которое он вложил в свой ответ. Или он подумал, что я буду его расспрашивать. Тогда он угадал. Мне хочется понять, что это за чувство, которое он пронес сквозь всю жизнь. И если бы только он, меня бы это не удивило — чем еще жить калеке? Но ведь и женищина, любившая его в юности, тоже сохранила к нему это чувство. Ребята рассказывали, как она к нему кинулась...

«О калеке нельзя было сказать, что он «стоял» или «сидел», он именно торчал пеньком, а по бокам его обрубленного широкогрудого тела, подшитого по низу толстой

темной кожей, стояли самодельные деревянные толкачи, похожие на старые угольные утюги...

Ничто не дрогнуло на загорелом, со сцепленными челюстями лице калеки, давшего справку. Он будто и не слышал обращенных к нему слов. Жесткий взгляд серых холодных глаз был устремлен вдаль сквозь пустые, прозрачные тела окружающих...

Анна пожалела, что не услышала больше его голоса, резкого, надменного, неприятного, но обладавшего таинственным сходством с добрым, теплым голосом Паши. Она подошла ближе к нему, но, чтобы тот не догадался о ее любопытстве, занялась приведением в порядок своей внешности: закрепила заколками разлетевшиеся от ветра волосы, укоротила тонкий ремешок наплечной сумочки, озабоченно осмотрела расшатавшийся каблук, затем, как путник, желающий ориентироваться в пространстве, обозрела местность... Затем Анна будто вобрала взгляд в себя, отсекала все лишнее, ненужное и сбоку, чуть сзади сфокусировала его на инвалиде в серой грубой рубаше.

Она не сознавала, что нежно и благодарно улыбается ему за напоминание о Паше. Она думала, если похожи голоса, то должно быть сходное устройство гортани, связок, ротовой полости, грудной клетки, всего аппарата, создающего звучащую речь. Мысль отделилась от действительности, стала грезой, в дурманной полуяви калека почти соединился с Пашей. Если б Паша жил и наращивал возраст, у него так же окрепли бы и огрубели кости лица: скулы, челюсти, выпуклый лоб, полускрытый блинообразной кепочкой; так же отвердел бы красивый большой рот, так же налился бы широкогрудой мощью по-юношески изящный торс. Когда-то она любовалась Фидиевыми уломками в Британском музее, похищенными англичанами с фронтона Парфенона, и ее обожгла мысль: как ужасны оказались бы мраморные обрубки, стань они человеческой плотью. Этот калека был похищен Богояром из Британского музея, но обрубленное тело было прекрасно, и Анне —

пусть это звучит кощунством — не мешало, что его лишь половина. Легче было представить, что и другая половина была столь же совершенна.

Чем дольше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Пашей. Конечно, они были разные: юноша и почти старик, нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его литому, смуглому, гладкому, жестко-красивому лицу, к стальным, не моргающим глазам. Ему не дашь и пятидесяти. Но тогда он не участник Отечественной войны. Возможно, здесь находятся и люди, пострадавшие в мирной жизни? Нет, он фронтовик. У него военная выправка, пуговицы на рубашке спороты с гимнастерки, в морщинах возле глаз и на шее, куда не проник загар, кожа уже не кажется молодой, конечно, ему за пятьдесят. И вдруг его сходство с Пашей будто истаяло. Если б Паша остался в живых, он старел бы иначе. Его открытое мужественное лицо наверняка смягчилось бы с годами, ведь по-настоящему добрые люди с возрастом становятся все добрее, их юная неосознанная снисходительность к окружающим превращается в сознательное всеохватное чувство приятия жизни. И никакое несчастье, даже злейшая беда, постигшая этого солдата, не могли бы так ожесточить Пашину светлую душу и омертвить взгляд. Ее неумное воображение, смещение теней да почудившаяся интонация наделили обманным сходством жутковатый памятник войны с юношей, состоявшим из сплошного сердца. И тут калека медленно повернул голову, звериным инстинктом почуввав слезку, солнечный свет ударил ему в глаза и вынес со дна свинцовых колодезь яркую, пронзительную синь.

— Паша!.. — закричала Анна, кинулась к нему и рухнула на землю. — Паша!.. Паша!.. Паша!..

Она поползла, обдирая колени о влажно-крупитчатый песок, продолжая выкрикивать его имя, чего сама не слышала. Она не могла стать на ноги, не пыталась этого сделать и не удивлялась, не пугалась того, что обезноже-

ла. Если Пашиа лишился ног, то и у нее их не должно быть. Вся сила ушла из рук и плеч, она едва продвигалась вперед, голова тряслась, сбрасывая со щек слезы.

Калека не шелохнулся, он глядел холодно, спокойно и отстраненно, словно его это ничуть не касалось.

Она обхватила руками крепкое, жесткое и вроде бы незнакомое тело, уткнулась лицом в незнакомый запах стиранной-перестиранной рубашки, но сквозь все это чужое, враждебное, нанесенное временем, дорогами, посторонними людьми, посторонним миром, на нее хлынула неповторимая, неизъяснимая родность, которая не могла обмануть...»

Ночью случилась мерзость: по мне пробежала крыса. Пашиа отнесся к этому спокойно: «Подумаешь, по мне сколько раз бегали». — «И по Сергею Никитовичу», — напомнил я. «Ну, сравнил!.. Ты же отмахнуться можешь». Пойди отмахнись этой клешней. Да мне до них дотронуться противно. Я с детства боюсь крыс. Ну, не боюсь, конечно, а невыносимо брезгую. Мне их вид омерзителен: голые лапы, длинные хвосты, кровавые глаза, гнусный навозный цвет шерсти. Когда я был совсем маленьким, мне в кроватку забралась крыса. Ее сразу прогнали, но страх остался. Не страх — омерзение. Такое бывает даже у самых мужественных людей...

Ночи становятся все беспокойнее, крысы совсем обнаглели. Топают, как солдаты по мосту. Я чувствую, как они задевают внизу одеяло. Я ору, стучу палкой по полу — Пашиа привязывает к моей руке сосновый сук, ни черта не помогает. На минуту затихнут, и опять пошли шуровать. И чего они носятся? Харчи наши стоят на полках в кухне, до них им не добраться. Голодные крысы хуже волков. К нам, что ли, подбираются? А Пашиа спит...

Пашиа сделал помост из разных железяк и поставил на него мою койку. Сюда, говорит, никакая крыса не доберется. Крысы, кстати, умеют прыгать, и довольно высоко. Я помню, бабушка раз пыталась прихлопнуть крысу

скалкой (наша тогда еще коммунальная квартира кишела крысами), так та подпрыгивала на полметра. Но, может, это с испуга? Пашка уверяет, что я в безопасности. Он подвинул свою койку к моей, обезопасив с одного фланга. Надо только, чтобы одеяло не свешивалось, и крысам до меня не добраться. Пашка так старательно пакует меня на ночь, что я сплю, как младенец в конверте. И все-таки мне беспокойно и что-то сердце не очень. Стучит так, что в ушах отдается...

Пашка попросил у меня почитать мой дневник. Вроде бы неудобно давать, там и о нем много. А потом я подумал: что тут неудобного, я ничего не врал, писал о том, что видел, и о своем понимании происходящего. Никого обидеть не хотел. Даю я ему тетрадку. Он полистал, усмехнулся. Сейчас скажет о «куриной лапе». Не удержался мой дорогой дружок: «Ну и почерк у тебя. Будто куриной лапой». — «Хуже, говорю, как рачьей клешней». Он засмеялся и стал читать. Я обиженно думал: почему люди, даже умные и тонкие, не могут удержаться от ехидных банальностей? Ну какой каллиграфии ждать от безрукого, чудо, что я вообще пишу. И вдруг успокоился: почерк в самом деле хуже некуда — взбесившаяся кардиограмма. И промолчи Пашка, я бы мучился, что он ни черта не разбирает, злится и проклинает мои каракули. А так он отреагировал и с присущей ему обстоятельностью включился в работу.

Читал он медленно, до каждого слова докапывался, но ни разу не обратился за помощью. Это тоже в Пашкином духе: справляться самому. Прочтя, долго думал, заглядывал то в одну, то в другую страницу, наконец высказался:

— Интересный документ. Единственный в своем роде. Надо, чтобы он сохранился... Ах ты, богоярский Нестор!.. — Как-то очень по-доброму это у него прозвучало. — А любопытная штука — литература. Дневник тоже литература, хотя вроде для себя пишешь. Я многое не так видел, как ты. Кое-чего вовсе не заметил, а я ведь приметливый, да и обязан был все видеть. Ты, наверное, так ухватист именно

потому, что должен был писать. Я понял теперь... Тот... который про меня написал, он не просто врал, он иначе видел... Что-то, конечно, присочинил, не мог же он всего знать... Но вот что странно: иной раз такое чувство, будто он ко мне внутрь залез, а иной раз зло берет: зачем врать, когда правда снаружи видна. Он, конечно, был в тот день на Богояре, видел нас с Анной, знал ее семью. Зачем только он придумал, что она погибла?..

«...Анна думала о монастыре, но почему-то не ждала, что увидит его, да еще так близко... Она жадно вбирала в себя скудные, томящие знаки непрочитаваемой жизни и вдруг всей заолодевшей кожей ощутила, что это Пашин мир, что Паша, живой, горячий, с бьющимся сердцем, синими глазами, сухой смуглой кожей, — рядом, совсем рядом. Их разделяла лента бледной воды шириной не более двухсот метров, совсем узенькая полоска суши, ворота, которые откроют на стук, двор. Она прекрасно плавает, Паша сам ее научил. Он затаскивал ее на глубину и там бросал, преграждая путь к берегу. Приходилось шлепать по воде руками и ногами — плыть. Она оказалась способной ученицей. Какие заплывы они совершали! Чуть не до турецких берегов. Боже мой, как легко все может решиться: он не выгонит ее, если она, мокрая, замерзшая, постучится в его дверь. А остальное как-то образуется.

Анна сбежала на нижнюю палубу. Только бы ей не помешали. Но кругом ни души... Она тяжело перелезла через барьер и, сильно оттолкнувшись, прыгнула в воду. Ее оглушило, ожгло холодом, но она вынырнула, глотнула воздуха и, налегая плечом на воду, поплыла к берегу, к Паше. Теплоход отдалялся медленно, он был грозно огромен, на берег же, как учил Паша, смотреть не надо — он не приближается. Руки и ноги были как чужие, плохо слушались, озеро совсем не прогревалось солнцем. Да ведь тут близко!.. Холод проник внутрь, стиснул сердце. Она хлебнула воды и хотела позвать на помощь, но остатками сознания поняла, что этого делать нельзя, потому что тогда

ее не пустят к Паши. Она не знала, что на теплоходе прозвучал сигнал «Человек за бортом» и уже спускали шлюпку, куда прыгнули вслед за матросами капитан и судовой врач. Она не почувствует, как ее выхватят из воды, как хлынет изо рта вода, когда сильные руки врача начнут делать искусственное дыхание...

Судовой врач прижал пальцами веки Анны и держал некоторое время, чтобы глаза закрылись. Она не захлебнулась — остановилось изношенное сердце. Конечно, это не было самоубийством, женщина видела спасательную лодку, но упрямо плыла прочь от них, к берегу. Зачем?..»

С этого разговора и пошел Пашкин рассказ о его любви к Анне. Я узнал об их довоенном целомудренном романе, о прощании в Сердоликовой бухте, сделавшем Анну — по ее страстному утверждению — женщиной, хотя Пашка ее не тронул, о схватке с немцами, из которой он вышел калекой, о послевоенных мытарствах, о богоярском томлении, когда он каждую субботу и воскресенье таскался на пристань в сумасшедшей надежде увидеть ее, об их встрече через жизнь и о том, как он бежал от нее, не пожелав предать Богояр и все годы своей тоски.

Пашка рассказывал по вечерам, когда мы ложились спать, гасили свет, и в кромешной темноте начиналось шуришание, топот, писк омерзительной, хотя и не повинной перед природой жизни. Горючего у нас осталось мало, а самые длинные ночи только еще подступали.

Он говорил медленно, обстоятельно, какими-то затрудненно круглыми фразами, будто разбирал неотчетливо написанный текст. В память свою вчитывался, что ли, не могу понять. Или как-то проверял себя каждой фразой, стараясь быть предельно точным — без осуждения кого-либо и самооправдания. Наверное, он без счета прокручивал все это у себя в голове, мог бы потоком обрушить, а он цедил. Вначале меня это раздражало, а потом стало нравиться, потому что давало свободу сопереживания...

*«Она не ответила. Обняла его, навлекла на себя, поймала сомкнутые губы и откинулась назад.*

*В слившихся воедино людях звучала разная музыка. Ее восторг был любовью, его — любовью и ненавистью, сплетенными, как хороший кнут. Под искалеченным и мощным мужским телом билась не только любимая плоть, но и загубленная жизнь.*

*Она была почти без сознания, когда он ее отпустил. Но, отпустив, он вдруг увидел ее смятое, милое, навек родное лицо, услышал слабый шорох ночных волн, набегающих на плоский берег бухты, чтобы оставить на нем розоватые прозрачные камешки, — все мстительное, темное, злое оставило его, любовь и желание затопили душу. Он сказал ее измученным глазам:*

*— Лежи спокойно. Усни. Я сам...»*

*Странно действуют на меня Пашкины рассказы. Происходит какая-то подмена рассказчика слушателем. Я вживаюсь в Пашку, становлюсь им. Это я брел по коктебельскому пляжу с прекрасной девушкой Анной, я обнимался с ней, обнаженной, на берегу, на холодном песке, вдыхая запах загорелой кожи, сплетая длинные ноги, в последнюю ночь перед разлукой. Я, уже безногий, шастал по московским улицам с рассыпным «Казбеком» за пазухой; я ждал под секущим дождем пароход на богоярской пристани; я делал Анну своей на опушке леса, откуда видно озеро, причал, цветную туристскую толпу. Я думаю, от Пашкиных рассказов в моем старом обрубленном теле пробуждается юноша. Я чувствую желание, не ту смутную, томительную тягу, испытанную в юности, а сильное, грубое, ставшее неодолимым мужское желание, которое бросает мужчину к женщине даже старой, даже безобразной, но я ничего не могу сделать. И однажды ночью я сказал не спавшему Пашке, чтобы он помог мне.*

*Он сунул под одеяло свою большую теплую руку, и я узнал, что бывает с людьми, когда ты умираешь и воскресаешь в одно и то же мгновение. У меня провалилось*



*сердце, и я обрадовался, что это конец, потому что ничего больше не нужно, все уже состоялось, я узнал последнюю тайну. Но я не умер, и мне стало стыдно и противно, как буду я смотреть Пашке в глаза. Но Пашка заорал восторженно:*

— Ну, мужик!.. Ну, Казанова!.. Дал струю, как девятнадцатилетний!..

*И вдруг все стало просто, и я уснул. Но вскоре проснулся от грозы сквозь снегопад. Во встывших молний проносающихся мимо окон снежинки казались птичьими стаями. Гремел гром...*

*Проснулся поздно, какой-то ватный, вставать нету сил. Я сказал Пашке, что хочу поваляться. Он спросил: «Тебе что-нибудь нужно?» Я сказал: «Дай мне дневник...»*

*Дальше в дневнике идет запись, сделанная другим: четким, крупным почерком: «Николай Сергеевич Кошелев умер сегодня днем, во сне, видимо, от сердечного приступа. Похоронен на береговом обрыве, где любил бывать. На могиле поставлен крест».*

*...По тяжелой последней воде, давя прибрежную кромку льда, на остров прибыл транспорт с монахами и монастырским обзаведением. Обследуя свое новое обиталище, монахи наткнулись на труп безногого калеки. Труп лежал на койке, завернутый в одеяла, пальцы скрючены на рукоятке хорошо наточенного ножа. Вокруг валялись мертвые крысы в запекшейся крови.*

*Дивясь на широченные плечи и могучий торс безногого, монахи подняли с койки его затвердевшее от холода тело. И тут он открыл глаза.*

— Куда вы меня тащите? — спросил застуженным голосом.

— А хоронить, — отозвался отец Пансий, не отличавшийся умом.

— Вроде бы рано, святые отцы, — насмешливо сказал «покойник».

— Кто ты есть? — спросили монахи.

— Комендант Богояра. А звать Павлом.

— А что ты тут делал? — поинтересовался любознательный Пансий.

— У вас все такие умные или через одного?

Подошел отец-настоятель, рослый, длиннобородый старик с властным, грубым лицом, сунул калеке фляжку с разведенным спиртом. Тот сделал глоток, повторил.

— Добро пожаловать на Богояр, — сказал комендант...

На майские праздники в Богояр прибыл первый туристский пароход. Среди встречавших его был безногий монастырский трудник с молодежавым лицом и седой головой. Спокойно и холодно смотрели на толпу серые, редко моргающие глаза. Он никого не ждал, он правил тризну.

# ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

## РАССКАЗ

Впоследствии она не могла вспомнить, как началась ее другая жизнь. Жизнь без мамы. Она смутно, сбивчиво помнила последовательность событий, но вовсе не помнила, что она при этом чувствовала. А чувствовала ли она вообще что-нибудь, кроме неудобства и досады, что они оказались в центре общего, азартного и какого-то неблагого внимания?

Они пили в пароходном баре, когда сквозь толпу танцующих и топчущихся пробрался речник в форме и фуражке, что-то сказал на ухо ее отцу и увел его. Через короткое время появился опять и увел Пашку. Она осталась со своим кавалером, которого прозвала про себя «молотобоец», так могучен, рукаст и узколоб он был. Оставшись с ней без родственного призора, он быстро освободился от своей мучительной скованности, как-то внутренне расслабился, стал безостановочно вливать в себя фужер за фужером «таран со старкой», а пышногрудую и чернокудрую барменшу называть «миленькая», что ту заметно раздражало. Таню он хватал за руки, похлопывал по спине, спускаясь от шеи к пояснице и стремительно разрушая впечатление о себе как о недалеком, наивном и славном малом. Таня уже подумывала, как бы незаметно смыться, когда вернулся Пашка с зареванным лицом и кивком позвал ее за собой. «Молотобоец», видимо, почуял запах беды и не стал ее удерживать.

Потом она увидела то, что долго преследовало ее, не вызывая ни боли, ни жалости, лишь брезгливый передерг кожи. Это видение покинуло ее в свой час, и она опять

увидела мать живой и разной и расплакалась над ней. А когда слезы иссякли, появился тот последний образ матери, с которым она срослась настолько, что перестала понимать, где она, где мама, но что случилось много, много позже.

А тогда в полутемном трюме она увидела очень большое и, как померещилось, разбухшее тело женщины в мокрой одежде, с мокрыми волосами и будто размытым чужим лицом. Глаза были закрыты, непривычно большие плоские веки изменили лицо до полной утраты той зыбкой родности, которую она щемяще чувствовала сквозь привычную, невесть когда возникшую отчужденность.

Над этим большим неопрятным телом стоял отец и рыдал, погрузив лицо в ладони. Она никогда не вглядывалась в отцовские руки и не знала, что у него такие длинные костлявые бледные пальцы. Она не чувствовала сострадания к нему, не чувствовала жалости к матери, не чувствовала потери. Она была пустой внутри и даже поймала себя на странной мысли: зачем меня сюда привели? Ее поводыр похлопал носом, посочился из покрасневших кроличьих глаз, потом исчез. Когда вернулся, то уже не плакал. «Хватил стопаря», — догадалась Таня. Как-то косо сквозь сознание мелькнуло: никто тут не знает, что надо делать и как себя вести.

Появился давешний пароходный служитель, речной моряк, и предложил проводить ее в каюту. Она охотно согласилась.

Уже в каюте она спросила речника, как это произошло. «Упала за борт», — ответил он, не глядя в лицо. Он был молод и еще не научился врать. «Моя мама не ваза, — сказала Таня сухо. — Я вас спрашиваю, как это произошло?» — «Она прыгнула за борт», — через силу сказал речник. «Самоубийство?» — «Н-нет. Она плыла к острову. И когда шлюпку спустили и кричали ей, все плыла и плыла». — «Мать хорошо плавала». — «Она не утонула. Сердце отказало. Вода холодная». — «А куда она плыла?» —

«На остров, куда же еще?... — растерянно сказал речник и тихо добавил: — Будто ей голос был...»

Она вспомнила об этом разговоре много позже, а тогда лишь удивилась, и сразу ломяще заболела голова. «Вам что-нибудь нужно?» — спросил речник и, не дождавшись ответа, бесшумно притворил за собой дверь каюты.

Таня приняла таблетку от головной боли, снотворное, легла, не раздеваясь, и сразу уснула.

Голову продолжало ломить и в последующие дни. Все ей виделось будто сквозь дым: возвращение домой, похороны, которые отец как-то очень заторопил, и такие же скромные поминки. Ему хотелось как можно скорее перевести случившееся в прошлое. Таню удивило, что так много народа пришло на кладбище, мать казалась ей человеком неконтактным. А тут явился институт в полном составе, вся кафедра, толпа студентов и аспирантов. Многие плакали. Ее поразили слова директора института: «Мы еще не понимаем, кого потеряли. Сохранится ли климат нашего института без Ани?.. Вот беда так беда!..» — Он заплакал, махнул рукой и отошел. «А я знаю, кого потеряла? — спросила себя Таня. — Знаю, что она для меня значила?» Ответа не было, а через три-четыре дня она жестко приказала себе вернуться из поездки на Богояр.

Вернуться было бы проще всей оставшейся семьей, но очень скоро она перестала ощущать под собой семью. Первой оборвалась тонкая и при этом прочная связь с Пашкой. Хотя Пашка уже давно жил отдельно — отец купил ему однокомнатную квартиру («купил кооператив» — по новоязу), он не изменял своей привычке обедать дома и нередко оставался на ужин. Пашка, как Онегин, был «глубокий эконоом» и считал, что давший ему жизнь должен давать и хлеб насущный. Таня могла пользоваться обществом брата каждый день, но прежних доверительных разговоров не получалось. Весь скудный запас своего дружелюбия Пашка переключил на отца, они подолгу шебуршали в кабинете, тянули коньячок под крепкий кофе, и, когда Паш-

ка покидал дом, чтобы предаться обычным вечерним удовольствиям, на лице его читалось глубокое удовлетворение: получен очередной калым. Отец любил Пашку, ему было одиноко, и сын умело пользовался этим. Пашка всегда был баловнем отца. Матери он давно разонравился, знал это и вычеркнул ее из своего душевного обихода. Есть, наверно, что-то гипнотическое в словах «мамы нет», «мама умерла», и в первые дни при упоминании матери Пашка как-то автоматически всхлипывал. В нем пробуждалась детская память. Маленьким он не мог уснуть, если матери не было рядом, чего-то боялся. Он засыпал, ухватившись за ее пальцы, и, оставляя его, надо было с величайшей осторожностью высвободить руку, чтобы он не проснулся с криком ужаса. Пашка выпустил материнскую руку с наступлением отрочества, перестав верить в чудищу и обретя безмятежный сон, но в подсознании сохранилась память о спасающем присутствии матери, и эта архаичная память выталкивала из Пашки испуганный всхлип. Мужественный юноша не дал подсознанию воли над собой и вскоре вернулся к обычному бездущию.

Отец же был раздавлен. Таня никогда не думала, что сильный, удивительно хорошо владеющий собой человек способен так развалиться. Во время похорон он впал в бурное отчаяние, пытался спрыгнуть в могилу, позорно потерял себя на глазах толпы. Это было так на него не похоже, что Таня засомневалась: уж не фальшивит ли он? Отец всегда давал людям ровно столько, сколько считал нужным, никогда не переплачивал, даже любимому сыну. Сдержанность, расчетливость и отстраненность были сутью его натуры. Возможность чего-то другого, мягкого, даже беззащитного приоткрывалась в нем лишь в отношении к матери, но этого почти никогда не случалось при свидетелях, и все-таки Тане доводилось уловить в нем любовь, нежность, боль. В матери — никогда, лишь заботу о его здоровье, бытовых удобствах, вежливый интерес к делам.

Почему же он так разнуздан на кладбище? Сорвались нервы с колков? Не верится. Он словно в чем-то кого-то убеждал (может, себя самого?) и от чего-то освобождался. Его бурное отчаяние особенно плохо выглядело на фоне тихого, искреннего горя сослуживцев и учеников матери. Это дико, но единственно не растроганными на кладбище оказались близкие покойной.

А может, она зря?.. Откуда ей знать, как выглядит последнее, окончательное горе? Шекспировские страсти ходульны, безвкусны, неестественны, но, видать, истинны, если люди верят им какой уж век. Истинная страсть и не может быть иной, ей не уместиться в рамках хорошего тона, приличия, корректности и прочих правил бытового благонравия. «А жаль, что отцу помешали, — подумала она вдруг. — Ну и остался бы в могиле, людям нельзя видеть такое страдание».

Чудовищная мысль пришла ей почти всерьез. Это испугало. У нее никогда не было злого чувства к отцу, он ей нравился. Или иначе: ей нравилось быть его дочерью. Образец мужчины: высокий, стройный, элегантный, спокойно-ироничный и во всем состоявшийся. А сейчас он стал ей противен. Тошно было вспомнить его худое, бритое, пудренное, неподходящее для сильных чувств лицо, изуродованное гримасой показного — никуда не деться от этого чувства — отчаяния. Оно будет постоянно преследовать ее. За ним скрывается какая-то изначальная фальшь, недоброркачественность их общей жизни. И сейчас это вылезло наружу. Даже на вершинах своего цинизма и хамства Пашка не был ей так омерзителен, как в сопливых всхлипах. Отец же вызывал чувство стыда, и она боялась, что он догадается об этом. И сама себе она была неприятна до зубовного скрежета, потому что перестала себя узнавать. Не получилось у них возвращения с Богояра.

Неужели вечно занятая, озабоченная, до черствости спокойная к домашним мать так цементировала семью, позволяя каждому оставаться самим собой, но без худшего

в себе, что с ее уходом все связи распались? А была ли у них семья? О да, семья была — с правилами, традициями, с елкой и подарками, с сюрпризами и розыгрышами, с масленичными блинами, с днями именин и рождений, с постоянной заботой о здоровье каждого и незамедлительной помощью, с присущей им всем семейной гордостью, хотя об этом не говорилось вслух, и все это шло от сухой, педантичной матери, а вовсе не от любящего отца. И уж если начистоту, то все они, даже сверхсамостоятельный Пашка, чуть что хватались за ее верную спасительную руку.

Теперь не схватишься. Остается жить по заведенному ею порядку, этим хоть как-то гарантируется сохранность семьи. Да, не стало матери, никуда от этого не денешься, но не надо делать вид, будто жизнь кончилась. У Тани не было настоящей близости с матерью, лишь изредка мелькало какое-то женское понимание и они обменивались заговорщицкой улыбкой. Возникало тепло, доверие, но, чтобы костер горел, надо подбрасывать хворост, а обе на это скупались. Мать не любила ее? Не то чтобы «не любила», а «не любила». Таня не знала. Вот Пашку мать «не любила», ее оскорбляли его неопрятные связи, пьянство, пижонство, корыстолюбие и отнюдь не показная пустота. Он был способный, ему все легко давалось, особенно языки, при его феноменальной механической памяти и тонком слухе, но тем обиднее был Анне тот душевный и моральный вакуум, который она безошибочно угадывала в сыне, умевшем пудрить мозги окружающим.

«А чем ты лучше? — спросила себя Таня. — Конечно, ты меньше пьешь, меньше распутничаешь и больше читаешь, но ты так же пуста и больше всего на свете любишь тусовку, рок и глянцевые обложки американских журналов. Все то, что мать с ее серьезностью, наукой, опрятностью, старомодностью и вечной печалью терпеть не могла». И все-таки она жалела Таню, беспокоилась о ней и, когда дочь занесло особенно сильно и чуть не сбросило с дороги, успела на выручку.



Это случилось года три назад. Таня попала в компанию ребят старше себя, а главное, куда искушеннее, испорченнее, если считать испорченностью фарцовку, перекрестное опыление, ловлю кайфа с помощью пилюлек и особых сигареток; те, что постарше, и на иглу садились. Компания была текучая и разномастная: от десятиклассников до прибрлатненных, знающих приводы и даже отсидевших срок. Таня принадлежала к октябрятам этого пионерского отряда. Она ничего не делала всерьез, только попробовала: фарцовкой не занималась, хотя раз-другой припрятывала дома какие-то шмотки, осталась полудевой после настойчивых и неумелых поползновений Миши Жупана, сигареток не курила, ее тошнило, а к более серьезным наркотикам «указниц» не допускали старшие ребята, вино, правда, научилась пить, но к водке не привыкла. В общем, ничего серьезного не было, все, как у всех, правда, школу она бросила и ушла из дома. Ночевала в разных местах — у подруг. Днем они слонялись, балдели от музыки и вина, вечером отплясывали и трахались, кто всерьез, кто «на ближних подступах». Таня не получала никакого удовольствия от душной возни с Жупаном то на продавленных диванах, то в подъездах у батарей, но без этого нельзя, ее и так считали буржуйкой, чужачкой. Большинство из этой компании жили у теток, бабушек, были и детдомовские, нормальных семей не было ни у кого. Отсюда пути вели: ребят в армию — эти спасались, или в тюрьгу, девчонок — через фарцовку или проституцию в колонию, на химию, на сто первый, как повезет. Но будущее никого не заботило. Жили минутой, ловили кайф. Нельзя сказать, что Таню это безумно увлекало, но все лучше, чем школьная тупость и ложь или домашний холодный порядок. Здесь она казалась себе личностью.

Она не знала, каким образом отыскала ее мать. Анна застукала ее у длинноногой девчонки по кличке Бемби, они пили вермут и балдели от Элвиса Пресли, которого только что узнали. Мать вошла с таким уверенным видом,

будто не раз тут бывала, элегантная, красивая, благоухающая «Роше». Не было ни скандала, ни объяснений, ни слова упрека. Мать сразу узнала Элвиса Пресли, рассказала о его страшной смерти — откуда ей все известно? —хватила полстакана вермута. «Тьфу, мерзость! Это не для белых людей!», вынула из сумочки деньги и послала Бемби за коньяком. А когда распили коньяк, мать спокойно, без лишних слов увела ее, и все почему-то восприняли это как должное. Мать подавила их сочетанием классности и простоты, той принадлежностью к чему-то «высшему», что не подвергается сомнению. И сама Таня, гордясь матерью, не оказала ей ни малейшего сопротивления.

Дома, придя в себя, она закатила небольшую истерику. Мать выслушала ее надрывно-слезный гимн во славу свободы личности, помогла высморкать нос и спокойно сказала:

— Кончи школу, поступи в институт, а там делай что хочешь.

— Мне с ними интересно! — ломалась Таня. — Они настоящие, а все ваши знакомые мороженые судаки.

— Но ведь это наши знакомые. Какое тебе дело до них?

— Ты же хочешь, чтобы я сидела дома.

— Вовсе нет. Я хочу, чтоб ты ночевала дома. Хочу знать, что ты жива и здорова и не вяпалась в грязную историю.

— Почему я должна вяпаться?

— Потому что ты маленькая дура. Они все старше тебя, даже одноклассники. Кроме этого курносого дебила (так мать восприняла ее поклонника Жупана), он просто одноклеточное. Все остальные поразвитей и куда испорченней. Вообще-то они жалкие, бедные ребята, которым хочется роскошной жизни. А вся роскошь — джинсовый костюм, адидасы, сигареты «Кент» в зубах, «Сейко» на руке и пары «височки», как говорит твой братец, в башке. Жалкий набор, но в наших условиях его можно приобрести только в борьбе с законом. Ты им чужая, у тебя все есть. Ты сядешь просто за компанию, это глупо. В ваших жалких тусовках — так это называ-

ется? — нет ни романтики, ни гибели всерьез, ни глубины. Если бы ты ушла в горы, в пампасы, стала бы охотницей на львов, хоть террористкой или второй Мата Хари, я бы слова не сказала. Но отдать себя шпане, этого не будет.

«Шпана», «жалкие» — чужие и противные слова в лексике матери. Конечно, ее приятели не герцоги и бароны, не доктора наук, но с чего такая заносчивость? Мать боролась за нее, а в борьбе все средства хороши. Ей хочется унижить, уничтожить несчастных ребят в Таниных глазах. Лучше бы она просто приласкала ее, погладила по голове, как некогда, в далекую пору клетчатых утр. Таня медленно набирала рост и до шести лет спала в детской кровати с сеткой. Мать забыла о простых доверчивых жестах, она полагалась теперь лишь на убеждающую силу слов. А для Тани то, как она хлопала рюмку за рюмкой коньяк ради ее спасения, было во сто крат убедительнее всех умных рассуждений.

Таня долго не догадывалась о своей зависимости от матери. Впрочем, «зависимость» — не точно. Была какая-то внутренняя связь при полной несхожести характеров, темпераментов, взглядов, отношения к людям и к жизни. Таня придумала слово «сращенность». Слишком сильно, но если так, то лишь в одной точке. Это обеспечивало свободу друг от друга, при тайной и нерасторжимой физиологической связи. Даже внешне между ними было мало сходства, но случались какие-то повороты, игра света и теней, и вместо Тани возникала вторая Анна, такая, какой она была в юности. Порой эта метаморфоза случалась на глазах отца. Он менялся в лице и беспомощно подносил руку к сердцу. При его сдержанности и владении собой произвольный жест говорил о многом. Как же сильна была в нем память о молодом очаровании матери, если мгновенный промельк сходства сбивал ему сердце!

Таня томилась непонятностью и несвершенностью своих отношений с матерью. Конечно, это не было содержанием ее жизни, проходившей совсем в иной плоскости. В обычном течении дней она просто не помнила о ней, занятая теми проблемами, которые ставили перед ней сперва шко-

ла, потом институт, ее развивающийся организм и формирующаяся женственность. Но затем что-то случилось — внутри или вовне, и, закрывая весь остальной мир, надвигалось серьезное, печальное, любимое и ненавидимое, родное и неприступное лицо матери.

И вот теперь это лицо навсегда погасло. Больше не будет ни обидного равнодушия, ни сбивающего с толку и пронизывающего до печенок глубокого взгляда, не будет изнуряющего одностороннего счета с той, которой тебе хотелось бы стать при всем противоборстве и отрицании. Жить будет легче. Она до конца свободна. Все пути, вязавшие ее, были в руках матери, отец, как она поняла теперь, ничего для нее не значил, о брате и говорить не приходится. Дух семьи, дух квартиры — обман, был дух матери, и он отлетел.

Она знала, что отец примет любые условия совместного проживания, которые она предложит. Она вовсе не собиралась превращать квартиру в бардак или постоянный двор, должны сохраняться та опрятность, тот строгий порядок, которые были учреждены матерью. И традиция общего семейного обеда, собиравшего их всех за столом, но этим исчерпываются ее обязанности. В остальном — полная свобода. Никаких отчетов отцу, они будут корректными соседями, не больше...

Решения были приняты, теперь можно было качнуть замерший маятник повседневности. Она начала с почтового ящика. Среди старых газет, каких-то проспектов и приглашений оказалось два письма, одно от Жупана, проходившего действительную в ГДР, другое от Нинки (Ирэн) из Горького, куда ее сослали на химию за спекуляцию. Таня с внезапным теплым чувством вскрыла воинское послание.

*«Привет из ГДР! Здравствуй Таня!!*

*С солдатским приветом и массой пожеланий к тебе Миша. В первых строках своего письма сообщаю тебе что жив здоров и тебе того же желаю. Немного о себе. Служба идет нормально но правда совсем со мной случилось*

маленькое ч.п. и сейчас лежу в госпитале. Таня сейчас в госпитале очень хорошо. Ты не беспокойся врачи говорят что это не так страшно могло случится хуже. А самый главный доктор подошел ко мне и спросил у меня «Есть у меня девушка или нет». И я ответил есть и назвал эту девушку именем Таня. Ты если не обежаешься, то ты мне напиши. Таня я очень по правде сказать соскучился. Если тебе потребуются переводки всяких гербов или переводки с изображением женского пола то пиши, я тебе будут присылать. У нас это навалом. Да как хотел бы стать птицей и полететь в Ленинград и к тебе Таня. Передавай привет всем знакомым кого увидишь. Да Таня остался год и я снова у себя дома и снова я и ты если не возражаешь будем слушать магнитофон и пить сладкие напитки. Нет, нет, Таня, я уже не буду наверное пить вино и водку в таких дозах в каких был до армии. Знаешь в этом чертовом Цетхайне разучишься не только пить, а и смеяться. Да тяжело здесь. Впервые я столкнулся в лицо смерти и такими трудностями. Недавно застрелились 3 человека. Да три человека не дождетя мама, папа, родные и конечно девушка. Жаль не их, а их родителей и девчонку. Сколько будет пролито слез. Таня может тебе и не следовало писать что у нас происходит. Но больше писать не буду.

ГДР нечего республика. Цетхайн тоже городок симпатичный широкие улицы, много зелени. А вот насчет людей трудновато очень рано уходят спать в 7 вечера уже нет не кого на улице. А вообще немцы веселые люди. Таня я тебя попрошу в одной просьбе, если ты не откажешь. Вышли мне свое фото, а я в свое время вышлю свое. Писать больше нечего. До свидания, Миша. Жду твоего письма и фото с нетерпением».

«Он идиот! — подумала она с ужасом. — И к тому же неграмотный идиот. А ведь считается, что он кончил... сколько там — восемь классов, чему же его учили? И как он переходил из класса в класс? А ведь он мне и раньше пи-

сал, неужели я не замечала?.. Может, это армейская служба вышибла из него остатки грамотности и ума? И это моя первая любовь. Если, конечно, считать любовью то, что я позволяла ему делать. Значит, я тоже сумасшедшая или безмозглая...»

Она распечатала письмо Нинки (Ирэн), одной из самых близких подруг в охтинской (по месту главной тусовки) компании.

*«Здравствуй. Таня!*

*Вот только сегодня привезли нас в г. Горький на химию. Проторчала я в осужденке в Крестах полтора месяца, да еще две недели в Москве, на Пресне, потом этапом сутки и трое суток в горьковской тюрьме. Сегодня вот привезли в общежитие и расконвоировали. В общежитии находится спецкомендатура, проверка в половине десятого, внизу мент сидит. Вот такие, Танечка, дела. Я в тюрьме написала письма Славику, Бемби и Леше, там слезливую телегу сочинила и при шмоне в горьковской тюрьме все отобрали. Теперь вот пишу тебе да и позволю на днях. Таня, денег нет ни копейки, привезли нас сюда в это общежитие, бросили и живи, как хочешь. Мест нет, все нервы истрепали, пока поселились, да и то на время и то еще придется спать на раскладушке. Таня, буду работать в арматурном цехе. Мрак, да? Система здесь коридорная. Как в песне поется, на 33 соседа всего одна уборная. Меня поселили в комнату, девчонки хорошие, а вообще здесь есть разные. В основном здесь из Москвы и Ленинграда. Таня, настроение у меня мрачное. Слушай, я завтра дам телеграмму Леше, чтоб денег выслал. Таня, сходи там, проведи с ним беседу. Только обязательно, я на тебя надеюсь. Я осенью надеюсь вернуться в родные стены (на 11-ю), амнистия, говорят, будет. Мысли в голову не лезут, не спала всю ночь, переписывалась с ребятами. Они на втором этаже, а мы на первом, просверлили дырку в потолке и всю ночь гоняли ксивы. Таня, на твой адрес*

напишет один мальчик, ты уж не обессудь, я с ним переписывалась, как, Таня, кстати, в Москве на Пресне тоже с Володей с одним под твоим именем. Ну так вот, перешлешь мне его письмо сюда. Ладно? Я же знаю, что человек ты ответственный и тебе можно доверять, не то что некоторым. Тань, мозги не варят, пиши обо всем, про Бемби, про Светку, в общем про всех и про все, мне все интересно. В июле приеду на 5 дней, порезвимся, если будут бабки. Да, скажи Леше, чтобы выслал старые мои сабо сюда, они на антресолях, вместе поищите. Жупану большой привет передавай и Длинному. Ну на этом заканчиваю. Пиши, жду,

целую, Ирэн.

Спасибо, что пришла на суд, мне было приятно. А почему моего мудака не было?

И.»

Странно, но по прочтении этого послания из «глубины сибирских руд» гадливое отторжение от недавних друзей по «охтинскому сидению», испытанное от цидулы Жупана, если не прошло, то подухло. Может, потому, что Ирэн писала грамотно? Ирэн!.. Лохмушка с сожженными перекисью волосами, то в драных колготках, то на сношенных каблуках, но непременно при одной хорошей шмотке: свитере, или жилете, или кофточке. Но на ансамбль сроду не хватало бабок, как ни пыжилась бедолага. Жила она у старшей сестры, поэтому и адреса своего не могла дать, а хотелось быть светской, модной, пускать пыль в глаза. Неплохая девка, компанейская, безалаберная и вовсе не корыстная. Влипла на два года из-за грошовой фарцовки. Ловят всегда пескарей, акулы разрывают сеть. К Леше-«наркоматику» она не пойдет, ну его к черту, а туфли и деньги вышлет.

В конверте оказалось еще одно письмо — машинописное, на тонкой папиросной бумаге. Размашистым почерком Ирэн было написано сверху: «Сестра переслала мне

Светкино письмо. Белолицая не знает, что я загремела. Помоги ей, если можешь, она девка неплохая, хоть и с закидонами». Белолицая — это настоящая фамилия, а не прозвище, работала машинисткой в какой-то конторе. Таня ее давно знала, но особой дружбы между ними не было.

*«Здравствуй, моя хорошая девочка! Сегодня прихожу на работу — я бюллетенила, а шеф передает мне бумажку, что звонила твоя сестра. Я удивилась, потому что она мне сроду не звонила, а этот судак не мог спросить, что ей от меня надо. Ладно, разберемся. Ирэночка, это, конечно, смешно, но получился для меня очень большой и глупый промах. Меня кинула телка на 300 р., и я не могу еще успокоиться. Все так глупо получилось, до ужаса. Не буду ничего писать, приедешь, расскажу. Может, мы с ней, с сукой, договоримся как-нибудь. Я очень много теряю. Ир, понимаешь, я связываться с ней боюсь, она матери позвонит, а та в свою очередь кислород мне перекроет. Это все с нитками. А из-за этой суки я не могу взять остальные. Короче, не знаю, что делать, Ирэн, директор мне говорил, что ты собиралась приехать. Рыбочка, ну давай, а то у меня такая напряженная обстановка дома, я скоро буду сваливать. Я хочу тебе еще раз напомнить про босоножки. Сделай, если можешь. В долгу не останусь. Сегодня утром звонил отец — только что из Ельца приехал. Он всегда, когда звонит, — только что из Брянска, из Уфы, из Мариуполя, из Ашхабада. Все врет, а зачем — непонятно. Сказал, заглянет, он уже четвертый год заглядывает и все никак не заглянет. А у нас бабушка совсем плоха, а Наташка так заучилась, что хоть в дурдом сдавай.*

*Ирэн, если б ты знала, как мне надоел директор своими ухаживаниями. Сил больше нет. А он думает, что если ты приедешь, то опять какая-нибудь экскурсия состоится. Если мы один раз поехали, то, значит, будет и второй. А он просто себя не уважает после тех вещей, которые мы вытворляли с подругой. Я его и на х... посыла-*



ла, и матом крыла по-черному. Не действует. А переспать себя с ним не могу заставить. Хотя тогда же была пьяная в жопу. Но такой ерунды, я думаю, у меня больше не будет. Это финал! Приедешь, расскажу все подробно. Ирэн, только все между нами. Я не хочу, чтобы знала Бемби, потому что после юга я ей в этом плане не верю, хотя очень уважаю. Договорились, Ирочек, ну ладно. Пиши мне, я положу тебе марок в конверт, клей их, чтобы письма быстрее доходили, по одной штуке. Крепко целую и обнимаю тебя. До скорой встречи, я очень жду.

Белолицая Света.

Есть партия джинсов по 1.50 «Мартины», итальянские. Где взять бабки? Да, Ир, и очки по 20 рублю, как у Вовки, тоже были партией. Если я с этой сукой разберусь, мы можем раскрутиться. Приезжай».

В мире большого бизнеса!.. Значит, надо помочь Белолицей: вернуть 300 рэ, на которые ее бросила телка, потом — партия джинсов «Мартины» по 1.50 (что это значит на условном языке отечественных коммерсантов: сто пятьдесят или полторы тысячи?), и еще очки по 20 рэ. Не указано, сколько их в партии. К тому же они уже ушли. Она может помочь. Отец показал ей ящик письменного стола, набитый деньгами: на хозяйство и на личные расходы. Оказывается, они всегда так жили с матерью: заработанные деньги сбрасывали в общий котел, и каждый брал сколько ему нужно. Но будет ли это порядочно в отношении отца, если она начнет субсидировать своих предпринимчивых друзей? Можно сделать жест в честь Ирэн-узницы, но если дальше так пойдет, она совсем запутается...

А тот, кто мне только казался,  
Был с той обручен тишиной,  
Простившись, он щедро остался,  
Он на смерть остался со мной.

Любимые стихи матери. Чуть-чуть захмелев — пила редко и мало, она всегда произносила их, будто наново

вслушиваясь в знакомые строки, потом говорила их шепотом, улыбалась и кивала головой.

«Я его и на х... посылала, и матом крыла по-черному...» Поэзия и проза. А ведь и то, и другое произнесено в одном жизненном пространстве, там, где Фонтанка и Нева, гранитные набережные, чугунные ограды и бледно светящиеся шпильки. Мир матери и твой мир, но в одном звучит: «Он на смерть остался со мной», а в другом: «Я его и на ...» И это вовсе не смешно. Сейчас ты еще играешь, но игра перейдет в повседневность, в обязательства, станет твоей постоянной заботой, потому что ты уже спрашиваешь себя: а чем я лучше? Ничем. Как это ни грустно. Ты ничем не лучше. Хуже, потому что те — от нужды, а ты — от избытка. Внезапно Таня принялась лихорадочно перебирать бумажки, которыми завален был письменный стол. И нашла то, что искала: два старых письма без конвертов.

Знакомый, родной почерк.

*«Привет из ГДР. Здравствуй, Таня!*

*С солдатским приветом и массой пожелания к тебе Миша. В первых своих строках сообщаю что жив здоров, что и тебе желаю. Немного о моей службе. Служба идет нормально за эти 10 месяцев которые я прослужил в армии был на губе 5 раз, по 10 суток, а что там нормально. В 5 часов утра подъем, а у всех в 6 часов, и до завтрака занимаешься физзарядкой а завтрак начинается в 7.40 нормально жить можно. А как у тебя дела. Наверное все хорошеешь. Ребята вьются за тобой, это точно. Таня вот ты пишешь что я здесь бросил пить, да я бросил пить и курить вот какой я стал дисциплинированный мальчик. А ты говоришь купаться. Таня ты пишешь что бы я берег себя, но знаешь я не знаю что будет завтра со мной и с товарищами мы живем одним днем, прошел без жертв и ладно. Я ведь служу почти на границе ГДР и ФРГ до ФРГ от места где я служу с товарищами 120 км. У нас на стрельбах стреляют очень метко и часто. Да Таня я приеду*

домой, я не останусь в ГДР мне еще жить хочется. Знаешь я уже этих гранад и всяких взрывчатых веществ видел и уже по правде сказать надоело уже стрелять по мишеням которые уже надоели. Знаешь Таня нас здесь учат не любить, а убеждать в полном смысле убеждать. Таня знаешь ты пишешь что я если приеду домой то ты меня будешь бить за зайцев, пожалуйста я не буду спортироватьсь. Давно я отвык от твоих ударов по корпусу. Извени меня, но я буду рисовать их. Писать больше нечего. Да Таня береги себя, а обо мне не бойся, я как небудь выживу. Да Таня я стал злым и коварным не знаю даже как это случилось. Я иногда сам себе поверить не могу. Таня береги себя, а то я приеду, а ты будешь не здорова это очень плохо. Кто же будет мне выливать вино и бить меня за зайцев. До свидания. Моя смьяшлюная и симпотичная девушка.

*Пиши чаще, жду ответа».*

Внизу был нарисован заяц с большими ушами. Это единственное, что он умел рисовать, и выходило у него ловко и смешно. Она имела неосторожность одобрить его творчество, с тех пор он с маниакальным упорством рисовал зайцев где только можно: на сигаретных пачках, салфетках, скатертях, стенах и дверях. Ее в дрожь бросало при виде ушастых тварей, а ему это казалось невероятно остроумным и светским. Даже побои — весьма чувствительные — не могли заставить Мишку отказаться от своего художества. То был не только его фирменный знак, но и таинственный знак их союза: ушастый заяц. И все-таки, если оставить в стороне неграмотность, глупость и зайцев, то Мишка не самый плохой человек на свете. «Я стал злым и коварным»... Телок, губошлеп, заяц, добродушный и привязчивый недотепа. А внешне недурен даже со своим носом-кнопочкой. Рослый, плечистый, русоволосый, лицом на Столярова похож из «Цирка», только носик малость подгулял.

Последнее письмо было от находившегося в бегах Олежки по кличке Арташез. Так называлось его любимое ар-

мянское вино. Это был, пожалуй, единственный парень в компании, которого она терпеть не могла: красивый, наглый, с чудовищным самомнением. Он был весьма многоопытным юношей, когда Таня появилась на Охте, потому что служил в армии, а вернувшись, занялся теми серьезными делами, которые вскоре вынудили его сменить обозримый Ленинград на необъятную Сибирь. Вести от него приходили из разных городов, очевидно, он считал за лучшее нигде долго не задерживаться. Тане он никогда не писал, и, получив неожиданно его письмо с обращением «Мартышка», она бросила его непрочитанным, противно отзывать на дурацкую, придуманную им кличку. А сейчас она это письмо прочла. Вначале шли сообщения о каких-то неведомых ей Сяве, Азяме, Путяте, может, она их знала, но по именам, а не по кличкам, и о знакомом ей парне, дружившем одно время с Белолицей, Валере Крошине: его посадили на шесть лет «за грабежи, разбой и еще что-то», — хладнокровно писал Арташез. Затем он переходил к тому, что волновало его куда больше. «Теперь немного о себе. Я каким был, таким и остался, это мне так кажется, но все говорят обратное. Короче, в конце августа, в начале сентября я все-таки заскочу к вам в гости. Дело в том, что здесь я с пареньком сошелся, ленинградец он. Говорит, что в Ленинграде очень запросто лежат штаны «Техас» и еще какие-то. Мартышка, если есть там такие вещи, то напиши мне. Я после армии понял, что честно ничего не заработаешь, а я хочу кооператив и машину. У нас город для этого подходит. А люди дурные и богатые. Вот такие дела. Еще мне нужен башмак летний, посмотри, если есть что-нибудь, то тоже напиши. Если бабками богата, то можешь прислать штанов штук несколько, деньги я тебе пришлю. В Ленинграде я жить не буду, это слишком нудно, мне здесь городов хватает. Сейчас я отдыхаю, посещаю регулярно кабаки, жениться не собираюсь, мне и без этого девочек хватает. Правда, мне это начинает надоедать, скоро поеду в Москву. У меня там девочка знакомая, она меня до ар-

мии любила. У нее там 2 двухкомнатные квартиры и дача. Одна ее, другая родичей. Родичи квартирой не пользуются, живут в мастерской, они у ней художники. Так что поеду, отдохну. Вот вроде пора и закругляться. До встречи. Всем привет. Целую. Арташез».

Могла мать прочесть эти письма? Могла и обязательно прочла. Когда человек будто по рассеянности или небрежности оставляет на всеобщее обозрение что-то интимное, значит, он хочет, чтобы другие это увидели. Если у женщины распахивается на пляже халат, под которым ничего нет, не верьте ее стыду и растерянности, она этого хотела. И она хотела, чтобы мать прочла. Зачем? Пусть знает, что она не бросила своих друзей ей в угоду, что, пожалев ее и вернувшись домой, она продолжала жить своей жизнью, а не той, что ей навязывают. Что она хотела этим доказать? Свою независимость, силу воли или отомстить за все недополученное от матери: ты упустила меня, так получай Жупана, Арташеза, Сяву и Валеру.

Какими глазами читала мать эти письма, что думала она о ее «бой-френде», «злом и коварном» пограничнике, которого армия научила «не любить, а убеждать»? Наверное, она скорее смирилась бы с грамотным преступником, чем с этим «дисциплинированным мальчиком». Впрочем довольно грамотное письмо Арташеза тоже едва ли порадовало мать, от него несет камерой предварительного заключения... «Он на смерть остался со мной», — трудно примирить эти слова с пустоголовой сентиментальностью и с джинсово-обувными страстями.

Ну, с Арташезом Тане и самой все ясно, а так ли хорош Миша Жупан, которого ей не хочется ронять? Когда она появилась на Охте, семнадцатилетний Жупан лакал вино и водку, как заправский пьяница, но сильный, здоровый молодой организм спасал его от безобразного распада. Он влюбился в нее с первого взгляда и с первого взгляда принялся ее насиловать, без костоломной грубости, в том не было нужды, поскольку она ему поддавалась, хотя и не

облегчала усилий. Его поведение было естественно для охтинских правил, но красотой рыцарственности не светило. Жупан был чужд коммерции, его мать работала в «торговой точке» и щедро снабжала единственного сына джинсовой тканью и «корочками»; водились у него и карманные деньги, Мише давалась щедрая возможность хорошо погулять перед армией. Все же в этом водочно-половом монолите была щель духовности, из нее выскакивали зайцы.

Что должна была чувствовать Анна, читая письма, адресованные «смышляюной и симпотичной девочке», ее дочери? Внезапно Таня всхлипнула. Она сама не поняла, из чего родился этот влажный звук: из жалости к матери или к себе самой? Неужели правда, что Охта — мое будущее? С Мишей, Бемби, Ирэн, Белолицей, вернувшимся из узилища Сережей и гастролером Арташезом? Они оплетут меня, запутают в свои дела, я никогда от них не отделаюсь, потому что не умею отказывать людям, если вижу в них хоть какую-то слабость. И я вяпаюсь в настоящую черную беду. Я могла бы играть в эти игры, в «бесстрашный» эпатаж, в помоечную вольницу, пока жива была мама. Я знала, хоть и скрывала от самой себя: когда станет совсем плохо, она придет, возьмет за руку и уведет. Но мамы нет, а я слабачка, я не сумею себя защитить. Сейчас, когда их разбросало по свету, самое время «сделать ноги», как говорит принцесса Ирэн. Конечно, я выполню ее просьбу и просьбу Белолицей, но это все. И Мишке придется изредка писать, а то еще учудит чего этот «дисциплинированный» мальчик, там слишком много «гранатов» и прочей взрывчатки.

Приняв решение, Таня несколько взбодрилась и стала прикидывать другие возможности реализации своей молодости и безграничной свободы. Начисто исключался институтский круг. Парней у них мало, и все выглядели законченными чиновниками. Уровень девушек отличался от уровня Бемби, Ирэн и Белолицей лишь качеством шмоток.

Здесь учились детишки весьма устроенных родителей, черта с два иначе попадешь на английский факультет иныа, и туалеты студенток стояли на высоте. Разговоры же их носительниц имели крайне прагматический характер, и все — о будущем. Оно заботило. Идти в гиды или в технические переводчики никому не хотелось. Вершиной карьеры представлялось замужество с фирмачом. Этажом ниже — замужество с любым иностранцем, только бы выбратся на волю, а там видно будет. Еще ниже котировалась валютная проституция, которая в нравственном смысле никого не смущала, но многих сдерживали семейные обстоятельства. Выход был — перебраться в Москву, это далеко от родного порога, да и возможностей больше. Но все знали, как строго охраняют свои пределы столичные интердевочки. Таню эта перспектива не увлекала, настолько в ней еще оставалось опрятности. Она подумывала о художественном переводе, но была дружно высмеяна: в крошечную кормушку уткнулись рылами такие крокодилы, что не подступиться.

С год назад Таня оказалась в любопытной компании и, как говорится, прижилась там. Компания, довольно текучая, состояла из людей степенных, прочно определившихся в жизни, в большинстве семейных, хотя жен на свои встречи они не приглашали. Костяк составляли киношники, художники, журналисты, театральные администраторы, но были и «примкнувшие»: поэт-маринист, знаменитый бард и невероятно светский юрист-картежник. Все прекрасно одевались, у каждого был свой стиль: денди уальдовых времен в крылатке; энергичный американец типа Роберта Кеннеди — черный блейзер и белый банлон; ковбой — замшевая куртка с бахромой, техасы, сапоги на высоком каблуке; русский барин: тройка, часы в жилетном кармашке с золотой цепкой; парижский художник: широченная бархатная куртка, яркий бант на груди; хиппи: расстегнутый до пупа батник, заношенные вельветовые брюки, обруч на длинных, до плеч, волосах. Все как один говоруны, остроумцы, отличные рассказчики, нашпигованные

последними новостями во всех областях искусства и мировыми сенсациями. Ресторанные ужины с ними превращались в карнавал, фейерверк, особенно старались они в присутствии московских гостей, испытывая к столице чуть ироническое почтение.

Была в них некоторая жесткость, которая Тане импонировала. Даме, принятой в компанию, не полагалось ломаться, если на нее кляли глаз. Делалось это не вульгарно. Будто внезапная влюбленность постигала давно знакомую пару, и окружающие вели себя соответственно: с уважением к чужой страсти. Никаких шуточек, насмешек.

Мать виновата, что ее доверчивое восхищение этими блестящими людьми замутилось, а там и вовсе сгнуло.

В компании периодически появлялся знаменитый журналист-международник из Москвы. Танин хороший английский язык привлек его высокое внимание, и зазвучали золотые трубы незамедлительно увенчанной любви. Теперь, приезжая, он всякий раз предьявлял на нее претензии, которые все уважали, в том числе она сама. Это стало напоминать роман, что не мешало другим мгновенным влюбленностям: в Оскара Уальда, ковбоя, Роберта Кеннеди.

Однажды он зашел за ней, чтобы вместе ехать в Териоки на пикник. Мать была дома, и Таня не без гордости представила ей журналиста, вот, мол, это тебе не охтинские дружки — мировая знаменитость. Элегантный, с утомленной улыбкой на узком загорелом лице, международник (его чуть портила лишь какая-то страусиная плешь в серых волосах) взял руку матери, поднес к губам, но не поцеловал, а резко-почтительно опустил. Таня обмерла, сочтя этот жест хамством, но мать приняла как должное. Она ходила на приемы в консульства, ей был знаком новый гигиеничный способ приветствовать даму.

Они обменялись несколькими банальными фразами, но именно в банальности их Таня проглянула холод, чуть ли не отвращение матери к гостю. Мать была человеком пластичным и при желании умела обаять любого, что и доказа-



ла в простодушной, но по-своему пронизательной (не терпела гонора, фальши, лукавства) охтинской компании. Сейчас мать была вызывающе неприятна и малословна. Как ни странно, знатный гость этого не заметил. Он привык считать себя подарком для окружающих и если встречал равнодушные, тем паче холод, то относил это за счет смущения собеседника. «Какая интересная у тебя мать, — заметил он, когда они вышли. — Ты, пожалуй, на нее не потянешь».

— Откуда взялся этот прохиндей? — спросила на другой день мать.

— Что ты понимаешь? — возмутилась Таня. — Это лучший международник в стране.

— Вполне допускаю, — холодно сказала мать. — Но быть первым в школе для негодяев не велика честь.

Таня оторопела. Она никогда не читала корреспонденций своего друга, но все как один цокали языком, когда произносилось его имя. Правда, восхищались его костюмами, часами «ролекс», «мерседесом» последнего выпуска, коллекцией картин Рокуэла Кента, пятикомнатной квартирой в престижном доме на Кутузовской набережной и другой — в Манхеттене, о литературной продукции как-то не говорили, но подразумевалось, что с этим все о'кей.

— Как ты можешь судить?.. — проговорила она не слишком уверенно.

— Могу! — жестко перебила мать. — Кроет американцев на чем свет стоит, а сам отца родного зарежет, только бы сидеть в своей Америке. — Она усмехнулась. — Все познается в сравнении. Теперь мне кажется, что охтинский Анти-сирано не так плох. Во всяком случае, не слизняк.

Таня не сразу поняла двойную шутку матери насчет «Анти-сирано» — нос и красноречие — и разозлилась еще больше. Она оборвала разговор, но, когда злоба прошла, обнаружила, что ореол вокруг смуглого чела и страусиной плечи заморского гостя померк навсегда. Как же все-таки много значило для нее мнение матери!..

Их разговор имел еще одно последствие: Таня задумалась о своих блистательных друзьях, как бы навела их на фокус. И сразу резко обрисовалось то, о чем она и прежде догадывалась, но отгоняла прочь за душевной ненадобностью. Профессия для них была делом побочным. Они все что-то собирали: кто картины, кто иконы, кто старинную мебель, кто фарфор, кто разный антиквариат. Коллекционеры. У них имелись вещи высочайшей ценности, которые они время от времени давали на выставки. Не нужно было особой проницательности, чтобы понять: они жарят не на сливочном масле. Прекрасная их страсть подпитывалась спекуляцией, которую так, разумеется, не называли, и обманом, считавшимся торжеством опыта и знаний над лопухим любительством. Все оправдывалось высокой целью собирательства, спасением художественных ценностей от утечки за кордон. Были специалисты по обиранию одиноких старушек, сохранивших в своем нищенстве какой-нибудь жакоб или ампир, были «комиссионщики», были какие-то «землеройки», суть их жульничества Таня так и не постигла.

В сущности говоря, это была та же фарцовка, только высшего разряда. Как жалки рядом с ними охтинские мародеры, отправляющиеся на химию за партию джинсов и в тюрьму за разгром ларька. Тут счет идет на сотни тысяч, но никто уголовной ответственности не подлежит.

Собиратели грамотнее Жупана, начитаннее Арташеза, интеллектуальнее Бемби, Ирэн, Белолицей, у них отлично подвешенные языки, они знают кучу всяких вещей, но Таня не могла вспомнить ни одного серьезного разговора, чтобы мнения столкнулись на какой-то бескорыстной мысли, а не на стоимости «предмета». Они избегали деловых разговоров, но их главный интерес порой вырывался непроизвольно из густой тени. Стоило кому-нибудь коснуться ненароком боли жизни, как тут же неслось тягуче: «Ску-у-учно!» Главное, чтобы не было скучно, а легко, весело, просто, необременительно. Набор удовольствий оставался не-

изменен: еда, выпивка, обмен информацией, постель. Прейскурант, мало отличающийся от охтинского. Там еще бывали травка, пилюльки и скандалы. Здесь никогда не ссорились, если же и покуривали, покалывались, то не принародно.

А что, собственно, еще может быть в тусовках: пламенная дружба, ослепительные страсти, мудрые беседы о смысле бытия? Разница между двумя компаниями была не в самом продукте, а в сортности. Здесь и застолье почище, и разговор покультурнее, и постель опрятней. И там, и здесь осуществлялась одна цель: убить время. Но коллекционеры предпочтительнее — не в моральном плане, боже упаси, а в гигиеническом.

...И началась другая жизнь. Вообще-то, та же самая, до мелочей, но другая, потому что в ней не участвовала Анна. Неприсутствие Анны в днях оказалось для Тани куда приметнее прежнего присутствия. Таня все время замечала, что ее нет, все время помнила о ней, а раньше, когда мать была, она словно бы и не видела ее, занятая своей жизнью. В чем заключалась эта «своя жизнь», куда она девалась? Ничего и никого... Какая-то неестественная пустота вокруг и пустота внутри. Тут нет ничего загадочного, просто сейчас мертвый сезон, все разъехались. Она пыталась звонить друзьям-антикварам, но телефоны молчали. Отец предлагал ей путевку в Пицунду, но не хотелось оставлять дом. Отец растрогался, приняв это за преданность ему. «Маленькая хозяйка», — сказал он, дернув щекой, и стал уговаривать ее ехать. Они с Дусей — проходящей работницей — прекрасно справятся. Таня не стала его разочаровывать. Ее удерживал дома дух матери, а не забота об отце, только в этих стенах скользила прозрачная тень Анны.

Оказывается, дом, если им заниматься всерьез, поглощает массу времени. Таня ходила в магазин и на рынок, в прачечную и химчистку, сама готовила, вспоминая любимые матерью блюда. Дусе она оставила только уборку. Она даже пироги научилась печь. У матери была легкая рука на

тесто: понятия не имея ни о каких рецептах, она пекла великолепные мясные, капустные, крупяные и сладкие пироги, пышки, ватрушки, маковники. И сроду не стоявшей у плиты Тане тесто открыло свою капризную душу. Унаследовала она и второй домашний талант матери: составлять букеты. Квартира вновь стала нарядной, ведь нет ничего наряднее цветов.

Таня впервые узнала, как обременителен быт даже такого налаженного и материально обеспеченного дома, как у них. И как легко, незаметно тащила мать громадный воз своих дел. Отец работал от и до. Ему больше не требовалось, чтобы вести громадный и склочный, как все научные заведения, институт. Несомненно, он был выдающимся администратором от науки, если умел так строго укладываться в рабочие часы. Мать занималась самой наукой. Нередко она возвращалась из лаборатории в двенадцатом часу ночи. А ведь была еще кафедра, студенты, аспиранты. И тесто, и букеты, и праздничные обеды, и бытовые учреждения, и приемы. Она всегда была хорошо одета, с искусно уложенной головой. Похоже, мать старалась до отказа забить свой день, чтобы не осталось в нем никаких пустот и щелей. В этом проглядывала какая-то исступленность. Она хотела быть замороженной, чтобы лишиться возможности остановиться, сесть, сложить руки на коленях и задуматься. Но можно ли сказать, что она вкладывала душу в свои многочисленные дела? Таня готова была поклясться, что мать не была фанатиком науки, как не была и бытовым человеком: наука ее не окрыляла, а домашняя возня не веселила. Она не ела своих пирогов и не потому, что боялась пополнеть, а не любила теста. Она даже букеты составляла с хмурым видом, а ведь цветы должны радовать. Но обстановка в доме была не хмурой, а какой-то бодро-прохладной. Теплом веяло лишь от отца и порой, как ни странно, от Пашки, который умел быть очаровательным, если ему нужно было от предков нечто существенное: новая машина, финский гарнитур, поездка в Англию. И тогда из Пашки фонтаном било

что-то такое мило-бесшабашное, обаятельно-хулиганское, что начисто отсутствовало в их семейном коде.

Таня не вполне сознавала, что ее игры вокруг домашнего очага — своего рода попытка диалога с матерью, не происшедшего в жизни. Она как бы вызывала мать на разговор, в котором вместо слов участвовали предметы домашнего обихода, блюда, хозяйственной заботы. И конечно, ей хотелось одобрения.

Однажды во время обеда она поменяла место за столом. Тут не было заранее обдуманного намерения, ей показалось, что так будет удобнее разливать суп из фарфоровой миски. Это было место матери — на торце стола. Взяв в руки тяжеленький серебряный черпак, Таня почувствовала странную, чуточку стыдную нежность, какое-то влажное тепло внутри себя, оттого что она сидела в кресле матери и повторяла ее жесты. Она знала, что очень похожа на мать в эти минуты. Слишком похожа — отец вдруг разрыдался и опроретью кинулся из-за стола.

— Дура, — сказал Пашка. -- На кой хрен тебе этот спектакль? Зачем ты плюхнулась в кресло матери?

— Не твое собачье дело.

— Нарочно хотела отца завести?

— Пусть привыкает, — буркнула Таня.

Если уж такой эгоцентрик, как Пашка, мгновенно все понял, значит, из нее в самом деле глянула мать.

Она осталась за столом на месте матери, и все к этому привыкли, и отец уже не плакал, не выбегал из-за стола, она и сама привыкла и перестала ощущать жесткое кресло узурпированным троном.

Другая жизнь двигалась дальше, хотя правильнее было бы сказать, что она стояла, а на нее двигалось время, обтекая со всех сторон и создавая тем иллюзию движения. С потоком времени принесло разбежавшихся друзей-собирателей. Словно ладожский лед, дружно надвинулись знакомые значные места, застолья, дома, набитые антиквариатом, иконами и картинами, все было не

хуже, не лучше, чем в прежние дни. Но, может, все-таки хуже, потому что не лучше. Гэдээровский воитель, поощренный ее письмом и фоткой, разразился несколькими посланиями, непревзойденными по неграмотности и глупости, каждое — с дурацкими зайцами. Таня решила, что не будет больше Элоизой этого Абеяра. Пришел благодарный, но довольно грустный привет с химии; Бемби обнаружилась почему-то в Мариуполе, но и там ее не оставляли заботы о «техасах» и кроссовках. «Нет больше слов живых на голос твой приветный, — пробормотала Таня, дочитывая мариупольскую эпистолу. — Оставим все это в детстве. Пора взрослеть».

Но как это делается, она не знала и продолжала плыть по течению: институт, домашние дела, вечерние сборища, доставляющие все меньше удовольствия...

Отец неумоимо шарил по квартире. Он шуровал в старом шкафу со всякой рухлядью, вынесенном в коридор в ожидании окончательной ликвидации. В этом ожидании «дорогой, глубокоуважаемый» провел уже с десятков лет, набитый старой одеждой, сношенной обувью, сломанными зонтиками, пустыми коробками и прочей дрянью. Не раз обшаривал он и антресоли на кухне, шурша черновиками материнских научных трудов, руша папки с рабочими материалами. Не раз слышала Таня, как он щелкает ящиками в комнате матери и роется в ее вещах. Он делал это с маниакальным упорством, уверенный, что доищется до каких-то секретов.

— Что ты ищешь? — спросила она однажды, скрывая раздражение. — Дай я тебе помогу.

— Я ишу свои письма к матери. Не понимаю, куда она их задевала.

Он врал, и Таня сказала жестко:

— Выкинула или сожгла.

Он не обиделся, подтвердив ее догадку. Свои письма он давно нашел, если их вообще пришлось искать.

— Люди нашего поколения бережны к переписке. Это у вас, нынешних, нет ничего святого.

— Давай искать вместе.

— Спасибо, — сказал он натянуто. — Это не так важно. У тебя и без того много хлопот.

— Только не повторяй, что я маленькая хозяйка большого дома.

— Хорошо, что предупредила, — улыбнулся отец. — Я как раз собирался это сделать.

Он прекратил поиски — при ней. Когда же она уходила, что случалось частенько, продолжал настойчиво искать. И как ни тщательно заметал он следы, обмануть дочь не удавалось.

Таню заинтересовала таинственная деятельность отца. Что он искал с таким нездоровым упорством? Молодые фотографии, какие-то мелочи, бессознательно сохраняемые материальные знаки минувшего, которые ничего не скажут другим людям, но полны глубокого значения для знающих их историю: сломанный гребешок, клипса, флакончик из-под духов, хранящих тень аромата, шпилька, театральная програмка, пригласительный билет, засохший цветок, погашенные марки. Каждый человек с годами обрастает множеством совершенно ненужных мелочей, которые почему-то не выбрасывает. Но странное дело, после матери «вещественных доказательств» былого не осталось. Неужели она так тщательно прибирала за собой, не желая никакой памяти о прожитом? Осталась ее рабочая корзина с иголками, булавками, нитками, лоскутками материи, кнопками, но идеальный порядок исключал лирическую память. Остались носильные вещи, рукописи, парфюмерия, с десятков книг, которые любила, пишущая машинка и «Зингер» с ножным приводом, единственная старинная вещь в доме. Если исключить книги: сборники стихов, все другое мало говорит о ней: человек порядка, труженица, и все. Вполне вероятно, что отец хотел найти себя в каком-то укромье Анны, поверить, что он присутствовал в

ее внутреннем мире. Отношение отца к матери выражалось одним словом: любовь. Отношение матери к отцу — целым рядом слов: тепло, привязанность, обязательность, забота. Но все эти слова стоили неизмеримо меньше того единственного.

А что если тут совсем другое — найти и уничтожить. Он не хочет, чтобы какие-то обстоятельства их жизни вышли наружу, стали известны даже близким людям. Мать была из пишущих ученых. Она владела словом и охотно писала для газет, журналов, занималась популяризацией. Вполне вероятно, что она вела дневник, ну, хотя бы просто записи, и они куда-то подевались. Очевидно, отец знал, что такие записи существуют. Уничтожить их мать не могла, она же не знала, что путешествие на Богояр окажется в один конец. Вот он и ищет.

А коли так, то почему бы не начать свои поиски, ведь ей тоже хочется знать, кем было самое близкое на земле и такое далекое существо — ее мать. Отец неправильно ищет. Он исходит из того, что матери было что скрывать, что она ждала обыска и нашла какой-то необыкновенный тайник. Сыщицкая психология. Но у матери не могло быть никаких стыдных тайн, ей в голову не приходило, что кто-то будет рыться в ее вещах, поэтому она ничего не прятала, а просто убрала. То, что не предназначено чужому взгляду, нехорошо оставлять на виду, испытывая чужое любопытство и чужую деликатность, этого требует элементарная вежливость. Не надо бросать где попало ни личных писем, ни лифчиков.

Таню не переставало удивлять, с какой сомнамбулической уверенностью она прошла в комнату матери и вынула из шкафа круглую кожаную коробку с шитьем. Для настоящего шитья мать не располагала временем, хотя любила и умела шить. Для нее было удовольствием пришить пуговицу, заштоковать дырку, укоротить рукава и брюки. Она говорила, что с детства обожает шершавую шапочку наперстка и вкус перекусываемой нитки. Таня разгребла все шелковинки, шерстинки и обнаружила плоский сверток в



истончившейся хрусткой газетной бумаге. Он не был даже перевязан.

Таня убрала коробку в шкаф, а сверток взяла к себе. Осторожно развернув его — бумага от времени стала хрупкой, крошилась, — она обнаружила несколько любительских фотографий, коротенькое, в несколько строк, письмецо, розовато-дымчатый, прозрачный на просвет камешек — сердолик, засохшую веточку тамариска и два официальных бланка. Как истинное дитя своего времени, Таня прежде всего обратилась к бланкам. Содержание их было идентично — разница только в датах: отказ сообщить что-либо о судьбе Канищева Павла Алексеевича, поскольку запросы о пропавших без вести принимают лишь от близких родственников. Ну вот, сказала себе Таня, теперь я знаю имя человека, которого уже вычислила в жизни матери.

Она стала разглядывать фотографии двух незнакомых людей: юноши лет двадцати, которого звали Павел, и девушки его лет, которую звали Анна и которая для нее была почему-то «мама».

Она с жадностью вглядывалась в молодые черты матери, ища сходства с собой. Они, конечно, похожи, хотя мать была выше, худее, легче. Некоторая отяжеленность пришла к ней лишь в последние годы, она очень долго сохраняла молодую статью. Но и та стройная, гибкая Анна, которой она восхищалась и завидовала, сильно отличалась от девушки на фотографиях. У матери было строгое, невеселое лицо, а эта, еще не ставшая ее матерью, светилась радостью, бесилась от радости. Улыбка прямо-таки раздирала ее большой красивый рот. «Боже мой, что же надо чувствовать, чтобы так скалить зубы?» — думала Таня с завистью на грани злости. Если б она не знала органической естественности матери, полного отсутствия в ней показного, наигранного, она бы заподозрила ее в ломанье. До чего же здорово было ей с этим Павлом Канищевым! И до чего же не здорово, когда она пыталась разыскать его, пропавшего без вести!

Таня прочла записку: «Зашел к тебе и не застал. Мы возились с Кузькой и смертельно устали друг от друга. К тому же он разорвал мне штанину. В наказание я укусил его за ухо. Он был так потрясен, что написал на ковер. Это тебе в наказание — не шляйся. Иду домой. Позвони. Будь проклята. П.»

Не много же осталось у матери на память о любимом: записка, камушек-сердолик, засохшая веточка тамариска и четыре фотографии. На трех они сняты вместе, на одной он плывет саженками, на голове облегающая резиновая шапочка. Так лицо его кажется круглее, а без шапочки оно удлиненное, чуть суженное в висках. Глаза очень светлые, наверное, по контрасту с загорелой кожей. Потрясающий парень: высоченного роста, мать ему по плечо, с телосложением культуриста, только без вульгарности мышечного переизбытка. Да, тут будешь смеяться взахлеб, когда у тебя такой парень. И будешь его искать и через три, и через десять лет после войны, зная, что его нет на свете.

Теперь Таня не сомневалась, что ее давняя догадка о сбитой, исковерканной судьбе матери справедлива. Мать потеряла своего длинноногого бога и стала жить чужой жизнью. Да, все окружающее было ей чужим: чужая семья, чужой дом, чужая работа, чужое солнце. Это казалось неправдоподобным. Таня не понимала такого чувства и не верила в него. А эти ошалелые от счастья лица? Ты веришь им? Верь не верь, а они смотрят на тебя из дали лет, столь же несомненные, как прозрачный камешек, лежавший когда-то на их ладонях, как сорванная ими веточка тамариска. Они были, они есть, потому что стали горестной частицей тебя самой. Я не видела и никогда не увижу такой любви. И тут она вспомнила гримасу горечи, искажавшую порой серьезное, суховатое лицо отца. Это был другой образ того же чувства. Отец был влюблен в мать, влюблен безответно, и не обманывал себя на этот счет. Он не искал никаких секретов, никаких тайн, ему все было слишком хорошо известно, он хотел уничтожить последнюю

память об убитом, вымарать его из судьбы матери. Зачем? Кого он пытался этим обмануть?..

Таня вдруг заметила, что плачет. Чего я плачу? Мне жалко, что у таких дивных, сказочных людей ничего не вышло. Им бы жить, как у Грина, долго и умереть в один день. Но они умерли поврозь, и ушедшему раньше было легче. Она поцеловала карточку матери. Сладковатый запах долго пролежавшего в коробке картона показался ей запахом загорелой кожи. Ей хотелось поцеловать Павла, но было стыдно перед матерью.

Это было началом долгой игры. По странному совпадению, отец прекратил свои поиски. Теперь он часто вечерами уходил из дома, оставляя Таню одну. У нее создалось впечатление, что отец загулял в партнерстве с собственным сыном. Надо полагать, Пашка являлся не только партнером, но и наставником, поскольку в некоторых отношениях был куда взрослее, искушеннее своего старомодного отца. Что ж, каждый спасается как может. Наверное, отцу в самом деле невыносимо сидеть в пустой, немой квартире, пропитанной больной памятью. С некоторых пор Тане стало казаться, что ее усиливающееся сходство с матерью: она стала носить материнские кофточки и юбки, причесываться, как мать, пользоваться ее косметикой и духами, завела туфли на высоком каблуке, чтобы подравняться ростом, тревожно и неприятно отцу. Но его душевный комфорт мало ее заботил.

Она пребывала в замечательном совместном приключении с Анной и Павлом. Ей было мало рассматривать фотографии, нюхать засохшую веточку тамариска, перекачивать во рту гладкий теплый камешек-сердолик, она стала придумывать общую жизнь с опасными похождениями, охотой на львов, ночными кострами, нападениями дикарей, смертельными подвигами ради спасения друг друга. У неразлучной тройцы появился спутник — огромная собака, похожая на сенбернара, только черная, по кличке Кузя. Самозабвенно предаваясь этим фантазиям, Таня ловила себя

на том, что порой как бы подменяет мать в перипетиях захватывающей жизни, может, не подменяет, а сливается с ней, теряя ощущение раздельности своего и материнского «я». При всей своей юной просвещенности она не догадывалась, что разыгрывает старую, старую пьесу под названием «любовь втроем».

Как распалась строгая, налаженная жизнь профессорской семьи! Отец с сыном кутили, а дочь погрузилась в фантастический мир, сотворенный из нескольких фотографий, записки, розового камешка и засохшей веточки.

В какой-то момент здоровые силы Таниной натуры восстали против этой возни с призраками и противоестественного затворничества.

Ее давно уже домогалась антикварная компания, и Таня откликнулась на призыв. Она была удивлена и польщена тем сильным впечатлением, какое произвела на этих бывалых людей. «Тебя нельзя оставлять одну», — сказал Оскар Уальд, весь лучась грешным доброхотством. «Она нашла свой стиль», — заметил Роберт Кеннеди. «Если и дальше так пойдет, что с нами будет?» — растерянно спрашивал парижский художник. «Не знаю, что будет с вами, — мрачно изрек русский барин, — но моя семейная жизнь разлетится вдребезги». Улыбаясь, Таня подумала: «Просто я стала похожа на мою маму».

И полетели дни, кружась проклятым роєм, но вино и страсть не терзали Танину жизнь. Ей как-то не пилося и не игралось. Она сама знала, что изменилась, причем не только внешне, а вот окружающие не изменились ни на волос. Они были слишком взрослыми людьми, чтобы меняться, но могла бы за истекшее время возникнуть хоть какая-то новая интонация, новая тема в разговоре, какой-то сдвиг настроения, они словно окаменели в своем образе. Как же она раньше не замечала, до чего однообразно их времяпрепровождение не только по общему сценарию, но даже в подробностях. Одними и теми же присказками сопровождался заказ официанту (и брали всегда одно и то же),

первый тост был «со свиданьем», и все смеялись, «пьем рывчуном» предупреждал художник, и опять смеялись; русский барин рассказывал новый анекдот, больше не полагалось — дурной тон, затем ковбой оговаривался противным выражением «всю дорогу», и его дружно корили за дурной американизм, после — короткая хроника светской жизни, зарубежные новости, между горячим и кофе — «междусобойчик»: быстрая деловая шебуршня, в то время как ее кто-то кадрил на вечер, и уже официант приносит счет, и Роберт Кеннеди цедит: «Прокофьич, вы хотите нас разорить?» — «Вас разоришь!» — отзывается ко всеобщему удовольствию, Прокофьич, и кончен бал. Им это однообразие не приедалось, они были очень занятые люди, заинтересованные в своем азартном деле, требовавшем немалых усилий, и необременительная привычка разрядки награждала их, помимо сытости и легкого опьянения, верой в незыблемость миропорядка.

Перекачивать во рту сердолик и охотиться на львов было увлекательней. Все с меньшим желанием откликнулась она на зовы «Астории» и «Европейской», лучше валяться на тахте и мечтать — не о будущем, о прошлом.

Но от будущего не отмахнуться. Что ждет ее впереди? Выбор невелик. Технический переводчик звучит солиднее, чем экскурсовод, но при одной мысли о табеле ее прошибал холодный пот. Что угодно, только не учреждение с его распорядком, тяготящим бездельем и профсоюзными собраниями. Экскурсовод — это все-таки посвободнее, больше воздуха и движения. Всю жизнь мечтала водить группы пусто-любопытных и каменно-равнодушных туристов, молодящихся накрашенных старух с лошадиными челюстями и веселых старичков в панاماх с цветными ленточками. Запихивать их в автобус, то и дело пересчитывать и умирать от страха, недо считавшись одного, застрявшего в сортире. Делать любезное лицо, ускользать от прямого ответа, еще чаще — грубо врать во славу родины, и все равно нарваться на донос. А высшую награду за терпение, изнурительную возню и унижение —

дрянной сувенир — подарить этажной горничной. Вершина удачи: повезти группу отечественных путешественников за бугор. Пересчитывать их еще чаще и нервнее, мешать им делать, что они хотят, а потом строчить телегу на жалких запуганных бедолаг, глотнувших дивный «воздух свободы». И так всю жизнь? Бог мой, лучше повеситься.

А чего она хочет? Да ничего, вот чего! Художественный перевод — это для родителей, их гостей, чтобы отвязались, отчасти для самой себя, чтоб не думать о выборе профессии. Ей это скучно. Она не любит читать. Надо жить собственной жизнью, а не читать про каких-то придуманных людей. Какое ей до них дело? Ну, так чего тебе надо? Смеяться во все горло на морском заплеске, глядеть ошалело на своего смуглого бога. Собирать разноцветные камешки, обрывать ветки тамариска, играть с Кузей, кусать его за ухо и все время видеть удлиненное, суженное в висках лицо и светлые, как вода, глаза. Все остальное не стоит ломаного гроша. Но этого не будет...

Однажды в воскресный день Пашка зашел за отцом, чтобы ехать в Сестрорецк ловить корюшку. Был он приметно навеселе.

— Допрыгаешься, — сказала Таня. — Отберут права.

— Так я для запаха, — засмеялся Пашка. — А права у меня давно отобрали.

— Как же ты едешь?

— Без них. Так спокойнее. Если что — сую десятку и никаких проблем.

Беспечная его самоуверенность разозлила Таню. Она вспомнила, что все Пашкины спортивные мероприятия: охота, рыбалка, гонки на скутерах, теннис — неизменно кончаются пьянкой.

— Зачем ты разлагаешь отца?

— Что мне, за его нравственностью следить? Он совершеннолетний.

Таня заметила на руке брата новые часы «ролекс» — мечта всех пижонов. Пашка вообще очень преуспел за по-

следние месяцы: новая дубленка, кожаная куртка, поляроид, ослепительные галстуки. Видимо, скрашивая отцовское одиночество, он добрался до его кассы. Тане это было безразлично, но маленькая обида за отца все-таки шевельнулась.

— Ты бы его здоровье пожалел. Отец не мальчик.

— Он нас с тобой переживет! Железный старик.

— Как-то непочтенно все это, — покачала головой Таня.

— А в нашей семье все непочтенно! — озлился вдруг Пашка и весь как-то выострился. — Но рекорд поставила мамахен. Встретила на Богояре свою первую любовь, безногого калеку, и выдала ему с ходу чуть не на пристани.

Она ударила Пашку кистью руки по глазу с такой силой, что он упал спиной на диван. Заорав не столько от боли, сколько от неожиданности, он вскочил и хотел кинуться на нее, и тут увидел в руке сестры нож для разрезания книг с длинным, узким лезвием. Но страшнее ножа было ее остервенелое лицо.

Боль показалась нестерпимой лишь в первое мгновение и сразу отпустила. Глаз не пострадал, хотя синяк останется.

— Ты мне за это заплатишь, дура психованная! — Но в голосе не было особого ожесточения.

— Поговори еще!

— Думаешь, хозяйкой тут стала? Отец скоро новую мамочку приведет.

И, путив эту парфянскую стрелу, Пашка отбыл.

Она пропустила последнюю фразу мимо ушей. Это ее не интересовало. Надо было разобраться с главным. Пашка был врун, но тут он не мог соврать. Его истерическое хамство было правдой. Что ж, тогда все сходится. Речной моряк сказал: она плыла к берегу. И еще он сказал загадочно: ей был голос. Конечно, никто ее не звал с берега, на таком расстоянии, за шумом парохода она бы и не услышала, но голос прозвучал в ней самой и бросил ее в реку.

Конечно, Анна плыла к Павлу. Она прекрасно плавала. Но вода была слишком холодной, а сердце слишком усталым. Почему она не осталась с ним? А как она могла остаться?

Где? В убежище для калек? Обратное — это порыв, тут нет ни расчета, ни житейских соображений, остаться — быт. Наш страшный, вязкий, опутанный множеством условностей и правил быт. Чтобы соединиться с ним, надо было уехать. Уйти, чтобы остаться... «Зачем я играю словами? — подумала она удивленно. — Я что, с ума съехала?»

Но мать — вот человек! Ни о чем не думая, ни с чем не считаясь, ничего не стыдясь, никого не щадя, кинулась в объятия любимого. Да, так было, только так и могло быть у этих смутных богов. У богов... Но это пожилые люди, почти старики, не видевшиеся чуть не сорок лет. И ко всему он калека, обрубок. Что же такое было в Анне, если она, колеблясь, швырнула на ветер всю свою жизнь? И что же такое было в нем, в половине человека?.. Неужто так сильна и ослепляюща память о прежнем облике? Какая чепуха! Это скорее должно было отторгнуть Анну от него, сегодняшнего. Конечно, и мать сильно отличалась от белозубой девчонки на морском берегу, но она сохранила красоту и стать, какую-то благость облика. А что сохранил этот несчастный? Небось его убежище не краше лагеря, а обитатели — те же ээки, только искалеченные. Какая там грязь, вонь от немых тел, дезинфекции и крыс — тошный дух советского общежития. Кровяной толчок из сердца в мозг может на миг погасить сознание, но так забыться — невероятно. А еще невероятней, по миновании умопомрачения, уже владея собой, кинуться в ледяную воду, чтобы вернуться к кому?.. К призраку. Значит, он снова стал ей прекрасен и важнее всего на свете: дома, семьи, мужа, репутации, снова захлебно, ошалело любим в нынешнем убогом облике... Боже мой, неужели так бывает в жизни?.. Господи, неужели жизнь все-таки есть?..

...В это майское утро земля наконец-то проснулась, как после долгого и тяжелого сна. Зима началась рано — в ноябре, и не сдавала позиций до конца апреля. В середине месяца выпало несколько сухих, хотя и угрюмых, дней, когда



показалось, что весна будет, но опять повалил снег — густой и липкий, накрыл землю плотной с виду, влажной белизной, глубокого проминающейся под лапами зверей и птиц. К праздникам снег внезапно стоял, как-то робко, на солнечной стороне зазеленела травка и проклюнулся первоцвет. Веточки деревьев, кустов у одних позеленели, у других покраснели, но даже торопыги-ветлы не опушились. Земля оставалась нищенски голой, и ничем не пахло. А вот сегодня очнулись запахи; пахло все вместе — пробуждением, и пахло радельно: трава, кора, почки, мох, корни, купающиеся в талых водах, — каждый аромат легко вынюхивался в общем потоке.

Но калеку, пеньком торчащего на пароходной пристани, близ сходней, игры природы мало трогали, как и все творящееся вокруг. Он лишился надежды, и жизнь стала машинальной, он только присутствовал в ней, не деля ее волнений, ее великолепия и страданий. Когда он впервые притащился сюда на майские праздники, уже зная, что ждать ему некого, что правдой оказалась беспощадная сплетня, он правил тризну, и душа его была полной и сосредоточенной. Он вглядывался в лица сходивших на пристань людей, словно призывал их к соучастию в своем молчаливом обряде, и не обижался на то, что они этого не понимают. Его замечали, многие знали о зловещем богоярском убежище, иные слышали о бурном выселении калек, хотя едва ли кто знал всю правду, а главное, уроды притягательны, за ними ощущается нечто большее, чем просто несчастье, — перст судьбы, божья кара, знак каких-то тайных, зловещих, предостерегающих сил. Это давно перестало раздражать, сам он чувствовал себя в одном потоке жизни с двуногими. Он провел значительный день на берегу, не вступив ни с кем в общение, хотя, по обыкновению, нашлись добрые и беспокойные люди, которым хотелось деликатным приставанием выразить сочувствие несчастному.

Он думал, что больше не пойдет на пристань, но миновала неделя, и он опять притащился сюда. И оказался пуст, как грецкий орех. Воздержаться от похода-прополза было

куда труднее, чем исполнить то, что стало для него непреложным, как нервный тик. Попробуй воспрепятствовать сокращению лицевого мускула — с ума сойдешь, нет, пусть лучше дергается.

Он стоял и смотрел на выматывающуюся из нутра парохода пеструю ленту пассажиров, не вглядываясь в лица, не испытывая к ним ни малейшего интереса. Потом машинально, как он и все делал сейчас, стал подсчитывать, сколько раз мотался он на пристань. Прежде он очень любил всякие игры, связанные с цифрами, в студенческие годы ходил в гениальных математиках за способность производить в уме сложные вычисления. Потом эта способность пропала, возможно, в связи с общим ослаблением памяти. И хотя подсчет был не особенно сложен, он сбился, забыв, сколько дней пропустил из-за бунташных дел. Наплевать и забыть. Как смазались все дни в его памяти, за исключением одного-единственного, когда он увидел Анну! И вот что странно: узнавание было мгновенным, а кажется, что оно обладало длительностью. Анна «проявлялась» в воздухе, как детская переводная картинка, становясь все отчетливей, ярче, жизненней. И в какой-то миг он поверил, что она действительно есть, и умер, и очнулся, когда она тоже узнала его. Потом оказалось, что она увидела и узнала его первая, но не поверила себе. А поверила его глазам, вдруг просиневшим из темной глубины. А Павел забыл, что в молодости взгляд его синел и голубел, он привык видеть в уломке бритвенного зеркала свинцовую серость глаз.

Его воображение стало таким сильным, что проецировало рождающиеся в нем видения на окружающий мир. Анна шла по сходням с рюкзаком в напрягшейся руке. Сойдя, она опустила рюкзак на землю и медленно, как при замедленной съемке (на самом деле убыстренной, ибо это и дает медленность в проекции), двинулась к нему. Он вздрогнул, стяхнул дурман и понял, что Анна идет по земле. Значит, она не умерла? Значит, право было его вешнее сердце?.. Боже мой, как она молода, такой она была в их последнюю встречу,

когда он уходил на фронт. Нет, не она ожила, а он умер. Прекрасная смерть — без боли, без муки, без малейшего затруднения в переходе рубежа. Знать бы заранее, что смерть — это возвращение утраченного, стоило ли тянуть эту лямку? Но в чем-то должен быть подвох, у него никогда не бывало иначе. Или сама смерть окажется подвохом, или его посмертная судьба будет под стать земной: Анна растает, исчезнет, не достигнув его рук и наделив новым томлением, или ее отнимут. Или они окажутся немы, лишены дара прикосновения, ну же, работай, моя неудача!..

Молодая Анна приближалась.

Чем дальше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Павлом на фотографии. Конечно, они были разные: юноша и почти старик. Нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его литому, смугловатому, гладкому, жестко-красивому лицу и стальным, неморгающим глазам. Ему не дашь и пятидесяти. Но в морщинах возле глаз и на шее, куда не проникло весеннее солнце, кожа уже не кажется молодой, ему под шестьдесят. И вдруг его сходство с тем Павлом, которого она несла в себе, исчезло. Если бы Павел остался в живых, он старел бы иначе, ведь по-настоящему добрые люди с возрастом становятся все добрее, их юная неосознанная снисходительность к окружающим превращается в сознательное всеохватное приятие жизни. И никакое несчастье, даже злейшая беда, постигшая этого солдата, не могла бы так ожесточить светлую душу Павла и омертвить его взгляд. Это другой несчастный, отдавший войне больше чем жизнь. И тут калека медленно повернул голову, солнечный свет ударил ему в глаза и вынес со дна свинцовых колодезев яркую, пронзительную синь.

— Паша! — закричала она, кинулась к нему и рухнула на землю. — Паша!.. Паша!.. Паша!..

Калека не шелохнулся, он глядел холодно и спокойно, словно это его ничуть не касалось.

— Ты опять ждал меня!.. Ты не знал, что меня нет? Или не верил?.. — допытывалась Анна.

Таких слов тогда не было, да и быть не могло. Это не повторение. Тогда у нее была вспышка гнева, и Корсар кинулся на защиту. Но не было в ней гнева и не было Корсара, уничтоженного охранниками в первые дни бунта. Да Корсара и не может быть тут, у собак другой рай. Но тут настоящее опять совместилось с прошлым, незабвенный голос Анны сказал:

— Идем... Идем вон туда.

Они не ушли далеко, но пристань со всем населением скрылась за пологим, неприметным взгорком, а им достался уединенный мир, вмещавший лишь природу и две их жизни.

После, когда он отпустил ее, она спросила:

— Так все было, Паша?

Ему странно было слышать свое уменьшительное имя из уст этой девочки, странно и нежно.

— Я знаю, кто ты, — сказал Павел.

— Да, я дочь Анны, Таня. Ты не ответил.

— А можно об этом спрашивать?

— Я думала, ты храбрее.

— Любой человек не храбрее самого себя. Она утонула?

— Ты не знал?.. Она не смогла уехать. Нет, это не было самоубийством. Она хотела вернуться к тебе. Ты убил ее.

— О чем ты?

— Ты прогнал ее.

— Нет, я сам ушел... Уковылял, уволокся, уполз, называй как хочешь!.. Ладно, — сказал он вдруг, клацнув челюстями. — Я убил ее. Зачем ты приехала к убийце?

— Не знаю. Наверное, мне хотелось, чтобы Анна доплыла.

Он пристально посмотрел на нее, и глаза у него опять были свинцовые, тяжелые.

— Мудрено. Темно. И пусто... Это ваше проклятое очарование!.. Я урод, калека, поползень, старик, что вы хотите от меня?

— А-а, теперь я понимаю, как у вас все было!.. Нет, Паша, ты в порядке. Это я была калекой, а ты меня вылечил.

Он оторопело посмотрел на нее. Что-то начало проступать из тумана.

Она порылась в своих вещах и достала розовый камешек.

— Узнаешь?

— Боже мой!.. Я помню, как нашел его. После шторма, в Сердоликовой бухте... Значит, прошлое не выдумка. Была молодая Аня, был я на длинных ногах. Бегал, прыгал, собирал разноцветные камешки. И казалось, будет тысяча лет с нею... А была тысяча лет без нее. — Он оборвал и вдруг резко, почти грубо спросил: — Что ты от меня хочешь?

— Только то, что ты мне можешь дать. — Она улыбнулась и обняла его. — От тебя пахнет смолой, сосновой корой, теплой, влажной землей...

— Проще — могилой...

Уже начала по-вечернему сыреть трава, когда послышался пароходный гудок.

— Собирают пассажиров. Тебе пора.

— Я не Анна, — сказала Таня. — Я современная девочка. От меня так просто не отделаться.

— Ты в своем уме?

— Мать — милая, бедная, деликатная... Поддалась самолюбивому бреду калеки-истерика.

— Замолчи! Хватит!

Таня кончила одеваться. Вещи были мокрые, холодные.

— Идем домой. Я замерзла.

— Ко мне нельзя, — сказал он хмуро. — Здесь монастырь.

— А ты принял постриг? Какой банальный сюжет: соблазнение монаха.

— Не дурачься. Я в самом деле не могу тебя взять с собой, даже если бы хотел.

Она пропустила конец фразы мимо ушей.

— Почему? Я не рвусь на ваше подворье. Но есть там какая-нибудь сторожка, заброшенный сарай, собачья будка?.. Нет, построим шалаш. Поговорку знаешь?

Была банька прежнего медицинского начальства, которой монахи не пользовались. Все их службы находились внутри кремля. Там можно было устроиться на какое-то время. Павел и секунды не верил в продолжительность этой чересчур неправдоподобной сказки. Хотя сюда ее привели не только взбаламошность и желание приключения. Она то ли искупала какую-то вину перед матерью, то ли мстила ей, то ли, позавидовав, хотела присвоить ее тайну. А может, это желание заpastись прошлым, слишком гладко, бессобытийно течет благополучная, обеспеченная жизнь. А может, все уходит в тайну пола?.. Но то, в чем она почти напрямую призналась ему, этой тайне непричастно. Нежданная, а вдругжданная? — премия за дикий с виду, но внутренне оправданный поступок. Ему в этом не разобраться, у него слишком маленький опыт с женщинами. И уж давно с женщинами ее среды и столь юного возраста...

Они устроились в брошенной баньке.

Утром — не успели чаю попить — за Павлом пришли. Его требовал к себе настоятель.

— Начинается, — сказал Павел. — Монастырь — копия нашей страны — весь на доносах.

— Не разуживай себя, — сказала Таня. — Поговори с ним по-человечески.

Вернулся Павел неожиданно скоро. Разумного разговора не получилось. Настоятель — человек жесткий и грубый — сказал, что не потерпит блуда под стенами обители. Павел спросил, почему же он разрешает его в стенах обители, ведь известно, что все монахи либо мужеложцы, либо рукоблуды. Старика чуть кондрашка нехватила. Что там началось!.. Павел расшвырял братию и ушел.

— Ты провокатор, — голосом Анны возмутилась Таня. — Хочешь, чтоб меня вышвырнули отсюда? Я сама с ним поговорю.

— Зачем нарываться на хамство?

— Никакого хамства не будет. Угомонись.

Она вышла, озадачив Павла своей взрослой уверенной интонацией. Так могла бы говорить Анна в остуди лет, немолодая, много пережившая женщина, умеющая и привыкшая брать на себя ответственность. Но она не взяла на себя ответственности в их последнюю встречу, подчинилась его дури... самолюбивому бреду калеки-истерика. Как эта девчонка сумела понять такое и как отважилась бросить в лицо безноготому? Странное существо, совсем не похожее душевным складом на молодую Анну и, возможно, очень похожее на ту, какой Анна стала.

Павел ничего не ждал от разговора Тани с настоятелем. Ему даже хотелось, чтобы скорее все кончилось. Почему судьба играет с ним в такие непонятные, острые, больные игры? Он был простым, бесхитростным, веселым парнем, влюбленным, красивым, без каких-либо завышенных требований к жизни. Он считался способным, даже талантливым, и наверняка стал бы хорошим инженером, опять же не заносясь высоко. Он хотел простой и ясной жизни: Анна, дом, дети, друзья, море, горы. А вышло ему увечье, малина, убежище. Хорош его послужной список: солдат, продавец рассыпного «Казбека», уголовник-ножебой, пахан инвалидного узилища, предводитель безногого бунта, монастырский трудник. И ко всему еще — донжуан с кожаной задницей.

Скорее бы все кончилось. Зачем ему это немилосердное наслаждение? Нельзя привыкать к ней, нельзя допускать себя до страха потери. Сейчас она еще не отделилась от Анны и если сразу уедет, то не увеличит утраты. Останется в памяти насмешливой и милой улыбкой судьбы.

Таня не возвращалась, и он начал беспокоиться. Он не хотел нового унижения, слишком много было их в его жизни. Он поклялся себе: если Таню оскорбят, он спалит монастырь.

«Как трудно жить, — думал Павел. — Случалось ли у меня, начиная с войны, хоть одно немучительное сближение с жизнью? Дико подумать, но у нас, богоярских, до бунта была относительно легкая жизнь, ее обеспечивала

наша изолированность и безответственность. Но жизнь, где люди трутся друг о друга и должны что-то решать, неизменно трудна. И каждый старается сделать ее другому во все невыносимой. Чем Таня помешала божьим людям? Им бы радоваться, что обобранному кругом человеку добром посветило. Куда там, нарушены их ханжеские правила, разве может с этим примириться провонявший ладаном партком». Он еще предавался злым и бесполезным мыслям, когда вернулась Таня. Улыбающаяся, хотя видно, что она плакала.

— Нам поставят домик. А пока можно оставаться здесь.

— Кто это нам поставит? — сказал Павел. — Я тут один плотник.

— Вот ты и поставишь, а монахи помогут.

— Чудеса! Воистину, чудеса! Чем ты его взяла?

Она пожала плечами.

— Он хороший старик. Ты зря ему нахамил.

— Я только огрызнулся. Так что ты ему сказала?

— Все как есть.

— Зачем?

— А тут нельзя врать.

— Ты лучше меня. Я бы так не мог. А что он?

— Благословил. И согласился нас обвенчать.

Павел засмеялся каким-то лающим смехом.

— Ну, ты даешь!

— В загс тебя не вытащить, надо в Ленинград ехать. И вообще это мерзость. Половой райком. Мы оба не были в браке, значит, имеем право на церковное венчание.

— Тебе не кажется, что все это заходит слишком далеко? — тихо, с занимающейся яростью спросил Павел.

— О чем ты? Я не придаю значения всяким формальностям, но тут в самом деле монастырь. Надо с этим считаться.

— А тебе не кажется, что я мало гожусь для роли жениха?

Она окинула его критическим взглядом.



— Кажется. Но что поделаешь, какой есть. Ты что так разволновался? Это же не завтра будет. Поставим дом, обустроимся. Нас никто не торопит.

— Послушай, — сказал он с поразившей его самого беспомощностью. — Зачем тебе все это надо?

— Я хочу здесь остаться.

Это прозвучало искренне. Но почему она ни разу не спросила: любит ли он ее? Или любовь казалась ей настолько естественной, непреложной, что и спрашивать нечего. Или же... Но другое соображение припахивало серой, как в царстве нечистой силы или старых ленинградских подъездах: он вступает в брак с Анной, и тут никакие признания не нужны.

Оставалось надеяться, что она очнется от наваждения и удержит, что озеро поглотит остров — такие случаи бывали, или наступит конец света. Надежда, как известно, последней покидает человека. Прогнать Таню он не мог...

Павел поставил дом, монахи ему дружно помогли. Настоятель освятил жилье и подарил новоселам мебель, за которой посылал в Эстонию. После чего напомнил, что теперь следует узы любви скрепить законным браком. У Павла не хватило решимости сказать: зачем вы замешиваете старого, серьезного, печального человека в дурное шутовство?..

В дни, предшествующие венчанию, он настолько не владел собой, что стал сам себе противен. Особенно раздражало его, что окружающие относятся к предстоящему таинству всерьез, ему легче было бы поддерживать тон грубоватой мужской шутливости. Он стал подозрителен и все время следил за Таней, что она выдаст свои скрытые намерения. Но она вела себя как влюбленная женщина.

Монахи сделали ему для венчания кресло-каталку на велосипедных колесах. Он наотрез отказался воспользоваться им.

— Я не могу венчаться на велосипеде.

— Так будет удобнее и тебе, и священнику, — уговаривала его Таня.

— Кому нужен этот обман? Ты идешь замуж за недомерка. Кстати, еще не поздно отказаться.

— Не может быть, чтобы ты всегда был таким, — сказала Таня. — Да и сейчас ты не такой.

— Именно такой. Старый злой калека.

— Нет, я верю матери, а не тебе.

Очередной скандал он закатил, когда его решили принарядить — где-то раздобыли черный пиджак и рубашку с галстуком.

— Я не витринный бюст, а живой обрубок! всю жизнь я проходил в гимнастерке и не желаю менять своих привычек.

— Ты мне казался человеком без комплексов. Что с тобой случилось?

— Каждый хорош только в своей роли, — упрямом сказал Павел. — Я из гиньоля, а вы суете меня в бурлеск.

— Тебе не приходит в голову, что я тоже в этом участвую? За что ты меня оскорбляешь?

Она сидела и шила из длинной белой ночной рубашки подвенечное платье. Так не играют, подумал он. Даже если у нас все кончится и она уедет, это останется для нее переживанием. Для всякой хорошей женщины свадьба — событие души, которое не забывается. Она шьет это жалкое платье, и у нее серьезное, глубокое лицо. И как умело она шьет. У нее хваткие хозяйственные руки. Как у Анны. И разве дала она мне право на мои гнусные выходки? Ты ищешь какую-то неправду, а куда девать правду наших ночей? Все, засохни, заткнись, веди себя как человек.

— Я не ломаюсь, — сказал он. — Мне непривычно все это. Я выстираю гимнастерку, подошью чистые подворотничок и ленточку «за ранение». Надену свои медали. Я никогда никем не был, только солдатом, и то совсем недолго. Я хочу быть перед аналоем в своем естественном и достойном виде.

— Спасибо, Паша, — сказала она и перекусила нитку.

И оттого, что он взял себя в руки, все прошло как нельзя лучше. Нежелание сесть в коляску создало ряд неудобств, но отец настоятель — он совершал обряд — помог преодолеть их. Таня плакала, да и у многих монахов глаза набухли. Павел не позволил себе растрогаться, но, когда он надевал Тане кольцо на палец, что-то в нем подозрительно пискнуло.

..Теперь Павел жил как бы в двух измерениях. В одном он делал все, что положено нормальному мужику: работал как оглашенный, в свободные часы ходил с Таней в лес по грибы, ягоды и лекарственные травы — надо было запастись на зиму, ночью любил жену с пылом юности. В другом — он как бы со стороны наблюдал свою жизнь, такую простую, естественную и такую ненастоящую. На свадьбе он ненадолго утратил контроль над собой, позволил двум измерениям слиться в одно, но эта цельность была самообманом, от которого надо было поскорее избавиться, что он и сделал.

Требовалось приучить себя к мысли, что она вскоре уйдет. Как бы ни заигралась Таня в сложную и непонятную ему до конца игру (возможно, она и сама не все понимала, слишком много мотивов сплелось тут), нельзя же молодой женщине жить такой противоестественной жизнью. Теперь он знал, что и с Анной у него тоже ничего не вышло бы ни здесь, ни, подавно, в городе. Слишком много жизни пролегло между Сердоликовой бухтой и Богояром, а тяжелое увечье обременительно для постороннего сознания. Это не то, к чему можно привыкнуть, что можно не замечать. Он и сам забывался среди себе подобных, а с двуногими постоянно ощущал свою «заниженность», и ненависть ходила возле сердца. Лишь однажды он напрочь забыл, что он калека, — с Анной. Он ломался под калеку, юродствовал, но не был им, зная, что он сильнее. С Таней было другое. Он мог сколько угодно, бравлируя внутренней свободой, независимостью, называть себя обрубком, недо-

человеком, огрызком, это не приносило освобождения, те же слова, но уже без балды, а серьезно и угрюмо звучали в нем самом. Их больной шум замолкал только ночью, вытесняясь ликующим ощущением власти над трепещущей женской плотью. Тут все было без обмана, без игры, без умственных и душевных вывертов. Бывает, очевидно, физиологическая избирательность: он был мужчиной этих двух женщин: матери и дочери. Быть может, бессознательная угадка, пронизательность пола и привели сюда Таню. Конечно, он упрощает, но истина где-то рядом.

Павел почувствовал облегчение, когда в исходе сентября Таня сказала, что ей надо съездить в Ленинград. Стояло бабье лето с тихими, теплыми, безветренными днями, длинной паутиной, парящей в воздухе и пристающей к одежде, сучьям деревьев, сухому былью давно отцветших иван-чая и чертополоха.

В один из таких погожих дней погода вдруг резко испортилась, похолодало, задул сильный ветер, воздух наполнился тихим шорохом осыпающейся листвы. Прямо на глазах стали обнажаться березы и осины. Ветер нагнал облака, зарядил дождь, пали глухие сумерки, даже не верилось, что где-то за свинцовой, с примесью сажи, наволочью еще светит в небе солнце.

Они только пообедали, и Таня убирала со стола.

— Как мрачно! — Она зябко поежилась.

— Это еще не мрачно, — сказал Павел. — Завтра развиднеется. Вот в ноябре станет мрачно. Потом выпадет снег, и опять посветлеет.

Она перестала вытирать стол, задумалась.

— Надо подготовиться к зимовке. Как у тебя с теплыми вещами?

— Нормально. Ватник, ушанка, варежки, теплое белье.

— А я явилась по-летнему, — сообщила она, будто он сам этого не знал. — Придется сгонять за зимними шмотками. И надо не тянуть, а то еще кончатся рейсы.

— Да, лучше не тянуть, — сказал Павел.

...Среди ночи Таня, спавшая всегда очень крепко, вдруг проснулась и села на кровати.

— Что там стучит?

Павел, который не мог заснуть, сделал вид, что она его разбудила.

— А-а?.. О чем ты?.. Это еловые шишки. Их отряхивает ветер. Неужели ты их слышала?

— Да... Как это тревожно... и хорошо.

Он услышал сквозь заоконный стук другой — близкий и слабый стук ее сердца.

— Ты испугалась?

— Не знаю. Дай твою руку.

«Трудно тебе уехать, бедная?» — спросил он про себя.

— Ты не провожай меня завтра... Я одна быстрее.

— Сегодня, — поправил он. — Уже суббота.

— Боже мой, правда!..

— Как скоро ночь минула, — усмехнулся он.

...Оказывается, Ленинград значил для нее больше, чем то казалось на острове, возле Павла. Несколько озадачило поначалу, что город так неказист. В памяти он был из «Медного всадника»: строгий и стройный, весь в граните и узорах чугунных оград. Как же поиздержался Петрополь! Нева словно высохла, вода опустилась, и по береговому граниту тянулись зеленые полосы речной плесени; листья необлетевших деревьев превратились в бурые жестяные скруты; сеялся мелкий холодный дождик, но не было пушкинского желания опробовать его пальцами. Удивило обилие необитаемых домов с выбитыми стеклами, иные — облизаны черным языком пожара, иные — в обставе лесов брошенного ремонта. На город махнули рукой, предоставляя ему вернуться в болотистую почву, из которой его некогда выдернул Петр.

И все же радовало, что она опять в Ленинграде, что светла адмиралтейская игла и что можно позвонить по телефону. Девственная жизнь на острове имеет много прелести, но телефон — отличная штука, и перспектива помыться в ванне вместо прелой баньки тоже манила. Ей

вдруг стало весело, а этого не хватало на острове, где все было как-то чересчур серьезно. И еще — ей надоел немолчный шум деревьев и ржавые крики чаек. Насколько приятнее редкие автомобильные гудки.

В квартире оказалась только Дуся, возвышенная из проходящих в постоянно живущие. Отец уехал отдыхать на Кавказ. Помявшись, Дуся сообщила, что он уехал не один. «Он женился?» — спросила Таня. «Я в его паспорт не заглядывала. Гражданочка эта, Нина Константиновна, у нас не прописана». Таню все это мало волновало. Хорошо, что отца нет. Павел никогда не спрашивал об отце. Как-то раз она сама заговорила о нем. «Мы знакомы», — отрубил Павел и пресек дальнейший разговор. Значит, они знали друг друга до войны, в пору любви Павла и Анны. Почему-то она сразу решила, что отец сделал подлость Павлу.

У Тани было много дел: пойти в парикмахерскую и к маникюрше, забрать дубленку из морозильника, что-то постирать, погладить, починить, достать батарейки для магнитофона, пленку для фотоаппарата и, как полагается каждой женщине, тысяча других мелочей. Наверное, все эти дела требовали не так уж много времени, но ей не хотелось торопиться. Приятно было зайти в «Север» и съесть бульон с курником, шоколадное мороженое, выпить чашку крепкого кофе; имелись и другие хорошие места на Невском, где было уютно посидеть, разглядывая прохожих, законное движение толпы, и ни о чем не думать. Наверное, она устала на Богояре, не физически, а душевно устала. Она не вспоминала об острове, если же в мозгу начинали покачиваться верхушки сосен, она старалась как можно скорее прогнать видение. Гнала она прочь и родной, скорбный, утомляющий даже издали образ Павла. Но он напомнил о себе весьма решительным и не вовсе неожиданным способом. Таня была у врача, и тот сказал, что она будет матерью. «Ты родишь сына», — приказала себе Таня, и перед ней возник дочерна загорелый, хохочущий, великолепный пляжный Павел. Что надо будет у нее паренек.

Ей захотелось немедленно обеспечить своего сыночка приданым. Хотя ждать еще полгода, да ведь на Богояре ничего не купишь. «На Богояре? — удивилась она. — Почему на Богояре?..» За окнами Ленинград погружался в фиолетовые сентябрьские сумерки. Зажглись фонари. Некоторое время их свет останется в колпаках, не смешиваясь с тем светом, который еще насылают небо. Потом он расплывется в темноте и станет ночным солнцем города. Она больше всего любила этот переходный час. В природе его нет, или он там совсем другой, она его не замечала. Ей нужна ленинградская фиолетовая стыковка двух светов.

Пока Таня занималась своими делами, у нее не было желания кого-либо видеть. Но, покончив с ними, она с удовольствием вспомнила, что есть в городе люди, которые хотели бы увидеть ее. Она вспомнила крылатку, трость, бархатный пиджак, обшитый лентой, пышный бант Оскара Уальда и решила начать с него. Ей вежливо сказали, что он находится в «Астории» и дали телефон. Она позвонила и услышала протяжно-гнусавое, ленивое: «Да-а?» Она назвала себя. «Танька!.. Ах ты, пропащая душа!» — человеческим голосом сказал денди с 6-й линии. Он устал от семейного компота, и журналист-международник уступил ему свой номер, а сам уехал проветриться в Усть-Нарву. Оскар Уальд спросил о ее делах, и Таня могла поклясться, что в голосе его опять прозвучала живая заинтересованность. Но, услышав, что все о'кей, он сразу успокоился. В этой компании было принято довольствоваться тем, что человек сам о себе сообщает, и не лезть в нутро. Чрезмерная деликатность отдавала холодком, но упрощала жизнь. Тане равно приятны были и проявленное к ней внимание, и вовремя поставленная точка. С этой минуты ею овладела какая-то волшебная легкость.

С головой, наполненной солнцем, она пошла на ужин в «Асторию». Оскар Уальд пригласил кое-кого из старой команды: ковбоя, парижского художника, русского барина. Все искренне были рады видеть ее. Люди с хорошим гла-

зом, натренированным на антиквариате, они мгновенно заметили происшедшую с Таней перемену: «Можно подумать, что ты стала женщиной!» — под общий хохот сказал ковбой. «А ведь он угадал!» — И волшебная легкость оставила ее. Онахватила рюмку водки и снова воспарила.

За столиком начались какие-то оленьи игры: немолодые, опытные самцы что-то учуяли, и между ними возгорелось соперничество, рог ударился о рог. «Мальчишки подерутся из-за меня!» — с восторгом подумала Таня.

В этой компании не дрались. Даже не ссорились, во всяком случае из-за женщины. Здесь верили мудрости Омара Хайяма:

Нет в женщине и в жизни постоянства,  
Зато бывает очередь моя.

И сегодня эта очередь по неписаным законам принадлежала Оскару Уальду — он держал стол, он пригласил Таню.

Когда официант Прокофьич со своим обычным: «Вас разоришь!» — сунул в карман чаевые, ни у кого не вызвало сомнений, что поле боя останется за Оскаром Уальдом. Не вызывало это сомнений и у Тани. С той блаженной легкостью, которая недавно овладела ею, она поднялась к нему в номер.

Она знала этот уютный полулюкс, где не раз бывала у журналиста-международника. Летучий же роман с Оскаром Уальдом осуществлялся в мастерской парижского художника под его ужасными полотнами. Она прошла в туалет, бего удивившись вернувшейся к ней автоматичности движений. Она раскрепостилась, избавилась от той непомерной ноши, которую несла последние месяцы. И ей не было дела, что ноша называется: душа.

Когда она вышла, Оскар Уальд успел снять штаны, свои неизменные брюки-дипломат, и, стоя к ней спиной, вынимал перед зеркалом запонки из рукавов рубашки. Она увидела его полноватые ноги, и они ее оскорбили. Эти бледные, в черном волосе ноги с женственными бедрами будут



сплетаться с ее ногами, отвыкшими от таких прикосновений, и на завязь ее сыночка прольется чужое мерзкое семя. Она схватилась рукой за горло, стараясь удержать приступ рвоты.

— Извини... ничего не будет... я пошла.

— Что случилось? — Он растерянно повернулся к ней. — Тебе плохо?

— Нет, — сказала она и добавила нечто загадочное, о чем он вспомнит через годы: — У тебя слишком много ног. Как у краба. Я не могу.

Быстро прошла к выходу и захлопнула за собой дверь.

«Что со мной было? — спрашивала она себя под гулкий постук каблучков по ночной пустынности улицы. — Я догадываюсь — из меня полез папа...»

На другой день она разыскала Бемби, вернувшуюся из долгих темных странствий под суровый, но надежный теткин кров, и попросила помочь ей с отъездом. Бемби, сразу заподозрившая романтическую подопку Таниного путешествия, никак не могла взять в толк, зачем той понадобился Богояр, где нет никого, кроме монахов и пристанских служащих. «Может, ты в матушки метишь?» — «Дура, черному духовенству запрещено жениться. Я там недолго пробуду. Мой друг заберет меня оттуда на катере». При всей своей глупости Бемби не поверила. «У твоего друга — катер? Он что, вице-адмирал?» Тане лень было придумывать; в таких случаях чем нелепее, тем лучше: «Он главный гинеколог военно-морского флота». — «Ну тебя к черту!» — обиделась Бемби.

Несмотря на обиду, она верно послужила Тане и получила в подарок двадцатидолларовую купюру, оставшуюся у Тани от поездки в Финляндию. Бемби чуть не прослезилась. «Белолицая за такую бумажку всю ночь под японцем кочевряжилась. Сейчас ни встать, ни сесть не может».

Таня просила передать привет старым друзьям. У них без особых перемен: Жупан еще служит, Ирэн на химии, Белолицая ловит иностранцев, ее уже два раза били про-

фессионалки за снижение цен, Арташез пропал, Валера тянет срок. Со шмотками все труднее, мусора совсем озверели.

Стоя на пристани, Бемби долго смотрела вслед пароходу, и Таня смотрела на ее все уменьшающуюся фигурку. Было ее жалко — добрая непутевая девка...

...Павел не ждал Таню. Он много передумал и решил, что инстинкт молодого здорового существа обязан увести ее прочь от Богояра. Этот остров — проклятое Богом место. Здесь разрушили старый, чтимый в православии монастырь, а братию извели по тюрьмам и ссылкам, здесь учредили заказник для уродов и довели до бунта безногих и безруких; прекрасная, лучшая в мире женщина доверчиво приехала сюда и нашла смерть. И он — носитель богоярского зла, на нем вина за Анну и за погибших в бунте. Страшен человек! Кто он? Огрызок, полтуловища, а сколько бед причинил! И эту девочку заморочил. Слава богу, у нее хватило разума бежать. Что ее ждало с мужем-калейкой, в близости темной и противоестественной монастырской жизни? Кто они, эти люди, напялившие рясы и укрывшиеся за высокими стенами; найдется ли среди них десяток истинно верующих? Что бы тут с ней стало? Она либо спилась, либо сошла с ума, либо утопилась. Тут место лишь тем, кто не годится для нормальной жизни.

Павел устал. Он всегда серьезно относился к жизни, считал, что человек обязан действовать, а не просто перетекать изо дня в день. Даже в пору своего падения он не раскис, а сжал в руке нож. Он был негласным старостой инвалидного дома, атаманом бунта. Он в разрыв жил, отслуживал монахам свое спасение. Но история с Таней опустошила его. Если она и впрямь хотела отомстить за мать, то цель достигнута. Но она этого не хотела. Счет был не с ним, а с матерью, счет любви-обиды-взаимной непонятности, и был еще — безошибочный женский инстинкт. И если без вечного богоярского угрюмого нытья, то ему скажочно, неправдоподобно повезло. Можно подумать, что по-

жилая, грустная Анна приехала сюда на разведку, а затем прислала себя молодую. Как чудно соединились корни и комель его судьбы!

Но трудно жить одной благодарностью и уже нельзя жить той смутной, крошечной надеждой, которая в нем теплилась до приезда Тани, уже все сбылось. Есть один простой, хороший выход: перестать хотеть жить — слабое пламя быстро исчахнет. Он начал с того, что не пошел на пристань.

Он лежал на койке, когда появилась Таня с тяжеленным чемоданом и устроила оглушительный скандал. Это напоминало приступ бешенства Анны в первые минуты их встречи, та даже плюнула ему в лицо, и он в странной нежности не стирал слювок с щеки.

— Старый негодяй! Ты не ждал меня. Не ждал мать своего ребенка!..

— У тебя будет ребенок? — спросил он обалдело.

— И у тебя тоже. Я не размножаюсь почкованием. Если не случится выкидыша от этого чертова чемодана, то через полгода ты услышишь крик своего сына.

Даже затопившее его чувство счастья не помешало Павлу уловить деланность ее тона. Если б не срок, ею названный, он решил бы, что станет отцом чужого ребенка. Соприкосновение с прежней жизнью было для нее вовсе не таким простым и безмятежным, как рисовалось отсюда. Конечно, он и слова не сказал бы и растил этого ребенка, как своего собственного. Добавь: и воспитал бы, как своего собственного. Счастливым малютка, его ждет Итон, затем Кембридж, нет, лучше Оксфорд, он опять выиграет традиционную регату...

Нельзя обмануть зверьевое чутье калеки. И Таня почувствовала, что он о чем-то догадался. Ее уверенный, захватский тон не сработал. Но если по-житейски — она ни в чем не провинилась. Будь он другим человеком, она рассказала бы о своем несостоявшемся падении, и они вместе посмеялись бы над фиаско Оскара Уальда. Но Павел не из

сегодняшних дней, и придется оставить его с этой маленькой ложью, которая не слишком удалась...

...Таня родила в положенный срок. В поселке была старушка, умевшая принимать роды. За ней опоздали послать. Павел сам принял младенца, появившегося на свет так легко и безболезненно, что Таня не успела раскричаться. Павел был в состоянии, близком к безумию, но сделал все безукоризненно, с одной лишь странностью: перегрыз пуповину зубами. После он объяснил это тем, что боялся занести инфекцию.

Как и ожидалось, это был мальчик, крупный, увесистый и тихий. Свой первый деликатный писк он издал, лишь получив крепкий шлепок по попке. Павел смотрел на его ножки с аккуратными тесными пальцами, крошечными ноготками, и сердце его сочилось. «А чего, собственно, я ждал?» — спросил он себя, очнувшись.

Утром привезли старушку, и Павел, который не мог смотреть, как чужие руки касаются его сына, выкатился из дома.

Не зная, чем себя занять, он нарвал красных кленовых листьев и отнес их на могилу Кошелева. Потом спустился к озеру и постоял над темной водой. Сильное и путаное чувство распирало Павла, в этом чувстве было ликование, боль, благодарность, страх, восторг, удивление и смертельная жалость к чему-то, к кому-то... Ему нужно было освободить душу, выговориться, но ни с могилой друга, ни с озером разговора не получилось, и Павел потащился в пустую церковь.

Глядя в суровое лицо Спаса, едва различимое в косом свете, падающем из высокого оконца, он говорил:

— Ты есть. Теперь я знаю, что ты есть. Я жалею, что не люблю тебя. Я нагаждался в жизни такого, что не могу тебя понять и... простить. Я никогда не прощу тебе мучеников Богояра, сошедших с ума, обгоревших, объединенных крысами, ставших гробами своих дарований, ума, удали. Только за мою судьбу нет с тебя спроса. Плохая вера без любви, я знаю. Я не молюсь тебе, я тебе плачу. — И он правда

заплакал и продолжал сквозь слезы: — Ты сказал своей матери: не рыдай мене, мати. Но мать рыдала, и я рыдаю тебе. Рыдаю за себя, за Анну, за Таню, за сына, за страшную и прекрасную жизнь, которую ты мне послал...

Перед крещением мальчика настоятель вызвал к себе Павла и сказал, чтобы тот воспользовался коляской.

— Ты верен данному тебе образу. Ценю и уважаю. Но ты подумай. Я выну твоего сына из купели и протяну его тебе. Не вверх, не к небу, а вниз, к земле. Хорошо ли это, Павел?

— Понял, — сказал тот.

Таня была ошеломлена, застав Павла перед зеркалом. В пиджаке и белой рубашке он силился завязать галстук. У него не получалось. Таня помогла ему, опустила воротничок рубашки. Он причесался и сильным рывком послал свое тело со скамейки на сиденье коляски. Выпрямился, расправил плечи.

— Джеймс Бонд! — ахнула Таня. — Господи, до чего ж ты красивый! Хоть бы с нашим парнем поделился...

Мальчика нарекли Андреем. Когда обряд кончился, настоятель сказал Тане:

— Ты угодна Господу, ибо живешь не по долгу, а по любви.

— Я думала, для церкви долг важнее.

— Апостол Иоанн, уже совсем дряхлый, твердил единоверцам: дети, любите друг друга. Они спросили: зачем ты постоянно говоришь нам это, разве нет у тебя других наставлений? Нет, это заповедь Господа, и если соблюдете ее, то и довольно...

...Прошло восемь лет. По ухабистой проселочной дороге катится инвалидная коляска, которую приводит в движение сильными загорелыми руками широкогрудый калека в белой рубашке с распахнутым воротом. Павел не поддавался старости, разве что совсем поседел, и глаза у него стали ясно, до дна сине-голубыми.

А вот Таня сильно изменилась: заматерела, погрубела, хотя и осталась красивой. Физическая работа развила и укрепила ее костяк, ветер и солнце задубили кожу. От стройной ленинградской девочки не осталось и следа. Она прочно и тяжеловато шагает рядом с коляской. С ними их сын Андрюша, высокий, гибкий мальчик, и щенок с пышным именем — Корсар.

Еще год назад Андрюше надо было идти в школу, но решили учить его дома. Павел взял на себя математику, черчение и то, что в школе называется «труд». Таня — русский и английский языки. Настоятель учит его закону Божьему и истории. Другой монах занимается с ним рисованием и лепкой. «Образование почище итонского!» — шутит Павел. Настоятелю хочется, чтобы Андрюша стал священником в далеком и трудном приходе. Таня видит его ремесленником: резчиком по дереву, камнетесом, гранильщиком, ничто не вызывает у нее такого восхищения, как ручная умелость. Мальчик постоянно возится с корнями и сучьями, выискивая в них человечье и зверьевое подобие. Он изящно и тонко выявляет это сходство, едва прикасаясь к материалу, дом заставлен фигурками разных милых уродцев. Конечно, детское увлечение может пройти, но Таня верит в руки сына. А Павлу хочется, чтобы он стал футболистом. Это так упоительно — лупить по мячу ногами! В доме есть телевизор, и отец с сыном не пропускают ни одного матча. Но, чтобы стать настоящим игроком, надо поступить в футбольную школу, а Таня ни за что не расстанется с сыном.

Щенок — типичный перекресток дорог, но несомненно в его предках были терьер и боксер. Его мохнатая мордочка обещает стать кирпичиком, а муругого цвета шерсть, короткая и гладкая, чуть лоснится. В честь знатных предков хвостик у него обрублен. В далекие дни у Павла была огромная черная собака-полуволок по кличке Корсар (щенок назван в его честь), она чуть не разорвала Анну, когда та накинулась на Павла с кулаками. Корсар II едва ли бу-

дет отличаться таким свирепым нравом; неуклюжий, толстый недотепа, он валко, боком трусит по дороге.

Павел наставительным тоном, слегка раздражающим Таню, учит сына, как обращаться с собакой. Андрюша все время приставал к щенку, тот долго терпел, а потом озлился и тяпнул хозяина. За что получил трепку. Нельзя унижать достоинство собаки, она этого не простит. Шлепками от нее можно добиться покорности, но не любви и преданности. «А кто укусил Кузю за ухо?» — спрашивает Таня. Павел не сразу вспоминает. «Он тяпнул меня первый, я — его, мы были квиты. Укус Кузю не унизил, испугал, а битье унижает. Собака не может ответить тем же. Породистые собаки особенно щепетильны». — «Ну, к нашему это отношения не имеет». — «Он вовсе не беспородный. В нем даже слишком много пород. Давай считать, что он не потомок, а предок будущей знати. Как наполеоновские маршалы».

На Андрюшу это производит сильное впечатление.

— Наверное, надо говорить ему «вы»? — спрашивает он серьезно.

— Зачем? Вы же оба мальчики. Разве ты говоришь другому мальчику «вы»?

— Но ведь он скоро станет взрослым, а я останусь мальчиком.

— Тогда и разберетесь.

Семья приближается к пристани. Они ходят сюда каждую неделю, к субботнему туристскому пароходу из Ленинграда. Считается, что они делают это ради Андрюши, нельзя, чтобы мальчик видел лишь лица родителей да монахов. С туристами бывают дети. Общительный Андрюша легко заводит знакомства. Особенно с тех пор, как появился такой притягательный магнит, как Корсар, предок будущей знати.

Таня никогда не приходит сюда с пустыми руками, она всегда что-нибудь продает: грибы, ягоды, орехи, травы, Андрюшины корни. Особой корысти в этом нет, хотя лиш-

ние деньги не помешают, да и лучше быть при деле, чем по-дикарски глазеть на приезжих. Иногда с ней заговаривают. А Таня словоохотлива. Впрочем, держит дистанцию, от слишком любопытных расспросов уклоняется, но перекинуться словом с громкими, веселыми жителями Большой земли любит.

Павел сидит в своей коляске чуть в стороне. В разговорах не участвует. Когда к нему обращаются, делает вид, что не слышит. Его спокойный, терпеливый взгляд прикован к сходям. Он ждет Анну.



# ПОЕЗДКА НА ОСТРОВА



Они опоздали на теплоход. На прекрасный туристский теплоход, с уютными каютами, баром, кинозалом, скоростной теплоход, который тратит от Архангельска до Соловков всего одну ночь. Их подвело доверие к авиации.

— Зачем трястись ночь и утро в поезде, когда за полтора часа лету мы будем в Архангельске, — говорил Борский — ведущий в паре, — и нас из аэропорта доставят прямо на теплоход.

Борский достал туристские путевки в Соловки, куда после пожара, уничтожившего всю органическую жизнь на Заицких островах, вольных странников не только не допускали, но, буде кто прорвется, под конвоем возвращали на Большую землю. Ущерб, нанесенный Соловецкому архипелагу неорганизованными туристами, неизмеримо превзошел бесчинства курсантов Школы юнг, завладевшей островами после ликвидации СЛОНа (Соловецкий лагерь особого назначения) в 1939 году. Но морские курсанты стояли на страже Соловецких островов в пору Отечественной войны, чем искупили весь причиненный ими ущерб, хотя бы в моральном плане. Туристы не сделали ровным счетом ничего хорошего для островов ни в какую пору, напротив, разнуздываясь с каждым годом все больше, пускали на свои якобы романтические костры реликтовые деревья, истребили не только рыбу, водоплавающую и боровую дичь, но подобралась к тюленям, нерпам и «зайцам», заразив немногочисленное и кроткое местное население беспримерным хищничеством. Отбраконьерив, на-

трескавшись ухи, не уступающей архиерейской, налившись водкой и пивом, романтики второй половины двадцатого века принимались щипать гитарные струны и петь горестные — не из своей биографии — песни, затем, взбодрив костры в защиту от комарья, забирались в палатки и засыпали, довольные собой и жизнью. В одну из подобных ночей сгорели дотла Заицкие острова. На чем и кончилась браконьерски-гитарная романтика в соловецком микромире.

Эти сведения о Соловках собрал, разумеется, Борский, которому принадлежала инициатива поездки, — сам Егошин никогда бы не отважился на такое сложное и отважное мероприятие. Вообще-то он давно мечтал — да еще как мечтал! — о поездке на Соловецкие острова, именно туда, а не в Кизи, или в Холмогоры, или в Каргополь, там ему тоже хотелось побывать, поскольку он любил всю русскую старину, но Соловками — грезил. Не следует думать, что сильная эта тяга мешала ему жить, есть, спать и выполнять свои служебные обязанности — он был старшим редактором отдела поэзии крупного московского издательства, — но когда заговаривали об отпуске, а отпускная горячка охватывала его друзей и близких с первым весенним солнцем, Егошин всякий раз убежденно говорил: «Кто куда, а я — в Соловки». Прежде этому чуть брезгливо удивлялись, памятуя о дурной славе островов: за каким чертом вас туда несет? «Там особый микроклимат», — застенчиво отвечал Егошин, не зная иного объяснения. Он где-то вычитал, что на Соловецких островах летняя температура, равно и зимняя, на несколько градусов выше, чем положено в том климатическом поясе. Позже, когда Соловки вошли в моду — о них стали много и заманчиво писать литераторы-природолюбы, намерение Егошина уже не удивляло, а раздражало: мол, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Егошин славился неподвижностью, косностью и домоседством: он не бывал ни на Кавказе, ни в Крыму, и даже в Ленинград попал уже на старости лет по служеб-

ной командировке, хотя бредил петербургскими стихами Пушкина, Блока, Мандельштама, помнил наизусть ленинградский цикл Кирсанова. Он был до ноздрей набит стихами, в том числе мусорными, которые хотелось сразу и навсегда забыть. Но тут он ничего не мог поделать со своей памятью, цепкой, как волчец, к рифмующимся строчкам. Сам же писал стихи лишь в переходном возрасте — очень звучные, четкие, с хорошими, даже изысканными рифмами и вовсе бесталаные, что он понял довольно рано и почему-то — без боли. Он забросил стихи, почти забросил, но раз в два-три года возникала настоятельная потребность написать стихотворение. Егосин сопротивлялся как мог этому странному и докучному велению, но оно неизменно побеждало, и он быстро, мелким, четким почерком, без помарок записывал уже сложившееся в нем стихотворение, а потом удивлялся, почему он, человек, лишенный поэтического дарования, пишет так хорошо, а талантливые, божьей милостью поэты — так плохо. Не всегда, разумеется, но частенько. Стихи свои он никому не показывал и, протаскав день-другой в кармане, уничтожал. В издательстве почему-то были убеждены, что он исступленно предаётся греху поэтического словоблудия. Это придавало оттенок насмешки вообще-то доброжелательному отношению к скромному и безвредному человеку, которому прощали даже высочайшую квалификацию. А вот начальство его не жаловало, хотя и знало ему цену. Работник он был безукоризненный и безотказный, но лишь в пределах своих прямых обязанностей. На собрании он, случалось, появлялся, демонстрируя тем самым добрую волю, но неизменно минут через десять уходил — крайне деликатно, на цыпочках. В сельскохозяйственных работах не участвовал, ссылаясь на старые раны, в то время как другие инвалиды — с бóльшим ущербом — ездили в поля и на овощные базы. Егосин, по близорукости, всю войну прослужил писарем и в сражение попал лишь раз, случайно, когда выбили весь боевой состав и командование заткнуло щель нестроевиками: писарской

братией, почтарями, кашеварами, ездowymi и похоронной командой. И самое удивительное, что эти не обученные бою люди продержались против немецких танков и автоматчиков до подхода подкрепления. Егошин вместе с другими стрелял из винтовки в указанном направлении, ровным счетом ничего не видя в тумане, роящемся сразу за мушкой, которую он неведь зачем старался совместить с прорезью прицела. Этому занятию он предавался так долго, что под конец вообще перестал что-либо соображать и только палил в белесую муть, а когда иссякали патроны, доставал из подсумка новые и неловко запихивал в магазин. Этому его научили еще в школе. Наконец все кончилось, и Егошин обнаружил, что у него рукав полон крови. А он и не заметил, что ранен «в упоении боя», как шутил про себя в госпитале. Егошин думал, что его впечатления были бы значительно полнее и богаче, если бы он видел противника. Другие-то видели, но из всех оставшихся в живых лишь Егошин удостоился ордена Солдатской Славы III степени, наверное, потому что был ранен. Начальство словно стеснялось этого сражения и награды отвалило скупно. Высокий солдатский орден смутил Егошина, ведь он-то знал, слепой крот, что стрелял хуже всех, а рана — просто случайность, к тому же он ее даже не почувствовал. Это лишний раз убедило его, что награды столь же призрачны и условны, как и всякое возвеличение одного человека над другим. В мирные дни Егошин не корчил из себя ветерана и о своей ране вспоминал лишь по одному-единственному поводу, о котором говорилось выше.

Это не могло длиться бесконечно. В любом человеческом сообществе имеются лица, озабоченные тем, чтобы поведение одиночек не отличалось от поведения массы. В учреждении Егошина таких людей, по обыкновению, было трое (могущество тринитарного мышления!), и они пригласили к себе старшего редактора отдела поэзии, чтобы узнать, почему он не уважает сельский труд.

Егошин пояснил, что считает труд земледельца — высшей формой человеческой деятельности; Лев Толстой, по его мнению, пахал вовсе не из сухих этических соображений, а из любви к этой потной работе.

— Так почему же вы?.. — сказал вальяжный человек, сидевший посредине. (Церковники до сих пор спорят, кто в центре Святой Троицы — Бог-сын или Бог-отец.) Кажется, то был новый директор, Егошин видел его впервые.

— Рука... вот...

— А как же другие?.. И рука, и нога... похуже, чем у вас, — произносит истомленный, с горячным блеском глаз, непрерывно курящий человек.

— Значит, они не чувствуют того, что чувствую я.

— Что же вы такое особенное чувствуете? — спросила задыхающаяся под собственным жиром женщина.

— «Особенного» — ничего. Все это — азы... Любой труд почтенен, пока он доброволен, соответствует социальной принадлежности, родовой преемственности, личным наклонностям человека. И всякий труд унизителен, когда подневолен. В минуту смертельных испытаний каждый гражданин обязан быть — на любом посту, в мирной жизни он имеет право выбора. Я поступил к вам редактором отдела поэзии, а не пахарем, не полольщиком турнепса, не сборщиком картофеля и не сортировщиком гнилой капусты.

— А как же все?..

— Вот об этом стоило бы серьезно подумать, — сказал Егошин, поправив очки со сломанной дужкой, — и не на таком уровне... Я никому не навязываю своей точки зрения. Подобные вопросы каждый решает сам для себя. И разум и совесть подсказывают мне, что эта практика — экономический и этический нонсенс.

— Это что еще такое? — грозно спросила дородная женщина. Егошину казалось, что он видел ее за стойкой редакционного буфета, но сейчас она представляла что-то высшее.

— Нонсенс — это абсурд, ну, чепуха, бессмыслица, — пояснил вальяжный человек. — При чем только тут этика? — обратился он к Егошину.

— Ага! Вы не спрашиваете, при чем тут экономика. Значит, вам понятно, во что обходится государству картошка, которую неумело, с огромными потерями убирают люди, получающие от полутора ста до пятисот рублей в месяц. Обратимся к этике. Я не верю в Ромео, спешащего на свидание к Джульетте после прополки турнепса, в Джульетту, едва отмывшуюся после овощной базы, не представляю, чтобы виттенбергский студент Гамлет мог закрыть свою великую карусель, перебрав вместе с Горацио тонну гнилой капусты. В лучшем случае на это годятся Розенкранц и Гильденштерн. Я не вижу на овощной базе юных Герцена и Огарева.

Троица с брезгливым удивлением смотрела на разговарившего молчуна, мозгляка-очкарика, вечного редактора, засохшего на ста шестидесяти, человека, не растущего, никогда не бывавшего за рубежом, лишенного малейших привилегий, заслуженных преимуществ и позволяющего себе поучать их.

— Ну, а себя вы кем видите, — насмешливо произнес вальяжный человек, — Ромео, Гамлетом, Горацио или?..

— Отелло. И мне не задушить Дездемону после окучивания брюквы, если только ее окучивают.

— Вы сообщили о своих взглядах товарищам по работе? — спросил жадно куривший человек.

— У меня здесь нет товарищей, только сослуживцы.

— Хороши же вы!.. — вмешалась тучная женщина. — Столько лет в коллективе — и не иметь друзей?

Егошин промолчал.

Курильщик ожег болтуню сабельным высверком взгляда и вернулся к своей теме — его вкрадчивый тон разительно противоречил горячечной выразительности глаз.

— Ну, а если бы вас спросили?..

— О чем?

— Об этом самом, — сказал тот терпеливо.

— А-а!.. Никто не спросит. Все знают, что у меня есть документ.

— Документ — это хорошо. Но мне все же хотелось бы...

— Понимаю, — пришел ему на помощь Егошин. — Я уже сказал, что считаю такого рода вопросы делом... вкуса каждого. К тому же, видите ли, я не земледелец, но и не борец. Нестроевик по всем статьям. Редактор отдела поэзии.

— Как можно вам доверять воспитание!.. — начала задыхающаяся под собственным жиром женщина, но тот, что сжигал нутро никотином, успокоился и бесцеремонно прервал ее:

— Ладно! Мораль читать уже поздно. Документ есть. Язык не распускает. У нас — все!

И Егошин покинул кабинет.

— Тоже — интеллигент! — презрительно выхрипнула толстуха, на украинский лад произнеся буку «г». — Гнать таких надо!

— Если б у меня был план только по картофелю и турнепсу, — сказал вальяжный человек, — я бы давно его выгнал. Но я должен еще и литературу выпускать.

Разговор этот имел для Егошина лишь одно отрицательное последствие: отныне его стали тщательно обходить премиями, поощрениями, наградами, даже простыми благодарностями. Но разве унизишь этим человека, который не стеснялся ходить на работу с продранными локтями и без единой пуговицы на пиджаке? Когда же ему указали на неприличие такого вида, он стал являться в любой сезон в белой рубашке-апаш, сохранившейся с довоенной поры, и в лыжных штанах. Он не потрудился объяснить сослуживцам, что деньги, отложенные на новый костюм, ухнул на случайно подвернувшийся «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона. С полным равнодушием относился он к тому, что отпуск ему дают только в ноябре или апреле

(глубиной души он никогда не верил в свой соловецкий вояж), а и в эти неудобные месяцы прекрасно валяться на продавленном диване с книжкой в руках. Сослуживцы в конце концов заметили стойкую немилость начальства к Егошину и бессознательно взяли с ним небрежно-высокомерный тон. Как-то само собой получилось, что его рабочее место переместилось к окну, на сквозняк, и теперь он не вылезал из простуды. Его хронический насморк стал предметом постоянных шуток, тем более что холостяцкие носовые платки Егошина не отличались свежестью. Его прозвали «бациллоносителем» и при каждом удобном случае ехидно замечали, что работавшая прежде на этом месте кудрявая Машенька почему-то не простужалась. Можно было напомнить, что Машенька почти не присаживалась к своему письменному столу, как-то иначе используя служебное время; но Егошину это и в голову не приходило. К чему было заводитьсь, если все это ничуть его не трогало, не доставляло даже минутного огорчения, ни тени раздражения и досады?

Лишь изредка с добродушной усмешкой он сознавал, что его свойства, поступки, привычки, облик кажутся окружающим нелепыми, отсталыми, смешными, но не задерживался на этом душевно, ибо в мире было столько прекрасного: стихи, проза, картины, музыка, красивые лица, солнце, небо, облака, снег, весенняя капель, грозы, упоительные безнадежные верленовские осенние дожди и ведь, кроме настоящего, дано прошлое, и при малом усилии он может спорить с Сократом, плотничать с Петром, плыть в последнем менюэте с Марией-Антуанеттой, шагать в каторжном строю с декабристами, слыша справа дыхание Пушкина, а слева — Бестужева, и на дивном этом пиру, дарованном невесть за какие заслуги, волшебном, но таком кратком пиру не успеешь надышаться поэзией одного Пушкина, а ведь есть еще Тютчев, Лермонтов, Фет, Анненский, Блок, Мандельштам, и чего стоят рядом с этим те малости, которыми люди стараются отравлять друг другу



мимолетность бытия? Надо закрывать глаза на все мелкое, лишнее, до предела упростить существование, и ты становишься свободен, как птица, если птицы действительно свободны.

Любимый его прозаик — Андрей Платонов презирал людей, не стоявших в очередях. Грустный символ нашего отечественного бытия — очередь как выстроилась сразу после революции, так, лишь изредка укорачиваясь, подтаивая, протянулась через всю нашу жизнь. Очереди эпохи военного коммунизма, очереди поры коллективизации, скорбные, безнадежные очереди войны, злые, но бодрые от привычности, натренированности очереди последующей поры — они породили особую психологию, выносливость, выдержку, закалили и укрепили избранный народ в том великом терпении, какого ему и от века не занимать стать, породили свой особый язык и терпкий юмор — жаль, что никто не удосужился собрать фольклор очередей. А вот тихий человек Егошин никогда не стоял в очередях, считая это самым пустым, пропащим из всех занятий. И конечно, не потому, что знал способ получить что-либо в обход. Он просто не становился в очередь, обходясь без того, чего иным путем нельзя достать. Там, где извивался серый хвост очереди, Егошина не стоило искать. Он предпочитал тащиться пешком на службу и со службы километров пять-шесть, но не выстаивать очередь на троллейбус, не стремился на премьеры кинофильмов и экстраординарные выставки, не чувствовал себя обделенным на пиру жизни, оставаясь без новогодних мандаринов, которые любил с детства, и без колбасы в будние дни, хотя тоже очень любил этот продукт. Он твердо считал, что в материальном мире нет такого, ради чего стоило бы стоять в очереди. При этом отнюдь не кичился этим своим свойством, прекрасно сознавая, что если б у него в доме плакали дети, то ради них он выстоял бы любую очередь. Но детей не было, и тщедушный, но по-своему закаленный и выносливый субъект, именуемый Егошиным, приучился обходиться столь

мизерным количеством самой примитивной пищи и был так неприхотлив во всех своих привычках, одежде, развлечениях, что мог позволить себе не стоять в очередях. Свой хронический насморк он не лечил — в аптеках тоже очереди, но зато его обходили ежегодные эпидемии гриппа, он был морозоустойчив, поскольку всю жизнь — после армии — довольствовался плащом с подстежкой. Изнашивал он эти плащи, равно и костюмы, до полного изничтожения.

Случалось, что непрактичность Егошина, так представлялось окружающим его сознательное пренебрежение материальной стороной жизни, вызывала вспышку брезгливого сострадания, и ему, как с неба, падал Христов гостинец: к примеру — очень приличная байковая куртка, когда он целый год проходил в рубашке-апаш, — сослуживцы скинулись и преподнесли ему на Новый год куртку, чтобы он не срамял своим видом отдел; другой раз он получил стопку носовых платков. После обеденного перерыва, на который он не ходил, Егошин вдруг обнаруживал на своем письменном столе бутерброд или плюшку. Егошин понимал, что его отвлеченность оборачивается некоторым паразитизмом, но переделать себя не мог. Он просто не в силах был доставать одежду, равно помнить о плюшке или бутерброде, когда корпел над рукописью. Егошину искренне хотелось не допускать жестов милосердия, но ничего не получалось. Он старался отслужить дарителям тем, чем сам обладал в избытке: чувством стиля и слова, литературным слухом, высоким редакторским мастерством, и нельзя сказать, чтобы его помощью пренебрегали — он делал много чужой работы, но всегда чувствовал себя в неоплатном долгу перед сослуживцами.

Неухоженный насморочный мозгляк и небожитель, Егошин одних раздражал, у других вызывал чувство снисходительного презрения, но вне служебного мира немало людей относились к нему не просто с симпатией и интересом, а даже с некоторой горячностью, среди последних

преобладали женщины. Устав от своих бойцовых спутников, их нахрапа, алкоголизма и хамства, молодые красивые женщины приникали к тихому Егошину, как к живительному роднику. Им нравились его мягкость, деликатность, старомодность, даже неосведомленность в том, что общеизвестно, при странной, через край наполненности чем-то, лишь ему важным и нужным. Никчемность его богатства вызывала у них уважение и нежность, они сильно, хоть и ненадолго, привязывались к нему, а покинув, сохраняли о нем трогательную и чуть удивительную память, ибо, догадавшись наконец, что от него требуются не только стихи и соображения о Сергии Радонежском, Егошин оказывался весьма пылким любовником.

Но женился Егошин лишь на женщинах, которые ему давно и прочно не нравились, на злых, сварливых, корыстных и несчастных бабах, которые шли за него с отчаяния. И он, смутно догадываясь об этом, стремился им помочь; у него было жертвенное отношение к браку, от которого он не ждал для себя ничего хорошего. В чем и не обманывался. Но каждая из этих жутковатых недолговременных спутниц что-то выгадывала для себя, и Егошин считал, что цель достигнута. В результате трех браков, вернее, трех разводов, сопровождавшихся разделом жилплощади, Егошин из родительской трехкомнатной квартиры попал в коммуналку. В описываемую пору, приближаясь к шестидесяти, он считал себя навсегда освобожденным от обязательств перед одинокими противными женщинами с несложившейся судьбой. Он многого достиг на пути к чистой духовности: восьмиметровый пенал служил ему жильем, здесь помещались диван, столик, стул и полка с книгами; из движимого имущества у него еще был кофейник, две чашки без блюдец, тарелка, нож и остатки материнского серебра — три чайные ложечки. На гвозде у входной двери висел плащ с подстежкой, на другом — странная мохнатая кепка с наушниками, Егошин не помнил, откуда она взялась. Если законные жены подчистую обобрали Егошина, то заботой

временных подруг он был обеспечен постельным бельем и весьма изысканными туалетными принадлежностями; в комнате Егошина, переоборудованной из санузла, находился фарфоровый умывальник, и там стояли всевозможные флакончики с духами и одеколоном, в мыльнице благоухало чудесное «парижское» мыло, а свои седеющие редкие волосы Егошин мог холить замечательными щетками и расческами. Никакой техники, даже электробритвы, у него, разумеется, не было. Зато Егошин гордился, что у него, как у Аполлона Григорьева, имелся собственный эмалированный ночной горшок.

В этой берложке Егошин не знал ни скуки, ни одиночества. Помимо того что он то и дело устраивал себе пиры духа: курил с Байроном, пил с Эдгаром По, спорил с Верленом о верлибре и с Петраркой о сонете, зачитывался до одури стихами (в совершенстве владел пятью главными европейскими языками, свободно — древними), его посещали современники во плоти и крови. Прежде всего — «даменбезух», как стыдливо и старомодно называл Егошин визиты своих приятельниц, затем — общение с поэтами и другими литературными людьми, артистами-чтецами, коллекционерами, любителями старины и разными чудаками, которых почему-то влекло к нему. Среди прочих был отставной генерал-лейтенант — сосед по дому. От сытого безделья он приходил к Егошину попенять тому за бессемейность и богему, а заодно пожаловаться на домашних: аспида-зятя и кобру-невестку. Облегчив душу и выпив принесенную с собой четвертинку, генерал уходил в свои уютные хоромы, — Егошину казалось, что старый воин не то чтобы завидует ему, но проводит какие-то безрадостные для себя параллели, сопровождаемые глубокими вздохами, отчего звякали ордена на богатырской груди. Из всех своих посетителей Егошин выделял Борского, казалось бы, самого чуждого себе. Впрочем, это старая истина, что легче всего сходятся противоположности: зубец — в прорезь, и образуется нечто цельное и прочное. Люди же одного плана

обыкновенно отталкиваются друг от друга. Узнавать себя в другом почему-то неприятно, оскорбительно глубинному существу человека, и действует тут рефлекс, а не рассуждение, не анализ.

За Борским угадывалась сложная, путаная, мутная жизнь, которую Егюшин боялся узнать слишком хорошо. Он отнюдь не был моралистом, чистолюдем в собственном поведении и подавно не предъявлял завышенных требований к окружающим. Он мог понять и принять очень многое, что не соответствовало общепринятым — якобы — нравственным нормам, но не все. Борский не навязывался с признаниями и откровенностями, но когда люди часто встречаются и не играют в молчанку, самораскрытие происходит само собой. Борский шел по жизни не торной дорожкой. Он рано лишился отца, вслед за тем матери, воспитывался у бабушки, вернее, терроризировал беспомощную, болезненную старушку, не позволял ей вмешиваться в свои дела, которые очень скоро от лжеромантика ватажного хулиганства пришли к прямому столкновению с законом. Дворовая вольница сблизила сильного, ловкого и бесстрашного паренька с мелкоуголовным миром. Но юный Борский стремительно двигался вверх по лестнице, ведущей даже не вниз, а в пропасть, и в шестнадцать лет угодил в тюрьму за участие в вооруженном грабеже. Он легко отделался по малолетству (безотцовщина тоже сработала на него), но вскоре опять попался и, встретив в камере предварительного заключения свое совершеннолетие, получил «на всю катушку». В этом месте рассказа Егюшин нервно поправил очки и, запинаясь, спросил сказителя: «Но вы... э-э, простите, не убивали?» — «На мокруху я сроду не шел», — ответил Борский со скромным достоинством поэта, отводящего упрек в использовании глагольных рифм.

Во время войны Борскому было дано право искупить свое преступление кровью — он был отправлен в штрафной батальон. «Только со мной так бывает, — говорил Борский с наивно-детским выражением, порой возникающим

на его сильном до грубости, загорелом лице — он и зимой стремился на южное солнце, видать, крепко нахолодался на заре туманной (непроглядно туманной) юности. — Наш батальон почти не выходил из боя, ребята один за другим искупали кровью или смертью свои вины, а меня не брала пуля. Там было решили, что я где-то отсиживаюсь во время боя, как будто это возможно. Я лез в самое пекло, и ни черта! А ранило меня по-дурацки, когда я сдергивал сапоги с убитого фрица — надоело воевать в обмотках. У паршивых обозников сапоги хоть и кирза, да с голенищами. Мне это за искупление вины не посчитали, из госпиталя я вернулся в штрафняк и уже на границе с Германией, взяв важного «языка» и на всякий случай порезав себе руку, удостоился наконец прощения. Войну кончал в обычной части и даже успел схватить Красную Звезду и «За отвагу». Ну, а с немца я крепко спросил «за наши порушенные города и сожженные хаты...». Тут Егошин опять всполошился: «Надеюсь, вы вели себя достойно воина Советской Армии?» — «Вот именно!» — мрачновато подтвердил Борский.

Из дальнейших бесед выяснилось, что, вернувшись на родину, Борский добрал все, что недополучил в своей рано оборвавшейся юности. Он даже учился в каком-то институте, но не кончил его, снова не поладив с законом. Это было как-то связано с фотографиями. Борский долго отказывал в пояснениях, ссылаясь на знаменитый фельетон, который «читали все грамотные люди». Но грамотный Егошин не читал газет. «Мы, в сущности, делали доброе дело, — недобро сузив серые глаза, снизошел Борский до объяснений. — Какой деревенской женщине не хочется иметь портрет сына или мужа, не вернувшихся с войны? А оставались у них большей частью жалкие паспортные карточки или групповые снимки: выпускники школ, техникумов, курсов, где и не разглядеть своего родненького. Мы делали им из этих карточек портреты — двадцать четыре на сорок восемь, представляете?» — «Что же тут плохого? —

удивился Егошин. — По-моему, очень благородно». — «Еще бы! Я забирался в такую глухомань, где не видели ни кино, ни паровоза. Шагал по двадцать километров в сорокоградусный мороз из деревни в деревню. Раз я летел на вертолете с мужиком, отрубившим голову жене по случаю престольного праздника, девушкой-милиционером и бурым медведем в клетке из щепочек. Мужик воет, медведь ревет, а милиционерка плачет, чувствую — не уснуть. Пришлось взять игру на себя. Я дал в морду убийце, чтоб заткнулся, медведю — по кожаному рылу, а милиционерку крепко поцеловал. Все успокоились. Мы буквально творили чудеса!.. — все более оживлялся Борский. — У одной старухи подняли мужа из гроба». — «То есть как это?» — «А так. У нее была только его покойницкая карточка. Мы его посадили, открыли ему глаза, гроб убрали — старуха чуть не рехнулась от счастья». — «Так что же тут противозаконного? Раз государство не справляется, почему не дать свободу частной инициативе?» — «Ну, если государство будет передавать частной инициативе все, с чем оно не справляется... Ладно, не о том речь. Нас подвела конкурирующая организация. Конечно, определяя наши скромные доходы, мы не отличались аптекарской скрупулезностью. А кто этим отличается? Те жулики, что толкнули донос? Меня взяли. Конечно, я выкрутился, придравшись к нарушению каких-то процессуальных норм. Но знаете, эта неожиданная слабость закона перед правонарушителем что-то во мне перевернула. Я стал на сторону закона. У меня скопился большой материал, и я принялся строчить книжки про доблестную милицию. Читатели клюнули, наверное, почувствовали, что это не липа. Некоторые повести экранизировали. Я столкнулся с миром кино, понял, куда переместился «центр уголовной жизни», и послал их подальше. Но в праве экранизации не отказываю, благо за это сейчас хорошо платят. Мой любимый романс — шубертовский: «Как на душе мне легко и спокойно». У меня куча похвальных грамот от милиции, номер на машине — из сплошных ну-

лей — попробуй задержи! — «закатанные» права и красная книжечка в нагрудном кармане: «Консультант МВД по эстетическим вопросам». Я гроза таксистов, гостиничных администраторов, кассирш Аэрофлота, продавщиц, официантов, вообще всех жуликов, которыми не бедна наша кроткая родина. Есть глубокий и утешающий меня в редкие минуты упадка духа комизм в том, что я — любимец милиции и гроза правонарушителей. Любопытно, что никто из этой публики не только не задался вопросом, так ли уж им опасен «консультант по эстетике», но даже не прочел этих слов. От нечистой совести их поражает шок при виде красной книжечки. Считается, что красный цвет возбуждает быков, это вранье, рогатый скот не различает красок, быка бесит трепыханье плаща у его морды, но жулики различают — и красный цвет их парализует. А писать мою муру мне нравится, я столько имел дела с милиционерами, что в конце концов полюбил их. Есть воистину замечательные парни — редкой храбрости, самообладания и — вот что удивительно! — доброты. Ненавидят оперативники только убийц, а ворами, особенно ловкими, находчивыми, дерзкими и умеющими долго водить за нос, — чуть ли не восхищаются. Тут нет ничего странного, это же профессия: оперативник, а какой профессионал не любит тонкой и сложной работы? Даже я, хотя о моей литературе смешно говорить, стараюсь закручивать помудренее: Может, со стороны это незаметно, но я обычно ставлю себе задачу малость выше своих возможностей. Вы это сами знаете, недаром я вас терзаю».

Борский, конечно, ходил к Егошину не из любви к поэзии, хотя знал на память уйму стихов и, похоже, отзывался им (стихи он некогда заучивал в камерах, чтобы скоротать время, тренировать память и не свихнуться от ненужных дум), он нуждался в литературных советах. Егошин не любил детективную литературу, но повести Борского читал почти с удовольствием, потому что в них было то волевое начало, которое казалось ему главным признаком твор-



ческой личности. Борский не был писателем в серьезном смысле слова, всего лишь умелым производителем легкого чтива, но в его писанине чувствовался сильный характер, напор значительной личности. Приступая к чтению, Егосин неизменно ощущал, что его берут за шиворот и властно ведут туда, где обязательно окажется интересно. И милицейские парни выглядели у Борского на редкость симпатичными, в чем обнаруживалась далеко и тщательно запрятанная душевность самого Борского. Нет, не зря его приветили органы внутреннего порядка и сделали своим эстетическим наставником.

Но Борский и впрямь не довольствовался обретенным умением и стремился усложнить себе жизнь. «Мне хочется больших страстей, должен быть милицейский Шекспир», — говорил он хотя и с улыбкой, на деле же серьезно. Шекспира пока что не получалось. У Борского с женщинами был обширный, но слишком грубый опыт. Создать сержанта Ромео или старшего лейтенанта Орсино ему не удалось прежде всего потому, что от их возлюбленных тянуло парикмахерской, восточным рестораном, комиссионным магазином. Помощь Егосина заключалась преимущественно в сокращениях, вымарывании совсем уж слабых мест, писать прозу, особенно милицейскую, он начисто не умел. Борский мрачно выслушивал замечания, вздыхал, но никогда не спорил. Текст становился гораздо чище, достойней, но Шекспира все-таки не получалось. Но чему-то он медленно и неуклонно обучался. Егосин был уверен, что если щедрая природа пошлет Борскому долголетие пастуха из Сванетии, то милицейский Шекспир явится миру. Видимо, и Борский рассчитывал на это; он не порол горячки, но продвигался к чему-то высшему.

Была у Борского одна особенность, воспитанная, видимо, прежней жизнью, ибо литературная среда подобных свойств не воспитывает: упрямое, до настырности, стремление отслужить человеку, сделавшему ему даже незначительное одолжение. Егосину доставляла удовольствие ма-

дая возня с рукописями Борского: он любил редактировать, расчищать авгиевы конюшни слов, ему нравилось искать на пару с толковым человеком решения не слишком сложных литературных задач. Это давало разрядку от постоянного напряжения мысли, ведь в сочинении детективов участвует не головной, а спинной мозг. Но Борский считал себя обязанным Егошину, ведь он не любил быть в долгу. Стоило Егошину однажды заикнуться просто так, не придавая сказанному никакого значения, что не мешало бы перед смертью увидеть Дарьяльское ущелье, как Борский тут же записал его в какую-то туристскую группу. Пришлось сказать больным, что человеку с хроническим насморком не представляло большого труда. Борский предлагал ему устроить выгоднейший обмен жилплощади, достать путевку в любой санаторий Крыма, Кавказа, даже Карловых Вар, прокатиться по Золотому кольцу, повезти в Пушкинские горы, Прибалтику, объездить на машине окрестности Ленинграда, звал на закрытые просмотры выдающихся фильмов современности, пытался подарить икону строгановского письма и миниатюру с дегенеративным лицом царя-страдальца Ивана Антоновича, альбом петербургских офортов Остроумовой-Лебедевой, шкуру белого медведя и панты изюбра, но все тщетно. Тогда он не на шутку обиделся, и, пожалев его, Егошин согласился принять рога. С помощью Борского он прибил их над дверью как грозное предупреждение против новых попыток вступления в брак.

Но рога — черт с ними, висят себе и висят, он вяпался в куда худшее — поездку на Соловецкие острова. Эта земля действительно манила его, звала — по причинам, ему самому неясным. В какую-то недобрую минуту, отделяясь от очередного соблазнительного предложения Борского, он ляпнул: «Увольте, дорогой, вот если б Соловки!» — и прикусил язык. Но было поздно. На этот раз Борский отрезал все пути к отступлению: сам добился для него отпуска, взял путевки и билеты на самолет. Рядом с Егошиным

Обломов казался бы живчиком, шатуном с приметной авантюристской жилкой. Егошин едва не заболел по-настоящему, так напугала его предстоящая перемена мест. Он тщетно пытался понять, чем привлекали его Соловки: личностью Филиппа Кольчева, казавшегося ему самой моральной фигурой в старой русской истории, могилой Авраамия Палицына, героя Смутного времени, самим звучанием певучего слова «Соловки», таинственным прошлым этого затерянного в Белом море крошечного архипелага, с которым связано столько глухих русских дел, заманчиво-сладкими описаниями несравненных красот природы или же какой-то необъяснимой родовой памятью?.. Но теперь, когда свидание с Соловками стало неизбежным, он не находил ответа, ибо в нем погас всякий интерес, остались только робость и смятение.

И тут в Москве зарядили дожди, пробудив слабую надежду, что поездку можно отменить. «Кто ж едет к черту на кулички в такую погоду?» — сказал он Борскому. Вместо ответа, словно предвидя этот ход, Борский положил перед ним вырезку из газеты, где сообщалось, что в Карелии и Архангельской области стоит сухая, жаркая погода. «На Соловках же, вы сами знаете, особый микроклимат, там всегда на два-три градуса теплее, чем на всем Беломорье». Так же был снят вопрос об экипировке: Борский притащил огромный рюкзак, куда без труда вошли все необходимые им обоим в поездке вещи, включая теплое белье, плащ с подстежкой, кепку с наушниками, книги, сам Борский, странствуя, читал лишь путевые справочники. На долю Егошина оставалась аэрофлотская наплечная сумка с умывальными принадлежностями. Жизненный обиход Егошина был настолько портативен, что не давал зацепки для отмены путешествия. Ни больных родственников (здоровых тоже не водилось), ни кошмара предстоящего ремонта, ни бракоразводных осложнений, ни сверхурочной работы — и Егошин смертельно затосковал.

Объяснить это болезненное чувство он не мог: неужели ему так жалко расстаться на неделю со своей убогой ком-

натенкой, прокуренной гостями, как подвальная бильярдная, с привычным, до стыда жалким укладом: утренняя толчея возле уборной, жидкий кофе, чаще всего пустой, машинальная неизменность всех движений и жестов, пока он не окажется за рабочим столом на сквозняке и не погрузится в очередную рукопись, — тут кончался пустой автоматизм и начиналась жизнь духа, но поскольку Борский отправил его в отпуск, то единственно осмысленная часть дня отпала; что же осталось? — валяние на продавленном диване, порой тусклое ожидание «даменбезуха», хорошо, коли тщетное, но это случалось редко, и тяжкая расплата скукой за бедное наслаждение, да еще зашельцы — большей частью вовсе ненужные... Так чего же он тосковал, чего страшился? Перемены как таковой, обрыва рутины?.. Он привык жить по инерции, а сейчас от него потребуются какие-то непривычные поступки... Трусость, как и храбрость, бывает разная. Егошин не был физическим трусом, это доказала война — страх ни разу не коснулся спокойно бьющегося сердца маленького писаря: ни в том единственном бою, за который он получил награду, ни во время бесчисленных бомбежек, ни когда дивизия попала в «котел» и чуть было не сварилась в нем; с не меньшим хладнокровием относился он и к опасностям мирных дней: все городские страхи — перед гнусным убийцей Ионесяном, подворотными юнцами с хорошо наточенными напильниками, окраинами в ночную пору, пьяными хулиганами — не достигали сознания Егошина. Он вовсе не испытывал презрения к своему пребыванию на земле, но инстинкт самосохранения был в нем явно притушен. А вот за окружающих он боялся, население мира казалось ему хрупким и непрочным. Он весь сжимался при виде ребенка, переходящего улицу, постоянно пристраивал куда-то бродячих собак и кошек, поскольку жильцы его коммуналки наложили запрет на всякую живность; своих подруг он старался проводить до самого порога их дома (где-нибудь в Медведкове или Бирюлеве), что тех не всегда устра-

ивало, при виде же летящего в небе самолета бормотал про себя нечто вроде молитвы во здравие и спасение путешествующих по воздушному океану.

Известно, что иные отважные воины становятся весьма робкими гражданами в дни мира. Физическая и общественная храбрость — разные вещи. К Егoшину слово «храбрость» вообще едва ли приложимо, ибо храбрость — активное, действенное качество, а в основе его существа лежала пассивность. Он был из числа уклоняющихся и воздерживающихся. Когда его изредка вызывали к начальству, он шел с таким же спокойствием, хотя и не столь поспешно, как в туалет. Сталкиваясь с глупостью вышестоящих, никогда не возражал, но и не соглашался и уж подавно не выражал одобрения. Если его припирали к стене, он пожимал плечами и бормотал что-то вроде «вам виднее», но было ясно, что он остается при своем мнении. Относительная независимость его поведения стоила недорого, — он был человеком без поступков. Сослуживцам Егoшин представлялся тихим, безобидным и чуть пришибленным. В последнем они заблуждались. Пришибленность неотделима от чувства страха, а Егoшин так же мало боялся неприятностей мирной жизни, как немецких снарядов и пуль. Он просто не хотел связываться — это обременительно. Своеобразное, пассивное, глубоко запрятанное бесстрашие Егoшина не мешало ему испытывать порой странный, необъяснимый ужас.

Таким вот ужасом опахнуло его, когда он понял, что поездка в Соловки неотвратима. Внутри у него стало холодно и сыро, как в заброшенном склепе. Высмеять себя за паникерскую дурь не удалось — собственный окарикатуренный образ не веселил. Тогда он решил поговорить с собой всерьез. Глупо и недостойно так пасовать перед комфортабельной туристской поездкой, которая промелькнет — не заметишь. Отгудят самолетные моторы, отшумят за бортом теплохода воды Белого моря, и душу примут тишина, благолепие, медовый дух сказочного острова

Буяна с непуганым зверьем и птицами, и только полюбишь все это — уже назад, в свое привычье, в эту комнатенку с книгами, но внутри тебя будет что-то новое, нежное, еще одна любовь, и, обогащенный сверх меры, ты больше никогда никуда не поедешь. Но этот скромный подвиг ты обязан совершить, ведь тебя всегда тянуло туда, будто некогда ты бывал там, и твои забытые городской гарью легкие помнят тот свежий, ароматный воздух. Конечно, это обман — ты никогда не бывал там, и твои родители и деды тоже не бывали. Они рождались в Москве, жили в Москве и умирали в Москве, хотя тоже уходили на какие-то свои, старые войны — с турком, японцем, немцем. И он завершит здесь свою жизнь и ляжет на Ваганьковском кладбище рядом с другими Егошиными, благо в их семейной могиле сохранилось место для одного, а других претендентов на закут для вечного успокоения нету. Мысль о Ваганьковском кладбище подбодрила Егошина, он малость согрелся изнутри и уже мог думать о предстоящей поездке как о чем-то таком, что, по миновании, станет удовольствием.

Борский, похоже, догадывался о загадочных терзаниях Егошина, но, поскольку это его не касалось, он делал вид, будто ничего не замечает, и ограничивался чисто деловыми советами: взять столько-то денег, одеться полегче, но захватить шерстяной свитер — на палубе будет свежевато, приделать тесемки к дужкам очков, чтобы не потерять...

---

## 2

---

В назначенный день и час Борский заехал за Егошиным и сказал, что такси ждет внизу. Первая приятная неожиданность — Егошин почему-то был уверен, что они будут долго и мучительно заказывать такси по телефону, разумеется, не преуспеют в этом, кинутся ловить машину на улице и в конце концов опоздают на самолет. У Егошина мелькнуло, что леденящий ужас, охвативший его перед путешествием, коренился в преувеличенной им опасности сбли-

жения с жутковатым миром бытового обслуживания, рисовавшимся чем-то вроде «сада пыток» Октава Мирбо.

Оказалось, что в одном и том же пространстве и времени существуют несколько миров, пребывающих в разных измерениях и потому не соприкасающихся между собой. Он читал о чем-то подобном не то у Герберта Уэллса, не то у другого крупного писателя-фантаста. Мир Борского, где и он сейчас оказался, не имел ничего общего с миром Егошиных. В мире Егошиных вас окружают ядовитые змеи, в мире Борских — преданные и услужливые коньки-горбунки; в мире Егошиных царит «нельзя», в мире Борских — «можно», а конкретнее — в мире Егошиных все таксисты либо кончили смену, либо едут в парк, либо на обед, либо просто никуда не едут, в мире Борских — они едут туда, куда вам надо. Конечно, где-то кончается и власть Борского, так, вся его могучая воля не могла заставить рейсовый самолет вылететь по расписанию — посадку трижды откладывали, и стало ясно, что они опаздывают на теплоход.

Но в промежутках между отменами рейса, когда огорченные пассажиры вповал растягивались на лавках, по воле Борского заработал буфет (он и должен был бы работать согласно повешенному на двери объявлению, но тяжелый амбарный замок утверждал обратное, что воспринималось томившимися в ожидании людьми как нечто само собой разумеющееся). Заставив открыть буфет и поместив за стойку толстую, злую как черт буфетчицу, Борский сперва превратил ее в улыбчивого ангела, потом заказал две яичницы с помидорами, хотя ангел клятвенно уверял, что располагает лишь холодными закусками. Разделавшись с прекрасно приготовленной яичницей и не дав буфетчице за старанье даже пяточка на чай, Борский потребовал жалобную книгу и не спеша принялся сочинять пространную кляузу. Для Егошина это было уже слишком, он выскользнул из буфета и забился в самый дальний угол зала ожидания, за газетный киоск, где его не без труда отыскал Борский.

— Зачем вы так?.. — болезненно морщась, укорил Егoшин спутника.

— Учить этих сук надо, — спокойно отозвался Борский, ковыряя спичкой в зубах. — Аж перекосилась вся — воровская морда!..

Он подошел к киоскерше и попросил дать ему «Правду», «Неделю» и «Литературную газету». Егoшин следил за ним с легким злорадством. Он тоже сунулся к киоскерше за какой-нибудь утренней газетой и был крепко отчитан ею: «Ишь какой приткий!.. Ты бы еще позже очухался!.. А «Блокнот агитатора» не хочешь?» Извинившись, он отошел. Но сейчас случилось нечто странное: киоскерша вдруг задергалась, как ярмарочный Петрушка, шатнулась, замотала головой, вскинула руки, уронила, присела, вскочила, вытянулась, и перед Борским оказалась груда газет. Егoшин издали узнал «Правду», «Неделю», «Литературную газету».

— Как вам это удастся? — спросил он Борского, когда тот уселся возле него с пачкой газет.

— Вы о чем?.. — рассеянно спросил Борский, шелестя газетными листами.

— Ну... буфет... газеты...

— Это чепуха, не пришлось даже вынимать красную книжечку. Любопытно другое: всеобщее неумение и нежелание пользоваться своими правами. Люди добровольно отказались от всех прав, даже самых чепуховых: съесть холодную сосиску в буфете... Их можно обвешивать, обворовывать в открытую, не пускать куда угодно и откуда угодно выгонять, заставлять неделями, месяцами, даже годами ждать ответа на пустячные просьбы или жалобы — требовать никто ничего не смеет. И хоть бы одному вспало громко заявить о своем праве. Какой там!.. Если же нам что-то дается, мы принимаем это как жест добра и милосердия, как великое благодеяние или подачку с барского стола. И, низко кланяясь, благодарим за то, что является прямой обязанностью государства в отношении своих граждан. Но



они вглядываются то в карточку, то в пассажира?.. А не знаете, так и не спорьте, Александр Степанович.

Егошин был близок к обмороку — не от страха, от нестерпимого стыда, когда протянул чужой паспорт молодой, сильно накрашенной контролерше. Только что она, почти не глядя, вернула паспорт женщине с ребенком, спящим на ее плече. Но егошинский, вернее, будаковский паспорт она развернула, забегала по нему глазами, не переставая при этом пикироваться с крутящимся поблизости лейтенантом милиции.

«Может, признаться во всем?» — подумал Егошин, и тут из-за его спины раздался железный голос Борского:

— Девушка, договоритесь с лейтенантом, когда мы пройдем!

«Он что — с ума сошел? Нарочно натравливает ее на меня?..» Лейтенант с покрасневшими ушами поспешно шагнул в сторону, контролерша, сделав вид, будто не слышала дерзости, так и впиалась глазами в просторное молодецкое лицо нечерноземного Будакова, столь непохожее на узкое старое и несчастное лицо стоящего перед ней человека. Но то ли мысли ее витали далеко, то ли смущение и злость туманили взор, то ли прав Борский — не простое это дело: соотнести фотографию с живым образом, но она спокойно вернула паспорт Егошину, проштемпелевала билет, вручила посадочный талончик и с подчеркнутой деловитостью объявила:

— Следующий!..

Следующий был Борский, и тут у контролерши мелькнула возможность реванша.

— Почему не сдали в багаж? — кивнула она на громадный рюкзак.

— Потому что там взрывчатка, — последовал хладнокровный ответ. — И я не хочу, чтобы ее разворовали, — рюкзак, как известно, не запирается. — И, засовывая на ходу паспорт в карман кожаной куртки, Борский нагнал Егошина.

— Путевка — тоже на имя Буддакова? — спросил тот.

— Успокойтесь. Вы вновь на легальном положении.

Верните мне Сашин паспорт.

— А как мы доберемся до Соловков, если опоздали на теплоход?

— Откуда мне знать? Самолетом.

— Я надеялся увидеть Белое море.

— Тогда катером.

— Каким катером?

— Милицейским. На котором ловят контрабандистов. «На правом борту, что над пропастью вырос, Янаки, Ставраки, Папа Сатырос».

— Багрицкий тут ни при чем. Сейчас не двадцатые годы.

— Ну так нам дадут лайнер, нефтевоз, китобойное судно, крейсер. Какая вам разница? Мы будем на Соловках, как Бог свят.

— Я не думал, что наше путешествие окажется таким сложным. Я все-таки — старый человек.

— Вы нудный человек. Я моложе вас всего на три или четыре года. Вы же убедились, что мне можно верить. Я за вас отвечаю. Доверьтесь мне, и все будет как надо. Иначе мы сорвем друг другу нервы.

— Вы правы, — сказал Егошин. — Не сердитесь на меня. Просто я слишком засиделся, и мне все представляется невероятно сложным, мучительным, непреодолимым. Это пройдет. Считайте, уже прошло.

— Я принимаю ваши слова к сведению, — сказал Борский как-то чересчур серьезно, и Егошин понял, что тот уже давно злится, но не показывает виду. — Давайте наслаждаться жизнью, — и осторожно подтолкнул Егошина к трапу самолета..

Первый в жизни полет не произвел на Егошина значительного впечатления, ни на миг не почувствовал он себя птицей, парящей в поднебесье. Было лишь ощущение некоторого дискомфорта: от пробок, забивших уши, надсад-

мы неутомимо «благодарим» и на нижних этажах жизни, причем здесь благодарность носит не устный, а сугубо материальный характер. «Благодарим» продавцов, парикмахеров, жэковских полупьяных слесарей и водопроводчиков, вконец зажавшихся механиков авторемонтных мастерских, портных, сапожников, таксистов, секретарш, кассирш, администраторов всех рангов, зубных техников. Без «дачи», как называли взятку в старой России, не обходится прием в хороший институт... Я не добряк, равно и не мстительный по природе человек, но я с наслаждением даваю этих гадов, где только могу. К сожалению, поодиночке их не передавишь. Нужно что-то другое... Я знаю, вас это не интересует. Вы придумали по-своему удобный способ жить — ничего не хотеть, от всего отказываться, свести свои потребности до минимума, в духе святого Франциска Ассизского. Что ж, каждый спасается как может... Ну, а я, к примеру, не святой Франциск, я тот, каким он был до своего обращения, власяницы и прочей мути, то есть нормальный кровяной мужик, «любящий баб да блюда», хорошую одежду и все удобства, я вашу философию отвергаю. Да и с чего я должен нищенствовать Христа ради, когда другие уплетают, аж треск стоит? Нас употребляют буквально на каждом шагу. А мы молчим. Гражданское чувство захирело. Может быть, всем честным людям, без исключения, надо выдать красные книжечки для поднятия духа и самосознания?.. — Он вдруг резко оборвал себя. — А ведь это я для вас распинаюсь. Хочу обратить вас в свою веру.

Егошин, внимательно слушавший непривычно длинное рассуждение Борского, промямлил что-то уклончиво-невыразительное.

Незадолго перед отлетом Борский вдруг вспомнил, что они так и не зарегистрировали билеты. Егошин всполошился: не поздно ли?

— Нет. Пошли. Держите ваш билет и паспорт, теперь вы — Буддаков Александр Степанович.

— Что за шутки?

— У меня не было вашего паспорта, когда я брал билеты. Выручил приятель — журналист Сашок Буддаков — певец Нечерноземья. Он кончает книжку, ушел на дно, и паспорт ему ни к чему.

Все еще ничего не понимая, Егошин раскрыл паспорт; на него глядело крупное челюстное лицо человека лет под сорок со лбом на полтемени — рано облысел приятель Борского на своей нервной работе.

— Да вы что — смеетесь? — Егошину трудно давалось возмущение, в голосе его появились плаксивые нотки. — Между нами ничего общего.

— Отыскать вашу копию было не так просто, — сухо отозвался Борский.

— Перестаньте острить! Я не поеду с этим паспортом. Меня примут за диверсанта.

— Хорошее у вас представление о диверсантах!.. Никто и внимания не обратит. Вы, наверное, никогда не летали.

— И не полечу. Давайте сдадим билет.

— И что дальше?

— Я куплю его на себя — Егошина. Потеряю пятерку или сколько там — не важно.

— А с чего вы взяли, что билет достанется вам? Там же очередь. На ваш билет претендует по меньшей мере человек двадцать.

— Откуда вы знаете?

— Билетов не было уже, когда я брал. Мне сняли с брони. Послушайте, Егошин, да будет вам известно, что надо очень долго вглядываться в карточку и лицо человека, чтобы обнаружить их несоответствие.

— Что за чепуха!

— Нет, не чепуха. Хотите пари, что контролерша ничего не заметит?

— Это невероятно!..

— Но — факт! Это же не зарубежный рейс. Там сидят специально натасканные ребята, и знаете, сколько минут

ного гула моторов и неприятно-резинового запаха. Зато поразила и восхитила быстрота, с какой они перенеслись в далекий северный мир, на родину дивного холмогорского мальчика.

В Архангельске их ждали. Прямо к трапу был подан синий милицейский «джип» с красной полосой, и сероглазый капитан в юбке, туго облежавшей спелые рубенсовские формы, браво и сердечно приветствовал консультанта по эстетике и его друга. Гостям было предложено откусать в ресторане «Приморский», славящемся блюдами из лососины, после чего их доставят на борт рейсового пассажирского парохода «Беломорск», курсирующего между Архангельском и Соловками. Каюта уже зарезервирована.

— Умеют ценить в милиции своих певцов, — шепнул Егошин Борскому, усаживаясь рядом с ним на заднем сиденье «джипа».

— Да, — не понижая голоса, согласился Борский, — на редкость благодарный народ. Причем, учтите, я ни о чем не просил, только сообщил, что буду проездом в Архангельске. Они сами все рассчитали и приняли необходимые меры. Они заслуживают своего Шекспира.

— Может быть, не так громко? — шепнул Егошин.

— Да эта сероглазка сейчас — как под колоколом. Мы можем условиться об ограблении банка, она все равно не услышит. Ведь я человек от туда!.. А это выше неба. Она полна лишь одним: выполнить задание, чтоб — ни сучка ни задоринки. Но до чего же вы далеки от реальной жизни! Как можно дотянуть до шестидесяти лет при такой непригодности?

— Еще не дотянул, — задумчиво — не в тон — поправил Егошин. — Если дотяну, попробую объяснить...

— Ну, ждать недолго.

— Кто знает?.. — не Борскому, а себе самому отозвался Егошин.

В ресторан сероглазка, мило покраснев, отказалась идти. Дела!.. Служба!.. Заедет через час с четвертью.

— Стесняется, — глядя ей вслед, сказал Борский. — Нет, нельзя показывать мне молодых баб в сапогах, особенно с полными ногами, — и от подавленной страсти закрипел своими крепкими желтоватыми зубами. — Бросить все. Жениться на ней, предварительно забрав из милиции. Поселиться у моря. Рыбачить. Увеличивать фотографии поморским старухам. И каждую свободную минуту любить эту Венеру. Делать с ней пацанов. А?.. К чертовой бабушке милицейского Шекспира и всю московскую муть!..

— Сколько у вас жизненных сил! — восхитился Егoшин.

— Что есть, то есть, — подтвердил Борский. — Иногда мне кажется, что я еще не начинал жить. Что все впереди. Я даже женат не был. А чего ждать?.. Неужели может встретиться лучше?.. А вдруг?.. «Есть женщины в русских селеньях»!.. Не знаю, будет ли загробный мир, но такого хмельного напитка, как на земле, нам уже не пить. До чего же богата жизнь! Пилишь на Соловки с пересадкой в Архангельске — любознательный путешественник, немного этнограф, мудрец — и вдруг встречаешь богиню с капитанскими погонами, и вся этнография — в куски!..

Оглушительная музыка ресторанныго джаза — музыканты были почему-то включены в электросеть, световые эффекты — танцевальную площадку заливало то бордовым, то зеленым, то синим светом, то некой золотистой рябью, превращающей ее в подводное царство из оперы «Садко», многолюдство, толчея и рюмка водки, выпитая под истаявший во рту кусок лосося, — ошеломили Егoшина до утраты сознания. Очнулся он лишь на борту «Беломорска» и услышал, что путешествие их продлится — ни много ни мало — двадцать шесть часов, поскольку рейсовый пароход идет с семью остановками. Но хмель и обалдение окончательно покинули его, когда он увидел каюту — узкую, со скошенным потолком и круглым окошком-иллюминатором, смотревшим на переднюю палубу. Койки располагались одна над другой, как нары. Егoшин

плохо переносил тесноту и духоту, он попробовал впустить в душный чулан пространство и свежий воздух, и его обдало холодным мелким дождем. Он поспешно задраил иллюминатор. Если и сейчас в каюту заплескивает, то по ходу движения нечего и думать открывать окошко. Все это настолько его обеспокоило, что он как-то проглядел момент отплытия, упустил и своего напарника, совершившего значительный обряд прощания с сероглазым капитаном на палубе, заметался внутренне и, желая утешить нервную бурю внешним покоем, прилег на койку и закрыл глаза.

Как и всегда, этот маневр не помог, даже хуже стало, страшнее. Он вскочил и уставился в иллюминатор, исхлестанный дождем, и при этом пыльный, непрозрачный. Вертя головой, он уловил скольжение берегов вспять и понял, что пароход не стоит на месте, а идет своим курсом — надежда на скорую встречу с морем принесла некоторое облегчение. Он задремал сидя, а когда очнулся, пароход окружала бурная вода.

Неласково приняло их Белое море. Оно оказалось вовсе не белым, а бурым, с пенной оторочкой волн, надоедливо и грубо шлепавших в бок парохода. Егюшин понял, что они попали в ту самую бортовую качку, о которой он нередко читал в морских книгах, но сам никогда не испытывал — знакомство с водной стихией исчерпывалось для него одной-единственной, еще в довоенную пору, прогулкой на речном трамвае. Ему было почти шестнадцать, а его спутнице — двадцать четыре: взрослая, окончившая институт и работавшая инженером замужняя женщина учила целоваться мальчишку-восьмиклассника. И он-таки научился целоваться по-настоящему в это непродолжительное плавание от Москворецкого моста до Воробьевых гор и обратно. По дороге туда они целовались украдкой, на задних местах салона, стесняясь светлого дня и малочисленных пассажиров, но когда отправились назад, загорелся темно-вишневый, придавленный тучей закат, черно и густо налив все тени на земле, и они предавались упоительному заня-

тию прямо на палубе, скрытые от чужих глаз кроваво-голубой тенью заката. Почему эта милая, странная, беспутная женщина, не боявшаяся рисковать своей репутацией из-за жалкого мальчишки, который ничего не умел, исчезла из его жизни, он уже не помнил. Она подвела его к самому краю, где начинались страшные тайны, и бросила. Память о ней была такой сильной, обжигающей, что он не замечал своих сверстниц, а никакая другая взрослая женщина не хотела повести его дальше. Ему пришлось начинать все сначала в девятнадцать лет со студенткой-медичкой, весьма неделикатно удивлявшейся его беспомощности. «Да ты совсем зеленый!» — бросала она презрительно.

Воспоминаний ему хватило ненадолго, качка раздражала, утомляла, он уже понял, что не подвержен морской болезни, как опасался.

Вернулся Борский, снял кожаную куртку, повесил на спинку стула и, забрав умывальные принадлежности, ушел в туалет. Он явно собирался ко сну, чему не мешала сотрясающая его душу внезапная влюбленность. Егошин чувствовал, что ему не заснуть в этой тесноте и духоте. Глянул на часы — с отплытия прошло меньше двух часов, впереди были целые сутки; это не так много, когда время движется своим обычным ходом, но сейчас оно замедлилось почти до полной остановки, и если он не найдет способа вновь двинуть его вперед, произойдет что-то ужасное, чему нет ни образа, ни подобия, ни названия — мучительное изничтожение рассудка. Да нет же, время не может выпасть из системы координат человеческого бытия, но, глянув на часы, он убедился, что время остановилось, — его переживания, несомненно, обладали длительностью, но минутная стрелка не переместилась даже на одно деление. Если уж минута — пылинка времени — обрела такую чудовищную продолжительность, то во что превратится час, — думать о сутках он не решался.

Как обмануть пароходную вечность? Нужно что-то простое и верное. Пойти в ресторан, взять водку и какую-



нибудь закуску. Но он не приучен к алкоголю. При такой качке его непременно вырвет, а потом долго и нудно будет болеть живот. Боль по-своему заполняет время, но он не уснет и тем лишит себя нескольких часов забвения. Это не годится. Вернулся Борский, все такой же молчаливый, и стал укладываться спать. Стянул через голову свитер, оставшись в матросской тельняшке, сменил брюки на пижамные штаны, взбил тощую подушку и скользнул под одеяло, которое ловко подоткнул со всех сторон, чтобы не раскрыться ночью. Было приятно наблюдать его точные, ловкие, отработанные годами одинокой жизни движения, гарантирующие спокойный и надежный сон. Борского внимание Егошина не смущало, он привык справлять обряд сна на чужих глазах.

Заснул он вроде бы мгновенно, едва голова коснулась подушки, но внимательному взгляду Егошина открылось как бы несколько этапов его засыпания. Как только Борский закрыл глаза, дыхание его стало мерным и спокойным, но то был результат волевого усилия. Спал Борский на спине, вытянувшись во всю длину и низко держа голову, по методу японцев, знающих, что самое важное для спящего — положение позвоночного столба. Сон так много значит для самочувствия человека, и Борский, едва ли слышавший о японских правилах, сам нашел наилучшую позу для сна — жестокая жизнь научила его беречь себя. Егошин видел, как ослабли мускулы шеи, опустился кадык, затем все лицо Борского стало как-то странно сползать, приобретая некоторую верблюдообразность; стекли вниз щеки, верхняя губа, удлинившись, накрыла нижнюю, образовались печальные брылы. Борский менялся до неузнаваемости и на глазах старел. Исчез силач, жизнелюб, победитель — под серым пароходным одеяльцем лежал старый, усталый путник. Вот когда сон взял над ним верх. Теперь стало ясно, какую трудную, изнурительную, выматывающую жизнь прожил Борский и чем оплатил заблуждения ранних лет. Егошину было мучительно жаль этого уверен-

ного человека, хозяина жизни, баловня могучего учреждения, блюдущего порядок в стране.

В узком коридоре качка ощущалась еще сильнее, его швыряло от стенки к стенке. В салоне свет не горел, но, приглядевшись к прозрачному сумраку, Егошин увидел, что на всех диванах, во всех креслах и даже на столе для игр спят люди — пассажиры, которым не хватило билетов. Он прошел в круглый вестибюль, куда выходила дверь уже закрытого ресторана; отсюда можно было пройти и на палубу — в обе стороны. Егошин раздумывал, что бы ему предпринять, когда мгновенно и неожиданно оказался в центре отвратительной драки подростков. Он так и не понял, откуда взялись эти мальчишки лет пятнадцати — шестнадцати, самого опасного в наши дни возраста; впечатление такое, что часть выскочила из-под пола, другая свалилась с потолка. Один из них уже истекал кровью из носа и рта. Егошин почувствовал себя лишним в этом окружении, но его призывы дать ему пройти не достигали слуха остервеневших драчунов. Егошин старался не попасть под удар, кого-то отталкивал и с отвращением ждал, что его замешают в эту мерзкую и жестокую драку, где в каждый удар вкладывались злоба и коварство. Но подростки, длинноволосые, в обтяжных джинсах и курточках под замшу, порасшибав друг дружке носы и наставив фонарей, вдруг сгнули так же внезапно, как появились. Наверное, тут были какие-то двери, лазы, лестницы — Егошину не хотелось в этом разбираться. Достаточно было того, что буйная юность исчезла.

Он выбрался в длинный, узкий проход, тянущийся вдоль борта. Сюда выходили окна кают, в большинстве не зашторенные, а впереди был барьер — по-морскому он наверняка назывался как-то иначе, о который удобно опираться, подставив лицо ветру и соленым брызгам. То, что происходило сейчас с темным (под бесцветным небом белой ночи), до спазма души неуютным морем, тоже, очевидно, имело специальное название — радость нудных и педантичных

морских писателей. Темная, изрытая ямами, бескрайняя и безнадежная вода как будто задалась целью унижить романтические потуги маринистов литературного и художественного цехов. Но ее неприветливость и мозжащий холод обернулись милосердием с появлением фигур, оживляющих пейзаж. Эти люди возникали поодиночке, иногда по двое и сразу начинали «травить» — кто за борт, кто прямо на пол. Они хорошо, душевно посидели в ресторане, и сейчас взбаламученные желудки извергали назад водку, портвейн, плодово-ягодные вина и некорыстную закуску. Егосшин поспешно проковылял в самый край коридора, ближе к носу, куда уже было не пройти из-за каких-то грузов, и далеко высунулся наружу, навстречу морским брызгам.

Егосшин знал, что обречен томиться на собачьем холоде, потому что узкая каюта со скошенным потолком слишком похожа на гроб, где и одному тесно, вдвоем же вовсе непереносимо...

История ему часто помогала, — он вспомнил, что некогда этим же путем шел — только не на большом пароходе с мощными винтами, а на стругах — гребных или парусных — тот даровитый и честолюбивый мордвин, что, поднявшись до сана патриарха, вздумал повторить на русской почве спор папы Григория Гильдебранта с королем Генрихом VII. Но кончилась попытка знаменитого Никона, преобразователя православной церкви, не по европейскому образцу. Там кичливый Генрих, замахнувшийся на приоритет церковной власти, пошел в Каноссу, ставшую с тех пор символом величайшего унижения, вымаливать прощение у папы; по дороге он со своими приближенным гулял, бражничал и щупал девок в корчмах, а близ Каноссы облачился в смиренную рубаху, повесил веревку на шею и пополз к святому отцу на коленях. Здесь все обернулось на простой русский манер: обрушил на зарвавшегося патриарха Московского свой тяжелый гнев вспыльчивый и скорый на расправу царь Алексей, прозванный Тишайшим — за отходчивость: прибьет и тут же приголубит. Но Никона

не приголубил, а подверг жестокой опале, вынудившей того бросить «жезл Ааронов» и укрыться в Ново-Иерусалимском монастыре, своем детище. Больно близко себе ссылку назначил, царь спровадил его подальше, в Ферапонтов монастырь, откуда тот вышел в смерть. Но в пору, которая припомнилась Егояшину, был Никон в славе и силе; он убедил царя перенести мощи низложенного и умерщвленного по приказу Грозного святого Филиппа из Соловецкой обители в патриарший Успенский собор, что стоит посреди Московского Кремля. Игумен Филипп из мятежного рода Колычевых был затребован Грозным в Москву из Соловков, — вряд ли бывало в русской церкви, чтоб из игуменов возводили в митрополиты, и подавно не случалось, чтоб новоиспеченный — царевым изволением — глава православной русской церкви восстал против своего Государя. Не ждали того ни сам Иван Грозный, ни ближние к нему люди, ни церковники, хотя скромная твердость Филиппова нрава, чистота и прямоту были всем ведомы, а при подобных свойствах характера как мог он уладиться с грозным царем, уже создавшим опричнину? Неспроста затеял хитроумный Никон перенесение останков смелого супротивника царя в патриарший собор, ибо значило оно победу — пусть посмертную — церкви над светской властью. Понимал ли Алексей Михайлович умысел Никона? Он, если память не изменяет, не сразу на это согласился, знать, проглянул своим раскидистым умом скрытые цели Никона. Но в конце концов дал согласие. Он хотел укрепить авторитет русской православной церкви и сблизить ее с греко-римской, до поры до времени стремления царя и Никона совпадали. А может, богобоязненный Алексей Михайлович питал тайную надежду, что непокойное Белое море укротит или хотя бы остудит сомнительное усердие честолюбивого святителя? Чуть было так оно и не случилось: торжественно отплыл Никон со свитой к Соловецким островам, но буря пораскидала струги, немало людей утащила на дно, и пришлось, «солону хлебнувши», повернуть назад. Другой

бы благочестивый человек увидел в этом знак Божий и отступился бы от своего намерения, но не таков был упрямый мордвин. Он велел наново подготовить флотилию и, не дожидаясь благоприятной погоды, снова пустился в путь. Ох и поблевали святые отцы на бурных водах — почище здешних пассажиров, хоть и не ополаскивали нутра горячительными напитками! А Никон небось не блевал: смелые, целеустремленные честолюбцы оказываются всегда хорошо подготовленными природой для дерзких затей. Ведь известно, Наполеон куда легче своих соратников переносил и египетское пекло, и русские морозы. А может, и Никон блевал, кто его знает, но гнал и гнал вперед хлипкую флотилию, пока не достиг островов, и, несмотря на все плачи, вопли и стенания соловецкой братии, не желавшей расставаться со святыми мощами — от них и слава, и немалый прибыток монастырю шли, — велел переложить останки в свинцовый водонепроницаемый гроб и отвалил назад. Да, он еще сделал что-то противное: по слезной мольбе монахов отрезал от нетленных мощей добрый шмат и оставил в обители, чтоб было чему поклоняться.

В Соловецком монастыре хранились останки еще трех святых: Савватия, Зосимы и Германа. Что за странная и загадочная фигура этот Герман? Его причислили к лику святых куда позже, нежели Савватия, с которым он пришел на необитаемые острова в Белом море и основал здесь скит, и даже явившегося через много лет Зосимы — этого чтят едва ли не выше Савватия, считая истинным основателем обители. Первую деревянную церковь на островах — Преображения Господня — поставил действительно он, чем и заложил будущую кинию. А с Германом — какая-то муть. По непонятным причинам он вдруг оставил своего напарника, «отлучился» в Поморье и вернулся назад, когда Савватия уже не было в живых. Через год к нему присоединился преподобный Зосима. А потом начала стекаться братия и строить кельи при церкви. А умирать Герман, кажется, опять ушел на Большую землю. Его долго не канонизировали.

Егошина всегда отличало пристрастие ко «вторым», затененным людям. Быть может, это коренилось в присутствии ему обостренном чувстве справедливости. Всякое нарушение ее было ему болезненно. Поэтому он и заинтересовался Германом, но так и не смог рассеять завлакивающего эту фигуру тумана. Об этом запоздало канонизированном святом говорилось всегда глухо и уклончиво. Дважды Герман оказывался сотоварищем таких значительных деятелей церкви, как Савватий и Зосима, выходит, было в нем что-то притягательное для совместного скитского уединения. Но и чем-то неполноценным, убогим веяло от этого размытого образа, и почему он всегда в загоне? Ведь церковь любит убогих и охотно возвеличивает их. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное». Но нищим духом его не назовешь: не побоялся же он по какой-то таинственной «надобности» бросить Савватия и перебраться на Большую землю. Этому решительному и непонятному поступку церковные авторы никогда не давали оценки. А затем его приблизил такой крупный человек, как Зосима. Привлекал чем-то Герман ищущих уединения и вящего пустынножительства далеко еще не старых старцев. Но чем?.. Рабочей силой, простодушием и молчаливостью или телесной красотой? Любопытное явление — это парное отшельничество. Привлекал, сильно привлекал ядреных старцев пригожий и простодушный Герман!.. Потому и вышла заминка с его канонизацией...

Здорово разобрался! — насмешливо одобрил себя Егошин. О чем бы еще подумать?.. В Соловецком монастыре не так давно обнаружен при раскопках саркофаг Авраамия Палицына. Это историческое лицо пользовалось особым расположением Егошина. Рачительный келарь Троице-Сергиевой лавры, обремененный хозяйственными делами богатейшей обители, очнулся для великой всенародной службы в черные дни Смутного времени, каким Русь расплачивалась за безумства грозного царя. Оказывается, Палицын знал слова, способные пробиться и в заросшее, и в

оробевшее, и в смятенное, и в заледенелое от ужаса сердце. Своими огненными посланиями он поднял русских людей на отпор торжествующей иноземной рати, разбудил нижегородского мясника Минина-Сухорукам, открыв в нем народного вождя, отверз вежды залечивающему старые раны князю Пожарскому на беды Родины и вознес дух умелого, но чуть вялого воина. А когда Русь стяхнула врагов со своего тела, Авраамий вновь ушел в тень. Почувствовав приближение смерти, он захотел вернуться в Соловецкую обитель, где провел молодые годы, и навек успокоиться в ее тишине. Наследники Сергия Радонежского, явив странную черствость, даже не пытались удержать монаха-трибуна.

Любопытна участь Соловков! Несколько комочков суши, будто отколовшихся от пустынной карельской земли, а сколько всего связано с этим крошечным архипелагом: и великого, и скорбного, и ужасного, и высокого, и печального. Там все на особицу, начиная с климата. Наверное, это заметили и первые пустынники, но практический вывод сделал игумен Филипп и пересоздал флору и фауну островов. Он насадил растения из других климатических поясов: кедр, пихту, вязы, клены, фруктовые деревья, разные злаки, овощи, цветы, даже розарий заложил знавший цену земной прелести монах, — Егосшину нравилось думать о Колычеве в духе старинного русского велеречия. Филипп поселил на острове оленей лапландских, лосей, медведей, лисиц, зайцев, развел рыбу в местных озерах, завел пасеку, обеспечил монастырь добрым медком. Сам Филипп, даром что боярского рода, стало быть, воспитывался во всяком баловстве и довольстве, отличался аскетическими привычками — принимал лишь самую простую, грубую пищу, не пил ничего, кроме воды, спал на жестком, с камнем в изголовье, вставал до свету и даже в старости отказывал себе в дневном отдыхе, носил рясу из жесткой, суровой ткани, а монахов, которых держал строжайше по части службы, рабочих повинностей и чистоты поведения, утешал обиль-

ной, разнообразной и вкусной трапезой: в постные дни — всегда свежая рыба морская и речная, а в остальные — щи с убоинкой, каша масляная, при нем стали готовить знаменитый соловецкий квас и выпекать несравненный по вкусу и мягкости хлеб, одна из пекарен вроде и по сию пору сохранилась. Так же изобильно кормил он послушников и трудников — знал Филипп, что хорошо кормленный человек на большую работу способен, чем убивающий плоть праведник. Умерщвляющие плоть лежали в деревянных гробах и ничего не делали, разве что по нужде вставали, да какая там нужда с акрид и водицы? — у Филиппа бездельникам не было места, у него все вкалывали до изнеможения. Сам он был человеком такого мощного духа, что ему для горения требовалось совсем мало хвороста, но Филипп не мерил по себе окружающих людей. Монахи многого мишены, особенно на островах, и он давал им веселие плоти, строго следя, чтобы не обросла жирком эта плоть. Есть они приучены были быстро, опрятно и не жадно, разумно питая тело, которое расходовали на многих строительных и прочих работах. Филипп ставил церкви, расчищал леса и пронизывал их дорогами, тянул каналы, разводил рогатый скот, для чего нашел пажити и вычистил в способных местах пожни; были у монастыря мельницы водяные, кирпичный завод и соляные варки; в Новгороде, с которым великие дела, поставили каменный дом — монастырское подворье. Филипповым рвением да многочисленными дарениями Соловецкая обитель шагнула на Большую землю, обретя многие земли и деревни не только в Поморье, но и в Новгородчине, окрест Твери и в иных местах.

До чего примечательная и напрасно малоизученная фигура русской истории — Филипп из рода Колычевых! Предраассудки нового времени в отношении тех деятелей России, что вышли на авансцену современной им жизни в рясе, а не в цивильном платье, естественны, хотя ныне с ними пора бы покончить. Ведь сделали же это для церковной архитектуры, которую безжалостно уничтожали в двад-



цатые — тридцатые годы, зашоренно видя в ней лишь культовый смысл, а сейчас пытаются спасти уцелевшее; сделали это и для церковной живописи, явив и собственной земле, и всему потрясенному миру чудо русского Возрождения; пора бы и выдающимся людям прошлого оказать то же приязненное понимание. Пока исключение сделано для одного Сергия Радонежского, вдохновившего Дмитрия Донского на Куликову битву, с которой началось Русское государство. Но можно ли винить тех деятелей русской истории, культуры, искусства, литературы, что носили скуфью и рясу, а жизнь проводили в монастырях? — не знала старая Русь иных очагов культуры, не знала европейских университетов. Величайшим художником был преподобный Андрей Рублев, вся литература, включая «Слово о полку Игореве», вышла из монастырей, внутри же нее сотворился и первый русский роман «Житие протопопа Аввакума». А разве послушал бы князь Дмитрий пламенного Сергия, будь он мирянином? И кто, кроме митрополита, осмелился бы обличать всенародно грозного царя? Князь Курбский осмелел, удрав в Литву, под чужую защиту, а князь Репнин, отринувший машкеру, существовал лишь в поэтическом воображении Алексея Константиновича Толстого. Бояре были способны лишь на ворчбу да изредка на заговоры; народ безмолвствовал...

Что-то изменилось в пространстве: оно уже не было столь безнадежно тусклым, обесцвеченным. По бутылочного цвета волнам промелькивали искорки — отзыв на ловимый полегчавшим, вознесшимся и опрозрачневшим небом блеск еще не вставшего из-за края земли солнца. Егошин прошел на заднюю палубу и увидел на востоке узенькую желтую полоску. И в той же стороне, на горизонте, ему привиделась земля — протяженное синевато-коричневое взгорье, которое то вырастало над волнами, то закрывалось ими. А вокруг них море зримо затихало, качка уменьшилась, похоже, они входили в бухту, и было странно, почему пароход не поворачивает в сторону гряды, а словно удаляется от нее. Но через неко-

торое время Егошин убедился, проглядев глаза до едучих слез, что мнимая гряда — те же волны, только более рослые на глубине. А земля возникла внезапно и совсем рядом, по другую руку — плоский пустынный берег с двумя-тремя деревянными строениями, и туда держал путь пароход, хотя там не виднелось ни пристани, ни даже причала. А может, так казалось сухопутному глазу Егошина?..

И тут пароход разом ожил. Откуда-то возник матрос со шлангом и шваброй и принялся ловко смывать подсохшие следы вчерашнего безобразия. Появились и другие матросы, молодые, озабоченные, затем вышел помощник капитана в морской фуражке, к толстой нижней губе прилипла погасшая сигарета. Квадратный, без шеи, с каменно-невозмутимым лицом, он что-то говорил матросам тихим, домашним голосом, и казалось, что он ничуть не настаивает на выполнении своих распоряжений. Меж тем пароход стал снижать ход, разворачиваться левым бортом к берегу, машины ворчали глухо, замирающе. Нахлынули — целой толпой — пассажиры, собирающиеся сойти, среди прочих молодая женщина с тремя детьми: грудняком, мальчуганом лет пяти и девочкой школьного возраста, живая, юркая черноглазая старуха, стройная девушка на высоких каблуках, одетая как для театра, братски похожий на помощника капитана квадратный человек в жесткой робе и с невероятным количеством багажа в разнообразной упаковке, другие пассажиры смазались в памяти Егошина, удивленного, что с виду пустой, безрадостный, почти необитаемый клочок голой земли обладает такой притягательностью для многих, весьма разных людей. Значит, что-то существенное оставалось скрытым от глаз, пряталось в глубине, но тогда вовсе удивительным казалось отсутствие причала.

Загремела якорная цепь.

— Идут! — радостно произнес чей-то голос.

Теперь и Егошин углядел крошечную моторку, держащую путь к пароходу, и ужаснулся хрупкости и ненадеж-

ности скорлупки, на которой доверчивые люди собираются достичь берега. Но когда он разглядел команду лодки, страх перешел в панику. Это были пацаны-школьники; старшему — он сидел на корме, сжимая в руке самодельный руль из заводной рукоятки автомашины, — было лет шестнадцать, двум его матросам — от силы по четырнадцать. Казалось, рулевой сидит в воде, так низко опустилась корма, зато высоко задранный нос слышимо колотил по волнам. С парохода спустили трап — нечто хлипкое из канатов и дощечек; моторка ловко подрулила к нему, но нижняя ступенька трапа метра на полтора не достигала лодочки. С бьющимся у горла сердцем Егюшин ждал, какой выход найдут эти — хотелось верить — опытные и умелые люди. Оказывается, никакого. Вперед предусмотрительно пропустили мать с тремя детьми, старшие цеплялись за ее юбку. Сойдя на последнюю ступеньку раскачивающегося трапа, женщина что-то крикнула пацанам. Двое встали, шатаясь и поддерживая друг друга, чтобы не упасть, женщина примерилась и швырнула им через пучину конверт с младенцем. Один из парнишек поймал его, словно грушевидный мяч для регби, и с размаху сел на скамейку. Женщина подняла за подмышки пятилетнего сынишку, раскочала и метнула в лодку. Видать, был он тяжеленок — поймавший его юный лодочник повалился вверх тормашками. Но быстро вскочил и усадил мальчонку на лавку. Тот поерзал, о чем-то подумал и разревелся. На него цыкнули, и маленький помор мгновенно смолк, тесно сжав губы и зыряка глазами-кнопками.

Затем в лодку легко прыгнула девочка и, наконец, — мать, хорошо и крепко приземлилась широким задом возле своего младенца; она тут же вынула из кофты не упрянтанную под лифчик грудь и сунула в маленький жадный рот. Егюшин был так очарован хладнокровной отвагой семьи, что проглядел прыжок черноглазой старухи. Он услышал короткий вскрик, оглянулся и увидел, что юные матросы вытягивают бабушку за шиворот из воды — суетливая старушка сиганула прямо в море. Никто не придал

этому случаю преувеличенного значения, а промокнувшая до нитки старушка от души хохотала над своей неуклюжестью. Немного успокоившись, она принялась отжимать подол и сливать воду из туфель. Тут произошла маленькая заминка: к прыжку готовилась красивая девушка на высоких каблуках, и трое лодочников, стремясь принять драгоценный груз, отпихивали друг дружку плечами. Пока они препирались, лодку отнесло далеко от трапа, пришлось мотористу вернуться на свое место и пустить мотор. В сердцах он слишком резко рванул руль, который вырвался из гнезда и едва не пошел ко дну. Наконец лодка вновь приблизилась к пароходу, и тут девица грубо прикрикнула на мальчишек, чтоб они катились подальше и не смели ее трогать. Столь плоское непонимание рыцарственной чистоты намерений оскорбило морские души, подростки рассыпались, и девица, чуть поддернув юбку, птицей пронеслась над пучиной и как врубил каблуки в дощатое днище лодки. Когда погрузился квадратный человек в робе, лодка угрожающе осела, и помощник капитана велел отваливать. Было ясно, что с одного захода всех не увезти...

— Привет, вот вы где! — послышался свежий, самоуверенный голос, и на палубу вышел прекрасно отоспавшийся Борский, умытый, выбритый до кости, благоухающий одеколоном, вновь победитель, хозяин жизни, эстетический наставник и неотразимый кавалер, а не измученный пустынепроходец.

Он искал Егошина в ресторане, заказал там две яичницы с колбасой, сметану, хлеб, масло и даже маринованные огурчики, заставив открыть громадный стеклянный сосуд, предназначенный буфетчиком для продажи целиком, нераспечатанным. Эта первая утренняя сшибка с беззаконием, как всегда поверженным в прах, еще улучшила настроение Борского, и вообще-то не склонного к унынию.

— Пошли заправимся, — предложил он Егошину. — А потом, мой вам совет, — хорошенько выспаться. Иначе вы будете ни на что не годны.

Егошин так и поступил. Позавтракав, он пошел в каюту и, не раздеваясь, рухнул на койку, мгновенно погрузившись в провальный, без сновидений сон. Он проспал часов двенадцать, пропустил, по уверению Борского, массу интересного, но ничуть не жалел о том. Он едва успел вымыться и побриться, как показались Соловецкие острова. На палубу он вышел в самый раз — пароход шел мимо черных мертвых скал — горестного памятника человеческой безответственности. «Страшные Заицкие острова», — перефразируя Джека Лондона, пробормотал про себя Егошин.

—  
**3**  
—

И вот совсем не торжественно и не таинственно, не градом Китежем со dna морского, а строительными лесами за кремлем из каменных глыб, зелеными куполками церквей, колокольной, рачительно увенчанной красной звездой, с будничной деловой отчетливостью стал перед ними Соловецкий монастырь. Пройдет немного времени, и Егошин будет восхищаться великолепными в своей присадиистой мощи башнями, точно и красиво рассчитанными по высоте крепостными стенами, держащимися без раствора одним лишь весом валунов, но сейчас он искал другого и не находил. Боже мой, неужели это нелепое здание со снежным куполом и есть Преображенская соборная церковь — ее обезглавленное тело?

— Зачем же купол-то сорвали?.. Кому он мешал?.. Боже, как он сверкал, ярче огней маяка лил свой свет в пространство. Он был словно второе, незаходящее солнце. Даже в полярной ночи собирал на себя блеск звезд, фейерверк северного сияния, какое-то тайное свечение, что всегда пребывает в просторе...

— Bravo! — насмешливо сказал Борский. — Весьма поэтично и так, будто вы здесь бывали в незапамятные времена.

Егошин посмотрел на него и ничего не ответил. Он здесь бывал...

На пристани пароход встречали три милиционера, и Борский возвеселился душой. «Вот не ждал, что в Соловках такой мощный гарнизон. Думал — один уполномоченный. А тут, глядите: капитан, сержант и рядовой. И все ребята — как на подбор!» С этим нельзя было не согласиться. Капитан и сержант — писанные красавцы, но в разном жанре; старший по званию являл совершенство голубо-золотого славянского типа, младший — цыганский огонь. Рядовой, видать, был из местных: лежащий неподалеку ненецкий округ уделил ему узковатую припухлость глаз, подпертых румяными яблоками скул. В ход была пущена красная книжечка — улыбки, бравое козыряние, рукопожатия, милое сетование, что вышестоящие не предупредили. Рюкзак и аэрофлотовская сумка тут же были забраны у знатных путешественников симпатичным помором, которому этот груз был — что пушинка. Они двинулись в сторону поселка. Борский с капитаном ушли немного вперед для летучей разработки плана действий. У бывалых людей это не заняло много времени, и Егошину было предложено не соединяться сегодня с экскурсионной группой, а поехать на «дачу» в глубине острова, где будут уха и чай, русская баня «на шесть шаров» и прекрасная ночевка в просторной чистой комнате с окнами, затянутыми марлей, что защищает от комаров, но дает свободное проникновение медвяному лесному воздуху. Экскурсия по монастырю состоится завтра, и капитан позаботится, чтобы их группе дали лучшего гида. Все же остальное, что туристы видели сегодня, они могут посмотреть по пути на «дачу»: ботанический сад, маяк, часовню. На «даче» есть плоскодонка, и сержант Мозгунов после бани и легкой заправки прокатит их по всей водной системе. «А на чем мы доберемся до этой 'дачи'?» — с легкой тревогой спросил Егошин, который был плохим ходоком. «На 'джипе', на чем же еще?..» Сказка продолжалась...

И капитан и сержант — первый уралец, второй волжанин — были влюблены в Соловки и по дороге наперебой засыпали вновь прибывших местными историями. Капитан рассказал о знаменитом соловецком восстании, когда ревнители старой веры, вооружившись пищалями, мечами и бердышами, восемь лет держали оборону против царевых войск и были сломлены не силой оружия, а предательством одного из монахов, показавшего врагу тайный лаз — обычная судьба долговременных осад, — всегда находится изменник, по слабодушию или корысти губящий героическое дело... А сержант поведал о «конфузии», учиненной инвалидным соловецким гарнизоном английскому флоту в Севастопольскую войну. После долгого и бесплодного обстрела крепости, выпустив сотни ядер и не проделав даже малой брешки в стене, англичане предложили стойким инвалидам и упрямым монахам сдаться на почетных условиях. В ответ смиренный инок вкупе со старым инвалидным бомбардиром ахнул из крепостной пушечки и снес грот-матчу на командирском корвете. Потрясенные меткостью православного бога — человеческой удачей тем паче — умелости такое не под силу, — англичане попросили дать им питьевой воды, после чего с позором удалились от соловецких берегов...

— Это все старая история, — заметил Борский. — Меня интересует слава наших дней. Каменные мешки сохранились?

— Чего? — не понял капитан.

— Не придуряйтесь, капитан, — строго сказал Борский. — Мне хочется глянуть, как завершил жизнь мой папа.

Так вот в чем был личный интерес Борского в этой поездке! — открылось Егущину.

— Вот оглоед! — вскричал сержант Мозгунов, и в голосе его звучали досада, восхищение и укор. — Опять за своей!..

По грудь в студеной беломорской воде стоял средних лет человек с обветренным брюзглым лицом, в пиджаке и кепке.

— Вылезай, Акимыч, не срамись перед людьми, — попросил сержант Мозгунов.

— Ишь хитрый какой! — отозвался Акимыч. — Я вылезу, а вы меня обратно макнете. Нет уж — дудки!

— Да на кой тебя макать, когда ты сам себя макнул, хуже некуда! — в сердцах сказал капитан.

— Ты мне, товарищ капитан, зубы не заговаривай! — выбивая дробь зубами, сказал Акимыч. — Не хочу, чтобы меня макали.

— Вылазь, Акимыч, простудишься! — уговаривал сержант. — Неужто тебе захворать охота? Скоро самая рыбалка начнется.

— Не вылезу, — твердо сказал Акимыч, погружаясь в воду по шею. — Не хочу, чтобы меня макали.

— Он что — ненормальный? — спросил Борский.

— Нет, он автомеханик, — сказал капитан. — Но зашибает крепко. А у нас вытрезвителя нету. Ну, мы его разок-другой остудили, чтоб очухался. А что делать?.. Не можем мы, вместо охраны порядка, с алкашами возиться. Так он теперь вон чего удумал — как нас увидит, так в воду. Срамотища! Акимыч, в последний раз тебе говорю: вылазь. А то мы тебя сами вытащим.

— Не вылезу — макнете. — И, отступив, Акимыч хлебнул воды.

— Ничего не поделаешь, ребята, — обратился к своим помощникам капитан, и те принялись разуваться.

— А у вас тут немало трудностей, — заметил Борский.

— Не без этого, — согласился капитан. — Главное — это отсутствие вытрезвителя. Тюрьмы тоже нет. Раньше в Кемь было проще доставлять, а теперь надо в Архангельск везти. Вообще-то у нас довольно тихо. Потом нам сильно дружинники помогают. Особенно по части алкашей. Подбирают их, отводят домой. Нет, преувеличивать наши трудности не стоит, но надо быть начеку.

Акимыча извлекли из воды, хотя он и применил хитрую тактику красноголового нырка. Милиционеры обулись,



усадили дрожащего Акимыча в проходивший мимо грузовик. Капитан насильно впихнул Акимычу в рот какую-то противопростудную пилюлю; в сопровождающие нырлящику был выделен молодой помор...

«Джип» подан, вещи уложены, вот уже Егошин с Борским, сопровождаемые сержантом Мозгуновым, обогнув кремль, мчатся сквозь душистый лес по прямой ухабистой дороге, то подсакивая на сиденье до крыши, то валясь друг на друга.

— Дорожку-то небось не ремонтировали со времен отцов пустынников? — заметил Борский сержанту.

Егошин не расслышал ответа. Он впал в какой-то странный полусон. Отлично выспавшись на пароходе, он бодро сошел на берег, пережил и подавил горькое чувство, вызванное отсутствием светозарного купола, живо включился в мельтешню современной жизни с милиционерами, их рассказами, умными Акимычем, прячущимся в холодную воду, чтоб его, упаси Бог, не окунули, козлоскачущим «джипом», а тут вдруг не то чтобы отключился от спутников с их житейщиной, но остался с ними лишь малой и слабо сознающей частью своего существа. А другой, большей, он погрузился в сновидческое переживание окружающего, но вневременного мира. И настойчиво стучало в сердце: это моя земля... мой мир... мое, мое, мое... Наверное, нечто подобное произошло с Авраамием Палицыным, когда он, старый, прославленный и смертельно усталый, потащился через леса, болота и воды на край света встретить тут свой исход. Но Авраамию эта земля была родной, ее топтали его молодые крепкие ноги, а ему?..

Вспомнился давно читанный роман, вернее, его главная образная суть, содержание начисто выветрилось. Там говорилось о каком-то человеке, который вдруг, вдалеке от своего дома, открывает ту единственную землю, где он должен жить. Он не только не обретает здесь никаких преимуществ, напротив, все теряет, превращается чуть ли не в люмпена, и все же теперь он счастлив, душа его расцветает, он становится собой истинным, а рядом с этим все

утраты ничего не стоят. Причем его открытие не предварялось ни тоской о земле обетованной, ни чувством неродности окружающей прежде жизни, ни смутным томлением по чему-то несбывшемуся. Но вот он оказался на земле, лишенной для других особой привлекательности, и он схвачен, закапканен и не уйдет отсюда никуда и никогда. При сходстве главного мотива Егюшин не уподоблял себя герою этого романа. Как ни любо ему было это место: густой пахучий лес, взблескивающие за деревьями озера, звенящая тишина, медовый воздух, как ни заманивало терпкое прошлое крошечной таинственной страны, ему и на миг не вспало, что можно остаться здесь. В отличие от того очарованного человека, он был настроен на встречу с Соловками, знал, что ему там будет хорошо, но когда встреча состоялась, в нем не родилась другая душа, вмиг слившаяся с окружающим. Скорее очнулась некая старая, давно сношенная и вдруг обнаружившая волю к сопричастию. И все же он оставался тем же московским старожилом, вечным пленником провонявших гарью улиц, кропотливым редактором поэтических текстов и книжным червем. И этот свой образ он не поменяет ни на какой другой. Впрочем, сейчас в нем обнаружился новый Егюшин, который строго напоминал спутникам, что они собирались заехать в дендрарий. Но милиционер признавал за ним лишь право совещательного голоса, а Борскому не терпелось в баню «на шесть шаров», он пропустил слова Егюшина мимо ушей, и машина продолжала идти своим курсом.

— Вы проехали указатель, — сказал кто-то из тела Егюшина звучным, привыкшим повелевать голосом. — Назад!

— Да, да, — непривычно смешался Борский, — мы проскочили поворот.

А когда приехали в ботанический сад, Егюшин, не интересуясь, следуют ли за ним остальные, выскочил из машины и направился к розарию, заложенному последним настоятелем обители. Власть надышавшись каждым распустившимся бутонем красных, белых, чайных, исчерна-пур-

пурных роз, пропитавшись их сладким ароматом, он важно молвил поспешавшему за ним старичку-садовнику:

— Завидую, по-доброму завидую вашим прекрасным розам. И не грезилось прежде такое великолепие.

— Рады стараться! — вытянулся цветочный дедушка.

Вспоминая потом собственные диковатые слова и особенно — интонацию, а также старомодный ответ садовника, Егошин отнес это за счет своего сдвинувшегося и слегка галлюцинирующего сознания. Наверное, это естественно для человека, тридцать пять лет не выезжавшего из Москвы, не меняющего своих крайне скромных привычек, всего до предела упрощенного образа жизни и так оглушившего мозг безостановочным чтением, что реальность и вымысел образовали нераспутываемый клубок. Казалось, сейчас в него проник другой человек и подсказывает ему странные слова и жесты; но и, обнаружив непрошенного зашельца, Егошин не мог изгнать его из себя. Когда они осматривали фруктовый сад с молодым вишеньем, садовник спросил с тоской: «Приживутся ли?», в ответ Егошин значительно возвел очи горе.

Не обошел Егошин вниманием и кусты смородины, крыжовника, облепихи, весьма одоббив последнюю за многие целебные свойства; равно и небольшую оранжерею с разными растениями, и парник с огурцами и под конец сказал садовнику, что дело ведется весьма разумно и старательно и нет сомнений, что каждое плодоносящее дерево и родящий сладкие ягоды куст, а также всякий овощ оплатят сторицей за уделенные им великое человеческое терпение и неустанный труд. Старик всхлипнул и, прощаясь, сделал странное движение шеей, оставшееся незавершенным, ибо он очнулся и сумел удержать себя от диковатого желания приложиться к маленькой сухой руке приезжего. Егошин угадал бессознательный порыв старика и от стыда почти вернулся к себе обычному.

Но в машине он вскоре вновь обрел мягко-повелительный тон, не дав свернуть к «даче» с уже дымящейся банькой, погнал «джип» вверх, к маяку. «Вот не думал, что вы

такой жадный путешественник!» — с удивлением, вытеснившим недовольство, заметил Борский.

До самого маяка доехать не удалось, путь к башне преградил намертво замкнутый шлагбаум, и последние десятки метров они прошли пешком по крутой булыжной дорожке, сопровождаемые неистовым, взახлеб, лаем сторожевого пса — помесь гончака с лайкой. Здоровенный пес так натягивал железную цепь, что казалось, вот-вот порвет, и перетрусивший шофер стал взывать к хозяину маяка, чтобы унял своего дьявола. И тут Егошин неторопливо, задумчиво пошел прямо на пса, враз замолчавшего, прижавшего уши к голове, и потрепал его по загривку.

— Вы еще и укротитель? — В тоне Борского звучала не только насмешка.

На маяке их радушно встретил смотритель, рыжий, с изумрудными шальными глазами. Казалось, он их ждал, что ничуть не удивило рассеянного Егошина, но озадачило Борского, крайне приметливого ко всем подробностям жизни. Насколько он помнил, они собирались сюда после баньки, ухи и чая (все это должен был обеспечить прикомандированный к «даче» матросик), дендрария и часовенки, но, очевидно, капитан милиции позвонил по телефону и предупредил смотрителя, чтобы тот был наготове, если планы гостей изменятся. Так оно и произошло, довольно неожиданно для Борского. «Умный человек, — одобрил капитана Борский, — почуял туристскую одержимость Егошина, начисто ускользнувшую от меня». И он слегка омрачился, ибо не прощал себе мелких промахов, считая, что из них вырастают серьезные неприятности.

— Все как было, — задумчиво произнес Егошин, когда они следом за смотрителем поднялись по каменной винтовой лестнице на верхушку башни, где располагался прожектор.

— Все, кроме источника света, — глубокомысленно заметил смотритель. — Вместо нефтяного фонаря современная техника.

Над морем держалась туманная дымка, и, отделенное ею от бледно-голубого неба, оно в самом деле стало белым. Низко кружились большие чайки и вдруг клевали воду, добывая из нее пропитание.

— Не скучаете? — спросил Борский смотрителя.

— Скучаю, — признался тот. — Ко мне жена перебралась, а пацана на бабушку бросила. Так и сидит тут неотлучно. Скукота.

— А вы, стало быть, не промах?.. — засмеялся Борский.

— Нет, — серьезно ответил смотритель, — я меткий стрелок. Но сейчас все глухо, жена и повелительница неотлучно при мне зевает. Вчера не выдержал, слетал в Архангельск и закупил литературы: и научную и, простите за выражение, художественную.

— Вы книголюб?

— Поживешь с моей бок о бок, тут еще и не тем станешь!..

Они уже спускались вниз, и Борский оглянулся, чтобы привлечь Егошина к беседе со смотрителем, но того не было видно.

— Егошин! — закричал Борский, сложив руки рупором, в каменную гулкость лестницы. — Спускайтесь вниз!.. Надо ехать!..

Его голос не сразу достиг ушей загрезившего Егошина. Он по-прежнему вглядывался в пустую белесую даль моря, населенную лишь чайками, которых он едва различал своими «подстриженными» глазами, но росчерк их движений улавливал. Ему было удивительно хорошо и покойно на душе и не хотелось никакой суеты, даже осматривать полуразрушенный монастырь не тянуло. Так бы стоял тут, отрешенно вглядываясь в даль, постигая ее чистоту и глубину не внешним, а внутренним зрением. Вот оно — счастье!.. Он никогда прежде не испытывал этого чувства, о котором столько наговорено, насочинено, напето, всегда что-то мешало: или неуверенность в себе, или в том человеке, который мог стать источником счастья, или посторонние

заботы; тень — знак аида, его тьмы и пустоты — всегда марала небесное золото счастья. Пожалуй, лишь одно-единственное переживание осталось в нем ощущением совершенного счастья: когда в раннем детстве, после ванны, бабушка тащила его на загорбке в постель, завернутого в огромное мохнатое полотенце, и он, разомлевший, нарочно свешивался бесформенным кулем. Все остальное было лишь суррогатом счастья, даже стихи — чуть приметная горечь от собственной бездарности примешивалась к сладостно-счастливым слезам. А сейчас, пляясь в белесую пустоту и не населяя ее никакой думой, он был бессмысленно и прекрасно счастлив...

—  
4  
—

...Симпатичный чернявый матросик с круглыми детскими глазами встретил их в растерянности, он уже столько раз впустую раскочегаривал баню, что теперь не отвечал за «шесть шаров». Но для непривычного слабогрудого Егошина уже предбанник показался филиалом ада, а сунувшись в парилку, он вылетел оттуда кубарем — через сени наружу, благо «дача», как называли маленькую усадьбу, служащую пристанищем заезжего морского и гражданского начальства, стояла на отшибе, в лесной смолистой глуши, и голый человек не мог оскорбить чей-либо взор.

Немного оклемавшись, Егошин вернулся в предбанник, но дышать тут было нечем. Из парилки слышались стоны, вопли, сладостные проклятия, там творилась могучая мужская жизнь Борского, он не просто парился, а изгонял беса. Егошин набрал немного воды в шайку, потер омылком шею, грудь, под мышками, но, чувствуя, что опять задыхается, поспешно окатился прохладной водой и стал вытираться.

— Чего не идете париться? — прогремел голос, и в приоткрытую дверь вырвалось белое раскаленное облачко.

— Можжевелового венчика нету, — отозвался Егошин и выскочил из предбанника.

Пока Борский неистовствовал на полке, Егошин успел одеться, отдышаться, побродить вокруг баньки, наслаждаясь пчелиным и шмелиным гулом — всюду трудились крылатые сборщики нектара над россыпью медоносов. А ведь как не верили когда-то, что может быть медосбор в Соловках! Так же не верили, что приживутся яблони, вишни, крыжовник, что можно кормить скот на местных пожнях, каждое новшество считали чудом, содеянным Господом для удобного ему праведника Филиппа. Потому и сыпались на монастырь всякие милостыни и пожертвования от больших и знатных: от Марфы Посадницы, князей, бояр, воевод, от самого царя...

Матрос с детскими глазами накормил их ухой, наваристой, но опасной для жизни, ибо варилась она из рыбы непотрошенной и нечищенной; к деснам и нёбу противно приставала чешуя, но было куда хуже, когда такая вот шелушинка приклеивалась к горлу; пытаясь ее отхаркнуть, Егошин неизменно давился мелкой костью, неприметно пристроившейся между зубами или под языком.

— Архиерейской эту ушицу не назовешь, — заметил Борский, когда Егошин подавился в очередной раз.

— Такую ушицу не то что архиерею, простому иноку не посмели бы подать. Даже послушнику, даже труднику, — переведа дух, отозвался Егошин.

— А ты, видать, здорово ленивый парень, — сказал Борский матросу с детскими глазами.

— Есть малость, — подтвердил тот. — Но вообще-то в нашей деревне, когда пироги с рыбой пекут, то нечищенного карася или там сазана целиком в тесто запекают. С глазами, хвостом, чешуей, всеми жабрами и костями. Так и называется — крестьянский пирог.

— Стало быть, ты из-под Белозерска, — сообразил Борский.

— Точно! — обрадовался парень. — Как вы догадались?

— По пирогам. У вас на острове тюрьма имеется, в бывшем монастыре, — уверенно сказал Борский.

— В двух километрах от нас! Откуда вы все знаете? — поражался и радовался матросик.

— Там фильм знаменитый снимали — «Калина красная», — не сразу ответил Борский. — Я у них немного консультировал, — и так подавился костью, что выскочил из-за стола, схватившись рукой за горло.

Вернулся — бледный, с мокрым лицом.

— Убери сейчас же эту гадость. Чай у тебя хоть без костей?

— Как можно?..

Чай у матроса был без костей, но почти и без заварки. Борский брезгливо выплеснул желтоватую жидкость, ополоснул чайник кипятком и умело, быстро заварил крепчайший вкусный чай. Но чаевничать долго не пришлось, вернулся с деловой отлучки сержант Мозгунов, чтобы вести их по озерной системе, созданной Кольчевым.

— Башковитый монах был, — уважительно говорил о Кольчеве сержант. Гордый доверенной ему ролью не только гондольера, но и гида, он счел нужным рассказать приезжим о гидротехнической системе игумена Филиппа, соединившего все соловецкие озера между собой каналами с проточной водой. Эта гидротехническая система безукоризненно служит по сию пору. Тут не знают, что такое цвелея вода.

— Нет на тебя Кольчева, — мстительно сказал Борский матросику. — Старик не терпел разгильдяев.

— Я вообще по радару, — сконфуженно сообщил матросик.

— Да уж ясно, что не по камбузу, — заключил Борский, любивший в каждом деле ставить точку...

Но вскоре вся эта чепуха перестала существовать для Егошина. Он сидел на носу плоскодонки, глядя на растянувшуюся перед ним туго натянутую водную гладь, осиянный тишиной и покоем, и чувствовал себя достойным этой древней тишины, творимой водой, и небом, и дикими утками, бесшумно садящимися на воду, доверчиво подплыва-



ющими к лодке и подставляющими под ладонь гибкие шеи, затем отплывающими прочь, не тревожа воды даже слабым шелухом. Озеро было темным по краям от деревьев, подступающих к самой воде и погрузивших в нее свое слитное отражение, а по центру вода светлела той изнемогающей в близости белой ночи слабой голубизной, какую отдавало ей удаляющееся от земли небо.

А в каналах копился сумрак, казалось. Вот-вот врежешься в берега или в торчащие из воды обломки черных как сажа свай. Что это — останки мостовых опор или причалов?.. Много тут погублено доброго: мельниц, плотин, причалов, мостов, — потомство не только не умножило, но и не сохранило наработанное предками четыре века назад. Как небережливы, как расточительны люди!.. Но вопреки варварскому небрежению, разгильдяйству и бесхозяйственности, чудно выстояла водная система Филиппа, хотя ее забросили, предали, как и все остальное: чиста и прозрачна до дна вода озер, не заилились каналы и протоки, не заросли зеленой ряской и ушками. Сквозь всю поруху, войны, человечьи бесчинства сохранилась кровеносная система островов, рассчитанная дивным русским человеком: строителем, гидрографом, ботаником, зоологом, пчеловодом, рыбарем, хоть сам сроду не хаживал с сетью, промысловиком и радетелем здешних мест Филиппом Колычевым.

—  
5  
—

...Как тихо, да вовсе неслышно погружает весла в воду послушник Анфим, а толчок дает сильный и плавный, но не скрипнут деревянные уключины, не прозвенят капли с лопастей весел, извлекаемых из воды. Вот что значит — помор, с раннего детства сроднившийся с морем, реками и озерами и любой снастью, будь то весло, толкательный шест либо парус. А прекрасна такая вот глубокая священная тишина, когда ничто не мешает мысли устремляться к житейской ли заботе, или к бесконечным тайнам мирозда-

ния, или к великой изначальной творческой силе, которая есть Бог, через озарение человеческого разума благоустрояющей земную жизнь.

— Святой отче! — раздался с берега до безобразия громкий, насадный крик инок Гервасия. — Отец игумен!.. Посланец государев прибыл, велел тебя сыскать!..

— Не дери горла, — без всякого усилия, но удивительно звучно и ясно отозвался с озера игумен Филипп — такой емкой гортанью снабдила его природа, что раскатывалось в любом пространстве тихо сказанное им слово. — Поблуди себя в скромности.

— Мне отец Паисий наказал мигом должить, а я никак не сыщу тебя, святой отче! — оправдывался Гервасий.

— Подождет царский посол. Он сюда не один день добирался, может еще малость потерпеть.

Сидящий на веслах послушник Анфим обернулся, ожидая распоряжений владыки: его широкое лицо с заячьей губой и страшным шрамом от удара медвежьей лапы, кривясь в тягостном напряжении мысли: плыть ли дальше или заворачивать к берегу, стало еще ужаснее — в нем появилось одновременно что-то детское и безумное. Из-за гадкой внешности Анфима, а пуще из-за утрашающего выражения, какое приобретала его образина при малейшем затруднении, братия не просто не любила его, а откровенно брезговала — не хотели делить с ним кельи, сидеть рядом за столом, быть напарником в работе. Ох, до чего ж не по-христиански это было, а преодолеть жестокое отношение к своему собрату других чернецов не сумел столь преуспевающий во всех делах своих тихий и непреклонный сердцем игумен Филипп. Тогда он взял его к себе в услужение: Анфим возил настоятеля и на лодке, и на лошадях, подавал пищу за трапезой, и Филипп охотно принимал из чистых рук послушника тарелку с ячневой кашей или тертой редькой — в отличие от остальной братии, коей создал отменный стол, игумен питался только дарами земли и в рот не брал убоины, даже рыбы. Он не только не

испытывал отвращения к послушнику, а исполнялся радости, видя, как старателен и радетелен в исполнении своих обязанностей изувеченный и природой и зверем, но добрый сердцем человек. Знал игумен, что и Анфим предан ему до последней кровинки.

— Давай к берегу, Анфим, — сказал он, подавляя вздох. — Хочу вон нг ту пичужку глянуть.

И Анфим своими цспкими охотничьими глазами сразу ухватил, куда надобно игумену, у которого взор вдаль острее различал, нежели вблизи. На мыске земли, вклинившемся в озеро, пушилась молодая ракушка, а на ней сидела птичка, носатенькая, куличку подобная, но сроду не встречавшаяся на островах. Послушник Анфим знал: настоятель хочет, чтобы на Соловецких островах, как в божьем раю, обитали все птицы и звери, какие только водятся на земле. Ну, может, не совсем так, — слышал Анфим, что в жарких странах такие зверюги бродят, что не приведи господи — больше собора, возведенного настоятелем во имя Преображения Господня, но эти чудища, слава Господу Богу, стужи не выносят. Им, стало быть, тут делать нечего, а соберет игумен тех зверей, что на святой Руси водятся. И ведь получается все по Филипповой задумке: сколько водяной и болотной дичи объявилось, сколько зверья в лесу, отродясь здесь не обитавшего, и деревья, и кусты, и цветы, и злаки в их пространствах неведомые цветут и в семя, и в плод идут. Недаром же отец Паисий, зарящийся на место игумена, нашептывал братии, что не от светлых сил такая власть над природой Филиппу дадена, что тут ворожкой отдает. Как не отсох язык у Паисия, выходит, сомневается он во всемогуществе Господа, считая, что лишь от князя тьмы великия чудеса проистекают? Чего он все о соблазне вздыхает? Какой тут соблазн? Воздělывай свой вертоград, преумножай его дары, тому Священное писание учит. Послушник Анфим не был так дик и темен, как думала о нем монастырская братия, но слишком прост сердцем, чтоб донести игумену Филиппу о наветах Паисия.

Они подплыли к мыску, на котором чуть клонилась к воде молоденькая ракушка. На ветке сидела, вертя головкой, носатенькая пичуга с желтым воздухом в надбровьях.

— Ведаешь ли, что за птичка? — спросил послушника игумен.

— По клюву — куличок, но по перу такого не видывал.

— Его «игуменом» кличут, — улыбнулся Филипп. — Сибирячок, к нам сроду не залетал.

— Ить, не пужается!.. — восхитился Анфим.

— То и дорого, — с удовольствием произнес настоятель. — Значит, ведает свою безопасность. Есть ли у него самочка? — озаботился он. — Дай бог, чтоб имелась. Живи у нас, плодись и размножайся, птичка божья — коровайка-игумен!

Куличок посмотрел на преподобного Филиппа черными бусинками глаз, переложил головку справа налево, потом слева направо, будто вслушиваясь в его слова и сиюсь постигнуть их своим малым разумом.

Отдав внимание птичке, Филипп вспомнил о государевом посланце и приказал плыть к монастырю. Анфим с умилением, близким слезам, смотрел на своего духовного вожа, отчего изуродованное лицо перекорежилось страшно. Когда Анфим был ровен или сумрачен, его черты обретали жутковатую значительность, как у битого в сражениях воина, а узкие ночные глаза глядели таинственно и сурово, но стоило послушнику улыбнуться, испытать радость или умиление, как заячья губа вздергивалась, обнажая клюквенную десну, нос уползал в сторону — за натяжением разорванной от глазницы щеки — и Анфим глядел прищурком, отвратительным шутом.

«Милый, бедный человек, — шептала душа Филиппа, — на кого ж я тебя оставляю?.. На кого оставляю я обитель, коей отдал все свои силы?..» Филипп боялся признаться себе самому, как невысоко стоят в его мнении те, чьи души он пас. Были среди иноков ревнивые к славе и богатству монастыря, среди них первый — о. Паисий, но владели

ими лишь честолюбие и алчность; ни одному не могло впасть в голову полюбопытствовать о пичужке или иной мелкой твари. Они не постигали надежды Филиппа на слияние монастырского, то бишь человеческого, бытия с миром природы и даже сочли бы бесовской подобную мысль. Куда невиннее — остальная бесхитростная и туповатая братия, что почитала игумена за изобильное и вкусное брашно, какого нет ни в какой другом монастыре, хоть всю Русь обойди. За хлеб рассыпчатый, подобного и государю к столу не подают, за квасок шипучий, за щи наваристые, аж половник торчмя стоит, прощали они настоятелю и строгость, и требовательность, и даже труд до седьмого пота. Но видеть в них сподвижников, даже призвав на помощь всю снисходительность и жалость к слабой человеческой сути, Филипп не мог. Уж если начистоту, то единственно близким ему человеком выходил этот страхолюдный и добросердечный помор. Каково-то ему придется в отсутствие настоятеля?..

Филипп понимал, что царевы посланцы могли прибыть лишь с одной целью — везти его в Москву, к государю. А вот за какой надобностью — ума не приложишь. Добра он от встречи не ждал, но хотелось верить, что отъезда его не навсегда, что он еще вернется в Соловецкую обитель.

Государь не жаловал старей, хоть и не больно знатный, род Кольчевых. Прежде были Колычевы и вовсе незаметны, покуда не примкнули к заговору Андрея Старицкого. Филипп до сих пор не ведал, был ли то истинный заговор, злоумышление против малолетнего государя с намерением возвести на престол князя Андрея как старшего Рюриковича (темен закон о престолонаследии на Руси) или заговором посчиталось недовольство обиженного засилием Глинских (мать Ивана — регентша Елена — была урожденная Глинская) старого боярства. Иван Васильевич в малые годы, в сиротстве своем, немало натерпелся от чванливых бояр-воспитателей и возненавидел их люто — без прощения. И вот тогда, при крамоле, то ли истинной, то ли

привидевшейся воспаленному воображению царя, полетели головы Колычевых. А он, хоть и невиновен был перед государем ни делом, ни умыслом, ни сном, ни духом, бежал из Москвы, гонимый смертным страхом, — все дальше и дальше на север, пока не достиг края русской земли, но и тут не остановился, а на утлой лодчонке какого-то помора достиг Соловецких островов. Как добрались они на жалкой скорлупке по бурным водам в такую даль — умом не постигнуть. Но тогда впервые мелькнуло у молодого Федора Колычева (таково мирское имя Филиппа), что жизнь дарована ему не даром. Вскоре дошли слухи, что царь угомонился, что иные, никуда не бежавшие Колычевы даже в честь попали, но беглец и не подумал о возвращении. Теперь не страх им правил, он уже понял, что длинная рука царя играючи достанет его и в Соловках, и в любом потайном, дальнем уголке русской земли. К тому же страх, унижив его душу, сделал ее сильнее себя. Он отрекся от мира, от всей земной сласти: вина и женской ласки, которую успел вкусить, и принял постриг. Еще будучи простым иноком, взял он большую силу в монастыре, старый игумен никакого дела без его совета не начинал и не решал. И так ему полюбилось все здешнее, так опротивел брошенный мир со своей ядовито-сладкой скверной, злобой и жестокостью, что усомнился он в собственной трусости, кинувшей его в бега, окончательно уверовал в предопределенность своего пути.

Он безраздельно отдался служению этому месту, которое не отделял от Руси. Филипп считал, что подобно другим русским монастырям, поставленным вокруг столицы и выдвинутым к дальним рубежам стремительно расширяющегося во все концы государства, Соловецкая обитель когда-нибудь будет крепостью. Морской крепостью, охраняющей северные рубежи Руси от иноземцев, особенно от дерзких на морях англичан. И думал он — по завершении Божьего дела: возведения каменных церквей, трапезной и прочих строений, для монастырского обихода надобных, —

совершить важнейшее мирское дело: обнести кинию мощным кремлем с бойницами и сторожевыми башнями, чтобы сделать ее неприступной, способной выдержать любую осаду, истощить врага и одолеть. Конечно, для этого одних стен мало, пушки нужны, боевой припас, оружие, но то уже другая забота — государева. Хватило бы жизни на устройство кремля. Он уже вел разговор с молодым трудником Трифоном, недавно появившимся в монастыре; тот похвалялся соорудить и стены и башни из местного камня без крепежного материала, без раствора, чтоб держались одной тяжестью глыб. И, попытав его со всех сторон, раскинувшись собственным умом и проверив на игрушечной крепостце, которую соорудили сообща Трифон с Анфимом, убедился Филипп в смелой правоте монастырского трудника. А происходил Трифон из простых крестьян и сроду не был в науке у мастеров каменного строения. Подобные озаренные, проникновенные люди без грамоты и знания счета встречаются только на Руси.

Филипп велел неученому мастеру искать камень, а сам поспешил закончить ранее начатые работы, чтобы освободились руки для крепостного строительства. Умел он давить сок из подчиненных ему людей. Филипп не был ни властолюбив, ни честолюбив и если держал монахов в большой строгости, то не ради утверждения своего верховенства, о нет, но знал, как слаба человеческая природа и что под черной смиренной рясой кипят порой страсти, и мирянам неведомые; нужны крепкие подпорки, чтобы не рухнуло человечье здание под распирающей силой вождений. Но одною строгостью тут не возьмешь, лишь загонишь недуг вглубь, но большие цели, потная и умная работа прямят хребет. Он не спускал лености, небрежения заботами обители, твердо веря, что лишь так бесштаный сброд, скрывавший под оболочкой святости отнюдь не перлы добродетели, станет Христовым воинством, ибо неминуемо настанет для Соловков час бранного испытания. И, как дети сердца Сергия Радонежского, иноки Пересвет и Ос-

лябя, герои Куликова поля, явят бесстрашие ратного духа монахи-воины, выпестованные Соловецкой обителью. Но скажи Филиппу, что есть другой иеромонах, который лучше него устроит Соловки, без боли пошел бы Филипп к нему под руку, чтобы в любом чине продолжать свою службу. Гордыня никогда не распирала ему грудь; даже вьюношем, живым и бойким, гораздым и сабелькой помахать, и на кулачках подраться, и медку пригубить, и за крестьянскими девками приударить, не стремился он верховодить, но и не уклонялся, если в молодом задоре его выталкивали вперед как предводителя. Но лишь когда вошел он в эту землю, поменял нарядный кафтан и шапку с собольей опушкой на рясу и скуфью, определилась окончательно его душа: твердая, неуклонная, скромная и до дна некорыстная.

И все-таки на мгновение дрогнуло человеческое в человеке: как шилом ткнула в сердце весть о прибытии посланцев государевых. Больно, нестерпимо больно покинуть соловецкую землю. Лишь это было важно, об остальном думалось рассеянно. Неужто опять пошло гонение на Колычевых и царь вспомнил о беглеце?.. Пустое это, виделись они с царем Иваном на Стоглавом соборе и даже сокровеннейшую беседу имели. Доверяет ему самодержец. К тому же Колычевы ныне в силе. Даже в опричнине — лютой царской придумке, расколовшей Русь надвое, срамотится потерявший совесть боярин Колычев, а другой Колычев в Думе сидит — хоть не близкий, а все же родич, и на иных видных местах — Колычевы. И тут будто выхаркнулась из души короткая слабость, сказал себе игумен Филипп: будь что будет, — и обрел спокойствие...

Перед государевыми посланцами предстал старец со смиренным взором и ровно дышащей грудью, словно не царское повеление доставили ему через пол-Руси, а весточку о солеварне. Меж тем Филипп тоже испытал удивление, которое сумел скрыть, что царским посланцем оказался архимандрит, лицо, выще его стоящее в церковной иерархии. Отдавая должное сану, Филипп, перво-наперво испросил благослове-



ния. Прибыл же архимандрит в сопровождении немалой свиты: игумена, двух чернецов, боярского сына и четырех воинов. На судне, доставившем посланцев, даже парусов не стали убирать, чтобы не мешкать с отъездом, столь нетерпеливо ожидал Филипп Великий государь. И по тому, как излагал все это архимандрит, с каким почтением обращался к нижестоящему, понял настоятель Соловецкой кинии смутившимся и занывшим сердцем, для какой нужды понадобился он Грозному царю. Понял, испугался своей угадки, отринул ее прочь и, зажав в груди стенание, принял как истину. По оставлении митрополии старым, больным Арсением нужно было найти ему преемника — не может жить тело без головы. Но неужто до того оскудела достойными русская православная церковь, что понадобилось гнать послов в соловецкую даль, чтобы оттуда привезти митрополита?

Вопреки строжайшему наказу государя немедля трогаться в обратный путь, Филипп попросил малой отсрочки: как мог он бросить обитель, не дав распоряжений келарю Паисию. Архимандрит притемнился, столкнувшись с неожиданным противодействием цареву слову, и, верно, не взял бы во внимание доводы Филиппа, но тут с кухни повеяло дивным благовонием дошедшего в котлах, на сковородах и противнях брашна. А сухощавый и востролицый архимандрит, видать, грешил чревоугодием — это не редкость, когда скупые телом, костяные люди оказываются отменными едоками и, тонко оценивая каждое блюдо и подливу, на диво много запихивают в свой плоский живот.

— Уж больно ты красноречив, отец игумен, — молвил посланец. — Может, скажем, что ветра не было?

С какой легкостью лгут церковники, к тому же из высших! Чтоб нажраться, архимандрит без малейших угрызений готов соврать царю-батюшке. Чего же тогда ждать от простых монахов?

— Я на себя вину приму, — сказал Филипп. — Повинюсь царю, что не мог выехать, покуда с делами не управился.

— Все одно — на меня гнев падет, — алчно раздувая ноздри, возразил архимандрит.

Боярский сын, игумен и оба чернеца заметно взволновались, поняв, о чем ведется речь, уж больно не хотелось им без передыху возвращаться к вяленой рыбе, сухим, плесневелым сухарям и тухлой воде.

— Не до того государю будет, чтоб на посланца гневаться, — загадочно и сильно сказал Филипп, и почему-то архимандрит сразу поверил ему и велел отложить отъезд до завтрашнего утра.

Филипп испросил у него прощения, что не будет самолично потчевать высокого гостя и даже не выйдет вечерять, иначе не управиться ему с многочисленными делами. Архимандрит с видным удовольствием отпустил хозяина: будучи наслышан о его аскетических привычках, он вовсе не хотел иметь такого сотрапезника, который маячил бы за столом немым укором. Уж коли пошел на опасность прогневать царя проволочкой, так надо привольно отвести душу и потешить заскучавшую в долгом голодном пути плоть.

Гости пошли в трапезную, державшуюся изнутри на одном центральном опорном столбе. Редко бывало в зодческом зиждении, чтобы столь обширное помещение доверялось одной-единственной опоре. Игумен Филипп сам произвел расчет сил и убедил оробевших мастеров ставить здание по его плану. Трапезная еще не была доведена до полного завершения ни внутри, ни снаружи, но уже служила своему назначению, а массивный столб, подобный стволу пятисотлетнего дуба или библейскому кедру ливанскому, держал на себе неимоверную тяжесть строения.

Филипп был худ и невысок ростом, но привычка держать стан очень прямо, напрягая и растягивая хребтину, а голову — вскинутой, придавала ему росту, и крупный отец Паисий казался ниже, тем более что гнулся и снизу вверх заглядывал игумену в лицо.

— Не знаю, вернусь ли назад или другое место мне уготовано. Но твердо уповаю, что рано или поздно буду

здесь вновь. Хочу лечь в соловецкую землю, ни в какую иную. Ты будешь тут за меня, Паисий. Продолжай и завершай начатое. Не мудрствуй, братию держи крепко, но не старайся превзойти меня ни строгостью, ни тем паче ба-ловством. Соблюдай все, как я оставлю. О последующем получишь распоряжения. И помни, келарь, я тебя достану, кем бы ни сулил мне стать Господь. А стать я могу и высоко и низко, но Соловецкая киния — мое детище. Основали ее Савватий, Герман и Зосима, но в нынешний вид привел я. — Филипп как никогда ясно ощущал, что говорит с человеком, умом не обделенным, хитрым, скрытным и неверным, потому и обращал к нему слова, лишённые смирения, исполненные гордыни и угрозы, но лишь такие, чуждые Филипповой сути слова могли проникнуть в заросшее сердце стоящего перед ним монаха. Станет ли Филипп митрополитом или отобьется от незаслуженной чести, из отдаления ему все равно будет трудно, почти невозможно следить за Паисием. Такого, как Паисий, нельзя дальше келаря пускать, здесь он на месте, ибо, как Марфа, печется о мнозем. Но души человечески он упустит, да и не просто упустит, а растлит. Править будет мирскими уловками: расподит любимчиков и доносителей, других отвергнет, даст простор сплетням, наветам, клевете. И улечучится нынешний светлый дух, осеняющий дружно работающих, не ведающих праздности иноков. Не допущу! — сказалось в душе Филиппа с ледяным гневом, какого он не знал за собой. Но Паисий не прочел нового чувства на спокойно-жестком лице. Лишь для него одного было такое лицо у игумена. Даже укоряя нерадивых, сохранял он кротость взгляда. Не любит его игумен, а за что, спрашивается?..

До Паисия, конечно, дошло некое дуновение, по какой причине явились царевы посланцы. Архимандрит и его свита держали язык за зубами, может, кто из морской команды болтнул монастырским, коих посылали к ним с запасами еды и питья? Нешто могут они знать?.. Могут. Монастырь будет поболее парусного суденышка, а попробуй тут что в

тайне сохранить, быстрее северного ветра любой слух разносится.

При всем своем цепком практическом уме Паисий не постигал явлений и обстоятельств, если они выходили за привычные ему пределы. Он не мог взять в толк, чтобы суровый, праведный — все так, сильно преданный обители — все так, но до старости невысоко поднявшийся монах мог сразу шагнуть на самое верхнее место в русской церкви — митрополит всея Руси, это ж подумать страшно!.. Природознавец, выдумщик, игумен с душой усердного трудника может держать в повиновении темных чернецов, собравшихся в соловецкой глухомани со всех концов русской земли, но навряд ли справится с путным монастырем, где ему ни в святости, ни в знании церковных книг не уступят, а тут — все божье здание!.. В соловках народ особый — зачем хорошим, светлым людям в такую глушь забираться? — тут находит пристанище и сотворивший какое лихо мирянин, и не ужившийся в другой обители чернец, якобы ищущий уединения, — Филипп всех привечает, ему рабочие руки надобны. Таких держать в узде — наука не больно хитрая, о. Паисий не хуже бы справился, но стать над князьями церкви, над самим архиепископом Новгородским, — подобного не вмещает разум. Нет, не видел о. Паисий игумена Филиппа в сем сане. Что-то тут не то. Съездит в Москву, поклонится царю-батюшке и отцам церкви, может, о чем и выскажет свое мнение — чтим в духовенстве соловецкий игумен, сам царь с ним тайную беседу имел во дни Стоглавого собора, о чем — неведомо, да и назад покатит. Глядишь, монастырю за то вотчинку-другую пожертвуют, и на том спасибо, кормильцы!..

Но может и другое случиться: оставит его царь при себе духовником, либо возведут в архимандриты и в один из великих московских монастырей настоятелем определят. Тогда, глядишь, и свершится мечта о. Паисия занять место Филиппа в Соловецкой кинии. Филипп сам на него укажет как на своего преемника. Укажет ли? — зло усом-

нился Паисий. Не любит его игумен, хоть и доверяет широко. Уверен в его честности... или жадности к монастырскому добру. Вроде бы до того прост сердцем, помышлениями, как летний день, ясен, а видит насквозь человека, видит ту подноготную, что может никогда не стать явью, значит, и нечего туда заглядывать. Прячет свой главный ум Филипп, только в прямых делах являет: в строительных ухищрениях, разведении всякой живности, устройении края, а главный этот ум у него на человеков. Иначе не смел бы он не любить столь ревностного к службе, столь преданного обителя, исполнительного, честного, ни себе, ни другим поблажек не дающего келаря. А коли он может до скрытой мути проникать, значит, и сам плохой человек.

Все эти тревожные соображения не помешали Паисию внимательнейше выслушать наставления игумена, вникнуть в замыслы осуществляемых строений и тех, что полагалось заложить в недалеком будущем; дотошность Филиппа заставляла входить в каждую мелочь: каким крепежному раствору надлежит быть, и кирпичной кладке, и штукатурке, чтоб не осыпалась. «Кажись, мастера сами сведомы», — не выдержав въедливости игумена, бормотнул Паисий. «Мастера-то сведомы и как по совести работать, и как надуть дураков, — жестко сказал Филипп. — Заказчик должен быть не хуже их сведом. Вот в этих свитках все сказано, что до воздвижения храмов касается, а здесь — о палатах, здесь — о водных сооружениях, здесь — о содержании сторожевого огня, соляных варках, рыбном промысле... ладно, сам разберешься, тут ничего не упущено. Писал я это на случай болезни тяжкой либо смерти. Об отъезде и не помышлял. Сверяйся с моими записями, Паисий, не полагайся на память да на собственную смекалку — проверь себя, не то навлечешь мой гнев, а во сто крат хуже — гнев Божий».

Паисий смиренно поклонился.

— Ты все понял? — деловито спросил Филипп, и тут голос его изменился: проникновенная доброта влилась в при-

родную звучность и вдруг обернулась свирепой угрозой: — Анфима тебе поручаю. Гляди в оба, чернец! Коли не досмотришь, до худого допустишь, я тебя отовсюду достану!

— Не сомневайся, владыко... — пробормотал оробевший Паисий. — Благослови, святой отче!..

Филипп благословил келаря, вручил ему связку особо потаенных ключей и удалился в свою келью. Остаток ночи он провел в молитве и слезах. Он молил Господа пронести чашу мимо, он оплакивал свое соловецкое счастье, которое, он чувял это глубиной души, кончилось безвозвратно. Зачем же тогда молился он Господу Богу? На это затруднился бы ответить сам Филипп, ибо он не верил в Бога, который смотрел на него, коленопреклоненного, со старого, почерневшего образа греческого письма, чуть озаряемый колеблющимся розовым светом лампадки, в Бога, которому служил в храме, в Бога Священного писания. Владея древними языками — он изучил их своей мочью в Соловецкой обители, — Филипп прочел — не счесть — религиозных, философских, исторических сочинений, распахнувших ему разум, сызмальства склонный к свободному мышлению. И этим не отягощенным предвзятостью разумом он отверг, что Великая священная книга возникла в полудиком, кочевом народе, пасшем коз в горячей аравийской пустыне, по следу живых воспоминаний, истинных событий. Да нет же, книга создавалась в иные времена, ином месте, многими людьми, владеющими дивным даром безудержной фантазии.

Оттого она так противоречива, так темна, а местами до стыда нелепа, при всей своей одухотворенности, эта странная книга, что творилась не воодушевлением даже, а экстазом, не ведающим ни разума, ни логики. В Ветхом завете нельзя искать ни свидетельств, ни истины, ни даже прямых символов, это вопли, рвущиеся из человеческого сердца, страстно ищущего опоры в устрашающей неприютности мироздания. И много там повязанного со своим временем и местом, ныне вовсе не прочитываемого. Новый завет историчнее, хотя уступает Ветхому в силе песенного

слова. Филипп не сомневался в существовании еврейского пророка Иисуса, которого последователи (а может, и он сам) выдавали за сына Божия. Подобными пророками созданы и другие религии: Мохаммедом — ислам, хотя он не ходил в сыновьях Аллаха, Буддой — буддизм, но этот опирался только на себя самого. Иисус стал земным воплощением Бога (и в индуизме — боги многолики), он приблизился к людям, это сильно укрепило молодую религию молодого мира, шедшего на смену одряхлевшему — греко-римскому, с многочисленными, вконец утратившими власть над человеческим воображением дряхлыми богами. Родившись среди иудеев, использовав их веру в приход Мессии-избавителя, новая религия не стала еврейской, напротив, подверглась яростному гонению от почитателей таинственного и злого Ягве. В Иисусе Христе, искупившем на кресте грехи человеческие и взятом на небо своим божественным отцом, человечество получило самую прекрасную и трогательную из всех легенд; омытая кровью первых мучеников христианства, легенда стала религией...

Едва обретя сознание, малолетний Федор (будущий Филипп) получил и Бога. Он принял его столь же просто и естественно, как дар дыхания, и всех пяти чувств, и любовь родителей. Немного притуманилась его простая, детская вера, когда он узнал, что Бог как бы расщеплен на три образа — из коих один был явлен людям, — но остается единым Богом. Этой условности никак не мог постичь логический ум младого Кольчева, но поскольку в те годы религиозным вопросам он предпочитал соколиную охоту, тугой лук, пищаль, меч, добрый медок и густое вино, а также голубые или карие очи под соболиными бровями, то и не мучил себя понапрасну трудными вопросами, о которых сведущие люди давно договорились. Ан, не договорились, как позже оказалось, и Святую Троицу понимали по-разному, иные вовсе видели в ней нарушение Единобожия.

Лишь уединившись в Соловецком монастыре, Филипп оказался как бы глаз на глаз с Богом и глубоко задумался о

своей вере. Войдя тут в близкое, родственное общение с природой, порой помогая ей, порой преобразуя, но больше подчиняясь высшей, нежели человечья, мудрой силе, он убедился, что все происходящее в естественном мире воды и земли, лесов, полей, недр, туч и облаков, смен времен года, умирания и пробуждения жизни вовсе не нуждается для своего непрерывного, могучего и безошибочного действия в Господе Боге. И всякое обращение к Богу, касавшееся не только дождя и ведра, но и помощи болящему, спасения гибнущего, было столь же бессильно, как языческое поклонение идолам. Не мог же Господь оставаться столь равнодушным к творению рук своих, значит, небесный престол и не отражался в водах многих, накрывавших некогда земную твердь, ничей величавый лик не тревожил их.

И при всем том у Филиппа была вера, был Бог. Только назывался он Совестью. Поступать по-божески — значило для него поступать по совести, служить Богу — служить по совести месту и людям, ему доверенным, способствовать украшению земли и общей пользе: жить в страхе Божием — жить так, чтобы не мог себя упрекнуть в несправедливости, неправде, корысти и себялюбии. Он не считал свою совесть чем-то отдельным, обособленным, только ему принадлежащим. Нет, его совесть — это частица некой все-ленской совести, разлитой по всему мирозданию, омывающей всех человеков, но не каждому проникающая внутрь. Как не всем дано равно слышать творящуюся в мире музыку: песни ветров, шум дубрав, нежный шелест трав, голоса птиц, звон летающих насекомых, стрекот прячущихся в траве; обонять запахи: снега — зимой, цветущей жизни — весной, зрелости всего прущего из земли — летом, увядания — осенью, так происходит и с мировой совестью — она во всеобщем владении, не нужно называть ее словами, определять ее признаки и существо, не нужно мудрствовать лукаво, а довериться ей, слиться с ней душою, и тогда ты несешь внутри себя самого мерило всех вещей и явлений и собственных помыслов и поступков. И



он любил, как иные любят Бога, великий нравственный закон — сокровище души своей. Но знал Филипп, что не поймут люди всеобщей Совести, а в собственной — не найдут опоры. Что ж, назовем Богом эту отвлеченную от личности отдельного человека совесть, поставим символ вместо прямого понятия. Есть неодолимый ущерб в человеческой природе; ему нужна внешняя, з р и м а я подпорка. Совесть без образа неуловима, хотя сам Филипп ощущал ее в себе материально, как стержень, штырь, не дающий согнуться ни телу, ни душе, но это уж его свойство, а человека согревает на ледяном ветру жизни лишь вера во что-то, лежащее вне его и обладающее отчетливым образом. Церковь этим пользуется, и он, Филипп, пользуется, ибо не является совесть ни уздой, ни приманкой для человека, ему подавай, за что ухватиться можно — рукой или хоть оком.

Молясь, игумен Филипп взывал не к молодому иудею с тонким носом, не к его безликому отцу, не к третьей загадочной фигуре, которая в Новом завете птичкой-голубем обернулась, но к своей совести, чтобы не изменяла, дарила силы и терпение, чтоб вразумляла в хитросплетениях мира сего, не давала пасть духом, поддаться гневу и несправедливости; Филипп молитвами наставлял себя твердости, правде, мужеству, ибо не изжил стыда за свой юный страх, кинувший его в бегство. Свой обман он чинил без угрызений: для его молитвы ни к чему кресты класть да об пол перед образом бухаться, в тишине сердца можно ее творить, но зорек, ох, зорек монастырский глаз, все слышит огромное монастырское ухо: не пластаешься ниц, не пустословишь молитвенным бормотом — враз в отсушничестве обвинят, или в ереси, или, того хуже, — в безбожии. И тогда конец всему смыслу его жизни...

Когда Филипп на другое утро прощался с обителью, лицо его было спокойно до отчужденности. И никто б не догадался о тяжком ночном бдении, о слезах и молитвах игумена, если б монастырь по сплетням и быстроте распространения оных хоть немного уступал новгородскому

сельцу. Но, глядя на Филиппа, трудно было поверить в его слабость, он, правда, казался осунувшимся, под глазами залегли тени, но стан держал все так же прямо, голову высоко, а в темных глазах была не печаль, не смирение, а что-то остерегающее: мол, смотрите у меня!.. Братии он сказал: «Государь в Москву требует, негоже гадать о государевых намерениях. Все в свой срок объявится. Вам наказываю жить по уставу и трудиться не покладая рук во славу Божию». Отслужив молебен, игумен благословил отдельно не только каждого инока, послушника, но и трудника, и наемного рабочего, после чего в сопровождении одного лишь о. Паисия отправился на судно, куда уже отбыли царские посланники...

День был ясный, чистый, по верхушкам деревьев тянул ветерок, а на земле его дуновение не ощущалось. Но верховый этот ветерок хорошо заполнил паруса и погнал суденышко по некрутой волне, гулко бившей под днище. Филипп оглянулся на золотой купол Преображенской соборной церкви, долго смотрел на него, слезя глаза его блеском, перевел взгляд на другие строения, проследил каждое дерево, кустик, камень от монастыря до причала и тут увидел бегущего по берегу человека в задранной по колена рясе. Иногда человек выпускал край рясы и махал рукой вслед удаляющемуся паруснику, но тут же подхватывал мешающую ткань снова и бежал, оступаясь на торчащих из земли каменюках, продираясь сквозь колючий низкорослый кустарник, иной раз падал, но тут же вскакивал и устремлялся дальше.

«Бедный, бедный человек!.. — прошептал Филипп, узнав послушника Анфима. — Вот кто обо мне не раз вспомнит!..»

Даже если о. Паисий не выронил из памяти вчерашний наказ, нешто станет он тратить время на убогого человека? От прямой обиды, может, и защитит, да не это нужно нежной душе страхолюдного Анфима. Тот привык жить в тепле Филипповой доброты, ох, студено, ох, люто ему

теперь будет!.. Превозмогая качку, Филипп стал твердо в лодке и начертил в воздухе крест, благословив Анфима. Тот понял, с размаху пал на колени и лбом уткнулся к земле. Покуда Филипп мог его видеть, послушник не распрямился...



Волны скрыли Анфима. Посланцы ушли под палубу подкрепиться — о. Паисий не поспешил на дорожный припас, Филипп, пристроившийся на носу лодки, остался наедине с морем, чайками и своими мыслями. Медленно и любовно перебирал он годы, прожитые на Соловках. Здесь он узнал, как заселять леса, как заселять воды, да не внутренние, но и свободные, бескрайные, омывающие сушу: как заиграли в прибрежных водах тюлени, нерпы, «зайцы», столь редкие гости прежних лет! А до чего богато рыбой стало Белое море округ островов, истощенное сетями жадной монастырской братии! Он положил предел глупой алчности, разрешил ловить лишь в положенные сроки и только крупноячеистой сетью, чтобы не губить молодь, и море закипело рыбой. А как голосисты стали молчаливые соловецкие весны! Только соловья не удалось приветить, уж больно нежен сладчайший певун. Каждая птичка — радость, даже обделенная серебряным горлышком. Он вспомнил о вчерашнем куличке-игумене, впервые пожаловавшем на Соловки, как ловко, стройно и доверчиво сидел он на молодой ракитушке, глядя в оба черными бусинками глаз, и — разрыдался...

Весь последующий долгий, изнурительный и безрадостный путь до материка царские посланцы объедались, опивались, блевали, затихали, отлеживались без сил с зелеными лицами и опрокинутыми, как у покойников, глазами, затем приходили в ум, освежались кисленьким квасом и начинали сначала. Филипп в их трапезах не участвовал и в укрытье не спускался даже на ночь, когда резко холодало и порой припускал тонкий, частый дождик, — уж больно там смердило. Он оставался снаружи, укрываясь жесткой

дерюгой, приванивающей рыбой, что было далеко не так мерзко, как последствия чревоугодия, недаром причисленного к семи смертным грехам.

Много мыслей передумал Филипп и догадался, почему на нем остановился выбор Ивана. Русская церковь получала своего главу от царя, хотя считалось, что выбор делает духовенство, но это никого не удивляло, напротив, показалось бы ни с чем не сообразным, если б столь важное дело решалось не по воле государевой.

Был у них один загадочный разговор с царем Иваном во дни Стоглавого собора; загадочный и по предмету обсуждения, и, главное, — по тому, что всем князьям церкви, людям великой учености и значения, царь предпочел скромного игумена запредельной Соловецкой кинии. И как проглянул царь, что слукавил Филипп, присоединив свой голос к решению Стоглавого собора писать в изображении Святой Троицы в нимбе с перекрестом, положенном Иисусу Христу, сидящего посредине ангела? Вопрос сей задал Собору сам царь-государь. Обосновал свой ответ Собор тем, что этот ангел протягивает руку к чаше — символу жертвы. Услышав пояснение, Иван Васильевич ничего не сказал, только потупил черные пронзительные глаза и задышал тяжело, прерывисто, что было у него признаком гнева или начала болезненного припадка, когда он бился в судорогах, кидая пену с губ и не узнавая окружающих. Но ни вспышки гнева, ни припадка не последовало, и оробевшие церковники возблагодарили Господа Бога. Поздним вечером того же дня явился за Филиппом стрелец, грубо схватил за рукав рясы и поволок из кельи. «Куда ты тащишь меня, воин?» — спросил Филипп, но ответа не дождался. Воин втолкнул его в темную келейку, где под образами сидел человек в скуфье; слабый свет лампы желтил высокий, будто вощенный лоб с крутыми надбровными дугами и горбину хищного носа, Филипп узнал царя.

— Ты из Кольчевых, — тоном утверждения, не вопроса произнес Иван. — Из каких же ты Кольчевых, из тех, кто бунтует, или из тех, кто царскую руку лижет?

— Ни из тех, ни из других, — тихо ответил Филипп. — Я из тех, кто уходит в сторону.

— Бежал, значит?

— Бежал, государь. Был молод и жить хотел.

— А сейчас ты стар и жить не хочешь?

— Хочу, государь. Пуще прежнего. Ибо знаю теперь, для чего жизнь дана.

— Для чего?

— Для доброго, — сказал Филипп.

Из темных ям-глазниц сверкнула молния.

— Не многому же ты научился, чернец, — насмешливо проговорил царь. — Да ладно. Не о том речь. Скажи, почему не согласен с решением Собора о Святой Троице?

— Я присоединился к решению Собора, государь.

— Против воли. Не хитри со мной, Филипп!

— Сколь же ты зорек и проникновенен, государь, если не только углядел меня, малого, в толпе духовных, но и прочел мои сокровенные мысли! — Уклоняясь от прямого ответа, Филипп не мог не восхищаться сверхъестественной пронизательностью Ивана.

— Не юли! — яростно крикнул царь.

— Что есть перекрестие в нимбе? — подчеркивая неокрашенностью голоса общеизвестность истины, начал Филипп. — Превосходство чести Христа над апостолами и святыми. Три ипостаси Святыя Троицы равночестны. Стало быть...

— Стало быть, — зло прервал Иван, — дурь и кощунство был мой вопрос. А духовные и не заметили. Ну, хороши!.. А ты не играй со мной, чернец. Сам знаешь, о чем спрашиваю: который из трех Иисус?

— Не то тебя заботит, государь, — ровным голосом произнес Филипп. — Хочешь знать, который из трех Бог-отец.

Иван отпрянул от Филиппа, голова его ушла в тень, свет позолотил руки с длинными крючковатыми пальцами.

— Что сказано в Писании? «Одесную мя сидеть будешь». То Отец говорит Сыну. Посреди и выше других — Бог-отец, справа от него Иисус.

— Ну, а рука, рука, протянутая к чаше?... — жарко дохнул Иван.

— Бог-отец указывает сыну на чашу, кою тому испить предстоит во искупление грехов человеческих.

— Ну, ну!.. — задыхался Иван. — Не умолкай, монах!..

— Преподобный Рублев, создавший непревзойденное изображение Святыя Троицы, взял образ византийский. И надо вовсе не ведать, сколько привержены иерархии и догме византийцы, чтобы полагать, будто они посадят Бога-сына выше Бога-отца.

— Не плети даром словес, — дрожа от возбуждения, проговорил Иван. — Прямо скажи: не сидеть Сыну выше Отца. Не сидеть! — крикнул он в исступлении и выдвинулся из подлампадного сумрака желтью высокого лба, горбиной носа, острыми скулами. — Царь — помазанник божий. Он — отец, и все — его дети. Не сидеть никому выше отца. Ишь, духовные чего удумали. Отца принизить... выше царя сесть. Не выйдет!.. Изничтожу крамолу церковную, как крамолу боярскую. Ваше племя хитрое, коварное. Не забыл я аспида Сильвестра... Не прощу и вам Отца унижение. Чашу, чашу не мог разгадать!.. Поверил, что рука к ней тянется, а он — указывает!.. Одесную и ниже сидящему Сыну указывает Отец, что изопьет тот до последней капли чашу страданий... Да Он и величественней Сына, благолепнее... Но почему столь со Спасом рублевским схож? — спросил он с тоской.

— Не дал Он лицезреть себя. Лишь в образе Богочеловека на землю являлся. А с кем же быть схожим Сыну, как не с Отцом?! И должен изобразить Господу Богу знакомые в Сыне черты придать. Все образы Святыя Троицы, Великий Государь, меж собой схожи, они — одно лицо в трех выражениях. Да не сомневайся ты боле, Государь. Дух Святой — от Бога, а коли Христос посредине, стало быть, от него Дух святой исходит. А это ж неправда!

— Истинно, истинно, Филипп! Дух Святой — ошую Бога-отца, ибо от него исходит. Говори еще, монах, ты не все сказал.

— Спас Рублева — не лик Христа, а символ Бога, во всех его ипостасях. В Сыне провидим мы Отца и деяние Святого Духа. Обратившись к Святыя Троицы, государь, взгляни непредвзято, и в среднем ангеле ты узришь Отца мягкого, бесконечно сострадательного...

— Замолчи, монах, ты все сказал!.. Не улещивай мя. Кому лучше знать, каким Отцу быть надлежит, самодержцу или лисе монастырской?

Но что-то отпустило Ивана. Не было злости в его голосе, и даже улыбка дернула сухие, запекшиеся губы, на мгновение прогнав то мятущееся, страшное, что корчило, искажало выразительные, даже красивые черты его лица. Филипп вдруг представил себе его ребенком, и ребенок этот был мил: живой, любознательный, черноглазый... Он почувствовал жгучую жалость к этому несчастному и ужасному человеку, который мучил других, но и сам горел в адском пламени, не таким он был задуман природой. Но добрый миг уже миновал, Иван вновь выпустил когти.

— Отчего же, Филипп, все столь понимаючи, молчал ты на Соборе и позволил святотатству свершиться?

— Бог един в трех лицах, государь, святотатства тут нету. Речь не о догмате веры шла, лишь о толковании иконы.

— Ох, и увертлив ты, Филипп!.. Ох, ловок!.. Да не больно храбер.

— Сам же сказал тебе, государь, что не из бунтующих я Колычевых. — Вопреки смиренным словам, голос не был умягчен чрезмерным смирением. Филиппу прискучило изображать трепет, он устал.

— Умеешь ты себя беречь, Филипп! — Но Грозный чутко уловил изменившуюся интонацию и притемнился: — А откуда у тебя все эти мысли? Мудрствуешь, видать, много... Больно учен, языки, вон, древние изучил...

— Не тверд я в них, — вновь собрался для самозащиты Филипп, поняв, что сейчас подступила главная опасность: царя плохо учили в отрочестве, после он сам добирал зна-

ний острым, жадным умом да Сильвестровой помочью. И не любил он чужой учености, особо у церковных. Впрочем, боярское любомудрие тоже не больно жаловал, с тех пор как бежавший Курбский в предерзостных посланиях раздругой поймал его на невежестве. И, вздохнув, Филипп сказал: — Видение мне было, государь.

— Какое видение? — недоверчиво, но с любопытством спросил суеверный — при всем своем пронзительном уме — царь Иван Васильевич.

— Молился я нощию во келейке, и явилось мне вдруг померанцевое деревце, что в южных странах обитает, а в нашем холоде расти не способно. Я его, конечно, сроду вживе не видел, а во сне узрел. Только вот что чудно: цветет оно белыми, как кипень, цветами, а тут было осыпано пунцовым цветом, как заря в предгрозье. И затрясло оно всеми веточками, всеми цветиками, и зашептало, зашелестело о Святыя Троицы. Все, что я тебе, великий государь, ныне говорю, услышал я от того дивного померанца.

— И утешил ты меня, Филипп. Утешил, Кольчев-ускользающий. Нет, ты не крамольный человек. Но ты хитрый, Филипп, ишь, какой побасенкой государя своего потешил. А ты меня умом ниже себя ставишь, коли думаешь так легко провести. Детская твоя хитрость, но она не со зла, а во спасение. За главную правду, от тебя услышанную, прощаю твою хитростенку. Спасайся и дальше, Филипп. Баюг, в дивный вертоград обратил ты дальнюю высыпь моей земли? Ты что там — рай задумал создать?.. — вонзился черным блеском. — Самому Господу уподобился?

«А ведь он угадал! — захолонуло под сердцем. — Сказал то, в чем я самому себе не признавался. До чего ж проникновенный ум!..» — И мурашки неподдельного трепета пробежали по коже.

— Больно студено там для рая, государь. А не бедствуем твоими милостями...

— Замолчи, монах, не клянчи! Все нищенствуете, богатеи!.. Сам решил вотчинку подкинуть. С сим отпускаю тебя,



честный инок, — с непонятной насмешкой заключил этот удивительный разговор Иван.

А когда Филипп уже выходил, вдруг окликнул:

— Разговор промеж нас двоих останется. Пусть изографы пищут, как Собор решил. Мне самому знать хотелось. Ступай с Богом!

И отпустил мирно толкователя Святыя Троицы. А ныне вспомнил. Потому вспомнил, что помер митрополит Макарий, а выбранный на его место старый Арсений скорее-шенько отпросился на покой. Любо было государю, что отвел Филипп должное место Богу-отцу, такой не дерзнет свой престол над государевым поставить. Иван Васильевич убедился, что не обделен разумом соловецкий игумен, но покорен и уклончив, не стремится к власти и лишен честолюбия. Удобен царю в митрополитах тихий, небунтующий, сызмальства напуганный человек; поднятый с низшей ступени на высшую рукой Государя, будет он послушным исполнителем его воли. И нет у него связей ни с духовными, ни с боярством, нет ни в ком опоры, кроме царя. Будет он все в угоду Ивану Васильевичу делать, благословит опрочину — черную нечисть при метле и отрубленной собачьей голове и любую затею неленивого царского ума. Вон когда аукнулось и вон как откликнулось, — невесело думал Филипп, колыхаясь на волнах Белого моря.

—

Весь путь до Москвы старались проделать водой — бездорожная сторона, но приходилось кое-где и волоком пробираться. Кругом топи, болота, кочкарник, морошка, лес, непролазные. Только в Ярославле посадили духовных в возки, а ратные мужи сели на коней. И все дни путешествия не переставал Филипп удивляться громадности, богатству и неустройству родной земли. Когда тридцать лет назад бежал он всполошенным зверем на север, то ничего не замечал вокруг, ничем не заботился, кроме тропок, стежек,

перелазов и переправ, чтобы скорее оставить меж собой и страшной Москвой как можно больше земли. На Стоглавый собор везли его в беспамятстве тяжелой болезни, думали — не довезут, а возвращался он в розовом тумане счастливого избавления, всему радуясь и ничего толком не видя. Зато сейчас его очи будто промыло: увидел он нищету и дикость, в которых скорбит посреди несметных богатств народ, населяющий северные земли русского отечества. Пустынны берега рек; ни водяных мельниц, ни тоней, изгнивают избенки под сопревшими соломенными крышами, а кругом высокоствольные леса, под ногой глина, на кирпичи годная; Филипп хорошо знал землю и по цвету ее мог сказать: здесь железу в недрах быть, там — иному крушецу, там — красителям. Он видел рои диких пчел, но в лесах «бортничал» лишь медведь, а люди не знали вкуса сладости. Видел пойменные луга, на которых можно выкармливать коров с редкой жирностью молока, а коровенки паслись мелкие, худые, с пустым выменем. Природа давала все, чтоб человек был сыт, пит, добротнo одет, жил бы в справных, чистых, теплых домах, а людям подводило животы от голода, ходили босые, в дранье, а в домах — грязь, вонь, духотища. Люди не только не умели брать от земли что положено, они не знали и боялись ее; боялись лесов, болот, озер и придумывали им страшные названия, чтобы и детей своих от них отпугнуть. От заморенных деревень мало чем отличались города: ну, посередке, как водится, собор, бывало, каменный, торговые ряды, палаты правителя да несколько справных домов местной знати или разбогатевших купцов, а вокруг те же испревшие избы, непролазная грязь, худые свиньи в лужах, лапотное население.

Как ни слеп был Филипп в прежние свои проезды через Каргополь, Вологду, Данилов и другие города, а заметил резкую перемену: куда спокойнее, степеннее, размереннее и милее глядела в них прежде жизнь; люди торговали и покупали, чего-то строили, спокойно шли по своей надобности, останавливались, встретив знакомого, и обме-

нивались словами, а ныне все — как очумелые. Завидев возки и всадников, девки кидались врассыпную, парни тоже спешили стигнуть, хоронились лотошники, закрывались лавки — великий страх оморочил народ. Оказалось, города эти забраны в опричнину, и порядки заведены новые. Сообщил сие Филиппу архимандрит, но ничего более не добавил к сказанному осмотрительный служитель божий. Впрочем, нетрудно было догадаться, каковы эти порядки. Видать, правят здесь царицы любимцы, как в завоеванной стране. Филипп был наслышан о бесчинствах опричников — в Соловецкую кинию стекались люди из разных мест, но он думал, что косматое чудище, высиженное царем Иваном в Александровском самоизгнании, обращено лишь против боярства, а оно всю русскую жизнь под себя подмяло. Замордованному снизу доверху народу должен он стать пастырем, духовным вожем и утешителем. Не по плечу ему такая ноша. Он — Колычев-ускользающий, а здесь нужен другой — Сергей Радонежский или апостол Павел, чтобы обличать огненным словом цареву блудню, на всю Русь вопиять проклятия опричной скверне. А он — Колычев-бегущий, Колычев, любящий жизнь во всех ее чистых явлениях, землю, так щедро дарящую себя людям, не умеющим принять ее даров...

Оказалось, плохо знал себя Филипп, не лучше других многомудрых — духовных и мирских.

Прибыв на место и поклонившись государю, который принял его отменно ласково, Филипп явился пред Собором духовных властей. Сведомые о приеме, оказанном ему государем, отцы церкви были не просто ласковы, а источали елей. Филипп смиреннейше заявил им, что принять сан митрополита не может, ибо не считает себя достойным. Есть неизмеримо выше его стоящие не только по иерархии, но и нравственно, и по способностям к несению столь высокой службы. Этим он возбудил надежду в иных сердцах, а угодил всему духовенству: не было архиерея, который не возмущался бы в душе предпочтением, оказанным скромному игумену из за-

предельной обители. Филипп надеялся, что духовные не замедлят донести его слова до царских ушей и разгневанный государь отошлет его назад. Но царь и слушать не стал архиереев, прогнал их прочь, а потом повелел вернуть назад вместе с игуменом Филиппом. Тот со слезами на глазах сказал царю о своей неготовности и неспособности принять митрополию. Грозный сверкнул очами и закричал, брызгая слюной: «Это святители тебя запугали? Сами на митрополичий престол зарятся! Вот вам!..» — И, забыв о всяком приличии, царь сунул духовным дулю; большой перст был у него непомерно длинен, с гнутым острым ногтем, и, когда завертел им царь перед лицами оторопевших священников, вышло что-то страшное и донельзя срамное, вроде когтя сатаны. «А мне твой отказ не нужен, Филипп! — кричал Иван. — Даром за тобой на край света гоняли? Раз надо для православного мира, так негоже в кусты кидаться. Се не смирение, а трусость позорная!» — «Отпусти меня по-доброму, государь. Дай воссоединиться с милой землей, коей я потребен». — «Очнись, Филипп! Не юродствуй. Ты ныне не соловецкой земле, а всей Руси служить будешь. Не унижайся, игумен. Бери, что дают, и стань наравне со славнейшими. Не зли меня, Филипп. Не доводи до худого».

— Не смею спорить с тобой, государь. Да и не о чем. Как ты ни могущ, а митрополита не назначишь. Святители явят свой выбор.

— Энти, что ли? — кинул клином седеющей бороды в сторону духовных Иван. — Да они согласные. Не так ли, отцы? — произнес с издевательской ласковостью.

Нестройный хор старческих голосов подтвердил слова Ивана. А чего еще можно было ждать? И тут сам Филипп обрел голос, почти неотличимый от прежнего, наделенного природной ясной звучностью, но ставшего совсем иным, чего поначалу никто вроде бы не заметил, — с каким-то металлическим отзвоном.

— Хорошо, государь. Я приму сан, коли меня выберут, но с одним условием: ты отменишь опричнину.

— Ты... ты что?.. Тягаться со мной вздумал?.. — Ивану казалось, что он ослышался, ошеломление вытеснило гнев.

— Не я, а митрополит Филипп. Я не смею тягаться и с самым малым из находящихся здесь. Но глава православной церкви несет перед Господом Богом ответ за святую Русь. Опричина же твоя богомерзкое, антихристово дело.

— Не тебе судить, монах... — угрюмо, в какой-то странной усталости молвил Иван. — Думай о небе, о земных делах мы сами позаботимся.

— Я о душе твоей пекусь, государь. Погубишь ты душу, коли не разгонишь хищников, рвущих на куски святую Русь.

— Чего ты витийствуешь, монах? — Грозный тихонько, в себя засмеялся. Усталость гнула плечи, давила на грудь, туманила голову, одного хотелось: спать, спать, спать, — ребячливый в своей нежданной заносчивости старик не стоил гнева, даже окрика не стоил. — Сам же говорил, что не царь митрополита ставит. Как святители решат, так и будет... Ладно, ступайте, устал я от вас, однако...

Три дня уговаривали духовные Филиппа принять сан без всяких условий. Не дело митрополиту соваться в государственные дела, сроду такого на Руси не водилось, а с латинской церкви негоже пример брать. А вот преподобный Сергий, возражал Филипп, вмешался в общерусское дело, и грянула Куликовская битва. «Уж не мнишь ты себя ровней святому Сергию?» — возмутились духовные. «Нет, — отвечал Филипп, — лишь беру себе примером». К исходу третьего дня Иван, вместо обычного гонца, прислал к духовным Малюту Скуратова-Бельского, самого доверенного своего человека и самого страшного. Рыжеватый, источающий песий запах, с приплюснутым переносьем и почти белыми глазами, Малюта тихим, сильным голосом сообщил, что царь весьма печалуетса неусердием святителей к его государеву делу и даже занемог в горести. Ах, отцы, отцы!.. — вздохнул широкой грудью Малюта и поочередно поглядел в лицо каждому архиерею.

Малюта сказал правду: не привыкнув встречать отказ ни в каком своем намерении, Иван и впрямь почувствовал недомогание, какая-то мерзкая робость закралась в душу. Было противно рассудку и потому страшно, что нашелся человечешко, осмелившийся перечить ему, хотя знал, что за свою строптивость отправится с Малютой в застенки. Малюта был единственным человеком, которому Иван доверял безоговорочно. Царь знал, что Малюта, не дрогнув, раздерет меж двух берез собственную любимую дочь, если Иван прикажет. Впрочем, тут все близкие царю люди были выше похвал. Федька Басманов едва не отсек на пиру голову собственному отцу, боярину Алексею, хотя царь только пошутил, желая проверить меру Федькиной преданности. Не уронил себя и старший Басманов. «Руби, сынок!» — сказал, опустившись на колени. Царь остановил Федькину руку, как ангел Господень — Авраама, уже занесшего нож над своим намоленным первенцем, но про себя решил, что другой раз даст свершиться казни: уж больно честолюбив и опасно бесстрашен старый Басманов. Лишь чудом не обогрив руки отцовской кровью, Федька вернулся к веселью, осушал чашу за чашей, как и всегда, и почти не пьянея.

Любил Иван Федьку, но уже смирился про себя, что Малюта вскорости оговорит его и уничтожит. Правда, не раньше, чем Федька снесет голову отцу. Федька бесстрашием в отца, но еще криводушнее, хитер и подл, как змей, предаст и даже на миг не запнется душой об Иудин грех. Иван не станет мешать Малюте. Но с особым наслаждением рисовал себе царь, как, изведя руками Малюты всех врагов, скинув на широкие плечи верного раба все собственные грехи, предательства, всю кровавую грязь своих дел, расквитается с самим Малютой. За Басманова особенно, за сладкого, как малина, Федьку, за всех замученных, пытаных, замордованных, за всех убитых мечом, удавкой, топором, ядами, руками, страшными, короткопалыми, в красноватом, как у крыс-пасюков, волосе, заставит он пройти Малюту через пытки, мучительства, издевательства, каким

тот подвергал других. И придет он в пыточный застеночек слушать Малютины стоны, вопли и бить сапогом в окровавленный, с искрошенными зубами рот, когда поползет тот целовать ему ноги, моля не о пощаде, о скорейшем конце. И, подробно думая об этом, Иван неизменно приободрялся, веселел, но в дни, когда нестигаемый монах отталкивал митрополий посох, если царь не разгонит причину, — единственную опору царствования, защиту в злом и коварном мире, где никому нельзя верить, — даже мысль о предстоящей игре с Малютой не радовала опечаленную и смущенную душу государя.

А духовные, насмерть запуганные Малютой, всем скопом навалились на Филиппа. Если себя не жалеешь, то хоть нас пожалей — предаст царь нас в руки своему костолому. А свято место пусто не бывает, другого на митрополию поставят, во сто крат худшего. Ты в дела государственные не суйся, а защитить опального человека завсегда сможешь, коли смел. А ни в ком из нас такой смелости нету, мы царю ни в чем перечить не можем. Мы все осифляне по убеждению, а по натуре зайцы. За тобой и нам спокойней будет, и православному народу хоть какая-то надежда зацветит. Сделай по-цареву, Филипп, не ставь условий, потешь гордость Иоаннову, а ведь в жизни ничего по уговору не делается — пройдет время, не стерпишь ты и осадит неистовство метелочников окаянных. Хоть малое остужение, хоть какое-то облегчение Руси от тебя будет, от всех же других нечего ждать, мы себя знаем, говорим не лукавя, как есть. И мучился Филипп этим самоуничижением святителей. Чего сроду не сделали бы угрозами, добились трусливыми плачами.

В эти три тягостных дня и три бессонных ночи, наполненных думами, мукой, слезами и воспоминаниями, когда Филипп оплакивал свое прошлое и далекую милую землю, и братию, которой был предан куда горячее, нежели сам полагал, и бедного послушника Анфима, и пчелок, хлопотливо собиравших взятки с медоносов, и каждое посажен-

ное им дерево, и всех прижившихся в Соловках зверей лесных, и водных обитателей, и птиц небесных — особливую слезу пролил о куличке-игумене, последней его земной радости, в эти дни, когда жизнь переломилась в житие, навсегда высохло нутро Филиппа, не осталось в нем ни слезинки, будто похозяйничал там аравийский ветер; сгинул сурово-смиренный с виду и жалостливый сердцем игумен и стал над Русью митрополит Филипп, тот железный старец, которого жесточайший из всех земных владык, окруженный свирепыми сатрапами, смог уничтожить трусливо, но не сломить, ни даже наклонить. Твердым в долге и нравственных правилах, усердным монахом, не рядовым лишь широкой созидательной одаренностью своей природы явился в Москву Филипп, но ступил в Успенский собор для посвящения в сан митрополита великий муж, принявший неизбежность мученического венца и нисколько не страшщийся его. Не ведали этого ни духовные, думавшие, что хитро подобрали ключи к характеру Филиппа, ни царевы приближенные, свысока посмеивающиеся над пустым упорством монашка, ни возвеселившийся духом и скинувший хворость царь, вновь подмявший под себя, как ему мнилось, не вовсе заурядного супротивника. Даже сам Филипп не постигал разумом самую глубь свершившейся в нем перемены, ведала то лишь его тайная душа, она заявила о своем знании, когда отверзлись уста Филиппа для первой владычной пастырской речи.

Но до того свершился обряд интронизации. Привезли Филиппа в митрополичий Успенский собор в обычной его грубой черной рясе и черной скуфье, а здесь одели в шелковую невесомую мантию и белый клобук с хвостами. Посреди службы его подвели к алтарю, где вручили митрополичий посох, облачили в ризу из золотного бархата с узорами, на плечи накиннули плат-амофор, расшитый и украшенный жемчугом; на голову взамен белого клобука надели властительскую шапку, тоже усеянную жемчугом и драгоценными камнями, под ноги постелили круглый



коврик — орлец прозываемый, ибо вышит на нем орел — от Византии произошедший символ власти. И во всей этой пышной, столь непривычной Филиппу одежде он будто вырос, раздался, обрел иную, величавую осанку, и явилась она не от гордости, напыщенности столь неожиданно вознесшегося рядового человека, как почудилось духовным, а от спокойствия безнадежности, раз и навсегда овладевшего Филиппом. Он уже не принадлежал ни окружающим, ни царю, а лишь собственной судьбе и оттого стал независим. И хоть принял он условия церковников, вернее, требование государя, но первое свое слово, отметившее вступление в сан, обратил в наставление государю. Он говорил о долге державных быть чадолюбивыми отцами подданных своих, блюсти справедливость, уважать заслуги, не слушать гнусных льстецов, теснящихся у престола и сладким ядом речей своих отравляющих ум государей, что служит лишь их низким страстям, а не отечеству; он говорил своим звучным, всепроникающим голосом о тленности земного величия, о победах невооруженной любви, которые приобретаются государственным благосостоянием и куда славнее побед ратных.

«Истинно пастырская речь!» — перешептывались духовные, но были недовольны и встревожены: ведь слова митрополита метили прямо в дела Иоанновы и его близких людей, сиречь опричников. Предерзостная речь, и если это начало, то каково же будет продолжение?

Но вопреки их страхам, Иван принял речь нового митрополита милостиво, подошел к нему под благословение, обласкал владыку словом и взглядом и удалился из храма в кротком расположении духа. Это объяснялось в большей мере непостоянством нрава, над чем невластен был Иван и что делало непредсказуемыми его поступки даже для самых приближенных людей, отчасти же тем удовольствием, которое царь испытывал от подавления чужой воли. Иван уже понял, что ошибся в Филиппе, приняв его за усердного, скромного до робости, хотя и склонного к умст-

вованию монаха; нет, то был характер — не наружный, сразу себя выдающий (ломать таких проще всего), а затаенный, сам себя не до конца ведающий и опирающийся на что-то твердое, непоколебимое в душе — на фанатичную веру в милость божию, думал Иван, чуждый и малому подозрению, что иные нравственные устои держат Филиппа. Он чувствовал себя победителем; малоумным могло бы показаться: эка честь в победе Великого государя, Кесаря III Рима (четвертому не бывать) над упрямым и наивным иноком, одичавшим в своем окраинном монастыре. Ан одержать такую победу было труднее, нежели переплести всю Боярскую думу или вырвать клочок из бороды старшего Рюриковича. Он одержал и свою собственную, и государственную победу; придет день, когда завоевавший великий авторитет во всем христианском мире митрополит благословит опричнину и давно замысленный поход на Новгород — не соринку, а бревно в царевом глазу, — с его богатством жирным, церковной спесью и дерзкой независимостью. Но это потом, а сейчас царя будто отпустило внутри, и тихий дух снизошел на него через божьего человека, митрополита всея Руси.



Удивительна была и духовным, и мирянам, а пуще всего цареву окружению та тишина, что воцарилась по избрании Филиппа. Иные доверчивые люди, а в таких сроду нет нехватка, всерьез поверили, что приход праведного старца на митрополичий престол угомонил, остудил и утихомирил бешеный нрав царя. Прекратились казни, иссяк кровавый ток, присмирели и опричники, перевели дух омороченные русские люди всех сословий. Москва и забыла, когда так покоен был ночной сон: никто к тебе не ворвется, не вытянет из теплой постели, не осрамит жену, не насильничает дочь, не разграбит имущества. И засияла белым золотом слава Филиппа!.. Лишь он сам, митрополит,

не обольщался переменой, зная вещей душой, что то затишье перед бурей.

Царь мог бы и сам хотеть тишины и ладу, но невластен был над своим рассудком, которому вечно мерещились крамолы и заговоры, не властен над дурными страстями, раздраженными чувствами, нуждавшимися в яростном выплеске, вслед за которым — слезная, умильная молитва и покаяние. Не властен он был и отказаться от задуманного: опричнина нужна была не только как оружие против непокорных и затаившегося боярства, но и как символ его отверженности: боярские козни лишили Ивана власти, земщиной правил пленный казанский хан Едигер Симеонович, крещеный татарин, озадачивающий своей ничтожностью; делами государства российского ведала Боярская дума, а он, законный государь, вынужден был с горсткой верных скрываться в Александровской слободке, отбирая силой у боярской жадности деревеньку, городишко, волостишку для пропитания своих людишек. Сколько же можно побираться?.. Вот и взлеял думу царь-изгнанник: вдарить по Новгороду и выпотрошить его пересытое чрево. А то, что поход замышлялся против жемчужины святой Руси, древнего русского города, великого своими победами над псами-рыцарями и храбрыми шведами, крепкого верой, славного ремеслами, зодчеством, иконописью, торговлей, достойнейшими людьми и мужеского и женского пола, не смущало Ивана, — быть не может, чтобы, глядя на все усиливающуюся Москву, не замыслили новгородцы измены, он бы, Иван, на их месте наверняка бы замыслил. А коли так, то судьба города решена, упредит измену, заступится за Русь царь-изгнанник. И когда Иван называл себя так, крупная слеза солила ему губу под седым жестким усом.

Но время текло, а тишина не нарушалась. И уже маловеры начали поддаваться этому завораживающему покою. Людям так хотелось отдохновения, так истомило вечное

насилие власти, что, казалось бы, навсегда отученные от надежды на умягчение, они поверили, что сжалился над измученной страной Господь Бог и утомил царя-крово-ядца. Это чудо приписывалось духовной силе нового митрополита. В народе шептались: напрямую с Богом говорит и за Россию предстательствует...

Сумрачен, как ночь, ходил один человек из ближайшего царева окружения — Малюта Скуратов-Бельский. Ему казалось, что новый митрополит околдовал царя, навел на него злые чары. Государя словно подменили. Снаружи вроде бы тот же Иван Васильевич — борода клином, беспокойный взгляд то взблескивающих, то мертво гаснущих глаз, седина в лысеющей голове с острым теменем, внутри иной: пришибленный, оробевший, все время постится, молится, но не по-прежнему, когда от ударов об пол лбом гул стоял, а подолгу припадая к каменному полу лицом с закрытыми глазами, исходящими слезами из-под тонких трепещущих век. Неужто это навсегда? — тосковал рыжий палач, и сошлись в нем боль о государе, тревога за опричнину с лютой ненавистью к Филиппу.

И видать, возымели действие жгучие слезы наивернейшего царского холопа — в один из ничем не примечательных, серых, пасмурных деньков призвали Малюту к царю. Тот сидел в жарко натопленной горнице — мерзляк был государь, даже вином не согревался, а тут на воде да постной пище вовсе застудил всю внутренность.

— Где пропадал? — хмуро спросил царь. — По бабам шляешься, утробу набиваешь? А крамола голову подняла. Да чего там подняла — вот-вот сеть накинёт. Бежать пора в слободку. Где же еще русскому царю голову преклонить? Да что же я за несчастный такой? У зверя логово есть, у птицы — гнездо, один я маюсь как неприкаянный!..

Малюта грохнулся на колени.

— Звери мы лютые — так огорчили царя-батюшку! Нас бы самих — на плаху. Но повинную голову меч не сечет.

Дозволь, государь, допреж мы в слободку двинемся, я тебя головками врагов лютейших утешу?

— Да уж порадей, Малюта, — капризно сказал Иван Васильевич. — И вели Федьку в опочивальню прислать. Боюсь, как бы не избаловался малец без призора. Отец-то его, криводушный Алешка, хорошему не научит.

Распоряжение сие было досадительно, но Малюта так радовался духовному пробуждению царя и возвращению к государственной жизни, что огорчился менее обычного тем вечным предпочтением, которое оказывал Грозный Басманову в спальном деле. А еще подумал, что далеко им всем до царя-батюшки: тот вон Федькину душу воспитывает, укрывает вьюноша от развращающего воздействия родителя, — воистину: царю — царево, а псарю — псарево! Но надо тянуться за царем по мере сил. Малюта расстарался, дабы ублаготворить огорченного новыми кознями государя, — так началась эпоха третьего террора страшного царствования. Полетели боярские головы, а заодно и всякие иные, вовсе не знатным людям принадлежащие. Ведь известно: лес рубят — щепки летят... Малюта расправлялся с большими людьми, а опричная мелочь под шумок обдывала собственные дела и делишки; головы снимали и боярам, и дворянам, и почтенным купцам, и мелким торговцам, и дьякам, и подьячим, и простым тягловым людям. По разным причинам оказывалась несовместимой злосчастная голова с телом. Порой надобилось молодцу в черном платье с метлой у седла прибрать вотчинку, или деревню богатую, или незаможнее сельцо, порой — дом справный, или поместье, или золотую утварь, ковер персидский или кинжал, камнями украшенный, иной черный молодец зарился на жену чужую или дочь-малолетку — и за это отнимали жизнь, и за слово бранное, и за косой взгляд. История сохраняет для потомства лишь громкие имена, а за каким-нибудь Шуйским или Воротынским остаются неведомые десятки, сотни уничтоженных малых людишек...

И все пошло обычным порядком, за одним исключением, сильно поразившим Грозного царя. Впервые казни, пытки, все опричные неистовства творились не в великой русской тишине, которую по избытку пустого пространства не могли нарушить стоны, крики, вопли умерщвляемых, пытаемых и насилуемых, нет, впервые беззвучие сотряс протестующий голос. И пусть то был голос всего лишь одного человека, но звучал он посреди Кремля, с амвона святого Успенского собора, исходил из зычной гортани митрополита всея Руси и слышен был по всей русской необъятности. Поначалу голос этот взывал к совести и разуму государя, но вскоре возвысился до обличения, предавая анафеме опричнину, раздвоившую святую Русь, называя поименно палачей, и, наконец, о самом царе молвил страшное слово: кровядец!..

Сему царь не поверил и решил испытать Филиппа. В день воскресный, в час обедни, Иван с ближними боярами и целой толпой опричников вошел в соборную церковь Успения Божьей Матери. По обычаю своего «сатанинского монастыря», как называли в народе Александровское убежище царя, были все в черных рясах и высоких, тоже черных, шляках.

Филипп вел службы, стоя на своем митрополичьем месте, на малом возвышении, в окружении владык и иереев. Иван приблизился к нему, ожидая благословения. Митрополит смотрел на образ Спасителя и царя словно не заметил. Тогда иереи стали подсказывать слышным шепотом (в надежде, что их усердие будет оценено): «Владыко, се государь!.. Благослови его!..» — «В сем виде, — ответил Филипп своим звучным голосом, — в сем одеянии странном, не узнаю государя, не узнаю и в делах Царства!..» И, повернувшись к царю, продолжал: «О государь, мы здесь приносим жертвы Богу, а за алтарем льется невинная кровь христи-

анская. Отколе солнце сияет на небе, невиданно и не слышно, чтобы цари благочестивые возмущали собственную Державу столь ужасно! В самых неверных языческих царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям, а на Руси нет их. Достояние и жизнь людей русских не имеют защиты. Ты высок на троне, но есть Всевышний, судья наш и твой. Как предстанешь на суд Его, обогранный кровью невинных, оглушенный воплями их муки? Ибо самые камни под твоими ногами вопиют о мести».

Иван трепетал от гнева. Он с такой силой ударил жезлом о камень, что высек искру, узренную близстоящими. «Чернец! Я доселе излишне щадил вас, отныне буду, каким меня нарекаете!» Голос его задрожал, кровь выступила из-под ногтей пальцев, сжимавших жезл, багровый туман застлал взор. Он поднял жезл, и всем, кто был в храме, почудилось, что случится не виданное в мире святотатство и царский жезл поразит служителя божия у алтаря. Одни прикрыли глаза рукавом, другие потупились, даже иные опричники побледнели и отвели взгляд. Царь Иван потом удивлялся, как сумел он углядеть сквозь багровую пелену ярости поведение каждого. Не уронили себя ближайшие. Красивые, влажные, оленьи глаза Федьки Басманова выражали радостное нетерпение, схожие, но увядшие очи его отца — усталую скуку. Малюта нащупал клинок под рясой, чтобы в случае надобности добить митрополита, Василий Грязной с неизменной собачьей преданностью смотрел на царя, его пригожий брат Григорий улыбался плотоядным ртом, сильное, крупное лицо Филиппова сродственника, боярина-опричника Кольчева, хранило безмятежное спокойствие. «Так же смотрел бы, если б и меня кончали!» — с ненавистью подумал Иван.

Не менее спокоен оставался и сам Филипп. «Укротись, государь, ты в храме божьем, а не на псарне», — отвернулся и продолжал службу...

...Царь Иван был словесной мудрости ритор. Крепко уязвило его, что не смог он побить Филиппа словом. Явив-

шись в храм в другой раз, в ответ на обличения митрополита сказал громко и надменно: «Царь волен жаловать своих холопов и казнью волен их казнить!» На что Филипп тут же обронил чуть не с усмешкой: «Се словеса, достойные не царя, а вотчинника». И никто в храме не понял, какую жестокую рану нанес он царю. Иван был первым русским государем, узревшим в себе царя в библейском смысле: помазанник божий. До этого не поднялись ни его отец, ни дед. Слова Филиппа низвергли его с высоты, в ничтожество удельного княжения. Онемев от гнева, царь не знал, что сказать, и, боясь новых беспощадных, бьющих в самую грудь, в болящее сердце слов митрополита, обретя речь, залепетал почти жалостно:

— Молчи!.. Только молчи, об одном прошу, молчи, святой отче... Не доводи до греха... И благослови нас...

— Наше молчание грех на душу твою наложит и смерть ей наманит!..

Как звучен его голос и как гулок высокий собор!..

— Ближние мои восстали на меня, ищут мне зла... Какое тебе дело до наших предначертаний? — беспомощно бился царский голос, не поддержанный отгулчивой мощью соборных сводов.

— Митрополит Даниил, щеголь и златоуст, усугубив лукавство и гнусь учения осифлян, сравнил царя с Богом. Единственно, чтобы церковное имущество соблюсти ценой достоинства духа. Царь есть человек и Богу ответчик, как любой его подданный, не заблуждайся в сем. И не будет тебе от Бога благословения, покуда не покончишь со своими мерзостями.

Так и отвалил Иван ни с чем, унеся злое унижение в душе. Но не утомился и снова попробовал скрестить с митрополитом словесное оружие: «Ты вотчинник, а не самодержец Руси...» — против такого бессилен был кинжал ножебоя Малюты. Царь напомнил митрополиту о величии Руси — Третьего Рима. Не ему, Ивану, кровь надобна, а государству великому. Филипп ответил тихо, не как пас-



тырь, а просто как старый, усталый человек: «Коли так и дальше пойдет, не много от твоего Третьего Рима останется. Выдашь ты Россию головою врагам». — «Не шуткуй, поп! — взъярился Иван. — Сам знаешь, с таким народом нельзя иначе. Он лишь язык огня, железа да пеньковой захлестки понимает. Чем больше истребишь, тем лучше. Остатние будут воском в руках рачительного и вдаль глядящего государя».

— Христос на камне, не на крови строил церковь свою. А под камнем-петросом подразумевал любимого ученика Петра, апостола и рыбака. Когда же на крови людской свое царство строишь, не нужно оно.

— Как не нужно?.. Что ты мелешь?..

— Нельзя убивать нынешних, чтоб завтрашние мед пили и сладким куском заедали. А коли не настанет завтрашний день, чем оправдаешь ты нынешние злодеяния? А и настанет, так без меда и без куса сладкого.

— Это почему же?.. — От гнева ли, нетерпения ли, просто непривычки к словесному ристанию Иван не находил даже тех сумбурных, горячечных, но сильных чувством и убеждением слов, какими разил — да не сразил — Курбского.

— А ты, царь, и приспешники твои сами весь мед выпьете и все брашно слопаете, некому будет убыль пополнять. И во всех делах будешь ты терпеть поражение: и в ратных — опричники твои лишь с посадскими женками воевать горазды, и в междоусобных — кого ты к государям иноземным пошлешь: срамника Басманова или дурней Грязных?..

— Замолчи! — Царь Иван опрометью кинулся вон...

И тут ближние царю люди заметили, что появилась в нем какая-то робость перед Филиппом. Иван, при всей безобразности своих поступков, при всем презрении к церковникам, при всей преступности, которую не осознавал до конца, был и богобоязнен на свой лад, и, главное — суеверен. Ему представлялось, что бесстрашие Филиппа

коренится не в свойствах его природы, а в неких явленных тому свыше откровениях. Ивану ничего не стоило разделаться с любым служителем церкви, но он не решался — при всей душевной ненависти к митрополиту — не только прикончить его, но даже низложить. Страшился прикрывающей Руки...

О том догадался духовник Ивана, протопоп Благовещенского собора Евстафий, тайно ненавидевший Филиппа. Он посоветовал царю направить в Соловецкий монастырь духовное посольство для уличения бывшего игумена в злоупотреблениях, мздоимстве, нарушениях устава и даже чернокнижии. «Не нарушал он ничего, — сумрачно возразил Иван, — зря злоречествуешь. Нешто и так не видно, что святой жизни этот мерзавец?» — «Пошли, великий государь, — настаивал Евстафий. — Я верных пастырей подберу, от их зоркого и чистого глаза ничего не укроется, они сквозь стены неправедность разглядят». — «Посылай, — подумав, согласился Иван, — может, и впрямь черно крыло над Филиппом».

В позорном посольстве не побрезговали принять участие епископ суздальский Пафнутий, архимандрит Андрониковского монастыря Феодосий и князь Василий Темный.

Провалился бы злой умысел Евстафия, ибо вся братия, как один, свидетельствовала в пользу Филиппа (даже мнившие себя обиженными, утесняемыми им), что беспорочной, святой жизни был игумен, ангельски чистый во всех своих делах, во всех движениях сердца перед Господом Богом, наиусерднейший в молитве и службе, — да выручил бывший келарь, ныне настоятель Соловецкой обители Паисий. Он дал понять, что за епископский сан берется уличить Филиппа в любом преступлении. Прихватив Паисия, посольство борзо покатилося в обратный путь.

Царь Иван обладал ценнейшим для властителя его толка свойством: искреннее верить любой лжи, любой клевете, любому лжесвидетельству, если это было ему выгодно. Он мог сам измыслить оговор, навет, клевету, сочинить подметное

письмо, донос, но, ознакомленный с собственным вымыслом, он испытывал нелицемерный гнев, возмущение, ярость, горе, злейшую обиду на людское вероломство. Так случится в свой час с Новгородом, когда царю доставят им же продиктованное предательское письмо новгородцев, так было, когда хорошо натасканный Паисий предъявил Филиппу в присутствии двора и духовенства свои обвинения.

— Ну, что скажешь на это, Филипп? — произнес Иван дрожащим от негодования голосом. Страх перед митрополитом напрочь покинул его — перед ним был грешный, порочный, нагло-злослышный человечешко.

Филипп не ответил. Он поглядел на бывшего келаря, на его мясистые красные щеки, увлажнившееся в глубоких ложбинах чело, на выпуклые глаза в кровяных прожилках, на бесстыдно-жалкое лицо предателя и тихо молвил: «Злое деяние не принесет тебе плода вожделенного».

Паисий вспомнит о вещих словах митрополита, когда через полгода после исхода Филиппа будет заточен по приказу царя в отдаленный монастырь, где и кончит позорные дни свои.

— Ты не шепчись, Филипп. Ты перед своим государем ответ держи. Или язык отсох?

— Ответ мне не перед тобой держать, — спокойно отозвался Филипп. — Думаешь, я боюсь тебя или смерти? Нет! Достигнув старости беспорочно, не зная в пустынной жизни ни мятежных страстей, ни козней мирских, желаю там и предать дух свой Всевышнему, моему и твоему Господу. Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония сего несчастного времени. Се жезл пастырский, се белый клобук и мантия, коими хотел ты возвеличить меня!.. А вы, святители, архимандриты, игумены, все служители алтарей, пасите верно стадо Христово, готовящаяся дать ответ и страшася небесного огня пуще огня земного.

Сказав так и сложив с себя знаки сана, Филипп хотел уйти. Будто замороженный его речью, царь вдруг очнулся,

сжал ладонями худые виски и, приподнявшись на троне, крикнул:

— Стой, Кольчев! Опять бежать вздумал?.. Уйти от расплаты?..

— Нет, государь. Я давно уже не Кольчев-бегущий, а Кольчев-обличающий. Неужто ты до сих пор не постиг?

— Это ты обличен будешь — еретик, чернокнижник, антихристово семя!.. — Иван вытянулся в рост, его шатало. — И не сам собой судим, а учрежденным нами судом. А до тех пор носи свою службу... забирай святительскую утварь... Отслужишь обедню в день архангела Михаила.. Слышишь?.. — Голос Ивана пресекался, казалось, он сам не вполне сознает, что говорит.

— Трус ты жалкий, Иван Васильевич, — брезгливо произнес Филипп.

— А ты... ты... — Иван задохнулся, не в силах найти единственное клеймящее слово. — Ты... — в провидческом озарении явились ему костры, на которых сжигают крамольные книги, гигантские печи, исходящие густым черным дымом из рослых труб; в отверстия двери, в багровое озарение втеснялись голые люди: мужчины, женщины, дети, бунтовщики против власти, идущие в купель огненную, и вдруг сие отрадное зрелище омрачилось: откуда-то выросла столь знакомая Ивану ненавистная тощая фигура, и была она выше самых высоких труб; Филипп дул на костры и гасил пламя, не давая испепелить богомерзкие книжки, ондохнул на печи и погасил очистительный огонь, и нагие грешники кинулись врассыпную, только матери подхватили своих детей. «Убрать его!» — хотел приказать Иван, но голоса не было. Его никто не слышал и никто не слушал, а Филипп плыл над землей, неуязвимый, вечный, и, собрав себя нацельно, Иван крикнул во всю силу легких в лицо митрополиту невесть откуда взявшееся, непонятное ему самому, страшное слово: — Интеллигент!.. — и, пав на пол, забился в судорогах, из стиснутых зубов выдувались пузырьки пены.

Малюта склонился над государем, кинжалом разомкнул сцеп челюстей, свободной рукой вытащил наружу желтообметанный язык, ибо при таком приступе государь мог им подавиться. А потом братья Грязные подняли странно напружинившееся, но уже спокойное, легкое тело и понесли в царскую опочивальню. Каждый из них мог бы и в одиночку без труда справиться, но то обернулось бы в унижение государю, который при скупости плоти был тяжелемок за счет толстых костей, особо же обмякнув после пьянства, но тут, натянутый, как тетива лука, странно полегчал.

В опочивальне Ивана раздели, уложили в постелю, укрыв пуховыми одеялами, подсунув по жаровне к ногам и пояснице. Иван приоткрыл глаза и слабым голосом велел заменить негреющий жар Федыкой Басмановым: чувствуя близость конца, он желал дать последний наказ юноше по усекновению отцовой главы.

При дворе с ужасом непонимания повторяли страшное слово, каким государь заклеил мятежного святителя. Привлекли духовных, но и те не ведали, что бы сие значило. Простые же люди выговорить это слово не могли и не хотели, боясь осквернить язык. И тут впервые высунулся молодой Щелкалов, крутившийся в посольском приказе: то за винцом сбегает, то дьякам спинку почешет, то бумажку перепишет, то толмачам подсобит — редкие способности к иноземным языкам имел, шельмец! Он сказал, что похожее на произнесенное государем слово есть в английском языке и означает «умственный» либо «мыслящий». Тут дело маленько прояснилось: от кого всякое умствование идет? От извечного врага рода человеческого. Вон как глубоко проглянул государь порчу Филиппову, вон с кем повязал себя дерзостный митрополит! Через особых людей это объяснение попытались распространить в простом народе, но ожесточения против Филиппа почему-то не вызвали, хотя очнувшемуся государю докладывали обратное.

Даже разящее, проникновенное царское слово не могло унять терзаний Малюты. Как ни крути, а выходит, царь снова пал духом под взглядом этого василиска, бросившего ему в лицо чудовищное оскорбление. В ответ на такое не словом клеймить, а схватить окаянного и на поганой телеге — в заштатный монастырь и там заморить или лучше сразу кончить. Ах, царь-государь Иван Васильевич, где же твоя бывшая силища, неужто ты даже под защитой псов своих верных, поклявшихся страшной клятвой, что опричь тебя никого: ни отца с матушкой, ни жены с детушками, ни собственной души и воли, все равно как этого колдуна, этого аспида робеешь? Да обмолвись хоть словечком, ну, бровкой шевельни — любой из нас выпотрошит его хоть на алтаре. Тут и греха никакого нет: государь — помазанник божий, его воля свята. А и есть грех — за государя в ад пойдем, нам и так не миновать пеши огненной.

Ох, до чего тошно было Малюте, когда выносили на руках царя дюжие братья Грязные, а Филипп во всем облачении, нагло стуча митрополичьим посохом, прямоспинный, не согбенный ни годами, ни трудами, ни молитвенными поклонами, ни царским лютым гневом, победителем пошел прочь, а за ним засеменяла вся духовная свита.

Но есть правда на земле. Очнулся великий государь, скинул чары. В день архангела Михаила, архистратига небесной рати, когда Филипп в полном облачении вел службу, в собор, нарочито громко стуча сапогами, ввалилась толпа опричников во главе с боярином Алексеем Басмановым — черная одежда, а в руках — метлы. Филипп и слова не успел молвить, как Басманов выхватил из-за пояса свиток и громко прочел: «Собор духовенства лишает Филиппа сана пастьерского». Тут же опричники накинулись на Филиппа, сорвали с него одежду святительскую, облекли в драную рясу, смердящую чужим немывтым телом, и метлами погнажи вон из Храма.

Корябало душу Малюте, что не ему поручили столь важное дело, но постиг он глубокий смысл государя. Допрежь

всего, читал боярин зело бегло, прямо с листа, не запинаясь, к тому же по старости и утомлению выдержан был, другой бы на его месте мог сгоряча и порешить Филиппа, что не входило в расчеты государя, и, наконец, обреченный на заклятие, теперь, после глумления над святителем, он отправлялся прямехонько в ад — уже не замолить греха, не покаяться и не получить отпущения. Мудро распорядился государь: одним махом с двумя разделался.

А справил боярин цареву поручение не лучшим образом: когда Филиппа везли в обитель Богоявления, народ бежал за дровнями со слезами и стенаниями, и низложенный митрополит торжественно благословлял людишек и давал целовать свою руку, иные и край поганой ряссы лобызали. Не униженным, а возвеличенным поклонением народа оказался Филипп то ли по мягкотелости, то ли по коварному умыслу криводушного Басманова. И своим и чужим кадит опричный боярин... Вроде бы все по царскому повелению совершил, а остался высок разжалованный митрополит!.. Ну, да с Басмановым дело уже решенное. Видать, из-за промашки боярина пришлось еще повозиться с Филиппом. На другой день отвели того в судебную палату, куда прибыл и царь со свитой. Филиппа уличили во многих винах, подтвержденных Паисиєм, вплоть до тяжчайшей — волшбы. Ему надлежало кончить дни в заточении. Жестоковыйный старик и тут не дрогнул, не оправдывался, не оспаривал судей, вроде бы и не слушал их. Лишь раз отверз уста, чтобы воззвать к Ивану сжалиться над Русью, не терзать своих подданных.

И что-то похожее на уважение к этому старцу шевельнулось в заросшем сердце Малюты. Он испугался незнакомого чувства и вместе порадовался, что государь держит его в стороне от этого дела — с Филиппом чести не наживешь. Что и не замедлило подтвердиться. Девять дней провел он в узилище, питаясь Христа ради, а в народе уже величали его «святым» — это при жизни-то! Все оборачивалось во славу крамольнику. Его перевели подалее от

людских глаз, в обитель Николы Старого, на другом берегу Москвы-реки. И тут Иван вновь принялся истреблять род Колычевых...

---

10

---

...Шум внешней жизни не доходил до узкой, как щель, кельицы Филиппа. Братии было строжайше запрещено разговаривать с узником. Даже чашку вонючей бурды ему просовывали на деревянной лопате в узенькое оконце, пропускавшее в келью снопик серого света. Но Филипп не томился голодом, давно приучив себя обходиться ничтожно малым количеством пищи. Оказывается, человеку, чтобы жить, надо вовсе ничего, как пичужке, что весь весенний день насвистывает свои песенки, славит возрождение жизни и забывает о пропитании: мошках, червячках, почках. Филипп молился, вспоминал, думал, строил мысленно храмы, колокольни, палаты, хозяйственные здания, плавал на лодке по каналам и озерам с верным Анфимом на веслах, неужто все это было?.. Ах, если б вернуться на любимые острова хоть узником! Дышать тем воздухом, обонять запах дерев и трав, слышать шум моря или тихий плеск весел с каналов и озер, видеть клочок голубого в ведро, серебристого в белые ночи, черно-звездного — в полярные, с трепещущим размывом северного сияния неба и знать, что ляжешь в родную каменистую землю. Представлять это было столь сладко, что Филипп приказал себе не думать о Соловках, но, устыдившись трусливой слабости, дал полный простор мыслям, и слезинкой не оплатив грустную пленительность реющих перед ним образов. В глубине души он знал, что никогда не увидит Соловков, его крестный путь лишь начинался, но исход не заставит себя ждать, и он был готов к нему.

А еще он много думал о Руси, и душа его сжималась предчувствием великих бед. Разодрав страну на земщину и опричнину, Иван ослабил молодое государство, чем не пре-



минут воспользоваться враги. Сам же царь, ничуть того не желая, будет споспешествовать их злым умыслам. Сейчас он пойдет на Новгород и уничтожит силу этого града, являющуюся частью общей русской силы. Разорив Новгород, он ослабит всю эту часть Руси, без того уязвимую для врагов. Опричники — не воины, гниль, труха. Страшно подумать, что оставит царь своим наследникам. Тяжелые, смутные времена ожидают Россию. Сейчас-то все еще как-то держится: и славой юных побед государя, эхо которых не замолкло, и неосведомленностью ворогов о том, как подточена русская держава, столь громадная и наружно крепкая, и умом, и стойкостью последних людей, правящих земщиной — дурачок Едигер Симеонович ни до чего не касается. Но это не может продолжаться долго. Тоска душила Филиппа. Не обратиться ли с посланием к царю — в несчастные минуты просветления ум его по-прежнему прозорлив?..

Дверь кельи не открылась, а распахнулась, почти сорвавшись с петель от удара сапога, и долго постанывала, словно ей было больно.

Ввалились четверо. Первый — с мешком, в котором, как показалось Филиппу, лежал капустный кочан, — был младший из братьев-кровопийц Грязных. Поистине, бог шельму метит — не могло быть точнее имени для этих измаранных с головы до пят кровью и подлостью пакостно-жестоких выроdkов. Были опричники, по обыкновению, пьяны и вмиг наполнили крошечную келейку душной вонью перегара, грязных тел и конского пота — видать, сильно торопились и нахлестывали взмысленных коней. Ну, поглядим, какую новую забаву измыслил злобный и больной разум царя Ивана.

— Принимай, честной отец! — сказал Грязной тонким скопческим голосом, так не идущим к его могучей стати, вытряхнул из мешка что-то круглое и сунул Филиппу.

Низложенный митрополит напряг зрение и благоговейно принял двумя руками отрубленную голову своего

любимого племяша Вани Колычева. Не часто расцветал в русском юношестве такой дивный, будто небожителем посаженный и взлелеянный цветок. Даже мертвая голова его под шапкой густых, прежде вившихся тугими кольцами русых, с серебристым отблеском, волос, сейчас плоско слипшихся — лишь на висках и затылке сохранились завитки, да один кудерь падал на крутой чистый лоб, оставалась прекрасной: слегка удлинённая, овальная, чуть сужённая в висках. И красивое лицо его с прямым носом и трогательно пухлыми юношескими губами не осквернила смерть; темные круги подглазий, синюшность, проступившая сквозь природную смуглоту, застылость черт и безжизненных открытых помутненно-карих глаз не вовсе стерли нежно-мужественное и доверчивое выражение чистого лика. Казалось, он сейчас улыбнется своей открытой, заранее благожелательной к встречному человеку улыбкой. Всего-то раз виделся Филипп с племянником во дни Стоглавого собора — тот едва выходил из отроческих лет, но тогда уже поразился пытливостью его острой мысли при редком добродушии, присущем чаще всего людям недалеким. Но этот юноша, сызмальства приохотившийся к чтению и наукам, далеко заглядывал. И был притом статен, силен и ловок во всех телесных упражнениях, будь то стрельба из лука, гарцевание на коне, бой на сабельках, — хотел отец, чтоб из него добрый ратник вышел, предвидя, подобно Филиппу, для России многие тяжкие войны. Ранняя искушенность в науках ничуть не мешала бесхитростной теплой вере Вани, которую Филипп не разделял, но ценил в других, ибо в ней, что ни говори, обуздание дурных страстей. Позже Иван часто слал дяде письма в обитель, рассуждая и советуясь о прочитанном, делясь мыслями, мечтами, надеждами, и все крепче привязывал к себе одинокое сердце инока. И вот под секирой палача оборвалась эта цветущая юность, а ведь бесхитростный и ни в чем не повинный Иван и не догадывался, за что схвачен, пытан, унижен и обречен смерти. «За меня!» — гулко сказалось в Филиппе,

но и тут не обронил он слезинки. Он бережно приподнял голову и поцеловал в мертвые холодные уста. И учуял тот особый нежный запах сена, когда в него попадают мята и душица.

— Уста праведников благоухают и в смерти, утроба живых грешников источает трупный смрад, — глядя в маленькие на огромной морде глазки опричника, произнес Филипп.

— Царь велел сказать тебе, — напрягаясь слабой памятью, фистулой просипел Грязной, — что не помогли Ваньке Колычеву твои чары.

Из запекшейся черной раны на руку Филиппа упала живая алая капля крови, он слизнул эту каплю, она была солоноватой, горячей и не больно, а нежно, сладостно ожгла язык.

Опричник побледнел.

— Передай государю спасибо, что дал проститься с любимым сродственником. Забирай! — И Филипп резко протянул отсеченную голову Грязному.

Младший Грязной, в отличие от своего окаянного брата Григория, не боявшегося ни Бога, ни черта, являл доблесть лишь в попойках, хмельных потасовках и насильничании девушек. В бою он был застенчив, остро ощущая уязвимость своего большого тела, хоть и прикрытого железами где только можно, царя трепетал (Ивану льстил трепет богатыря, к тому же тот был незаменим для самых подлых поручений), с остальными вел себя вызывающе, нагло, до первого отпора, тут он сразу терялся. И сейчас, сунув голову казненного в мешок, Грязной стал пятиться к двери, вытесняя огромным телом остальных опричников, он боялся повернуться спиной к узнику. Очутившись за порогом, изо всей силы захлопнул носком сапога дверь кельи.

Филипп прилег на твердое ложе. Лицо его оставалось сухо. Но он вдруг открыл, что верит в Бога. Раз есть антихрист, то должна быть и его противоположность — Бог.

Филипп давно проникся Аристотелевой диалектикой, находя ей многочисленные подтверждения в общении своем с природой и всем живым миром: дабы свершилось движение жизни, должны быть противоположные крайности. Стало быть, есть Бог, в золотом свете, в благостном сиянии. Но разгневался он на русскую землю и уступил ее сатане. Бог и прежде наказывал, даже истреблял целые народы, но Русь пощадит, ибо простой народ повинен лишь в грехе безграничного смирения перед Властью. Настанет час, и Господь вернется к измученному народу и даст ему облегчение.

...Опричники ли навели на след канувшего в неизвестность Филиппа или проговорился кто из монахов, но сведения москвичи о месте заточения «святого угодника» — теперь иначе не называли никольского узника в народе — и потянулись к дальней обители.

Филипп услышал за узким оконцем глухой шум людской боли, сострадания, веры, упования на помощь и впервые за все дни заточения смахнул слезу.

Недолго длилось паломничество к Николе Старому, за Филиппом опять пришли одетые в черное нелюди, напялили на голову рогожный куль, на плечи кинули какую-то ветошь, выволокли из кельи, швырнули в дровни и повезли. На сей раз везли долго, останавливались лишь для смены лошадей. На ночь куль стащили с головы, не боясь, что его узнают, утром снова напялили. От холода, голода, мешка, затруднявшего дыхание, непрерывной тьмы Филипп впал в забытие и уже не ведал, сколько времени длился переезд.

Когда же оклемался, то оказалось, что привезли его в небольшой Отрочь-монастырь, в стороне от Твери. Поместили в келейку чуть побольше прежней, но уже через день-другой утратил он ощущение перемены места. Тут завернули крещенские холода, оконце закрыли и кормить стали не с лопаты — послушник, приоткрыв дверь, ставил на пол миску с похлебкой, как собаке. И жарко топили кафельную печь в изголовье лежака.

Как-то январским утром, глядевшим в оконную щель прозрачной синью, тихо отворилась дверь и в келью ступил Малюта. Филипп привстал с лежака, не веря глазам своим: с чего это занесло в такую глушь царского любимца? Может, это видение?.. Да нет, он самый, во плоти: приплюснутый нос, белые, с едва заметной приголубью, глаза, волосы в крысиной рыжине. И сразу стало нестерпимо душно в келейке, будто не один гость пожаловал, а толпа набилась. И смрад пахнул в лицо — чрево убийц зловоняет трупным гниением, как у птиц, питающихся падалью.

— Здорово, святой отче, — хриловатым своим голосом произнес Малюта и потянул носом. — Эко угарно у тебя. Как только ты терпишь?

— Не замечаю, — сказал Филипп. — А смрад твоей плоти чую. Зачем пожаловал?

— Тебе бы поласковой царева посланца стретить, святой отче, — укорил Малюта. — Царь-государь Иван Васильевич завернул сюда по пути на Новгород, чтобы благословение твое получить.

— Вон что! Стало быть, решили красу русской земли и светоч русской чести в опричнину забрать?

— Изменили царю новгородцы. За образами в святой Софии грамотку нашли.

— Царем писанную, а кем подложенную? — Филипп цепко глянул в бледные зенки опричника.

Малюта не ответил, не потупил взора.

— Худо ты о царе думаешь, ох, худо! Каждое действие его криво толкуешь. А он, государь наш батюшко, ищет твое благословение принять.

— Сам знаешь, Малюта, я лишь на доброе благословляю, на худое — не дождетесь. Пусть царь повернет полки назад, пощадит русскую кровь. На это благословляю его с благодарными слезами.

— Царь не сворачивает, монах, когда о величии Руси печется. Всяк мятеж, всяку крамолу, измену всяку в крови

потопит. И тебе негоже против царя брехать. Не смирил ты свой бешеный нрав, Филипп, Колычево отродье. От самого землей несет, а собачишься, как молодой кобель.

— Ладно! — вдруг ясно и звонко произнес Филипп, хотя не повышал голоса. — Брось болтать пустое, Малюта, делай, зачем пришел.

И Малюта расширил всегда прищуренные глаза, будто высматривающие некую отдаленную малость, странно посветлел лицом, шагнул к Филиппу, до тошноты объяв его своей трупной обвонью, протянул вперед большие жилые руки и впился в горло старика.

Филипп отпрянул и упал на лежак. Малюта усилил зажим своих железных пальцев, но, сообразив, что останутся темные следы на дряблой коже, схватил подушку и зажал рот и нос жертвы, Филипп задохнулся, сердце в нем остановилось, но в нахлынувшей тьме он еще услышал хриплый голос опричника:

— А, дьяволы, святого человека угаром извели!..



— Приехали!.. Вы спите?.. — услышал Егошин за своей спиной голос Борского и увидел, что нос лодки рассек прибрежные камыши и мягко ткнулся в берег.

— Кто спит? — пробормотал он, почему-то не желая признаться, что действительно то ли находился в трансе, то ли в каком-то сне наяву.

Он поднялся, разминая замлевшее тело, и шагнул на берег. За ним последовали Борский и милиционер с веслами. Борский шумно восторгался прогулкой, и польщенный сержант предложил пройтись с бредышком, хоть это и не положено, для взбодрения вечерней ухи. Егошин чувствовал себя таким разбитым и опустошенным, что никак не отозвался на заманчивое предложение, буркнул: «До завтра!», прошел в пахнущую смолой «дачу», рухнул на койку и забылся черным сном.

Утром его разбудил Борский — их уже ждал какой-то попутный грузовик, а надо было умыться, привести себя в порядок и попить чаю — экскурсия предстояла долгая.

Они собрались быстро, и так же быстро и беспощадно домчал их до монастыря по чудовищной лесной дороге спешащий куда-то шофер. Маленькая задержка вышла за мостом через ручей, где дорога подходила вплотную к морю, — их милицейские друзья с унылым отчаянием вылавливали из воды надрывшегося спозаранку Акимыча. «Не выйду — макнете!» — мотал головой посиневший от холода алкаш, а капитан тем же рассудительным голосом объяснял ему вредность для организма холодной воды. «Не выйду — макнете!» — упрямылся Акимыч. Капитан повернул к Борскому усталое лицо: «Вот так мы живем... Ваша группа уже во дворе. Я договорился с лучшим лектором, он из Академии художеств. Позже встретимся».

Туристская группа в полном сборе переминалась возле закрытого магазина сувениров и расположенного напротив загадочного комиссионного с уцененными товарами. Это взволновало Борского, но ему объяснили, что магазин торгует лишь комбикормом, сеном и прочим нужным для крестьян товаром...

Туристы успели перезнакомиться между собой на пароходе, вчерашний экскурсионный день сблизил их еще более, и появление двух блудных сыновей было воспринято холодно, чтобы не сказать враждебно. Никто не поинтересовался, почему они отстали от группы, как добирались, где ночевали. У них завязались друг с другом сложные, тонкие отношения: над кем-то подтрунивали, кого-то высмеивали за сонливость, другого — за чревоугодие, третьего прозвали за рассеянность Паганелем, и он охотно отзывался на кличку; были тут и две соперничающие красавицы, одна из них с горячим смуглым лицом — и впрямь хороша, другая — крашенная блондинка в сверхмодном пиджаке из кожзаменителя и узких джинсах олицетворяла в глазах туристов высший свет и, похоже, обладала преимущест-

венным правом стать «мисс Соловки», что сильно язвило соперницу. Та отпускала в ее адрес колкие замечания, айтическая соль которых пропадала для Борского и Егوشина, ибо использовался уже накопленный материал отношений, им неведомый. Егوشина удивило, что эти люди, проведенные вместе менее полутора суток, так много друг о друге знают, так крепко связались, отчасти и разделились, что не мешало им оставаться монолитом, стойко противостоящим чужакам.

Отчасти это объяснялось тем, что женщин было меньше, чем мужчин — редчайший случай, — и находящиеся в избытке кавалеры невольно сплотились против новичков, из которых один являл несомненную опасность. В мужском стане выделялся рыжеватый детина в джинсах с широким ремнем и немыслимой — под бронзу — пряжкой. На нем был полосатый батник, похожий на морскую тельняшку, завязанный узлом на толстом пузе. Меж узлом и сидящими низко на бедрах джинсами оставалась широкая полоса розового веснушчатого тела; видимо, это соответствовало каким-то внешним стандартам, ибо никого не шокировало. От малого, ему было за тридцать, шел некоторый дискомфорт — уж слишком развязно и по-хозяйски он вел себя. Он то и дело обхватывал сзади красавицу блондинку и громко требовал, чтобы их «щелкнули» в таком виде. Блондинка раздраженно, но в меру, чтобы не выглядеть недотрогой и тем повысить шансы соперницы-смуглянки, вырывалась, но всякий раз юный и услужливый фотограф-любитель успевал запечатлеть пару. «Одну карточку пришлешь мне, — приказывал детина, — другую ей — в профком», — и громко ржал. Еще у него была манера приставать к туристам с одной и той же глупостью: «Сидели два медведя на ветке золотой, — говорил он многозначительно. — Один качал ногой, — и хитро прищурившись: — А другой чего делал?» Егوشина до боли злило, что парень то ли сознательно, то ли по тупости, то ли из скотской шутливости пропускает одну строчку, отчего раз-



валивается глупое стихотворение-песенка из довоенного кинофильма. Стихотворный обрубок ранил слух.

Шатаясь от одной группы к другой, рыжий набрел на Борского.

— Ну, чего делал другой, а?..

— Не знаю. Водку жрал, — сказал Борский и отвернулся. Вопреки ожиданию Егошина, рыжий не обиделся, а глупо захохотал.

— Ну, ты даешь!.. Водку жрал. Надо взять на вооружение.

Он подошел к немолодой женщине с добрым усталым лицом.

— Слушай, бабка: «Сидели два медведя на ветке золотой. Один качал ногой. А другой чего делал?»

— Ох, хватит, Семен Михалыч, вы уж меня спрашивали. Неужто вам самому не надоело?

— Подумаешь — спрашивал! И еще спрошу — не помрешь раньше срока. — Из-за добродушной маски «души общества» проглянуло что-то не просто злобное, а невыразимо гадкое, до содрогания враждебное всему существу Егошина.

Удивляясь силе своего омерзения, он шагнул в сторону и этим привлек внимание детины. Тот немедленно привязался к нему.

— «Сидели два медведя на ветке золотой. Один качал ногой. А другой чего делал?»

— «Один сидел как следует, другой качал ногой».

— Ишь ты, умник выискался! Философ!.. — Голос звучал откровенной ненавистью. Видать, парень уже был заведен двумя предыдущими проколами и сейчас хотел отыграться.

«Мои дела! — подумал Егошин. — Есть во мне что-то, стимулирующее таких вот подонков. Наверное, моя незащищенность, или они бессознательно чувствуют, как мне гадки!.. Слава богу, мы здесь не одни, ему придется оставить меня в покое. Нечего сказать — удачный попутчик!.. — Он отвернулся и стал смотреть на девушку в комбинезоне

и косынке, которая, сидя на корточках посреди монастырского двора, вколачивала в землю лобастый булыжник. — А ведь это она мостит! — догадался Егошин. — Студенточка из стройотряда. Какие у нее тонкие руки! Сколько же ей понадобится лет, чтобы замостить всю площадь?..»

— Ты, философ, чего не отвечаешь? Язык проглотил? — Рыжий обормот не отличался отходчивостью.

— Он вас не утомил? — слышался ленивый, по-особому ленивый голос Борского.

Рыжий верзила оглянулся и... поверил инстинкту самосохранения.

— А второй водку жрал!.. — гыкнул дурашливо, шлепнул себя по брюху и пританцовывающей походкой направился к девицам.

— Дешевка! — громко сказал Борский. — Ну почему в любую компанию должна затесаться такая вот шваль? Все люди как люди, а этот откуда взялся? И чего он притащился на Соловки? Сидел бы себе в пивнухе или давил на троих в подъезде.

— А может, просто жалкий дурень? — Чужое унижение всегда было тягостно Егошину. — Ему кажется, что он невероятно остроумен, обаятелен и всеми любим. А дома — обычный трудяга.

— Нет, — покачал головой Борский. — Он — приблатненный.

— Не понимаю.

— Как бы вам объяснить?.. Он еще не настоящий... зеленый, но созреет быстро. И будет на все готов. Он вовсе не думает, что обольстителен, ему это и не надо. Он самоутверждается. Навязывает себя... заставляет плясать под свою дудку. И, заметьте, ему подыгрывают, улыбаются. Не хотят связываться, портить себе отдых, просто бояться. И он это знает. И пользуется, сволочь!..

Егошину стало грустно. Хотя бы здесь, в этой тишине не лютовала человечья злоба. Тем более что Соловкам этого с избытком хватило в прошлые годы. Невеселые его мысли

были прерваны появлением экскурсовода — пожилого, изящно-сухощавого, невесомого и незаземленного человека с реющими над загорелым теменем редкими золотисто-седыми волосами.

Он казался небожителем, ангелом на пенсии. И речь его была ему под стать — парящая, изящная, взволнованная, будто он впервые говорил о своем любимом, избранном душой месте светлым людям, настроенным на одну волну с ним. Надо отдать должное экскурсантам, они держались так, словно паломничество на Соловецкие острова было целью и апофеозом их жизни. Егошин умилялся трогательной способности своих соотечественников так серьезно и воодушевленно отдаваться тому, что не имеет ни малейшего отношения к их последующему бытию.

Что же касается его самого, то с некоторым смущением он обнаружил, что воспринимает вдохновенные слова гида лишь эстетически. Ему нравилось, как тот говорит, но совсем не интересовало, что говорит. Иначе и быть не могло. Гид обращался к людям, вовсе не обязанным знать историю Соловков, его лекция носила популярный характер. Но было и другое: Егошин ловил гида на ошибках, неточностях, хотя сам не знал, где почерпнул свои сведения. Осведомленность Егошина принадлежала к тем необъяснимым странностям, которые насылала на него соловецкая земля, игравшая в загадочные игры с его памятью. Экскурсовод, как и следовало ожидать, не знал, что мысль об укреплении монастыря родилась у игумена Филиппа, что тот вел переговоры с мастером Трифоном, совсем еще молодым человеком, возведшим крепостные стены и башни много лет спустя, когда Филиппа уже давно на свете не было. Но Егошин не считал допустимым поправлять лектора — это было бы и бестактно и безответственно, поскольку он не мог назвать источники своих сведений. Но таких вот недоказуемых ошибок было довольно много, и Егошин начал раздражаться. И в конце концов не выдержал.

Они находились в трапезной, почти восстановленной. С глубоким сердечным волнением Егошин увидел столь поражающий во время оно человеческое воображение опорный столб, который хотелось назвать стеблем, несмотря на всю его массивность и могучность, — вверху словно побег расходился. Рассказывая о том, как снедали иноки и как разнообразил скупой монастырский стол аскет-игумен Филипп, гид со смаком перечислял: шти с маслом (он так, по-старинному, и сказал: «шти»), разные масляные припеки: пироги, блины, оладьи, яични, рыбу всякую, кисели.

— Огурцы и рыжики, — машинально подсказал Егошин.

— Рыжики — возможно, — пожал плечами гид. — Но огурцы? Тут не было парников.

— Завозные, — покраснев, сказал Егошин.

— Ну, если вы знаете больше моего, — тоже покраснел гид, — я уступаю вам место.

Экскурсанты недовольно загудели.

— Простите великодушно, — совсем смешался Егошин и по-детски добавил: — Я больше не буду.

Самолюбивый небожитель несколько секунд молчал, отметив тем подавление бунта, затем продолжал рассказ на прежней высокой ноте, словно его не прерывали.

Егошин прикусил язык раз и навсегда. Его томила скука. Он понял: все уже состоялось — вчера, когда они оплывали на лодочке озера и каналы, ради этого он сюда ехал, все остальное вовсе не нужно. Он заметил, что еще одна душа, отнюдь не родственная, изнемогает от скуки. Лишившись внимания окружающих, рыжий охламон буквально места себе не находил. Он то присаживался в сторонке с зажженной сигаретой, прикрывая ее ковшиком ладони, поскольку курить было строго запрещено, то отставал от группы, откалывая от нее двух-трех человек для конфиденциальных переговоров о пиве, которое, по «данным его разведки», должны завезти в киоск. Не пропускал он случая сфотографироваться возле какой-либо достопримечатель-

тельности в нарочито нелепой или шутовской позе. Впрочем, может, он и не выламывался, просто его дурацкое тулово с переваливающимся через ремень брюхом, откляченным задом, все какое-то вихляющее и странно гибкое при своей топорности, казалось оскорбительно-неуместным на фоне старинного крыльца, изразцовой отделки стен, в проеме крепостных ворот. Порой он желал быть запечатленным вместе с красавицей блондинкой или ее смуглой соперницей, порой, прибегая к легкому насилию, формировал групповой снимок, чем задерживал остальных, нарушал стройный порядок экскурсии. В конце концов гид, при всей своей увлеченности и незаземленности, ощутил некую противоборствующую силу и легко разгадал ее источник. В его речах все чаще стала пробиваться тема душевной невоспитанности, неуважения к прошлому и деяниям предков. Для обличения безобразников он пользовался цитатами из дневников Пушкина и местных милицеских протоколов. Но поскольку последние касались людей, соблазненных зеленым змием, его стрелы летели мимо цели — Рыжий был трезв как стеклышко.

Тут они перешли в другой двор, и гид коснулся новой темы: отдаленность, изолированность Соловецкой обители очень скоро превратили ее в место ссылки. Первым сюда прислали для «строжайшего содержания» игумена Артемия Троице-Сергиева монастыря, впавшего в ересь, вслед за ним — Матюшку Башкина, изрыгавшего хулу на Николая Чудотворца. Чистый образ Соловков замутился, а там все отчетливей стал двоиться. Сюда присылали и про штрафившихся монахов, и уличенных в разных злоумышлениях знатных лиц: здесь сидел в волчьей яме несчастный, безумный декабрист Александр Горожанский, томился знаменитый Мусин-Пушкин, до сих пор сохранилась камеракелья, где провел в заточении двадцать пять лет последний атаман Запорожской Сечи Кальнишевский, имевший неосторожность помочь князю Потемкину выиграть Крымскую войну. Осыпанная бриллиантами табакерка — пода-

рок скуповатой немки Екатерины II бесстрашному атаману — весьма уязвила князя Таврического, богатого государственными талантами, но бездарного в ратном деле. Как положено, атамана-сечевику обвинили в попытке отложиться от России; четвертование восьмидесятилетнему изменнику по просьбе сердобольного Потемкина заменили пожизненным заключением в Соловецком монастыре. Более того, Светлейший отвалил старцу рубль на месячное содержание, вместо положенного гривенника. Не в силах прожить такие деньги, разжалованный атаман засыпал монастырь ценными вкладами и еще завещал немалую сумму на помин своей души.

— Сколько же ему тогда было? — поразились туристы.

— Сто одиннадцать. Когда на престол вступил Павел Первый, о старике вспомнили и прислали ему помилование. Но он его не принял, сказав, что за годы, проведенные здесь, так свyksя с внутренней свободой, что не хочет никакой иной. Он даже отказался перейти в другое помещение. И прожил еще два года. Перед вами его келья-камера.

— А женского монастыря тут не было? — ни к селу ни к городу, двусмысленным, сулящим юмор голосом спросил рыжий озорник.

— Нет! — резко сказал гид. — Здесь все было только для мужчин: монастырь, тюремные камеры. Позднее — воспитательная колония, затем СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения.

Жестокая справка охладила остроумца, он ступешался.

— Хотелось бы услышать подробнее о СЛОНе, — сказал Борский.

— Никаких архивных документов об этом периоде не осталось, — сухо ответил гид.

— Вот те раз! Десять лет существовал лагерь, ликвидирован перед самой войной — и никаких следов. Это же не времена игумена Филиппа или Потемкина-Таврического.

— Никаких следов, — повторил гид.

— А я слышал, что тут сохранились каменные мешки.

— В таком случае вы осведомлены лучше меня.

— А что за воспитательная колония? — спросила пожилая туристка.

— Странно, вы задавали так мало вопросов, когда речь шла об историческом прошлом...

— Это нам ближе, — бесцеремонно перебил Борский.

— После революции сюда присылали на перевоспитание тех представителей ленинградской интеллигенции, преимущественно научно-технической, что саботировали мероприятия Советской власти. Они очень много сделали для острова. Можно сказать, продолжили созидательную работу игумена Филиппа.

— Что-то это напоминает... — задумчиво сказал Борский. — Даладно... Все же непонятно, как при такой осведомленности о глухих временах Ивана Грозного ничего не известно о недавнем прошлом.

— Вы уже слышали, архивы не сохранились, — лишенным интонации голосом сказал гид. — К этому мне нечего добавить.

— Да-а! — протянул Борский. — Светлейший был сущим младенцем по части лицемерия по сравнению со своими потомками. Это я не о вас, — улыбнулся он гиду. — Вы — человек подневольный. Но не мешало бы придумать что-нибудь поумнее...

— Да чего вы привязались к товарищу экскурсоводу? — высунулась туристка с красноватым высокой активности лицом. — Нам это неинтересно.

— Неинтересно, так молчи! — полоснул ее белым взглядом Борский. — А мне интересно, где моего отца сгноили.

— Поверьте, я в самом деле не располагаю никакими сведениями, — мягко сказал гид.

Кивнув ему, Борский отступил.

— А за что пострадал ваш отец? — тихо спросил Елошин.

— В отличие от своих высоких предшественников он не сделал ничего выдающегося: не хулил Николая Угодни-

ка, не побеждал крымского хана, не выводил полков на Сенатскую площадь, он просто поверил, что «нэп — это всерьез и надолго». Правда, быстро спохватился, но было поздно. Его взяли в двадцать восьмом. Хваленый микроклимат не пошел ему на пользу, он умер до окончания срока. Я, конечно, не рассчитывал найти тут мемориальную доску, но хоть какой-то знак, зарубку на косяке... Ведь это были люди, лю-ди. Должно же хоть что-нибудь остаться...

— Товарищу лектор, — сказал усатый серьезный человек, похожий на положительного рабочего из довоенного фильма. — Интересно нам, что за каменюка такая красная, вон, у стены. Все мимо ходим, а вы словечка не скажете.

— А-а! — обрадовался гид. — Молодцы, что заметили. Этот саркофаг найден совсем недавно. И в отличном состоянии. Он хранит память о замечательном сыне России Авраамии Палицыне, герое Смутного времени.

И он вдохновенно рассказал о великом русском патриоте Авраамии Палицыне. Рачительный келарь Троице-Сергиевой лавры, обремененный хозяйственными делами богатейшей обители, очнулся для великой всенародной службы в черные дни Смутного времени, какими Русь расплачивалась за безумства Грозного царя. Оказывается, Палицын знал слова, способные пробиться и в заросшее, и в оробевшее, и в смятенное, и в заледенелое от ужаса сердце. Своими огненными посланиями он поднял русских людей на отпор торжествующей иноземной рати, разбудил нижегородского мясника Минина-Сухорука, открыв в нем народного вождя, отверз вежды залечивающему старые раны князю Пожарскому на беды России и вознес дух умелого, но чуть вялого воина. А когда Русь стряхнула врагов со своего тела, Авраамий вновь ушел в тень. Почувствовав приближение смерти, он захотел вернуться в Соловецкую обитель, где провел молодые годы, и навек успокоиться в ее тишине. Настоятель Троице-Сергиевой лавры, явив странную черствость, даже не пытался удержать черноризца-трибуна.



Гид предложил сделать пятнадцатиминутный перерыв — похоже, его несколько утомила любознательность группы. Люди разбрелись кто куда. Одни пошли в сувенирный магазин, хотя еще накануне приобрели комплекты соловецких открыток, а ничего другого там не водилось, другие отправились на поиски туалета, чье далекое местонахождение было отмечено многочисленными стрелками. Борский остановил выбор на кормовом комиссионном. Егошин, не нуждавшийся ни в фуражке, ни в туалете, ни в открытках, рассеянно побрел на первый двор. Студенточка из стройотряда по-прежнему ползала по земле, вколачивая слабыми руками булыжники в почву. Егошин с легкой грустью подумал, что ее жизни не хватит, чтобы увидеть двор замощенным. Он решил подняться в трапезную и постоять там в чудном рассеянном свете, падающем из скошенных окон. Замечательно рассчитаны эти окна, будто всасывающие свет. Поднимаясь по винтовой лестнице, он услышал доносившийся из трапезной разговор.

— Ладно строить-то!.. — говсрил густой мужской голос. — Тоже мне архитектор!..

— Я с вами свиней не пасла, — брезгливо ответила женщина.

— Тоже мне маркиза де Помпидур!.. Пошли в гостиницу. У меня коньячишко марочный. А напарнику сказано — не соваться. Пошли, ласточка!..

— Отстаньте!.. Я сказала — без рук!..

Послышалась возня и звук, похожий на пощечину. Зацокали каблучки, и мимо Егошина, заставив того вжаться в стену, промелькнула женская фигура; в сумраке высветились разлетевшиеся волосы. За ней ринулся кто-то крупный, больно толкнув Егошина локтем. По враждебному едкому запаху он узнал Рыжего. Похоже, что тот его не заметил. Ну и цепкий тип! Хорошо, что наконец нарвался. Может, теперь угомонится.

Егошин вошел в трапезную, постоял у опорного столба, прислонившись к нему спиной, и то закрывал глаза, то

открывал их в мягкий серо-голубоватый свет, льющийся в прорези окон, нежный, роящийся, он наполнял помещение какой-то тайной жизнью. И вчерашнее чувство сродности с окружающим, так властно владевшее Егошиным на воде — пусть приглушенно, — пробудилось вновь. А что же мешало по-давешнему потерять себя, исчезнуть в прошлом? Запах, догадался Егошин, кислый, въедливый современный запах скверной шпаклевки.

Когда он вернулся к месту сбора, вокруг саркофага Палицына грудилась небольшая толпа: туристы, студенты-строители, какие-то мальчишки, чуть в стороне ругалась и плевалась старуха-сторожиха на больных распухших ногах. Повинуясь стадному чувству, Егошин направился к саркофагу, полускрытому толпой. Протиснувшись вперед, он увидел паренька-фотографа из их группы, который, бесцеремонно расталкивая окружающих, общелкивал со всех сторон — то с колена, то с корточек — возлежащего на саркофаге в томной русалочьей позе рыжего паскудника.

Легко пережив поражение, он придумал новую забаву, вернувшую ему внимание окружающих.

Потом Егошин вспомнил, как быстро вобрал он в себя множественность выражений, написанных на лицах людей, не только обступивших саркофаг, но и расположившихся поодаль — на камнях, ступеньках лестниц, приступочках. Он обнаружил и возмущение, и отвращение, и осуждение, и безразличие, и удовольствие как не от слишком пристойной, но забавной шутки, а у мальчишек — открытый восторг, ранивший его сильнее всего: значит, этим, завтрашним, плевать с высокой горы на грязное кощунство, на эту, можно сказать, пляску на крышке гроба, на осквернение святыни. Из их душонок уже выкрадено самое ценное... И еще он заметил неподалеку спину Борского, увлеченного разговором со смуглой туристкой. До чего же дошло равнодушие, робость перед грубой силой, если, кроме старой, больной сторожихи, ни один не отважился

хотя бы укорить, если не урезонить распоясавшегося хулигана!

— А теперь — дельфинчиком!.. — объявил Рыжий, повернулся на пузо, ноги сплел в хвост, руками затрепетал, как ластами, и стал высоко подкидывать плотно обтянутую джинсовой тканью толстую задницу, подражая прыжкам дельфина.

Мальчишки покатались от хохота. Егосин увидел светловолосую девушку, так хорошо отбритую Рыжего в трапезной, она тоже не удержалась от улыбки и, словно рассердившись на себя, тряхнула золотыми волосами и отвела глаза. Борский обернулся на шум, брезгливо дернул губой и продолжал прерванный разговор. И еще он заметил бледного как мел экскурсовода, разминавшего в пальцах сигарету и не замечавшего, что тонкая бумага порвалась и табак крошится на землю. Вслед за тем он кинулся к саркофагу и в бессильной ярости толкнул обеими слабыми руками жирное, потное тело. Его жест не имел бы последствий, если б расшалившийся «дельфин» не «подплыл» к самому краю гладкой, скользкой гранитной плоскости. Рыжий плюхнулся на землю и, не успев мышечно собраться, спружиниться, шмякнулся огромной лягухой, не только мясом и костями, но и всем нутром, как-то противно ёкнувшим.

Был миг странной оцепенелой тишины, взорвавшейся шумом. Мальчишки выли, визжали от восторга, столь же довольные позором своего кумира, как прежде его уморительными выходками. Сторожиха крикнула влажным голосом: «Хоть один человек нашелся!» «Так ему, храпоидолу, и надо!» — поддержал ее мужик с пилой, видать, из местных. То были различимые голоса. В шуме же прослушивалось разное: преобладало одобрение, но звучало и недовольство, даже осуждение его поступка. Женщина с красным, активным лицом насадала на положительного рабочего: «Языком трепи, а рукам воли не давай!» Егосин усмехнулся лицемерию и подлости этой фразы: обидели славного рыженького мальчугана!.. А вообще он не успел ни

многого расслышать, ни разобраться толком в реакции окружающих, и не потому, что был потрясен собственной дерзостью или боялся расплаты, ни о том, ни о другом он просто не думал, — Рыжий не дал ему времени. Хотя и ошеломленный падением, он тут же вскочил с проворством, которого от него трудно было ждать, перемахнул через саркофаг и схватил Егошина «за душу», скомкав в горсти рубашку на его груди.

— Пихаться, сука?..

Егошин задохнулся и на мгновение утерял из виду происходившее. Когда же вновь прозрел, между ним и Рыжим был заслон: фигура Борского.

— Чего суешься! — орал Рыжий. — Он меня уронил!..

— Нянька тебя уронила, темечком о порог, — не повышая голоса, сказал Борский. — Давай без блатных истерик. Линяй отсюда!..

Он был на полголовы ниже Рыжего, уже телом, хотя столь же широк в плечах, но окружающие, даже самые далекие от бойцовых дел, сразу увидели, что тут сошлись силы слишком неравные: с одной стороны — обточенный до совершенства жизнью, войной, испытаниями стальной брус, а с другой — мешок с мокрым дерьмом. И едва ли не раньше других это понял сам Рыжий. Он был унижен, взбешен, он хотел стереть с лица заморыша, осрамившего его на глазах всего общества и белобрысой дуры, которая его по роже ударила, ну, с ней — еще не вечер. Но против этого загорелого, с белым шрамом на каменной морде он бессилен. Он знал, что драки не будет, а будет что-то такое стыдное и пакостное, что жить не захочется — искалечит, как Бог черепаху. А Рыжий любил себя, свое здоровье, молодость, свою расчудесную жизнь с вином и бабами и обожавшими его дружками, с немалыми башлями, которых, если не сорвется одно дельце, окажется столько, что он сразу перейдет в другой вес — через категорию, и будут девки классом повыше, чем официантки и продавщицы, и «Жигули» вместо «Запорожца», а вместо Сочей — Золотые

Пески или Эйфория-норд, где голые бабы обмазываются черной глиной с головы до пяток, и на них можно смотреть сколько влезет сквозь дырку в заборе, отделяющем ихний пляж от мужского; и на кой черт потянуло его в эти вонючие Соловки — Генка, сволочь, натрепал с три короба, ну, он вмажет ему за рекомендацию, а этого — с каменной мордой и белым шрамом, не то уголовника, не то из мусоров или фифти-фифти, что еще хуже, — он, конечно, не тронет. Мы тоже кое-чего соображаем, нас модными курточками не собьешь, виден сокол по полету, с вами, дорогой шеф, нам пока еще рано связываться. Вот накопим багажик, тогда...

— Все тихо, командир, — сказал Рыжий почти шепотом. — Детки спят и видят золотые сны, — и отошел прочь на мягких лапах...

— Если бы вы знали, как я вам завидовал! — сказал Егюшину, подойдя, экскурсовод. — Всю жизнь я мечтал стукнуть по такой вот вздорной, тупой, пошлой, гнусной башке, — вы даже не представляете, сколько хамства мы тут видим, — но боялся. Не ответного удара, не избиения даже, а стыда, когда я, путаясь в кровавых соплях, буду подбирать разбитые очки, сломанный зубной протез и черепки собственного достоинства... Или вы все-таки рассчитывали на своего друга?

— Мне хотелось бы сказать «да», чтоб вам было легче. Но не стану врать. Я просто забыл о нем. Понимаете, я вообще не думал о последствиях. Наверное, в этом все дело, — сказал Егюшин задумчиво, — надо поступать, а не прикидывать, иначе ничего не будет.

— Да здравствует воинствующий гуманизм! — с каким-то бедным весельем произнес экскурсовод. — Ну, мне пора сеять дальше разумное, доброе, вечное.

Они пожалали друг другу руки и разошлись.

— Насладились боевой славой? — спросил Борский.

— Какая там слава! Если б не вы, он бы меня укокошил. Но вообще я рад, что это было.

— А я — нет! Зачем лезть не в свое дело?

— Мне показалось, что впервые в жизни я полез в свое дело. Ужасно жалею, что никогда никуда не лез... Кстати, вы непоседливы. Вспомните наш разговор в аэропорту.

— Что тут общего? Там было нарушение закона. А этот — уголовной юрисдикции не подлежит.

— Вот почему вы остались в стороне?

— Если хотите — да. И повод был ничтожный.

— Моя бабушка говорила: нет зла большого и зла малого. Зло — оно всегда зло. И неужели утаенные киоскершей газеты важнее осквернения памятника?

— Тогда будьте последовательны. Рыжий кочевряжился на саркофаге, другие на него мочатся или валят девочек. Наймитесь сюда сторожем вместо той старухи с распухшими ногами.

Почему он злится? Потому что недоволен собой?.. Тогда это хорошее в нем. А может, последовать его совету? Выйти на пенсию и поступить сюда сторожем?..

— Возможно, я так и сделаю, — серьезно сказал Егошин.

— Старое дитя!.. Не связывайтесь вы с этим охламоном. Поверьте моему опыту: это не просто фальшак, дешевка, он опасен.

— Вы считаете, тут пахнет убийством? — с нарочито серьезным видом спросил Егошин.

— Надеюсь, что нет! — Странная, медленная, нежная улыбка всплыла из глубины существа Борского и завладела лицом, наделив его непривычной мягкостью. — А вы никогда не задумывались, как легко убить человека?

— В практическом или этическом плане? — Егошина поразило дикое несоответствие слов Борского его улыбке. Может, улыбка относилась не к самому вопросу, а к тому доверию, какое тот впервые кому-то оказывал.

— Практический аспект не интересен: так или иначе способ всегда находят. Если же возникает этическое сомнение, то это невероятно трудно. Но вся соль в том, что

этический момент почти никогда не возникает. У Раскольникова он возник, поэтому самые умные исследователи считают, что он вовсе не убивал ни старуху процентщицу, ни жалкую Лизавету. Убивали и убивают — много и охотно — те, перед кем такой вопрос не возникает. Из всех так называемых извечных запретов людям легче всего переступить именно этот. Гарантируйте безнаказанность — человечество исчезнет с лица земли в гомерически короткий срок. Убийство станет почти единственным способом общения между людьми, даже самыми близкими. Между близкими — в первую очередь.

— Если вы хотели меня запугать, — Егошин улыбался несколько натянуто, — то, кажется, достигли цели.

— Очень рад. Мне, видите ли, надо отлучиться вечером... Я не хочу, чтобы вы попали в скверную историю... Может, пойдете со мной?... — добавил он неуверенно.

— Нет, — покачал головой Егошин, догадавшись, куда собрался Борский. — Мне хочется поглядеть на озеро.

— На какое еще озеро?

— Да рядом. Минутах в пятнадцати отсюда.

— Ладно, сходите на озеро и пораньше возвращайтесь. Вот ключи от номера. Запритесь и спите спокойно. Мне откроет коридорная.

---

## 12

---

...Когда Егошин вечером вышел из номера, монастырское подворье казалось вымершим. Света в окнах гостиницы не было: туристы постарше уже легли спать, а молодые «жуировали жизнью» в столовой возле пристани, которая вечером превращалась в ресторан с джазом и танцами. В тьму огромного двора вцеживался сквозь наволочь слабый свет ущербного месяца, но над крепостными стенами подымалось зарево поселковых фонарей.

Егошин с близорукой осторожностью отыскал еще днем примеченный пролом в стене, глядевший то ли на залив-

чик, то ли на расширяющийся здесь канал, который и приведет его к озеру. Поселок оставался по другую сторону монастыря, а здесь Егошин сразу попадал в природу. Будь немного посветлее, он без труда отыскал бы озерко, находившееся в том же направлении, что и «дача», оно блистало им из-за деревьев. Егошина смутила глухая черная стена, выросшая впереди, но тут он сообразил, что это лес, значит, идет правильно. Он медленно, на шаривая ногой землю впереди себя, направился к лесу, порой спотыкаясь о кротинные холмики, оступаясь в ямки от коровьих копыт — почва близ воды была мягкая. Все же он благополучно обогнул воду, оказавшуюся-таки заливчиком, приметил сгусток тьмы — пивной ларек на самом краю поселка — и понял, что путь выбран правильно. Егошин не старался найти дорогу, по которой они ездили, шел прямо по луговой целине на все вырастающую и наливавшуюся черной глухотой стену леса. И в какой-то миг стена потеряла свою цельность, расслоилась, в ней обнаружили щели и просветы — опушка не очень густого леса, окружающего озеро. Он заметил что-то вроде просечки и двинулся по ней. Дивная тишина объяла путника, лес спал, и ночное дыхание его было ароматным, чуть влажным, и счастье Егошина стало материальным, уютным, теплым зверем, мягко и нежно вселившимся в него...



...Борский и сержант Мозгунов пришли на второй двор, тот, где находился Преображенский собор. Ворота были закрыты, но Мозгунов достучался до спящей сторожихи, им открыли. Они прошли в глубь двора, где возле наугольной башни, в утолщении стены, как показалось Борскому, был несквозной пролом, к нему вели три-четыре обвалившиеся ступеньки.

Мозгунов вынул карманный электрический фонарик и навел на углубление или нишу — трудно подыскать точное



слово. Там торчали обнажившиеся красные кирпичи, полуразрушенная стена сохраняла округлую форму. Пол был завален битым кирпичом, кусками штукатурки, какими-то железяками, сквозь мусор проросли жесткие, худые травы из накопившейся под завалом почвы.

— Говорят, что вот тут... — сказал Мозгунов. — Но кто его знает? Людей с той поры никого не сохранилось. Так, слухи...

— А есть что еще — похожее?

— Нет вроде. Может, раньше когда, а при мне ничего не было. Тут все само разваливалось, и рушили, и восстанавливали, и опять ломали... Ручаться, конечно, не могу...

Ну, предположим, что это и есть «каменный мешок» — то ли бьель, то ли лагерная легенда. Ничего невероятного в этом нет, в сущности, тот же карцер или камера-одиночка, только в монастырской стене, а может, заброшенная коптерка или чулан, где держали разный инвентарь. Борский пытался мысленно реконструировать развалину и населить отцом. Мать говорила, что он был небольшого роста, худощавый, тогда ему не было особенно тесно, сыну приходилось иной раз потеснее. Мать тоже была маленькой, в кого он вымахал таким?.. Думалось вяло. Дух не откликался. Ему не из чего было строить образ отца. Мать умерла слишком рано, бабушка помалкивала об узнике. Комплекс безотцовщины Борский изживал в налетах и в том, что за этим следовало.

— Может, вы хотите один побыть? — деликатно предложил Мозгунов. — Я вас там обожду. — Он сунул Борскому фонарик.

— Спасибо, сержант. Все в порядке. Пошли.

Прости, отец, но встречи не получилось. Ты так и не обрел блудного сына, на что тебе вполне наплевать, а я — корней. И, наверное, мне тоже наплевать. Слишком поздно... Борский вдруг почувствовал, что нелепый и отважный заморыш, старше его всего на четыре года, как-то заменил ему придуманного отца. И одновременно — отсутствующего

щего сына. Надо же, до прихода сюда он и не подозревал ничего подобного...

— Культ личности! — сочувственно вздохнул сержант Мозгунов.

— Да! — подхватил Борский. — Но мы его преодолели и вычеркнули из памяти. По этому принципу русскую историю можно очистить от татарского ига, Ивана Грозного, Смутного времени, почти всех Романовых, а также от эпохи волюнтаризма и оставить лишь безупречное настоящее.

— Нет, товарищ Борский, — возразил думающий русский человек, милиционер Мозгунов. — О настоящем нам после скажут...

---

## 14

---

...Егошин раздвинул прибрежный кустарник, опрыскавший его нестуденой вечерней росой, и чуть не наступил на пристроившуюся там пару. Взвизгнула женщина, и грязно выругался мужчина.

Извините!.. — пробормотал Егошин, поспешно отступив.

Мимо него, одергивая платье, проскользнула женщина, он не увидел ее в потемках, но по запаху духов и светлому взлету волос угадал туристку из их группы и тут же признал мужской голос. Он не представлял себе, что ему будет так больно. А он-то поверил в эту женщину, в ее гордость, опрятность, честь. И как после всего срама рыжий прохвост уломал ее? Неужели марочный коньяк и потные объятия столь соблазнительны? Да что я понимаю в сегодняшних молодых людях, особенно — в женщинах! Может, физически он ей вовсе не противен — ядреный настойчивый мужик, а она, наверное, одинока — едва ли муж пустил бы в такую романтическую поездку! — и ей, конечно, мечталось о приключении, о том, чтоб развеять пустоту, обыденщину, опять поверить в себя, в свою неотразимость и в то, что не все пропало. Наверное, она предпочла бы другого

кавалера: киноартиста или эстрадного певца, но, за неимением лучшего, сойдет и этот, все-таки нестандартный и чудовищно настырный, что, несомненно, льстит. Егошин слышал, как Рыжий звал ее, бранился, и прибавил шагу не из страха, а потому, что при своем разочаровании чувствовал вину перед людьми, которым все испортил. Его раздражала и злила собственная неловкость. Нельзя же быть таким растяпой! Не везет Рыжему: то его спихнули с саркофага, теперь согнали с груди избранницы! Последнее — просто свинство. Но что поделать, не может же он вернуть эту испуганную газель под сень кустов.

— Ах, вот ты где, гнида! — произнес за его спиной задыхающийся голос. — Не удалось удрать?

Егошин остановился.

— Я не удирал. Мне совестно, что я помешал вам. Извините.

— Вон как заговорил!.. Видать, дружка твоего — уголовника рядом нету. — Рыжий встревоженно оглянулся.

— Не беспокойтесь. Его здесь нет, — мягко сказал Егошин.

— Ты мне, сука, за все заплатишь. Вся вонь от таких, как ты. Вечно ты мне поперек лезешь, всю жизнь. Интеллигент паршивый!..

«Знакомая мелодия, — подумал Егошин. — Но неужели это правда?.. Значит, я все-таки не зря коптил небо, если мешал таким, как этот?.. Ах, как измельчал, как измельчал ты в новом образе, Колычев!.. Да и враг твой — мелочь... Но это ничего... ничего... Я еще буду... когда-нибудь опять. И тогда прикончу Железную старуху зла...»

— Ладно, — сказал он ясным и звучным голосом. — Брось болтать пустое, Малюта, делай зачем пришел!..

И рыжий верзила, что стоял напротив него, будто что-то вспомнил. Нет, то были не воспоминания, а догадка, что ему подсказывают его истинную суть. Он смешно, наивно наклонил к плечу голову, сияясь постигнуть конечный смысл услышанных слов или разгадать отзвук, который они поро-

дили в нем. И какое-то доверчивое выражение появилось на его грубом лице, он верил, что сейчас все объяснится до конца. Но Егошин молчал, глядя выжидающе ему в лицо. Рыжий потупился, потом вскинул голову, быстро шагнул к маленькому человеку, стоящему над черной водой, и протянул вперед руки...

## ЭХ, ДОРОГИ...

Началось все... А с чего началось — не скажешь. В эту пору года жизнь деревни связана с сеном. Но прямого отношения к сену наш рассказ не имеет. И можно было бы начать, что в один из долгих июньских дней Демин Михаил Иванович, 1933 года рождения, холостой, член КПСС, образование среднее, затосковал по женской ласке. Но когда именно почувствовал он эту тоску, сказать без обиняков затруднительно. Скорее всего, она зрела исподволь, а в какой-то момент стала неодолимой, а может, вспыхнула внезапно, хотя, разумеется, не беспричинно. Попробуем не спеша разобраться.

Время для личной жизни было самое неподходящее. До сеноуборочной оставалась еще неделя, но у колхозного инженера Демина эта кампания началась уже давно, а с завтрашнего дня приобретала авральный характер, ибо во всех областях хозяйственной деятельности — дубасовские механизаторы не являли исключения — за ум берутся в последний миг. В текущие же дни колхозники беспокоились о сене в индивидуальном порядке, для своей скотины. У Демина покосы находились в двух местах: в Дубасове, где он жил и работал, и в Пёрхове, где остался родительский дом. Старуху мать Демин не без труда заставил перебраться к себе лет пять или шесть назад, а отец его не вернулся с войны.

На подмогу съехалась родня. Сестра Верушка с мужем-шабашником: когда трезвый, лучше работника и человека не сыскать, во хмелю же неуютен — задиристый, взрывчатый, — они приехали из Глотова, райцентра, где сестра работала бригадиром на фабрике детской игрушки; а из Саратова, подгадав отпуск, прикатил двоюродный брат

Сенечка, токарь шестого разряда, не уступавший рабочей хваткой зятю-шабашнику, к тому же культурного нрава. К ним присоединились местные: младший брат Жорка, бригадир механизаторов, живший напротив, и его сын Валера, тракторист призывного возраста. Сам Жорка особо за сено не переживал, его коровенка была на пищу скромная, не то что Говоруха старшего брата, на эту животину не напаешься, даром что невеличка, вымя мелкое, тугосисее, но дойна до оторопи. Чистая рекордсменка — вся заготовительная команда по затычку наливалась жирнейшим Говорухиным молоком, и на молокозавод каждый день бидон отправляли. Говоруха досталась Демину по случаю. У прежней коровы пропало молоко, пришлось отвести ее на базу заготскота. Возвращаясь автобусом домой, Демин разговорился с попутчиком, мужичонкой из зареченской Ольховки, ладившим перебраться в город. Мужичонка ликвидировал все сельское имущество — и недвижимое и движимое. К последнему принадлежала корова, о которой ольховский мужичонка не говорил, а пел. Смешно сказать, но Демина пленила ее наружность: белая как кипень, а чулочки и морда красные, и белая звездочка во лбу. Кота в мешке не покупают, а Демин заглазно корову приобрел, прямо в автобусе отвалил за нее аванс. Конечно, красное оказалось рыжиной, звездочка во лбу не проглядывалась, а вот насчет молока не наврал автобусный трепач.

Хотел Демин Жорке Говоруху уступить, все-таки в его семье на едока больше, но тот наотрез отказался. Валерику осенью в армию идти, а им хватит скупой на молоко Пеструшки. Зато и с кормами особых забот нету. А главное, жена доить не любит — забалованная, руки бережет. Нарядится с утра и сидит в окне, как в раме, и на улицу глядит. Не глядит, а себя показывает, свою выдающуюся красоту. А любоваться ею некому, родня и соседи уже привыкли, а посторонние редко на их конце случаются.

Жорка светлый человек, другой бы на его месте ожесточился на жизнь. Как с армии вернулся, так и посыпа-

лось... Нет, зачем зря говорить, не сразу это случилось, вначале все путем шло. Взял жену по сердцу, она его сыном обрадовала, устроился механизатором, хоть в технике не больно кумекал, но до того быстро все превзошел, что стал бригадиром. А потом началось! Жена — не хозяйка, белоручка, домом и огородом не занимается, мальчонке соплишний раз не утрет. Взял Жорка и сына и дом на себя. До того доходило, что сам полы мыл и пеленки стирал. Но никогда не жаловался. «Все нормально!» — одна погудка. Потом сын подрос, а Жорка, на свою беду, дорогами «заболел». Понял раньше других, что без дорог в их глинистой, мокрой местности никакая техника не спасет. И сама не спасется. Черный гроб машинам — непролазная, лишь в пожарную засуху спекающаяся местная грязь. Она оборвала все грейдерные дороги, понастроенные после войны; на автодорожных картах они до сих пор нанесены, иные даже желтой полоской, и без числа водителей на том попадает. Едет себе, сердешный, доверившись карте, и забирается в такую непролазь, что трактором не выдернешь. Нужны настоящие дороги: асфальтовые либо бетонки, только они выручат край. Жорка это давно понял и, отчаявшись выжать из предколхоза и послушного ему правления деньги на строительство короткой и самой необходимой дороги от Дубасова до шоссе, сам с механизаторами в неурочное время погнал эту дорогу. Убедил мужиков: когда, мол, дорога будет, правление, хочешь не хочешь, разочтется с нами. Может, и не особо ему поверили, но решили рискнуть, потому как видели и водители, и комбайнеры, и даже не зависящие от дорог трактористы и рабочие ремонтных мастерских, что без дорог — зарез. Колхозное правление спохватилось быстро: работы остановили, с людьми расплатились, а Жорку оштрафовали на эту сумму. Ничего он не сказал, только зубами заскрипел и после недели две все за головешку хватался. Началась у него болезнь — гипертония. Тем только и спасается, что японский браслет носит — Демин в Москве достал две штуки, брату и, за ком-

панию, себе. И в области, и в районе все начальство такие браслеты нацепило — для престижа. Но голова головой, а видел Жорка, что некоторые материалы остались, и предложил брату заасфальтировать семейными силенками машинный двор, чтобы стояли машины на твердом и не засывало их выше колес в дождевую грязь. Работу они сладили и получили по выговору за самоволку. Старший Демин на том успокоился, а Жорка со своей упрямой больной головой через год попытался достроить начатую дорогу. На этот раз «руководитель», как едко называл предколхоза Жорка, застучал его в самом начале и сдал в милицию, где ему вкатили пятнадцать суток за злостное хулиганство. Конечно, старший брат нашел ходы, Жорку освободили, но что-то важное в душе его обломилось. «Все! — объявил он, выйдя из узилища. — Теперь я дорогам — лютый враг!»

Тяжело это было Демину. Он жалостно любил брата с того далекого, неправдоподобного времени, когда осознал его хрупкое бытие рядом со своим. Самого появления Жорки он как-то не углядел, будучи всего тремя годами старше, а когда обнаружил новое, орущее, мокрое, беззащитное существо, то обмер и зажалел его на всю жизнь.

Слишком пристально подумав о брате, Демин схватился рукой за кадык и коротко взрыднул. Станный этот взрыд — его отметина. Если Жорку к внутреннему срыву привели дорожные напасти, то у старшего брата это случилось куда раньше, на заре жизни, можно сказать, когда он вернулся с действительной и узнал, что Таля его не дождалась и вышла замуж. На письма же отвечала и в письмах врал, что ждет, по слезной просьбе его матери, страшившейся, что сын в расстройстве и гневе совершит что-то не дозволенное строгой военной службой и ломает свою судьбу. Служил Демин в танковых частях, и служил удачно. Уже в первый год обнаружил он редкое чутье к технике и был определен в мастерские, где прошел серьезную и любую ему науку. А вернувшись домой и узнав об измене Таля, он, отличавшийся молчаливой скупостью на всякое



проявление чувства, издал горлом жалкий, захлебный звук и схватился рукой за кадык, будто тот стал ему поперек дыхания. И, услышав этот задавленный взвой своего квадратно-глыбного — танком не сокрушишь — сына, мать зарыдала и навсегда испугалась за него, как он боялся за младшего брата, а сама она сроду ничего не боялась. Так и стали они жить, связанные цепочкой страха, не делавшего их слабыми. Широкогрудые, плечистые, громадной мышечной силы — и в восьмидесятилетней матери проглядывали былая стать и мощь, — на чуть подкрувленных, но прочнейше упирающихся в землю ногах, Демины были столь же крепки верностью, преданностью земле, делу, людям, памятной добротой, снисходительной к чужой малости, слабости, даже порокам. В нежной сердцевине каменных с виду богатырей рождались и слезы матери, и боль, сжимавшая обручем голову Жорки, и влажный взрыд Михаила.

Узнав об измене Тали и родив в горле горестный звук, выбивший слезы у матери — вон когда научилась плачу солдатка, без слезинки проводившая мужа на войну и без слезинки принявшая от почтальона похоронку, — Демин не смирился с поражением, не поставил крест на своем чувстве. Он пытался вернуть Талю, которую простил сразу и навсегда. Но и та оказалась на свой лад богатырской породы. Выполнив просьбу старухи Деминой, не пошла ни на какие объяснения с бывшим женихом. «Не надо. Что сделано, то сделано», — были единственные ее слова при встречах, большей частью случайных — жили они теперь в разных деревнях. Лишь раз расщедрилась Таля на подробную речь: «Нечего прошлое ворошить, возврата туда нету. У меня дитя народилось, я ему отца менять не стану». — «А ты счастлива?..» — Демин вздохом заменил ненавистное имя Веньки Тюрина, сельского интеллигента средних лет, «коровьего фелшара», как его величали старухи. Венька учился в Москве, совсем было пропал там и вдруг вернулся и отбил у него Талю. Правда, в «отбил» Демин не

больно верил — хлипок душой и телом Венька, настолько хлипок, что на него рука не подымалась. Демин не любил драк и, будучи человеком трезвой жизни, почти никогда в них не участвовал, но все же не исключал кулачную расправу из мужского обихода. Честная драка, когда все другие аргументы исчерпаны, — законное дело. Но с хлипким сельским интеллигентом Венькой не могло быть честной драки. Демин с самого начала знал, что все решила сама Таля и подвигнула на подвиг размазню Веньку. Тонкая, упругая, как хлыст, и с такой же душой — ее не подчинишь, не сломаешь, а и согнешь, так распрямится и тебя же в кровь охлестнет. И в их дружбе, начавшейся со школьных дней, она, хоть и младшая годами, была ведущей. Незадолго до расставания позволила обнимать себя и целовать, но дальше Демин пойти не решился, боясь ее оскорбить. А надо было решиться — бережь бережи рознь. Тогда бы дождалась. Даже если б не понесла. Стыдно было б ей, не сохранив чести, с другим окручиваться. А сейчас Таля в грош не ставила их прежние отношения, детские ласки и признания. Трудный у нее характер, жесткий, тесный, и губы тонкие, всегда сжатые, даже в поцелуе. А может, Венька сумел их разомкнуть? Никогда он ничего от нее не узнает. Заперта на все замки. Что это — гордость или злая узость в ней?.. Она резко отвергала не только попытки объяснений, но и простые знаки внимания: связку вяленой рыбы или грибов, какой-нибудь московский гостинец для пацана, детскую игрушку — ничего не принимала — с каким-то даже ожесточением, будто он перед ней виноват. А может, она и впрямь его винила, что, уходя в армию, не сделал свою?.. У баб ум набекрень, на свой манер вывернут. Он бы оставил ее в покое, если б верил, что она счастлива. Но такой веры почему-то не было. Про себя же он с годами узнал, что ни с одной женщиной — даже в полноте любви — не будет ему так горячо и нежно, как в сухой возне с Талей. Запах ее бледноватой, не смугляющей на солнце, а розово обгорающей кожи, запах ее светлых длинных слабых волос

навекы проник ему в нутро, и все другие женщины невкусно пахли, даже sprыснувшись «Красной Москвой». И мягкая влажность тонкогубого рта, когда он со всей силой впивался в него своим жестким ртом, убила сладость всех других румяных, полных, нежных, жадных женских уст. Отравила она ему кровь, и ничего тут не поделать...

Демин сжился со своей странной бедой, как сживаетея человек с горбом, культей или кривым глазом. Живет, трудится, гуляет в праздники, разные испытывает желания, вроде и не помнит о своем увечье. Он помнит, последней глубиной никогда о том не забывает, иной же раз так вспоминает, что зубами заскрежещет и слезу сронит. Демин вкалывал за троих, нечеловечьей мукой вместе с братом вытягивал сельхозтехнику, которую безжалостно гробило местное бездорожье (вазовские моторы вместо положенных тридцати тысяч восьми не набегали, задние мосты «уазиков» на колдобинах напрочь срывало), и по дому успевал: то мебель купит, то обоями все стены оклеит, то терраску или каморку пристроит, то туалет на городской лад обору-дует, только без слива, а на естественный провал. И не скрежетал он зубами, не ронял слез, разве что не удерживал иной раз короткого взвоя. Правда, обнаруживалась в нем некоторая чудина, не идущая такому положительному и серьезному человеку. Он тяготел к оптовым покупкам, чего бы ни брал, старался взять побольше, хотя и к вещам и к еде был равнодушен. Много было женской одежды, которую он покупал вроде бы для матери, хотя иные вещи заведомо не годились ей по возрасту и размерам, а другими она пренебрегала, донашивая старые добротные платья и кофты. Были у него и замечательные игрушки из «Детского мира» — их он покупал для Талиного парня, но получал неизменно назад и не выбрасывал, жалея красивые изделия. Случалось, он дарил что-нибудь детям дачников; у родных и соседей не было маленьких детей, а внуки появлялись уже в городе. Странно выглядели все эти рычащие при наклоне медведи, куклы с закатывающимися бессмыс-

ленными глазами, автомобильчики, парходики, самолетики и трехколесные велосипеды в холостяцком доме, не слышавшем голоса ребенка. Была и другая, более подходящая Демину подвижность: в длинном гараже из ребристого железа стояли «Волга», мотоцикл с коляской и мотороллер, там же висел на стене лодочный мотор «Москвич», хотя местная речка Лягва была несудоходна, в засушливое лето ее курица вброд переходила. «Волга» тихо ржавела снизу, не накатав и десяти тысяч, в редкие выезды он тянул машину трактором «Беларусь» на листе железа до грейдерной (по прозвищу) дороги, ведущей в райцентр. Мотоциклом с коляской по причине бездорожья вообще не пользовался, и тот стоял на приколе, сверкая первозданной голубизной, не замутненной прахом верст (Демин что ни день драил его замшевой тряпкой), а вот на мотороллере в иное погожее время доезжал и до магазина, и даже в соседние деревни наведывался, хотя порой приходилось тащить его за рога: были такие места в дубасовском пространстве, к примеру, перед клубным крыльцом, которые сроду не просыхали, будто выкачивались туда воды из подземного озера.

Думается, не только в деревне или райцентре, но и в самой столице едва ли встретишь столь оснащенного и обеспеченного всем, чего душа пожелает, человека, как Михаил Демин. А ведь для себя ему ничего не нужно: телевизор он не смотрит, времени не хватает, редко, да и то через черную тарелку, висящую на кухне, слушает радио — тарелка не выключалась, по ней передавали колхозные новости и распоряжения; ездить ему некуда, да и не поедешь; случается, напяливает на себя какой-нибудь клетчатый пиджак или кожаную куртку, но вида все равно нету, потому что джинсы или вельветовые брюки приходится заправлять в подвернутые под коленями, а то и натянутые по самую задницу резиновые болотные сапоги. И обычно Демин обходится бумажными штанами, ковбойкой и ватником.

Похоже, что какой-то неделовой, схороненной от разбитых машин, запоротых моторов, потонувших в грязи комбайнов, охромевших тракторов, пьяных слесарей, кузнецов-халтурщиков, скрытой от всех и от себя самого частью души он жил в воображаемом мире, в котором неведомо как осмыслились его бессознательные поступки. Если попробовать расшифровать эту тайную жизнь Демина, то оборачивается он в ней главою большой требовательной семьи, на которую не напасешься, а капризнице жене подавай все новые наряды (да и сам держи фасон), и чтоб бензиновые кони ждали у ворот, бия от нетерпения шинами, и быстроходный катер содрогался в готовности вспенить воды Лягвы, и напрягался весь животный мир для пущей семейной сытости: чтоб вышибала донце из ведра тугой молочной струей Говоруха, куры несли яйца больше гусиного и ускоренно нагуливал розовое прозрачное сало дюжий боровок в закутке, стремясь к пику формы, когда ему всадят тонкую сталь под переднюю левую ногу.

Это тайнодумие, или тайночувствие, оставалось скрытым даже от его спящей души, когда многое, гонимое дневным сознанием, выходит наружу, пусть порой и в зашифрованном виде, но все же позволяющем догадаться о сути. Он был настолько во власти безотчетности, что даже не помнил о своих покупках. Бывало, задев в ночной темноте плюшевого мишку и услышав его недовольную ворчбу, он замирал, думая, что потревожил живое существо, и недоумевал, как завелось оно в доме.

От матери не укрылся больной, ну, если и не больной, то ущербный смысл избыточных, ненужных приобретений сына. Она долго крепилась, но раз, встречая вернувшегося из города и, как всегда, нагруженного свертками Михаила, не удержала слезу. Преисполненный ответной жалости к матери и смутным чувством какой-то своей вины, Демин растерянно бормотал: «Ну, ладно, маманя!.. Чего там!..» — «Ох, сынок, зачем нам все это?.. И кому достанется?.. Во сне ты, что ли, живешь?» Демин молчал. «Уйду я от

тебя, — вдруг сказала мать. — Есть у меня свой угол». — «Да что ты, маманя? — испугался Демин. — Нешто нам плохо вдвоем?» — «Плохо, сыночек, плохо. Не могу я на тебя глядеть. Сколько же можно так маяться? Неужто ты порченный какой и за тебя ни одна девка не пойдет?» — «Да где их взять, девок-то? — не глядя матери в глаза, оправдывался Демин. — Как в цвет входят, так из деревни — деру. Не приживаются девки на нашем грунте». — «Да ведь гуляешь ты с женщинами, Михаил, я же знаю. Что ж, они только для баловства хороши, и ни одна женой работы не справит?» — «Не придется они тебе, маманя», — врал Демин. «Не обо мне речь. Мне теперича любая придется, лишь бы ребяточка выносила. Я уж не запрашиваю. Мне бы внучка перед смертью покачать». — «Ну, а мне-то как с нелюбой жить?» — «Стерпится — слюбится... Нельзя целый век о Тальке вздыхать. Да на кой ляд она сдалась, пустокормок, кабы и сама попросилась? С тремя детьми, старший уж армию отслужил. Сухара, одно слово!» — «Ладно, мамань, — морщился Демин. — Напрасно это. Она к нам не просится». — «Молчу, молчу, уж и слова о ней не скажи. Надо же! — удивлялась мать. — Какое счастье девке светило!..» — и призраком чужого счастья зажигал ее потухшие глаза.

В тот день, о котором идет наш рассказ, с утра принялся дождь, хотя ночь была чистая, звездная, и появилась надежда, что погода наконец-то установится. Бюро погоды тоже обещало «без осадков», правда, что-то сбормотнув о циклоне над Тянь-Шанем, а дубасовцы знали: циклон в любой точке планеты оборачивается для них дождем, такая уж чувствительная местность. Пришлось срочно закопнить разбросанное накануне для просушки сено. В связи с этим терпеливый саратовский кузен Сенечка вдруг вспомнил, что отпуск у него кончается, а сено все еще не убрано. Демин намек понял и поставил к позднему завтраку бутылку армянского коньяка «пять звездочек». Сенечка так засмушался, что жидкость пошла ему не в то горло. Чуть не

задохся, насили отходили. А зять-шабашник, хвативший где-то накануне, красноглазый, подпухший и злой — жена не давала опохмелиться, — заявил, что даром тут время теряет, его зовет печник класть печи в новых домах для доярок. «Нешто мы на чужих ломаемся?» — на высоких нотах завела Верушка. «Кабы на чужих — так бы меня и видели! — веско произнес шабашник. — По-родственному терплю из последних сил». И, уверенной рукой взяв бутылку, налил себе полный граненый стакан. Жена глянула возмущенно и... промолчала. Момент был тонкий и опасный, муж мог и впрямь подорвать. Шабашник выпил, сморщился, некрасиво вывернув мокро-пунцовый подборой нижней губы, обронил брезгливо: «Не люблю!.. И чего в нем интеллигенция находит?» Приняв на свой счет слово «интеллигенция», Сенечка счел нужным вступить за честь напитка. «Ты букета не чувствуешь, Адольф. Его нельзя рывчуном брать, смаковать надо. А весь смак — в букете. Знаешь, откуда букет? От выдержки. Пять звездочек — значит, его пять лет в бочке держали, не трогали. Чуешь, какая выдержка? Выше этого армянского только марочные сорта и небо». — «Не убедил...» — капризно сказал шабашник Адольф (он уверял, что спивается из-за своего позорного имени) и потянулся к бутылке. «Хватит, окаянный!» — Верушка пришла в себя и вновь овладела положением. Адольф молча убрал руку, он умело использовал свой шанс, на большее рассчитывать нечего. Выбив из пачки сигарету прямо в щербину между зубами, Адольф вылез из-за стола. «Пошел корячиться, а вы как хотите!» — «Ох ты! — вскинулась маленькая, осмугленная без солнца дочерна Верушка. — Тоже мне, герой-передовик!» — и чуть сдвинула с выпоревших бровей низко и туго повязанную косынку.

Демин с щемящей нежностью смотрел на сестру. Золотой, безотказный человек! Надсаживается в бригадиршах, понуждая к честной работе самовольных и языкастых городских баб, и весь дом на себе тянет — от шабашника какая польза? Заколачивает он порядочно, а пропивает еще больше. Верушка, можно сказать, в одиночку подняла семью, детям

образование дала: дочь — учительница, замужем, сын — лейтенант милиции в Вильнюсе, и не то чтобы палкой на перекрестке махать или с алкашами возиться, он по ученой части — лекции об уличном движении читает, жена у него инженер, парни-близнецы будут десятилетку кончать. Но две молодые и вроде бы самостоятельные семьи не могут прожить без Верушкиной помощи: она им и деньги на разные покупки шлет, и всякое варенье, соленье, и внуков на лето забирает да еще находит время остальной родне подсобить. Всегда бодрая, невесть чем довольная, знай улыбается сухими, истрескавшимися губами, а глазом шарит: где бы чего прибрать, починить, залатать. Она и в девчонках такой была: худенькая, быстрая, локотки острые, так и колют воздух, и все ей работы не хватало, ужасно боялась не истратиться до конца. И кому достался такой клад! Ей бы женой директора быть, офицера танковых войск или начальника пожарной охраны... А ведь она любит своего охламона! — осенило вдруг Демина. Значит, есть в нем что-то, чего другие не видят, а и увидели бы — мимо прошли, но для Верушки важное, нужное. Ведь он, Демин, совсем не знает, что такое жизнь с близким человеком, жизнь вплотную, может, тут появляется такое сильное и проникающее чувство друг друга, что грубая, поверхностная очевидность гроша ломаного не стоит. А стоит лишь то, что дается тайновидением. При мысли, что он никогда не узнает такой слиянности с женщиной, Демин на мгновение утратил контроль над собой, и короткий взвоя вырвался из его просторной груди.

Мать подняла на него усталый взгляд, сестра потупилась, Сенечка нервно плеснул в стакан армянского, а стоявший у печки с сигаретой в зубах длинновязый, тяжелорукый племянник Валерка опрোметью кинулся в сени. Он не мог привыкнуть к этим жутким сигналам тоски, задавленной боли, мерещилось что-то темное, невыносимое, убивающее желание стать взрослым.

Сам же Демин обычно не замечал своего стога, не заметил его и сейчас, но смутно почувствовал какое-то на-



пряжение, замешательство. В таких случаях хорошо принять решение, толкающее жизнь дальше.

— Поеду-ка за пёрховским сеном, — сказал он веско.

Он знал, что фраза его ничего не разрешила, что-то повисло в воздухе, повисло в нем самом, но и так слишком долго его мысли бесплодно блуждали, не порождая никакого действия. Он не любил ковыряться в себе. Если все время задаваться вопросами: с чего да почему, кончится всякая внешняя жизнь, единственно обладающая смыслом, ты завязнешь в томительных вопросах, забуксуешь мозгами, как в дубасовской грязи на стертых покрышках.

Сейчас его мысль собралась и повернула к конкретным вопросам: на какой машине ехать, взять ли с собой кого на подмогу. И то и другое он решил сразу, как обычно решал всякие хозяйственные дела: поедет на МАЗе — сильная, проходимая машина, к тому же мотор недавно сменили и на задние колеса цепи поставили, а возьмет Жорку, тот давно не видел их старого дома, где они родились и выросли. На отшибе стоит заброшенное Пёрхово, не участвующее в экономической жизни колхоза, сейчас там едва ли пяток обитаемых домов наберется. Взгляд в окно подтвердил ему, что Жорка дома, да и где ему быть: они переиграли выходной день с воскресенья на субботу, чтобы с завтрашнего дня вкалывать без передыха.

Демин совсем было собрался идти за грузовиком, но тут вспомнил о постояльцах, которых ему навязал приехавший из Москвы с семьей на отдых мастер холодильных установок Толкушин. Был он уроженцем Канавина, лежащего километрах в четырех по течению Лягвы. Демин знал его с детства, но впервые обнаружил, что они родственники, когда Толкушин, приехавший на своем «жигуленке», попросил у него трактор и железный лист, чтобы добраться до родного порога. «Выручи, Мишутка, всёжки мы одна кровь». Демин и так бы ему помог по старому знакомству, но просьба родича — свята. Поэтому он и слова против не сказал, когда Пека Толкушин попросил при-

нять на постой двух московских людей: журналиста и еще кого-то — Демин не понял. У них был свой интерес в здешних местах: то ли церкви осматривать, то ли раков лупить — замороженный сеном, Демин не стал вникать. Да и какая ему разница, кто они, важно, что родственник просит. Хотя хуже время трудно было выбрать — в доме полно народу, дел невпроворот, и, как ни крутись, не окажешь гостям должного внимания. Москвичи прибыли пешим строем, машину бросили на шоссе возле почты, и Демин отвел им боковушку, дал постельное белье, одеяла, подушки, домашние туфли. Журналист был тучным, одышливым стариком, с мешками под коричневыми усталыми глазами и белым пухом волос, он знал, что отыгрался, но по инерции продолжал суету жизни. Таких Демин видел немало. А вот другой его заинтересовал. Был он без возраста: то ли под сорок, то ли крепко за шестьдесят, поджарый, с обнажившимся костяным лбом, но без седого волоса, гибкий, ловкий, с проворными руками. Он мгновенно разобрался, что к чему и что где лежит, как будто домой вернулся, и через полчаса по приезду уже варил на кухне соблазнительно пахнущую солянку. К удивлению Демина, все острые приправы гость нашел в его доме. Назвался он Пал Пальчем. И странно, услышав нехитрое имя-отчество, Демин испытал легкий внутренний толчок, готовый обернуться воспоминанием, но так и не ставший им. Он готов был поклясться, что уже видел этого складного и чем-то соблазнительного человека, но где, когда?.. Хотелось поговорить с приезжими, особенно с Пал Пальчем, может, тот подскажет, где могли они видаться, да не выбрать минуты свободной. А сейчас он ощутил необходимость что-то сделать для гостей. Надо украсить их быт. Забрав в гостиной три «полотна», копии которых, как он понял, находились в Третьяковской галерее: «Аленушка», «Неизвестная» и «Богатыри», а также вазу с бумажными цветами, он вдруг задумался, с какой стороны приходится ему родственником Пёка Толкушин. Демины и Толкушины из разных мест и разно-

го корня. Может, по женской линии? Пекина двоюродная сестра замужем за ихним председателем, но Демины с ним не родня. Старуха Толкушина в свойстве с тещей кузнеца, но кузнец Деминым вовсе чужой. Жена Пеки вроде калужанка, тут искать нечего... Внезапно он почувствовал усталость, стоит ли ломать над этим голову, при случае он спросит Пеку, а сейчас надо создать людям культурный отдых.

Он вошел в комнату, пропитанную табачным дымом. Постояльцы в спортивных костюмах и носках лежали на кроватях и читали, Пал Палыч нещадно дымил. Журналист с набрякшими подглазьями отложил книгу и улыбнулся Демину:

— Хозяин?.. Милости просим.

— Извините, конечно, — сказал Демин. — Я тут кое-что принес... Чтобы вам красиво отдышалось.

— Что, что?.. — вскинулся Пал Палыч и ловко сел на кровати, по-турецки скрестив ноги. — Да бросьте! — сказал брезгливо. — Кому это надо?..

— А что? — смутился Демин. — Хорошие картины. — Он прищурился и прочел: — В. Васнецов, И. Крамской, обратно В. Васнецов.

— К тому же подлинники! — хохотнул Пал Палыч.

— Заткнитесь, — тихо сказал журналист. — Человек от чистой души... Спасибо большое, — повернулся он к Демину. — Вы не беспокойтесь, мы сами повесим. Мой друг — специалист по живописи.

— Нешто мне трудно гвоздь прибить? — обрадовался его интонации Демин.

Он поставил вазу с цветами на холодильник, вынул из кармана гвозди, достал из тумбочки молоток и стал приноравливать, как бы половчее повесить картины.

— Дивный букет, — заметил Пал Палыч. — Воду надо часто менять?

— Они же бумажные, — удивился его наивности Демин.

— Заткнитесь! — опять сказал журналист, пристально глядя на Пал Палыча.

За долгие годы знакомства, хотя виделись они не часто, будучи людьми разъезжей жизни, он так и не постиг до конца характера Пал Палыча. Тот был крайне сентиментален, причем с возрастом эта черта все усиливалась; его песочные ресницы частенько темнели от слез, исторгнуть которые могли — стихотворная строка, страдания, болезнь и смерть литературного героя, несчастливый конец фильма, вид старой почерневшей иконки, нежный изгиб северской статуэтки. Вся эта чувствительность проявлялась лишь в столкновении с искусственным миром; жизнь в ее естественном образе не действовала на слезные мешки Пал Палыча. Как замечательно разделились в нем поэзия и правда. Беззащитность — перед первым, ледяной холод — второму. Его ничуть не трогал доверчивый жест доброты этого постороннего человека, бескорыстно пустившего в дом незнакомцев, давшего им постель и стол и еще заботившегося о «культурном» оформлении их быта.

— Чем картинки вешать, — слышался высокий, резкий голос Пал Палыча, — лучше бы вонь ликвидировали!

— Какую вонь? — не понял Демин.

— У двери. Какходишь — шибает, аж с ног валит. Что у вас там, покойники захоронены?

Демин повесил на стену «Богатырей», глянул — ровно ли, и пошел к двери. Нюхнув раз-другой, он ничего не почувствовал. А несло там нестерпимо, каким-то спертым, душным, ядовитым, опасным для жизни смрадом. Густой, как патока, он не распространялся по комнате, а стоял стенкой возле двери; таким образом, пронизав невеликую толщу, ты оказывался в обычном запахе избяной боковухи: дерева, законной дождевой сырости и устоявшейся легкой прели. Словом, незачем было заводиться. Но Пал Палыча бес обуял.

Журналист сказал мягко:

— Там, правда, пованивает. Ничего страшного нет. Может, крыса сдохла?

— Нету у нас крыс, — еще более озадачился Демин и позвал мать.

Старуха быстро приковыляла — любила быть полезной. Понюхав, где указали, она тоже не расчуяла вони. Крестьянские носы, привыкшие к крепким запахам хлеба, свиного закута, насеста, навоза, не обладали городской чувствительностью.

— Да нюхните хорошенько! — закричал Пал Палыч, вскочив с кровати.

Он подбежал к ним и со свистом втянул воздух своим хрящеватым носом.

— О, ужас!.. О, смерть!..

— Правда, Миш, вроде несет маленько, — неуверенно сказала мать.

— Маленько!.. — передразнил Пал Палыч. — Ничего себе маленько!.. Конец света!.. Гибель Помпеи!..

И странно: Демину казалось, что все это уже было когда-то: и возмущение Пал Палыча, и тяжелая растерянность окружающих — экое наваждение, прости Господи!.. Он открыл холодильник, заглянул в него, выдвинул нижний ящик, откуда накануне взяли телячью голову и голяшки для холодца. Сегодня этот холодец в тарелках, блюдах, тазах стоял по всему дому.

— Надо так думать, — глубокомысленно изрек Демин, — что головка протухла.

Журналист почувствовал позыв к рвоте, за завтраком он на пару с Пал Палычем опустошил глубокую тарелку холодца.

— Чепуха! — авторитетно сказал Пал Палыч. — Зачем на теленка грешить? Студень свежий.

— Свежий? — обрадовался Демин, любивший холодец. — Я еще не пробовал.

— Свежайший! — Пал Палыч нагнулся и стал хлопать дверцами старого фанерного буфета. Мелькали пачки с печеньем, шоколадные наборы, банки с вареньем и джемом, упаковки сыра «Виола», банки маринованных огурцов.

— Богато живете! — вскользь одобрил Пал Палыч. Он открыл очередную дверцу, и оттуда вырвался ликующе

Великий джинн смрада, некая правонь, от которой пошло в мире всякое смердение и тухлота.

Пал Палыч держал на мочальной веревке связку вяленой рыбы, то ли плотиц, то ли красноперок.

— Вот она, душечка!

Демин взял связку, понюхал, небрежливо помял рыбешку.

— Она же вяленая... — проговорил неуверенно.

— Плохо проявили, брат! — ликовал Пал Палыч. — Стухла твоя плотва.

— Это не моя, Сенечка наловил, — поправил Демин.

— Выброси ее в сортир, — распорядился Пал Палыч.

— Нельзя, — сказал Демин, наконец-то учуяв воньцу, — туда куры подлазят.

— Закопай в саду!

— Собачонка может открыть.

— Скорми кошке, — посоветовал журналист.

— Нешто она ее возьмет? Балованная!

— Да выбросьте вы ее к черту! — взревел Пал Палыч. — К чему столько болтовни?

— Как же так? — скривился Демин. — Значит, пропали Сенечкины труды?

Журналист с любопытством посмотрел на Демина: сильное до грубости, обветренное лицо, сталь зубов в улыбке, плечи гиревика, ручищи лопатами. И надо же, какая деликатность, какая тонкая бережность к чужой душе!

— Я их на терраске новой повешу, — сообразил Демин.

— Там Адольф трудится, — напомнила мать.

— А ему водкой и табаком все обоняние отшибло. Он намедни чуть ацетону не хватил.

— Ну и неси туда! — распорядился Пал Палыч. — Хватит тут вонять.

Пристроив связку рыбок так, чтобы Сенечка мог увидеть и сам распорядиться ее дальнейшей участью, Демин отправился за грузовиком.

До реки он дошел легко по обкошенной луговине. Завяз лишь возле ключа, там и в сушь было потное место, на которое каждую весну прилетала пара чибисов. Провалился глубоко, — хорошо сообразил натянуть до отказа болотные сапоги, а вот выдернуть кол из тына забыл, за что и поплатился — насилу вылез, извалявшись в грязи. К реке по скосу он съехал на подошвах, растопырив для равновесия руки. Здесь помылся и проверил вершу, затопленную на излуке под старыми ветлами. Верша оказалась пустой — отчего-то сорвало клеенчатую завязку на горловине. Он пристроил завязку на место и утопил вершу. Потом отломил сухой толстый сук березы и по скользким мосткам, помогая себе суком-шестом, перебрался на другую сторону. Мимо молокозавода, кисло воняющего выплеснутыми в грязь пробами, он поднялся к деревенской площади, где располагались клуб и магазин.

Оба здания были отрезаны от большой земли огромными лужами в грязевых топких берегах. Но к магазину был сделан подход из кирпичей и досок, нечто вроде лапы, клуб же напрасно соблазнял дубасовцев объявлениями о новом художественном фильме и вечере танцев под фонограмму «Голубых гитар» — к нему можно было пробраться разве что на ходулях. Демин двинулся по окружности площади, прижимаясь к плетням, под ними земля была прочной. При этом он не упускал из вида магазин, куда то и дело заходили люди, но назад почему-то не выходили, словно поселялись там. В витринах за рекламными пирамидами «Завтрака туриста» и новой рыбки «минтай» творилось шевеление цветных пятен, но игра красок не обернулась чертами продавщицы Лизы, с которой Демин дружил. А хотелось хоть в промельке увидеть ее горячие крепкие скулы.

Самая грязная грязь начиналась за околицей, и, хотя до машинного двора было рукой подать, Демин потратил немало времени на одоление последних метров. Это ж надо, чтобы главная опора сегодняшней деревни — трактор стал

ее злейшим врагом. Лошадь так не умучивали в старое время, как сейчас трактор. На нем не только пашут, боронуют, убирают, возят грузы, навоз, силос, сенаж, доставляют людей в поле и с поля, но ездят на рыбалку, в гости к знакомым, на любовное свидание, на прогулку. Трактором изжеваны все деревенские дороги, улицы и площади. Исчезла прелесть тихой зеленой сельской улицы с телком или козленком на привязи, разморенными жарой добродушными псами, с курами, гусям и пушистыми их выводками — от плетня до плетня во всю ширину — непросыхающая, непролазная грязь, чудовищные колдобины, рытвины с водой, одно слово — мерзость. Попробуй пройтись с гармошкой на вечерке, попробуй найти сухую, твердую площадку для пляски, даже на лавочке у плетня посидеть да на людей поглядеть, лузгая семечки, — несбыточное дело, куда ноги девать?

«Но трактор не виноват, машина не бывает виноватой, — думал Демин. — Люди придумывают технику, а справиться с ней не могут. Отжили век проселки, большаки и немощные сельские улицы. Или — асфальт под колеса, или вертайся к лошади. Иначе жизни не будет...»

Смятенный вид родной земли... И как же хорошо на гиблом фоне гляделась асфальтовая площадка машинного двора, на которой прочно стояли комбайны, сеялки, жатки, косилки, бульдозеры, траншеекопатели... Эти готовые к бою машины казались вознесенными над все остальным, собранным для ремонта, восстановления и разбора железом, которое медленно погружалось в предвечную хлябь, поскольку не хватило асфальта для всего нужного технике пространства.

Пробираясь к гаражу, Демин услышал, что в кузне ухнет молот. Вот те раз! — выходной день, а кузнец трудится. Неужто этого поддавалу и склочника прошибла тревога за сеноуборочную? Горячий цех был в долгу перед ремонтниками, вот Федосеич и решил пожертвовать отдыхом для общего дела. Отъявленный хабарщик, Федосеич был на хо-



рошем счету *у* «руководителя», потому что всегда *у*рал самые высокие обязательства, не затрудняя себя мыслью об их выполнении. Но проняла и его общая забота. Демин довольно улыбнулся и потер щетинистый подбородок: а, черт, опять забыл побриться. Он без обычного раздражения глядел на водочные и винные бутылки, заполнявшие все емкости перед кузней. То была странная привычка Федосеича: ему в голову не приходило унести пустые бутылки с собой и сдать их на пункт приема вторичного сырья или просто выбросить.

Демин толкнул дверцу и вошел в жаркое нутро кузни. Полыхал горн, Федосеич и его подручный с раскаленными от огня и опохмелки лицами трудились с тем старанием, красивой легкостью и серьезностью, что достаются лишь левой работе. В грохоте двух молотов не слышен был взыв душевной боли и разочарования вошедшего человека. Демин ничего не мог сделать Федосеичу, о чем они знали оба, — попробуй найти другого кузнеца. Но и Федосеич нуждался в кузне, поэтому, ничуть не боясь инженера колхоза, все же старался не доводить его до остервенения, когда человек перестает думать о последствиях своих поступков. Демин понимал всю тщетность слов, если они обращены к такому дремучему сердцу, как у дубасовского кузнеца, к тому же с завтрашнего дня начинался аврал, и опасно раздражать нравного, нетрезвого старика. Но что-то сказать было необходимо для собственного спасения, а то, не ровен час, сосуд лопнет, и так вечно молчишь перед глупостью, наглостью и чтущим лишь собственную выгоду напором.

— Неужто для бутылок другого места нету? — произнес он шатким от изворота голосом.

Кузнец оглянулся, будто знать не знал о его присутствии. Медвежьи глазки как лезвием чиркнули.

— У меня нету. Не нравится — возьми да убери.

— Я тебе не уборщица. Свое свинство сам затирай. Или катись отсюда к чертовой матери!

Вот бы такие слова да по главному поводу: мол, кузня не частная лавочка, халтурщик ты и ханыга! А это выстрел хоть и в упор, да холостой — кузнеца пустыми бутылками не уешь. Так оно и было: Федосеич презрительно усмехнулся и гаркнул помощнику: «Ровнее держи, безрукий черт!»

МАЗ был старый, битый, из капиталки, но крепко, надежно залатанный, с форсированным двигателем — над чем потрудились, по обыкновению с успехом, изобретательский гений Демина. Машина — на редкость мощная, и если не бояться выжимать из нее эту мощь под угрозой сломать шею, то она способна одолеть любое бездорожье, благо обута в железные сапоги. Демин уже взобрался на сиденье, когда подбежала Васёна, колхозная делопроизводительница, и протянула телефонограмму из райцентра. Отправил ее предколхоза, с утра уехавший в Глотов на совещание: в близости сеноуборочной дергалось районное начальство само и дергало руководителей хозяйств, мешая им заниматься прямым делом. Предколхоза извещал, что ему удалось вырвать новый мотор для «уазика», который необходимо срочно забрать, сам он без машины. Это было слишком серьезно, чтобы кому-то передоверять, — пёрховское сено подождет.

И Демин погнал грузовик в сторону, прямо противоположную той, куда собирался. Тактика езды на «гончем» МАЗе была проста, но требовала крепких нервов. Надо ломить на третьей скорости, выбирая, по возможности, места более проходимые, пренебрегая тем, что машина кренится набок, вот-вот перевернется, что ее заносит и норовит сбросить с дороги, что нос клюет в полные воды рытвины и лобовое стекло ослеплено рыжими заплесками, что глаза залиты потом, а весь ты через полчаса такой воды — как отсиженная нога. Но если хватит выдержки не притрагиваться к сцеплению и тормозам и знать лишь одно — вперед, то ты доедешь, наверняка доедешь.

И Демин ехал. Оглушенный, ослепший от пота, разбив в первые же минуты колено о щиток, он гнал и гнал ма-

шину по лужам и вязкой грязи к грейдеру, изжеванному, разбитому, в рытвинах и ухабах, но все же более надежному, чем этот большак. У перекрестка к машине сунулась старуха с рюкзаком на длинных лямках. В поднятой руке она сжимала рублевку. Обычно Демин подбирал на дорогах всех «голосующих» и сроду не брал ни с кого денег, но, остановись он сейчас, на том бы и кончилась его поездка. Здесь было самое гиблое место, которое надо проскочить с разгона. Он резко вывернул руль, чтобы объехать старуху, успел заметить, что она долговязая, худая, с темным, недобрим лицом; пробуксовывая, вполз на грейдер, рухнул в рыжее озеро, вслепую, не давая затащить себя в кювет, проехал с полкилометра и, наконец, почувствовал под колесами упор. Демин снял с баранки левую руку, утер пот, смахнул грязные капли со лба и надбровий, поерзав, сменил положение затекшего тела, определился в пространстве и вдруг издал тоскливый, волчий вой.

Он не понимал, откуда приступ звериной тоски, ведь худшее осталось позади, теперь он знал, что доедет, встретится с председателем и получит необходимый мотор. Долговязая фигура на перекрестке?.. Старуха, которую он не подобрал... Да что ему эта старуха? Сколько их мается по обочинам жизни, на всех души не хватит. Но эту старуху надо было взять. Почему?.. Он даже не успел задуматься, ответ возник липким потом, выступившим под рубашкой. Старуха эта была Таля...

Старуха... Они не виделись каких-нибудь три-четыре месяца. Нельзя состариться за такой короткий срок. Нельзя. Конечно, перемена совершалась исподволь, но он ничего не замечал, замороженный ее прежним образом. И когда они встречались, он успевал наделить сегодняшнюю, уже другую Талю ее минувшей, юной прелестью. А сейчас просто не успел, слишком неожиданной оказалась встреча, он был занят борьбой с дорогой и пропустил тот миг, когда свершалось вселение Тали в прежнюю оболочку, он увидел ее такой, какая она есть на самом деле. Господи Боже мой,

да в ней не осталось ничего, ровнешенько ничего от той далекой Таи, которую он любил в молодости и не переставал любить. А может он любить эту долговязую, худую, темнолицую старуху, что махала рукой с зажатой в крючковатых пальцах рублевкой? Ответа не было, в душе пустота...

А Таля узнала его?.. Скорее всего, узнала, хотя он проскочил быстро и боковые стекла залеплены грязью. Что она подумала о его поступке? Какая теперь разнища, — устало сказало в нем...

...Председатель встретил Демина как родного. Поехал с ним на склад и даже помог перетащить двигатель в кузов грузовика. С некоторым удивлением Демин обнаружил, что «руководитель» рассчитывает на угощение, будто старался не для своего колхоза, а для чужого дяди. Да нешто жалко, коли человек хороший?.. Но после истории с Жоркой Демин сильно сомневался, можно ли считать председателя хорошим человеком. Все-таки он повел его в ресторан «Лебедь», который в дневные часы превращался в простую столовку, поэтому водку здесь не подавали, ее приносили с собой и держали под столиками. Но коньяк имелся, и Демин взял бутылку, а в глубокую тарелку набрал некорыстной закуски: сало, колбасу, помидоры, пирожки с мясом. Он налил председателю полный граненый стакан, а себе плеснул на доньшко, чтобы чокнуться, за рулем не пил, хотя гаишного надзора в райцентре не было. Председатель знал его правило и не настаивал на равенстве. «Будь здоров, не кашляй!» — пробормотал он, цокнул доньшком своего стакана по деминскому и жадно, духом, выпил.

Демин чувствовал, что председатель чем-то озабочен, но спрашивать не стал: захочет, сам скажет.

— Хорош моторчик я тебе выцарапал? — спросил председатель.

— Хорош! Недельки на две хватит.

— Болтай! Обязан тридцать две накатыть.

— А восемь не хочешь?.. Нет, Афанасьич, пока дорог не будет, на технику не надейся.

— Опять за свое? Еще не надоело?

— Надоело. Поэтому и говорю.

— Ты же сам знаешь, дороги нам не приказаны. Мы должны дома дояркам строить.

— Зачем?

— Чтобы привязать их к этому благородному труду, — скучным голосом сказал председатель и наполнил стакан.

— Придуряешься, Афанасьич. Неужели наши старухи перестанут за дойки дергать, если ты их в хоромы не переселишь?

— Не о них речь. Прицел на молодежь. Будь!..

— Молодые в доярки не пойдут, хоть ты дворцы построй. Им маникюр жалко.

— Что правда, то правда, молодых доить не заставишь, — закусывая салом, согласился председатель.

— А Жорку ты зря обидел.

— Не зря. Пора уже понять, что дороги не наша забота... — И со вздохом добавил: — От них я не чешусь.

— От чего же ты чешешься?

Председатель внимательно посмотрел на Демина, навалился грудью на столешницу и заговорил торопливо, хриплым шепотом, глотая слова:

— Нюрка... бухгалтерша, грозитя уйти. Неохота ей под суд... И очень даже свободно, если ревизия... Никто не защитит. Я — не я, и хата не моя — закон игры...

Демин не понимал его возбуждения и тревоги. Напился он, что ли? Не такой мужик Афанасьич, чтобы окосеть с двух стаканов. Но не могла же его взволновать угроза Нюрки оставить свой пост. А председатель, дергая головой, словно вокруг вилась оса, сообщил, что Боголепов с автобазы, известный «доставала», собрался в Сочи лечить грязью радикулит.

Не понимая, почему председатель съехал на болезнь Боголепова, Демин счел нужным выразить одобрение услышанному.

— Пусть подлечится. Мужик хороший.

— Очень замечательный... Двигатель вот устроил. И задний мост для ЗИЛа обещал. Но как ты четыреста рублёв спишешь, если Нюрка уйдет?.. Не знаешь, и я не знаю.

— Какие четыреста рублёв?

— На культурный отдых. На юг с пустым карманом не ездят.

— Вон-на!.. — дошло наконец до тугодумного Демина. — Понятно... А ты погляди, Афанасьич, с другой стороны. У него же хозяйства нету. У нас-то и коровка, и овцы, и боровок на откорме, и огород. У тебя вовсе вишневый сад, как у Чехова.

— А чего я с него имею? На рынок не вожу.

— Твоя Марья варенье тазами варит. Настойки сколько четвертей закладываете? А он, сердешный, никаким баловством не пользуется.

— Слушай, пойдешь в бухгалтера? — ошарашил вопросом Афанасьич. — Или в председатели?.. Завтра же соберу перевыборное. Мне ничего не сделают — ветеран войны и печень больная. Лечиться поеду. На свои.

— Не дури. — Демину впервые пришло в голову, что не так-то просто будет найти охотника на место, занимаемое этим недалеким, бесполетным человеком, которого все заглазно костят, и вроде бы справедливо. — Давай скинемся. Не обедняем.

Председатель глянул насмешливо:

— Колхозный карман трещит. А наш вовсе лопнет.

— Вон-на!.. Это, значит, завсегда?..

— А ты думал!.. За красивые глаза?.. Нам же вечно больше других надо, — со злостью, метящей в Демина, сипел председатель. — Моторы, кузова, задние мосты, хедеры, захеры...

— Да ведь план!..

— Вот где у меня этот план!.. По мне, лучше лечь на дно. С отстающих какой спрос?.. — Афанасьич налил коньяка, выпил, кинул в рот кружок колбасы, сжевал и малость успокоился. — За коровий десант слышал?

— Какой еще десант?

— Конечно, об этом в газетах не пишут. И в телевизоре не показывают. Совхоз «Заря», знаешь, вечно в хвосте плетется, так их чуть не из соски поят. Коров французских выдали как отстающим по животноводству. Породы «шароле». А у них силос подобрали, сенажа — ноль целых хрен десятых, комбикорма в помине нету. А трава и кормовая рожь полегши от дождей — машиной не возьмешь, косарей — днем с огнем...

— Выгнать на пастбище?..

— Ага. Там такие же умные. Попробовали выгнать. У двух коров передние ножки сразу — чик, напололам, пришлось стрéлить. Вес-то огромный, а ноги тоненькие, не по нашим почвам. И вот кто-то за десант сообразил. Нагнали технику военную: платформы, на которых пушки возят, погрузили коров и — в поле, в зеленую рожь. Все начальство туда съехалось, газетчики — большой аттракцион.

— И чего дальше? — заинтересованно спросил Демин.

— Дальше?.. Скотина ревет, корма чует, а взять не может. Там все, кто был, прямо с мозгов долой. Рвали рожь и в пасть коровам пихали.

— Не пойму... Чего же они не паслись?

Председатель не спеша налил, выпил, закусил пирожком.

— Французенки. Не умеют. К стойловому содержанию приучены. Понимаешь, которое уже поколение из кормушек жрет.

— Мать честная! — ахнул Демин. — Это как же они скотину испортили!

— Чего с них взять! Они лягушек едят.

— Не лепи горбатого, Афанасьич!

— Честное партийное слово, — серьезно и грустно сказал председатель. — Я сам не верил. А наемни в райкоме своими ушами слышал: вывозим мы во Францию лягушек, зеленых, прудовых. А еще улиток и муравейники. Очень оживленная торговля.

— Пстой, не части. Зачем же они лягушек едят?

— А чего им еще есть? Все подчистую подобрали. Они червей едят, улиток, рачков всяких. И лягушек. Это у них первый деликатес, как у нас вареная колбаса.

— А муравейники?.. Неужто их тоже жрут?

— За муравейники точно не скажу. Может, кислота нужна. Может, ревматизм лечат. Или леса поддерживают. Я лично не интересовался. Не знал, что ты спросишь.

— Как они только живут! — задумчиво, презрительно-жалеючи произнес Демин. — Ни лягушек, ни муравейников. Почему в России всегда все есть, а крутом пусто?

Председатель не ответил. Коньяк был допит, и председатель потерял интерес к разговору.

Прежде чем покинуть райцентр, друзья заглянули в универсам, куда как раз завезли подарочные наборы, включавшие духи, пудру, шоколад, баночку икры, копченую сосиску в целлофане, гаванскую сигару в латунном футляре. Взяли по набору.

Обратная дорога, не ставшая легче, оттого что в кузове ворочался автомобильный двигатель, целиком подчинила себе сознание Демина, но, когда вернулись, сгрузили мотор и расстались с председателем, он почувствовал сосущую тоску. В этой тоске был и рев голодных французских коров посреди полеглой ржи, и унылый бубнеж робкого, не справляющегося с делом человека. Но Демин знал дальней, дальней угадкой, что вся эта муть прикрывает главную печать — встречу на перекрестке с долговязой темнолицей старухой.

Демин не поехал сразу за сеном, а подрулил к магазину, как раз закрывавшемуся на обеденный перерыв. Завмаг Люба впустила Демина и заперла за ним дверь. С удивлением и не без приятства Демин обнаружил здесь своих постояльцев: журналиста и Пал Палыча, они сидели в креслах гарнитура, каждый с коробкой «пьяной» вишни в руках. Вкуснейшие эти конфеты впервые достигли Дубасова, но не пользовались почему-то спросом, местные жители предпочитали карамельку. При его появлении крутые све-



жие скулы продавщицы Лизы жарко вспыхнули, и Демина чуть отпустило. Хорошо, что он застал тут своих гостей, которым, видимо, наскучил постельный режим, можно будет немного развлечь приезжих, ведь им так не повезло с погодой.

Подмигнув Любе, он взял две бутылки коньяка, пачку печенья, коробку с «пьяной» вишней и пригласил постояльцев в чуланчик на задах магазина, считавшийся кабинетом завмага. Москвичи охотно приняли приглашение. Люба внесла пай от лица работников прилавка: съезжившийся, но еще годный лимон, сахарный песок, несколько болгарских помидоров и свежую сайку. Компанию пополнила уборщица тетя Дуся, громадная, не старая, но рано поплывшая женщина. Пал Палыч окрестил ее Валькирией, и Демина, не зная, что это значит, стал так называть Дусю, а та — откликаться из робости перед Пал Палычем, которая сродни той, что испытываешь при виде незнакомого, ярко окрашенного и, наверное, ядовитого насекомого. Пал Палыч с его лезвистым лицом, верткостью, вездесущими руками и небрежно-самоуверенной речью тревожно завораживал местных бесхитростных людей. И как-то сразу он стал хозяином за столом: командовал, кому куда сесть, разливал коньяк, распределял кружочки лимона и нехитрую снедь.

Женщины сняли халаты и оказались в одинаковых нарядных кофточках, заслуживших одобрение Пал Палыча. Он властно усадил рядом с собой Лизу, приткнул Любу к журналисту, а Демину предоставил ютиться у огнедышащего бока Валькирии — Дуси.

Журналист — человек усталый и пассивный, но сохранивший вкус к недоброму наблюдению жизни, уже понял, что сегодня будет чем поживиться. Пал Палыч явно клюнул на красивую Лизу с жарко вспыхивающими крутыми скулами и, будучи в любви сторонником кавалерийского наскока, дал шпоры коню, бросил поводья и с занесенной саблей ринулся вперед. В самом порыве Пал Палыча не было ничего оригинального и тем паче привлекательного,

но Лиза — женщина гранитного Демина, о чем немедленно догадался тяжелый, сонный рохля и что осталось скрытым от приметливых глаз его шустрого приятеля, и это обстоятельство дарило надежду...

— Стоило забираться в проклятую глушь, чтобы встретить такую женщину! — витийствовал Пал Палыч. — Предлагаю тост за Лизу. Нет, за ее скулы. Они горят, как светофоры. Только что значит красный цвет: нельзя или можно?

Лиза пламенела, Демин осторожно вздыхал, Люба пофыркивала: экий насмешник! Валькирия — Дуся усиленно жевала, приглушая в себе слух челюстной работой, всем было стыдно.

— Сегодня мы устроим бал! — объявил Пал Палыч, разливая коньяк по рюмкам. — Бал, переходящий в свадьбу. Покончено с холостяцкой жизнью. Вручаю ключ от своей свободы лучшей женщине Нечерноземья. Хозяин! — повернулся он к Демину. — Приготовишь молодоженам боковушку, только подальше от тухлой рыбы!.. — и захохотал.

Демин не знал, что подобное бывает среди людей. Этот приезжий впервые видит женщину, отнюдь не девчонку, не вертихвостку — вдову и мать, в той прекрасной, грустной поре, которую называют бабьим летом, — и что он себе позволяет! А ведь Лиза ни взглядом, ни жестом не поощрила его к такому поведению. Застенчивая, тихая... Гостеприимство и великодушие боролись в Демине с оскорбленным чувством. И опять ему казалось, что все это он уже видел: разнузданное ухажерство Пал Палыча, замешательство присутствующих; кажется, дальше происходило что-то совсем гадкое, но что — он не мог вспомнить, как не мог прикрепить к месту и времени смутное воспоминание.

Журналист ждал. На его глазах Пал Палыч не раз попадал впросак, но из всех житейских передраг вышел, не отступив ни на волос от своей гнило-обаятельной сути, сочетавшей хваткость и наглость со стрекозиным легкомыслием. Его выживаемость впечатляла, но журналист допис-

тывал книгу своей жизни и хотел, чтобы на последних страницах порок был наказан, а добродетель восторжествовала. Пока что Пал Пальч проигрывал лишь бои местного значения. Чистоплюйство, порядочность бессильны перед цинизмом. Хотелось верить, что Демин — воинствующий гуманист. Если Демин его стукнет, думал журналист, то прихлопнет как муху. Он внимательно поглядел на Демина и понял: добрый богатырь. Такой и пальцем не тронет разыгравшегося мышиноного жеребчика, слова не скажет; он поглядывает украдкой на Лизу и будто просит: потерпи, милая, черт с ним, с дураком... А хорошая пара — их хозяин и эта продавщица. Почему Демин на ней не женится?.. И тут у журналиста внезапно пропала охота в недобром самоустранении. Не ради Пал Пальча, разумеется, а ради Лизы и Демина надо вмешаться. В любом застолье случаются мгновения дружного отвлечения от общей темы. Журналист дождался такого мгновения и шепнул Пал Пальчу:

— Угмонитесь!.. Это подруга Демина.

— Как?! Почему не предупредили?.. Хорошенькая история!..

Пал Пальч скосил бледно-голубой глаз на Демина. Тот сидел над нетронутой рюмкой; загорело-каленное лицо с капельками пота на лбу, клетчатая рубашка расстегнута на широченной, тоже загорелой, поросшей седеющим волосом груди, пудовые кулаки отдыхают на столешнице. Воображение Пал Пальча разыгралось..

— Разгонную! — крикнул он, вскочив. — Пошутили, почесали языки, посмеялись — пора и за работу. Обеденный перерыв кончился. Мы-то бездельничаем, а Любушке и Лизаньке пора обслуживать покупателей, Дусеньке — наводить чистоту. Предлагаю тост: за культурную торговлю. И чтобы покупатель был взаимно вежлив с продавцом. Внешняя торговля — оплот мира, она соединяет народы и государства. Но миротворчеству, сближению людей служит всякая торговля, в том числе сельская..

Снаружи донесся сильный стук: нетерпеливые покупатели рвались в магазин.

Завмай Люба двинула стулом, готовая к сближению с покупателями.

— Успокойтесь, — шепнул Пал Палычу журналист, — он не будет вас бить.

— За советскую торговлю! — провозгласил Пал Палыч, опрокинул рюмку в рот и выметнулся из-за стола.

Через несколько минут журналист нашел его за штабелем дров.

— Ну, что? Угомонился наш ревнивец? — с улыбкой, но несколько нервно спросил Пал Палыч.

— А разве он буйствовал? Терпеливо сносил ваше хамство.

— Откуда мне было знать?.. Вам кто сказал?..

— Никто. Это и слепому видно. Но вы настолько эгоцентричны...

— Я увлекающаяся натура! — перебил Пал Палыч. — Ладно. По-моему, я здорово запудрил им мозги. Кстати, вы не обратили внимания: напротив нашей избы целый день в окне — очаровательная мордашка. Спелая рожь, молоко, васильки. Если б не чисто русский тип, то, ей-Богу, Ренуар...

— Успокойтесь. Это жена младшего Демина.

— С ума сойти! — взвился Пал Палыч. — Братья-разбойники! Расхватили всех лучших баб. А мне что — на Дусю кидаться? К черту!.. Вы домой?.. Я хочу заглянуть в Божий храм...

— ...Слушай, — сказал Демин Лизе, — я приду сегодня.

— Боюсь, сын приедет.

— Да что он — маленький, не знает?

— Знает, конечно, — вздохнула женщина. — Все знают... Может, другой раз?

— Смотри... — сказал Демин, отводя глаза, налитые тоской.

— Ты что? — спросила она озабоченно. — Неужели из-за этого таракана?.. — Она прыснула. — Господи, да по мне!..

— Нет, — сказал Демин. — При чем тут этот?..

Он не знал слов, чтобы сказать о том, что его томило. А слова были простые, как трава, но не шли на ум.

— Так чего же ты?.. — допытывалась Лиза.

— Не знаю... Давай поженимся.

— Еще чего?.. — Ее яркие скулы побледнели. — Мой поезд ушел. Найди молодую. Тебе дитя нужно. Слушай... ладно, может, Колька и не приедет..

...Лишь во второй половине дня, прихватив гостинцев для изнемогающих в заброшенном Пёрхове старух и забрав Жорку, Демин отправился за дальним сеном. Немного распогодилось, в небе появились синие промоины, и в них, будто истосковавшись по земле, лупило солнце. Шевельнулась надежда, что, вопреки мрачным прогнозам метеослужбы и бушующему над Тянь-Шанем антициклону, погода установится. Уж больно хотелось этому верить, ведь что ни год, то потоп, то засуха, и вообще не стало ровного, справедливого на дождь и вёдро лета. Можно впрямь поверить старухам, что продырявило кровлю над землей, отчего не стало защиты от всякой вражды.

По дороге Демин поведал брату о своей встрече и разговорах с председателем. Из всего услышанного Жорка заинтересовался лишь тем, что касалось дорог, и сразу стал тереть свою черепушку. Демин уже жалел, что коснулся запретной темы, вредно это для Жорки.

— Значит, он так ни черта и не понял? — морщась, спросил Жорка.

— А чего понимать-то?.. Он человек зависимый, что прикажут, то и делает.

— А вот Миликян из «Богатыря» взял да и построил дорогу. И никого не спрашивал. А «Богатырь» сейчас — лучший колхоз в области. И молодежи в нем полно.

— У Миликяна высшее агрономическое образование, его где хошь с руками оторвут. Да и в Армении полно родни. Чего ему бояться? А нашему Афанасьичу коли дадут по шее, уже не встанет.

— А ты думал, братуша, — сказал Жорка с каким-то странным светом в дымчато-голубых, как у младенца, глазах, — что на войне люди погибали не только за Москву или Ленинград или за взятие рейхстага, а за безымянную высоту, за речушку, вроде нашей Лягвы, даже за болотную кочку?

— Ну и что?

— А то... Почему мы сейчас так за себя боимся? Ну, снимут с работы, ну, еще чего... Подумаешь!.. Ради стоящего-то дела, а?.. То, вишь, и речушка, как кот насикал, и болотная кочка столь для родины важны, что жизни не жалко. А сейчас, выходит, нету вообще ничего такого, за что пострадать не страшно?

Демин жалел, что затеял этот разговор. Он не знал, может ли доказательно возразить или всякие возражения хитры и ничтожны, а настоящая правота у Жорки, но знал, что разговор этот брату вреден, и попытался все свести к шутке:

— Постой, ты же завязал с дорогами?

— Да ну, глупость какая! Сказал со злости... Не будет дорог, не будет улиц — и ни хрена не будет. Сам же понимаешь.

Огромная лужа, обдавшая лобовое стекло мутной водой, избавила Демина от ответа...

...К удивлению братьев, в покинутом Пёрхове занялась какая-то новая, странная жизнь, посторонняя тем древним местным сельчанам, которые еще теплили свою свечу. Пёрхово давно уже отключили от электросети, сняли со снабжения продуктами и хлебом. Но деревня не померла. Тут обосновались, пусть временно, сезонно, пришлые из города люди. Они населили покинутые избы, затопили печи, чего-то посадили в огородах, очистили их от сорняков, развешали белье на веревках. Не очень понятно было, как они добирались

сюда, но добирались и за это пользовались здешним чистым воздухом и здешней тишиной, добрым лесом, прозрачным мелководьем Лягвы, купались, ловили рыбу и раков; наверное, об них грелись и местные старухи, чего-то им перепадало от пришельцев, и, видать, не так уж бедно, коли дары Демина были приняты хоть и благодарно, но без надрыва.

Эти перемены особенно удивляли старшего Демина: недели полторы назад, когда он косил тут, то не заметил какого-либо оживления, деревня покорно сползала в смерть. То ли городские еще не съехались, то ли в погожий день все были на речке, в лесу, то ли ему застило зрение. А Жорка взыграл и, склонный к радению о народной пользе, уже трудил свою больную голову, как надо было бы использовать Пёрхово. Объявить его дачной зоной и сдавать дома от колхоза, создать базу для грибников и ягодников и, обратно, взимать за аренду, оборудовать привал для рыбаков и охотников, тоже, разумеется, не бесплатный, а все вырученные средства пустить на дорожное строительство. В одержимости Жорки было что-то пугающее...

Рассуждения брата и оживленный вид Пёрхова нарушили привычные грустные связи Демина с тем местом, где прошли его детство и юность, где он навсегда угадал Талю в стае веснушчатых, белобрысых, голенастых девочек и где навсегда же ее потерял. Но это длилось недолго, слабые приметы новой жизни и оживляющие пейзаж фигуры новоселов смазались, истаяли и Жоркины речи, он опять видел заросшую бурьяном, лопухами тихую сельскую улицу — в ее запустении была опрятность, палисадники, лавочки, яблони, свешивающиеся через плетни, — свой старый, нежный мир. Но возвращение прежнего Пёрхова вместо привычной сладкой тоски принесло острую, неудобную боль. Наверное, это связывалось с явлением Тали на дороге: как безнадежно изжился образ, который он нес сквозь всю свою жизнь! И ведь так же — со стороны — износился и он сам, без толку истратив себя на ожидание, на дурную упрямую игру в надежду, не желая понять, что

назад дороги нет, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Даже Пёрхово, заторопившееся к исходу в последние годы, обнаружило животворные силы с появлением новых людей. Как же мог он так закоснеть, залениться омороченной душой, покорно выпуская из вялых пальцев время, которое не вернуть?..

Ему захотелось скорее к Лизе. Гонимый потоком, не дающим взглянуть в лик ускользящего бытия, лишь уцепившись за нее, как за прибрежный тальник, за ветвь плакучей ивы, сможет он остановиться, очнуться, а там и выбраться на прочный берег. Но между ним и Лизой было еще много непрожитого делового времени, необранного сена, недоезженных километров. И он покорно и мощно принялся сваливать влажное сено в кузов грузовика...

А солнце, похоже, всерьез укрепилося в небе. Светило вовсю, лишь изредка задерживаясь скользящим облачком, и пока они работали, и пока отвозили сено, и пока Демин медленно, задом, подавал машину в узкий двор, и пока скидывали сено, и пока он отводил грузовик на машинный двор, а на пути назад, раздевшись до сатиновых трусов, отмывался с мылом и мочалкой в холодной Лягве, — и тут поверилось, что это навсегда. Солнечное тепло хорошо растекалось по остывшему телу, неохота было одеваться. Какое же благо — великое и живительное — доброе летнее солнышко! Демину захотелось прочесть какие-нибудь стихи о солнце, в школе он их много учил, «Солнце зеленеет...», да нет, какого хрена ему зеленеть? «Травка зеленеет, солнышко блестит...» А дальше забыл. Как и все забыл, чему в детстве учился. Не помнит он стихов ни про солнце, ни про Евгения Онегина, ни про Анну Каренину. Надо достать «Родную речь» и все насквозь перечитать, а стихи выучить наизусть.

И чего он так взбодрился? Оттого что светит солнце? Или, смыв с тела грязь, пот и пыль, он заодно с души смыл что-то дурное, липкое, что таскал не день и не год?

— Инженер! — послышалось с того берега. — Егорий мне наряд закрыл. Не возражаешь?



Там стоял знаменитый шабашник-печник Звягин, которого позвали складывать печи в домах для доярок. Звягин был знатный мастер, его печи сроду не дымили, не гнали угара, а тянули так, что чуть ли не утягивали поленья в дымоход.

— Закрыл, и ладно, — отозвался Демин, не понимая, зачем Звягин сообщает ему об этом.

— Забираю я Адольфа. Ты не возражаешь?

Вон что! Значит, стакнулся с ним зятек, вопреки всем заверениям, эх же допекло его полусухим законом!

— Дай хоть с сеном кончить, — попросил Демин.

— Зашиваюсь я с печами, — хмуро сказал Звягин. — Кирпич весь битый, намаисси, пока цельный найдешь, а меня в Воропаевке ждут.

— Ладно. Незаменим Петрович. Зять не в крепости у меня. Уйдет так уйдет.

Звягин потащился навздым, оскальзываясь в грязи, а Демин сказал про себя ему вслед: хрен ты его получишь. Буду ему тайком персональную бутылку ставить. А засыпемся — Верушка простит. Ей же лучше, чтоб Адольф под приглядом чумел. Экую власть забрал над человеком яд, заключенный в бутылке! Мысли Демина соскользнули на соседнее, не менее важное: рядом с главной открытой действительностью уверенно существует вторая, теневая, которую молчаливо условились не замечать, хотя она проникла во все поры. Жорка пятнадцать суток огреб за то, что пытался дорогу построить, а хабарщики цветут и пахнут. Не может государство за всем поспевать, помнить о каждой пуговице для порток, сортирном крючке, деревенской стежке-дорожке или избяной печи. Значит, надо чего-то придумать, а не отдавать свою заботу на откуп кому не след... Заключив свои невеселые мысли привычным нутряным звуком, Демин пошел домой.

Он надел чистое белье, рубашку, вельветовые брюки, кожаную куртку, натянул короткие резиновые сапожки, а на голову — большую «грузинскую» кепку, сделанную в

Москве на заказ. В полиэтиленовый мешочек сунул парфюмерно-пищевой набор — Лиза не терпела дорогих подарков и принимала лишь знаки внимания, не имеющие большой денежной цены.

Семья собиралась вечерять, но Демин не стал терять времени, до Лизы было восемь километров грязи. Хорошо еще, что маленько подсохло, а то и к ночи не доползешь. Он, не присев, съел кусок студня, запил его кружкой парного молока, достал из заначки под кроватью бутылку «Кубанской» и вручил ее скрытым образом зятю.

— Пока не кончим с сеном, не вяжись с Васькой Звягиным. Осталось ровно ничего. А нервы я тебе поддержу.

Зять кивал, не глядя в глаза, но бутылку взял без колебаний, твердой и решительной рукой.

— Только не шуми, — попросил Демин. — Перед Верушкой стыдно. Можешь ты хоть раз тихо надраться?

— Ладно. Не гуди! — еще не выпив, но уже запальчиво отвел указания зять.

Сильный шорох, будто горох за стенкой просыпали, отвлек Демина. Он прислушался, боясь поверить догадке, нехотя глянул за окно: опять пошел дождь. Не сильный, тонкий, надо выбрать угол зрения, чтобы разглядеть его нити, но такой может на сутки зарядить. Его не переждешь. Демин вздохнул и потянулся за дождевиком. Но тяжелый брезентовый, обметанный понизу засохшей грязью плащ грубо противоречил нарядному виду, и Демин повесил его на место.

— Хватит с тебя и болоньи, — сказал Демин дождю.

...Как быстро намокает окружающий мир. Будто не бывало долгой солнечной передышки, за несколько минут замесилась вновь рыжая грязь, вспухли, пошли пузырями лужи, нагроули влагой растения и драгоценно, глянцево зазеленела давленная кожа громадных лопухов.

Скользко. Остановился. Выхватил кол из тына. Пошел дальше. Небо какое-то рваное, клочьями вниз свисает, по верхушкам деревьев метет. И видно, как стряхиваются с

исчерна-серых косм капли. А затем происходит дождь в дожде. С белесой глади — солнышко маленько подсвечивает с исподу — высеивается дождевая пыль, а сквозь нее вдруг прорывается крупный косою дождь из сумрачных, низко свисающих туч. Обдало все, что есть на земле, отбарабанило по кожаным лопухам и сгнуло. С минуту-другую кажется, что дождь вовсе перестал, ан нет, к мокрому лицу будто паутинка липнет — по-прежнему сочится бледная высь. Новый охлест, на этот раз сзади, в спину, бросает вперед по скользоте.

И раз Демин не удержался на ногах, но сумел упасть не в грязь, а на травяную обочину. Раздалась лопухо-репейно-подорожниковая поросль, мягко приняв беспомощное тело. Подымаясь, схватился за волчец, раскровянил о колючки ладонь, по спине холодные струйки ползут — налило за ворот. Демин рассмеялся над своей дурацкой неудачей — Адольф так не кувыркается, когда вдугаря пьяный домой ползет. Надо внимательней быть, больно ты горяч, брат Демин!..

Мать честная, во что превратились его фартовые брючки — до колен захлестаны, а на заднице глиняный блин. Демин соскреб нашлапку, а штанины трогать не стал — все равно без пользы. Хорошо, что догадался забросить к Лизе пару джинсов, будет во что переодеться. И рубашка там у него есть — Лиза сама ему в магазине взяла. Надо бы забросить туда и другую амуницию: трусики, майки, носки, ботинки. Сейчас придется ему джинсы на голое тело надеть, чувяки мягкие тоже найдутся, а майку он Лизину натянет. Лиза не толстая, но крупная, ширококостая, на него ее майка влезет, только на груди будут торчать две шишечки — от ее сосков.

Он вспомнил теплоту ее груди, всего большого доброго тела, ласковых, легких рук, вспомнил упор крепких скул и сладкую влагу рта, и от всех этих волнующих воспоминаний заторопился, сердяга, и запахал брюхом в грязь. Он и не заметил, как его скосило. Может, он убыстрил шаг, но ставил

ногу твердо, не скользил, может, из земли торчало и за штанину зацепилось, может, травяная плеть сапог захлестнула.

А болонья от сильной мокрети не защищает, пустая вещь — для городских игрушечных условий. Он промок насквозь. Надо было дождевик натянуть. Дофорсился, Демин, придешь свинья свиньей. Конечно, Лизаню этим не смудишь, она его в любом виде примет — на редкость преданный человек. А может, любящий?.. Демин усмехнулся. Ишь чего захотел, старый пес. Рассластился. Тебя и молодого не полюбили, когда волос был густой и темный, и зубы все на месте, и кожа гладкая, и глаз веселый, а кому ты сейчас нужен, сушенная вобла? От одиночества, пустоты не гонит тебя вон вдовая женщина. Мужики-то нынешние — или женатики, или пьянь, а ты свободный и трезвый, не за бутылкой тащишься.

И тут ему захотелось выпить. Не просто дернуть стакан, а по-культурному, с Лизой, в теплой избе, под селедочку и рассыпчатую вареную картошку. А после — чаю с медом надуться, грея руки о фарфоровую чашку и глядя, как плавно и повертливо движется Лиза по избе, чего-то готовя на ночь, а потом слышать спиной, как она взбивает подушки в спальне, оправляет постель. И дожить до ночи с нею, и освободиться от всего налипшего на душу за сегодняшний больной день, и чтобы навсегда сгинула темнолицая старуха на росстани с поднятой, будто проклинаящей рукой и живое страдание стало бы грустной памятью. И все это без слов, без тщетных потуг высказаться, он не говорун, не умеет сорить словами, да это и не нужно с Лизой, при ней тишина становится умной.

И опять мысль о Лизе обернулась нетерпением, а нетерпение — новым нырком в грязь. Демин не спешил подняться, он уже промок насквозь. Руки, выше часов — на левой, выше японской браслетки от сосудистого давления — на правой, провалились в грязь, и Демин спокойно опирался на них, чтобы сохранить полусидячее положение и рассчитать дальнейший путь. Нельзя ему сейчас думать о Лизе,

а то он сроду не дойдет. Надо думать о чем-то успокаивающем, придающем шагу степенность. О ком же ему думать? О матери — стара, плоха, никакой тут не будет успокоенности, о брате Жорке — как загредел на пятнадцать суток за горячую свою честность? О племяннике — справный малый, да в армию идет, все равно жалко, о Жоркиной жене, о картинке писаной, обратно за брата переживаешь; о Верушке и ее благоверном думать — душу рвать, вот о двоюродном брате, о саратовском Сенечке можно думать — у него все красиво — и в работе и в быту. Решено: он будет думать о Сенечке, сколько хватит, а там, может, еще какая легкая мысль зацепится.

Демин обтер руки мокрой травой и поднялся с земли. Дождь проредился, впереди за бугром открылась луковками и крестами церковь. Мать честная, огорчился Демин, шел-шел, а и двух километров не прошел, это когда же доберется он до Лизаветы? По левую руку зеленая луговина полого уходила к густому ивняку, скрывавшему узкую Лягу. Там паслась по конскому щавелю лошадь темной масти. Такой у них в колхозе не значилось. И тут Демин сообразил, что это Соловьи, прозванный так за расцветку старый мерин. А потемнел — от дождя. Шальная мысль пришла ему в голову: прискакать к Лизе на коне. Конечно, по такой дороге не поскачешь, особенно без поводьев и седла, но и шажком доехать все лучше, чем вот так — окарачь.

Демин пошел через луг, ставший топким болотом, вода заливала в короткие сапожки, но это уже не имело значения. Пошипывая траву, равнодушный к секущему его дождю, Соловьи медленно удалялся к реке. Демин позвал его, но тот и ухом не повел. Казалось бы, в сиротливой своей неприютности он должен был откликнуться человеческому голосу, но старому мерину надоели люди. Он знал, что от них не может быть ничего, кроме доуки. Когда Демин положил ему ладонь на шею, Соловьи не отозвался даже вздрогом кожи, не повел глазом, залепленным мокрой челкой. Приговаривая что-то ласковое, Демин соображал, как

бы на него взобраться. В детстве Демин был лихим наездником, не боялся даже злых, закидистых кобыл, но с той далекой поры и близко не подходил к лошади. Чтобы сесть на неоседланную лошадь, надо упасть на нее животом и, держась за холку, перекинуть через круп ногу. Он так и хотел сделать, да, видимо, недопрыгнул и сполз назад. Изловчившись, он подпрыгнул, как мог, высоко, упал брюхом на скользкую спину Солового, но перекинуть ногу не сумел. Забылся молодой навик, ногам его ловко с педалями машины, не с телом животного. Соловый отказывался ему помочь. Он вскинул голову, всхрипнул, затрусил боком, прогнулся, рванул вперед, и Демин оказался на земле. Соловый сразу стал и, не оглянувшись на поверженного человека, принялся пощипывать траву.

Было не больно, а обидно. Что стоит этой кормленной скотине оказать снисхождение путнику? Какие особые труды несет мерин в колхозе? Ну, воду возит, обед в поле, только и делов. Экая нелюбезная скотина!.. Переупрямить Солового не удалось, — когда Демин в очередной раз направился к нему, мерин не спеша повернулся и кинул в него задними ногами.

— Ну и черт с тобой! — обиделся Демин и побрел через луг к дороге...

...Дальше все было не по правде. Ведь когда зарядит такой вот обложный дождь, он может быть сильнее или слабее, может тихо сеять и хлестом бить, может обратиться в мельчайшую водяную пыль или кропить землю тяжелыми гулкими каплями, но чтобы сквозь него прорвался грозовой ливень, такого сроду не бывало. А вот случилось. Тугой ветер натянул пространство, уперся в грудь Демину, оборвав его шаг, дождь понесся над землей, будто лег на ветер, и вдруг исчез. Ветер ушел ввысь, разорвал и разметал серую наволочь, обнажилась грифельно-белесая рыхлость, в которой ворочались не обретавшие форму громозды, оттуда вырвался разящий блеск, задержавшись точками слепоты в зрачках, гром и ливень рухнули одновременно.

Ослепленный, оглушенный, сбитый с толку, Демин пришел в себя меж мраморных надгробий, гранитных плит и металлических оград старого церковного кладбища. Над кладбищем смыкались кроны высоченных вязов, задерживая ливень. Демин вытер лицо носовым платком, проморгался. Перед ним был старый гранитный голбец с золоченой, почти осыпавшейся надписью: «Драгоценному супругу — безутешная вдова». Вон как — драгоценному!.. От безутешной!.. Надпись была с буквой «ять». Давно истлели в земле гробы и заключенная в них плоть, а память о далекой супружеской любви жива и поныне. Ах, как хорошо оставить по себе безутешную вдову! Демин представил себе черный вдовий, плотно повязанный платок, из траурной рамы с тихой скорбью глядят теплые карие глаза, и одинокая слеза вычерчивает дорожку по крутой скуле. До чего легко и удобно вместились Лиза в примечтанный образ!..

Демин заметил свет, пробивающийся из церковных дверей. Шла служба, очевидно, поздняя обедня. Демин не больно разбирался в обрядах, в церковь он ни ногой. Не только потому, что был членом партии. Разве не бывает таких — с партийным билетом в кармане, что и детей крестят, и покойников отпевают, и куличи святят, а схваченные за руку, трусливо брусят, что в Бога на иконах не верят, но допускают что-то такое — высшее. Демин не успел поверить в Бога в раннем детстве, а вся последующая жизнь с войной, голодом, разрухой, трудом и усталостью, личными неудачами не могла убедить его в противном. Демин был знаком с батюшкой, недавно заменившим совсем одряхлевшего благочинного. Он наивно спрашивал у Демина разрешения на заказ Федосеичу какой-нибудь вьюшки или дверного засова. Опираясь внутренне на свое знакомство с попом, Демин счел удобным зайти в церковь погреться.

Шла служба. Демин следил за уверенными и хоть не торопливыми, но слишком деловыми движениями батюшки, человека лет сорока, с худым скуластым лицом,

слушал его теноровый, жестковатый голос и удивлялся: нормальный мужик, небось в армии отслужил, почему же выбрал окольную тропку, идущую мимо всего, чем дышит страна, а ведь мог бы и в сельском хозяйстве работать, и в школе преподавать. У него семья есть, дочка с сыном — школьники, еще не успел их с прежнего места перевезти, поди, ребятишкам не больно ловко, что их отец — долгогривый.

Подсобляли священнику две черные легконогие старухи из церковной десятки. Еще шесть-семь старух истово молились и клали поклоны. Не густо. Да кто потащится по такой погоде в церковь? Мать, впрочем, говорила, что в любое время тут пустовато. Как только держится приход при такой слабой посещаемости храма?.. Набрав в грудь медово-восковистого духа, Демин двинулся в глубь храма, где было теплее, но тут окончилась служба.

Разоблачившийся в ризнице, стройный и тонкий в черном стихаре, священник подошел к Демину поздороваться. Не желая быть заподозренным в религиозном усердии, Демин поспешил сообщить, что пробирается в Усково, а в храме укрылся от ливня.

Чуть приметная улыбка тронула бледные губы.

— Лишь важная цель может погнать человека за порог в такую непогоду.

— Куда уж важнее!.. — пробормотал Демин, которому показалось, что поп видит его насквозь.

— Вы не обижены за вашего постояльца? — Голос звучал вкрадчиво.

Демин не понял.

— Явился некий муж, видом странен и непригляден, взором непокоен и быстр. — Деланно-шутливый тон прикрывал тревогу. — Сообщил о гостеприимстве, оказанном ему вами, и поинтересовался иконами.

— Вон-на!.. — только и сказал Демин.

— По его мнению в домах у местных жителей завалялись черные доски, и он просил меня стать его эмиссаром



по спасению еще не расхищенных художественных ценностей.

Надо же, никак не угомонятся, разбойники! Все лезут, лезут, и грязь, и бездорожье им нипочем... Сколько же скопила русская деревня, если до сих пор к ней тянутся жадные, загребущие лапы?..

— Он полагал, — все неуверенней продолжал поп, — что в церковных запасниках есть лишние, по его выражению, предметы.

— Вы хорошо турнули его, батюшка? — с надеждой спросил Демин.

Улыбка облегчения тронула тонкие бледные губы.

— Памятуя, что Христос изгнал мытарей из храма, я вежливо, но решительно указал ему на дверь.

— Вот и славно! — Демин понял наконец, что беспокоило священника. — Обогрелся. Спасибо. Мне пора.

— Возьмите фонарик, — и, предупреждая отказ, — у меня этого добра, как в магазине.

Демин сунул фонарик в карман и протянул руку.

— Семью привезешь — транспорт завсегда. Только скажи загодя. — Доверчивым «ты» Демин как бы скрепил временный союз светской и церковной власти против шустро-браконьера...

Фонарик был с динамикой, давно уже такие не попадались Демину; он нажал на рычажок и выдавил бледное пятно света. В церковном дворе было темно от деревьев и высокой каменной ограды, а небо еще не налилось ночью — дымно-палевое от закатившегося, но еще творящего свет солнца.

Ливень кончился. Изредка по лопухам гукали полнослитые капли, то ли стряхивались с деревьев, то ли опроставшиеся тучи, уходя, отжимали остатнюю влагу. От земли тянуло легким куром. Надгробья призрачно выступали из замешенного туманом сумрака. Фонарик света не прибавлял, ему нужна чистая ночная темнота. Демин шел осторожно, опробовать землю впереди себя было нечем — кол

где-то потерялся. Тепло, которым он не успел как следует пропитаться, покидало его знобкой дрожью. Выйдя за ограду, он не столько увидел с бугра, сколько почувствовал большое неприятное пространство, отделявшее его от Лизы. Он как будто сначала начинал свой путь...

...Время приближалось к полуночи, когда задремавшая на кухне Лиза услышала скрип нарочно не запертой входной двери и шаркающие шаги в темных сенях. Спросонок она не сразу сообразила, кто это может быть. Потом к ней вернулась память: она ждала Демина, обещавшего прийти, но дождалась сына — пэтэушника, учившегося в райцентре. Он предупреждал, что может явиться в субботу, если у них отменят вечер самодеятельности. Она сказала Демину, но тот не поверил, настоял на своем. Жизнь, как всегда, распорядилась по-дурному. Если б Демин не собирался к ней, сын приехал бы в воскресенье, если б вообще приехал, — путь из райцентра в плохую погоду не больно заманчив. Но все же куда лучше, чем из Дубасова, особенно с того края деревни, где живет Демин. Каково ему тащиться сюда по грязи и дождю и получить от ворот поворот! Мужик замотан хуже некуда, как еще хватает сил думать о любви. Всю жизнь один, вот и не успел истратиться... Но Демина все не было. Они поужинали, сын куда-то выходил и скоро вернулся, молчаливый, злой, выпил бутылку воды «Байкал», лег спать. Она осталась на кухне. Лиза знала обязательный характер Демина и не сомневалась, что он придет. Она вздрагивала при каждом хлесте дождя в оконное стекло, представляя, каково сейчас путнику на дороге. Потом разразилась гроза с обложным ливнем и молниями, взблескивающими одна в другую, и Лиза взмолилась, чтобы Демин не шел к ней, чтобы он загодя раздумал идти. Она почти убедила себя в том, что он оказался человеком предусмотрительным и не высунулся из дома. Но все-таки осталась в кухне и задремала, положив руки на кухонный стол, а голову — на руки. Она не заметила, что уснула, и не знала, что спит, потому что ей ничего не снилось. А потом — скрип двери, тяжелые шаги, и вот он стоит перед ней, слышно

дыша, мокрый, грязный, заляпанный с ног до головы глиной, с рассеченной губой и подбитым глазом.

— Миня!.. Да что же это с тобой?..

— С мостков свалился, — хрипло ответил Демин. Он прочистил горло и, отвернувшись, сплюнул за порог. Затем вынул что-то из-под болоньи. — Держи.

Она не любила подарков, но сейчас взяла не споря и положила на подоконник.

— Жалкий ты мой, — сказала женщина. — Нельзя ко мне. Сын приехал.

— Давно? — бессмысленно спросил Демин.

Странно, но в глубине души он знал, что так и не достигнет Лизы. Он все время ждал той последней помехи, которая оборвет ему путь. Выбор был большой: неудачное падение, удар копытом в лоб, молния, гнилые мостки. Последние едва не сработали, бросив его лицом на комель вставшего торчком бревна, но судьба рассудила иначе — разминуться с Лизой у самого ее сердца. Быстро перекатился через память весь проделанный путь, он поймал готовый сорваться взвой и словно проглотил его. Больно оцарапало гортань.

— Какая теперь разница? — услышал он и догадался, что спрашивал о чем-то сто лет назад. — Завтра к вечеру уедет.

Понятно, речь шла о сыне. Демин не хотел, чтобы Лиза переживала. Никакой вины на ней нет. Это жизнь всех виноватит без смысла и разбора.

— Путем. Тогда и забегу, — сказал он, зная, что завтрашний день не оставит ему ни времени, ни сил.

Она тоже это знала и не хотела, чтобы Демин выглядел обманщиком:

— Чего загадывать? Там видно будет.

— Ну, я пошел, — сказал Демин.

— Погоди.

Лиза намочила полотенце под рукомойником и протерла ему лицо.

— Йодом прижечь?

— Не люблю — щиплет. На мне как на собаке заживает. Бывай.

— Постой! — Она сунулась к буфету, достала коробку, завернутую в целлофан, протянула Демину. — Сегодня завезли.

Он взял коробку и рукой мгновенно угадал подарочный набор: духи, пудра, шоколад, баночка икры, копченая сосиска и гаванская сигара. Все правильно, за этим он и шел. Он хотел коснуться Лизы — благодарно, прощально, печально, но побоялся испачкать ее. Ладно, обойдемся.

Зажужжал в руке фонарик с динамкой. Он шел, ступая в бледное пятно света. Все сущее вмещалось в этот маленький круг: он сам, клочок грязной земли и влажная яркая мурава, больше не было ничего: тьма. Пойдет ли он еще к Лизе? Не в том дело, что сын приехал. Сегодня сын, завтра племянница, послезавтра бывшая свекровь, а там постирушка затеется или еще чего. Он не вмещается в Лизино время, он — посторонний. И она не хочет, чтобы он стал ей другим. Нет у нее для него душевного места, оно занято сыном, родней, памятью о прежней жизни, разными заботами, и ничего менять она не хочет. А места в ее постели, когда она удосужится пустить, теперь ему почему-то мало. Демин еще не знал, больно ли это открытие — не беден на них оказался сегодняшний день! — хочет ли быть всегда с Лизой?.. Ответа он не знал. Знал только, что нельзя больше одному...

# МОРЕЛОН

В тот день я с раннего утра слонялся по нашему поселку, опустевшему с приходом осени. Было бабье лето — мягкое солнце прочно стояло в голубом высоком небе, клейкие нити паутины реяли в горьковатом воздухе. Но для меня эта благодетельная пора обернулась нарушением дыхания. Так неизменно в последние годы отзываюсь я на стыкование времен года. Противное и мучительное ощущение. Дышишь нормально: глубоко и мерно, а воздух не проходит в грудь, будто в стенку упирается. И ничего тут не поделаешь. Лишь изредка на зевке, на нескольких частых, судорожных вздохах удается вобрать его глубоко — и это такое наслаждение, что память о нем смягчает последующие муки. Врачи уверяют, что это явление нервного порядка — следствие контузии. Когда наступает очередной приступ, я глотаю успокоительное и начинаю мотаться по окрестностям. Порой мне сильно и остро думается о разных важных вещах, я даже что-то сочиняю про себя, но чаще мною владеет жестокая тревога, на грани паники, и тогда избавление — временное — наступает лишь с тяжелой физической усталостью.

В день, о котором идет речь, я исходил наш поселок вдоль и поперек, но, лишь заметив Морелона, поймал какое-то ненадежное, но почти нормальное дыхание. Это не случайно. У меня появилась внешняя цель — избежать встречи с Морелоном, не столкнуться с ним нос к носу, и эта маленькая озабоченность потеснила тревогу здоровья. Я и раньше не раз пытался помочь себе каким-нибудь отвлечением: работой, деловыми звонками, возней на садовом участке, но из этого обычно ничего не получалось. Сознательность намерения препятство-

вала забытью. Но случайный толчок из постороннего мира, каким явилось видение невзрачной фигуры Морелона, ослабил подчиненность недугу.

Морелон был человек по натуре безобидный, но обладавший способностью запутывать меня в какие-то глупые дела, приводившие к мелким досадным неприятностям. Вообще же он являл собой фигуру весьма типическую для того жизненного пространства, где расположился наш поселок, вернее, несколько поселков, соединившихся территориально и морально, но не административно. Тут обитали люди свободных профессий и ученые, которых называли почему-то «академиками». Таким образом, у нас была академическая сторона, писательская, композиторская и сторона смешанная: киношно-художническая. Народ все пожилой, в рукодельном смысле крайне неумелый и потому растерянный перед лицом природы, которая сохранилась при всей урбанизации здешней жизни и требовала внимания. Впрочем, в писательской части имелся свой Лев Толстой, он копал гряды и даже косил, зарывая нож в глинистую землю. Среди академиков и художников водилось несколько человек, не боявшихся электрических пробок и способных прибить к забору табличку: «В саду злая собака», но остальное население отличалось полной беспомощностью. Естественно, что поселок оброс, как пень грибами, разными умелыми людьми, которые могли «выручить»... По правде, эти люди мало что умели, но брались решительно за все. Когда у нас поселился знаменитый пианист, он смея ради предложил такому вот «на-все-руки» настроить рояль. Тот как раз чистил выгребную яму — на языке нашего поселка, «убирал последствия». «Можно, — глуховато, поскольку из смрадной глубины, отозвался настройщик. — Три куска». Главное — ошеломить ценой. Спор возникал вокруг оплаты, а неподготовленность мастера выяснялась уже в процессе работы. О возвращении аванса, давно пропитого, речи не заводили, время было безвозвратно утеряно, и заказчику не оставалось ничего другого, как терпели-

во ждать, пока честный труженик не обучится на своих ошибках. И ведь обучались, да еще как! Редкостно талантлив наш народ. Один освоил тонкое искусство печной кладки, едва не уморив целую семью угаром своего первого камина; другой стал отличным столяром, которому по силам сложные реставрационные работы; третий — строителем, берет подряды на гаражи, сараи, времянки и даже дачи; четвертый поступил в ателье по ремонту телевизоров. Но таких, как этот телевизионщик, — единицы: большинство, даже освоив хорошие профессии, осталось при поселке на птичьих правах. Шальная копейка счета не любит, никто из этих даровитых людей не нажил палат каменных, на сквозном ветру безбытности досыпают свою жизнь.

Морелон принадлежал к тем немногим, что ничего не умели и ничему не научились. Маленький, хлипкий и невыносливый, он не любил потной работы и тяготел к коммерции: торговля и торговое посредничество. Он сроду не мог достать того, о чем его просили, ничуть не тяготясь этим обстоятельством. Если ему заказывали огуречную рассаду, он приносил валенки; если был нужен скворечник, Морелон притаскивал хомут или лестницу-стремянку, но он мог и скворечник доставить, если попросить о сушеной черноплодной рябине. И далеко не всегда Морелону давали от ворот поворот. То ли люди не знают своих действительных надобностей, то ли соблазнительный вид неожиданного предмета пробуждал желание его иметь...

Мне особенно не везло с Морелоном. Помню, он долго морочил мне голову каким-то флюгером. Утомленный его настойчивостью, я дал задаток. Через год Морелон принес не то жестяного петуха, не то коня, и тут выяснилось, что это наш старый ржавый флюгер, давно выброшенный на помойку. Другой раз он явился с белой деревянной лопатой скидывать снег с крыши. Жене он дал понять, что договорился со мной, а мне — что его пригласила моя жена. Первым же молодецким кидком он вышиб цельное

стекло террасы, которое я с величайшим трудом раздобыл в Таллине. Он был так убит своей неловкостью, что мы буквально навязали ему бутылку для успокоения расходившихся нервов. Зато на другую зиму Морелон сам свалился с крыши, забыв привязаться к трубе. До самой весны он каждый день являлся за винной порцией, ибо пользовал себя от ушибов водкой с солью и перцем.

От Морелона в нашем доме — огромные, тяжеленные и негнущиеся валенки-чесанки, часы с кукушкой, которая никогда не показывается, щекастый золотой ангел, выломанный из царских врат, чадная керосиновая лампа и ужасная крысоловка, которую прищемленная крыса уволокла под пол и вот уже годы пугает наш сон чудовищным грохотом.

И у этого никчемного человека нашелся в нашем поселке почитатель, да еще какой — Классик! Испытывая время от времени приступы звериной тоски и не умея пить в одиночестве, Великий писатель посылал за Морелоном. Тот немедленно являлся на зов друга. Ничто не могло остановить Морелона, он бросал работу, откладывая любимое дело, жертвовал заработком, ставил на карту свою репутацию, которой весьма дорожил, ничуть не подозревая о низкой ее котировке. Хвастун и враль, Морелон был на редкость сдержан и щепетилен во всем, что касалось его отношений с Писателем, обнаруживая тем самым несомненную тонкость души.

Писателю Морелон обязан своим прозвищем. Новым прозвищем, ибо долгое время его звали в поселке Жених. Он и был женихом всех без исключения окрестных красавиц. Морелон не просто хотел жениться, что-то маниакальное проглядывало в его одержимости брачной идеей. Но осуществил он свою мечту в иных, далеких краях, куда не доплескивались волны его сомнительной славы. Пропадал Морелон около года, а вернулся уже женатым, прибавившим тела, посолдневшим, в кирзовых сапогах на толстой подметке, чистом черном ватнике и с бритой головой.



Он был похож не то на солдата после дембиля, не то на амнистированного, но почему-то ему это шло, он словно перестал растекаться и застыл в четкой, определенной форме. Первый визит бывший Жених нанес Писателю, тогда уже безнадежно дряхлому, и покинул его, толкая перед собой велосипед. Писатель, любивший одинокие лесные велосипедные прогулки, знал, что ему больше не ездить, и подарил своего худого металлического конька пешему приятелю. И сразу вместо устаревшего прозвища Жених родилось новое: Морелон — в честь всемирного героя велодрома, чемпиона чемпионов, непревзойденного французского спринтера. Прозвище присохло, как голубиный помет к гипсу белых статуй.

Велосипед Писателя, человека рослого, был велик Морелону; даже предельно опустив седло, он не доставал ногами до педалей. Тогда он вовсе снял седло и положил на раму плоскую подушку. Теперь он мог ездить, переваливаясь по-утиному из стороны в сторону, как ездят дети на взрослых велосипедах. Конечно, так много не наездишь, и Морелон предпочитал с важным видом толкать велосипед перед собой или вести его за муфлоньи рога круто выгнутого руля. К багажнику обычно была приторочена какая-то поклажа, ибо Морелон не оставил коммерческой деятельности, хотя и устроился куда-то на полставки. Этой «полставкой» он гордился, словно каким-то отличием, а может, видел в ней гарантию относительной свободы, позволяющей ему по-прежнему располагать своим временем. С тех пор никто не видел Морелона без велосипеда. Он таскался с машиной и в дождь, и в весеннюю распутицу, и в непролазную осеннюю грязь, и в крещенский мороз и снег, бесконечно обременяя себе жизнь, но выгадывал что-то куда более значительное. Это стало ясно, когда один из «академиков» предложил Морелону за его громадину прекрасный польский подростковый недомерок.

— Ты что, спятил? — сказал обычно вежливый Морелон. — Не знаешь, чья это машина? — И всхлипнул и

утерся рукавом, а потом надолго запил, потому что Писателя уже не было в живых.

...В погожий день бабьего лета, слоняясь по опустевшим аллеям в надежде поймать дыхание, но взамен этого лова то и дело Морелона, имевшего какой-то настойчивый интерес в поселке, я снова поразился, до чего ж он крошечный по сравнению со своим костлявым велосипедом — ну просто гном, тролль с немолодым, серьезным, таинственным лицом. К багажнику машины был приторочен небольшой мешок с картошкой, которая отчетливо обрисовывалась сквозь грязную ткань. Крепко же его припекло, если он с таким маниакальным упорством штурмует пустынные дачи. В конце концов я попался. Мы не виделись несколько лет, но Морелон сразу вспомнил меня.

— Я тебя знаю, — сказал Морелон. — Ты у Нагибиных живешь.

— Точно, — подтвердил я, несколько задетый, что за четверть века так и не обрел в сознании Морелона самостоятельного существования.

— А вот как тебя звать, не помню. Ксению Алексеевну, покойницу, помню, серьезная была женщина. Ты ей сыном приходишься, а как звать — извини-прости.

— Юрием Марковичем.

— Точно! Сразу вспомнил, Яклич, и жену твою вспомнил. Тоже очень серьезная женщина. Ох, Яклич, — сказал он с испуганно-сочувственной интонацией, — это исключительно серьезная женщина!

Я вспомнил, как защищала жена наш хрупкий быт от разрушительного гения Морелона, и понял, что он имеет в виду. Понял я и другое: почему он переименовал мое отчество. В память ему бессознательно сунулось имя моего тоже покойного отчима.

— Хочешь жене угодить? — спросил Морелон. — Возьми у меня картошечку. Честно шепну тебе, Яклич, такой картошечки поискать.

— Мы третьего дня у Маруси взяли два мешка.

— У Маруси? — удивился Морелон. — Чевой-то я такой не знаю.

— Зареченская. На ферме работает. Да знаешь ты ее. Она молоко носит.

— Нет, Яклич, не знаю, — строго и грустно сказал Морелон. — У меня другие друзья... — Морелон помолчал и тихо добавил: — были... — Он всхлипнул и утерся детской ладошкой.

Немного успокоившись, Морелон посетовал на мое бирючество.

— Забыл ко мне дорогу, Яклич, — укорял он меня. — Как я оженился, ты ни разу не был.

Справедливости ради надо сказать, что я и до женитьбы Морелона не захаживал к нему, понятия не имел, где он живет, и вообще не был уверен, что он существует непрерывным существованием, а не появляется время от времени, как летающая тарелочка, но с иной целью — перегнуть в спиртное какое-нибудь попавшее в руки дрянцо.

— Я ведь не пью совсем, — сказал я в оправдание своей нелюдимости.

— Ну и что с того?.. — тем же обиженно-наставительным тоном начал Морелон, и тут чудовищный, дикий смысл моего заявления ожег ему мозг. — То есть как это... как это понять?.. Совсем ничего?.. Ни капли?.. Не надо, Яклич, не надо загищать. Я ведь с тобой по-хорошему.

— Честное слово! Здоровье не позволяет.

— Всем позволяет, а тебе не позволяет?.. Вон Петрович не хуже тебя больной, а навещает.

— Да он же уехал отсюда. Еще в прошлом году.

Морелон долго смотрел на меня, скосив по-птичььи глаз и не поворачивая головы.

— Неужто я этого не знаю? Уехал. Дом продал и уехал. Но приезжает ко мне. Вместе с сыном-юристом. Сын у него юрист или нет?

— Не знаю.

— А не знаешь — молчи. Приезжают лигулярно. Мы с ним все обсудим, без этого не отпускаю. Конечно, и угощение ставлю. Все чин чинком. Значит, берешь картошечку? — без перехода сказал Морелон так спокойно и уверенно, что, будь у меня деньги в кармане, я бы не удержался.

— Говорю — мы уже взяли!

— Я слышал, Яклич, слышал. Не глухой. Но мне, хоть убейся, нужно ее продать.

— Ну и продавай на здоровье.

— Кому?.. Кому я ее продам, если все разъехались? Некому мне продать, кроме тебя. Мне восемь рублей во как нужно!.. — Он резанул себя по горлу ребром ладони и вдруг отпрянул от меня, вобрав голову в плечи. При этом он весь встопорщился, будто снегирь в мороз, раздулся, сильно увеличившись против своих обычных размеров.

Мы как раз шли мимо проходной пионерского лагеря. И от этой проходной ко мне шатнулся весьма известный в поселке человек, по-цыгански смуглый и чернявый, — Мишка Волос. Я не понял брезгливо-враждебного движения Морелона. Волос был поселковый старожил, добродушный малый с некоторыми странностями. Трезвому ему можно было доверить алмазный фонд, но если душа горела, Волос отбрасывал все запреты. Он не воровал в обычном смысле слова, а тянул в открытую, что ближе к рукам: грабли, лопату, мотороллер; мог сорвать калитку, фонарь, унести на глазах хозяина мешок с цементом, лист фанеры или ручную косилку. Его всегда брали на месте преступления, он не оказывал сопротивления, не оправдывался, не врал, не придурялся, но с растерянно-стыдливой улыбкой пытался удержать чужую вещь. Закон долго был мягок к Волосу, но в последний раз ему вlepили на всю катушку. В поселок он вернулся, будто с курорта, загорелый, хорошо подсушившийся, с просветленным взглядом. Обошел дачи, со всеми сердечно поздравовался, расспросил о жите-бытье и хватко включился в работу. В отличие от Морелона

он все умел, любое дело горело в его руках. По-моему, Морелон ревновал к Мишкиной популярности. Волос даже не глянул на соперника; пожав мне руку, он попросил закурить и на бутылку. Получив отказ и в первой, и во второй просьбе, как-то нежно опечалился. Видать, предчувствие дальней дороги опажнуло душу. А был он уже немолод, бродячая жизнь становилась трудна изношенному сердцу...

— ...Нашел с кем дружить, Яклич! — Морелон поджидал меня за поворотом шоссе. — Это ж туняедец.

— Хорош туняедец! Он всегда в работе.

— Хабарит. — Морелон исходил презрением. — Которые люди труд уважают, те на полставке.

— Уж больно ты строг!

— Я же знаю, что говорю... Он с утра о водке думает.

— Будто он один!

— Другие опохмелиться ищут. А он — чтобы снова морду налить. Две громадные разницы.

— Не такие уж громадные.

— Нет, Яклич, ты завязал и ничего не помнишь. Уж лучше помолчи. Мишка этот, — Морелон понизил голос, — в ресторан ходит.

Недавно в соседнем поселке, у шоссе, открыли столовую, которая вечером, ничего не меняя ни в ассортименте блюд, ни в ценах, объявляла себя рестораном и готова была обслуживать свадьбы, служебные банкеты и прочие праздничные застолья. Вечер отличался от дня лишь тем, что водочные бутылки переселялись из-под стола на столешницу.

— Не все ли равно, где пить? В ресторане чище.

— Спасибо, Яклич! Удружил! Не уж, меня ты в ресторане не ищи. Я тебе не Волос, а человек семейный. У меня порядочность есть.

Он посмотрел на меня почти умоляюще:

— Прошу тебя, Яклич, не ходи туда. И не слушай Волоса. Он же отчаянный. Одно слово — цыган. Там не то что деньги, себя потеряешь.

— Неужто там так опасно?

— Самое ужасное место на земле. Водку пивом запивают. Исключительно. Музыка орет, аж глохнешь... Ладно, заболтался я с тобой, а дела не делаю. Берешь картошку-то?

— Я же сказал тебе...

— Мало ли что сказал!.. День рождения у дочки, надо подарок купить.

— Какой подарок?

— Куклу.

— Твоя дочь играет в куклы?

— А как же? Шесть лет — самая игра. Через год в школу пойдет, тогда уж не до кукол будет.

Мы не следим за чужим временем, да и за своим тоже.

— У тебя шестилетняя дочь?

— Ты, Яклич, глупый или притворяешься? Я же молодой. А жене и тридцати нет. Ты жену мою видел когда?

— Н-нет.

— Красавица! Самая красивая женщина в микрорайоне. И дочку не хуже себя родила. Синеглазка, веселая!.. Я ведь тоже из себя ничего. Сейчас малость поистерся. А и то, дай мне в баню сходить, побриться, сорочечку чистую надеть — любая засмотрится... У тебя сколько с собой денег?

— Ни копейки.

— Кто же без денег со двора идет? — облил меня презрением Морелон.

— Ты, например.

— Сравнил! У меня картошка.

— А где ты собираешься куклу покупать?

— В продовольственном, где же еще? — сказал он сердито, раздраженный моей оторванностью от жизни. — У нас другого нету.

— А в каком отделе — мясном или бакалейном?

— В кондитерском, конечно. Там и куклы, и голыши, и мячики, и барабаны с палочками. Я дочке давно обещался. Да ведь знаешь, как в хозяйстве — то одно, то другое... Капитала свободного не было. А сейчас отступать некуда. Что же, она так и вырастет без куклы?

— Неужели у нее никогда кукол не было?

— Были. Тряпишные. Личики краской наведены. Дермо. А таких, чтобы глазками моргали и «мама» вякали, не было. Они и в магазине-то первый год.

Мы вышли к реке. С моста незнакомый мужик забрасывал самодельную удочку. Вода в этом месте была почти черной, но прозрачной до самого дна, закиданного старыми покрышками, худыми канистрами, консервными банками, какими-то железяками. Над всей этой дрянью пластались, извиваясь, длинные жирные водоросли. Рыба здесь сроду не брала, о чем и сообщил Морелон рыбакову.

— Тебе выше или ниже надо идти, а здесь только время убьешь.

— А может, я и хочу его убить? — насмешливо сказал мужик, циркая слюной из щербатого рта на бледного, давно издохшего червяка.

— Вот чудило! — удивился Морелон. Прислонив велосипед к перилам моста, он достал сигареты. — Неужто тебе больше делать нечего?

— А тебе? — спросил мужик, перебрасывая удочку ближе к берегу.

— Я картошку продаю. А вообще — на полставке, — вскользь сообщил Морелон. — Моих делов, милый, сроду не переделать. На мне, если хочешь знать, цельный поселок лежит. Спроси хоть его, коли не веришь. Правду я говорю, Яклич?

Я промолчал, и Морелон принял это как подтверждение.

— Вот видишь! — сказал он рыбакову и закурил. Затягиваясь, Морелон глубоко всасывал худые щеки, на висках набухали грозные синие вены, и глаза вылезали из орбит. Наполнившись дымом от макушки до пят, он задерживал его в себе, чтобы каждая клеточка пропиталась никотином, а затем мощно, в два приема выдувал синими столбами.

— Ты бы все-таки тут не ловил, — пристал он опять к мужику. — Здесь она и в сезон не клюет. Ступай к плотине. Там хоть какой-то шанец есть.

— А мне он ни к чему, — скучно сказал мужик, оплевывая червяка.

— Тебе картошки на ушицу не надо? — деловито спросил Морелон.

— Чего пристал как банный лист? — с тоской и злобой сказал мужик. — Вали отсюда. Здесь вагон для некурящих.

— Ну и чикайся тут! — озлился Морелон. — Ему добра желают... Вот дубина!.. А мне некогда лясы точить.

Он взял велосипед за рога, пошевелил мешок, взбодрив картошку.

— Ладно. Гуляй, Яклич, раз здоровье требует. Я к академикам толкнусь. А насчет ресторана — держись крепко!.. — С этим добрым советом Морелон отбыл, а я заметил, что все это время дышал нормально.

Я еще постоял возле скучного рыболова, было что-то завораживающее в бессмысленном и вызывающем упрямстве, с каким он тщился ловить рыбу на дохлого червя в заведомо безрыбном месте. Так и не постигнув смысла его явления в пространстве — если тут действительно был смысл, — я побрел к плотине, где хорошо и грустно шумела вода. Затем сквозь золотой листопад старого березняка, опутанный нитями летучей паутины, я вышел к поселку и подумал, что могу вернуться домой..

Передышка оказалась недолгой. К вечеру я вновь мерил шагами поселковые аллеи, не в силах зачерпнуть пригоршню благодати из воздушного океана, омывающего мир.

Бродил я долго, и раз-другой в перспективе центральной аллеи мелькнула фигура одинокого пешего велосипедиста. Похоже, Морелон по второму кругу совершал свой безнадежный обход. Уже в сумерках мы столкнулись с ним.

— Все еще не продал?

Морелон развел короткими руками. Достал сигареты, закурил. Пальцы его дрожали. Он был человек, не избалованный фортуной, и всегда стойко держался против ветра, но эта неудача сломала его.



— Ладно, не переживай, — сказал я ему. — Завтра купим твоей дочери куклу.

— Берешь картошку? — просиял Морелон.

— Неужели тебе самому не надоело?..

— Как же так?.. — растерянно произнес Морелон. — У меня ничего больше нет... Даже флюгера. А я должён из своих пречистых подарков дочке сделать.

— Брось! — Я уже устал от него. — Разве это твоя картошка?

— А... чья?.. — с запинкой сказал Морелон. — Я ее сам копал. Приложил свой труд.

— Копал — не сажал. Картошка чужая, нечего вкручивать.

— Обижает, Яклич. Она мне вовсе не чужая. Я ее на своем огороде накопал.

— Ври больше.

— Как бог свят! Жена каждый год картошку сажает. Хозяйственная!.. — с бледной улыбкой сказал Морелон. — Конечно, врать не буду, нарыл я утайкой. А все же картошка мне вовсе не чужая, а родненькая — по жене.

Темны извины чужой души и вовсе непроглядны, когда тебе самому худо.

— Дело твое. Была бы честь предложена.

— Да что ж это такое?.. — сказал Морелон, мучительно морща свое маленькое безвозрастное лицо. — Значит, не отец ей куклу подарит, а чужой дядя?.. — Он топнул ногой, повернулся и, упираясь руками в руль, покатил прочь свой тяжелый велосипед с притороченным к багажнику мешком картошки.

А ведь недаром провел он столько часов с покойным Писателем. Они не разговаривали. Молчали, курили, иногда пили. Но такая тишина стоит многих речей. И Морелон умел слушать молчание Писателя. Неправда, что он ничему здесь не научился. Он научился чему-то более важному, чем всякая ручная работа. И какой он, к черту, Морелон? При чем тут долговязый, сухопарый, азартный и

ничем не обремененный француз? И тут мне будто кто шепнул на ухо сроду вроде бы не слышанное имя.

— Николай Иваныч! — крикнул я. — Сушков!.. Погоди!..

Тишина. Затем тихо и сумрачно донеслось:

— Ну, чего тебе еще?..

# ЛУННЫЙ СВЕТ

Он появился в моем подмосковном жилье ноябрьским звонким полднем, когда внезапный мороз сковал крепким ледком лужи, схватил и ожесточил слабый, плавкий иней на хвое, пустил длинную ледяную слезу по каждой березовой и осиновой веточке, по каждому прутику вербы и краснотала и сделал хлюпкий, квелый, чавкающий мир сопливой осени сухим, стеклянно-чистым и звонким. Хотелось верить, что это уже зима: затянется простор искрящейся пеленой, поникнут отяжеленные снегом сосновые и еловые лапы, воцарится особая снежная остужная тишина и душу настигнет тот благостный покой, что дарится нам лишь с наступлением на земле царства Корочунова.

Тут вот он и возник неумолимым посланцем мировой суеты, которой нет дела до нежной дремлющей благодати, — румяный, крепенький, круглолицый, в куртке из кожзаменителя, толстой вязки свитере, хорошо выношенных джинсах и высоких зашнурованных ботинках. Оказывается, мы договорились о встрече еще на той неделе, и он минута в минуту прибыл сюда из Москвы, хоть добирался на трех видах транспорта: метро, автобусе и своих двоих. Это напомнило мне о правилах гостеприимства, я помог гостю раздеться, усадил за стол поближе к печке и стал поить горячим чаем. Одет он был по вчерашней погоде, похоже, порядком околел. А я думал с тоской, что договаривались мы слякотным, черным, тяжелым днем поздней осени, когда безразлично, чем занимаешься, лишь бы скорее пропустить мимо себя давящую утреннюю хмарь, а сейчас на земле — рай: вверху сине и прозрачно, внизу льдисто и сияюще, и, боже святой, так не хочется говорить о досуге, кото-

рого у меня никогда не бывает, к тому же не просто трепать языком — это еще куда ни шло, — а «рассмотреть вопрос с философских позиций».

Мой юный гость был философом и собирал материал для кандидатской диссертации, посвященной проблеме досуга современного человека. Он уже беседовал со многими людьми самых разных профессий и вот решил узнать мои соображения по интересующей его теме. Это было лестно, но беда заключалась в том, что я никогда не думал о досуге и даже не очень представляю, что это такое. Я всегда занят, мне каждый день не хватает двух-трех часов. Видимо, такова судьба писателя, пишущего «малую прозу», — слишком много сопутствующей суеты, съедающей время. Если же под досугом подразумевать отпуск, то тут и подавно нечего сказать. Отпуска у меня не бывает, я его себе не даю. Но иногда езжу в санаторий, где лечусь и работаю. Нигде так хорошо не работается, как в санатории. Раз в жизни, убежденный врачами, что надо дать полный отдых мозгу и нервам, я не взял с собой никакой работы, и тут же в голову полезли мысли о смерти. Неотвязные. Изнуряющие. Костлявая уселась мне на грудь, как андерсеновскому императору в сказке о соловье. Вконец измучившись, я сел писать рассказ, и смерть отлетела быстрее, чем при звуке соловьиного голоса, пробудившего в ней сладкую тоску по сырому, тенистому кладбищу — ее обители.

Я решил честно объяснить моему ученому собеседнику, как обстоит у меня с досугом. Он аппетитно пил чай с сухарями, грея красные, намерзшие пальцы о горячий стакан. Мне тяжело было его разочаровывать. Он спокойно и терпеливо выслушал мой лепет, допил чай и отодвинул стакан. Видимо, он уже привык к мозговой лености своих собеседников, и это его не обескуражило.

— Вам только кажется, будто вы ничего не знаете о досуге. Мой недавний звонок наверняка дал толчок вашей мысли. Вот и скажите об этом.

Мне вспомнился потерянный шелест едва пробивающего пространство невразумительного телефонного разговора, и я заговорил как под действием гипноза:

— Пушкин высоко ценил досуг. Он называл его пленительной ленью, блаженной ленью и ленью просто. Он считал, что именно в минуты такого вот созерцательного ничегонеделания, полной душевной свободы и происходит постижение мира, рождаются поэтические образы. В житейской суете ничего не создашь.

— Ну вот видите! — добро улыбнулся он. — Значит, по-вашему, Пушкин был за активный отдых?

— В каком смысле? Активный отдых — это, кажется, спорт, рыбалка, охота, туризм. Пушкин имел в виду что-то другое.

— Активный отдых надо понимать шире. Не то что человек должен обязательно что-то делать, но он должен что-то приобретать, духовно обогащаться...

Так незаметно завязалась беседа. У меня ум, совершенно неспособный к обобщениям; я могу постигнуть данность, частность, хотя мне легче что-либо представить, чем уловить мыслью, но вот соотнести данное явление с другими, порой весьма далекими, найти таинственные связи, распространить сделанные выводы, накрыть ими большую группу разнородных фактов я органически не способен. Этим завидным качеством обладал мой гость, у него действительно был философский ум, охватистый, цепкий, мускулистый. Меня поражало, с какой легкостью он обнаруживает в частном общее, находит четкий рисунок в хаотической мозаике бытия. В совершенстве владея языком современной науки, он мгновенно облакал в чеканные формулировки мою бедную невнятицу. Порой мне начинало казаться, что я ему вовсе не нужен, что это просто визит вежливости. Нет, конечно, его интересовали частности, конкретные наблюдения, и он искренне радовался, что им тут же находится место в его стройной конструкции. Он добросовестно проверял себя материалом чужого опыта.

Наше долгое сидение прерывалось сперва на обед — как хорошо, вкусно и бережно он ел, под конец собрал указательным пальцем крошки со скатерти и отправил в рот, — потом чаем с сотовым медом, о котором он сказал, что это настоящий цветочный мед, а не сахарный, который часто всучают на рынке.

Когда же мы наконец отговорились, впору было зажигать электрический свет — короткий ноябрьский денек успел отгореть.

Молодой человек собрал свои записки, я помог ему натянуть на толстый свитер курточку и вдруг почувствовал, что ему не хочется уходить, а мне жалко расставаться с ним.

— Давайте посошок на дорожку, — предложил я.

— Спасибо. — Он слегка покраснел. — Не употребляю совсем.

— Ну а чайку горячего?

— Всегда с удовольствием!

Мы вернулись к печке и снова принялись чаевничать. Меня интересовало, давно ли он увлекся темой досуга и касался ли ее в своей дипломной работе.

— Нет, диплом у меня был другой. Прямой наводкой — по идеализму! — сказал он со своей доброй румяной улыбкой.

— А более конкретно?

— Боюсь, это вам ничего не скажет. Работа была направлена против мистической чепухи господина Сведенборга.

— Сведенборг? Шведский мистик и теософ восемнадцатого века? Сидя в Стокгольме, знал, что Копенгаген горит? — вытащил я со свалки памяти.

— Он самый!

— Но разве с его бреднями не покончено?

— Покончено. Да ведь знаете, как в философии? Проходит время — и вдруг кто-то извлекает из чулана забытый хлам, подчищает, подновляет, снабжает современной

терминологией и пускает в оборот. К Сведенборгу я еще вернусь, вот только разделаюсь с диссертацией.

— А когда защита?

— Теперь уже скоро. Я ведь пятый год с ней вожусь. Не повезло мне крепко — в аспирантуру не попал. Хотели в Тамбов распределить, я сам из тех мест, но терять Москву, библиотеку, профессоров — это ж полный зарез. Пошел учителем в сельскую школу — не препятствовали. Луховицкий район, может, слышали? Самый дальний угол Московской области. Глухомань — не скажешь, но глубинка в полном смысле. Там я преподавал и диссертацией занимался. А как воскресенье — в Москву, на весь день в Ленинку.

— Трудно было?

— Терпимо... Эх, дорогой товарищ писатель, — сказал он с внезапной горечью, — как иной раз жизнь человека бьет!.. Меня там так припекло, не всякому и расскажешь. Хорошо, сердце здоровое — выдержало.

Конечно, я был заинтригован, но, боясь его спугнуть и вместе с тем чувствуя, что ему хочется поделиться пережитым, промолчал. И правильно сделал, он заговорил сам — какой-то другой речью:

— Школа-десятилетка, куда я устроился, стояла наособь между несколькими мелкими деревеньками, чтобы никому обидно не было. И вышло так, что поселился я в самой дальней деревне, мне до работы восемь километров и столько же обратно. Да ведь ребятишки ходят, а я чем хуже? Конечно, зимой, когда рано темнеет и волк завоет, не больно уютно, но терплю. Ближе не приткнуться было, живут все многосемейно, в иную избенку до десяти человек набьется, а мне работать надо. Я же устроился хоть далеко, да просторно и удобно: в большой пятистенке я и бабка. Она всегда в кухне, там и спит за печью на лежанке, а мне вся горница. Я столик себе поставил, книги разложил, лампу настольную приобрел: только работай. И с питанием порядок: даю бабке рубль в день, она щей наварит, пшенку

молочную такую в печи запарит — с пальцами съешь, и всегда у нее огурчики соленые, капуста квашеная, груздочки, рыжички сырого посола, а летом всякая огородная овощь, ягоды. Замечательно жили. Но старуха была какая-то странная. Знаете, в каждом крестьянском доме обязательно рама с фотографиями на стене, дети, родня, а у моей старухи ни одной карточки. Неужто у нее никого не было — ни мужа, ни детей, ни братьев-сестер? Я раз спросил ее об этом, хотя ответа, признаться, не ждал. Она и вообще молчуньей породы, бывало, за весь день слова не обронит: звякнет чашкой — значит, самовар поспел, брякнет чугунок на стол — обедать пора, а коли пустое ведро ногой ткнет — надо за водой идти. Я думал вначале, что она сильно верующая, но хоть образа в красном углу висят, ни лампадки, ни свечки она не теплит, в церковь сроду не собралась, решил — раскольница или хлыстовка, в общем, из сектантов. Но она никаких обрядов не справляет, братцы и сестрицы по вере к ней не ходят, собаками не брезгует, щенка держит, раз я закурил для интереса — дыма не боится. Но ответ я от нее получил чин чином, хоть едва слова цедила: старик ее помер еще до войны, дочь уже сама старая, на Дальнем Востоке живет, если тоже не померла. Она туда с мужем-военным еще в тридцать четвертом уехала. Последнее письмо после войны прислала. Родня давно вся убралась, вот и живет одна. Раньше в больнице уборщицей работала, сейчас на пенсии. Неинтересная какая-то выходила ее жизнь, не теплая. И не зналась она ни с кем. Сколько я у нее прожил, не помню, чтобы кто зашел, кроме почтальона с пенсией да пастуха за харчами. Меня еще удивляло, что пастух не столуется у нее, как положено, а берет по-армейски сухим пайком. Но мне-то что до этого, мы жили душа в душу. Она мне не мешала, я ей тоже. И отчего во мне беспокойство завелось, до сих пор не пойму. Стал я плохо спать, вернее, засыпал с трудом. Ворочаюсь, ворочаюсь, все уладиться не могу, и мысли какие-то незаконченные, оборванные в голове мечутся. Под



одеялом жарко, пот прошибает, а кожу — зуб о зуб бьется, и ведь тепло в избе, бабка каждый день печь топит, а на дворе май. Вроде бы не то что под простыней — гольшом спать можно, а чуть раскроюсь — трясет. Неладное со мной происходит: то палит изнутри, то ледяной остудью прохватывает. И вот в очередную бессонницу метался я, как бес перед заутреней, и вдруг будто в бок толкнуло, я шасть к краю кровати, и тут же на подушку что-то грохнулось. Гляжу — лампада. Была она на массивном, с цепями, серебряном подвесе, кончавшемся острым шипом. И подушку распороло как раз в том месте, где мой лоб находился. Не увернись — верная смерть.

И тут я замечаю, что в горнице светло как днем: огромная полная луна в избе ломится. Сроду я так близко луны не видал, красиво и чего-то жутко. Лежу и думаю: случайно или не случайно лампада грохнулась, и если не случайно, то какая кому корысть в моей смерти? Что с меня возьмешь: штаны, да рубашку, да старый дождевик. А с другой стороны, нешто постояльца под образа кладут? Это только покойников, живых — ни в коем разе. Значит, с умыслом сделано. И как я сразу не сообразил: может, все мое беспокойство с того и шло, что не лежалось мне в красном углу под тяжелым светильником. Надо, думаю, старуху попытать. Только она отопрется, скажет, что я сам во сне лампаду сорвал. И все-таки обязан я ее спросить, а то, неровен час, она приладит лампаду на старое место, глядишь, в другой раз стукнет без промаха. Нет, надо ее разбудить, спросонок она скорее расколется. Но будить мне ее не пришлось: слышу — завозилась в своем углу, встала. Небось на двор захотела. Ладно, подожду, когда вернется. Но входная дверь молчит, и все в избе молчит, как умерло, и ходики не тикают, и сверчок затаился. А старуха как поднялась с лежака, так дальше не пошла. В деревне ночной посуды нет в заводе, окаренок — я бы услышал. Чего-то там задумала. Осторожно спустил ноги с кровати, на носках пересек горницу и за печь стал. Маленько дух пере-

вел, выглянул и, поверьте, чуть сознания не лишился: старуха в длинной белой рубахе с закрытыми глазами по лунному лучу плыла. Вернее сказать, не совсем плыла, а чуть-чуть босыми ногами перебирала, сучила и легкую лунную пыль подымала — клубилось у нее под ступнями. А половиц не касалась. Меня аж выбросило из-за печи. «Ты чего?» — не сказал — выдохнул. И слышу, как ее ноги легонько об пол стукнулись. Луч сразу из-под них выскользнул и по подолу рубахи растекся. Она не ответила, глаз не открыла, медленно, плавно повернулась, прошла к лежаку и села. Я — за ней: «Ты чего, бабка?» — «Ничего. А ты чего?» И голос у нее обычный, негромкий, ворчливо-сиплый, дневной, только какой-то далекий, и глаза по-прежнему пленками век затянуты. «Ты чего бродишь?» — «А ты чего?» — эхом издали отзывается. «Меня чуть до смерти лампада не убила!» — «Будя городить-то!» — сказала как-то равнодушно, повалилась на постель и сразу засопела. И почему-то я решил, что лампада на своем месте висит. Бросился туда — ничего подобного, на подушке, где и была... Ну что вы на это скажете?

— А что тут можно сказать? Лампада упала, потому что упала, а старуха просто лунатичка. Не такое уж редкое явление.

— И я тем же себя успокаивал, чтобы ночь дотерпеть. Но в деревне не остался. И конец учебного года в школе на столах ночевал. А после за Москву уцепился. Вот какие бывают происшествя. Что там Сведенборг! — Он поднялся, тщательно застегнул курточку. — Пора. Уже поздно, а мне еще до автобуса топать. — В дверях обернулся и спросил серьезным, глубоким голосом: — У вас тут не балуют?

— Господь с вами! Кому баловать-то? Три четверти дач заколочено, в поселке несколько еле живых классиков да пяток старух-домработниц — дачи сторожат.

— Старух? — повторил он многозначительно.

Я не понял. Резким движением он распахнул дверь. Сад был залит пронзительным, серебристо-зеленоватым,

хрустальным светом. И совсем близко над верхушками голых берез и островершками елей стояла в мгlistом мерцании ореола большая чистая луна — совершенный круг. Я и забыл, что сейчас полнолуние. Над ней и под ней в ее свете слоисто сдвигались облака, под облаками проскальзывали легкие, как дым, тучки. Но ни плотные облака, ни этот дымок не посягали на широкую круглую промоину, выгаданную луной в загроможденном небе, чтобы оттуда беспрепятственно изливать на землю свой колдовской свет. Только теперь дошло до меня, что стояло за тревожным вопросом: не балуют? Не лихого человека, не лесного разбойника, не татя боялся этот крепкий юноша, вполне способный постоять за себя в державе земного притяжения.

— Не слышно вроде. — Ответить более твердо и определенно, когда сад, и дом, и вся окрестность, и собственная душа залиты этим завораживающим светом, я не мог.

— Вот то-то и оно, — понурил он лобастую голову.

— Давайте я вас провожу.

— Мне, право, неловко... — пробормотал он, явно обрадованный предложением.

— Я все-таки местный, — добавил я, словно это что-то значило в магическом круге лунных сил.

— Хотя бы до кладбища, — сказал он и первый ступил с крыльца в лунный поток.

Меня поразила его наблюдательность. Наша окрестность, еще недавно малонаселенная, не имела кладбища, старого деревенского погоста, средоточия тайн, ужасов и поэзии, с покосившимися крестами, рухнувшими и расколовшимися надгробиями, повитыми травами, в которых скрывается невероятно крупная и сладкая земляника, — и как угадал он с дороги малый островок в глубине пустого пространства, где, проредив бузинную и ракитовую заросль, жители недавно возникшего поселка строителей похоронили своих первых умерших. Там не было ни ограды, ни крестов — всего лишь несколько фанерных цокольников со звездочкой на могилах ветеранов войны да ничем не помеченный бу-

гор над младенцем, так и не открывшим миру взора. Заметить этот островок в незнакомой местности и угадать его назначение могла лишь очень пристальная к опасности душа.

И мы пошли, и лунный свет стелился нам под ноги и словно отделял от земли, и даже какая-то невесомость открылась в теле, и странно заструился воздух мимо висков, и пропал тонкий хруст ледка под ногами. Бесшумно плыли мы по лунной реке...

# РЕКА ГЕРАКИТА

В нынешнем году я нарушил давний обычай никуда не ездить в летние месяцы. Путешествую я только весной и осенью. Летом мне слишком жадно работается и хорошо думается, чтобы бросать привычную подмосковную жизнь с твердо налаженным бытом, книгами и мчаться куда-то. Но с некоторых пор начались перебои в безотказно работавшем механизме, мне словно чего-то недостает, и это мешает жить и работать. С удивлением я открыл для себя, какую важную роль играли в летние месяцы те два-три часа, которые я проводил в лесу. Здесь, а не за письменным столом происходила главная работа сочинительства. И во все не потому, что исхоженный вдоль и поперек лес помогал внутренней сосредоточенности, а потому, что он меня все время будоражил, загадывал разные загадки и тем поощрял душевную работу. Но в последнее время мне перестало хватать того малого пространства в излучинах Десны подмосковной, где проходит моя жизнь.

Четверть века каждая прогулка приносила какие-то открытия, теперь я тяну пустые сети. Прежние погружения в неведомое превратились в гигиенические моционы, по отсутствию впечатления это почти бег на месте. Моя душа молчит, не отзываясь более тому, что уже было, было, без счета было...

И вот недавно друзья напомнили мне, что я живу близ границы чудесной страны, именуемой Калужская область, страны, причастной боли и славе России; там прекрасная Калуга смотрится с высоты в полные воды Оки, принимающей в себя Угру и Суходрев, там леса, богатые ягодой и грибами, исторические города, старинные монастыри и памятные места великих битв. И там у них в деревне Мятлево

над Угрой есть приобретенная в полную собственность «без гарантий» изба, готовая приютить меня. Я перенесусь в другую действительность, как бы не уезжая, не порывая с привычем, держащим меня в рабочем режиме. Это то, что мне нужно: путешествие души, а не физическое наматывание верст. Нежданный приезд из Таллина старого приятеля Грациуса избавил меня от последних колебаний. Белесый, со стальным отливом, с острым профилем хорсой и неславянской холодной голубишной глаз, с тощим и ловким телом, Грациус считает себя потомком скандинавских морских бродяг. Он на редкость многогранен: ученый-библиофил, собиратель антиквариата, знаток иконописи и старой русской живописи, полиглот, кладезь всевозможных сведений. Предкам Грациуса не сиделось на месте, мой приятель унаследовал их географическое беспокойство. Он вечно в разъездах, часто без повода и цели. Узнав, что друзья пригласили меня в Мятлево, он тут же воспыал любовью к калужской земле, с которой связаны величайшие русские судьбы. Грациус так и сыпал именами: протопоп Аввакум, боярыни Морозова и Урусова, Баженов и Чебышев, Пушкин, Лев Толстой, маршал Жуков, Марина Цветаева... Мне сообщился его энтузиазм. Никогда еще не покидал я дом так беспечно...

...Он будто ждал моего приезда — сосед наших мятлевских хозяев, невысокий, узкий в плечах, жилистый человек в розовой выгоревшей майке, заношенных брючонках, едва державшихся на тазовых костях, и кепке-восьмигранке. Лицо, открытые до плеч руки были черными от загара, а под лямочками майки и на лбу под сломанным козырьком кожа оставалась молочно-белой, как шляпка гриба поплавка. Левая нога не сгибалась в колене, и, опираясь на нее, он странно вздымался ввысь. Желтые глаза глядели заинтересованно и вроде бы ласково, но доверия не внушали. Как точны и сильны веления подсознательного в человеке! Через некоторое время я вспомнил давнишний рассказ моих друзей об их мятлевском начале. Этот желтоглазый симпа-

тяга хватался за топор, когда они пытались вскопать огородную гряду во утешение извечной тоски горожан по своему лучку и редиске. «Нечего городским землю трогать! — надрывал он горло. — Нешто земля — чтоб на ней сеять?!» И отказались мои друзья от своего кощунственного намерения. Надо полагать, с тех пор соседские отношения как-то наладились, люди притерлись друг к другу, стало быть, и от меня требуется дружелюбие.

Перехватил он меня на пути из деревянного домика, скромно упрятавшегося в раakitнике.

— Приехали, значит? — с улыбкой сказал он и всадил хорошо наточенный топор в колоду.

Возле, прислоненные к плетню, стояли новенькие грабли — штук пять-шесть.

— Погостить, — сразу уточнил я, чтобы он не заподозрил в нас с Грациусом скрытых земледельцев. — На несколько деньков. А вы, гляжу, грабли делаете?

— А для совхоза! — отвечал он с охоткой и некоторой иронией, как о занятии пустячном. — Расценка — два рубля. Я не переустаю: пару в день, и хватит. Можно до полдюжины нагонять, а зачем? Я инвалид войны, при пензии и своем хозяйстве. Дети давно отделились, только меньшей при мне. Так он механизатор. Закурим? — предложил он, вынув пачку сигарет «Мальборо».

— Откурился. — Я показал на сердце. — Откуда такие?

— Из нашего сельпо. Лежат навалом. Их мало берут: дорогие и слабые. Дыма не боитесь?

— На воздухе?.. А что еще там есть?

— Ром ямайский. Наш портвечок, конечно. Седло хорошее, со стремянами. Детские коляски. А так пока больше ничего.

Он закурил, пустил ароматный дымок, и мы присели на скамейку возле его дома.

— Здесь у нас трудоспособных всего трое, — сообщил он доверительно. — Венька-задумчивый, Нюрка-блоха и мой Василий. Остальные на пензии. Мы с дедом

Пекой и Вакушкой — инвалиды войны, а женский мир — по годам.

Если мне недоставало информации, то Алексей Тимофеевич (имя соседа) томился невозможностью делиться ею. Мы должны сойтись.

— Где ранило? — спросил я.

— На Курской дуге.

— А немец тут был?

— Обязательно! Поддеревни спалил. Это же огромная деревня была, в три улицы. А уж отстраивались — в одну, вон в какую длинную.

Когда мы въехали в Мятлево, как раз напротив сельпо, значит, примерно посередине, улица не просматривалась до конца ни вправо, ни влево. Дома крепкие, под тесом или под железом, опрятные палисадники, справные дворы. При всем том деревня казалась заброшенной: трубы не дымилась, редко возле какой избы увидишь кур или уток, еще реже — телка на привязи или поросенка в луже. И духом жилым не тянуло. Загадку эту разгадать просто: местных жителей — раз-два и обчелся, а остальные — приезжие из города. Иные являются на конец недели, иные — на ягодный или грибной сезон. Я спросил Алексея Тимофеевича, сколько тут коренного населения.

— Дворов пятнадцать наберется, — подумав, ответил он. — Остальные с Калуги, Медыни, Москвы.

— Не скучно?

— Кому?

— Вам.

— Нам? А когда скучать-то? Днем работаешь. Телевизор цветной. Река рядом. Которые рыбу удят.

— Хорошо клюет?

— Кто?

— Рыба, кто же еще?

— Рыба тут вовсе не клюет. А рыбачок, бывает, так наклюется, что домой не доползет. А вы что — рыбалить приехали?



— Хотим попробовать.

— Здесь — пустое... У моста надо ловить. Вы проезжали.

— Это через Угру?

— Да. Стало быть, видели рыбачков...

Из дома вышла и, по-утиному раскачиваясь, прошла мимо нас с поганим ведром низенькая, коренастая, широкая в крестце старуха. В растянутых мочках качались круглые серебряные серьги. Я поклонился. Она угрюмо, не глянув, ответила.

— Моя... молодая, — усмехнувшись, сказал Алексей Тимофеевич.

— Недовольна, что я вас от работы отрываю?

— А куда она денется, эта работа? — сказал он пренебрежительно. — Думает, что мы насчет бутылки соображаем.

— Не любит?

— А кто из женщин любит, чтобы мужик пил?... Разве которая сама зашибает. Но в деревнях такие — редкость... Моя насчет этого сильно строгая. Мы с ней недавно, еще, можно сказать, приглядываемся... Жена, с которой я жизнь прожил, летошний год преставилась. Мы с ней четырех сыновей настроголи и дочку. Эту я для хозяйства пустил. Чижало, знаете, двум мужикам без бабы, особенно когда корова.

— Значит, действительно молодая. Я думал, вы шутите.

— Молодая, как есть!.. И с ндравом. Пришла сюда в охотку. Трех овец пригнала, свинью с поросенком и стадо гусей — восемь носов. Мужик у ней сильно раненный с войны пришел, лет пять помаялся и помер. Есть дочь замужняя, за Полотняным Заводом живет, но матерю к себе не просит. Муж сильно зашибает и в чумовом состоянии за топор хватается. А ведь известно, как зятя тещ уважают... Обрадовалась моя Татьяна замуж. И скучно одной, и любит хозяйствовать, а для себя одной — без интересу. Опять же, у меня корова. Пришла она, и все у ей закипело. К телевизору не присядет, до того занята. Зачем она так

ломается — другой вопрос. Павлинов жареных мы не едали и сейчас не едим. А щи с кашей и раньше кушали. Да раз охота весь день суетиться — на здоровье. Только дай и другим свой интерес иметь. А она против этого интереса восстала.

Я не стал спрашивать, в чем состоит «интерес», вызвавший недовольство «молодой», и Алексей Тимофеевич пошел за лишнее объяснять — и так все понятно.

— Она, надо сказать, не из ругательных старух. Только поворчит себе под нос и дальше вкальвает. Но внутри соображает. У ней в черепушке все время работа идет, я сроду таких не встречал. Жена-покойница голову иные дни вовсе не включала, меньшей, разве когда на курсах механизаторов учился, будкой пользовался, а так мог бы на погребке держать, сам я, правда, из мыслящих. Переживаний много было, обратно же — война. Мы как с Венькой-задумчивым сходимся — страшное дело, не продохнуть от мыслей. Но тоже — увлечешься граблями или еще чем, после спохватишься, батюшки, когда же я в последний раз думал?! Вот вы человек, конечно, городской, от мозга головного кормитесь, а много вы о серьезном думаете?

— Нет, — честно признался я, — самую малость. Знаете, был такой француз Паскаль, знаменитый философ, ну, ученый, который...

— А я знаю, что такое философ, — спокойно прервал Алексей Тимофеевич. — Это который, поддав, за мировое устройство переживает. Раньше за такое по головке не гладили.

— А еще раньше на кострах сжигали. Но Паскаля не сожгли. Хитрый был, пил втихаря, за языком следил. Однако считался умнейшим человеком своего времени. А перед смертью признался, что о серьезном думал в редчайших случаях.

— Но, видать, дельно, раз о нем помнят... «Молодая» не как энтот... она всю дорогу в размышлениях, серьезных — сроду не улыбнется. Но вслух не высказывается, про себя

копит. А потом действует. Так и у нас вышло. Мы с сыном в воскресенье еще рассольничком не поправились, а по деревне облако запылило: погнала «молодая» свое стадо к дочери. И списываться не стала, сама все решила. Даже зятя не забоялась. Из дома иголки не взяла, но своего не забыла. Мы от удивления обратно наглохотались.

«Молодая» прошла мимо нас уже с пустым ведром и бросила тот же угрюмый, недружелюбный взгляд.

— Это соседей наших гость, — счел нужным определить меня Алексей Тимофеевич. — Он не по мою душу. Напрасно супишься.

«Молодая» не отозвалась, зашла в дом и сразу вернулась с решетом ранних падалиц и свернула за другой угол дома.

— Вот бабье! — усмехнулся Алексей Тимофеевич. — Только выпивка в башке, будто у людей другого разговора нету. Надо ж, дурь какая!..

— Ну, и чем же все кончилось? — спросил я.

— Чего кончилось?

— Да с женой...

— С этой?.. А у нас ничего не кончилось. Я же говорил: ушла она к дочери и всю живность угнала. Окромя, конечно, коровы. Ну, а мужик нешто с коровой управится? Я ее к сыну старшему свел. Пусть молоком семейство попользуется. Он ее сразу продал. И телевизор цветной купил, а мне фонарик карманный, только к нему батареек нету. Останные деньги, конечно, прогулял. И тут наша графиня надумала вернуться. Не показалось ей у дочери. Скушно. И зять балует. Вообще-то он смирный, а выпимши — сразу за топор. Больше для куражу, но лавки, столы рубит.

— И часто он запивает?

— Запивают — которые запойные. Он каждый день пьет. Не сказать, что помногу, а бутылку бормотухи принимает. От нее, правда, чумеешь сильно. Ну что такое ноль-пять красного для мужика? Но коли вскипятить, все масла, все примеси, вся вообще отравы исключительно активизи-

руется. Вроде это и хорошо: рупь двадцать — и ты в лоскутья, и вроде плохо: ни поговорить, ни песню спеть, ни уважения к себе почувствовать. Отключился, и все. В общем, не ужилась у дочери наша маркиза. Коровы и той нету, молоко в магазине берут, когда бывает. Гусю одному ейный зять голову срубил, а из овец обещался... как его?.. башлык сделать. Она велела мне сказать, что назад хочет. А я в сомнении. Вроде бы чего-то не хватает. Так хоть она по избе шастает, ругнешь когда или просто окликнешь, а тут говорить разучишься. Да и готовить я терпеть не люблю. Сын в столовке горячего похлебает, а я на сухомятке. Но вот с коровой... Больно она Пеструшку уважала. Фонарик — вещьца занятная, но корову не заменит. Пошел я с Веней-задумчивым посоветоваться. Тот словами не сорит, но башка — прожектор. Веня выслушал и говорит: ставь бутылку. Сходил я в магазин, принес красного. Он говорит: моей голове бормотуха вредна. Вот те раз! Белого ближе, чем на Полотняном Заводе, не достать... А знаете, что за место такое — Полотняный Завод? Там Пушкин супругу себе взял — Наталию Николаевну Гончарову. Он тогда в картишки все, как есть, спустил и на богатой решил жениться. А Полотняный Завод паруса для флота ставил. Ну, это дело прошлое... Добрался я туда на попутной, а в магазине — обратно красное. Хорошо, люди научили: в «Голубом Дунае» на станции имеется «Экстра» по пять двадцать! Но что делать — взял бутылку и поездом до Льва Толстого добрался. Оттуда молоковозом — до фермы, а дальше пехтурой... Слышали, почему станцию Львом Толстым прозвали? Он там помер, когда с дому сбежал. У стрелочника в будке. Стрелочник посла с круга спился. Понять его можно. Живешь себе потихоньку, стрелку передвигаешь, выгоревшими флажками помахиваешь, и вдруг тебе как крыша на башку — невиданный гений русской земли. Заходит, ложится на лавку и помирает. Понятное дело, стрелочник не выдержал, люди с меньшего в распыл идут... Ну, сели мы с Веней, выпили, он свою белую, я красную, но кипя-

тить не стал, чтоб из сознания не выпасть. Он долго думал, видать, то туда, то сюда ложилось, а он мужик тщательный. Наконец, говорит: до Полотняного далеко, придется сельповского красного взять. Пушай голова поболит, зато решится крепко, как на суде. Побег я в магазин, а продавщица уже замок вешает. Не успел я крикнуть: погоди, мол, — гляжу, облако над дорогой клубится, розовое такое от вечерней зари, а под облаком, маленько впереди, моя принцесса гонит стадо: овец, свинью с поросенком и гусей, каких зять помиловал. Надоело ей ждать, а может, решила, что молчание — знак согласия, и притащилась назад. А я ей, оказывается, рад, зря, мать честная, на дурака соседа столько денег извел. Портвейчок я все ж таки успел схватить, и мы его с «молодой» вдвоем распили. А за корову она особо не ругалась, она по ней слезами изошла. Понять ее можно: Пеструшка хоть и тугосисяя, но исключительно дойная коровенка. Я обещался на грабли подналечь и другой обзавестись.

Мы еще немного поговорили, а потом зашумел трактор, подкатил к дому и стал. В кабине пусто, видимо, трактор, как самодвижущийся танк «Галлеат», управлялся на расстоянии.

— Мать! — крикнул Алексей Тимофеевич. — Василий приехал. Подсоби!..

Он пошел к трактору, и тут я увидел на земле молодого белобрысого парня, пребывающего в глубоком сне; он вывалился от толчка, когда машинально, уже в бессознательном состоянии, остановил трактор у родного порога. Невозмутимость Алексея Тимофеевича подсказывала, что ничего неожиданного в подобном возвращении с работы меньшого не было. «Молодая» не заставила себя ждать, вдвоем они подняли обмякшее тело и понесли в дом...

Внезапно я увидел, как много кругом детей. Почти как у Брейгеля на страшной картине «Играющие дети» или у Кафки в «Процессе», где они чуть было не заиграли насмерть несчастного героя. Но я плохо помню роман, к тому

же читал его по-немецки, а при моем причудливом полужнании языка я частенько угадываю, вернее, придумываю не только отдельные слова, но и целые фразы, — возможно, у Кафки кочевряжащиеся дети ничем не угрожают герою. Но мне так интереснее и страшнее. Наверное, потому и пристрастился я к немецкому и английскому чтению, что, с одной стороны, это сотворчество, с другой — остается некая таинственная углубляющая недосказанность. Как-то раз я перечел по-русски один из таких досочиненных мною «готических» английских романов и был поражен его скудостью, хотя затрудняюсь сказать точно, какие бездны мне отверзались в подлиннике.

Эти дети не играли, не ломались, не безобразничали, они наблюдали и обменивались впечатлениями. И предметом их опасного любопытства был чужак, зашелец, незнакомец, короче говоря — я. Чувствуя холодок в лопатках, я напустил на себя беспечный вид и в свою очередь принялся рассматривать детей. К соседскому плетню прислонились трое: худенькая девочка с прической «конский хвост» все время поправляла что-то в своей одежде: то лябочку майки, сползшую с худенького плеча, то выкрутившийся пяткой вперед носок, то выпавшую из-под юбочки штанину; другая девочка с широким неподвижным лицом тоже не знала покоя, ей непрерывно требовалось — выковырнуть соринку из глаза, извлечь жучка из уха, что-то выплюнуть, почесать укус на руке, прихлопнуть овода на шею, отмахнуться от слепня, потереться спиной о плетень — ни минуты покоя, как же должна она уставать за день! — и странно противоречила кинетическая буря тишине неприсутствующего лица. Спокойствием, умиротворенностью веяло от третьего члена компании — толстого, крупного мальчика, одетого крайне причудливо: фуражка-капитанка, бушлатик, серые шерстяные подштанники и калоши. Капитан был сориентирован фасадом в мою сторону, но не буравил меня глазами, скорее уж со скромным достоинством предлагал для обозрения собственную персону.

От нашего дома на меня поглядывали украдкой два больших мальчика, похоже, я их уже видел, причем одного, стройного, с тонким лицом цвета слоновой кости, знал и до приезда сюда. Сталкиваясь со мной глазами, он стыдливо-зло потуплялся, уже тронутый догадкой о ценности своего внешнего воплощения. Другой мальчик был проще, он еще не ведал своей индивидуальности, оставался частью природы.

И была еще девочка лет семи, которая кралась вдоль забора, зыряка чудными блестящими глазами, я не различал их цвета, похоже, они, как стеклянные шары на клумбах, отражали цвет заглядывающего в них мира: неба, травы, цветов, птиц. На той стороне — тоже дети разного возраста, и все они смотрят на меня. Я обложен со всех сторон, бежать некуда. Как неловко и глупо стою я на ничьей земле, меж двух изб, где меня настигло грозное видение детей. Солнце бьет в глаза, кусают комары, я сроду не встречал таких едучих тварей. Но каждый жест подконтролен, и это сковывает, я робко поеживаюсь, меня не хватает на энергичный отмах.

Спасение приходит в образе моей хозяйки Веры Нестеровны, олицетворения надежности, безопасности, охраняющей силы. Она большая, у нее стиснутые, как у женщин Луки Кранаха, груди и широкий таз, тяжелые, медленные ноги; голубоглазое кукольное лицо обманывает детским простодушием, она — человек глубокий и острый.

— Самоцветов Федор, Княжевич! — накинулась она на больших мальчиков. — Вы чего за водой не идете? Сколько надо талдычить?..

И тут я вспомнил, что Княжевич — сын Веры Нестеровны, которого я знаю с младенчества, хотя видел мало. Остро ощущая чужое существование, он в присутствии посторонних начинал либо кукситься, либо ломаться, и его уводили из комнаты. К тому же с последней и давней нашей встречи он сменил облик, как змея — шкуру. С Федором Самоцветовым, его двоюродным братом, я познакомился совсем недавно, когда прибыл в Мятлево.

Бытовые интонации Веры Нестеровны сняли покров опасной тайны, расколдовали детский мир. Никто ничего не злоумышлял, и смотрели дети не только на меня — новенького, но и друг на дружку, на кур, собак, бабочек, стрекоз, на все, населяющее пейзаж, и, конечно, на крадущуюся девочку, последнюю загадку в рассекреченном пространстве.

— Ты опять здесь? — накинулась на нее Вера Нестеровна, заземляя эльфическое создание. — А мать знает?..

Девочка изогнула спину, как гимнастка на бревне перед обратным сальто; изящным круговым движением выпрямилась, наклонилась вперед, вновь распрямилась, сплела пальцы, уронила каштановую головку к правому плечу и на мгновение застыла в позе безнадежного изнеможения. Вера Нестеровна терпеливо и сердито наблюдала этот танец умирающего лебедя. Глаза девочки жили отдельной от тела жизнью: тело лгало, притворялось, отвлекало, усыпляло враждебную силу чужой пронизательности, а глаза служили истинной сути, устремленные мимо Веры Нестеровны к средоточию всепоглощающего интереса — к романтическом Княжевичу.

— Ты бы мать пожалела! Она с ума сходит. Небось уже на реку с багром бегала. Какая же ты, Машка, непослушная! Я не велела тебе приходить.

Желтые глаза девочки — сейчас они отражали подсолнухи на сарафане Веры Нестеровны — упорным взглядом вкось и мимо заставили ту наконец обернуться.

— Мишка, паршивец, ты еще здесь? Катись за водой сейчас же! Вон Федька с ведром томится.

Мишины щеки опалово высветились, так выглядит румянец на бледно-смуглом, с чуть заметной прижелтью — цвет слоновой кости — лице. Он надменно вскинул голову, темные плотные волосы колечками завивались на стройной шее, и медленно пошел прочь. И в тот же миг Машка сгнула.

— Что за черт? — обалдело произнесла Вера Нестеровна. — «А царевна вдруг пропала, будто вовсе не бывала».



Мы одновременно обнаружили ее в репейнике на задах избы. Она пробиралась сквозь колючую поросль к колодцу. Вера Нестеровна посмотрела на меня, усмехнулась и... превратилась в соляной столб. С ней это случалось нередко — в избытке забот и жизненных интересов она не знала, за что взяться. Так и сейчас — возможностей было не счесть: готовить обед, идти на реку, заштуковать мужу походные брюки (он собирался провести отпуск на Алтае), читать воспоминания декабриста Цебрикова, играть на лютне (у нее была лютня) или, отбросив внешнюю и внутреннюю суету, просто выкурить сигарету. Она остановилась на последнем.

Дети тоже разбрелись кто куда. Остался лишь морской капитан в серых подштанниках. Он следил за маневрами огнистого петуха, преследовавшего рябенюкую курицу. Она упорно не поддавалась домогательствам красавца. Наконец он все же потоптал ее и, сразу утратив интерес, направился к другим женам, высоко задирая жилистые ошпоренные ноги. Курица отряхнулась, обронив серое перышко, и принялась расклеивать какие-то кишки. Капитан удовлетворенно покачал лобастой головой, одобряя мудрость естественной жизни, и пошел за сарай по своему морскому делу. А мне почему-то захотелось написать о князе Одоевском. Я ничего не знал о нем, кроме того, что он сочинял, ставил какие-то опыты, музицировал и слыл чудаком. Когда-то я прочел его рассказ о композиторе Бахе, о котором он в свой черед ничего не знал, но Пушкин восхищался этим рассказом и даже воскликнул, предвосхитя стилистику более поздних времен: у нас не было исторического рассказа, у нас он есть теперь. Пушкин считал себя ответственным за русскую литературу. Потому и был так снисходителен к скромным творениям своих современников, он хотел их поощрить. Но дело не в этом. Хочется написать о князе Одоевском. Что — понятия не имею. Но хочу. Должен написать. Как связаны с этим велением моя хозяйка и шестилетний капитан в серых шерстяных под-

штанниках, огнистый петух и рябая курочка, равно и другие местные впечатления — понятия не имею...

И был лес...

И была река...

И был вечер...

А в лесу, густом, душном, жарком, пахучем, замечательном, — комары, слепни и оводы. Мы отмахивались ветками. Вера Нестеровна и Грациус курили сигарету за сигаретой, пуская дым изо рта, ноздрей, ушей, но в отличие от воспитанного таежного гнуса, местная летучая гнусь не боялась дыма. Слепни и оводы — первые, больно жала, вторые, щекочуще внедряясь в кожу, чтобы отложить там яйца, — без счета гибли от наших шлепков, но это не устрашало остальную несметь. О комарах и говорить не приходится, они чумели от нашего жизненного сока, как мятлевцы от горячей бормотухи, и расставались с жизнью в эйфорическом состоянии. Мы вышли из леса окровавленные, как из боя...

Угра — одна из лучших малых рек средней России: широкая, полноводная, упругая, с довольно сильным течением и потому чистая, с песчаным дном, не заросшая у берегов, то крутых, то плоских и всегда чистых, крепких. Чудесно было войти в прохладную воду, смыть кровь и комариные трупы, лечь на спину, закрыв глаза, и отдаться течению.

Мы долго сидели на берегу под вязами. Комары пропали. Легкий ветерок, потянувший низом, наклонивший травы, но не двигнувший и листка на деревьях, заставил попрыгаться маленьких демонов.

В лесу ветра не было, и на обратном пути нас ждала новая сеча...

Вечер не спешил, давая отбуйствовать закату. Багровое пламя на западе превратило серебристую Угру в реку крови, и все комары унесли туда, чтобы погрузить хоботы в красный поток и налиться в разрыв субстратом жизни. Они вскоре поняли, что ошиблись, и,

распаленные злобой, вернулись назад. Мы перестали сопротивляться. Вокруг каждого из нас, а сидели мы на пристроенной к избе терраске, реяло плотное облачко. Казалось, то парят зернышки граната — раздувшиеся брюшки просвечивали рубиновым.

Послышался тяжелый топот — вернулось с пастбища небольшое деревенское стадо, слышались озвонченные тишиной, ласковые, зазывные голоса хозяек. Голос «молодой» не звучал среди них, но в ее дворе появились без всякого зова четыре овцы, слипшихся, как дешевые конфеты, — три взрослых, одна подросткового возраста. Потом помешалось, что это одна четырехголовая овца, настолько синхронны все движения и неразделимы тела. Эту единую овцу разрушил не поспевавший за стремительными маневрами подросток. Он отставал и панически кидался вслед остальным, чтобы снова присохнуть к боку матери. И возник другой образ. Манерно изогнутые шеи, тупая кротость во взоре, вон уж и венчик нимба зрится над каждой плоской головой — четыре кротких библейских овна парят над землей, чуть касаясь ее маленькими копытцами. Они враз начинают оципывать траву, враз прекращают и выписывают новый немислимый и ничем внешним не спровоцированный зигзаг. Их до подлости смиренное, отвергающее даже намек на индивидуальность и покорное неведь чему поведение раздражало, и мысль хищно обратилась к жертвоприношениям, закланиям, шашлыку. Появилась «молодая» с ведром в руке, налила воды в колоду и что-то крикнула овцам. Те на всем бегу красиво вскинулись на дыбки, повернулись на задних ногах и, колесом изогнув шеи, помчались к колоде, только малыш не справился с разгоном, проскочил вперед и перепуганно, во все лопатки кинулся вдогон.

Спал я на террасе. Набитое звездами громадное — всюду — небо вытянуло меня наружу и поместило в пространстве. Оно было таким же, как в детстве, когда я спал в сухотинском яблоневоm саду или под стогом в ночном, во

всю сферу, не приглашенное никаким светом с земли, оно переливалось, мерцало, ворошилось, мигало, пульсировало, жило, и лишь Млечный Путь оставался недвижим.

И была великая тишина. А я — постоянный житель Подмосковья — забыл о беззвучном мире. Ах, эти пионерские горны и бодрящие команды физзарядки, разносящиеся далеко окрест, и шесть пластинок, которые вот уже двадцатка лет сопровождают юную, а заодно и нашу жизнь с раннего утра до позднего вечера; автомобили, бульдозеры, тракторы, мотоциклы ведут свои партии; трижды в день электродойка на молочной ферме шлет в простор пасхальный звон — я люблю рассматривать репродукции волжских видов Кустодиева с чудесными церковками и колокольнями на фоне синих небес под благовест доильных аппаратов; но главная звуковая мощь изливается сверху, там сосредоточены геликоны, тромбоны, барабаны, медные тарелки: над нами набирают высоту реактивные лайнеры с Внуковского аэродрома, над нами пролегает вертолетная трасса, соединяющая Внуково с Домодедовом, гигантские стрекозы почти задевают маковки сосен; и старые заслуженные самолеты, которым давно уже поставлены памятники, задышливо тянут над нами, патрулируя Калужское шоссе, а стрекочущие сельскохозяйственные самолетчики трудолюбиво кропят белесой слизью наши скромные садочки; порой в блистающем, без облачка небе гремят тяжкие грома — то преодолевают звуковой барьер новые ястребки. Ночью — я сплю у открытого окна — изрыгающие красное пламя драконы проходят так низко, что я вжимаюсь в подушку. Нет тишины, нет неба, нельзя же считать небом ту истерическую высь, загаженную и провонявшую не меньше земли, где моторный рев давно погасил музыку сфер.

А сейчас надо мной простиралось небо. Тихое небо над притихшей землей. Полное беззвучие. Даже склеротический щебет крови в ушах — весенний лес, который всегда со мной, — замолк, пристыженный великим покоем миро-

здания. И не могло не родиться что-то из сплава внутренней и внешней тишины. Милые, забытые и полузабытые тени обступили меня. Они явились из дней моего младенчества, которые я не помнил, но, оказывается, все же помнил, из акуловского и рязанского детства, из громадной московской квартиры и кипящих котлов двух глубоких московских дворов, из дней моей первой любви в сердоликовом, горячем, ветреном, райском довоенном Коктебеле, из войны и поздней жизни, с кладбищ, оставив свои ведомые и неведомые мне могилы; были среди них фотографии-пушкари с Чистых прудов, лодчники с разных пристаней — от Клязьмы до Ангары, милиционеры, зеленщики, продавцы ирисок и мороженого, охотнорядские мясники, школьные учителя, хранительница моего детства Вероня и вся ее бесчисленная родня. Мать в расцвете бесшабашной молодости, уводившей ее от меня, и старый, со всосанными щеками врач, лечивший бесплатно всех детей нашего дома (за доброту ему платили травлей, потому что был он рассеян, незащищен, горд и обидчив), — и, кажется, тут я начал плакать и плакал не переставая, до пробуждения, если только я действительно плакал, а не омывал сновидений воображаемыми слезами.

И сколько тут было людей, но не было ни одного лишнего, они все нужны мне, и я бы не поступился ни одним фотографом, обещавшим птичку, которая так и не вылетела, ни одним зеленщиком и — уж подавно — ни одним мороженщиком, ни одним таксистом и ни одной легкомысленной девицей. Но даже по самому снисходительному счету, разве мне не попадались дурные и злые люди? Да, но им здесь не было места. Воображение вызывало лишь тех, кто хоть чем-то помог моей жизни: морковкой с лотка, леденцовым петухом, пятикопеечной порцией мороженого в вафлях, добрым словом или взглядом или осуждающим молчанием. Как много надо людей, чтобы прожить и не сломаться, не рухнуть, а тут были и те, кто откупил меня ценой собственной жизни от смерти, мои

товарищи, не вернувшиеся с войны. И мне представилось, что и я участвую в чужих хоровах, ведь и у других людей случаются минуты тишины, когда они могут оглянуться на тех, кто им сопутствовал или просто мелькнул блестинкой добра в их жизни. Как велика людская взаимосвязь, о которой мы забываем в повседневной суете. «Мы одной крови — ты и я» — почему пароль джунглей, подслушанный Киплингом, не стал правилом человеческого общежития? А ведь мы так слабы, немощны в одиночестве, мы ничего не можем, если другие нам не помогают. Азбучная истина. Но ничего так легко не забывается, как азбучные истины. Спасибо доброй, тихой ночи на Угре, что напомнила о ней.

Разбудил меня петух. Казалось, он заорал в самое ухо. Я вскочил с сильно бьющимся сердцем. Не от испуга, от счастья и печали. Оказывается, с той уже далекой поры, когда я бросил охоту и рыбалку, не звучал мне голос «глашатая новой жизни». У меня дома есть старые английские напольные часы с боем — тоже хорошая штука, особенно зимой, когда темно, за окнами еще ночь, а семь мерных звонких ударов напоминают, что пора начинать жизнь, и гарантируют — без всяких оснований — покой и уют. Но это совсем другое — надтреснутый, хриплый, раскатывающийся по всей вселенной голос матерого, испытанного в боях и любви, бесстрашного петуха. Это призыв к битве, к подвигу, к молодости...

А потом был забытый гром пастушьего кнута и тяжелый топот коров, собирающихся в стадо; я приподнялся на койке и ухватил промельк четырехголового призрака, выметнувшегося с соседнего двора.

И тут сразу две курицы ликующе-паническим коконьем оповестили мир о счастливом разрешении от бремени. Вон они в ямках у плетня наших других соседей. Из дома вышел заспанный капитан в фуражке, бушлате, но без подштанников, голые незагорелые ноги засунуты в валенки. Он проковылял к раскрячавшимся курицам, выгнал их из ямок и вынул по большому белому яйцу. Приложил к ще-

кам, чтобы ощутить теплоту. Строго поглядел на огнистого петуха, и тот понял его взгляд как призыв к действию. Хлопнув крыльями, низко опустил голову, словно для боя, и молниеносно подмял рябенькую курочку. Для обладателя такого гарема он отличался редким постоянством. Капитан потрюхал назад, споткнулся на ступеньках крыльца, шлепнулся, но яиц не выронил. Он поднялся, поправил сползшую на нос фуражку и, немного поразмыслив, вдруг взял паразитильную по силе, высоте и длительности ноту и с ревом вошел в дом.

Квохтали квочи по всей деревне, крикали утки, гоготали гуси, вскрикивали и бормотали голуби, скрипел колодезный ворот, заржала лошадь — чисты и вечны эти древние голоса. Да какой там вечны! Все это уже на исходе, а что придет на смену бытию, породившему русскую культуру?..

То затопляемые водами многими, то просто оставляемые на могильное гниение или на утеху сезонным людям исчезают деревни. Говорят о необратимости исторического процесса, о выгодах, которые проистекают от этого в народной жизни. Самое легкое — предсказывать далекое будущее, поди проверь. А кто знает — может, все дозволено стронуть, сдвинуть, вывернуть наизнанку, а избу не трожь? Пахарем жила Россия, а пахарь жил в избе...

...Когда я мылся во дворе под рукомойником, появился озабоченный Федя Самоцветов с офицерским планшетом через плечо. Он достал из планшета тетрадочный, в клетку, лист и толстый канцелярский карандаш. Задумчиво постукивая карандашом по зубам, он стал обозревать ближайшую местность. Вера Нестеровна говорила накануне, что Федя странный мальчик: он не купается, не плавает на дырявой надувной лодке, не ходит в лес, не дразнит девчонок, не играет ни в какие игры, живет в своем особом, тщательно оберегаемом мире, включающем книги, раздумья, страсть к топографии (он каждый день наново составляет план местности), уклонение от домашних обязаннос-

тей и постоянные ссоры с кузеном Княжевичем, причины которых невозможно уловить, поскольку интересы мальчиков не пересекаются. На мой взгляд, тут не было никаких тайн. Противоположности не всегда сходятся. Прямую, активную натуру Миши должна нестерпимо раздражать лунатическая повадка Самоцветова. Душевная самоизоляция Феде не обеспечивает ему защищенности, для этого он слишком нежен и раним. Любая резкость, грубость, малая несправедливость заставляют его страдать.

В романтическом, гордо-застенчивом Мише естественно и закономерно развивается мужское героическое начало. Самоцветов сложнее. Зачем он, едва проснувшись, составляет план местности, словно не может без этого ступить в знакомый мир, ограниченный для него, заядлого домоседа, несколькими избами, огородами, плетнями, палисадниками, сараями, домиками уборных, поленницами дров, купами деревьев да зарослями репейника? Но Федя с маниакальным упорством каждое утро погружается в свой однообразный кропотливый труд. Дурости взрослых людей свойственно провидеть будущее детей в их увлечениях. Значит, Феде предстоит стать топографом, или картографом, или штабным офицером, имеющим дело не с живым миром, а с его схематическим изображением, нейтральным к чувствам жалости и сострадания. Но мне почему-то казалось, что в этом «схематике» скрывается художник, которому слишком мучительно соприкосновение с внешним бытием, и он пытается хоть как-то упростить его, упорядочить, укротить, сделать не таким сложным и страшным. Другое дело — Миша, он художествен своей сутью, не источник творческих сил, а объект для их приложения. Пловец, ныряльщик, отчаянная голова, он обращен вовне, а такие люди становятся или зиждителями, или деятелями.

Пока я мылся, предаваясь одновременно приятному праздномыслию, Федя завершил свой чертеж. Он успел расписаться и поставить дату, когда появилась Вера Нестерова с эмалированным бидоном.



— Давай-ка быстро — за молоком. Попьем парного.

— Почему я, а не Мишка? — проскрипело в ответ.

— Он на реке. Не побегу же я за ним!

— Я могу сбегать.

— Вот и сбегай, только не за Мишкой, а за молоком.

В ответ — долгое молчание. Федя тихо сочился, как скала, именно сочился, а не плакал, ибо плач — проявление внутренней активности и одновременно расход сил, от плача люди устают, от бурных рыданий на ногах не держатся. Федя самопроизвольно сочился — из серых глаз, немного из носа, не сопровождая истечение никакими звуками и вряд ли даже замечая, что с ним происходит, как не замечает скала выбивающейся из нее влаги. Самозащита Феде осуществлялась с минимальным расходом сил, и эта бессознательная бережь к себе была несомненным, хотя и побочным признаком художественной природы.

— Как тебе не стыдно? — наседала Вера Нестеровна. — Неужели ты не можешь принести бидон молока?

Мир был опять назойлив, резок, несправедлив, и Самоцветов перешел к активной обороне.

— Я маленький, — произнес он сипло и жалобно. — Мне тяжело.

— Зачем ты врешь? Ты же таскаешь воду из колодца, да еще как!

— Вместе с Мишкой... А потом, вода — другое дело! — Сочь заметно усилилась.

— А какая разница?

— Очень даже большая!.. Молоко жирное, а вода пустая, у нее удельный вес меньше.

— Чего?.. Чего?..

— А ничего!.. У бабы Дуни — ярославка, жирность молока четыре и три сотых процента. Поноси такое!..

— Ну, знаешь! — озадачилась Вера Нестеровна. — Ты меня совсем задурил. Без сигареты не обойтись. Ладно, сама схожу.

И мгновенно иссяк родник, скала перестала сочиться. Федя тихонько побрел прочь, ориентируясь по новому, уточненному плану, вскоре он оказался возле уборной, где и скрылся.

Он пробыл там ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы Миша Княжевич вернулся с реки. Федя правильно рассчитал, что Вере Нестеровне будет лень идти самой, а бодрящий дымок сигареты, глядишь, и подскажет ей какие-то контрдоводы. Не ожидавший худого, Миша получил в руки бидон и указание: одна нога здесь, другая — там.

— А Федька что? — хмуро спросил он.

— Какой тебе еще Федька? Сказано — ступай!..

Миша взял ведро и пошел тропинкой, ведущей мимо уборной. Здесь он с силой рванул ручку двери, которая была на запоре.

— Ну погоди, гад!..

Он скрылся за плетнем, а я увидел в репейнике знакомую фигурку, с верткостью ласки устремившуюся за ним следом сквозь колючие заросли...

Наш скромный завтрак сильно затянулся по вине Княжевича и Самоцветова: первый читал Сартра, второй погрузился в «Занимательную астрологию», оба тыкали вилками мимо пищи и обливались молоком под вопли Веры Нестеровны, и я чуть было не пропустил поучительное зрелище.

Все малолетнее население нашего микрорайона собралось возле соседней избы, где бравый капитан в полном параде — фуражка, бушлат, шерстяные подштанники, сейчас опущенные на калоши, — задумчиво и мощно мочился на лопухи, бузину, плетень, сарай, подсвинка, кур, на еще зеленые головы подсолнухов, котенка, неосторожно ступившего в зону орошения.

— Он ведерный самовар выпивает, — шепнул за моей спиной Федя. В голосе его звучало глубокое уважение.

— А ты на крышу можешь? — спросил Миша.

Богатырь даже не оглянулся, спокойно направил брандспойт вверх, и золотая струя заколотила по тесовой крыше.

— А в трубу?

Струя взмыла и рассыпалась брызгами в изножии кирпичной прокопченной трубы.

— Раньше надо было говорить, — недовольно проворчал «моряк». — Напора уже нету.

Он отдал последнее ближайшим окрестностям и натянул подштанники. Дети исчезли разом, как воробьи. У крыльца Вера Нестеровна утешала вновь обернувшегося слезоточивой скалой Федю:

— Ну, что ты нюни распустил?.. Не по-мужски это. Дал бы ему сдачи, он бы — тебе, а я — ему... Так бы врезала! — добавила она кровожадно.

Откуда-то сверху послышался крик, мы дружно вскинули головы и увидели летящего с неба Княжевича. Он действительно летел, вернее, шел на посадку, раскорячившись, с вытаращенными от ужаса глазами. Лишь когда он благополучно приземлился на крыше своего дома, слегка ее проломив, мы догадались, что произошло. Рассчитавшись с Федей, он счел за лучшее на время исчезнуть, не удаляясь значительно от родного порога. Лучшее всего этой цели служила высоченная плакучая береза, простершая свои ветви над избой. Он мог спокойно отсидеться в густой листве, но его заинтересовали клеветы коварного плаксы Самоцветова и какой кары надо ждать. Миша стал тихонько продвигаться по суку, но толстый, крепкий с виду сук оказался гнилым и обломился.

Сейчас Миша, гордо подбоченившись, стоял на крыше, а мы, потрясенные и растерянные, смотрели на него снизу вверх, и очарованная девочка Маша, забыв об осторожности, прыгала и восторженно хлопала в ладоши, сияя драгоценными синими сейчас глазами.

— Ты здесь? — накинулась на нее Вера Нестеровна. — Опять без спроса?

Девочка понурилась, зеленая тоска налила ее глаза, отражавшие траву.

— Она тут с утра ошивается, — совершил донос Самоцветов и почему-то сразу перестал сочиться.

— А ты не ябедничай, — огрызнулась Вера Нестеровна. Маша медленно, потерянно побрела прочь, чтобы спрятаться где-то поблизости.

— Мишка, мерзавец, спускайся сюда, — голос Веры Нестеровны звучал чуть устало, — надо надрать тебе уши.

Миша не откликнулся на соблазнительное предложение, он стоял, брезгливо выпятив нижнюю губу и презирая нас, как только может презирать сын неба жалких земных ползунов.

— Миша, спустись, мальчик, мама даст тебе в глаз, — попросила Вера Нестеровна.

Миша не внял, сохраняя свою высоту — в прямом и переносном смысле слова.

— Ты упадешь, дурачок, и сломаешь ручки-ножки. Сойди, сыночек, тебе ничего не будет... Ну, и черт с тобой! — Вера Нестеровна потянулась за сигаретами. — Нужен ты мне больно, такое барахло. Живи на крыше, бандит, мы с отцом другого сделаем.

Это Мишу не устраивало, он хотел остаться единственным. Юркнув в чердачное окно, он через мгновение оказался внизу. Но мать уже забыла о нем. Ее интересовало сейчас, почему верлибр не привился русской поэзии. Я этого не знал, но случившийся рядом Грациус — он упорно играл в рыболова, пропадая весь день на реке, — стал доказывать, что верлибром пользовались и пользуются поныне многие отечественные поэты...

Остаток дня прошел спокойно, если не считать появления за ужином человека, о котором мы с Грациусом как-то забыли. Он сидел, уткнувшись в толстый фолиант, и не поднял головы, чтобы поздороваться с нами, лишь буркнул что-то неотчетливо приветливое. Я высчитал, что это муж Веры Нестеровны. Запомнить его было трудно, поскольку он то сбрасывал, то вновь отращивал козлиную бородку. Был он светилом эндокринологии, в силу чего (закон контра-

тов) почти все время тратил на перевод Тита Ливия с латинского. И еще он часто болел радикулитом, поэтому мы не видели его до сих пор — очередной приступ. Естественно, что при таком недуге отпуск он проводил только в горах. Самое же удивительное, что истинным главой дома был этот молчун-невидимка, а не громогласная богатырша Вера Нестеровна. Он вроде ни во что не вмешивался, но катилась семейная телега его волей и разумением. А еще более невероятно, что Вера Нестеровна была счастлива с ним.

Я заметил, что Грациус, который и сам не был вполне реален, смущен, даже напуган появлением этого полупризрака. Вспомнилось уальдовское: кентервильский дух боялся привидений...

И снова была прекрасная ночь и петушиное утро...

Грациус соблазнил меня рыбалкой. Он ходил и на вечерние и на утренние зорьки, но без успеха. Это меня удивляло: за что бы ни брался Грациус, у него неизменно все получалось, и если в чистой, полноводной Угре был хоть один ершик, он должен был достаться Грациусу. «Раз в положенное время нет клева, значит, берет в бесклевье», — мудро решил Грациус, и мы отправились на машине знакомой дорогой, через комарино-слепнево-оводовый лес к тому месту, где однажды купались. В лесном коридоре крылатая нечисть так облепила лобовое стекло, что дорога пропала. И сколь ни сноровисто вел машину Грациус, нас так трянуло, что я едва не прошиб головой крышу. Водитель не пострадал. «А говорят, что у «Волги» тонкая жесть! — заметил Грациус. — Это же броня. Но и черепушка у вас тоже крепкая», — добавил он одобрительно, и мы вырвались из лесного сумрака в свет поляны.

Было настоящим удовольствием смотреть, как Грациус налаживает удильную снасть и надувает лодку, меня, «безрукого», он ни к чему не подпускал. У Грациуса необычно-

венно умелые руки. Своими бледными, веснушчатыми тонкими пальцами он творит поистине чудеса: может отремонтировать любую технику, склеить расколовшуюся на сто осколков фарфоровую чашку, так что не увидишь «швов», мастерски реставрирует иконы, картины, старинную мебель, неподражаем в карточных фокусах, требующих ловкости рук, — предметы исчезают, стоит ему проделать молниеносные пассы, равно и возникают из воздуха. Дико думать такое о кристально честном Грациусе, но мне кажется, что в нем погиб гениальный карточный шулер.

Никакая ловкость не поможет, если нет рыбы. Мы пробовали ловить под берегом, в редкой тресте, на стрежне, на глубине, отыскав омут, внахлест — верхопоплавок, — хоть бы раз клюнуло. Ловили на дождевого червя, на мух, на стрекоз, на пшеничную кашу и хлеб, запасенные предусмотрительным Грациусом, на мормышку — тщетно. И все же один ершик оказался в Угре, его поймал Грациус.

— Господи! — воскликнул Грациус, возвращая ерша родной стихии. — Моби Дик!.. Белый кит!..

Я проследил за его взглядом. Между нависшими над водой ветвями плакучих ив, в слепящей ряби, то вздымаясь над водой, то погружаясь в нее, двигалось в нашу сторону огромное и прекрасное существо — белый кашалот — осуществленная в речном среднерусском варианте фантазия Мелвилла. Отфыркиваясь, вздымая фонтаны брызг, кольца воды от берега до берега, белое чудо приблизилось, выметнулось из-за деревьев и обернулось нашей милой хозяйкой Верой Нестеровной, плывущей баттерфляем. А за ней, отставая, захлебываясь, поспешал против течения из последних сил самолюбивый китенок по кличке Миша. Это было в духе Веры Нестеровны: она не терпела бессмысленного молодечества, но допускала любое испытание характера, жестокую проверку воли. Он захотел плыть с ней — пусть плывет, пусть мучается, потонуть не потонет — она рядом, а если слабак, хвостун, трус, пусть вылезает на берег и томится своей неполноценностью. Но Миша был гордый мальчик, он плыл почти в забы-

тьи, барахтался, закрывал глаза, ложился на спину и снова плыл; и доплыл на остатках дыхания и следом за матерью вышел из воды, дрожащий, синюшный, но не сдавшийся. Все же он не сразу подошел к нам, а вначале отдышался и повывтряс дрожь из тела под бережком.

— Так будем есть уху? — спросила Вера Нестеровна — расточительная природа отвалила этой славной женщине столько свежей плоти, что хватило бы на всех наяд окского бассейна.

— Из нотатеньи, — сказал Грациус, складывая удочки.

— Из бельдюги и проститомы, — подхватила Вера Нестеровна. — Почему нынешние рыбы — словно из публичного дома?

— Добродетельные все перевелись, — объяснил Грациус. — Вот и взялись за распутных тварей.

С независимым видом, весь пупырчатый, подошел Миша. Он редко смеялся и даже улыбался, этот мальчик, казалось, у него не хватает для улыбки кожи на лице, а сейчас, чуть приоткрыв рот, он издавал курлыкающие звуки и сгибался в поясе, словно живот болел, — он хохотал.

— Ты перекупался, мальчик? — встревожилась Вера Нестеровна. — Тебе плохо?

— Бур-ла-ки! — через силу проговорил Миша.

Проследив за его взглядом, мы обнаружили странное шествие. К реке спускались гуськом связанные веревкой дети. Впереди шла Маша, а за ней еще четверо — мал мала меньше. Цепочку замыкало совсем жалкое существо в короткой распашонке: голые непрочные ноги то и дело заплетались, существо падало, волочилось по земле, кое-как вставало на четвереньки, потом и на две опоры, чтобы тут же снова упасть. При этом оно не плакало и не жаловалось.

— Бедный пацаненок! — пожалела Вера Нестеровна.

— Это не пацан, — поправил Миша. — Это баба.

Непреклонный вож слабосильной ватаги свернул в нашу сторону, все покорно повиновались, только замыкающая «баба» опять шлепнулась и проехала на заду по откосу

берега. В двух шагах от нас шествие стало, слегка качнувшись назад, — малышка уцепилась руками за можжевельный куст и сработала, как слишком резкий тормоз.

— Бурлаки должны петь, — сказал Миша. — Почему вы не поете?

Маша преданно и смущенно поглядела на жестокого красавца, она не знала, что такое бурлаки и не поняла его слов.

— Так!.. — опасным голосом произнесла Вера Нестерова. — Что все это значит?

— Мама уехала на Полотняный Завод, — сказала Маша. — А нас связала веревочкой, чтобы не потерялись.

— А вы взяли и ушли!

— Ну и что? Мы все тут, никто не потерялся.

— Ох и вольт тебе мать!

Маша покрутила головой, она разговаривала с Верой Нестеровной, но глаза ее, ставшие цветом в слоновою кость, были прикованы к Мише.

— Ничего не вольт.

— Вот те раз! Опять ты в бегах, да еще малышку потащила.

— А что делать, раз мы связанные?

— Дома сидеть.. Мать зачем на Полотняный поехала? — Культуролобивую душу Веры Нестеровны обеспокоила внезапная вылазка художницы в гнездо Гончаровых, вдруг там открылся музей или хотя бы экспозиция, связанная с полотнянозаводскими днями Пушкина.

— За консервами и вином, — сказала девочка. — У нас сегодня поминки.

— Какие еще поминки?

— По нашему папе. Его уже три года нету. Вас тоже позовут. Мама сама зайдет или меня пришлет с любезной запиской.. Почему у тебя наколки нет? — спросила она Мишу.

— А на фига? — процедил тот сквозь зубы.

— Красиво! У моряков всегда наколки.



— Какой я моряк, дура?

— Ты разве не хочешь стать моряком?

Я думал, она дурачится, нет, она грезила.

— А на фиг? — спросил Миша.

— Хотелось бы больше лексического разнообразия, — заметила мать. — Ты что — говорить разучился?

— А чего она лезет? — с ненавистью сказал Миша.

— Хватит! Надоел. Давайте я вас развяжу.

— Не развяжете, — сказала Маша, и глаза ее стали, как незабудки от голубого купальника Веры Нестеровны. — Это морской узел. Мама от папы научилась.

— Я, конечно, могу развязать, — тихо сказал Грациус. — Но стоит ли? Так они хоть не потеряются.

— Ну ладно, артель, топайте домой, — решила Вера Нестеровна. — Мы поплыли за вещами. Выдержишь? — спросила сына.

Не удостоив ее ответом, Миша пошел к реке.

Мать с сыном быстро скрылись из виду — сейчас им было по течению. Бурлацкая ватага развернулась и побрела, солнцем палимая, в обратный путь...

Напротив нас жила краснощекая старуха на больных, отечных ногах. Утром она с трудом выползала из дома, хватаясь за дверной косяк, плетень вокруг палисадника, ветки сирени, добиралась до скамеечки и усаживалась на весь день. В дом она возвращалась к вечеру, когда приходила с работы ее низенькая, живая, необычайно быстрая в движениях дочь, по делу прозванная Нюрка-блоха. Наверное, старуха тоже была когда-то быстрой, непоседливой, как ее дочь, это угадывалось по живой улыбке, какой она отзывалась на каждое впечатление мимо текущей жизни. Удивительно богата оттенками была ее молодая, легкая улыбка. То веселая, то озабоченная, то любопытствующая, то озадаченная, то грустно-недоумевающая. Ей нравилось любое проявление активности в окружающих, что они могут пойти в лес, на реку, в поле, на ферму, в магазин, друг к дружке в гости или на развилку дорог, чтобы с попутной машиной умчаться в бесконечные дали: на

Полотняный Завод, в Медынь, хоть в Калугу. Она сопутствовала им душой, не завидуя, не сетуя на судьбу, приковавшую ее к месту.

Однажды в богатом наборе ее улыбок мелькнуло нечто, заставившее меня подойти. Мы поздоровались, и я уселся на лавку.

— Нравится вам у нас? — спросила старуха.

— Нравится. Только комаров много.

— У нас места возвышенные, сухие, — отозвалась она. — Комаров сроду не водилось. Потом объявились. Но мало, с недельку поедят, и нету. А последние годы — ужас что такое! Откуда они берутся? Может, из космоса?

Я пожал плечами. Старуха обрадовалась, засияла улыбками.

— Я сама надумала, а вот вы не спорите. Сейчас вообще много кое-чего случается, чего раньше не было. У нас за огородом, как гроза зайдет, по земле искры голубые бегают, будто зверьки играют.

— Может, там залежи железной руды?

— Мы думали — золота. Нюрка копала — ничего не нашла. Земля, навоз и черви. Летошний год ученый с Москвы приезжал опять собирать. У нас боковушку снимал. Так он говорит, что земля вроде в скорлупе помещается, и скорлупу эту всю ракетами продырявили. Теперь к нам всякая гадость сыплется, всякие заразы. У дочки на работе лекцию читали, про этот... алкоголь. Подсчитано, что у нас каждому жителю, младенцу или дряхлому старику, по сто граммов белого на день положено. А почему не выдают? Потому что и так, которые взрослые, залились до ноздрей.

Я сказал, что не вижу связи.

— Все от лучеиспускания зависит, — объяснила старуха. — Очень оно усилилось. Это не я говорю, а тот ученый, который опятьми увлекался.

Кто его знает, может, так оно и есть. Мы сами ни за что не отвечаем. Активизировалось лучеиспускание — мы спиваемся, настанет лучеизнурение — протрезвимся.

— А с Алексей Тимофеичем вы не пейте. «Молодая» этого страсть не любит.

Почему после единственного и вполне невинного разговора нас дружно заподозрили в винном заговоре? Я заверил старуху, что о вине и речи не было, я вообще человек непьющий.

— Все непьющие, — вздохнула она с понимающей улыбкой. — Откуда только пьяницы берутся? «Молодая» говорит хватит в доме одного чумового, на второго не согласная. Видали, в каком нимве Васыка с работы вертается? Он знает, что дома не дадут, и по затычку заправляется. «Молодая» у Алексей Тимофеича все до копейки отбирает, а бутылку разве что на большие праздники ставит. Поэтому он человек ищущий.

Я повторил, что не собираюсь сбивать его с пути праведного.

— А то смотрите! — таинственно улыбнулась старуха. — «Молодая» у нас волшебница.

Удивительно подходило сказочно-балетное слово к урюмому, коренастому гному!

— Колдунья, — понизила голос старуха. — Ведьма.

— И кого она заколдовала?

— А меня, — ответила она просто. — Походку отняла.

— За что же она вас?..

— Алексей Тимофеич, овдовевши, косил сюда глазом. Что было, то было. Я его, конечно, уважаю, но чтоб... да ну его к лешему! «Молодой», видать, доложили. Она женщина усмотрительная, вот и приковала меня. Вообще у нее глаз один: лишать человека спорости.

— Это как понять?

— А вот так. Соседка Симка нашла брошенную колоду. В другом краю деревни. Замечательную колоду — овец кормить. «Молодая» шла раз мимо, увидела, она ужас до чего к хозяйству жадная. «Ах и хороша колода! Сколько отдала?» Той бы дуре соврать, да не сообразила, призналась, что нашла. «Молодая» поглядела на нее, ласково вроде, а в глазах злость зеленая: «Везет же людям!» И легонько

так колоду огладила. Что же думаете? Ни овцы, ни свиньи из той колоды больше не жрут, не пьют. Другой раз зашла «молодая» на огород к Надёге Трушиной. Таких овощей, как у Надёги, ни у кого не рóдилось. Люта она гряды копать. «Молодая» оглядела овощную красоту, насупилась, присела и стала землю сквозь пальцы просевать. «Ах, хороша земля! До чего ж хороша!» Она похваливает, а у Надёги в грудях щемит. И как отвадило ее от огорода. Ноги туда не идут. Силком себя понуждала — все из рук валится. И смирилась Надёга. Сейчас грядки бурьяном заросли. Нет, «молодую» лучше не раздражать.

— А почему она не может пасынка от пьянства заговорить?

— Видать, это не по ее части. У нее тверезый закувыркается, а кувыркалу выровнять — силы нет. Она и себе самой подсобить не может, вкальвает весь божий день. Одна у ней специальность — спорости лишать.

Она поглядела на меня лукаво и залилась смехом — веселым и манчивым, каким смеялась, верно, в молодости, когда земля горела под ее легкими ногами...

Дома я застал такую картину: Вера Нестеровна сидела на корточках перед Федей Самоцветовым, трясла его и уговаривала:

— Ну, скажи, что ты врешь. Признайся, тебе ничего не будет.

— Это я написал! — обреченно, но твердо сказал Федя.

Увидев меня, Вера Нестеровна выпрямилась и сунула мне знакомый тетрадный лист: вместо полагающегося плана местности там оказались стихи.

— Этот наглец утверждает, что сам сочинил.

Я прочел:

И в сердце растрava,  
И дождик с утра.

Откуда бы, право,  
Такая хандра?  
Откуда кручина

И сердца вдовство?

Хандра без причины

И ни от чего.

Хандра ниоткуда,

Но та и хандра,

Когда не от худа

И не от добра.

— Прекрасные стихи. Это Верлен.

— Я так и знала! Ты, жабеныш, написал стихи Верлена?

Я ждал, что сейчас начнется истечение соленой влаги, но скала оставалась суха и твердокаменна.

— А что такого? — с вызовом сказал Самоцветов. — А хоть бы и Верлена. Если обезьяна будет складывать буквы пятьсот миллиардов раз, она «Сагу о Форсайтах» сложит. Что я — хуже обезьяны? Я в пятьсот раз умнее, да и сложил-то всего один стишок. Сравните его с «Войной и миром» — во сколько раз он меньше? Помножьте одно на другое и разделите на это число пятьсот миллиардов. Чепуха останется.

— Опять он меня задуривает, — беспомощно сказала Вера Нестеровна. — Что ты мелешь, какая еще обезьяна сложила «Сагу о Форсайтах»?

— Резус, — нахально ответил Самоцветов.

— А почему ты пропустил четверостишие? — спросил я.

— Я маленький! — слышалась знакомая противная интонация. — Мне и так трудно.

— А трудно — не берись! — вновь подхватила воспитательские вожжи Вера Нестеровна. — Придется тебе высыпать, плагиатор несчастный!

— Нельзя, — возразил плагиатор. — Я не ваш.

— Кормить тебя, поить, спать укладывать — ты мой. А уши надрать — не мой?

— Можете не кормить, не поить и не укладывать... — И скала засочилась.

— Ох, перестань!.. Скажи, что ты больше не будешь, и катись.

Вера Нестеровна хотела капитулировать на почетных условиях. Самоцветов не проявил великодушия.

— Я еще «Крокодила Гену» сложу, — пообещал кровожадно.

— Ну, это любая обезьяна сложит. Ладно, гуляй! — И, посмотрев ему в спину, Вера Нестеровна, сказала задумчиво: — Надо бы всыпать, да уж больно хорошие стихи слямзил...

Художница прислала нам «любезное» приглашение. На этот раз Маша не пробиралась сквозь репейник, не таилась в кустах, а явилась открыто, с достоинством и торжественностью герольда, уверенного в своей неприкосновенности. Была она ослепительно хороша: синяя наглаженная юбка, белая кофточка, в волосах бант. Ее приняли с должными почестями, ввели в дом, угостили водой «Байкал» и шоколадной конфетой. Пока Вера Нестеровна писала благодарственный ответ, Маша со стаканом в руке ходила по избе и спрашивала о книжках, тетрадках и разной мальчишеской дряни, вроде рогаток, лука, лодочек из сосновой коры, каких-то железяк: «Это Мишино?» В случае подтверждения предмет подвергался тщательному осмотру, а все находящееся во владениях Самоцветова с презрением отвергалось.

Забежал Миша с мокрой после купания головой, удивился присутствию прекрасной незнакомки, узнал Машу и зло смутился. А потом мы увидели в окошко знакомую картину, но как бы в перевернутом виде: Маша гордо удалялась по тропинке, а недавний гордец обдираал шкуру о репейник...

Душным вечером, когда, задавленный темной тучей, тревожно, пожарно горел закат, а на востоке вблескивали одна в другую зарницы и далекие грома доносились глухим, сонным бормотаньем, мы отправились к художнице в другой конец деревни.

Вера Нестеровна сообщила нам, что художницу надо звать Катя или Катька, она молода и любит простоту. Ее муж по-

гиб от несчастного случая, оставив ее беременную с тремя детьми на руках. Спустя какое-то время появился пятый. Это нужно было, чтобы выжить, замуж она не собирается. Она прикладница очень широкого профиля: керамика, батик, дизайн и даже шитье из раскрашенных ею же тканей. Катины платья весьма ценятся у московских модниц. У нее никого нет, кроме детей. Родители умерли, а свекровь порвала с ней, сказав: ты не сохранила моего сына. Избу она купила уже после смерти мужа, своими руками пристроила мастерскую, работает как оглашенная, кормит и обстирывает всю ораву и еще находит время читать, ходить на выставки и в театр.

— Значит, не надо строить постную рожу, «вздыхать и думать про себя...» — Грациус оборвал цитату, сообразив, что собирается ляпнуть выдающуюся бестактность. Это не соответствовало его изящной сути, но боязнь, что придется сострадать, ну если и не сострадать, то утомительно помнить о чужом неблагополучии, сбила его с толку, и он утратил обычный самоконтроль.

— Да будет вам, — поморщилась Вера Нестеровна. — Хозяйка дома — сильный и умный человек. Имейте в виду — ни лампадного масла, ни елдя.

Мы бодро шагали долгой, широкой улицей мимо справных заколоченных домов, мимо домов, взбодренных искусственной и временной дачной жизнью, мимо еще дышащих крестьянских изб, от которых тянуло запахом скота, дыма, чего-то печеного, тянуло теплом и родностью, как от материнского тела. Неужели впрямь обречены на исчезновение эти запахи, дыхание коров в стойлах и сонный переступ копыт, мудрая приспособленность бревчатого жилья к четырем сезонам, добрый жар русской печи?

В доме художницы царил переполох: кто-то из детей по оплошности или младенческому неведению выпустил кроликов из клетки. Пока что эти кролики были просто общими любимцами, но в будущем с ними связывался подъем материального благосостояния семьи.

— А куда они ускакали? — спросил Грациус.

— Большая самка — неизвестно, а самец с другой самочкой спрятался где-то во дворе.

Круглое, по-здоровому бледное и чистое лицо художницы под коронкой заложенных на голове русских кос выражало неподдельное, чуть наивное огорчение. Широкий расписной балахон скрывал кустодиевскую налитость фигуры, у нее был яркий свежий рот и неровные зубы.

— Большую самку не ищите, — сказал Грациус. — Ею пообедал вон тот злодей.

Здоровенная дворняга умильно поглядывала в нашу сторону, плотоядно и чуть нервно облизываясь. Судя по щипцу, брылям и желтым пятнам на белой шерсти, в ее предках числился пойнтер.

— Точно, — упавшим голосом сказала Катя. — То-то он сегодня жрать не просил. Он ничейный, кормится Христа ради... Вот гад, еще облизывается!.. — Она подняла палку и запустила в пса.

Тот поджал зад, но не двинулся с места. Это было странно, дворовые собаки чутко отзываются на всякое намерение причинить им зло. Может быть, его бесстрашие — от благородных предков? Пока я предавался праздномыслию, Грациус сделал выводы:

— Он чует ужин, потому и облизывается. Влюбленная пара где-то поблизости.

Грациус огляделся и пошел к сараю.

— Пустое дело! — вздохнула Катя. — Мы тут все прочесали... Кто он, ваш утонченный друг?

— Знаменитый кроликолов, — ответил я.

Из сарая вышел Грациус, нежно прижимая к груди двух кроликов: белого с черными ушками и палевого.

— Чудо из чудес! — вскричала Катя. — Там перебивало полдеревни!

— Вещи сами идут к моим рукам, — тонко улыбнулся Грациус.



— Это явление мне знакомо, — серьезно сказала Катя. — Но кролик — не вещь.

— Я имею в виду «вещь» не в бытовом, а в философском смысле. Пребывающее в мире. В этом смысле «вещь» — и кролик, и ребенок, и женщина.

— Вы опасны, — сказала художница. — Посадите их в клетку, а я уберу белье — будет дождь.

Мы помогли Кате снять развешанные для просушки маленькие вещи: майки, трусики, носки.

Узкий стол был приткнут торцом к стене. Туда поставили рюмку с вином и кусок домашнего пирога. Мы сидели в кухне, из горницы доносилось дыхание спящих детей. Двери не было, ее заменяла домотканая занавеска, не достигавшая пола. Было слышно, как прошлепали по полу босые легкие ноги.

— Чертова девка! — в сердцах сказала Катя. — Нет от нее покоя.

— Что делать, если приспичило? — заступилась Вера Нестеровна.

— Подслушивать ей приспичило.

В щели меж занавеской и полом было видно, как босые ноги осторожно прокрались назад и замерли возле дверного косяка.

— И думает, дуреха, что ее не видно, — усмехнулась Катя.

— Тише!..

— Разве ее спугнешь? Любопытна, как сорока.

Быстрыми, точными движениями Катя распределила закуску по тарелкам.

— Давайте помянем.

Не чокаясь, мы выпили вино.

— Наверное, надо рассказать, как погиб муж. Иначе вы все равно будете думать об этом, а мне не хочется.

Они снимали дачу в Подмоскowie. Раз возвращались с купания, босые, почти голые. В погребе перед этим перегорел свет. Муж взял переноску на длинном шнуре и пошел

чинить. Он не заметил, что изоляция на шнуре почти сгнила. Катя услышала его крик. Когда она скатилась по ступенькам вниз, ей показалось, что его обвила черная змея. Она сумела разорвать шнур, но было поздно. Каким-то чудом ее не ударило...

— Бог помиловал. Но этого мало. — Несмотря на спокойный голос, чувствовалось, что ей не удалось легко скользнуть над сломом своей жизни. — Надо опять ничего не бояться. Муж научил меня этому. Он жил бесстрашно: плавал, зимовал на льдинах, тонул, пропадал без вести. И до чего же бездарная смерть ему выпала!..

За занавеской послышался шорох. Толстый «Энциклопедический словарь» лег на пол, по сторонам его возникли две босые ноги.

— Подслушивание со всеми удобствами, — заметила Катя. — Пускай! От детей все равно ничего не скроешь... Я боюсь не за себя, за них. Они убегают, уползают, пропадают, и мне мерещится черная змея. Эта вот паршивка торчит у вас, а я места себе не нахожу.

— Я всегда гоню ее домой, — поспешно сказала Вера Нестеровна.

— При чем тут ты?.. — отмахнулась Катя. — Слишком уж я хочу, чтобы они уцелели. Это естественно, но это и плохо. Если они вырастут трусами, значит, я предала его. — Она бросила взгляд на торец стола. — Хватит ныть! Американцы говорят: избавьте меня от ваших неприятностей, с меня хватит своих.

— Звучит паршиво! — передернула плечами Вера Нестеровна.

— Не уверена. Мы ужасно любим переключать свой груз на чужие плечи. Хоть на время, хоть на минуту. Это неблагородно и, главное, ничего не дает. Никто чужого не принимает. Для этого надо любить человека. А это редкость. Меня любили. Почему вы не скажете, чтобы я заткнулась? Все о себе да о себе... Привилегия хозяйки. Давайте — о чем-нибудь всеобщем. Например, о хохломе. Вы

любите хохлому? — обратилась она к Грациусу. — Считаете это живым искусством?

Грациус сказал, что не любит окостеневших форм. Они заспорили. В разгар прений Маша, задремав, свалилась на пол.

— Теперь я, по крайней мере, знаю, чем ее усыпить. — Катя прошла в горницу, подняла дочь, отпустила ей крепкий шлепок и уложила в кровать. Затем отнесла кому-то горшок, мы слышали, как тихонько запела струйка.

Она не успела вернуться к столу, а служба подслушивания возобновила свою деятельность.

— Давайте выпьем шампанского, — предложила Катя. — Спасибо, что вы пришли. Сегодняшний день у меня — в гору. Глупости я говорила. Мне с вами легче.

Придерживая пробку, Грациус дал выйти воздуху, чтобы не испугать детей выстрелом, и разлил пенящийся напиток по чашкам.

Мы чокнулись, выпили, поцеловали художницу и вышли в сухую, насыщенную электричеством, озаряемую бесшумными сполохами ночь...

А гроза все-таки разразилась, когда мы уже спали...

Последнее утро нашего пребывания в Мятлево началось, как и обычно, криком соседского петуха. На этот раз его подсевший, сипатый голос не унесся в простор, чтобы там медленно умереть, а потратился в малом пространстве между нашими избами. От волгого после грозы воздуха и тумана над росой отсырело эхо. Я едва успел пожалеть, что мы расстаемся с деревней в пасмурную погоду, как в прозоры легкой наволочки вдарило солнце широкими блистающими лучами, вскоре слившимися в единый поток.

Прощальный день принес много неожиданностей. Морячок в серых подштанниках наконец-то залил в трубу на крыше, что было признано единодушно мировым рекордом. Мужественный крепыш не почил на лаврах и задался

целью обдать струей темный наплыв на березовом стволе под самым скворечником. А Самоцветов Федор создал новое стихотворение, еще лучше прежнего, на этот раз буквы сложились в «Стансы к Августе» Байрона. Вера Нестерова пришла в восторг, потом разъярилась и потребовала, чтобы Самоцветов раз и навсегда наступил на горло не собственной песне. Федя ничего не обещал, но бросил вскользь, что в ближайшее время ему не до стихов, — надо снять план местности вплоть до самой Угры.

Когда мы пришли на реку — под крутым откосом, сразу за деревенскими огородами, — там было полно ребятни. Пресыщенный славой морячок выжимал из карзубого рта вялые подробности утреннего подвига. Миша, по обыкновению, штурмовал высоты, карабкаясь на деревья, нависшие над водой. Другие купались, строили крепости из влажного песка, двое сосредоточенно тонули на дырявой надувной лодке. Появился Самоцветов с планшетом. Двигался он как-то неуверенно, видимо, наспех сделанная карта не давала должной ориентации. Затем по заросшему муравой и дикой геранью откосу неторопливо, свободно, не таясь, спустилось милое ясноглазое существо.

— Машка! — потрясенно сказала Вера Нестерова. — Окаянная девчонка!.. Это кто же тебе позволил?

— Моя мама, — вежливо, даже церемонно прозвучал ответ.

— Как мама?..

— Так! Ходи, говорит, где хочешь. Я тебе не сторож.

— Понятно, — прошептала Вера Нестерова.

Маша зашла за куст орешника и появилась оттуда в трусиках и лифчике из пестренького ситца. Незаполненные чашечки лифчика трогательно смялись. Девочка не замечала этого и едва ли догадывалась, что может быть иначе. И все-таки ее маленьким телом, движениями, походкой, даже взмахом ресниц управляло тайное провидение иного образа, которые настанет через много лет. И, отзываясь ее грядущему преображению, стройный маль-

чик издал томительный вопль и кинулся с дерева в реку; то было не падением, а взлетом, ведь в реке отражалось небо. И в небо рванулся мальчик.

Пройдет время, такое медленное в днях, особенно — в часах, и такое быстрое в годах и мимолетное в десятилетиях, и детские игры обернутся страстями, бурями любви и ревности, обретений и потерь, но все это случится уже не в моем мире. А хотелось бы мне повторения? Дурацкий вопрос — нельзя дважды ступить в одну и ту же реку. Да и незачем. Прекрасны игры детей, но это не мои игры. А в прожитой жизни мне ничего не хочется ни исправить, ни повторить. Каждое переживание исчерпало себя до конца. Наверное, это и есть счастливая жизнь? Я никогда так не думал о своей достаточно трудной жизни. Может быть, я и ехал сюда, чтобы это узнать?..

Редкое спокойствие было во мне. Я смотрел на упругую, вроде бы недвижимую Угру, на деле пребывающую в беспрерывной и довольной быстрой течи, и думал о другой реке с бледными стоячими водами, в которое тем не менее тоже не войдешь дважды. Рано или поздно ты окажешься на берегу этой реки, где тебя будет ждать угрюмый тощий старик, чтобы перевезти на другую сторону, откуда не возвращаются. И если я не расплескаю в остаток дней тишину, постигшую меня над Угрой, то скажу твердо:

— Давай с ветерком, Харон. Получишь на водку.

# СОДЕРЖАНИЕ

## ВСТАНЬ И ИДИ

1. Несостоявшееся путешествие _____	3
2. Как это случилось в первый раз _____	6
3. Иркутск _____	12
4. Саратов _____	25
5. Вместе и врозь _____	35
6. Страх _____	42
7. Егорьевск _____	44
8. Ленинград _____	49
9. Дорога на север _____	51
10. Встреча _____	55
11. День, прожитый вместе _____	66
12. Отъезд _____	75
13. Через годы _____	79
14. Новая встреча _____	83
15. Пеллагра _____	87
16. Голубое дерево _____	92
17. Под небом Рохмы _____	96
18. Близкие люди _____	101
19. «Каморки» _____	107
20. В Москве _____	116
21. Перед концом _____	121
22. Конец _____	124

## ТЕРПЕНИЕ

БУНТАШНЫЙ ОСТРОВ

Повесть

**190**

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Рассказ

**270**

ПОЕЗДКА НА ОСТРОВА

**332**

ЭХ, ДОРОГИ...

**464**

МОРЕЛОН

**512**

ЛУННЫЙ СВЕТ

**526**

РЕКА ГЕРАКЛИТА

**536**

---

Художественное оформление  
*Е.Селивановой*

Корректор  
*Т.Иванова*

Электронный набор  
*Д.Проскуровский*

Электронная верстка  
*А.Федина*

В издании принимали участие:

*С.Андрусенко,*  
*А.Безуглый,*  
*О.Светличная*

Ответственный за выпуск  
*И.Смолин*

---



---

По вопросам распространения  
обращаться по телефону:

973-25-88

В США книги издательского Дома  
«ПОДКОВА» можно приобрести по адресу:

**Petropol, Inc.**  
**P.O. Box 8168**  
**Pittsburgh, P A 15217**  
**(412)422-8311**

---

Л. Р. № 064584 от 14.05.96.

Подписано в печать 21.12.97.

Формат 84x108 1/32. Гарнитура Лазурский.

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 30,66. Тираж 5000 экз.

Заказ № 520.

Издательский Дом «ПОДКОВА»

121108, г. Москва, ул. Пивченкова, 3-1.

Отпечатано с готовых оригинал-макетов  
на ИПП «Уральский рабочий»

620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.